

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

(ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

Настоящий выпуск «Диалога со временем», специально посвященный европейской интеллектуальной культуре и ученым сообществам Нового времени, подготовлен большим коллективом авторов (специалистов по интеллектуальной истории, истории науки и истории университетской культуры из академических институтов и вузов России, Белоруссии, Украины, которым Центр интеллектуальной истории и редакция журнала глубоко признательны за участие в обсуждении и разработке весьма сложных вопросов, составляющих центральное ядро проблематики крупного научно-исследовательского проекта «Идеи и люди: интеллектуальная жизнь Европы в Новое время»^{*}).

Проект направлен на изучение истории интеллектуальной культуры с точки зрения изменений в условиях, формах и содержании деятельности по распространению идей и инноваций (на уровне межличностных коммуникаций и на макросоциальном уровне)¹, для чего необходимо решить три взаимосвязанные задачи: а) выявить социальные контексты и культурные ориентиры деятельности как значимые составляющие коммуникаций в интеллектуальной среде, цементирующие основы единства представителей сообщества, б) проанализировать механизмы функционирования интеллектуальных сообществ разных типов в отдельных сегментах культурного пространства, в) предметно рассмотреть процессы формирования культурно-образовательной среды вокруг новых учебно-научных центров, которые институализировались в разных странах в разное время и в различных исторических обстоятельствах. Исследование этих проблем имеет ключевое значение для

^{*}Проект осуществляется при поддержке РГНФ (2010–2012, № 10–01–00403а).

¹ В основу изучения интеллектуальных традиций и сообществ Нового времени положены теоретические принципы культурно-интеллектуальной истории. См., в частности: *Ретина Л. П.* Интеллектуальные сообщества как объект и предмет сравнительно-исторического исследования: проблемы методологии // Политические и интеллектуальные сообщества в сравнительно-исторической перспективе. М., 2007. С. 89–92; *Она же.* Интеллектуальная культура как маркер исторической эпохи // Диалог со временем. 2008. Вып. 22. М., 2008. С. 5–15; *Она же.* Контексты интеллектуальной истории // Диалог со временем. 2008. Вып. 25 (I). С. 5–11; *Она же.* Интеллектуальные традиции и научные школы: к методологии исследования // Историк и его дело. Вып. 8. Ижевск, 2008. С. 5–12; и др.

понимания специфики функционирования и динамики интеллектуальной сферы, ее роли как важной составляющей исторического процесса.

Специфика данного проекта заключается в его многоуровневой перспективе, позволяющей найти контуры сопряжения макро- и микроисторического анализа, по-новому структурировать предмет и вопросы конкретно-исторических исследований и представить под новым углом зрения полученные ими результаты. Проект содержит отчетливо выраженную междисциплинарную составляющую, опираясь на комбинацию социально-исторической и историко-культурной проблематики и методологии, и, по существу, делает первый шаг в собственно историческом исследовании функционирования интеллектуальных сетей в Европе Нового времени, в режиме «длительной протяженности» (*longue durée*) – от кружков гуманистов до научных обществ XIX – начала XX столетия, что даст возможность проследить как радикальные сдвиги, так и долгосрочные изменения в панораме интеллектуальной жизни и в системе социальных и культурных институций, ее организующих.

Изучение интеллектуальных традиций – одна из основных задач интеллектуальной истории, поскольку традиция выступает одновременно как необходимое условие интеллектуальной деятельности и как ее производное, а также как форма и способ сохранения интеллектуального наследия. Но интеллектуальная традиция рассматривается не только как преемственность идей и способов мышления, непрерывность исторического наследования в интеллектуальной сфере, а как процесс воссоздания, активного восприятия, селекции, реформатирования, творческого преобразования, преодоления или возрождения. В столь масштабном исследовательском поле изучение интеллектуальной традиции приобретает комплексный характер, отнюдь не ограничиваясь обзором основополагающих идей, образующих ее транслируемое «ядро». Сегодня изучение интеллектуальных традиций уже далеко выходит за рамки истории самих идей, теорий, концепций, систематически обращаясь и к анализу конкретных средств и способов их формулирования, и к судьбам их творцов, и к более широкому социокультурным контекстам.

Антиредукционистский пафос современной историографии предполагает интерес исследователя как к общесоциальным условиям возникновения, бытования, сохранения и трансляции идей, так и к тем индивидам и институтам, которые эти функции выполняют. Речь идет об интеллектуалах и интеллектуальных сообществах, которые выступают в качестве создателей, хранителей, интерпретаторов и трансля-

торов той или иной интеллектуальной традиции. Исследования осуществляются как на макро-, так и на микроуровне². Существуют различные определения понятия интеллектуального сообщества, подчеркивающие, как правило, одну из его сторон – коммуникативную, институциональную, деятельностьную, которые, однако, не разделены непроходимыми границами. В этой связи наиболее перспективными в такого рода исследованиях представляются модели сетевого подхода³.

Взаимообогащение методов новой культурно-интеллектуальной истории, социальной истории, социологии науки и социологии культуры дает возможность преодолеть традиционную описательность и сформировать качественную методологическую базу для изучения динамики изменений в сфере интеллектуальной культуры, содержания и интенсивности межличностных коммуникаций, а также различных способов консолидации интеллектуальных сообществ (в их историческом развитии). Важный ракурс изучения интеллектуальной деятельности направлен, в частности, на ключевой момент самоидентификации и так называемую *функцию взаимопризнания*, когда «...каждый признает в качестве ученых нескольких других людей, которыми он в свою очередь признается ученым, и из этих отношений слагаются связи, транслирующие (уже из вторых рук) это взаимопризнание по всему сообществу. Так каждый его член оказывается прямо или косвенно признанным всеми. Эта система простирается и в прошлое. Ее члены признают одних и тех же лиц в качестве своих учителей, на верности им основывают общую традицию и каждый развивает в ее пределах свою собственную линию...»⁴. Подчеркивается нормативная и репродуктивная функция, связующая и принуждающая сила традиции, а

² См., например: *Parman, Susan. Dream and Culture: An Anthropological Study of the Western Intellectual Tradition.* N.Y.; Westport (Conn.); L., 1990; *Finding Europe: Discourses on Margins, Communities, Images / Eds. A. Molho et al.* N.Y., 2007; etc.

³ Так, формальные и неформальные интеллектуальные сообщества разных типов оказались в центре внимания социологии социальных сетей видного американского социолога Р. Коллинза, предпринявшего сравнительный анализ основных тенденций интеллектуального развития. Коллинз исходит из того, что «непосредственное социальное влияние на конструирование идей оказывает сетевая структура отношений между интеллектуалами». На основе множества биографических данных создана сетевая схема, распространяющаяся «вертикально» (от одного поколения к другому) и «горизонтально» – среди современников, являющихся коллегами, союзниками или соперниками. См.: *Коллинз Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения.* Новосибирск, 2002. С. 32–34.

⁴ *Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии.* М., 1985. С. 234–235.

также роль образовательных институтов (особенно роль университетов) в ее реализации. Формирование и последующее развитие научных сообществ, как правило, рассматривается в институциональной, дисциплинарной и национальной перспективах. Эти ракурсы анализа имеют прочные традиции, а их предпочтение в изучении ассоциаций ученых вплоть до конца XX столетия отражает как социальные приоритеты, так и сложившуюся профессиональную идентификацию.

Данная работа должна отчетливо обозначить ряд проблемных направлений, актуальных для дальнейшего исследования феномена интеллектуальных сообществ. Ведь среди многообразных условий интеллектуального творчества (а они значимо различаются по странам, культурам, эпохам) структура и функционирование формальных и неформальных интеллектуальных сообществ (в том числе научных школ и профессиональных ассоциаций) занимает важное место, поскольку речь идет о взаимодействии субъектов, которое охватывает разные ее аспекты: контакты, основанные на общих интересах, обмен информацией и культурным капиталом, использование организационных и когнитивных ресурсов, обсуждение, заимствование и распространение идей, взаимная поддержка, создание интеллектуальных репутаций и др.

Цикл научных статей, подготовленных в 2010 г., и доклады, представленные на круглом столе «Научные школы и университетские сообщества в интеллектуальной жизни Европы Нового времени» (2011 г.), объединены вокруг таких проблем, как условия распространения и трансляции идей, межличностные связи и формирование «сетей общения», функционирование интеллектуальных сообществ разных типов, их структура. В центре внимания авторов настоящего сборника – два аспекта изучения функционирования ученых сообществ разных типов: с одной стороны, европейских интеллектуальных сообществ раннего Нового времени, а с другой – университетских корпораций и научных школ XIX – начала XX в., исследование свойств этих сообществ типов внутренних и внешних, «вертикальных» и «горизонтальных» связей, а также роли традиций и способов распространения новых идей и знаний в социуме. Соответственно сформулированным выше задачам, представленные в сборнике исследования распределены по трем рубрикам: «Интеллектуальные сообщества раннего Нового времени», «Университетская культура России», «Коммуникативное пространство науки» и «Интеллектуальные биографии».

Л. П. Ретина

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ

В. В. ЗВЕРЕВА

«ИЗОБРЕТЕНИЕ» ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ НАТУРАЛИСТОВ XVI ВЕКА*

В статье рассматривается история складывания естественной истории как дисциплины в интеллектуальной культуре Европы XVI в. Особое внимание уделяется возникновению ранних сообществ ученых, благодаря деятельности которых конструировалось новое поле исследований природного мира, формировался язык и правила для описания растений и животных.

Ключевые слова: *естественная история, история науки в Европе, интеллектуальная культура XVI века.*

Природа – сложная конструкция: в разные времена люди выстраивали ее в соответствии со смыслами своей культуры, соответственно трансформируя систематику и языки описания природного мира, образы и значения, которыми они наделялись. Речь пойдет о «естественных историях»¹, сочинениях, считавшихся в XVI–XVIII вв. полноправными научными текстами. Знание о природном мире, выраженное в виде «естественной истории», было востребованным в европейской интеллектуальной культуре Ренессанса и Нового времени. Характерные черты таких сочинений не оставались неизменными. В то же время, в дискурсе «естественных историй» обнаруживаются устойчивые черты, позволяющие отличать этот способ рассуждения и вид текста от других форм исследования мира и репрезентации знания.

В центре нашего внимания будут исследования и описания природы XVI в. и ранние научные сообщества, в работе которых сформировались и новое поле исследований, и определенный дискурс.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФНФ (проект № 10–01–00403а: «Идеи и люди: интеллектуальная жизнь Европы в Новое время»).

¹ Словосочетание «естественная история» употребляется в двух значениях – естественная история как вид знания, и «естественная история» как разновидность научного сочинения. Для того, чтобы облегчить различение этих значений, в первом случае это словосочетание употребляется без кавычек, во втором – в кавычках, отсылая к характерным названиям таких трудов – “Historia naturalis”.

1

Естественная история как разновидность знания, позднее – дисциплина, и как тип ученого сочинения пережила свое второе рождение или даже была создана во времена Ренессанса. Хотя первые «естественные истории» были написаны задолго до эпохи Возрождения, еще в древнегреческой и римской культурах, в рамках естественной философии, они разительно отличались от изучаемых нами произведений.

В десяти книгах «Истории животных» Аристотеля содержались общие теоретические построения об иерархии живых существ, от простейших видов и до наиболее сложно устроенного человека, исследования строения и физиологии, описания систем питания и размножения различных видов животных, птиц, рыб, а также мужчин и женщин, краткие сведения о повадках и «нравах» животных². Этот труд был частью обширного корпуса трактатов о природе, начиная с «Физики», и включавшего работы «О небе», «О возникновении и уничтожении», «О юности и старости, о жизни и смерти», и другие; среди них были сочинения «История животных», «О частях животных», «О движении животных», «О разделении животных», «О возникновении животных»³.

В продолжение «Истории животных» ученик Аристотеля Теофраст составил трактаты «История растений» и «О причинах растений», в которых было описано около пятисот видов флоры, давались сведения по их систематике и физиологии⁴. Вопросы, которые изучали эти авторы, были схожими: о назначении частей животных и растений, о принципах питания и воспроизводства, о возможности перехода одного вида в другой. В общих чертах, мир природы изображался как существующий по своим естественным законам и не подчиненный человеческому миру посредством пользы или символической значимости.

Другая версия большого повествования о мире была предложена в римской интеллектуальной культуре в многотомной «Естественной истории» Плиния Старшего. Это сочинение в 32-х книгах давало свод разнообразных знаний о космосе, животных и растениях, народах и искусствах. Несмотря на сходство названия, сочинение Плиния строилось иначе: предметом знания была не столько природа, сколько все известное человеку содержимое мироздания. Книги этой энциклопедии были посвящены астрономии и физики, земле, ее географии, народам, городам и гаваням, животным, человеку, растениям, лекарствам из растений

² Аристотель. История животных.

³ Старостин. 1996.

⁴ Теофраст. Исследование о растениях.

и животных, а также камням и металлам, употреблению в искусствах красителей и камней, художникам, и драгоценным камням. За основу Плиний взял сочинения других писателей. В его «Естественной истории» соседствовали данные наблюдений, теории философов, свидетельства путешественников и анекдотические истории. Тем не менее, именно эта энциклопедия стала важным источником знаний о чужих землях, народах, космосе и природе для средневековых ученых.

Начиная с раннего Средневековья «естественные истории» надолго исчезли из интеллектуальной культуры. Христианские философы и ученые ставили перед собой иные задачи: познание природы мыслилось как часть познания Бога и Божественного замысла. Чтение созданной Творцом великой Книги Природы должно было открывать высшие смыслы, предполагало не только буквальные, но и моральные и аллегорические интерпретации. Для естественной истории в системе христианского знания нашлось место на периферии: «языческая» наука в лучшем случае могла давать полезные сведения, которые, тем не менее, следовало истолковать заново и приспособить к собственной логике рассуждения. Так, фрагменты из сочинения Плиния Старшего были неплохо известны в Средневековье. Но использование принципиально важных сведений из его книг – как, например, доказательств шарообразности Земли, заимствованных Бедой в трактате «О природе вещей», – было, скорее, исключением, чем правилом. Сведения из античных естественноисторических трудов включались в отличные по смыслу и назначению книги – в христианские космологии, физиологи, бестиарии. Даже когда предметы изучения были близкими, в способах описания и объяснения феноменов и «вещей» обнаруживался яркий контраст.

Различался способ связи между изучаемой вещью и получаемым значением: в христианской ученой традиции язык стал всеобъемлющим планом референции, сосредоточением всех смыслов. В «Этимологиях», раннесредневековом энциклопедическом по масштабу труде, Исидор Севильский, чтобы понять сущность вещи, шел к ее объяснению от смыслов, заложенных в ее имени. Даже не прибегая к этимологическому методу познания, исследователь природы должен был расшифровать язык вещей, их символов и аллегорий, отсылок к более высоким материям – спасению души и небесному воздаянию. На долгое время мир природы утратил самостоятельную ценность.

Ученые начали интересоваться естественной историей по мере освоения корпуса античных текстов. В XIII в. Майкл Скот перевел «Историю животных» Аристотеля с арабского на латынь. Альберт Великий в трактате «О животных» представил комментированный пересказ этого

труда с дополнениями (сведениями о некоторых неизвестных Аристотелю животных, таких как белый медведь или соболь, и о фантастических единорогах, пегасах и гарпиях, со ссылками на небольшую достоверность этих историй). «История животных» Аристотеля стала одной из первых напечатанных книг. В XV в. ее перевел на латынь Теодор Газа, он же подготовил первое греческое издание текста в 1497 г. В XVI в. «История животных» переиздавалась почти 40 раз. Множество изданий и переводов выдержали и отдельные книги «Естественной истории» Плиния: в культуре Ренессанса они были очень популярным чтением.

Потребовалось время, чтобы естественная история появилась как особый раздел знания о мире и как форма его репрезентации. Естественная история не была включена Джорджем Валлой в перечень дисциплин в его труде «О сущностях, к которым надо стремиться и которых следует избегать» (1500). В 49 книгах этого сочинения Валла предложил трактовки всех дисциплин тривия и квадрия, физики, медицины, этики и т.п., но естественная история не имела в его представлении сопоставимого статуса⁵. Современникам Валлы естественная история виделась, прежде всего, как практика созерцания и описания природы, вспомогательная по отношению к натурфилософии (рассуждения о движении в природе, о размножении и росте), медицине (сведения о практическом использовании частей растений и животных для лечения больных) и ведению домашнего хозяйства (разведение скота и агрикультура).

Спустя всего сто лет в рассуждении «О пользе и успехе знаний» (1605) Фрэнсис Бэкон уже интерпретировал естественную историю как автономную дисциплину. Она, как популярный и признанный вид знания, рассматривалась наряду с гражданской и церковной историей, и подразделялась на историю творений, чудес и искусств. XVI век стал временем складывания естественноисторического знания и дисциплины. Сосредоточим внимание на становлении естественной истории в интеллектуальной культуре Ренессанса, не забывая, однако, о том, что возможности представления знания о природе не исчерпывались именно этой формой сочинения, и что практики естественной истории как дисциплины выходили далеко за пределы изучаемых текстов.

2

Общая рамка «естественных историй» в XVI–XVIII вв. объединяла множество разновидностей сочинений. Облик «естественных историй», структура повествования, характер вопросов и ответов на них варьиро-

⁵ *Ogilvie*. 2006.

вались, отражая постепенные, а иногда и резкие изменения в способах мышления интеллектуалов.

Как правило, в «естественных историях» содержалось описание животных, птиц, рыб, или земель, соединялись разрозненные сведения из сферы зоологии, ботаники, метеорологии, геологии, истории и археологии. В центре их внимания была природа с божественными творениями. Они предлагали детальное повествование о «поверхности мира» в его разнообразии⁶. Однако предмет этих текстов редко полностью соответствует тому, как он формулируется в науках, начиная с XIX в. Предмет «естественных историй», на первый взгляд, ясен: животные и растения попадают под нынешнее представление о «естественном». Но как быть с сочинениями по «естественной истории души» или «страстей»? Почему темы о «древностях» или «искусствах» вплоть до XVIII в. были составной частью многих естественноисторических трудов?

Области современного естествознания и «естественных историй» Ренессанса и Нового времени пересекаются, но не совпадают. Часто взгляд современного читателя таких произведений останавливает некая «неправильность» включенного и исключенного. Содержание отдельных трудов воспринимается как знаменитая «китайская энциклопедия» Борхеса, которую цитировал в «Словах и вещах» Мишель Фуко.

В данном случае внимание обращается на видимую противоречивость принципов отбора объектов. Присутствие и постепенное исчезновение «лишней» информации в таких текстах может рассматриваться как одна из «примет» дистанции, которая отделяет современную систему знаний (укорененную в XIX в.) от парадигм до эпохи Модернити. Для локализации дискурса «естественной истории» можно попытаться зафиксировать исчезновение этой черты в изучаемых текстах: оно будет свидетельствовать о складывании новой логики науки, которая в XIX в. станет основополагающей. Такое исчезновение «неправильного» в текстах происходило не одновременно, не необратимо; но в целом оно маркировало происходившие перемены. Для того, чтобы лучше понять логику устройства «естественных историй», нужно обратиться к значениям ключевых слов – *historia, natura, naturalis*.

Латинское *naturalis* отсылало к Природе (*natura*), но помимо этого оно имело и другую коннотацию. Речь также шла о «природе вещей» (*natura rerum*), то есть, скрытых и явных свойствах любых предметов. Сочинения по естественной истории обыгрывали такое пересечение смыслов. Они преимущественно, но не исключительно, повествовали о

⁶ Allen. 1985. P. 32–33.

мире природных форм и явлений. Одновременно они были сфокусированы на сущностных качествах растений, животных, птиц, рыб и насекомых, а также всего, что относилось к земле (металлов и камней, находящихся в ней древностей, населявших ее народов, географии, климата и т.п.).

Структура знания о «естественном» с течением времени претерпевала большие изменения. В XVIII–XIX вв. значения, связанные с «природой вещей» постепенно исключались из области «естественного». Это понятие получало все более строгое определение в связи с оформлением и специализацией наук.

Ключевое слово *historia* также передавало различные смыслы⁷: в нем сочетались значения «расследования», «установления» (истины), восходившие к древнегреческим авторам, и «рассказа», отсылавшие к сочинениям римлян. В обоих случаях оно могло применяться к любым, а не только к собственно историческим, сюжетам. Так, у Аристотеля «история» животных подразумевала «исследование» живых существ. Говоря об *истории*, Бэкон имел в виду «знание о предметах, место которых определено в пространстве и времени», и имевшее источником память. Значение истории как «рассказа» было также широко распространено. В культуре Ренессанса это понятие подразумевало не хронологически организованную подборку сведений, а нарратив, правдивое повествование о результатах изучения какого-либо предмета, в которое следовало включить объяснение его происхождения, качеств и причин.

Историческое знание ассоциировалось с исследованием единичного, уникального, в противоположность изучению общих, типических вещей, которым занималась философия или физика. Масштаб у «исторического» исследования мог сильно варьироваться. Авторы «естественных историй» могли собирать в своих книгах множество объектов и данных (например, виды рыб или змеей, сведения о климате и температурах воздуха), или прилагать этот инструментарий к описанию отдельной страны. Они могли обсуждать и частный случай (определенного «монстра», природную аномалию)⁸, тогда этот казус мыслился как фрагмент некоего большего нарратива, который создавали другие ученые, или который лишь предстояло написать.

Суммируя сказанное, словосочетание *historia naturalis* в XVI–XVIII вв. чаще подразумевало большое повествование, состоявшее из отдельных рассказов, содержащее как описание, так и исследование единичных «вещей» природного мира. В то же время, оно имело возмож-

⁷ Pomata, Siraisi (Eds.), 2005.

⁸ Belon. 1551.

ность, не нарушая общей логики, представлять дескрипцию и выяснение причин предметов, относившихся к природе лишь косвенно, или могло репрезентировать фрагмент предполагаемого большого нарратива. Такая неоднозначность оставляла зазор, позволявший предмету исследования в «естественных историях» варьироваться. Это объясняет многообразие форм таких сочинений. Дискурс «естественной истории» изменялся в соответствии как с общими эпистемологическими трансформациями, так и с изменениями объема понятий «естественное» и «история».

Естественная история начала утрачивать свои позиции во второй половине XVIII в. со становлением научных дисциплин. В XIX в. из нее были заимствованы сведения, обогатившие академическую науку. По мере специализации дисциплин, прежде единый, хотя и многосоставной предмет естественноисторических сочинений оказался разделенным. Часть сюжетов стала рассматриваться как ненаучная, относящаяся исключительно к художественному, дидактическому или дилетантскому знанию о природе. Научное знание требовало верифицируемости и систематики, того, что не могла дать эта принципиально эклектичная и персонализированная форма знания. Сами «естественные истории» начали трактоваться как источник моральных наставлений для юношества и как способ популяризации знаний. Но «естественная история», сочтенная несостоятельной как *научное* знание, определила общие контуры *культуры* естественного знания.

3

В интеллектуальной культуре долгого XVI века можно найти множество способов представления Природы; знание о природном мире могло выражаться в разных нарративных и художественных формах. Интенсивность обращения к этой теме связана с постепенными переменами в интерпретациях природного мира, и с видением разных способов *использования* природы, подталкивавших к производству разных видов знания. Соседство в середине XVI в. новых «естественных историй» с бестиариями, трактатами о животных для охотников, руководствах о травах для врачей, сборниками эмблем и т.п. указывает на прагматичность знания. Для разных целей служили разные типы сочинений, со своими способами связывать слова и значения, формулировать предмет, решать практическую задачу в расчете на ту или иную группу читателей. Было бы неверным говорить о превращении одного дискурса в другой, или о линейном «развитии» знания-письма о природе.

Нас, в частности, будет интересовать вопрос о том, в каких социальных и культурных контекстах произошло второе рождение естественной

истории как дисциплины и типа сочинения. Это общий контекст натурфилософии и гуманистических штудий, причем не только высоких учебных и философских исследований природы вещей, но и популяризированного, укорененного в ренессансной культуре любопытства знания⁹, предлагавшего «премудрость» в удобных для восприятия формах, – в книгах «зерцал» и «секретов Природы», в коллекциях редкостей.

Еще один, практический контекст, который оказался решающим для становления естественной истории – это быстро развивавшееся медицинское знание аптекарей, врачей, ботаников и университетских профессоров. Хотя речь идет о непосредственно связанных областях знания, тем не менее, они находили выражение в разных видах текстов со своими способами познания и языками описания мира природы.

На протяжении всего XVI в., в продолжение интеллектуальных трудов их предшественников, философы, занимавшиеся наукой о природе, математики, астрономы и физики уточняли (и, уточняя, радикально пересматривали) картину мироздания. Прежде всего, это касалось натурфилософии Вселенной – космологии и астрономии. Поиски скрытой гармонии Вселенной подтолкнули Коперника к математической «ревизии» сложной и громоздкой птолемеевой системы мира, что потребовало радикального отказа от прежде незыблемой истины. Неподвижная Земля, пребывавшая (согласно принятой точке зрения) в центре мира, в работах Коперника лишалась особых законов. Земля, как и другие планеты, вращалась вокруг своей оси, и все вместе они, прикрепленные к сферам, равномерно, с эпициклами и деферентами, обращались по круговым орбитам вокруг Солнца. В исследованиях Коперника для нас важна сама решимость ученого искать ответы на вопросы о тайнах Творения не в трудах «древних», но опровергнуть их мнение, сколь авторитетным оно бы ни было, и положиться на собственное суждение и свою систему доказательств. Как будет видно в дальнейшем, похожий, хотя и несопоставимо менее вызывающий интеллектуальный ход лежал и в основе возникновения естественноисторической дисциплины.

Обратим также внимание на работу Коперника по составлению звездного каталога, его расчеты положений звезд и планет, вычисление размеров Солнца и Луны и расстояний до них. Теоретические положения Коперника и его практические вычисления были продолжены и существенно пересмотрены следующими поколениями астрономов, в чьих трудах производство знания основывалось не столько на составление умозрительной математической модели, сколько на систематиче-

⁹ *Daston*. 1998.

ские наблюдения за звездами и планетами. Так, многолетние астрономические наблюдения позволили в конце XVI века Браге без помощи телескопа составить каталог с описанием положений около тысячи звезд, причем выполнить эту работу с большой, в сопоставлении с предшественниками, точностью.

Переход от чтения «древних» до самостоятельной корректировки их трудов, распространения практик системного наблюдения за природными телами и составления всеобъемлющих каталогов и энциклопедий произошел не только в астрономии, но и в той области натурфилософских штудий, которая касалась земного царства Природы.

Исследования «работы природы», изучение физики, элементов, свойств, количеств, бесконечности, движения, изменений материальных вещей также достаточно долго были связаны с освоением наследия Аристотеля. Так, например, усилия первого профессора натурфилософии в университете Падуи Дзабареллы были направлены на восстановление истинного смысла аристотелевских текстов и отделение греческого текста от средневековых комментариев. Его изданный в 1590 г. посмертно труд *De rebus naturalibus* содержал тридцать трактатов по аристотелевской натурфилософии, включая трактат «О природе».

Свое значение для натурфилософского понимания «Природы» сохраняли и неоплатонические идеи о предустановленной иерархии мироздания, отражении сходных форм друг в друге, подобии макро- и микрокосмоса, возможности познания одного через другое. Они давали подтверждение общей установки исследователей природы: познавать Создателя через его творения, Бога «в вещах», сколь велики или малы они бы ни были. В мире природы внимание к малому было легитимировано самой идеей постепенного продвижения к большему: от царства камней к травам и деревьям, от них к насекомым и рыбам, к птицам, животным, и, наконец, в соответствии с порядком шести дней Творения, к человеку. Восхождение от изучения простых форм к более сложным этапам знания давало надежду на раскрытие великих тайн.

В работах многих ренессансных исследователей Природы в виде прямых или неявных отсылок присутствовала тема поиска «мудрости древних», *sapientiae pristinae*. Изучение природного мира мыслилось как один из путей к этой мудрости. Дискурс тайного знания в ученых текстах подразумевал переплетение естественнонаучного с мистическим, связь исследований природы с герметической традицией, с магией – не «суеверной» магией и не работами чернокнижников, а той, что позволяла творить удивительные чудеса с помощью природных сил. Знание вещей и их свойств возвращало человеку некогда утраченную

власть над творениями: эта идея, выраженная на протяжении более ста лет такими разными авторами, как Пико делла Мирандола, Парацельс или Френсис Бэкон, была сквозной для текстов ренессансных трактатов о растениях и животных.

На более простом и популярном уровне тема тайн и чудес природы в сочетании с обещаниями их пользы для достижения здоровья, долголетия, или выгодного практического использования проходила в многочисленных книгах секретов, которые публиковались в европейских странах на латыни и национальных языках. В таких книгах перед читателями далекие и экзотические вещи представляли наряду с повседневными, но увиденными в неожиданном ракурсе, – целебными травами, металлами и солями, камнями, водами, с животным миром. Показательны названия таких сборников, включавших и отрывки из средневековых текстов, травников и лапидариев, и фрагменты переводов «Естественной истории» Плиния, и выдержки из современных писателей¹⁰.

На дискурсивном уровне «Природа» мыслилась в одном ряду с «редкостями» и «древностями», была оплетена сетями тайн, загадок, символов и намеков на скрытые значения. Этому весьма способствовало и то, что в ренессансной Европе к XVI веку сложилась развитая культура приобретения и экспонирования чудес – редких, непонятных природных объектов, а также чужеземных диковин, древностей, рукотворных вещей из Нового света и с Востока. Такие вещи привозились, продавались и покупались, состязаясь в странности и уникальности; «натуралии» («рога единорогов», «монстры», кости китов, чучела экзотических зверей и птиц, окаменелости, раковины и т.п.) вместе с культурными артефактами становились предметами коллекционирования, пополняли кабинеты любопытствующих, выставлялись на обозрение как экспонаты ранних музеев¹¹.

Филологические занятия гуманистов были столь же важны для становления естественной истории. Познание божественных творений достаточно долго производилось через изучение и самих вещей, и знаков, «вписанных» в вещи. Дискуссионный вопрос, по которому мнения исследователей расходятся, касается статуса знака в ренессансной интеллектуальной культуре. Знание о мире, глубоко христианское в своих основаниях, обращающееся к учению неоплатонизма и герметической традиции, предполагало, что мир сотворен Словом, и познается

¹⁰ “A Summarie of the antiquities and wonders of the world abstracted out of the sixteen first books of the excellent historiographer Plinie...”, 1566.

¹¹ *Evans, Marr* (Eds.), 2006.

через слова. Поэтому изучение древних языков, «имен вещей» в старых и новых языках рассматривалось как прямая дорога к постижению той самой «древней мудрости» и тайн. Вселенная представляла как полная намеков, отсылок одних вещей к другим, через сходство и подобие. Смыслы шифровались и дешифровались в вербальных и визуальных формах. Косвенным свидетельством тому может быть развитый культурный язык аллегорий, на котором изъяснялись писатели, поэты и художники, – с его помощью создавались аллегорические картины на первых страницах ученых трудов о природе и о работе Природы в других областях знаний и искусств.

Пример текстов, введенных в широкий оборот и приобретших большую популярность в XVI в., в которых пересекались и насыщенный язык символов и аллегорий, и природные сюжеты, дают эмблемы. В этом жанре развлечение сочеталось с «открытием» моральных истин.

Эмблема состояла из картинки, девиза или морали, и поясняющего текста, часто стихотворного¹². Книге основоположника этого жанра Андреа Альчиати, с подборкой из таких текстов с изображениями (1531) сопутствовал большой успех: она переиздавалась, дополнялась новыми рисунками; эмблемы Альчиати многократно воспроизводились в других сборниках. Не менее известной была «Книга эмблем» Иоахима Камерария. Несмотря на развлекательность эмблем, считалось, что они предлагали читателям свое знание о мире через раскрытие символических подтекстов известных вещей и извлечение моральных уроков.

Умение читать, различать этажи значений и вычитывать глубинные смыслы текста, отточенное традициями христианской экзегезы и университетского богословия, проецировалось на природу¹³. «Прямое» познание книги Природы, производимое через наблюдение и описание, было весьма важным предприятием (о чем мы скажем далее более подробно). Первый, буквальный уровень интерпретации давал знание о малом, в котором содержались знаки и «семена» аллегорических и мистических смыслов. Тем не менее, перед ренессансным ученым простирался лес из символов, через которые можно было получить более глубокие познания о природе вещей, и они еще представляли эрудитское и практически ценное знание о царствах творений как часть большего знания.

В то же время, у каждого этажа в этой иерархии значений была своя прагматика. Думается, это обстоятельство явилось точкой расхож-

¹² Например, рисунок, на котором лиса занимала нору барсука, сопровождался заголовком: «то, к чему стремишься, получит твой враг»; далее в стихах коротко рассказывалась соответствующая история.

¹³ *Eaton*. 1994.

дения в спорах современных историков, которые, при всем сходстве, по-разному интерпретируют вопрос о том, *насколько* для ренессансных ученых, авторов «естественных историй», символы были соединены с «вещами», и *насколько именно* область филологии мыслилась как отличная от «естественного» знания по способу связи знака и «вещи».

Так, всеобъемлющий характер такого соединения подчеркивается в работах У. Эшворта, вслед за М. Фуко¹⁴. Подробно эти связи разбираются в исследовании Дж. Боно¹⁵. Акцент на соединении знака и «вещи» вполне объясним: он связан с тем, что поколения историков трактовали «увлечение» ренессансных натуралистов символизмом природы с модернизаторских позиций. В полемике с этими авторами Б. Огилви в «Науке описания» по-иному расставлял акценты. Конечно, натуралисты Ренессанса интерпретировали мир природы как наполненный символическими подтекстами. Тем не менее, следует видеть и те отличия, которые они устанавливали между эмпирическим исследованием природы и ее символической интерпретацией¹⁶. Одна задача – дешифровка высших смыслов, а другая – восстановление самого текста Книги Природы. При этом часто одни и те же авторы, как Конрад Геснер, занимались и тем, и другим. Поэтому было бы неверно «понижать в правах» опыт и практику как методы познания натуралистов XVI века.

Все эти контексты важны для понимания того, чем стала естественная история XVI в., для прочтения ее посланий. Тем не менее, для объяснения ее возникновения и оформления в ученых сообществах нам понадобится обратиться к другому контексту – медицинскому знанию.

4

«Естественные истории» античных авторов имели в ренессансной культуре практическое назначение. К ним обращались аптекари и врачи для составления лекарств. Поскольку большая часть лекарств имела растительное происхождение, то самыми востребованными были книги прославленного сочинения Плиния, повествовавшие о растениях и их полезных и вредоносных свойствах, а также «История растений» Теофраста и «О лекарственных веществах» (труд с описанием тысячи медицинских препаратов и шести сотен растений) Диоскорида. Греческие сочинения были переведены на латынь, из-за чего оригинальные рассуждения авторов нередко подверглись искажениям. Кроме того, эти тексты в Средние века были дополнены множеством комментариев, обросли массой неточ-

¹⁴ Ashworth. 1996.

¹⁵ Bono. 1996.

¹⁶ Ogilvie. 2006. P. 16.

ностей – ошибками переписчиков, неправильными вставками, неточными пересказами. Насколько эти «естественные истории» заслуживали доверия? Не наносили ли они вред здоровью больных? Правильно ли в них были идентифицированы растения? – Эти вопросы вызвали в ученых кругах большие споры в последней трети XV века.

С этих споров, фактически, начинается новая история естественной истории. В этой истории содержательного и социального оформления естественноисторической дисциплины в конце XV – начале XVII в. задействованы несколько поколений исследователей, представители разных стран и различных профессий. На протяжении данного периода у натуралистов сменялись познавательные ориентиры, цели и методы работы. Вначале новая дисциплина складывалась благодаря работам отдельных ученых. Но очень скоро она стала коллективным производением целой сети сообществ филологов, аптекарей, врачей, ботаников, университетских профессоров медицины и теологии, книгоиздателей, художников. Из итальянских университетов конца XV века небольшие группы натуралистов, занимавшихся естественной историей, распространили свою работу в города Северной Европы, куда возвращались студенты из Италии. В XVI в. эта дисциплина создавалась и обретала форму в трудах ученых, путешественников, коллекционеров по всей Европе, в их взаимной переписке, в обмене любопытными образцами, в критическом чтении, переводах и публикациях работ друг друга, в совместной постановке новых исследовательских вопросов.

Рассмотрим подробнее, что представляли собой интеллектуальные формы и социальные практики, на основе которых сформировался дискурс «естественных историй»; обратим особое внимание на работу ученых, создававших эту новую дисциплину.

Естественная история и полемика о древних

Ренессансная естественная история обязана своим появлением итальянским гуманистам: ее «второе рождение» связано с критическим чтением античных текстов о природе, с переводами, публикациями, критикой Аристотеля, Теофраста, Плиния, Диоскорида. В эти первые десятилетия (последняя треть XV в.) заниматься естественной историей можно было, ограничиваясь филологическими методами, но сама эта область знания мыслилась как сугубо прикладная для врачей.

Начало полемике об античных текстах положил гуманист Николо Леоничено, преподававший моральную философию и медицину в университете Феррары. В своих трудах он отстаивал идею замещения арабских медицинских текстов греческими, как более чистыми и правильными.

ми. В его представлении даже Плиний (особенно в переложении средневековых авторов) допустил много ошибок в медицинской ботанике. Идея Леоничено состояла в критической проверке авторитета, который казался неизбежным. Неудивительно, что такая позиция была воспринята частью гуманистов как вызывающая. Одним из самых яростных защитников Плиния был флорентийский гуманист, профессор греческой и латинской литературы Анджело Полициано. Развернувшаяся в серии работ и памфлетов дискуссия стала известна как спор о Плинии¹⁷. В ее дальнейшем развитии сыграла роль публикация Эрмолао Барбаро “*Castigationes Plinianae*” (1492), в котором он исправил около пяти тысяч ошибок в «Естественной истории» Плиния. Кроме того, Барбаро перевел (ок. 1481 г., издано в 1516 г.) Диоскорида, с дополнениями и собственными комментариями на основе непосредственных наблюдений растений.

Публикации Барбаро сделали непреложным тот факт, что в тексте римского автора существовали ошибки. Но с чем они были связаны? Для защитников Плиния это обстоятельство было результатом неаккуратной работы многих средневековых переписчиков. Для Леоничено – позволяло заподозрить и недостаточную точность самого первоисточника. Возможно, что Диоскорид преувеличивал, сколько именно растений он изучил непосредственно, и что Плиний не слишком хорошо разбирался в ботанике. У этого сомнения был практический смысл: доверяя тексту, врач мог сделать непоправимую ошибку, лечя больного. Леоничено издал трактат “*De Plinii, et plurium aliorum medicorum in medicina erroribus*” (О медицинских ошибках Плиния и многих других врачей, 1492 г.), где собрал случаи неточных названий и неправильного описания свойств растений в «Естественной истории» и в сочинениях других авторов.

Обе стороны сошлись в одном, что единственным способом выяснения правды было перепроверить Плиния: идентифицировать описанные им растения и их свойства. Эту работу выполняли уже ученики Леоничено, Эвриций Корд, Леонарт Фукс. Сам же Леоничено продолжил свою работу как гуманист, собирая рукописи и издания греческих авторов. Леоничено и Джодрджо Валла составили подборку манускриптов для первой греческой публикации Диоскорида – в 1499 г. (переизд. 1518). Современники получили новые критические версии этих текстов; за ними последовали новые издания и переводы. Все это указывало на большой интерес к античным «естественным историям» и на их недостаточность для решения практических задач.

¹⁷ Grendler. 2002. P. 344.

Таким образом, основным вопросом к классическим естественноисторическим произведениям был связан с их использованием как руководств для лечения больных. Тем не менее, этот интерес оставался сравнительно частным до тех пор, пока не была произведена реформа самой медицины. Сдвиг произошел тогда, когда медицинские факультеты университетов получили право контролировать работу аптекарей¹⁸. В свою очередь, это потребовало введение в курс нового курса по *materia medica*, который должен был научить студентов разбираться в аптекарских делах, знать медицинские растения и компоненты лекарств.

Первый курс по медицинской ботанике был прочитан в Падуе в 1533 г., затем в Болонье и Монпелье; к середине века они стали обычной практикой европейских университетов. Чтение таких курсов требовало демонстрации растений, поэтому при университетах стали основываться медицинские сады, как это происходило в Падуе и Пизе в 1540-х годах.

Наблюдение и описание природы

Ренессансная естественная история менялась на протяжении века: ее цели, методы, языки, формы организации дисциплины. Тем не менее, исследователи рассматривают ее как «мост» между знанием о природе Средневековья и науками XVII века. Поколение учеников Леоничено и итальянских гуманистов продолжало издание и комментирование античных авторов. Так, в 1554 г. Пьетро Маттиоли, итальянский врач и ботаник, опубликовал комментарии к Диоскориду. Это сочинение было переведено на другие языки, что способствовало популяризации знаний по ботанике. Но в 1530-1560 гг. были написаны и новые работы, в которых натуралисты отошли от воспроизведения древних, и стали полагаться на собственный опыт. Можно сказать, что в это время начинает оформляться поле естественной истории как сфера практических исследований – сперва в медицинской ботанике, а затем и в других областях знания о природе. Продолжая труды гуманистов, их ученики стали изучать саму Книгу Природы, отложив на второй план штудии классических текстов: так постепенно в естественной истории произошел сдвиг от филологии к практике непосредственных наблюдений.

Так, например, Отто Брунфельс, человек с гуманистическими интересами, автор многочисленных богословских трудов, трактатов по арабскому языку и педагогике, в то же время занимался ботаникой. В этой сфере его методы сильно отличались от традиционной критики текста. Брунфельс наблюдал, составлял гербарий и описывал немецкую флору (то, о чем, конечно, не писали древние). При этом его меньше занимала

¹⁸ *Ogilvie*. 2006. P. 33.

польза растений для медицины, – тенденция, которая спустя несколько десятилетий стала преобладающей. Брунфельс опубликовал результаты своих занятий в книге «Живые изображения трав» (“*Herbarum vivae icones ad naturae imitationem summa cum diligentia et artificio effigiatae*”, Страсбург, 1530–1536, в 3-х томах). Растения были представлены без систематики, с народными названиями на немецком языке.

Труд Брунфельса был необычен тем, что в нем были приведены изображения растений. Прежде тексты могли обходиться без иллюстраций, или воспроизводили образы из других книг. Рисунки и гравюры для Брунфельса выполнил художник из мастерской Дюрера Ханс Вайдиц. Рисунки делались с натуры, и художник изображал именно те конкретные растения, которые видел – с поврежденными листьями, с корнями. Считается, что эта публикация установила новый стандарт для естественноисторических книг. Этот же принцип репрезентации животных распространился в сочинениях по естественной истории лишь спустя сто лет.

Знания о природе в рамках естественной истории долгое время отличала неравномерность. Ботаника, имевшая непосредственное практическое значение, гораздо быстрее стала выходить из «риторической» парадигмы и, в свою очередь, предложила важные инновации для знания о живой природе. В то же время, исследования, посвященные животному миру, – причем иногда выполнявшиеся теми же авторами, которые эмпирически изучали растения и лекарственную ботанику, – еще долго оставались связанными с изучением «слов» и опирались на книжное знание. Вехой в складывании текстовой формы большого энциклопедического труда по естественной истории считается написание и публикация «Истории живых существ» (“*Historia animalium*”, 1551–1558 г.) швейцарского врача и ученого Конрада Геснера.

Помимо ботанических сочинений “*Enchiridion historiae plantarum*” (1541) и “*Catalogus plantarum*” (1542), которые снискали Геснеру славу и у современников и в XVIII в., он написал гуманистические труды: “*Bibliotheca universalis*” (1545), каталог на латинском языке, греческом и еврейском всех когда-либо живших авторов с названиями их произведений, “*Mithridates de differentiis linguis*” (1555), перечень 130-ти известных языков с переводом Господней молитвы на 22 из них, и другие работы. Среди этих энциклопедических подборок и вышли книги истории о живых существах – по одному тому о животных живородящих, яйцекладущих, о птицах, рыбах и водных животных, змеях (в общей сложности более 4500 страниц и 1000 иллюстраций).

Хотя название сочинения Геснера и отсылало читателя к произведению Аристотеля, этот труд был оригинальным. Он стал моделью для

гуманистической «естественной истории», которая просуществовала около ста лет (последней в этом ряду считается публикация «Естественной истории четвероногих» Яна Йонстона в 1650-х гг.).

Востребованность этого типа текста связана с тем, что у «естественной истории» в версии Геснера (а позже Альдрованди и Йонстона) был системообразующий смысл. В ее тексте обнаруживается одна из форм нового универсализма, построения всеобъемлющей системы, в которой мир животных упорядочивался в соответствии с алфавитом и языком, и описывался через подборку всех известных автору книжных свидетельств о том или ином существе. Такая форма текста позволяла решать иную, чем в случае с ботаникой, задачу: упорядочить разнообразие вещей в мире, выразить их красоту, внутреннюю стройность и согласованность, собрать воедино множество разрозненных сведений – знаний, накопленных в культуре за столетия, и найти среди них место для современных ученых изысканий.

К середине XVI в. можно говорить о складывании международно-го сообщества натуралистов, занимавшихся и ботаникой, и штудиями в области медицины, и натурфилософией, и исследованиями животного мира. К поколению 1530–1560-х гг. принадлежали не только итальянцы, но и выходцы из стран Северной Европы, большинство из которых учились в Италии. Их работа была связана с распознаванием флоры и фауны в своих странах, и сопоставлении с классическими текстами. Большинство исследователей были врачами. Медицинские цели требовали непосредственного наблюдения за растением и точности его описания, как словесного, так и визуального. В то же время, все больше работ – гербариев, описаний растений – пересекали границы медицины и устанавливали иной предмет для изучения – «царство растений» или «царство животных» как таковое.

В более поздние времена ряду исследователей этого времени были даны почетные имена «отцов ботаники»: это Отто Брунфельс, Иероним Бок, Леонарт Фукс, Пиетро Андреа Маттиоли, Валерий Корд, Ремберт Доденс. В центре внимания этих авторов – точное описание растений, восстановление «букв» в тексте Книги Природы. Составление таких энциклопедических трудов было немыслимо без эмпирических исследований – путешествий по своим странам и другим землям, наблюдений, – и без выработки точного языка для описания. Отдельным вопросом были принципы упорядочивания материалов в таких сочинениях.

Так, например, в знаменитом труде Леонарта Фукса, немецкого ботаника и врача, профессора медицины в университете Тюбингена, “De

historia stirpium commentarii insignes” («Достопамятные комментарии к истории растений», Базель, 1542 г.) был выбран алфавитный принцип расположения статей в соответствии с греческими названиями растений. В этой книге было описано более 500 видов растений (400 принадлежали немецкой флоре, и многие из них были представлены в учебном тексте впервые); к ним прилагался словарь терминов. Вербальные описания сопровождалось иллюстрациями, которые должны были точно воспроизводить, как выглядели живые растения. Впервые Фукс опубликовал и имена, и даже портреты художников, сделавших рисунки для этой книги. В предисловии Фукс подчеркивал, что его работа предназначалась студентам медицины, поскольку врачи до сих пор прискорбно мало знали о растениях. Поэтому лекарственные свойства растений были описаны с особой тщательностью, хотя их строение, рост и распространение тоже попадали в сферу внимания автора.

По сходству или родству растений располагал материал в своем гербарии Иероним Бок. Первое издание его «Книги растений» (*Kreuterbuch*) вышло в 1539 г. без иллюстраций (в издании 1546 г. его проиллюстрировал 550 гравюрами по дереву художник Давид Кандел). Отталкиваясь от сочинения Диосокрида, И. Бок предложил способ систематизации для 700 видов растений Германии.

Фламандский врач и ботаник Ремберт Доденс, впоследствии придворный врач императора Рудольфа II в Вене, профессор медицины в университете Лейдена также предпринял попытку систематизировать растения в «Книге растений» (“*Cruydeboeck*”, 1554; позднее – в латинской версии этого труда “*Stirpium historiae pemptades sex*”, 1583). Доденс взял за образец книгу Фукса (откуда заимствовал и ряд иллюстраций). Но вместо алфавитного принципа он ввел иной порядок изложения, подразделив царство растений на шесть групп. Основное внимание в этой книге также уделялось медицинским травам.

Высокую интенсивность приобрели взаимодействия европейских натуралистов. Во второй половине XVI в. книга Доденса многократно переводилась: в 1557 его перевел на французский Клузий (“*Histoire des Plantes*”), этот перевод, в свою очередь, был издан по-английски в 1578 г. (Генри Лит, “*A new herbal, or historie of plants*”). Считается, что это сочинение уступало по числу переводов лишь Библии.

В пятитомной «Истории растений» (“*Historia Plantarum*”, 1544) немецкий врач и ученый Валерий Корд не столько стремился систематизировать растения, сколько усовершенствовать методы их изучения, наблюдения, высушивания и описания. Несколько лет Корд провел в путешествиях по Европе, со сбором образцов для своего труда.

В середине века в Европе сложилась система весьма прочных коммуникаций между натуралистами. Контуры этого сообщества могут быть прослежены в переписке Конрада Геснера. В его «Истории животных» был приведен длинный перечень тех, кто внес вклад в составление этой монументальной энциклопедии. Это врачи, аптекари, университетские преподаватели *materia medica*, – и не только люди, прямо связанные с медициной, но и теологи, преподаватели священных текстов и светской литературы, несколько адвокатов и издателей книг, людей связанных с городским управлением. Согласно Б. Огилви, *album amicorum*, дружеский альбом Геснера, в котором новые знакомые записывали свои имена и свои девизы, содержал 227 автографов, и большинство из этих людей были заинтересованы (в соответствии с пометками хозяина альбома) в естественной истории.

В Европе быстро развивался интерес к ботанике, к наблюдениям за природой – как у ученых, так и у любителей. Большую роль в этом сыграло распространение новых книг. Они, в свою очередь, стимулировали практику путешествий со сбором гербариев и природных образцов, – и далекие поездки, и путешествия по своей стране.

В Британии Дж. Лиланд и У. Кемден, составлявшие своеобразные реестры содержимого британских графств, не писали специально о природе, но их сочинения явились «подстрочником» для натуралистов и хорографов следующего века. Геснер ежегодно совершал путешествия в горы, не только чтобы собирать растения, но и ради самой красоты горной природы (в 1555 г. он даже издал книгу о своих экскурсиях “*Descriptio Montis Fracti sive Montis Pilati*”). Много путешествовал по австрийским Альпам и Карл Ключий (Шарль де Леклюз), первым из ботаников поднявшийся на горы *Ötscher* и *Schneeberg* и описавший впоследствии альпийскую флору. Пьер Белон, автор естественной истории рыб, в 1546–1549 гг. путешествовал не только по Европе, Англии и Испании, но по странам Средиземноморья и Ближнего Востока.

Таким образом, натуралист середины XVI века, сохраняя интерес к гуманистическим исследованиям, уже не мог изучать естественную историю в библиотеке. Хотя по таким сочинениям как «История животных» Геснера он представляется исключительно книжником, это уже не соответствовало действительности. Непосредственное личное наблюдение сделалось неотъемлемой частью изучения Книги Природы. Именно в это время для естественной истории становится очень важно *описание* (по возможности точное) природных объектов. На дискурсивном уровне оно фактически являлось самой «естественной историей». Описание было и процессом, и результатом исследования. За первыми опытами

описания растений и живых существ последовала их каталогизация, самостоятельные исследования, основание коллекций, учреждение ботанических садов, и издание новых книг по естественной истории.

Составления каталогов и коллекций

К 1560-м годам естественная история оформилась как дисциплина, дистанцируясь от медицины. Филологический материал продолжал играть огромную роль в создании новых текстов, но несопоставимо большую по сравнению с предшествующим временем стал играть собственный опыт натуралистов и их исследования. Ученые, публиковавшие труды в 1560–1590-е гг. продолжили большую описательную программу своих предшественников. Естественная история занималась установлением того, какие виды существовали на свете: их идентификацией, составлением перечней обычных и редких растений и животных, и сбором материалов – текстов, рисунков, экспонатов. Результаты таких трудов обобщались в книгах, каталогах, коллекциях.

Все эти работы были плодами международной переписки внутри новой «сети». Из-за повсеместного введения курсов по *materia medica* число врачей, обученных в сфере естественной истории, сильно увеличилось. Между учеными Южной и Северной Европы существовали прочные корреспондентские связи. Тем не менее, эти объединения еще были далеки от ранних научных сообществ XVII века с их ритуалами и практиками *производства* знания.

Формально естественную историю не преподавали в университетах, как натурфилософию, и поэтому она могла сильно меняться. В изучаемый период многие натуралисты отказались от того, чтобы представлять сферу своих занятий как продолжение медицинских штудий. Между интересами врачей и ученых обозначились расхождения: врачи получили точные рецепты; но исследователи стремились открывать новые виды и изучать их. Как мы убедились, основой этой интеллектуальной сети стала ботаника. Конечно, исследователи изучали и рыб, и насекомых, и рептилий, и птиц, и животных. Но изучение естественной истории в первую очередь было сосредоточено на травах, кустарниках и деревьях. На каждый один трактат о камнях и металлах как у Агриколы “*De re metallica*” или о животных, как у Геснера и Альдрованди, приходилось по несколько «естественных историй» растений.

В последней трети XVI века естественная история сильнее, чем прежде, соединилась с коллекционированием. Сбор редкостей и составление коллекций, как мы сказали выше, – существенно более ранняя практика ренессансной культуры. Вельможи и богатые горожане приобретали диковины, обменивались ими, посылали их в дар. В этой куль-

туре был важен сам факт обладания чудом, как знак символического статуса обладателя; и не столь важно знание о том, что оно собой представляло. Чем дальше, тем большее внимание стало уделяться содержанию коллекции, его упорядочиванию и объяснению.

Европейская культура любопытства при внешнем сходстве проявлений была весьма диверсифицированной. Итальянские ренессансные коллекции отличались от кабинетов диковин по другую сторону от Альп¹⁹. Флорентийские коллекционеры ориентировались на давнюю традицию размещения артефактов в частных кабинетах для ученых занятий (скажем, при экспонировании коллекции предметов из Америки, собранной для Козимо Медичи в Палаццо Веккио). На севере сбор и экспонирование редкостей и чудес носили более публичный характер, и коллекция превращалась в раннюю форму музея, – как происходило с собранием Альбрехта V, герцога Баварского в Мюнхене.

«Коллекционная» естественная история стала страстью вельмож и принцев. Это сказалось на статусе естественноисторических книг, которые сами становились объектом коллекционирования. Так, коллекция Рудольфа II в Праге включала широкое собрание натуралий в дополнение к чудесам и большую подборку книг по естественной истории. Естественная история в пространствах садов и коллекций интерпретировалась как «ковчег» или «микрокосм», включавший представителей всех известных видов и отражавший власть императоров и князей над этим миром. Увлечение патронов коллекциями сказалось и на судьбе натуралистов. Их приглашали для устройства садов, – как Максимилиан II пригласил Клюзия для основания медицинского сада в Вене, – для составления каталогов и объяснения диковин в обширных коллекциях.

Многие ученые – гуманисты, составители гербариев, основатели ботанических садов – сами собирали коллекции необычных и экзотических видов, позволявшие им заниматься наблюдением и описанием редких природных форм. Клюзий помог организовать и ботанический сад в Лейдене, *Hortus Academicus*. Познания Клюзия, его репутация и международные связи помогли ему собрать обширную и редкую коллекцию растений. Несмотря на скромные размеры, сад Клюзия содержал более тысячи различных видов. У Геснера были коллекции растений и окаменелостей; Альдрованди собрал обширную коллекцию натуралий в Болонье. Широко известны современникам были коллекции Феликса Платтера в Базеле (в нее входили минералы, растения, ча-

¹⁹ Turpin. 2006. P. 63–86.

сти растений и животных, насекомых, монеты, древности, рисунки), Олафа Ворма в Копенгагене.

Здесь можно зафиксировать определенное напряжение между обычным и редким в коллекциях и, соответственно, в «естественных историях»; а также между объяснением и удовольствием от коллекционирования. Естественная история имела и эстетическую сторону, помимо прагматической и познавательной; увлечение тем или иным ее аспектом по-разному ориентировало натуралистов. Например, основание сада могло преследовать медицинские цели, или это мог быть сад с редкими видами растений. К ним могли добавляться растения с чисто декоративными функциями. То же самое происходило и с гербариями, и коллекциями, и книгами. Так, Клузий опубликовал две большие работы, истории редких растений Испании, Австрии и Венгрии (“*Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum historia*”, 1576, и “*Rariorum stirpium per Pannonias observatorum Historiae*” 1583), в которых редким растениям отдавался явный приоритет перед обыкновенными.

Систематизация видов в ренессансной естественной истории

В конце XVI века число новых растений, открытых местными ботаниками, путешественниками и исследователями Нового света, резко увеличилось. Описания стали столь многочисленными, что это потребовало выработки принципов систематизации нового знания. Работы, построенные по алфавитному принципу, все еще продолжали публиковаться (примером тому может быть переложение «Истории животных» Геснера на английский язык Уильямом Топселлом, в котором животные «перестроились» в другом порядке, – но лишь в соответствии с грамматикой английского языка).

В естественной истории наметился сдвиг от описания к таксономии и классификации, что с начала XVII века стало характерным признаком сочинений этого научного жанра. Из них постепенно уходит филологический материал, знание о «знаках» отделяется от знания о «вещах». Это, в свою очередь, не помешало Улиссу Альдрованди и его помощникам после его смерти предпринять издание многих томов естественной истории: «Орнитологии» (1599, 1600, 1603), «Семи книг о насекомых» (1602), «Четырех книги об ископаемых животных и окаменелостях» (1606), «Истории всех четвероногих парнокопытных» (1613), «Пяти книг о рыбах и одной о китах» (1613), «Трех книги о живородящих четвероногих и двух книги о яйцекладущих четвероногих» (1637), «Истории змей и драконов в двух книгах» (1640), «Истории монстров с отступлениями об истории всех животных» (1642), «Музея металлов»

(1648), «Двух книги о дендрологии, то есть об истории деревьев» (1668). В них Альдрованди разделял всех животных на десять видов; и, в то же время, именно в этих работах гуманистическое соединение знаков и природных объектов достигло своего апогея.

В начале XVII века постепенно стали ослабляться связи естественной истории и коллекционирования. Своя литература появилась у любителей, собирателей редкостей и чудес. Своя, приближенная к научной, литература – у исследователей мира природы.

В трудах ученых все большее внимание начало уделяться проблемам «точной» систематизации видов, которая опиралась бы на признаки изучаемых объектов. Так, например, оригинальную систематику предложил итальянский врач, ученый и философ Андреа Чезальпино (Чезальпин). В его сочинении «16 книг о растениях» (“De plantis libri XVI”, Флоренция, 1583), помимо уже привычного описания видов растений, была введена сложная система упорядочивания ботанического материала. Она была основана на морфологии растений, строении семян, цветков и плодов. Чезальпин распределил 840 видов по 15 категориям. Сами принципы выделения групп растений не были одинаковыми, отчего система получилась весьма тяжелой. Два первые класса были основаны на свойствах стебля – кустарники и деревья. Они, в свою очередь, разделялись по положению зародыша в семени. Затем описывались травы, которые классифицировались по наличию или отсутствию семян. В семенах ученый усматривал «сердце» растений, и важным признаком считал положение их «души» в сердцевине. Форма плода, завязи, число семян, форма корня и т.п. давали Чезальпину 15 разделов, которые в свою очередь разбивались на 47 секций. Как справедливо отмечено современными исследователями, это, скорее, классификация признаков растений, а не их самих. Тем не менее, эта попытка ярко характеризует само направление движения в естественноисторической мысли.

Существенно более близкая к научной форма описания растений была использована в работах швейцарского анатома и ботаника Каспара Баугина, который, подобно ряду предшественников, совмещал гуманистические занятия с естественноисторическими: некоторое время он был профессором греческого языка в Базельском университете, врачом, первым профессором медицины. Баугин предложил основы классификации растений, описал более 4000 видов растений; одним из первых он ввел и систематически использовал в своих трудах способ краткого наименования растений из двух слов – двойную номенклатуру, предвосхитив гораздо более позднюю систему Карла Линнея.

Такие опыты в систематизации видов в скором времени стали более последовательными. Ботаника еще долго опережала другие области естественной истории – в языке описания, методах исследования, в построении таксономии. Тем не менее, все эти части представляли общую область интеллектуальных занятий.

* * *

В XVI в. изучение природного мира в рамках естественной истории проделало большой путь – от чтения и верификации текстов древних авторов до подробнейшего исследования флоры и фауны европейских стран. Сложившаяся благодаря практическому интересу врачей и эрудитскому знанию книжников-гуманистов, естественная история к концу этого века выделилась в особую область знания. В течение столетия в европейской культуре оформились сообщества натуралистов, людей, не только интересовавшихся старинными книгами по естественной истории, но практиковавших ее как вид исследования, по сути, создавших ее как самостоятельную дисциплину.

У естественной истории как дисциплины в процессе становления не было жестких рамок. Она быстро изменялась с течением времени, включала в себя разные способы познания и репрезентации природного мира. Координаты в этом поле задавали практики гуманистического книжного представления предмета изучения, эмпирического исследования, коллекционирования, а также соотнесения уже известных материалов с новыми данными, поступавшими из Нового Света.

Следующим шагом стала институционализация естественной истории в научных обществах и академиях. В начале XVII века на основе корреспондентских сетей и содружеств натуралистов сложились сообщества ученых, такие как Академия Линчеи, непосредственно посвящавшие свое внимание исследованиям флоры и фауны. В то же время, при всем внутреннем многообразии, ренессансная естественная история, сосредоточенная на узнавании и тщательном описании видов растений и живых существ, сильно отличалась от того, что предложили ученые XVII века.

В XVII в. основной когнитивной проблемой естественной истории стала систематика, возможность построения классификации объектов. К уже известным практикам натуралистов добавились поиски процедур и методов познания природы, а также точного дескриптивного языка; к знанию, основанному на личном опыте, – такое знание, которое требовало изобретения и постановки эксперимента, как, например, в трудах Френсиса Бэкона и Роберта Бойля. С этого же времени формы естественноисторических сочинений диверсифицируются, и к ним добавля-

ются и естественная история страны, и экспериментальная естественная история. В XVII в. из множества разных версий «естественных историй» начали выделяться те, что впоследствии стали своеобразными ту-пиковыми ветками (например, эстетизированное знание любопытствующих дилетантов); другие же, спустя время, стали рассматриваться как прямые предшественники современных наук о природе.

БИБЛИОГРАФИЯ

Источники

- Аристотель*. История животных. М., 1996.
- Феофраст*. Исследование о растениях / Пер. и примеч. М. Е. Сергеев / Под ред. И. И. Толстого и Б. К. Шишкина. (Серия «Классики науки»). Рязань: Александрия, 2005.
- Alciato A. Viri Clarissimi D. Andreae Alciati ... Emblematum Liber*. Augsburg, 1531.
- Aldrovandi U. De animalibus insectis libri septem*. Bononiae, 1602.
- Idem. De piscibus libri 5*. Bononiae, 1613.
- Idem. De reliquis animalibus exanguibus libri quatuor*. Bononiae, 1606.
- Idem. Dendrologiae naturalis scilicet arborum historiae libri duo*. Bononiae, 1668.
- Idem. Historia serpentum et draconum*. Bononiae, 1640.
- Idem. Monstrorum historia cum Paralipomenis historiae omnium animalium*. Bononiae, 1658.
- Idem. Musaeum metallicum in libros IV*. Bononiae, 1648.
- Idem. Ornithologiae*. Bononiae, 1599.
- Bacon F. Of the Proficiency and Advancement of Learning, Divine and Human*. L., 1605.
- Barbaro E. Castigationes Plinianaе*. Rome, 1492.
- Bauhin C. Pinax theatri botanici*. Basel, 1596.
- Belon P. Histoire naturelle des estranges poissons*. Paris, 1551.
- Bock H. Kreutterbuch darin unterscheidt Nammen und Würckung der Kreütter, Stauden, Hecken und Bäumen, mit ihren Früchten, so in Teutschen Landen wachsen*. Strassburg, 1539.
- Brunfels O. Herbarum vivae icones ad naturae imitationem summa cum diligentia et artificio effigiatae*. Strassburg, Vol. 1–3. 1530–1536.
- Camerarius J. Symbolorum & emblematum ex animalibus quadrupedibus desumptorum centuria altera*. Noribergae, 1595.
- Cesalpinus A. De plantis libri XVI*. Florentiae, 1583.
- Clusius C. Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum historia*. Antverpiae, 1576.
- Idem. Rariorum stirpium per Pannonias observatarum Historiae*. Antverpiae, 1583.
- Cordus V. Historia Plantarum*. Vol. 1–5. Tiguri, 1544.
- Dioscorides Pedanius. Dioscorides: De Materia Medica* / Ed. by T. A. Osbaldeston, R. Wood. Ibis Press, 2000.
- Dodoens R. Cruydeboeck*. Antverpiae, 1554.

- Idem.* Stirpium historiae pemptades sex. Antverpiae, 1583.
Fuchs L. De historia stirpium commentarii insignes. Basel, 1542.
Gessner C. Bibliotheca universalis. Tiguri, 1545.
Idem. Catalogus plantarum. Tiguri, 1542.
Idem. Conradi Gesneri Historiae animalium libri. Vol. 1–5. Tiguri, 1551-1558.
Idem. Descriptio Montis Fracti sive Montis Pilati. Tiguri, 1555.
Idem. Enchiridion historiae plantarum. Tiguri, 1541.
Idem. Mithridates de differentis linguis. Tiguri, 1555.
Leonicensio N. Nicolai Leonicensi... De Plinii et aliorum medicorum erroribus liber. Ferrariae, 1509.
Lyte H. A new herbal, or historie of plants. London, 1578.
Mattioli P. Petri Andreae Matthioli medici Senensis Commentarii, in libros sex Pedacii Dioscoridis Anazarbei de medica materia. Venedig, 1554
Plinius Secundus. Caii Plinii Secundi Naturalis Historiae... Venice, 1495.
Zabarella J. De rebus naturalibus. Cologne, 1590.

Литература

- Старостин Б. А.* Аристотелевская «история животных» как памятник естественно-научной и гуманитарной мысли // *Аристотель. История животных.* М., 1996.
Allen D. E. Natural History and Visual Taste: Some Parallel Tendencies // *The Natural Sciences and the Arts.* Uppsala, 1985.
Ashworth W. B. Emblematic natural history of the Renaissance // *Cultures of Natural History.* Ed. N. Jardine, J. A. Secord, E. C. Spary. Camb., 1996.
Bono J. The Word of God and the Languages of Man: Interpreting Nature in Modern Science and Medicine. 1996.
Curiosity and Wonder from the Renaissance to the Enlightenment / Ed. By R. J. W. Evans, A. Marr. 2006.
Daston L., Park K. Wonders and the Order of Nature, 1150-1750. Zone books, 1998.
Eamon W. Science and the Secrets of Nature: Books of Secrets in Medieval and Early Modern Culture. Princeton University Press, 1994.
Grendler P. F. The Universities of the Italian Renaissance., 2002.
Historia: Empiricism and Erudition in Early Modern Europe / Ed. by Gianna Pomata and Nancy G. Siraisi. Camb. (Mass.), 2005.
Ogilvie B. The Science of Describing. Natural History in Renaissance Europe. Chicago, 2006.
Turpin A. The New World collections of Duke Cosimo I de' Medici and their role in the creation of a *Kunst-* and *Wunderkammer* in the Palazzo Vecchio // *Curiosity and Wonder from the Renaissance to the Enlightenment / Ed. By R. J. W. Evans, A. Marr.* 2006.
Зверева Вера Владимировна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН; zverka@mail.ru.

Е. Ю. ВАНИНА

«ПРОСВЕЩЕННЫЕ ФИЛОСОФЫ» И «СОТОВАРИЩИ ИИСУСА»

ПЕРВЫЙ КОНТАКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ ИНДИИ И ЗАПАДА

В статье анализируется деятельность миссий ордена иезуитов в империи Великих Моголов, при дворе императора Акбара (конец XVI в.). Дискуссии иезуитов с «просвещенными философами» – рационалистами и вольнодумцами, составлявшими окружение государя-реформатора, впервые объявившего в своей империи свободу вероисповедания, представляют интереснейший пример контакта двух интеллектуальных сообществ и опровергают многие стереотипы о «противостоянии Запада и Востока».

Ключевые слова: иезуиты, Моголы, Акбар, «просвещенные философы», рационализм, католицизм, миссионерство, ислам, индуизм.

Для древних и средневековых европейцев Индия всегда находилась где-то далеко, на краю света, почти в преддверии – рая или ада. Такой же далекой была и Европа на интеллектуальном горизонте образованных индийцев. Впрочем, разделявшие Индию и Европу огромные расстояния, горы, пустыни, морские просторы не смогли стать непреодолимым препятствием для торговых и культурных контактов. Индийские товары, особенно пряности, красители, ткани и изделия из слоновой кости, пользовались успехом в городах Римской империи: знаменитая статуэтка богини Лакшми из Помпей является ярким, но далеко не единственным доказательством. Раскопки римской фактории в южноиндийском местечке Арикамеду и найденные там в большом количестве римская керамика, изделия из стекла и монеты свидетельствуют о том, что и европейские товары находили покупателей в Индии: римской керамике, как обнаружили археологи, даже подражали местные мастера. Поход в Индию Александра Македонского и существование на рубеже н.э. в Западной Индии так называемых индо-греческих династий также во многом способствовали контактам Индии с греко-римским миром и его культурой. Сообщения греко-римских авторов последующих веков оставались для европейцев ценнейшим, востребованным вплоть до XIX в., источником информации о далекой и экзотической стране. В самой Индии от *яванов* (греков) и *ромаков* (рим-

лян) заимствовали определенные постулаты астрономии и математики, технические приемы в архитектуре и чеканке монет; греко-римское влияние ощутимо в некоторых направлениях скульптуры (особенно знаменитая Гандхарская школа), прикладного искусства и т.д.¹

В Средневековье, как хорошо известно, характерные для большинства обществ в эту эпоху замкнутость, ограниченность и господство религиозной ортодоксии, в соединении с другими препятствиями, еще значительно отдалили Индию и Европу друг от друга, сделав контакты между ними более затруднительными. В Индии членам высших каст, особенно представителям интеллектуальной элиты – брахманам, запрещалось совершать морские путешествия, грозившие ритуальным осквернением. Традиционные школы брахманской учености замкнулись в собственной среде, развивая и доводя до совершенства наработки ученых предшественников. Наиболее дальновидным и неординарно мыслящим, однако, эти запреты полностью помешать не могли. Общаясь с учеными брахманами и сетуя на их ограниченность и самоуверенность, великий хорезмиец Абу Рейхан ал-Бируни все же процитировал высказывание прославленного индийского астронома и математика Варахамихиры (VI в.) о том, что «греки, хотя и нечистые, должны быть почитаемы, так как они стали искусны в науках и превзошли в них других». И далее Бируни, уже на основе собственных впечатлений, отметил: «Индийцы всегда признавали, что достижения греков в науках превосходят то, что самим им удалось достигнуть в них»².

Хотя первые христианские общины появились в Южной Индии еще во II–III вв., индийцы узнали о христианстве по-настоящему с установлением на значительной части субконтинента власти мусульманских феодалов – выходцев из Средней Азии, Афганистана и Ирана, которые в начале XIII в. основали в Северной Индии Делийский султанат. Мусульманские проповедники учили свою паству почитать «*хазрата* Ису и *биби* Мариам»³. О том, что индийские мусульмане (в большинстве, обращенные индусы) получали некоторые знания о христианской вере – видимо, от арабских единоверцев, контактировавших с Западом, – сви-

¹ См. подробнее: *Бонгард-Левин и Ильин*. 1985. С. 591–595. *Halbfass*. 1990. P. 2–24.

² *Бируни*. 1995. С. 68.

³ *Хазрат* – араб. «господин», «владыка», обычный эпитет святых и пророков. *Биби* – перс. «госпожа». В исламе Иисус почитается как пророк, один из «предтеч» Мухаммада (но не как сын божий), его мать – как образец женской чистоты и святости.

детельствует сборник новелл «Жемчужины бесед» (начало XIV в.)⁴. Его автор, Имад ибн Мухаммад ан-Наари, нередко делает своих персонажей христианами и излагает ту информацию, которой располагали индусы и мусульмане его эпохи: он, например, правильно называет символ христианской веры – крест, упоминает монахов, говорит об их святости и сокровенных знаниях, но, вместе с тем, приписывает им многие обряды и обычаи брахманов, например, ношение священного шнура⁵.

В Европе, как показали многие исследователи, знания об Индии также были весьма скудными: на первом глобусе, созданном знаменитым немецким ученым Мартином Бехаймом в 1492 г., Индия отсутствовала вообще. Долгое время она оставалась для европейцев волшебной страной, откуда, через монополизировавших морскую торговлю по Аравийскому морю арабских купцов, поступали пряности, красители, недостижимые для европейцев по качеству и красоте ткани из хлопка и шелка, иные диковинные товары. Там жили сказочные чудовища, птица Феникс и «люди с песьими головами», там царствовал легендарный поборник христианства Иоанн-пресвитер, там, наконец, на многих средневековых картах находился рай или, по крайней мере, вход в него.⁶ Несмотря на все трудности, в средние века Индию посетили несколько западноевропейских путешественников (Марко Поло, Одорико Порденоне, Джорданус Каталани, Николо Конти, Херонимо ди Санто Стефано и др.), а также наш соотечественник Афанасий Никитин. Интересуясь, главным образом, «чудесами» и индийскими товарами, они, по мере своих крайне ограниченных возможностей (прежде всего, это казалось знания индийских языков)⁷, вторгались и в сферу идей, описывая для своих читателей все то, что смогли увидеть и понять о религиозной и культурной жизни индийцев. Помимо этого, идеи и литературные сюжеты путешествовали, несмотря на все преграды: читая «Декамерон», любой индолог обнаружит там много знакомого по «Панчатантре»⁸ и средневековым сборникам «обрамленных повестей».

⁴ Этот сборник представляет собой первый известный перевод на фарси знаменитой санскритской «обрамленной повести» «Семьдесят сказок попугая».

⁵ *Имад ибн Мухаммад ан-Наари*. 1985. С. 16, 52, 159.

⁶ *Ле Гофф*. 2000. С. 169–176.

⁷ См. подробнее: *Ванина*. 2008.

⁸ Путь «Панчататры» на Запад хорошо известен ученым: *Бонгард-Левин и Ильин*. 1985. С. 575.

Воины, торговцы, миссионеры

Однако непосредственный интеллектуальный контакт между индийцами и европейцами стал возможен лишь после захвата португальцами на западном побережье Индии ряда территорий с центром в Гоа и основанием *Estado da India*⁹. Португальских колонизаторов привлекали в Индии две, казалось бы, несовместимые цели: пряности и распространение «истинной католической религии». Вторая задача считалась подчас даже более важной, чем первая, и деятельность миссионеров, начиная с канонизированного Франциска Ксаверия, воспринималась как религиозный долг по просвещению «язычников» («излечение» их от грехов, порождаемых жарким климатом и «ложной верой»)¹⁰ и как политическая миссия по расширению сферы влияния португальской короны. И то, и другое удавалось португальцам с огромным трудом: индийские государи, интересы которых страдали от португальской агрессии (пользуясь своим превосходством на море, португальцы откровенно пиратствовали, блокировали торговлю и перевозку паломников в Мекку по Аравийскому морю), были в большинстве настроены враждебно; «язычники» упорно не желали «излечиваться», и даже те, кто под давлением или из корысти принимал христианство, потихоньку возвращали в свой быт прежние традиции и обычаи. Такое отступничество, как и упорство в «язычестве», португальцы карали с чудовищной жестокостью. В 1560 г. власти Гоа познакомили туземное население с таким достижением европейской цивилизации, как Аутодафе. Не случайно в индийской литературе вскоре появились специальные тексты, разоблачавшие злодеяния «франков» и их религию¹¹.

Именно неудачи португальских колониальных властей в деле обращения индийцев в христианство и сообщения о «нестойкости в вере» обращенных привели в Индию Франциска Ксаверия – одного из тех, с кем Игнатий Лойола основал орден иезуитов, а затем и других «сотоварищей Иисуса». Сначала сфера деятельности католических миссионеров, направлявшихся в Индию орденом иезуитов, наиболее активно действо-

⁹ См. подробнее: *Хазанов*. 2007.

¹⁰ См. подробнее: *Жирапов*. 2005. Р. 8–16.

¹¹ Самым ранним считается «Некоторые истории о португальцах в дар воинам за веру» малабарского мусульманина Шейха Зайн уд-дина (вторая половина XVI в.), в котором приход в Южную Индию кровожадных португальцев, насильно обращавших туземцев в свою веру, расценивается как кара божья местным мусульманам за их грехи. См. подробнее: *Subrahmanyam S. Taking Stock of the Franks...* Р 72–74.

вавшем в то время во многих странах Азии, ограничивалась самим Гоа, его окрестностями и рядом районов Южной Индии (именно там, среди ловцов жемчуга – параваров, развернул свою деятельность Франциск Ксаверий). Но, разумеется, мимо внимания Ордена не могло пройти самое мощное государство тогдашней Индии – империя Великих Моголов.

Отношения с империей Моголов у *Estado da India* складывались весьма непросто и противоречиво: в одних случаях – конфликтно (ситуация особенно обострилась тогда, когда могольская армия окончательно присоединила к империи Гуджарат, богатые порты и торговые города которого португальцы стремились ввести в сферу своего влияния¹²; раздражала португальцев и активная экспансия империи на Юг), в других – более или менее мирно, ибо обе стороны были заинтересованы в развитии морской и сухопутной торговли¹³. Гоа неоднократно посещали посланцы могольского падишаха Акбара, привозя оттуда различные европейские диковины¹⁴, а в 1578 г. при его дворе в Агре был благосклонно принят португальский посол Антониу Кабрал; он неоднократно беседовал с императором о христианстве и рассказывал ему о благочестии и учености отцов-иезуитов. Отправившись обратно, посол увез с собой специальное послание Акбара с просьбой «послать ко мне двух падре¹⁵, знатоков священного писания [христиан], которые бы привезли с собой главные книги и Евангелия, ибо я имею великое желание познакомиться с этим [христианским. – Е. В.] законом и его совершенствами... Знайте также, что падре, которые приедут сюда, будут приняты со всеми почестями, и я с особым удовольствием встречу с ними. Если, после того как мне будут объяснены этот закон и все его совершенства, как я того желаю, они захотят вернуться [в Гоа], им не будет чиниться никаких препятствий, и я отпущу их с уважением и великой честью. Пусть они приезжают без колебаний, ибо они будут находиться под моей заботой и защитой»¹⁶.

¹² В 1537 г. независимый правитель Гуджарата, султан Бахадур-шах, был убит португальцами во время переговоров с Нино да Кунья, португальским губернатором Гоа.

¹³ См. подробнее: *Subrahmanyam S. Explorations in Connected History...* P. 79–103.

¹⁴ Одной из таких диковин был орган; вскоре первый органный концерт состоялся при дворе Акбара, к «полному удовольствию», по сообщению индийского хрониста, императора и его свиты.

¹⁵ На многих индийских языках слово *padri* до сих пор означает любого христианского священника.

¹⁶ *Du Jarric. 1926. P. 17; The Commentary of Father Monserrate... P. 2.*

В 1582 г. первая миссия, состоявшая из иезуитов Рудолфо Аквививы, Антониу де Монсеррате и переводчика, обращенного в католичество иранца Францишку Энрикеша, направилась ко двору Акбара. Цель, поставленная перед миссией, была предельно конкретна: добиться обращения в католичество самого императора и его приближенных. Оба отца-иезуита отличались аристократическим происхождением и ученостью¹⁷. Они отправились в могольскую столицу Агру как миссионеры и, не менее важно, представители «сотоварищей во Христе»: одновременно религиозной организации и, по крайней мере, на уровне элиты – интеллектуального сообщества высокообразованных католических теологов и схоластиков, блестящих полемистов, просветителей и ораторов, которые тогда и впоследствии составляли славу ордена иезуитов. Иезуиты ехали в Агру, равно готовые как к небывалому триумфу, который ждал их в случае обращения в католичество одного из самых могущественных мусульманских государей, так и к мученическому венцу. Однако никто из преподобных отцов не мог предвидеть, в какой атмосфере им придется осуществлять свою миссию при дворе императора, который, как оказалось, стоял во главе другого интеллектуального сообщества – «просвещенных философов».

Акбар и «просвещенные философы»

Джалал уд-дин Мухаммад Акбар (1542–1605), с 1556 г. правивший империей Великих Моголов¹⁸, был третьим императором династии, основанной в 1527 г. правителем Самарканда и Ферганы Бабуром. Он до сих пор остается в историческом сознании индийцев одним из наиболее уважаемых персонажей средневековья. Унаследовав от деда, талантливого завоевателя и поэта, и совершенно бездарного отца только несколько провинций Северной Индии, признававших власть Моголов лишь формально и не связанных сколько-нибудь внятной администра-

¹⁷ Рудолфо Аквивива был сыном герцога Атрийского; его дядя был в то время генералом ордена иезуитов. О происхождении Антониу де Монсеррате, кроме того, что он с детства находился в одном из лиссабонских монастырей и был весьма образованным и отважным монахом, самоотверженно помогавшим больным во время эпидемии чумы, почти ничего не известно. Высокий уровень образованности, как духовной, так и светской, был одной из наиболее характерных черт сообщества иезуитов: во всей Западной Европе, а также в американских и азиатских колониях, славились основанные орденом школы и колледжи.

¹⁸ Кстати, само название «Великие Моголы» было впервые введено португальцами. В самой Индии моголами назывались члены военно-феодального сословия мусульман.

тивной системой, он за неполных 50 лет своего властвования смог расширить империю в несколько раз, включив в нее богатейшие территории Бенгалии и Гуджарата, славные как высоким уровнем сельского хозяйства, так и богатыми городами – центрами ремесел и торговли¹⁹. В состав империи вошли также «земной рай» – Кашмир, несколько богатых районов Центральной Индии; южная граница проходила по северу современной Махараштры. На этой обширной территории Акбар осуществил ряд административных и экономических реформ: создал эффективный аппарат центральной власти и провинциального управления, ввел единую систему мер, весов и денежного обращения, перевел земельный налог из натуральной формы в денежную, что заметно стимулировало рост товарно-денежных отношений, отменил ряд наиболее разорительных пошлин с купцов, даже попытался, хотя и неудачно, ликвидировать военно-ленную систему и превратить служилую знать в чиновников на жаловании. Объективной целью этих реформ было превращение рыхлого и слабого государственного образования в сильное централизованное государство²⁰.

Однако подлинным достижением Акбара, обеспечившим ему почетное место в исторической памяти индийцев, была его религиозная политика. Будучи первым из Моголов, родившимся в Индии, он ощущал себя индийцем, но при этом осознавал, что является отпрыском чужеземных завоевателей, чуждых не только индусам, но и местным мусульманам – как потомкам завоевателей первой волны, создавших в Индии (XII–XV в.) Делийский султанат и целый ряд мусульманских княжеств на его обломках, так и множеству обращенных в ислам индусов. Все мусульманские государи, правившие в Индии до Акбара, были представителями только мусульманской элиты и защитниками ее интересов: вся внутренняя политика строилась по канонам мусульманского права; «неверным» же оставалось рассчитывать только на терпимость завоевателей – нужно признать, что, несмотря на отдельные проявления фанатизма, в значительном большинстве они были терпимы, хорошо понимая невозможность религиозной войны с «неверными», составлявшими абсолютное большинство населения.

Осознавая, что создать единое централизованное государство при опоре только на мусульманскую элиту невозможно, Акбар принял ряд мер, чтобы заручиться поддержкой индусской феодальной элиты (прежде

¹⁹ Столицу Гуджарата Ахмадабад, население которого в XVII в. приближалось к миллиону, европейцы называли «Генуей Индии».

²⁰ См. подробнее: Антонова. 1952; Ванина 1993. С. 33–45.

всего, индусского военно-феодалного сословия Северной Индии – раджпутов) и купечества. Он отменил предписанный шариатским правом особый налог с «неверных» (*джизия*) и еще более унижительный налог на индусских паломников. Браки (самого Акбара и его сыновей, затем и внуков) с раджпутскими княжнами обеспечили императору лояльность раджпутской знати, для которой узлы родства были священными²¹. Конные дружины раджпутских кланов стали основой могольской кавалерии, индусская знать была выдвинута на почетные места в государстве.

Стремясь сделать государство одинаково «своим» для индусов и мусульман, Акбар повелел отмечать при дворе праздники всех основных религий Индии: доводя до бешенства ортодоксальных мулл, он появлялся на приемах с *тилаком* – индусским ритуальным знаком на лбу, участвовал в зороастрийских обрядах почитания Солнца, беседовал с учеными брахманами, буддистами, джайнами, дружески общался с гуру сикхов и защищал последних от обвинений со стороны ортодоксальных брахманов²². При дворе была создана Палата переводов: совместными усилиями индусских и мусульманских ученых и поэтов на доступный образованным мусульманам фарси переводились священные тексты, научные сочинения и литературные произведения индусов. Цель, как подчеркнул в предисловии к переводу «Махабхараты» министр, биограф и личный друг императора, главный идеолог его реформ Абу-л

²¹ Согласно раджпутскому праву, клан невесты переходил в вассальную зависимость от клана жениха и должен был всегда оказывать ему военную поддержку. Знатным раджпуткам, вступавшим в брак с могольскими принцами, гарантировалось право исповедовать свою религию и соблюдать все обычаи родной семьи. Именно они, приезжая в Агру вместе со свитой родственников и прислуги, становились главными проводниками раджпутского влияния при могольском дворе и одновременно могольского влияния на раджпутскую знать. Так было положено начало процессу, в результате которого два военно-феодалных сословия, индусское и мусульманское, фактически объединились в Северной Индии. См. подробнее: *Ванина 2007*. С. 193–197.

²² С точки зрения брахманов, сикхи, отрицавшие кастовое неравенство и критиковавшие индусский культ, были еретиками. В 1571 г. Акбар посетил в Пенджабе гуру сикхов Амардаса, разделил с ним и его учениками трапезу (это было условием, без выполнения которого встреча с гуру была невозможна, даже для императора не сделали исключения) и, уезжая, пожаловал сикхской общине земли, на которых впоследствии был воздвигнут город Амритсар с всемирно знаменитым Золотым храмом. На жалобу брахманов, обвинивших сикхов в ереси и оскорблении индуизма, Акбар ответил в резкой форме, посоветовав жалобщикам не досаждать по пустякам государю, который не желает вмешиваться в убеждения своих подданных. См.: *Антонова. 1952*. С. 251.

Фазл Аллами, состояла в том, чтобы «люди могли отбросить слепую вражду и доискиваться правды»²³.

Всем подданным империи гарантировалась свобода вероисповедания. Впервые в истории Индии, да и, насколько известно, всего средневекового мира, Акбар отказался делить религии на «истинную» и «ложную», а подданных и вообще людей – на «истинно верующих» и «неверных». Целью политики государства было объявлено не благо мусульман, не поддержание шариатского уклада, а *сулх-е кул*, т.е. «мир для всех», всеобщее благо. «С самого начала, – писал Акбар иранскому шаху Аббасу, – мы были настроены не принимать во внимание различия в религиозных доктринах и считать все народы слугами божьими. Следует заметить, что благодатью господней отмечены все религии, и необходимо приложить всевозможные усилия, чтобы достичь вечно цветущих садов мира для всех»²⁴.

Идеи «мира для всех» опирались, с одной стороны, на традиции средневековых мистиков, индусских (*бхактов*) и мусульманских (суфиев), проповедовавших веру в единого для всех Бога-абсолюта и разоблачавших религиозный фанатизм,²⁵ с другой – на идейные течения, получившие распространение сверху, в среде образованной элиты. Эти мыслители самым решительным образом выступили против религиозной розни, фанатизма, дискриминации «неверных». Именно здесь, среди неортодоксально мыслящей элиты, окружавшей императора, распространились воззрения, сторонники которых получили у современников прозвание «просвещенные философы». Проповедуемую мистиками идею равной истинности всех религий и равенства всех людей перед богом они обосновали и развили, исходя из принципов рационализма. «Лишь та вера истинна, которую одобряет разум»²⁶, – эти слова Акбара, переданные Абу-л Фазлом, стали главным принципом сообщества «просвещенных философов». Помимо самого Акбара, к этому кругу принадлежали Абу-л Фазл Аллами, его отец, известный мусульманский ученый Шейх Мубарак, и брат Файзи, крупнейший персоязычный поэт времен Акбара; другие ученые, поэты, государственные деятели – мусульмане и индусы.

«Просвещенные философы» строили свою аргументацию на трех основных постулатах. Во-первых, они подвергали научному исследова-

²³ Rizvi. 1950. P. 198–201.

²⁴ Haidar. 1998. P. 96–97.

²⁵ См. подробнее: Ванина. 1993. С. 56–63.

²⁶ Abu-l Fazl Allami. 1978. P. 426–427.

нию догматы индуизма, ислама, других религий и обнаруживали, что различные вероучения имеют много общего, прежде всего с точки зрения этики, морали и т.д. Главную свою задачу они видели в том, чтобы доказать, что индуизм не является языческой религией и проповедует, пусть в специфической форме, то же единобожие, что и ислам. Даже чисто звуковое сходство слова *алакх* (букв. Незримый, одно из принятых в индуизме обозначений бога) со словом «Аллах» или схожесть звучания имен «Рам» и «Рахим»²⁷ были для них свидетельством в пользу того, что индуизм и ислам не противоречат друг другу, являются хоть и разными, но равными путями к богу.

Во-вторых, рационалистический подход к различным религиям обнаруживал, что ни одна из них не свободна от неразумных обычаев и устаревших догм. Так в «Сокровищнице религий» (середина XVII в.), доводы одного из «просвещенных философов» изложены так: «В священном законе есть положения, которые с точки зрения разума кажутся ложными или дурными: беседы [человека] с богом, воплощение бога в качестве человека или черепахи, паломничества к какому-либо зданию, лобызание черного камня²⁸». И далее: «Вероучитель дает людям указания, которые для низов непонятны, а для образованных – противоречат разуму, поэтому он распространяет религию с помощью меча. Во всех священных книгах есть много противоречий»²⁹. Отсюда следовал третий постулат, звучавший в устах Шейха Мубарака так: «Нет веры, которая не была бы в чем-то ошибочной, нет веры, которая была бы абсолютно ложной, и если кто-либо искренне сочувствует религии, которая отлична от него собственной, не следует осуждать его за это»³⁰. Сам Абу-л Фазл резко критиковал религиозную рознь, сетуя на то, что из-за апатии власть имущих каждая секта «фанатически предана своей вере... каждый считает свою религию единственно правильной, и преследование тех, кто чтит бога на собственный лад, пролитие их крови и унижение их достоинства стали символами ортодоксальности... Но если чуждая доктрина хороша, то за что же проливать кровь ее адептов? А если,

²⁷ Рам (Рама) – герой «Рамаяны», земное воплощение бога Вишну в образе справедливого и доблестного героя. Рахим – «милосердный», один из эпитетов Аллаха.

²⁸ «Воплощение бога в качестве человека или черепахи» – выпад в сторону индуизма с его концепцией *аватар*, земных воплощений бога. Черный камень – имеется в виду Кааба, выпад в сторону ислама.

²⁹ The Dabistan or a School of Manners... P. 78–84.

³⁰ Rizvi. 1975. P. 100.

наоборот, дурна, то люди, ставшие жертвой обмана, заслуживают сострадания, а не вражды и истребления»³¹.

Такие и подобные речи часто звучали в «Доме молитв», построенном в 1575 г. по приказу Акбара для суфийских радений и превращенном в своеобразный дискуссионный клуб, где в присутствии самого Акбара ученые, священнослужители, поэты различных стран и вероучений обсуждали проблемы бытия и религии. Часто эти дискуссии заканчивались скандалами и драками, что, по свидетельству Абу-л Фазла, вызвало у императора еще большее, чем раньше, отвращение к религиозной ортодоксии и поэтому «фанатичные улемы³² и последователи традиций были посрамлены»³³. «Просвещенные философы» отрицали не только авторитет священных книг, но и древних традиций. «Не нуждается в доказательствах то, что следовать законам разума похвально, а рабски подражать другим – дурно, – говорил сам Акбар. – Если бы подражание было достоинством, то все пророки следовали бы своим предшественникам [т.е. ни один не смог бы основать новую религию. – Е. В.]... Многие глупцы, поклонники традиций, принимают обычаи древних за указания разума и тем самым обрекают себя на вечный позор»³⁴.

Итак, религиозная реформа Акбара имела своей подоплекой не только политические соображения, но и духовные искания как широких масс народа, так и образованной, рационалистически мыслящей элиты. И те, и другие были недовольны «официальной» религией. Но если простые люди обращались к многочисленным проповедникам мистических течений, то для единомышленников Акбара было нужно что-то иное. Так появилась знаменитая *дин-и иллахи*, «божественная вера».

Со времен Акбара до наших дней споры об этом любопытном явлении духовной культуры Индии не утихают. Враждебно настроенные к Акбару историки, а также миссионеры-иезуиты, обвиняли Акбара в стремлении основать новую веру и объявить самого себя богом или пророком³⁵. Во многих исторических работах наиболее распространено следующее мнение: стремясь объединить страну, Акбар попытался создать новую, синкретическую религию, включавшую элементы различных вероучений. Эта искусственная религия не стала массовой и ненадолго пережила основателя³⁶.

³¹ *Abu-l Fazl Allami*. 1979. P. 366.

³² *Улемы (улама)* – мусульманские ученые, знатоки теологии и права.

³³ *Abu-l Fazl Allami*. 1979. P. 366.

³⁴ *Abu-l Fazl Allami*. 1978. P. 427–428.

³⁵ *Jarric*. 1926. P. 69.

³⁶ *Антонова*. 1952. С. 257–260; *Гордон-Полонская*. 1963. С. 34–36.

На самом деле, документы не подтверждают стремление Акбара ввести новое вероучение взамен старых, равно как и желание сделать «религию» массовой. Напротив, Акбар препятствовал широкому распространению *дин-и иллахи* и сохранял круг последователей весьма узким, создавая различные «затруднения» для целой армии желающих. Да и сама идея ввести новую веру в условиях Индии была бы изначально нереальной. *Дин-и иллахи*, насколько сейчас известно, не имела ни концепции бога и мироздания, ни мифологии, ни священного писания. Главный принцип, ставший основой учения, был тот же, что и у реформ Акбара, и у «просвещенных философов»: все религии равно законны, все, что разумно – истинно, и от бога. Рационализм стал важнейшим постулатом *дин-и иллахи*. Большинство же установлений нового учения касается поведения адептов. Им предписывалось не «растрчивать жизнь на то, что противоречит разуму», не заниматься схоластикой, теологией и т. д., но посвящать свое время занятиям астрономией, математикой, физикой, другими реальными науками. Адепты *дин-и иллахи* давали клятву никогда не питать вражды к последователям иных религий и не оскорблять их чувств, не обращать никого насильственно в свою веру, не есть мясо, но не препятствовать другим делать это, соблюдать моногамию, не вступать в браки с несовершеннолетними (это положение было направлено против весьма распространенного среди индусов и мусульман обычая детских браков). Вместо поминальной трапезы (данный обычай был назван неразумным, поскольку главный герой торжества, покойный, не мог насладиться пиром) подобало отмечать дни рождения.

Все эти нормы прямо не противоречили ни индуизму, ни исламу, но зато во многом нарушали те традиции, которые считались у «просвещенных философов» неразумными. Более того, вступление в число адептов *дин-и иллахи* не предполагало, как выясняется из документов, отказа от той религии, в которой человек был воспитан. Клятва, которую давал посвящаемый, включала такую формулу: «Я освобождаю и отторгаю себя от догматической веры моих отцов»³⁷, что означало не отступничество от религии предков, а отказ от неразумных обрядов и обычаев, фанатизма. Арабское слово *таклид*, означавшее «слепое подражание», «следование традиции», «повиновение»³⁸ стало ключевым для «просвещенных философов» как главная цель их критических нападок. «С незапамятных времен любознательность ограничивалась, а дух

³⁷ Rizvi. 1975. P. 391.

³⁸ Буквальное значение – состояние животного, ведомого на веревке, продетой в ноздри или в ошейник.

исследования воспринимался как предтеча неверия. Все, что воспринято от отца, начальника, родича, друга или соседа, считается полученным с божьего соизволения, а нарушителя обвиняют в аморальности и ереси», – писал Абу-л Фазл и с горечью отмечал: «Многие просвещенные люди нашего поколения признают неразумность такого поведения у других, но сами ни на шаг не отойдет от сложившейся практики»³⁹.

Дин-и иллахи, по-видимому, представляла собой синкретическое реформаторское учение, а его последователи – интеллектуальное сообщество «просвещенных философов», нечто среднее между духовным орденом, главой которого выступал сам император, и клубом образованных, свободомыслящих представителей знати. О том, как воспринималось это учение в более широких кругах, свидетельствуют обращенные к Акбару строки не принадлежавшего ко двору поэта Алама:

Вы – гуру, весь мир – Ваши ученики.

Правите Вы справедливо, ведя индусов и мусульман по пути истины⁴⁰.

Разумеется, духовные новации Акбара, его религиозная политика не могли не восприниматься враждебно фанатиками обеих религий, особенно высшим мусульманским духовенством. Хронист Бадауни, автор оппозиционной Акбару хроники «Избранные даты» и неумолимый критик всех его реформ, был вынужден по приказу императора участвовать в переводе на фарси «Махабхараты». Это казалось ортодоксальному мусульманину таким ужасным грехом, что всякий раз, вернувшись домой после этой работы, он «очищал» себя омовением, молитвами и переписыванием Корана. Шейхи и *улеме*, вместе с некоторыми феодалами-мусульманами, оскорбленными возвышением «неверных», активно участвовали в восстаниях и заговорах против власти Акбара, они публично обвиняли падишаха в предательстве ислама, в отступничестве от «истинной веры», призывали подданных не повиноваться ему.

Духовный глава оппозиции, образованный и талантливый Шейх Ахмад Сирхинди, рассылал повсюду гневные послания, обличал «новшества» и требовал «защиты ислама», заявляя: «Неверие [т.е. неислам. – Е. В.] и истинная вера противоположны друг другу... Кто уважает кафиров [неверных. – Е. В.], унижает мусульман». Шейх Ахмад требовал восстановить *джизию*, отменить введенный Акбаром запрет на убой коров, вернуть мусульманам привилегированный статус. Реформы Ак-

³⁹ *Abu-l Fazl Allami*. 1978. P. 4–5.

⁴⁰ *Dvivedi*. 1953. P. 184.

бара, особенно в сфере религии, вызвали раскол в среде мусульманской интеллигенции. Трещина идейного конфликта пролегла через семейные, родственные, дружеские отношения, навсегда разлучив близких людей. Описывая мучительную смерть поэта Файзи (от чахотки или рака легких, в 50-летнем возрасте), историк Бадауни не скрывал радости, что «этот мир покинула мерзкая собака», а бывший друг умершего и некогда активнейший участник его литературного салона⁴¹, Шейх Абд ул Хакк Мухаддис, заявлял, что «даже язык истинно верующих мусульман стыдится произносить имя Файзи и его бесчестных сторонников»⁴². «Просвещенные философы», в свою очередь, платили борцам за «чистоту веры» той же монетой, называя их «тупоголовыми невеждами и фанатиками»⁴³. Незадолго до смерти Файзи также нанес идейным противникам удар в едкой эпиграмме⁴⁴:

Неислам и ислам — все едино на взгляд просвещенных людей.
Ведь и храм, и Кааба — лишь мертвые камни по сути своей.
А фанатики шествуют днем со свечой неустанно.
На дороге к Всевышнему грабят они караваны...

[Перевод мой. – Е. В.]

Именно в такой обстановке должны были действовать иезуиты-миссионеры, прибывшие в могольскую столицу⁴⁵ с единственной целью – обратиться к императору Акбара, его придворных и как можно больше подданных, в католичество.

«Миссия невыполнима»

Миссионеры, по собственному признанию, были встречены при дворе Акбара с исключительным радушием. Император и его приближенные, особенно «Абдулфасилиус», то есть Абу-л Фазл⁴⁶, с отцом и

⁴¹ Могольская эпоха, особенно при Акбаре – время расцвета литературных салонов, обычно собиравшихся в доме вельмож или даже богатых купцов. В большой моде были музыкальные и танцевальные вечера с приглашением известных исполнителей, а также *мушаиры* – состязания поэтов.

⁴² Rizvi. 1965. P. 207–254.

⁴³ Rizvi. 1975. P. 427.

⁴⁴ Оригинальный текст на фарси опубликован в: Nizami. 1989. P. 81.

⁴⁵ Формально столицей империи считался новый город Фатехпур-Сикри, построенный Акбаром близ Агры как архитектурное воплощение его духовных воззрений. Впоследствии, из-за проблем с водоснабжением и нерасположения наследников Акбара, он был заброшен, а сейчас, внесенный ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия, привлекает множество туристов.

⁴⁶ Абу-л Фазл, которого иезуиты в своих записках именуют то «премьер-министром», то «капелланом», был так добр и любезен с миссионерами, вы-

братом, всячески заботились об их комфорте, демонстрировали свое уважение к отцам-иезуитам и, что было для миссионеров особенно важным, к христианскому учению. Акбар часами беседовал с миссионерами, расспрашивая их о догматах католицизма, о Португалии и множестве других вещей. Страсть, с какой могольский падишах учился самым разным вещам, будь то различные ремесла и искусства, которыми он очень интересовался, или новые религиозные познания, отмечали все современники, включая и иезуитов: «кто бы ни приехал к его двору из чужих краев, он всегда желал услышать от него все, что он повидал в своих путешествиях»⁴⁷. По их мнению, эта страсть к познанию была даже чрезмерной: «У него была и такая дурная привычка: пока на один его вопрос отвечали, он сразу же, преждевременно, задавал другой. Он не имел терпения выслушивать объяснения по порядку, но в своей жажде познаний стремился понять все и сразу, подобно голодному, который пытается поглотить всю пищу одним глотком»⁴⁸. Другие «просвещенные философы» не уступали своему главе в стремлении познать новое. «Ум мой не знал покоя, – вспоминал Абу-л Фазл, – сердце мое тянулось то к мудрецам Монголии, то к отшельникам Ливана; я рвался беседовать с ламами Тибета, португальскими падре и священниками парсов»⁴⁹.

Иезуитов приглашали на дискуссии с представителями других религий, главным образом – с учеными мусульманами. Любопытно, что сами они фиксировали в своих записках только полемику с последователями ислама, а не с учеными брахманами и последователями иных религий, которых также было немало при дворе. Возможно, здесь играл определенную роль языковой фактор: миссионеры привезли с собой переводчика с фарси, и сами активно изучали этот язык, позволявший общаться с придворной мусульманской аристократией, но почти непонятный большинству индусов, особенно простонародью, что создавало изрядные помехи в общении с будущей паствой⁵⁰. Индусские религиоз-

казывал такое уважение к их учению, что Монсеррате называет его «почти христианином». The Commentary of Father Monserrate... P. 57.

⁴⁷ *Du Jarric*. 1926. P. 45.

⁴⁸ *Ibid*. P. 30.

⁴⁹ *Abu-l Fazl Allami*. 1978. P. xxxv.

⁵⁰ Письма иезуитов, опубликованные историком Дж. Корреа-Аффонсо, содержат курьезный эпизод, когда переводчиком миссионерам послужил сам Акбар. Во время венчания переводчика миссии с некоей «местной женщиной», обращенной в христианство, выяснилось, что невеста не понимает вопросов священника, задаваемых на фарси. Император, присутствовавший на церемонии, тут же пришел святым отцам на помощь: он сначала перевел не-

ные верования миссионеры просто отметили с порога как «язычество», «поклонение дьяволам» и «сказки глупых баб». Быть может, более важным для них было одержать победу именно над исламом, который в течение многих веков воспринимался католической мыслью в качестве главного врага христианского мира⁵¹. Не случайно члены миссии заранее готовились именно к полемике с мусульманами: для этого они изучали фарси и арабский, везли с собой Коран в латинском переводе. Как бы то ни было, документы миссии главное внимание уделяют именно полемике с мусульманскими священнослужителями и учеными – в этой борьбе, разумеется, иезуиты всегда громили противника, убедительно разоблачая «ложь и обман Корана, который Мухаммад наполнил бесчисленными баснями, пустыми и бесконечно фривольными»⁵².

Акбар, как и другие «просвещенные философы», не только искренне интересовался христианской доктриной, но и всячески демонстрировал уважение к ней: подаренный ему экземпляр Библии он, по индийской традиции, почтительно приложил ко лбу и поднес к губам. Падре Монсеррате даже несколько раз с горечью отметил в своих записках, что у этого мусульманского государя могли бы поучиться уважению к христианским святыням те, кто, претендуя на роль восстановителей первоначальной чистоты веры и ее ветхозаветных основ, на деле оскорбляет ее – завуалированный намек на иконоборчество радикальной Реформации в Европе.

С удивительным терпением и даже смирением падишах выслушивал замечания миссионеров, которые, окончательно осмелев, позволяли себе критиковать поведение самого императора – практикуемое им многоженство или любовь к «гладиаторским боям» (воинским играм). Миссионерам была разрешена свободная проповедь христианства, строительство часовни близ дворца. Император поручил им обучать своих сыновей и детей некоторых вельмож португальскому языку и основам христианства, позволил открыть школу. Дела у миссионеров, несмотря на недовольство придворных *улемов* и различные интриги с их стороны, пошли как нельзя лучше. «Сотоварищи Иисуса» уже предвкушали триумф, который сулило им обращение в католичество одного из крупнейших мусульманских монархов мира. Но постепенно в их донесениях медь победного мажора зазвучала тише, уступая место минору разочарования.

весте на хинди вопрос священника, а затем перевел на фарси ее ответ. См.: Letters from the Mughal Court... P. 115–116.

⁵¹ См. подробнее: *Лучицкая*. 2001.

⁵² The Commentary of Father Monserrate... P. 37.

Оказалось, что «просвещенные философы» и их коронованный глава испытывали искренний интерес к христианству, пытались узнать о нем как можно больше, но, в соответствии со своими рационалистическими убеждениями, подвергали все услышанное критическому анализу. Например, во время одной из бесед с падре Монсеррате Акбар сказал: «Объясните мне: как Бог может быть един в трех лицах и как он может иметь сына – человека, рожденного девственницей?»⁵³. Во время другой беседы «король спросил, что мы имеем в виду, когда заявляем, что Бог-отец бестелесен и тут же говорим, что Христос воссел одесную своего отца»⁵⁴. Наслушавшись от миссионеров о чудесах Христа и святых, Акбар «испытывал великое желание увидеть чудо и предлагал несколько раз: чтобы определить, какой закон лучше, христианский или сарацинский, пусть отцы-иезуиты возьмут в руки свои священные книги, а муллы – Коран, и пусть они все вместе войдут в огонь: кто не сгорит, будет признан последователем истинной веры. Но ему было указано, что было бы дерзостью и оскорблением Господа действовать таким образом без его прямого дозволения, и король, убежденный их доводами, отказался от своей идеи»⁵⁵. Отцу Монсеррате Акбар задал кощунственный вопрос: быть может, исцеления Христом смертельно больных и даже воскрешение мертвых свидетельствовали не о его божественной природе, а о медицинских познаниях? Этот вопрос, отражавший традиционные мусульманские представления⁵⁶, прозвучал, вместе с тем, и эхом выступления «просвещенного философа» в Доме молитв, как его зафиксировала «Сокровищница религий»: «А может быть, вы называете чудесами то, что на самом деле – свойство предметов или результат тайной науки?»⁵⁷.

В лице Акбара и его единомышленников миссионеры столкнулись с рационалистами-вольнодумцами, духовными сородичами тех, кого их собратья сжигали на площадях европейских городов. «Хотя действия короля, казалось, подтверждали то глубокое уважение, которое он испытывал к христианской вере, – писали они в своем отчете, – было много обстоятельств, которые мешали ему окончательно принять ее. Во-первых, он не желал усвоить доктрины Троицы и Воплощения, не будучи в состоянии осознать их, так что он находился в постоянной нерешительности,

⁵³ Ibid. P. 38.

⁵⁴ Ibid. P. 121

⁵⁵ *Du Jarric*. 1926. P. 30.

⁵⁶ В исламе Иисус почитается не только как пророк, но и как великий врач, исцелявший больных «одним своим дыханием».

⁵⁷ *The Dabistan or a School of Manners...* P. 84.

не зная, во что верить. “Язычники, – говорил он, – считают свою веру истинной, и то же самое говорят сарацины и христиане. К кому же из них присоединиться?”. Таким образом, мы видели у этого государя обычную ошибку атеиста, который отказывается подчинить разум вере и, не считая истинным ничего, что его слабый ум не способен воспринять, довольствуется тем, что подвергает своей ущербной оценке предметы, превосходящие самые высокие пределы человеческого понимания»⁵⁸.

Но главная проблема для иезуитов состояла в том, что Акбар, относясь с уважением к христианству, был готов признать его истинной верой – но при этом он не мог отказать в истинности и другим известным ему религиям. Христианство было для него и его единомышленников одним из многих равноправных путей человечества к единому для всех Абсолюту. Претензии какой-то одной религии на абсолютную истинность, фанатическое стремление объявить все другие пути богопознания ложными были для «просвещенных философов» неприемлемыми. Акбар говорил им: «У индусов, мусульман, парсов и христиан разные учения. Но каждый считает свою веру наилучшей и пытается обратить в нее других людей, а тех, кто отказывается, презирают, обращаются с ними, как с врагами. И это порождает во мне серьезные сомнения»⁵⁹.

Такой подход иезуиты считали порочным. Они полагали, что если Акбар желает принять христианство, ему надлежит открыто сделать это и заклеить все прочие религии: «Кто хочет надеть новое чистое платье, должен сбросить с себя старое и грязное»⁶⁰. В записках иезуитов, в многостраничных пересказах ими своих бесед с Акбаром и полемики с мусульманами, иезуиты не только не старались скрыть свой агрессивный фанатизм, но и максимально подчеркивали его, как и надлежит членам воинствующей церкви. В ответ на постоянно демонстрируемое Акбаром и его приближенными уважение к христианству они открыто оскорбляли Пророка, называя его «подлым самозванцем, гнусным злодеем и обманщиком»⁶¹. Миссионеры просто не могли понять, почему Акбар, относясь с таким почтением к Христу и Деве Марии, публично выказывая неприязнь к фанатичным муллам, не спешит отвергнуть религию предков и заклеить ее: как иезуиты вскоре с возмущением узнали, сыновья императора, изучая Библию, продолжают получать и традиционное мусульманское образование. Однажды, на собрании «просвещенных филосо-

⁵⁸ *Du Jarric*. 1926. P. 29.

⁵⁹ *The Commentary of Father Monserrate*. P. 183.

⁶⁰ *Ibid.* P. 45.

⁶¹ *Ibid.* P. 131.

фов», падре Монсеррате отозвался о Библии как о пище духовной. Вот как далее развивался разговор: «Но Коран, – заметил Абдулфасислиус, – тоже дает нам духовную пищу». «Нет, – парировал Монсеррате, – не пишу, а яд. Ибо учение, противоречащее Евангелию и Закону божьему, может быть столь же полезно для душ, сколь яд для тел»⁶².

С таким восприятием «просвещенные философы» не могли согласиться. Англичанин Томас Кориат, посетивший империю Моголов спустя семь лет после смерти Акбара, упомянул в своих письмах из Индии следующий эпизод, о котором, вероятно, узнал от кого-то из приближенных покойного императора. Акбар, нежно любивший свою мать, «никогда не отказывал ей в ее просьбах, кроме одной: когда она потребовала, чтобы нашу Библию привязали на шею осла и прогнали его по улицам Агры [в отместку за то, что] португальцы, захватив [индийский] корабль и обнаружив там у мавров Коран, привязали его на шею собаки и пустили ее бегать по улицам Ормуза. Но он отказал ей, заявив, что со стороны португальцев было дурно поступить так с Кораном, но не подобало и ему, государю, отвечать им той же монетой и платить злом за зло, ибо оскорбление любой религии есть оскорбление Бога»⁶³. Все религии действительно были для Акбара равно истинными: однажды, посетив построенную иезуитами капеллу, он обнажил голову перед распятием и поклонился ему. Миссионеры обрадовались, но, как выяснилось, рано. Поприветствовав христианскую святыню на европейский лад (с обнаженной головой), Акбар вновь надел свой тюрбан, опустился на колени и совершил перед распятием традиционный поклон мусульманина в мечети, а потом сложил руки в молитвенной позе индусов⁶⁴. Жаль, что ни один живописец не запечатлел для потомков последовавшую за этим немую сцену!

Иезуиты не могли понять: если Акбар не намеревается принять христианство, зачем он с таким радушием принимает их при дворе. «Поскольку отцы хотели знать причину, по которой король желал видеть их при своем дворе и при этом не выказывал намерения принять христианство, они спросили об этом Абдулфасилиуса. В ответ капеллан объяснил им, что король, стремясь приобрести различные познания и показать свое величие, желает видеть при своем дворе людей различных наций, и что он был особенно впечатлен поведением отцов-иезуитов и их религией, которая нравится ему больше остальных»⁶⁵.

⁶² Ibid. P. 133.

⁶³ Foster. 1921. P. 278; Mukhia. 2004. P. 14.

⁶⁴ Du Jarric. 1926. P. 28.

⁶⁵ Ibid. P. 36.

В 1582 г. миссия во главе с отцом Аквавивой уехала обратно в Гоа, ничего не добившись. Вместе с ней направились могольские вельможи, Саид Музаффар и Абдулла-хан, которые в Гоа должны были сесть на корабль и плыть далее в Европу. С собой они везли «Письмо мудрецам Запада», написанное Акбаром по приказу императора: это письмо предполагалось передать королю Филиппу II. Однако в Гоа послам заявили, что в это время лишь один корабль готовился к выходу в море, и что «негоже и противоречит достоинству великого короля путешествовать его послу на таком маленьком и уже набитом пассажирами корабле», так что придется дожидаться следующего муссона, то есть почти год⁶⁶. К тому времени Саид Музаффар, не желавший ехать в столь далекое и опасное путешествие и к тому же боявшийся, что может раскрыться его причастность к недавно подавленному заговору против Акбара, дезертировал и бежал на Юг. Мало того, вскоре после приезда посольства в Гоа Акбар тяжело заболел, распространились слухи о его смерти, и второй могольский посланец, Абдулла-хан, срочно вернулся в Агру.

Но главное, сами миссионеры, и португальские власти в Гоа не считали необходимым передавать письмо по назначению: раз Акбар не собирался принимать христианство, его духовные искания не представляли интереса и выглядели, по заявлению Монсеррате, вредными и бессмысленными. Такой оценке была суждена долгая жизнь. Почти три с половиной века спустя, в предисловии к английскому переводу записок Монсеррате, британский ученый Дж. С. Хойленд подчеркнул, что «это письмо, перегруженное громоздкой риторикой и утомительным многословием, не представляет особого интереса для чтения»⁶⁷. О том, заслуживает ли «Письмо мудрецам Запада» такой пренебрежительной оценки, читатель может судить по приводимым ниже фрагментам.

Начав с рассуждений о том, что «кто заимствует свет знаний из других стран и освещается лучом разума иных народов, проникает во все тайны», и что «нет ничего выше любви и никого, кто не был бы достоин дружбы», письмо призывает к установлению дружеских контактов между государями, «чтобы народы, во славу Божию, вступили в достойные взаимоотношения». Затем следует такой пассаж: «...поскольку большинство живущих в нашу эпоху – рабы слепого подражания, которое требует бездумно следовать заветам предков, в отсутствие тех, кто выбрал путь изучения доказательств, у людей процветает вера, лишённая духа исследова-

⁶⁶ The Commentary of Father Monserrate... P. 191.

⁶⁷ Ibid. P. ix.

ния – лучшего из созданий разума. Следовательно, в наше время благотворно общение мудрецов различных религий, красноречивых и высоких целями». Далее следует просьба прислать в Индию священные книги христианства в переводе на арабский или фарси и утверждается, что «это послужит установлению божественных законов, строительству зданий согласия и державы просвещения, будет способствовать возвышению искренней веры, дружбы и добродетели»⁶⁸.

К сожалению, и посредники, и, главное сам адресат письма – прославленный своим католическим фанатизмом король Испании Филипп II, – вряд ли могли оценить и одобрить его содержание, проникнутое идеями «просвещенных философов». Плохо осведомленные о ситуации в Европе, Акбар и его единомышленники не могли найти себе на Западе более подходящих собеседников. Однако, «сотоварищи Иисуса» не оставляли попыток обратить могольского императора в «истинную веру» – эти попытки остались столь же бесплодными, сколь и усилия первой миссии. В 1591 г. ко двору Акбара была направлена вторая миссия: отцы Эдуард де Лиотон и Кристоаль де Вега. Три года спустя в Агру приехала третья миссия, которую возглавлял Жером Хавьер Наваррский, племянник самого святого Франциска Ксаверия⁶⁹. Она застала гибель «Абдулфасилиуса» в 1602 г.⁷⁰ и смерть в 1605 г. самого Акбара, которому иезуиты в своих донесениях все же отдали должное, охарактеризовав его как мудрого, храброго, великодушного и щедрого монарха, сурового и требовательного с вельможами и милосердного с простым народом – увы, подчеркивали иезуиты, все его добродетели пропали втуне, ибо он не принял истинную веру.

История иезуитских миссий ко двору Акбара – интереснейший пример контактов и полемики двух интеллектуальных сообществ, олицетворявших столь несхожие страны, разные культуры и, что еще важнее, во многом противоположные направления общественной мысли. Одно из них представляло «Запад», но, разумеется, не весь целиком, а скорее ту

⁶⁸ См. полный перевод с персидского: Ванина. 1993. С. 185–186.

⁶⁹ Аквавива был в 1583 г. убит индусами на острове Сальсетт (ныне часть г. Мумбаи). Падре Монсеррате был послан в Абиссинию, попал в плен к арабам и работал над своими записками о миссии ко двору Акбара в тюрьме йеменского города Сана. Отпущенный за выкуп, он вернулся в Гоа и умер на острове Сальсетт в 1600 г.

⁷⁰ Абу-л Фазл был убит в результате заговора, во главе которого стоял сын и наследник Акбара принц Салим, ненавидевший всесильного министра и неоднократно поднимавший мятежи против отца. Гибель верного друга потрясла Акбара и, по единодушному свидетельству современников, ускорила его смерть.

католическую реакцию, которая набирала силу в противодействии активизировавшейся Реформации. Образованность, самоотверженность, аскетическое поведение и блестящие полемические способности «сотоварищей Иисуса» были направлены на одну цель – защиту католической веры и распространение ее во всем мире. И в Индии им пришлось вести борьбу на два фронта. Первым из них были местные религии, особенно ислам, противостоять которым было для миссионеров главной и ожидаемой задачей, к ее выполнению они были хорошо подготовлены.

Но совершенно неожиданным и несравненно более сложным оказался второй фронт – интеллектуальное сообщество «просвещенных философов» во главе с падишахом Акбаром. Здесь «воинам Христовым» пришлось противостоять рационалистам-вольнодумцам, которые были убеждены в равной истинности всех религий как различных путей к единому Абсолюту. Акбар и его приближенные могли умиляться образом Мадонны с младенцем, восхищаться Христом, восхвалять его заповеди и одновременно настаивать на праве каждого мыслящего человека «оценивать на оселке Разума» догматы христианства, – точно так же, как, переводя «Махабхарату», они критически отзывались о ее мифологических элементах или подвергали сомнению способность Пророка, смертного человека, вознестись к богу.

Для «просвещенных философов» контакт с иезуитами был, прежде всего, расширением их собственного интеллектуального кругозора, приобретением новых знаний. Так и объяснил им «Абдулфасилиус» намерения своего государя. Сам он беседовал с падре не только о вере, но и о многих других предметах и в результате стал первым индийским автором, который сообщил своим читателям об открытии европейцами Нового света⁷¹. Подобная жажда познаний была, как хорошо видно по документам миссий, в гораздо меньшей степени присуща иезуитам, которые на удивление мало интересовались образом жизни, традициями и религиозными верованиями народа, среди которого оказались. В своих записках они фиксировали впечатления о посещаемых местностях, о событиях, которым были свидетелями, но в большинстве случаев эти сведения выглядят как разведывательные данные о вражеской территории и не отражают стремления *понять* чужой образ жизни. Непокоренно убежденные в абсолютной правоте своего учения и правильности образа жизни, «сотоварищи Иисуса» с самого начала пошли в атаку, осыпая оскорблениями религию своих гостеприимных и терпеливых

⁷¹ *Abu-l Fazl Allami*. 1978. P. 49.

хозяев. На индийскую землю они вступили, уже зная, что едут к варварам, живущим и верующим неправильно: увидев редкостной красоты мавзолеей мусульманского святого в одном из городов Западной Индии, святые отцы выразили удивление, что «это здание, хотя и в варварской стране, было лишено всех признаков варварства»⁷².

Прошло более тридцати лет после смерти Акбара, когда его великолепный мавзолеей в предместье Агры посетил другой «воин Христов» – францисканец Себастьян Манрике. Отдав должное красоте здания, он заметил: «Это последнее место успокоения мерзкого тела, которое служило прибежищем проклятой души императора Акбара»⁷³. Никакой враждебности к императору, столь милостиво относившемуся к его единоверцам, этот путешественник не мог испытывать: вряд ли к тому времени был жив кто-либо из врагов Акбара, от которого Манрике мог бы воспринять такую ненависть. Просто мусульманин, равно как и индус или последователь иной веры, не мог для доброго католика не быть «мерзким» и проклятым». Справедливость требует отметить, что представители протестантской Европы практически не отличались от католиков в неприязни к «варварам», которых они начинали презирать, еще не ступив на их землю⁷⁴.

Так сложилась традиция, которой была суждена долгая жизнь. С конца XVIII в. в Индию начнут приезжать посланцы европейского Просвещения – чиновники нарождающегося колониального аппарата, офицеры армии, завоевавшей Индию для Британии, ученые, врачи, миссионеры. Они совершат настоящий научный подвиг: изучат санскрит и древние, забытые самой Индией системы письменности, переведут и опубликуют многие шедевры индийской словесности, раскопают и сохранят археологические памятники прошедших веков, словом – откроют Индию для Европы. Они отнесутся к Индии с искренним интересом и любовью. Но эти благородные чувства будут касаться лишь ее далекой древности, в которой Европа попытается увидеть образ «благородного дикаря» Руссо и «мудрых брамов» Вольтера. А со своими индийскими современниками, даже с самыми просвещенными и свободомыслящими из них, они будут по-прежнему общаться с высокомерным презрением людей, уверенных в абсолютном превосходстве всего европейского над «примитивной» культурой и «неправильным» образом жизни «варваров».

⁷² *Du Jarric*. 1926. P. 60.

⁷³ *Travels of Fray Sebastian Manrique...* P. 168.

⁷⁴ См. подробнее: Ванина. 2007. С. 266–267.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Антонова К. А.* Очерки общественных отношений и политического строя Могольской Индии времен Акбара (1556–1605). М.: Издательство АН СССР, 1952. 281 с.
- Бируни Абу Рейхан.* Индия / Пер. А. Халидова и Ю. Завадовского. М.: Ладомир, 1995. 727 с.
- Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф.* Индия в древности. М.: Восточная литература, 1985. 756 с.
- Ванина Е. Ю.* Идеи и общество в Индии XVI–XVIII вв. М.: Восточная литература, 1993. 230 с.
- Ванина Е. Ю.* По Индии без языка (европейские путешественники XV–XVII вв.) // Язык до Индии доведет. Памяти А. Т. Аксенова. М.: Восточная литература, 2008. С. 254–274.
- Ванина Е. Ю.* Средневековое мышление: индийский вариант. М.: Восточная литература, 2007. 373 с.
- Гордон-Полонская Л. Р.* Мусульманские течения в общественной жизни Индии и Пакистана. М.: Восточная литература, 1963. 326 с.
- Имад ибн Мухаммад ан-Наари.* Жемчужины бесед / Пер. М.-Н. О. Османова. М.: Восточная литература, 1985. 399 с.
- Ле Гофф Ж.* Другое средневековье. Время, труд и культура Запада. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2000. 328 с.
- Луцицкая С. И.* Образ другого: мусульмане в хрониках крестовых походов. СПб: Алетейя, 2001. 398 с.
- Хазанов А. М.* Величие и падение португальской колониальной империи (португальцы в Индии и Индийском океане в XVI веке). М.: Русаки, 2007. 188 с.
- Abu-l Fazl Allami.* Ain-i Akbari / Trans. by H. S Jarrett. Vol. III. Delhi: Munshiram Manoharlal, 1978 (reprint). 420 p.
- Abu-l Fazl Allami.* Akbar-Nama / Trans. by H. Beveridge. Vol. III. Delhi: Ess Ess Publications, 1979. 1274 p.
- Du Jarric P.* Akbar and the Jesuits. An Account of the Jesuit Missions to the Court of Akbar by Father Pierre du Jarric, S. J. / Translated with Introduction and Notes by C. H. Payne. London: George Routledge & Sons, 1926. 290 p.
- Dvivedi G. P.* Hindi Premgatha Kavya Samgrah. Illahabad: Hindustani Academy, 1953. 418 p.
- Foster William.* Early Travels in India (1583–1619). Oxford: Humphrey Milford – Oxford University Press, 1921. 351 p.
- Haidar M.* Mukatabat-i Allami (Insha-i Abu-l Fazl). Daftar I. Letters of the Emperor Akbar in English Translation / Edited with Commentary, Perspective and Notes. Delhi: Munshiram Manoharlal, 1998. 130 p.
- Halbfass W.* India and Europe. An Essay in Philosophical Understanding. Delhi: Motilal Banarasidass, 1990. 604 p.

- Letters from the Mughal Court. The First Jesuit Mission to Akbar (1580–1583) / Ed. with an Introduction by John Correia-Afonso and Foreword by S. Nurul Hasan. Bombay: Gujarat Sahitya Prakash, 1980. 136 p.
- Mukhia H.* The Mughals of India. Malden US – Oxford UK: Blackwell Publishing, 2004. 210 p.
- Nizami Kh. A.* Akbar & Religion. Delhi: Idarah-i-Adabiyat-i-Delli, 1989. 470 p.
- Rizvi S. A. A.* Abu-l Fazl's Preface to the Persian Translation of the Mahabharat // Proceedings of the Indian History Congress. 13th Session. 1950. P. 197–201.
- Rizvi S. A. A.* Muslim Revivalist Movements in Northern India in Sixteenth and Seventeenth Centuries. Agra: Agra University, 1965. 497 p.
- Rizvi S. A. A.* Religious and Intellectual History of the Muslims in Akbar's Reign with Special Reference to Abu-l Fazl. Delhi: Munshiram Manoharlal, 1975. 564 p.
- Subrahmanyam S.* Explorations in Connected History. Mughals and Franks. Delhi: Oxford University Press, 2005. 232 p.
- Subrahmanyam S.* Taking Stock of the Franks: South Asian Views of Europeans and Europe // The Indian Economic and Social History Review. Vol. XLII. No. 1, 2005. P. 60–100.
- The Commentary of Father Monserrate S. J. On His Journey to the Court of Akbar / Trans. by J. S. Hoyland. London: Humphrey Milford, 1922. 220 p.
- The Dabistan or a School of Manners / Trans/ by D. Shea and A. Troyer. Vol. III. Paris: Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland, 1843. 286 p.
- Travels of Fray Sebastian Manrique, 1623–1643 / Trans. by C. E. Luard. London: Hakluyt Society, 1927. Vol. II. 481 p.
- Županov I. G.* Missionary Tropics. The Catholic Frontier in India (16th – 17th Centuries). Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005. 374 p.
- Ванина Евгения Юрьевна**, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН; eug.vanina@gmail.com.

А. В. СТОГОВА

RESPUBLICA LITERARIA XVII ВЕКА КАК СООБЩЕСТВО КОРРЕСПОНДЕНТОВ

(ПО ПИСЬМАМ ГИ ПАТЕНА)*

В статье исследуются эпистолярные практики отношений между членами *Respublica Literaria*. На материале писем декана медицинского факультета Парижского университета Ги Патена автор рассматривает основные функции переписки как ключевого, чаще всего единственного, способа поддержания этих отношений. Особое внимание уделяется особенностям эпистолярных практик XVII столетия, ставшим реакцией на появление регулярного почтового сообщения и изменения в представлениях о дружеских отношениях.

Ключевые слова: переписка, *Respublica Literaria*, Ги Патен, история почты, дружеские отношения, экономика дарений.

Термин “*Respublica Literaria*” часто используется в исследованиях, но ему редко дается определение. Одну из попыток предприняли Ханс Ботс и Франсуаза Ваке¹, выделив несколько основных значений этого понятия в XVI–XVIII вв. Наиболее распространенными среди них были два. Прежде всего, так могли обозначать всех пишущих людей, тех, кто производил новые знания. Художественная литература формально не имела отношения к этой области, однако следует учитывать тот факт, что лишь в XVIII столетии наука и литература окончательно разойдутся, и это будет связано с оформлением особого научного дискурса. В XVII в. этот дискурс только формируется, и потому его соотношение с традиционным литературным дискурсом гораздо сложнее.

Второе значение связано с бóльшим акцентом на слове «республика», т.е. не просто множество ученых людей, а единое сообщество и пространство, которое они формируют. И это слово здесь не случайно, поскольку во многих описаниях современников *Respublica Literaria* предстает как своеобразное идеальное государство² – без границ и власти, государство, где все равны, вне зависимости от возраста, пола, ве-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 10–01–00403а «Идеи и люди: интеллектуальная жизнь Европы в Новое время»).

¹ Bots H., Waquet F. 1997.

² Дэна Гудман отмечает не только политизированность понятия «Республика ученых», но и параллели в ее развитии с французской монархией. Goodman D. 1994. Chapter 2. The Rise of the State. P. 12–52.

роисповедания и т.п. Такое понимание позволяет исследователям рассуждать об элементах утопии в образе «Республики ученых».

Сильви Тоссиг отмечает, что *Respublica Literaria* в определенной мере представляет собой идеальное сообщество и обладает многими чертами утопии. Она выделяет несколько таких черт. Прежде всего – география. Как отмечает исследовательница, члены этого сообщества «одновременно повсюду в Европе и нигде»³, поскольку для них, в основном запертых в своих кабинетах, географическое место пребывания не имеет никакого значения. Тот город, который они указывают в конце письма, имеет мало общего с реальным местом (недаром его название и написано иначе – по латыни), поскольку не имеет никакого отношения к происходящим в это время «внешним» событиям. Еще одним элементом утопии является язык, по которому можно с легкостью узнать членов сообщества, и который позволяет хранить некоторую секретность их переписки. Этим языком является латынь. Самым интересным для нас, пожалуй, является социальная характеристика этого утопического сообщества. Все члены его равны: не существует ни социальных, ни религиозных, ни национальных различий. Даже гендерная иерархия в значительной мере сглаживается. Во всяком случае, единожды попавший в это сообщество становится равноправным его членом.

Еще один важный принцип функционирования *Respublica Literaria* – переписка, которая представляет собой механизм, обеспечивающий возможность существования этого сообщества⁴. Сама переписка как весьма специфический, опосредованный способ общения, добавляет еще больше странности и утопичности к образу этого «государства». К сожалению, в русских переводах термина *Respublica Literaria* этот аспект никак не отражен. Ведь термин “*literaria*” имеет отношение и к «учености», и к переписке. В нашей стране долгое время было принято выражение «Республика ученых». Однако, современное представление об «ученых» не вполне совпадает с кругом интересов и занятий тех, кто входил в *Respublica Literaria*. К нему принадлежали не только ученые в нашем понимании, но, по сути дела, все профессионалы, имеющие отношение к книжной культуре (юристы, медики и т.п.), которым было необходимо поддерживать профессиональные связи с коллегами в других городах и странах. Не случайно основные корреспонденты Ги Патена, о котором пойдет речь в данной статье, это его коллеги-медики.

³ Taussig S. 2002. P. 40.

⁴ По выражению М. Улте, «письма были в самом сердце Республики словесности». Ultee M. 1987. P. 98.

В последнее время термин «Республика ученых» уступает место более адекватному переводу «Республика словесности». Но, к сожалению, и из этого варианта ускользает аллюзия на переписку.

Переписка позволяла поддерживать отношения между удаленными на значительное расстояние друг от друга людьми, объединенными общими интересами, обмениваться новыми идеями быстро и относительно свободно⁵. Конечно частная переписка, особенно людей известных и подозрительных, подвергалась перлюстрации, но была гораздо более свободным и быстрым способом научного диалога, чем книги, поскольку «письмо не нуждалось ни в печатании, ни в привилегии на печать»⁶. В раннее Новое время переписка начинает ассоциироваться с дружеским общением, что связано с изменением культуры чтения и культуры письма в этот период. И чтение, и написание текстов воспринимается как диалог или беседа, т. е. как элемент дружеского общения. Таким образом, в обмене знаниями и идеями задействуется дружеский дискурс. Кроме того, идея дружеских отношений часто лежала в основе представлений об идеальном сообществе, сочетающих в себе идеи равенства, благорасположенности и взаимопомощи. *Respublica Literaria* можно считать своеобразной попыткой воплощения такого способа социального устройства. Как отмечает Марта Фаттори, «в течение первых десятилетий XVII в. *amicitia* – это ключевое слово, определяющее связи в Республике словесности, и во второй половине столетия оно будет трансформироваться и все больше и больше идентифицироваться с понятием *tolerantia*, которое будет понемногу расширяться, до такой степени, что позволит выдвинуть гипотезу о республике атеистов»⁷.

В силу всего этого актуализируемый дружеский дискурс и сама культурная практика эпистолярного общения неизбежно должны были

⁵ Надо отметить, что поддержание связей преимущественно посредством эпистолярного общения не было свойственно лишь этой «Республике». Совершенно очевидно, что не только люди, имеющие отношение к книжности, испытывали потребность в такого рода общении. То же самое можно отнести и к профессиональным потребностям финансистов и торговцев, или к более частным интересам дворян, когда ссылки и опалы, тяжбы из-за поместья, безденежье, которые могли затянуться на долгие годы, зачастую вынуждали их проводить в своих имениях значительную часть жизни. Переписка и для них являлась единственным способом поддержания значимых отношений. Многочисленные знакомства, которые завязывались при путешествиях или деловых поездках, также поддерживались перепиской. В силу этого люди, встретившиеся лишь однажды, могли долгие годы сохранять отношения благодаря обмену письмами, если эти отношения были для них важны.

⁶ Fattori M. 2005. P. 89.

⁷ Ibid. P. 97.

оказывать влияние на формирование и функционирование такого сообщества как *Respublica Literaria*. Попробуем проследить эту связь на примере переписки известного французского врача XVII века, декана факультета медицины Парижского университета, автора многочисленных трактатов, либертена и язвительного наблюдателя Ги Патена.

Для начала определимся с самой эпистолярной практикой, которая к XVII в. сделалась для определенных слоев повседневной составляющей жизни и одним из самых важных каналов передачи информации. Один из основных факторов, определявших эту культурную практику, – развитие государственной публичной почтовой службы.

До конца XVI в. наиболее распространенным способом пересылки частной корреспонденции была их передача с попутчиками или слугами. Привилегия на то, чтобы оказывать официальные почтовые услуги принадлежала университетам. Кроме того, некоторые города устанавливали между собой почтовое сообщение и занимались пересылкой писем. И, наконец, третьим «официальным» способом пересылки корреспонденции было пользование услугами банков. Но все эти способы не предоставляли возможности установления регулярного сообщения между корреспондентами. Почта как учреждение, занимающееся пересылкой частной корреспонденции, появилась только в XVII в.

Во Франции, где жил Ги Патен, Генрих III издал в 1576 г. эдикт об учреждении в каждом городе двух должностей королевских гонцов. Главной их задачей была пересылка государственных бумаг, но они могли брать и частную корреспонденцию. Однако услугами гонцов пользовались редко. В условиях религиозных войн письма шли крайне нерегулярно, не существовало и единых тарифов. Жители некоторых городов, в частности Парижа, обладали правом самостоятельно определять стоимость пересылки адресованной им корреспонденции. В 1597 г. Генрих IV решает упорядочить систему почтовой службы, главной задачей которой была сдача в наем лошадей для переездов и пересылки различных грузов. Была установлена длина одного перегона от 12 до 15 льё. Этой службой заведовали два начальника почт. В 1602 г. их должности упраздняются, и создается пост единого генерального контролера почт, а в 1608 г. – начальника почт Франции. С помощью почтовых лошадей можно было пересылать и личную корреспонденцию, дождавшись следовавшего в нужном направлении путешественника.

С целью упорядочения пересылки писем в 1623 г. появляются регулярные курьеры, курсировавшие между Парижем и Бордо, Лионом и Тулузой. В 1627 г. Мария Медичи издает ордонанс об установлении единых тарифов. За письмо взималась плата от 3 до 5 су в зависимости

от веса и дальности пересылки. Плату за пересылку писем взимали с получателей. Курьеры должны отбывать и прибывать в определенные дни недели, но это правило касалось только крупных городов.

Несмотря на опоздания, потери и любопытство курьеров, почтовая служба обретала все большую популярность. Новый эдикт 1630 года учреждал сюринтендантство почт и предписывал создать в двадцати крупных городах бюро депеш, которые должны были взимать деньги за пересылку писем, согласно королевским тарифам. Дальше структура почтового ведомства все более усложнялась. Эдикт 1643 года устанавливал три наследственные должности – контролера, весовщика и сборщика платы во всех почтовых бюро. Каждому крупному городу вменялось в обязанность иметь двух королевских курьеров. Благодаря этим мерам была установлена некоторая регулярность пересылки, хотя она и оставляла желать лучшего. «Я получил ваше письмо от июня месяца в середине августа», – жаловался в 1638 г. в одном из писем Жан-Луи Гез де Бальзак⁸. Любые стихийные бедствия и военные действия нарушали почтовое сообщение. Особенно сильно на нем сказалась Фронда, во время которой военные действия велись несколько лет на большей части территории страны. В городах был введен паспортный контроль. И хотя у курьеров и почтовых экипажей было право прохода, они должны были иметь специальную пометку, а пассажиры – сертификаты от городских властей. И при этом их каждый раз тщательно обыскивали.

«Я узнал, что ординарный [курьер] из Лиона ни туда, ни сюда. Это вселяет в меня опасение, что вы не получили письма от пятницы 8-го января; и если это действительно так, то я очень несчастен, ибо в вашем пакете было большое письмо на 4 страницы, как обычно, и два других для ваших коллег гг. Гарнье и Фальконе; я отдал бы пистоль, чтобы вернуть обратно все три, если вы их не получите. Мой бог! Должна ли война нарушать столь невинное общение?»⁹ – так откликнулся Ги Патен на эти события.

Даже в мирное время корреспондентам приходилось сообщать, на письмо от какого числа они отвечают, чтобы проверять, не потерялось ли какое-то из писем. Более того, по свидетельству Патена, отсутствие писем из определенного региона было свидетельством того, что там не все в порядке: «Здесь поговаривают о чуме в Марселе, поскольку купцы совершенно не пишут и не получают никаких их писем»¹⁰.

Жители крупных городов имели теперь возможность отправлять письма с почтой в другие города и даже за границу, но почтового сооб-

⁸ *Guez de Balzac J.-L.* 1854. Lettre à monsieur de*** du 19.08.1638. P. 462.

⁹ *Patin G.* 2006. Lettre à Charles Spon du 31.03.1649. Vol. 1. P. 373–374.

¹⁰ *Ibid.* Lettre à Charles Spon du 20.08.1649. Vol. 1. P. 497.

шения внутри городов не существовало. Государственный советник Ренуар де Виллайер предложил решить эту проблему, создав в Париже «малую почту». Он придумал почтовые ящики, которые были установлены в 1653 г. на основных улицах города. Это был единственный вид почтовой пересылки, которая оплачивалась не адресатом, а автором письма. Однако инициатива Велайе потерпела крах, и «малая почта» очень скоро прекратила существование. Что касается «большой почты», то она стала монополисткой в области пересылки лишь в 1662 г., когда во главе сюринтендантства почт встал Лувуа. Он объединил почтовое дело в провинции, взяв под контроль королевских, университетских и городских курьеров. К 1672 г. централизация почты была практически завершена. В то же время было создано откупное почтовое ведомство, которое держало в руках семейство финансистов Пайо-Руйе. Они подписывали арендные договоры сроком на 5 лет. В обмен на получение всех доходов от почты оно выплачивало государству 2 миллиона ливров. Это послужило образованию настоящей почтовой монополии.

Во всех провинциях Лувуа организовал единую систему пересылки писем. Письмо следовало положить в почтовый ящик или отнести непосредственно в почтовое отделение¹¹. Дважды в неделю курьеры на почтовых лошадях отправляли письма¹². По прибытии в город назначения в почтовом отделении курьеру вручалась расписка в получении корреспонденции. Письма сортировались, взвешивались, оценивались и раскладывались по специальным ящикам. Получатель должен был забирать письмо на почте, прежде оплатив его доставку. Позднее была организована доставка на дом. В середине столетия в Париже существовало 4 пункта отправления курьеров: улица Оз Урс (в Англию и Фландрию один раз в неделю), церковь Св. Евстафия (в Берн, Сэ и т.д. два раза в неделю; в Нант, Ренн и т.д. два раза в неделю; в Руан – каждый день), Новый рынок (в Кале раз в неделю; в Реймс три раза в неделю) и улица Сен-Жак, где находилось основное почтовое бюро. Оттуда курьеры направлялись в Барселону, Рим, Женеву раз в неделю; Бурж и Лион два раза в неделю; Мец, Нанси, Бордо, Нант, Анжер два раза в неделю; в

¹¹ К 1692 г. в столице существовало шесть почтовых ящиков, а именно: на улице Сен-Жак, на площади Мобер, в предместье Сен-Жермен, на улицах Сент-Оноре, Сен-Мартен и Сент-Антуан. *Belloc A.* 1886. P. 140.

¹² Впрочем, и эти правила не всегда выполнялись. Поль Пелиссон упоминает о таком случае: «Едва мое письмо прибыло на почту, как пришла резолюция об изменении движения. Стало известно, что в Ате два дома закрыты из-за чумы. Таким образом, в тот же вечер был составлен новый маршрут, по которому, не пролегая ни через Ат, ни через его окрестности, путь удлинится на три дня». *Pellisson P.* 1971. *Lettre à mademoiselle de Scudéry du 06.05.1670.* Т. 1. P. 13.

Прованс, Дижон, Лангедок и Гасконь – раз в неделю¹³. Сеть почтовых дорог поначалу была очень узкой. На первой карте (1632 г.) Мельхиором Тавернье было указано всего 632 перегона. Однако во второй половине века эта сеть начинает активно расширяться.

Параллельно с развитием и централизацией почтового ведомства, усиливался и контроль за содержанием переписки. Со времени Ришелье значительно усиливается и перлюстрация, что закончится созданием знаменитых «черных кабинетов» при Людовике XV. Государство оставляло за собой право вскрывать или попросту оставлять у себя письма интересующих их лиц. Порой таким же образом перехватывались и государственные бумаги. В сочетании с любопытством самих курьеров, государственная политика перлюстрации делала невозможной тайну личной корреспонденции, не говоря уже о своевременности доставки.

«Я опасюсь некоторого мошенничества со стороны почтовых служащих, – писал Патен в 1650 г., – к тому же оно [письмо. – А. С.] было вскрыто и ваша печать совершенно изменена и размыта, и я получил его только спустя три недели после даты [отправки]»¹⁴. Госпожа де Севинье жаловалась дочери в ноябре 1671 года: «...Я в отчаянии, хотя вы знаете, что я никогда не придавала большого значения своим письмам, я однако всегда хотела, чтобы те, кому я их пишу, их получали. И я пишу их вовсе не для других и не для того, чтобы они были потеряны!»¹⁵.

Основное возмущение, по крайней мере среди вполне лояльных корреспондентов, вызывала именно задержка, потеря и порча писем при перлюстрации, а отнюдь не проникновение в их частное пространство.

Корреспондентам приходилось идти на различные ухищрения. Ги Патен имел обыкновение упоминать не только о том, когда он выслал предыдущее письмо, но и сколько страниц в нем было¹⁶. Полю Пеллиссону приходилось жаловаться мадемуазель де Скюдери, что письма приходят вскрытыми: «В эту минуту я получил, мадемуазель, второе из ваших писем от 3-го [числа] сего месяца. Оно было вскрыто, насколько можно судить по печати»¹⁷. В следующем письме он писал:

«Я отвечаю, мадемуазель, на ваше письмо от 6-го, которое мне вручили в эту минуту. Мне не кажется, что его вскрывали, как предыдущее, по крайней мере, печать на нем была в гораздо лучшем состоянии. Г. Кольбер из Почты здесь. Я думаю, вы его уже известили. Вы очень пра-

¹³ *Belloc A.* 1886. P. 85.

¹⁴ *Patin G.* 2006. Lettre à Charles Spon du 06.05.1650. Vol. 1. P. 664.

¹⁵ *Sévigné M.* 1972. Lettre à madame de Grignan du 18.11.1671. V. 1. P. 381.

¹⁶ «Со времени моего последнего [письма], которое было в пятницу 11 июня, день Св. Варнавы, которое содержало шесть страниц...». *Patin G.* 2006. Lettre à Charles Spon du 18.06.1649. Vol. 1. P. 461.

¹⁷ *Pellisson P.* 1971. Lettre à mademoiselle de Scudéry du 06.05.1670. T. 1. P. 13.

вильно делаете, помещая на своих письмах слово, которое их ему рекомендует, именно по этой причине с ними обращаются в Париже с большей заботой. Это очень хороший человек, он предложил мне, чтобы все, что я хочу получать, приходило в его конверте»¹⁸.

В любом случае не подлежит сомнению, что развитие государственной почты подстегнуло развитие частной переписки, сделав ее гораздо менее обременительной. И расцвет *Respublica Literaria* не случайно приходится как раз на XVII столетие. Прежде всего, государственная почта создавала возможность для поддержания достаточно регулярной переписки. Именно регулярность позволяла создать эффект поддержания отношений не просто постоянных, но достаточно близких, в которых сам факт регулярной корреспонденции служил знаком того, что для каждой из сторон данные отношения представляли большую ценность.

Кроме того, появление публичной почты упрощало и возможность поддерживать переписку с большим числом корреспондентов, благодаря чему *Respublica Literaria* превратилась в разновидность сетевого общения. Развитие почтовой службы оказывало также довольно сильное влияние на сами эпистолярные практики корреспондентов.

В *Respublica Literaria* эти всеохватывающие эпистолярные связи порождали самые разнообразные и замысловатые сети отношений, различающиеся не только по географическим, но и по профессиональным, конфессиональным, временным и прочим характеристикам. Патен упоминает многих друзей, живущих не в Париже и даже не во Франции, с которыми он поддерживает эпистолярные отношения¹⁹. Когда сын одного из его знакомых решил отправиться в путешествие по Европе, «чтобы посмотреть университеты», то пришел за помощью к Патену: «...Я обещал ему письма в Лондон, Утрехт, Лейден, Лувен, Дуэ и Брюссель, у меня там повсюду хорошие друзья», – пишет он²⁰.

Ги Патен родился в почтенной амьенской семье нотариусов и адвокатов 31 августа 1601 г. в деревушке около Оденк-ан-Брей в Пикардии

¹⁸ Ibid. Lettre à mademoiselle de Scudéry du 08.05.1670. T. 1. P. 16. Все эти проблемы способствовали тому, что пересылка со знакомыми или слугами оставалась весьма востребованной: «Если я скажу вам, – писал Гез де Бальзак шевалье де Мере, – что ваш лакей нашел меня больным, и что ваше письмо меня излечило, я не буду ни поэтом, который придумывает, ни оратором, который преувеличивает, я буду собственным историком, который дает вам точный отчет о том, что происходит в моей комнате». *Guez de Balzac J.-L.* 1854. Lettre à monsieur le chevalier de Méré du 24.08.1646. V. 1. P. 490.

¹⁹ «Я только что получил письмо из Лейдена в Голландии от одного врача из числа моих друзей. ...». *Patin G.* 1846. Lettre à A. Falconet du 05.11.1649. V. 2. P. 541.

²⁰ Ibid. Lettre à A. Falconet du 13.04.1660. V. 3. P. 192.

(сейчас – департамент Уаза), недалеко от Бовэ²¹. Выучившись на адвоката он, тем не менее, против воли родителей начал заниматься медициной, в 1626 г. закончил обучение и получил лицензию врача. Патен, став уважаемым и зажиточным, одним из первых врачей в Париже, параллельно занимался преподаванием, научными изысканиями и издательской деятельностью. Он пишет и издает несколько книг – «Трактат о сохранении здоровья», «О кровопускании», «О чуме» и др. В 1632 г. он начинает читать курс хирургии на факультете вместо своего учителя Жана Риолана, который становится профессором Коллеж Руаяль. Патен делает успешную карьеру на факультете. В 1638 г. он на два года избирается доктором-экзаменатором, в 1641–1642 становится цензором факультета. Его трижды выдвигают кандидатом на пост декана, пока, наконец, он не занимает эту должность в 1650 г. После смерти Риолана он занимает и кафедру в Коллеж Руаяль. В 1668 г. его младший сын был приговорен к сожжению (за нелегальное распространение одного текста) и бежал из страны, а в 1670 г. от чахотки умер старший сын. Эти два события подкосили здоровье Патена, и он скончался в 1672 г.

Большая часть знакомств Патена связана с его профессиональными интересами. Он поддерживает переписку с медиками не только во Франции, но и в Голландии, Германии, Италии и других странах. Можно назвать среди его корреспондентов Симона Поли, профессора медицины в Копенгагене, де Фервоке, лекаря губернатора Фландрии, медиков г. Хоффмана из Готы и г. Винканероде из Нюрнберга и др. Однако есть и исключения – к примеру, Клод Сомез, автор «Словаря прециозниц», эленист Таннери Лефевр и др. Многими знакомствами за пределами круга медиков Патен обязан своему старому другу – Габриэлю Ноде. Ноде, человек свободных взглядов, поддерживает знакомство с интереснейшими людьми и вводит друга в круг либертенов-эрудитов, знакомя с братьями дю Пюи, Ламоттом Левайе, Гассенди. Кроме того, у Патена есть увлечение, которому он посвящает свободное время и значительную часть своих денег – его библиотека. Для того чтобы всегда быть в курсе книжных новинок, он поддерживает тесные отношения с целой сетью издателей, книготорговцев и библиофилов из разных городов. Его знания и связи в парижских книжных лавках столь велики и известны, что он даже предлагает провинциальным издателям свою помощь в распространении их продукции в Париже²².

²¹ Патен рассказывает историю своей семьи в одном из писем: *Patin G.* 1907. *Lettre à Charles Spon, docteur en médecine à Lion, rue de la Poulallerie du 13.06.1644.* V. 1. P. 403–408.

²² *Jestaz L.* *Etude critique // Patin G.* 2006. Vol. 1. P. 262.

Эти дружеские отношения не только поддерживались через переписку, но порой и завязывались тоже «заочно». Такие «сети» знакомств по переписке покрывали в XVII в. всю Европу. Они расценивались по большей части как дружеские, и самой значительной из них, конечно, была *Respublica Literaria*. Эти круги общения у Патена вовсе не существуют изолированно друг от друга как отдельные ярусы общения. По закону сетевого общения один становится знаком многим, а множественность интересов порождает постоянное смешение этих разных на первый взгляд кругов знакомств. В итоге, например, язвительный вольнодумец Шарль Сорель, с которым Патен подружился во времена молодости и тесного общения в кругу либертенов, оказывается близким другом почтенного члена Счетной палаты Робера Мирона, друга, родственника и соседа Патена²³. Эта сеть постоянно пополнялась и разветвлялась благодаря налаживанию новых перекрестных знакомств.

«Здесь в этом городе пребывает почтенный человек, медик из Санта по имени г. Мюран, *tibi frater in Christo*²⁴. Он здесь из-за процесса. Я поведал ему о вас, как вы того заслуживаете. Он весьма жаждет сдружиться с вами и вести небольшую торговлю книгами и медицинскую практику при вашем посредничестве. Он вам напишет»²⁵.

Связано это, прежде всего, с тем, что переписка была одним из немногих способов создать сообщество по интересам и находиться внутри него. Передавая приветы друзьям в Лион, Патен нередко упоминает сразу группу людей, причем не все они были медиками: «Я целую руки вам и всем нашим друзьям, среди прочих гг. Гра, Гарнье, Фальконе, Угетену-адвокату, г. его брату и г. Раво...»²⁶.

Среди всех подобных знакомств в письмах Патена особо выделяются друзья из Лиона, переписка с которыми сохранилась наиболее полно. Двух лионских медиков – Шарля Спона и Андре Фальконе – Патен называет «первыми среди лучших друзей»²⁷. Причем, поддерживая с ними регулярную переписку, Патен неизменно в дополнение к этому посылал в письмах к каждому из них перекрестные просьбы заверить другого в своей к нему расположенности:

²³ *Patin G.* 2006. Lettre à Charles Spon du 25.11.1653. Vol. 2. P. 1137.

²⁴ Твой брат во Христе – т.е. протестант, как и сам Спон.

²⁵ *Patin G.* 1907. Lettre à Charles Spon, docteur en médecine à Lion du 08.03.1644. V.1. P. 378–379.

²⁶ *Patin G.* 2006. Lettre à Charles Spon du 16.08.1654. Vol. 2. P. 1253. Анри Гра, медик из Лиона, сторонник Тюренна; Пьер Гарнье, медик из Лиона; Андре Фальконе, врач Кристины Французской; Жан Угетен, адвокат из Лиона; Жан-Антуан Угетен, лионский издатель; Марк-Антуан Раво, лионский издатель.

²⁷ *Patin G.* 1846. Lettre à A. Falconet du 30.12.1650. V. 2. P. 575.

«Будьте любезны сказать нашему дорогому и истинному другу господину Спону, что я желаю ему доброго дня и доброго года, и что я – его преданнейший и покорнейший слуга...»²⁸.

В Лионе у Патена было сразу несколько друзей, которые общались между собой, и он порой посылал два письма на один адрес, просил одного из них передать другому свои просьбы, пожелания, посылки²⁹.

Шарль Спон – медик и протестант из Лиона, родился в декабре 1609 г. В 1625–1632 гг. учился на факультете медицины в Париже. Один из его преподавателей добился для него должности королевского участкового врача (1645). Уехав в Монпелье, Спон получил там в 1632 г. диплом доктора медицины. Вернувшись в Лион, где был только коллеж медицины, он выдержал экзамен на право вести дела в этом городе и должен был 2 года практиковать в пригородной деревушке. В 1635 г. он получил возможность работать в городе и быстро обзавелся большой клиентурой. В 1674 г. Спон стал вице-деканом и прокуратором коллежа – это была единственная должность, предоставляемая протестантам. Он скончался в феврале 1684 г. Как и Ги Патен, Спон является автором нескольких работ по медицине и редактором трудов других авторов. Они познакомились в 1642 г. в Париже и больше никогда не виделись. Первые письма 1642 г. еще хранили воспоминания о реальных беседах: «Когда я имел счастье видеть вас здесь, мы говорили о паре вещей, о которых я прошу у вас позволения вам напомнить»³⁰. Несмотря на взаимное желание повидаться еще раз, свидетельств, подтверждающих, что такая встреча состоялась, нет. Их отношения были дружбой по переписке и притом дружбой людей уже весьма зрелых (Патену в 1642 г. был 41 год, а Спону – 33). Она продолжалась до самой их смерти.

Андре Фальконе, потомственный врач, учившийся сначала в Роанне, а затем в ненавистном Патену Монпелье, был на 10 лет моложе друга. Получив диплом врача, он вскоре переехал в Лион и быстро стал известным медиком. Его, ординарного королевского врача и лекаря лионского архиепископа, в 1663 г. вызывают в Турин в связи с болезнью Кристины Французской, дочери Генриха IV³¹. В 1641 г. он становится доктором права, в 1656 г. получает звание советника и увлеченно зани-

²⁸ Ibid. Lettre à A. Falconet du 9.01.1659. V. 3. P. 114.

²⁹ «Восемь дней назад я послал нашему доброму другу господину Спону два тюка, где для вас есть Риолан *in folio*...». Ibid. Lettre à monsieur A. Falconet du 28.05.1649. V. 2. P. 515.

³⁰ Patin G. 1907. Lettre à Charles Spon, docteur en médecine à Lion, rue de la Poulaillerie du 21.10.1642. V. 1. P. 242.

³¹ Кристина Французская (1600–1653) – дочь Генриха IV, герцогиня Савойская, жена Виктора-Амадея I.

мается литературой. Фальконе был знакомым Шарля Спона. Поводом для завязывания дружеских отношений между ним и Патеном стал вопрос последнего к Спону в одном из писем 1643 года: «Я прошу вас дать мне знать, кто такой г. Фальконе, который написал о цинге»³². Фальконе и Патен виделись всего несколько раз в жизни в силу занятости и удаленности друг от друга.

При всем сходстве этих отношений, с Ш. Споном Патен тщательнее поддерживал переписку (не раз он отмечал в письмах к нему, что у него не хватает времени писать Фальконе, и он просит передать ему новости и извинения³³), и она была много более эмоциональной. Отношения завязались в 1642 г. Переписка продолжалась 22 года и насчитывает около 550 писем Патена и всего 19 сохранившихся писем Спона.

Первое известное письмо Патена к Спону датируется 21 октября 1642 года. Адресат тщательно сохранял получаемые письма, стараясь ставить на них отметки о датах отправления, получения и ответа. Письма хранили не только из привязанности или уважения к автору, но также потому, что переписка была важным источником информации. Именно это делало ее хранение порой делом весьма щекотливым. Об этом красноречиво говорит сам Патен:

«Сейчас я буду отвечать на ваше последнее [письмо], которое я получил этим утром, в 1-й день декабря, и которое, скажу без лести, вызвало у меня необыкновенную радость и утешение. Неужели вы в самом деле бережно храните мои письма, как говорите? Я никогда не думал, что они могут заслужить такую честь. Но с другой стороны, смотрите, как бы они не навредили вам, а заодно и мне из-за той свободы, с какой я иногда пишу вам кое-что о наших публичных делах»³⁴.

Безусловно, это общение строилось на постоянстве и взаимности обмена письмами. Как пишет Д. Гудман, «взаимность переписки одновременно и отражала, и усиливала чувство равенства, которое структурировало отношения среди жителей *Respublica Literaria*»³⁵. В то же время не стоит идеализировать свойства этой переписки. Отнюдь не всегда это был постоянный и регулярный обмен письмами. С. Тоссиг подчеркивает утилитарность дружб по переписке в Республике словес-

³² *Patin G.* 1907. Lettre à Charles Spon, docteur en médecine, rue de la Poulallerie à Lion, du 21.04.1643. V. 1. P. 280–182. Речь идет о трактате: *Falconet A.* Moyens préservatifs pour la guérison du scorbut. Lyon, 1642.

³³ Напр.: «Я надеюсь при первой же свободной минутке, которая у меня будет, начертать пару слов г. Фальконе, которому я должен ответить уже на два его письма». *Patin G.* 2006. Lettre à Charles Spon du 25.10.1652. Vol. 2. P. 974.

³⁴ *Ibid.* Lettre à Charles Spon du 03.12.1649. Vol. 1. P. 554–555.

³⁵ *Goodman D.* 1994. P. 18.

ности. По ее наблюдениям, они могли прерываться на долгие годы и с легкостью возобновляться, если в этом была необходимость. Переписка, как единственный способ общения была «основана на понятии обмена, но обмена без денег»³⁶. Предметом обмена являются мысли, и система функционирует так же, как система дарений, когда каждый дар должен быть компенсирован другим. Здесь не случайно обращение к идеям П. Бурдьё: переписка членов *Respublica Literaria*, и Ги Патена в частности, – словно иллюстрация к его рассуждениям.

Отношения, поддерживавшиеся перепиской, действительно могли неожиданно прерваться и также неожиданно возобновиться: «Нынешнее [письмо] – лишь для того, чтобы дать вам знать, что я по-прежнему ваш преданный слуга, и освежить вашу память обо мне», – пишет он Клоду Белену³⁷, с которым исправно поддерживал переписку в течение более десяти лет и вдруг «замолчал» на три месяца. Однако именно утилитарность подобных отношений зачастую заставляла печься об их поддержании. Дружеский дискурс оказывается в этой ситуации очень активно задействован, поскольку он позволяет скрыть эту утилитарность и обеспечивает риторику «незаинтересованности».

Каждый раз во время долгого перерыва, заставляющего подозревать, что какое-то из писем пропало, или что-то произошло, Патен выражает живейшее беспокойство и огорчение. Столь же эмоциональной, особенно среди перечисления всевозможных новостей, оказывается и его радость от полученного письма:

«Наконец 5 января я получил ваше доброе и милое письмо, столь желанное и конечно ожидаемое, и могу вас заверить, что здесь в Богоявление не найдется испанского вина, которое мне было бы столь же приятно, как это письмо. Оно меня обрадовало, оно меня утешило, оно меня наставило и научило, так что я повсюду о нем рассказываю. Хвала Господу, что вы получили два моих последних [письма], и что я получил ваше, которое столь сильно увеличило мою радость, редко бывающую чрезвычайной»³⁸.

Близость и эмоциональность, кажущаяся необычной для людей, видевшихся всего единожды, перемежается с курьезными на первый взгляд «открытиями». Так только в 1650 г., спустя восемь лет после знакомства, Патен выясняет, сколько лет его другу! «Я был рад узнать, – пишет он Спону, – что вы родились в 1609 году, который я всегда считал фатальным»³⁹. Причем очевидно, что точный возраст друга сам по

³⁶ Taussig S. 2002. P. 41.

³⁷ Patin G. 1907. Lettre à Monsieur Belin, docteur en médecine à Troyes du 26.11.1642. V.1. P. 252.

³⁸ Patin G. 2006. Lettre à Charles Spon du 08.01.1650. Vol. 1. P. 573.

³⁹ Ibid. P. 572–573.

себе не интересуется Патена, что может быть свидетельством как отношения к возрасту в целом, так и «утопичности» отношений в *Respublica Literaria*, о которой уже шла речь. Утопичности, понимаемой как сознательный, демонстративный уход от всех различий между собеседниками, которые могут быть иерархично организованы.

Отчасти значение этих своеобразных отношений по переписке в жизни Патена было связано с его необычайной занятостью, не позволявшей поддерживать дружеские отношения более привычными способами. Медицинская практика, управление факультетом, написание и редактирование трудов, отслеживание и покупка книг занимали все его время. Он неоднократно жаловался на то, что неимоверно занят. «Г. дю Рие наглый лжец, я не видел и не искал его. У меня нет на это времени. Едва у меня появляется немного [времени], и едва я узнаю что-нибудь, я пишу вам»⁴⁰. На поддержание тесных отношений с окружающими его людьми, что требовало визитов, совместных обедов и т.п., времени не хватало, и поэтому его отношения с парижскими знакомыми оставались еще более «виртуальными», поддерживаясь лишь деловыми встречами и еще более редкими – и в силу этого не менее функционально и символически нагруженными – обедами. Общение по переписке было самым доступным для него способом дружеского общения. Хотя он не переставал мечтать о том, чтобы еще раз повидаться: «Возможно, я найду средство на несколько дней выбраться в Лион и там, только мы втроем, мы сможем говорить более часто, чем мы можем сделать в письмах»⁴¹.

Переписка со Спеном была достаточно регулярной, в том смысле, что на каждое письмо непременно составлялся ответ. И, в свою очередь, новое письмо ожидалось в соответствии с представлением о разумных сроках, которые могут уйти на доставку письма, написание ответа и его доставку в Париж. К середине века уже сказалась привычка полагаться на королевскую почту, которая сделала регулярную переписку нормальной составляющей повседневной жизни. Но при этом Патен мог отправить несколько писем буквально через день, а мог написать всего одно за месяц. Обычно выходило в среднем 1-3 письма в месяц.

Для эпистолярных посланий даже в рамках *Respublica Literaria* было очень важно, что письма имели сразу несколько функций. В первую очередь в центре внимания исследователей оказывается та функция переписки, которая обеспечивала циркуляцию идей, своего рода виртуальную дискуссию, приводившую к активному производству

⁴⁰ Ibid. P. 577.

⁴¹ Ibid. P. 579.

нового знания. Интересно, что и этот обмен суждениями функционировал в рамках дружеского дискурса. Просьбы о разного рода советах и суждениях позиционируются в письмах как знак взаимного доверия и дружеской расположенности. Сама свобода обмена мыслями считалась одной из главных привилегий дружеских отношений. Патен, отправляя небольшое рассуждение об эпилепсии, добавляет:

«Вот и мое заключение, которое я представляю вашей благоразумной критике: окажите мне милость просмотреть его и сообщить мне ощущение ваше, на чей суд я себя отдаю, но при условии, что если мы будем иметь различные мнения на этот сюжет, мы не перестанем быть добрыми друзьями»⁴².

Отправляя на суд друга еще одно свое рассуждение, он пишет:

«Поскольку я держу вас за своего лучшего и самого близкого друга, я взял на себя смелость открыться вам и с нижайшими поклонами просить вас, чтобы вы были так добры дать мне ваш совет по поводу замысла, который я имею об одном частном методе, о чем я писал вам кое-что раньше. [...] И вот моя мысль, по поводу которой выскажите мне свою, так свободно, как один друг может ожидать от другого [...] Если бы вы не были моим лучшим и самым близким другом, я не просил бы вас об этой милости; но основываясь на доверии которое я питаю, я дерзнул и смею ожидать от вас этой милости, чтобы вы высказали мне свое суждение»⁴³.

Для него суждение Спона действительно представляется весьма значимым. Просит он «посоветовать по дружбе»⁴⁴ и по иным поводам. Из оборотов, которые использует Патен, видно, что для него подобная дружеская услуга является одновременно и нормальной, и сверхнормальной, хотя он обращается к ней довольно часто. Этой услуге придается ценность, превышающая обычное ее значение для дружеских отношений, хотя, по сути дела, именно подобные сверхнормальные услуги и составляют основную цель поддержания данных отношений.

Однако не стоит считать переписку ученых мужей лишь обменом научными трактатами. Несмотря на то, что Патен и его корреспонденты из Лиона были коллегами, и медицина действительно занимает значительное место в их переписке, письма полны самых разнообразных сюжетов. Прежде всего, это вопросы, связанные с их общим увлечением книгами, – упоминания о них встречаются в каждом письме. Также всевозможные сообщения касаются других известных членов *Respublica Literaria*. Сообщались и столичные политические и придворные ново-

⁴² Ibid. Lettre à Charles Spon du 16.04.1649. Vol. 1. P. 428.

⁴³ Ibid. Lettre à Charles Spon du 13.07.1649. Vol. 1. P. 478–479.

⁴⁴ Например: «Age amicum и посоветуйте мне по-дружески». Ibid. Lettre à Charles Spon du 17.09.1649. Vol. 1. P. 514–515.

сти. Письма представляют собой настоящие сводки новостей: что произошло при дворе и на факультете, каковы последние действия в области внешней политики, как пререкаются иезуиты с янсенистами, и что происходит у Папы Римского, каковы книжные новинки, и кто из известных людей заболел или умер. Для Спона и Фальконе эти послания были настоящим кладом, ибо время обязательных утренних газет еще не пришло. Патен писал обо всем на свете, и не удивительно, что интенсивность переписки зависела в первую очередь от событий, происходящих в мире. Он неоднократно повторял: «...я писал бы вам гораздо чаще, если бы имел нечто достойное того, чтобы сообщить вам»⁴⁵. Патен мог дописывать письмо в течение нескольких дней, бывало даже, заканчивал его и принимался писать снова, не в силах отказать себе в удовольствии сообщить еще одну новость или не имея возможности отправить послание. Так, в начале 1649 года он более месяца не отсылал письмо, постоянно дополняя его, и оно получилось необыкновенно длинным из-за обилия новостей. В то же время даже отсутствие новостей не было для него причиной, чтобы писать реже, чем раз в месяц.

Если исходить из того, что письмо – это «дар, который должен нравиться [...], признательность другому»⁴⁶, то новость – это одна из важнейших составляющих этого дара, который в состоянии преподнести Патен своим провинциальным друзьям.

Особенно много внимания уделяется новостям в письмах периода Фронды, в том числе и потому, что Лион, где жили оба любимых адресата Патена, почти не был затронут этими событиями. Однако по большей части новости все же имеют второстепенное значение. Даже сообщение о смерти Людовика XIII Патен помещает лишь во втором абзаце своего письма после благодарности за очередную посылку и сообщения о новой вышедшей книге, которую он хочет отправить другу⁴⁷.

События частной жизни, сообщения об общих знакомых, размышления и впечатления также играют в письмах важную роль. Нельзя не упомянуть и самую практическую функцию их переписки – урегулировать различные вопросы, связанные с поручениями, которые адресаты дают друг другу: узнать... купить... рассказать... передать... и т.п.

Элен Моно-Кассиди анализировала переписку президента Жана Буйе, жившего веком позже Патена. Несмотря на разницу во времени, функции их писем очень похожи. Корреспонденты Буйе, которые писа-

⁴⁵ Patin G. 1846. Lettre à A. Falconet du 27.12.1658. V. 3. P. 105.

⁴⁶ Bray B. 2007. P. 48

⁴⁷ Patin G. 1907. Lettre à Charles Spon, docteur en médecine, rue de la Poulaille, à Lion du 19.06.1643. V. 1. P. 301.

ли ему из Парижа, из провинции, из-за границы, «разыскивали редкие книги, которые были ему нужны, обменивались латинскими цитатами, чтобы обсудить их значение, или консультировались с президентом по вопросам юриспруденции или перевода стихов Цицерона»⁴⁸.

Итак, частота и регулярность переписки зависели не только от интенсивности обмена идеями, но и от количества новостей или возможностей почтовых курьеров, или даже занятости самого Патена и его корреспондентов. В то же время ведение регулярной переписки в условиях полного отсутствия личного общения неизбежно рассматривалось как нечто равнозначное поддержанию собственно дружеских отношений. И чем более ценными представлялись те или иные эпистолярные контакты, тем больше корреспонденты заботились об их сохранении.

Патен очень ценил эту возможность общения с другом: «Я никогда не имел большего удовольствия, чем читать ваши письма и писать вам. Вот почему я прошу вас не осуждать, что мне трудно остановиться...»⁴⁹. Поэтому двухмесячный перерыв в посланиях Спона в начале 1650 г. он воспринимает очень болезненно⁵⁰. Особенно эмоциональным выглядит письмо от 3 мая, начатое еще 12–13 апреля. Патен то и дело мысленно возвращается к отсутствию писем от Спона, очень его тревожившему. Письмо начинается с длинного болезненного пассажа, в котором он переходит от шуток к просьбам, от подозрений к мольбам:

«Теперь вот 6-е письмо, которое я вам приготовил, все еще надеюсь, что вы однажды облагодетельствуете, утешив меня каким-нибудь из ваших, чего я желаю всем сердцем. И в ожидании этого столь приятного для меня события я не прекращу писать вам и продолжу, как и раньше, до тех пор, пока не узнаю, что эти мои письма вам неприятны, или пока вы не окажетесь в таком состоянии, что уже не будете нуждаться в письмах: *quod utinam absit in multos annos ab utroque nostrum*⁵¹. Постарайтесь же написать мне несколько слов и сообщить что-нибудь о своем здоровье, и получили ли вы мои письма. Не говорите мне, почему вы так долго не писали, но напишите только о вашем здоровье, о здоровье всей вашей семьи, *quia amore langueo*⁵², и в случае, если вы не хотите более, чтобы я вам писал, будьте добры сообщить мне причины, чтобы я в будущем воздерживался от них, если сочту ваши доводы основательными, и в случае, если я буду в силах принудить к этому себя самого. По меньшей мере, знайте и будьте

⁴⁸ *Monod-Cassidy H.* 1973. P. 135–136.

⁴⁹ *Patin G.* 1907. Lettre à Charles Spon, docteur en médecine, rue de la Poulaille à Lyon du 14.09.1643. V. 1. P. 329–330.

⁵⁰ «В остальном вот уже 4-е [письмо], которое я пишу, не видя ваших...». *Patin G.* 2006. Lettre à Charles Spon du 01.04.1650. Vol. 1. P. 639. Патен подчеркивает, сколько времени прошло с последнего полученного им письма.

⁵¹ ...надеюсь, что с нами обоими этого не случится много лет (лат.).

⁵² ...поскольку любовь лишила меня сил (лат.).

уверены в том, что я в такой печали от того, что не имею более новостей от вас, что никогда тирания Мазарини, гнев королевы, война принца Конде, осада Парижа и угрозы сторонников партий, даже опасность умереть от голода во время осады Парижа не лишали меня ночного покоя и спокойствия духа, как утрата ваших писем, каковую я считаю непростительной с вашей стороны, если только у нас нет на это каких-то веских причин, но они должны быть очень сильными, даже более сильными, чем армии, которые Мазарини предназначил, чтобы взять Бельгард, и чем пушки, которые г. де Вандом туда ведет. Вспомните же и напишите мне, и сообщите что-нибудь, что меня утешит, тогда как сердце мое страдает [...] от того, что я не получаю более ваших писем и не узнаю новостей. Возможно ли, чтобы я оказался в немилости? Я в это не верю. [...] Вы видите, что я совершенно готов идти исповедоваться, но мне нечего сказать этому человеку в двух рубахах, и было бы глупостью для такого хорошего хозяина, как я, отправиться туда, чтобы потерять две весьма ценные вещи – мое время и мои деньги, которыми большинство привыкло весьма плохо распоряжаться в таких встречах. Напишите же мне, и сообщите, как ваши дела, и как наш добрый друг г. Гра, *ut valet, ut memnit nostri*⁵³; что нового издается в Лионе; какие вести вы имеете из Рима и среди прочих о кардинале Теодоти, который умер 15 дней назад, *ex antiqua et inveterate syphilide*⁵⁴. Если вы не хотите писать об этом, пишите мне, о чем вам нравится: благословения, проклятия, оскорбления, хорошие пожелания...»⁵⁵.

Он несколько раз возвращается в письме к этой теме по мере того, как прибывают почтовые курьеры из Лиона, не в силах избавиться от подозрений, что Спон по какой-то причине не хочет продолжать переписку:

«Я не знаю откуда происходит эта ваша холодность: из-за какой превратности потерял я ваше расположение? Сжальтесь над истомившимся человеком, который спешит домой в нетерпении увидеть, не принес ли курьер или почтовый служащий ваши письма. Я бешусь от того, что не знаю почему вы не пишете мне больше, как в течение уже 8 лет, что вы мне оказывали эту честь, когда почтили меня своей дружбой, и если я не делал всего, что нужно, чтобы заслужить ее, по меньшей мере я могу вас заверить, что я делал все, что мог. Подумайте же обо мне, не огорчайте меня, прошу вас»⁵⁶.

Интересно, что когда долгожданное письмо было, наконец, получено, радость от него оказалась весьма умеренной. Письмо шло дольше обычного, но, хотя Патен и не пишет об этом, его, очевидно, огорчило, что за все это время Спон написал только одно письмо от 12 апреля.

Два года спустя, едва снова случился небольшой перерыв в письмах Спона, все повторяется сначала:

⁵³ ...как здравствует, и помнит ли нас (лат.).

⁵⁴ ...от старого и запущенного сифилиса (лат.).

⁵⁵ Ibid. Lettre à Charles Spon du 03.05.1650. Vol. 1. P. 654–655.

⁵⁶ Ibid. P. 659–660.

«Я больше не получу от вас весточки? Если вы не хотите больше делать мне столько добра, дайте мне знать через кого-нибудь, что вы больше не хотите мне писать, и что между вами и мной больше не будет переписки и дружбы. Если же нет, если вам жаль меня, напишите же мне и не заставляйте меня больше столько ждать. Я прошу у вас всего три слова вашей рукой: *Vivo et valeo, tu vale*»⁵⁷.

Эта ситуация может быть описана как случай нарушения взаимных обменных циклов, связанный с внезапным изменением интервала между даром (письмом) и ответным даром⁵⁸. Запоздание, рассматриваемое как не-ответ, может привести к разрыву отношений. Главным фактором, конструирующим отношения обмена письмами, оказываются представления об этом временном интервале. Где проходят границы того периода, который воспринимается как нормальный или допустимый, и с какого момента появляется ощущение разрыва, дискретности, которое и должен преодолевать обмен письмами, создавая видимость непрерывности отношений? Здесь оказывается значимым влияние новой организации пересылки писем⁵⁹. Сделав обмен письмами регулярным, почтовая служба способствовала достаточно четкой фиксации интервала «ожидания ответа», формируя практику поддержания отношений и их переживание. В то же время, сама почтовая система, в силу довольно частых нарушений этого интервала, породила болезненные для корреспондентов ситуации, т.е., по сути, будучи медиатором, постоянно вмешивалась в конструирование отношений. Наконец, четкая фиксация интервала между письмами и необходимость в регулярном обмене делала очевидным наличие заинтересованности в поддерживаемых отношениях. И эта наглядность собственного интереса (его, безусловно, стимулировали и другие факторы) в дружеских отношениях становится одной из центральных проблем в этосе дружбы в XVII столетии.

В то же время Патен, основным содержанием писем которого были всевозможные новости, а частота писем зависела во многом от плотности происшедших событий, прекрасно понимал, что его друзья из Лиона не могут ответить ему тем же: «Не удивляйтесь, если я пишу вам чаще, чем вы мне. Я хорошо знаю, что вам почти нечего мне сообщить»⁶⁰. В более спокойное время Патен уверенно отвечал на упреки

⁵⁷ Ibid. Lettre à Charles Spon du 26.03.1652. Vol. 2. P. 853–854. Латинская фраза: Я жив и здоров, будь здоров и ты!

⁵⁸ Бурдые П. 2001. С. 192–218.

⁵⁹ По меньшей мере, это имеет отношение к переписке с жителями тех городов, с которыми было установлено регулярное почтовое сообщение. В их число, как мы видели, входили и города за пределами Франции.

⁶⁰ Patin G. 2006. Lettre à Charles Spon du 28.05.1652. Vol. 2. P. 901.

своего адресата: «Что касается нашей дружбы, между вами и мной, я ничуть в ней не сомневаюсь. С моей стороны она никогда не прекратится, и с вашей, я надеюсь, тоже»⁶¹. Отмечая эту особенность писем Патена, Л. Жестаз добавляет: «Дружба, которая завязалась между ними, скрепляясь на и через бумагу, кажется, с каждым годом становилась более глубокой и более живучей. Именно письма питали, углубляли, крепили ее каждый день все более и более основательно, что сложно вообразить умам XX века, утомленным простыми и прямыми средствами коммуникации»⁶². В черед писем, где Патен высмеивал всех на свете, рассказывал о последних событиях в Польше или о болезни Королевы-матери, он иногда артикулирует свои дружеские чувства:

«[Мой добрый друг], – пишет он Фальконе в июле 1661 г., – я пишу вам с радостью, благодаря которой мне кажется, что я беседую с вами и вижу вас здесь, несмотря на огромное расстояние, которое существует между нами, но, однако, я всегда испытываю некоторое сожаление, если не могу сообщить вам какую-нибудь хорошую новость»⁶³.

Имея массу знакомств и друзей в Париже, он скучает по своим друзьям в Лионе, каждого из которых он видел один-два раза в жизни:

«...Вы можете быть уверены, что не проходит и дня, чтобы я не говорил о вас или не думал о вас более шести раз по различным поводам, главным образом, когда я встречаю здесь какого-нибудь лионца или когда узнаю какую-нибудь достойную новость, чтобы вам сообщить, с этой целью я всегда держу в своем столе начатое и не законченное письмо»⁶⁴.

Попыток рассмотреть переписку со Спеном как дружеское общение до сих пор не предпринималось, хотя Л. Жестаз отмечает: «Поскольку он писал по дружбе, он хотел получить от своего друга свидетельство симпатии, и эти отношения в большей степени являются призывом к эмоциональному, осязаемому, связанному с взаимной близостью и идентичными склонностями соучастию, нежели холодной, почти журналистской передачей события. В том и состоит богатство этой переписки, полной жизненного и дружеского трепета и составленной человеком, который всегда был взволнован и всегда реагировал на то, что его окружало, и беспокоился о том эхе, которое ему вернется»⁶⁵.

Эти неожиданные чувства, иногда прерывающие вереницу новостей, действительно, производят впечатление искренних и в чем-то непосредственных: «Вы чудесный друг, вы прежде присылали мне

⁶¹ Ibid. Lettre à Charles Spon du 23.05.1653. Vol. 2. P. 1081.

⁶² Jestaz L. Préalable à l'édition critique // Patin G. 2006. Vol. 1. P. 336.

⁶³ Patin G. 1846. Lettre à A. Falconet du 15.07.1661. V. 3. P. 382/

⁶⁴ Patin G. 2006. Lettre à Charles Spon du 14.05.1649. Vol. 1. P. 437.

⁶⁵ Jestaz L. Etude critique // Patin G. 2006. Vol. 1. P. 31–32.

столько подарков и продолжаете обременять меня ими, я дошел до того, что уже не знаю, как мне управляться с вами, ибо вы принуждаете меня к невозможному»⁶⁶. В этом смысле подчеркнутая утилитарность переписки в *Respublica Literaria* отнюдь не означала отсутствия привязанности и «сухости» как отсутствия эмоций. Напротив отношения по переписке оказываются неожиданно эмоциональными. Именно утилитарность отношений делает их столь ценными для Патена, а эмоциональность отношений оказывается прямым следствием осознания их полезности, их «ценности». С другой стороны, чем сильнее переписка обнажает наличие интереса в поддерживаемых отношениях, тем активнее становятся усилия, предпринимаемые, чтобы этот интерес скрыть. Подобные пассажи в письмах, очевидно, имеют целью упрочить отношения, через придание им иного, не утилитарного основания. Таким образом, дружеский дискурс вновь оказывается тесно увязан с этой утилитарностью, он позволяет не узнавать ее, если говорить в терминах Бурдьё.

Столь же показательна в отношении эмоциональности отношений среди членов *Respublica Literaria* реакция Патена на отъезд Габлиэля Ноде в Швецию. Патен, описывая свои переживания, крайне редко отмечает, как именно они выражались, но, тем не менее, эмоциональность его переживаний очевидна, как и желание выразить ее в письмах:

«Г. Ноде отправился отсюда в свое путешествие в Швецию в воскресенье 21 июля. Он поедет через Лейден, где увидит г. Сомеза. Мы попросились друг с другом с большим огорчением. Это расставание кажется мне очень тяжелым. Пусть его путешествие будет благополучным! Мне кажется, что я много выиграю, если смогу когда-нибудь иметь счастье вновь увидеть его возвращение оттуда»⁶⁷.

Порой он упоминает о слезах. Слезы, пролитые по умершему другу, хотя и весьма далекому, с которым почти не было отношений, но сохранялось уважение, – естественное отражение дружеской симпатии:

«Он ни ханжа, ни мазаринист, ни сторонник Конде с 4 июля прошлого года, когда мы потеряли доброго г. Мирона, который был его близким другом. Он никогда не говорит о нем без слез, которые наворачиваются ему на глаза, хотя он человек весьма стоический»⁶⁸.

У Патена были особые поводы для волнений – он был не только другом, но и врачом Ноде, – и они оправдались. На обратном пути из Швеции Ноде заболел. Патен переживал, что не может выбраться из Парижа, чтобы поехать к нему. Вскоре пришло известие о смерти Ноде,

⁶⁶ *Patin G.* 1846. Lettre à A. Falconet du 24.02.1662. V. 3. P. 399.

⁶⁷ *Patin G.* 2006. Lettre à Charles Spon du 02.08.1652. Vol. 2. P. 946–947.

⁶⁸ *Ibid.* Lettre à Charles Spon du 25.11.1653. Vol. 2. P. 1137.

которое совершенно выбило Патена из колеи. В тот день он только и смог написать Спону о его смерти, через пять дней он делает еще одну небольшую запись и заканчивает письмо: «Я этим безутешно удручен и не могу писать вам более, настолько я охвачен и переполнен болью»⁶⁹.

Позднее он опишет свои переживания: «Я ничуть не утешился от смерти г. Ноде; в течение дня, когда я узнал эту злосчастную новость, я совсем не выходил и был совершенно ею парализован. Не то, чтобы я имел желание отправиться искать его в другом мире (возможно даже, что мы никогда не встретимся), но я удручен несчастьем столь достойного человека... О бедный друг, которого я никогда не увижу! Будь проклято это путешествие, которое лишило нас столь драгоценного друга!»⁷⁰. Многие месяцы потом он вспоминает о своей утрате: «отдал бы десять тысяч ливров, чтобы г. Ноде был сейчас у него за частной беседой, как когда-то». «Я день и ночь беспрестанно оплакиваю г. Ноде. О! какую огромную потерю я понес в лице этого друга! Мне кажется, что я умру из-за нее, если Господь мне не поможет»⁷¹.

1650-е годы – не только пик карьеры Патена, но и время потери друзей: 1653 – Ноде и Сомез, 1655 – Гассенди (Патен лечил его, как и Ноде), 1656 – Моро и 1657 – Риолан, после которого Патен наследует кафедру ботаники, фармацевтики и анатомии в Коллеж Руаяль, и многих других. Сообщения об их смертях, появляющиеся в письмах, показывают, сколь широкий круг отношений включался в понятие дружбы. Почти все они не идут ни в какое сравнение с описанием утраты Ноде. Чаще всего это довольно спокойное упоминание с перечислениями разнообразных достоинств умершего. Вот, например, как Патен рассказывает о кончине своего «дорогого друга» Жана-Пьера Камю:

«Епископ де Белле, несравненный прелат, умер в возрасте 68 лет в предместье Сен-Жермен в Больнице для неизлечимо больных. Всю свою жизнь он писал и проповедовал и так и умер от воспаления легких»⁷².

Потребность репрезентировать в переписке свою сильную эмоциональную привязанность к адресату и к другим людям, с которыми его связывают похожие отношения, хорошо перекликается с тем, что Патен очень часто испытывает потребность вспоминать, упоминать, так или иначе фиксировать в письмах дружеские отношения со Спеном. И те, и другие выступают в качестве перформативных высказываний:

«Сударь, умоляю вас верить, что если вы рады получать мои письма, то я получаю еще больше радости от ваших. Я хорошо знаю, что вы меня любите, и много больше, чем я того заслуживаю. Ваша дружба – несравнен-

⁶⁹ Ibid. Lettre à Charles Spon du 08.08.1653. Vol. 2. P. 1108–1109.

⁷⁰ Ibid. Lettre à Charles Spon du 26.08.1653. Vol. 2. P. 1112.

⁷¹ Ibid. Lettre à Charles Spon du 21.10.1653. Vol. 2. P. 1131–1132.

⁷² Ibid. Lettre à Charles Spon du 10.05.1653. Vol. 2. P. 876.

ное счастье для меня, а несчастье, что я так мало ее заслуживаю»⁷³; «Сударь, чтобы ответить на ваше письмо, что я только что получил, я скажу вам, что почитаю себя очень обязанным вашей привязанности и доброму приему, который получают мои письма, что я пишу без церемоний и с предельно дружеским характером, чтобы отвечать на ваши, к коим испытываю глубочайшее почтение. Вы видите, что я нисколько не забочусь о стиле или прикрасах и не пользуюсь ни Фебом, ни Бальзаком»⁷⁴; «Я хочу с радостью и удовлетворением сообщить вам как лучшему из моих друзей одну вещь, которая произошла на этой неделе»⁷⁵.

О том, что Спон отвечал другу взаимностью можно понять из писем самого Патена: «Вот, я получил ваше [письмо], полное привязанности и дружбы, согласно вашему обыкновению...»⁷⁶.

Дружеский диалог в наибольшей степени проявляется именно в том смешении разных сюжетов, о которых шла речь выше, когда Патен то и дело перескакивает мыслью с одного на другое. Его послания не являются продуманными, отредактированными, выдержанными в нужном тоне и переписанными с черновика сочинениями. Он не уделяет большого внимания изящности своего стиля, его письма – прежде всего изложение мыслей и чувств, а не образец продуманного красноречия⁷⁷.

В его письмах неизменно появляется и информация о собственной жизни и о членах его семьи. Патен явно не придает ей большого значения, только самые волнительные события частной жизни кажутся ему достойными места в дружеском письме – получение новой должности, смерть сына и т.п. Большая часть подобной информации сообщается им по просьбе его корреспондента и часто сопровождается благодарностями за высказанный интерес и заботу.

При этом письма Патена демонстрируют и заботу о подобающих любезностях, которые должны сопровождать эпистолярное послание. Первые годы, до 1650 г., переписка с Фальконе видимо еще не устоялась, и Патен неоднократно выражал благодарность в связи с получением

⁷³ *Patin G.* 1907. Lettre à Charles Spon, docteur en médecine, rue de la Poulaille à Lyon du 16.11.1643. V. 1. P. 342.

⁷⁴ *Ibid.* Lettre à Charles Spon, docteur en médecine à Lion du 16.04.1645. V. 1. P. 456.

⁷⁵ *Patin G.* 2006. Lettre à Charles Spon du 08.10.1649. Vol. 1. P. 524.

⁷⁶ *Ibid.* Lettre à Charles Spon du 01.11.1652. Vol. 2. P. 976.

⁷⁷ Л. Жестаз приводит цитату из 2 тома «Клелии» мадемуазель де Скюдери, как наиболее близкое по духу к письмам Патена описание правил эпистолярного жанра, упоминая о формировании нового идеала беседы и переписки как живой «неотредактированной» беседы (*Jestaz L.* Préalable à l'édition critique // *Patin G.* 2006. Vol. 1. P. 344–345). Однако не стоит забывать, что этот идеал живой непринужденной беседы подчинялся очень строгим правилам ее ведения. То же касалось и писем: живость и непосредственность отнюдь не были следствием отсутствия внимания к стилю.

ем нового письма: «У меня нет таких прекрасных слов, чтобы отблагодарить вас за привязанность, которую вы мне изъясняете в вашем любезнейшем письме...»⁷⁸. Однако эти любезности, в силу того, что они постоянно изменялись, не становились формальными.

Л. Жестаз очень живо прокомментировала эту особенность: «Переписка Патена в этом отношении особенно трогательна. Насколько финальные приветствия или демонстрация дружбы далеки от принятых и повторяющихся формул привязанности! Постоянно изменяемые, выраженные на французском или на латыни, они чудесно отображают привязанность, которую Патен испытывал к своему корреспонденту»⁷⁹.

Сам же Патен писал по этому поводу:

«Боюсь, вы насмехаетесь надо мной, когда говорите, что мои письма полны любезных выражений. У меня и впрямь нет недостатка в желании, оно переполняет меня, но взамен, я практически не обладаю красноречием, пишу обо всех вещах грубо, так, как их понимаю...»⁸⁰.

Любезности в конце письма были для Патена весьма значимы. Он редко обходится без них, в основном только при нехватке места на листе бумаги. Он не пытается сделать письмо более фамильярным, избегая или сокращая их. Для него заключительные фразы являются не формальной вежливостью, но еще одним способом демонстрации привязанности, духовной ценности тех отношений, которые он поддерживает с корреспондентом.

Поначалу Патен подписывал письма однообразно: «Я преданнейше целую ваши руки и являюсь, Сударь, вашим преданнейшим и покорнейшим слугой. Патен»⁸¹. Но использование латыни позволило ему сохранить любезный стиль и придать ему разнообразие, смягчающее чопорность. Одной из таких любимых фраз является *Vale et me ama* – «Будь здоров и люби меня», которая, порой с некоторыми изменениями, повторяется во многих письмах. Когда же он обходится без латыни, его стиль порой выглядит несколько тяжеловатым:

«Я также очень настоятельно прошу у вас блага и чести продолжения вашего расположения, которое мне столь полезно и столь благотворно, при обязательстве, что я, Сударь, буду всю свою жизнь вашим покорнейшим и преданнейшим слугой, Патен»⁸².

⁷⁸ Patin G. 1846. Lettre à A. Falconet du 10.10.1648. V. 2. P. 509.

⁷⁹ Jestaz L. Préalable à l'édition critique // Patin G. 2006. Vol. 1. P. 337.

⁸⁰ Patin G. 1907. Lettre à Charles Spon, docteur en médecine à Lyon du 08.03.1644. V. 1. P. 368.

⁸¹ Ibid. Lettre à Charles Spon, docteur en médecine à Lion du 02.03.1643. V.1. P. 267.

⁸² Ibid. Lettre à Charles Spon du 03.12.1649. Vol. 1. P. 562.

Хотя эти финальные фразы не выглядят простой формальностью, по несколько напыщенному стилю они очень близки к тем, что представлены в письмовниках, что еще раз подчеркивает, что эти фразы выполняли очень значимую функцию в его письмах.

Значимость переписки в рамках *Respublica Literaria*, которую Патен постоянно подчеркивает, самыми разными способами акцентируя внимание на ценности отношений с корреспондентом и важности их поддержания, заключалась не только в возможности обмена мыслями и новостями. Еще одним аспектом эпистолярных отношений, настолько существенным, что порой может показаться, что сама переписка имеет ценность лишь в силу того, насколько она позволяет ему осуществиться, был обмен вполне материальными дарами, среди которых, в среде Республики словесности естественно главенствовала книга.

В XVII в. книга стала уже не столь дорога и была очень популярным подарком. В то же время, как утверждает Н. Дэвис, в силу распространенного мнения, что знания и способности – дар божий и не могут быть чьей-то собственностью, книга рассматривалась как привилегированный объект, который не поддавался полному присвоению, что определило своеобразный этос антикваров-коллекционеров⁸³. Впрочем, возражения на это весьма многочисленны и встречаются почти в каждом исследовании по истории чтения или книгопечатания. Автор (который уже существует в XVII в.) пишет не книгу, а текст. Книга – объект вполне материальный и эта материальная составляющая очень важна. Хорошо изданная книга может быть весьма ценным предметом дарения даже вне зависимости от характеристик самого текста. И наконец, текст не может существовать как таковой, пока он не будет прочитан, т. е. присвоен читателем. Но нельзя не согласиться с тем, что двойственный характер книги как материального и нематериального объекта и как двойственного дара – исходящего одновременно и от дарителя, и, чаще всего косвенно, от самого автора – делало книгу особым подарком, особенно если автор и даритель был одним и тем же лицом. Тем более что привилегия делать такие подарки во Франции принадлежала жителям нескольких крупных городов, являвшихся центрами книгопечатания, в основном – Парижа, Лиона и Руана.

В 1650 г. Спон преподнес Патену особый подарок с дарственной надписью – давно ожидаемый Патеном перевод, осуществленный самим Спеном, который долго печатали в Лионе. Для Патена, надеявшегося однажды отблагодарить друга подобным же образом, эта надпись

⁸³ Davis N. Z. 1983. P. 87.

представляла собой не просто обозначение дружеского дара, демонстрирующего привязанность, но возможность публично зафиксировать их дружеские отношения, в том числе для последующих поколений:

«Я надеюсь, что вскоре представится какой-нибудь случай (чего я страстно желаю), с помощью которого я смогу дать знать вам и также потомству, насколько я считаю себя обязанным вашей неповторимой добротой и доброй дружбе, которой вы почитаете меня в течение нескольких лет»⁸⁴.

Книги, издававшиеся в Лионе, были дешевле парижских, тем более что зачастую были незаконными. Но поскольку Патен и его друзья покупали их в большом количестве, то частые просьбы Патена «разыскать в Лионе у книготорговцев» ту или иную книгу иногда сопровождались заверениями, что она будет оплачена: «Вы меня обяжете, купив ее для меня, если найдете. Я верну ее стоимость, сколько она будет вам стоить, и [вы] очень меня обяжете»⁸⁵. Он шутливо отмечает «ваша дружба, ваши услуги для меня [слишком] плодоносны, чтобы я от них отказался»⁸⁶. Действительно, Патен почти в каждом письме просит разыскать ему ту или иную книгу. За большую часть из них он возвращал деньги, но многие из пересылаемых в Париж или в Лион книг были подарками.

«Я хочу сделать вам упрек, но по-дружески, – писал он. – Вы мне делаете слишком много комплиментов в своих письмах и слишком много подарков. Вы не хотите, чтобы я говорил о последнем пакете и о том, сколько он вам стоил. Я бы считал себя более счастливым, приобретая все эти редкости за деньги, и полагал бы себя еще более обязанным вашей добротой. Как же вы хотите, чтобы я поступил после всех забот, которые я ежедневно вам причиняю с этими моими редкостями, и которые зачастую столь же непомерны, как аппетит беременной женщины?»⁸⁷.

«Материальная» заинтересованность Патена подчеркивается тем фактом, что он и его сын Шарль служили посредниками в распространении нелегальных (печатавшихся без получения привилегии) и запрещенных изданий в Париже. С ужесточением контроля за печатной продукцией при Людовике XIV против Патена и его сына начинаются судебные процессы по подозрению в распространении контрабанды (в сентябре 1666, июле и ноябре 1667 гг.) и выносятся постановления пристально следить за получаемыми ими (особенно из Лиона) посылками.

Книга в отношениях Патена и его лионских друзей, как и отношениях других людей, непосредственно связанных с книжной культурой, существует в рамках экономики дарений, но при этом и выпадает из

⁸⁴ Patin G. 2006. Lettre à Charles Spon du 10.04.1650. Vol. 1. P. 652.

⁸⁵ Ibid. Lettre à Charles Spon du [06.10.1649]. Vol. 1. P. 563.

⁸⁶ Ibid. Lettre à Charles Spon du 15.01.1652. Vol. 2. P. 822.

⁸⁷ Ibid. Lettre à Charles Spon du 25.04.1653. Vol. 2. P. 1068.

них. Она как раз является одним из главных объектов интереса в поддерживаемых связях, не менее значимым, чем сами отношения с человеком, который ее преподносит. Даже более того, сама значимость этого человека в большой мере связана с его способностью открыть путь к желаемой книге. Уж не за эту ли возможность, доставать через своих лионских друзей новые книги, Патен так ценил отношения с ними? Во всяком случае, дар и даритель, по меньшей мере, имеют равнозначную ценность. И кроме того очевидно, что именно наличие такой сугубо материальной заинтересованности, которая отдавала некоторой корыстью, заставляло постоянно прикладывать усилия и самыми разными способами подчеркивать дружелюбие, уважение и искреннюю эмоциональную привязанность⁸⁸. Патен позиционирует собственноручную оплату всех книг, посылаемых в Лион, как дружеское поведение и просит обращаться с ним, как с другом, и позволить оплатить следующий пакет⁸⁹. Это позволяет, в духе философии Эпикура, в свою очередь, также просить о еще большем количестве книг и получать больше удовольствия от столь плодоносной дружбы.

Книга как объект личного интереса вписывается в эту экономику дарений и благодаря тому, что время от времени ее сопровождают и другие дары, которые как раз играют традиционную символическую роль. Подарки были неотъемлемой частью отношений Патена с Шарлем Спеном. Самое первое из их сохранившихся писем начинается словами:

«Сударь, я второпях пишу вам эту краткую благодарность за превосходный подарок, часть которого я передам г. Моро, который отблагодарит вас в письме. Я очень обязан вам за то, что вы так пунктуально обо мне вспоминаете»⁹⁰. Патен нередко получал сыры, каштаны и прочие деликатесы. «...Г. Фальноне, также, которому я прошу вас передать, что я благодарю его за сыры и другие подарки помимо книг, за которые я ему и так уже очень обязан», – просит он Спона⁹¹.

Эти подарки не отличались разнообразием. Присылали то, что было обычно в изобилии в домашнем хозяйстве и наилучшего качества. Так, доктор Клод Бело из Труа присылал Патену паштет. Его Патен хранил до каких-нибудь особых случаев⁹².

⁸⁸ «Я продолжаю слишком чтить вашу дружбу, чтобы желать других подарков с вашей стороны, кроме вашего искреннего хорошего расположения...» *Patin G.* 1846. Lettre à A. Falconet du 20.07.1649. V. 2. P. 525.

⁸⁹ *Patin G.* 2006. Lettre à Charles Spon du 25.04.1653. Vol. 2. P. 1069.

⁹⁰ *Patin G.* 1907. Lettre à Charles Spon, docteur en médecine à Lion, rue de la Poulaille du 21.10.1642. V. 1. P. 241.

⁹¹ *Patin G.* 2006. Lettre à Charles Spon du 08.01.1650. Vol. 1. P. 579.

⁹² «...надеюсь, что ваш паштет прибудет к крещению нашего четвертого

Регулярный обмен и такими подарками казался Патену фактором, еще более проблематизирующим дружеские отношения:

«Было несколько моих писем, которые от вас ускользнули, и которые вы не получили, в которых я просил вас никогда больше не присылать мне паштет, ни что-либо другое, в виду того, что, помимо того, что я совершенно недостоин ваших подарков, сами подарки, и в особенности между друзьями, неуместны и подозрительны; я однажды писал об этом подробнее в письме, которое, по видимости, потерялось. Эти подарки доставляют вам беспокойства, а я, который никогда [их] не ем, вынужден отдавать их людям, которые не всегда этого заслуживают»⁹³.

В глазах Патена эти дары в наименьшей степени обладали символической ценностью (что тоже свидетельствует о произошедших изменениях в представлении о дружбе) в силу того, что не имели никакой духовно составляющей. Совершенно иначе он относился к дарам, в которых эта духовная составляющая превалировала над материальной, благодаря чему формировала символическую ценность. В 1648 году он посылает Шарлю Спону свой портрет и просит взамен портрет друга, предвкушая его получение:

«Получили ли вы мой портрет, который я отправил вам в прошлом году с г. Раво? Мне кажется, вы не сообщали о том, что получили его. Я также прошу вас не забывать, что вы обещали мне свой, который я здесь жду. Надеюсь, что вы не лишите меня надежды. Я уже приготовил для него место в моем кабинете...»⁹⁴.

Портрет также особо интересует его как возможность сохранить для потомства свидетельство о дружеской расположенности Спона⁹⁵.

Очень близки к ситуации с обменом книгами были услуги, оказываемые приезжавшим друзьям и знакомым корреспондента. С одной стороны, Патена интересовала возможность Спона и Фальконе свести его с новыми людьми, что он неоднократно подчеркивал и очень ценил. С другой стороны, эти услуги также преподносились как составная часть экономики дарений и важный способ проявить и подтвердить свою дружбу, в которых они были ограничены в силу удаленности друг от друга. Еще одним из таких способов было оказание помощи друзьям или родным друга, если они оказывались в Париже или Лионе. В 1661 г.

мальчика, которого мы ожидаем». *Patin G.* 1907. Lettre à Monsieur Belin, docteur en médecine à Troyes du 08.11.1635. V. 1. P. 96.

⁹³ Ibid. Lettre à Monsieur Belin, docteur en médecine à Troyes du 28.04.1639. V.1. P. 153.

⁹⁴ *Patin G.* 2006. Lettre à Charles Spon du 07.06.1649. Vol. 1. P. 450.

⁹⁵ См. письмо от 24 мая 1650 г.: Ibid. Lettre à Charles Spon du 24.05.1650. Vol. 1. P. 674.

в Париж с письмом от Фальконе приехал один «достойный лионец», для которого Патен пообещал добиться встречи с президентом Ламуаньонном. В 1665 г. он, в свою очередь, благодарит друга за то, что тот приготовил комнату для его сына, собравшегося в Лион.

Такая «заочная» дружба между Патеном и его лионскими корреспондентами, с очень редкими встречами и визитами, продолжалась до смерти последнего в 1672 г. Отношения с лионскими корреспондентами будет продолжать его сын Шарль.

Сложное отношение к интересу в отношениях между членами *Respublica Literaria* и ощущение потребности в акцентировании маскирующих его бескорыстности и уважении эмоциональной дружеской привязанности – свидетельство эпохи, порожденное многочисленными трансформациями, выпавшими на долю XVII столетия. Веку Просвещения удастся преодолеть это болезненное отношение к корыстному интересу в дружеских связях, обмен дарами будет рассматриваться как готовность делиться материальными благами между равными⁹⁶, благодаря чему дружба даже войдет в число революционных ценностей.

Развитие экономики приведет к тому, что деловые отношения перестанут нуждаться в легитимации посредством дружеского дискурса. С этим отчасти связан и тот факт, что *amicitia* уступит место *tolerantia* в качестве понятия, характеризующего отношения между членами *Respublica Literaria*. Дальнейшее налаживание регулярного почтового сообщения приведет к тому, что кажущийся «нормальным» интервал между письмом как даром и ответом на него перестанет увязываться с датами отправления очередного курьера, он вновь станет более размытым. Как следствие трансформируются представления о «норме» и восприятие ее нарушений.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Бурдые П. Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001. 562 с.
- Belloc A. Les postes françaises: recherches historiques sur leur origine, leur développement, leur législation. Paris, 1886. XX, 783 p.
- Bots H., Waquet F. La République des Lettres. P.: Belin, 1997. 188 p.
- Bray B. Épistoliers de l'âge classique. L'art de la correspondance chez Madame de Sévigné et quelques prédécesseurs, contemporains et héritiers. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2007. 504 p.
- Davies N. Z. The Gift in Sixteenth-Century France. Madison: The University of Wisconsin Press, 2000. 196 p.

⁹⁶ Haroche-Bouzinac G. 2010. P. 36.

- Davis N. Z. Beyond the Market: Books as Gift in Sixteenth-Century France // Transactions of the Royal Historical Society. Ser. 5. N. 33. 1983. P. 69–88.
- Duchêne R. Comme une lettre à la poste. Les progrès de l'écriture personnelle sous Louis XIV. P.: Fayard, 2006. 370 p.
- Fattori M. Le commerce épistolaire, institution de la République des Lettres // Les premiers siècles de la République européenne des Lettres / Sous dir. de M. Fumaroli. P.: A. Baudry, 2005. P. 90–110.
- Goodman D. The Republic of Letters. A Cultural History of French Enlightenment. Ithaca, L.: Cornell U.P., 1994. XII, 338 p.
- Guez de Balzac J.-L. Œuvres de J. L. de Guez, sieur de Balzac... P.: de J. Lacoffe et Cie, 1854. V. 1–2.
- Haroche-Bouzinac G. Valeurs de l'amitié dans la correspondance des frères Verri // Valeurs et correspondance / sous dir. de A. Tassel. P.: L'Harmattan, 2010. P. 33–51.
- Monod-Cassidy H. De la Lettre à la revue: La correspondance de l'abbé le Blanc et du président Bouhier; essai sur l'étiologie de la Correspondance littéraire // La correspondance littéraire de Grimm et de Meister (1754–1813) / Sous dir. de B. Bray, J. Schlobach, J. Varloot. P., 1973. P. 135–136.
- Patin G. Les Lettres de Guy Patin à Charles Spon / Ed. par. Laure Jestaz. P.: Honoré Champion, 2006. Vol. 1–2.
- Patin G. Lettres de Gui Patin, 1630–1672 / Ed. par P. Triaire. P., 1907. V. 1.
- Patin G. Lettres de Gui Patin. P.: J.-H. Baillière, 1846. V. 1–3.
- Pellisson P. Lettres historiques. Genève: Slatkine, 1971. 330 p.
- Sévigné M. Correspondance. P.: Gallimard, 1972. V. 1–3. V. 1. XXXIX, 1459 p.
- Taussig S. Les correspondances savantes comme une utopie // Libertinage et philosophie au XVIIe siècle. Vol. 6. Libertins et esprits forts du XVIIe siècle: quels modes de lecture? // Sous dir. de A. McKenna et P.-F. Moreau. Saint-Étienne: Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2002. P. 37–54.
- Ultee M. The Republic of Letters: Learned Correspondence, 1680–1720 // Seventeenth century. 1987. N. 2. P. 95–112.
- Стогова Анна Вячеславовна**, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра гендерной истории ИВИ РАН; annast@list.ru.

И. П. КУЛАКОВА

РОССИЙСКОЕ «ПРОСВЕЩЕННОЕ ДВОРЯНСТВО» В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ НОВОГО ВРЕМЕНИ

СПЕЦИФИКА ФОРМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(XVIII – ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XIX ВВ.)^{*}

Автор рассматривает место российской дворянской элиты в процессе развития новых культурных практик XVIII века – дилетантизм и художественность как метод репрезентации знания; воображение как фактор познания и способ освоения «новой культуры», а также новые формы интеллектуальной деятельности и способы самопрезентации дворянства (социальные, гносеологические, психологические и эстетические аспекты).

Ключевые слова: дворянство, Просвещение, образование, наука, интеллектуальная деятельность, дилетантизм, коллекционирование.

Вступая в XVIII век, «европейское общество было культурно единым, и потому его переход в Новое время был относительно плавным, органичным, хотя и не всегда... простым»¹. Одним из общих цивилизующих факторов для европейцев была (наряду с римским правом и христианством) светская культура Просвещения. В каждой стране процесс вхождения в Новое время имел, однако, своеобразные черты. Тем более это относится к России, где в результате ускоренной европеизации инновационный тип культуры наложился на многовековой мощный пласт культуры традиционной. В итоге культурная рецепция вылилась в сложный (и мучительный во многих проявлениях) процесс усвоения новых норм и практик, который растянулся более чем на век.

Следует указать на особенности экономического развития России, которые были связаны с социокультурными процессами: крайне неблагоприятные условия для капиталистического накопления; низкий объем совокупного прибавочного продукта предопределили упрощенную структуру не только государственного механизма, но и отсутствие свободной городской «интеллигенции» (функции которой вплоть до XVIII в. выполняла церковь)². К числу наиболее радикальных измене-

^{*} Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта № 10–01–00403а «Идеи и люди: интеллектуальная жизнь Европы в Новое время».

¹ Каменский. 1999. С. 524–525.

² Милов. 1998.

ний, которые принесла ускоренная модернизация России в XVIII в., было заимствование европейских научно-образовательных систем. Однако ускоренная модернизация принесла столкновение и синтез инноваций и традиционных устоев; многие западные культурные механизмы при их «импорте» начинали работать в другом режиме, приспосабливаясь к местным условиям. И если в передовых европейских странах идеи Просвещения несли демократизм, подрывали веру в легитимность общественного устройства, то в России они выступали скорее как регулятор социокультурной практики *дворянства*, путь его приобщения к европейской культуре и знанию. Именно дворянство, сохраняющее в себе черты феодальной сословности, стало, в первую очередь, слоем, ориентированным на нормы и ценности Просвещения.

Пытаясь разгадать «тайну» российского Просвещения, большинство исследователей до сих пор в основном шло через «типическое» – в попытках обрисовать групповой портрет «просвещенного» дворянства, ставшего главным его субъектом. Как справедливо отметила О. Е. Кошелева, чаще всего получались обобщающие конструкты, подаваемые как «новый человек», «человек эпохи Просвещения». При этом выявляемые (и каждый раз выдаваемые за константу) черты менялись вместе с трансформацией исторических взглядов и концепций³.

Как же сами россияне XVIII века подходили к понятию «просвещенности»? Ответ очевиден: по-разному в разные десятилетия, в зависимости от статуса и культурного уровня. Выявить это понимание, не приписывая человеку XVIII века своих оценок, очень трудно. Но, заметим, тот, кто был нацелен на новые ценности, так или иначе воплощал это понимание в своей повседневной практике – в той сфере, где человек проявляет себя наиболее естественно, через телесно-предметное переживание реальности⁴. Это – и пространства, в которых протекала реальная повседневная жизнь, и образность, в которой оформлялись эти жилые пространства, – «сконструированная» людьми прошлого сознательно в целях самопрезентации, прокламирования каких-то идей, или складывающаяся независимо от их намерений (но воплощенная в стилистике оформления, предметах быта, мебели и пр.). Не претендуя на полноту исследования этой необъятной проблемы, мы рассмотрим проявления установок, связанных с новыми для россиян культурными практиками эпохи Просвещения. Но самое важное – уловить те умонастроения, которые характеризовали формы самопрезентации «просве-

³ Кошелева. 2006. С. 88–95.

⁴ Шюц. 2003. С. 18.

щенного человека», и учесть тот социокультурный контекст, в котором действовали люди разных поколений.

Переход к новым европейским ценностям в начале XVIII века оказался исключительно сложен не только для большинства россиян, поневоле затронутых этими процессами, но и для круга самих петровских реформаторов⁵. Рассмотрение О. Г. Агеевой разных аспектов истории С.-Петербурга показало разную степень возможности инноваций даже в сфере светской культуры (не говоря о сфере религиозности)⁶. Смерть Петра замедлила темпы развития новых процессов, но не могла их остановить. В царствование Анны Иоанновны в России начинает формироваться полноценное придворное общество со своей системой многоступенчатых властных структур и приводных механизмов культурной политики. Представители российской власти открыто признавали ценности Века Просвещения, выдвигая задачу предельной новизны («виватная» культура требовала самых затейливых и громких в Европе фейерверков; покупались лучшие научные коллекции). Наука, образование, новое знание оставались предметом государственного контроля и покровительства: ведь знание – это всегда власть. При этом на словах оно оценивалось высоко (как знание полезное, поставленное на службу государству и «общественному благу»).

Придворная среда выступала в тот период в роли главного *потребителя* науки и культуры Просвещения. Это не могло не оказывать влияния на общекультурную ситуацию: с применением новых культурных практик потребовались во множестве люди разнообразных новых профессий – художники и граверы, архитекторы и пиротехники, портные и парикмахеры, механики и садовники, актеры, поэты и – ученые.

Культурная жизнь Петербурга сосредоточилась вокруг двора. Помимо обычных развлечений появились новые. Знание облекалось в «удобочитаемые» формы: родом *просвещенного увеселения*, наслаждения для избранных были придворные действия, барочные по стилю. Наука, литература, искусство здесь не мыслились сами по себе; они фигурировали как элементы синтетических действий, целью которых в конечном итоге была репрезентация власти – как власти «просвещенной». Увлечение двора, например, астрономией можно считать проявлением *этикетного поведения* «просвещенного правителя», для которого астрономия

⁵ См. опыт рассмотрения процесса трансфера западноевропейских идей в Россию с разных сторон: Вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе: К проблемам адаптации западных идей в Российской империи. Сб. ст. (Серия: Россия и Европа. Век за веком). М., 2008.

⁶ Агеева. 1999.

была важна как «философская» наука. Астрономы развлекали самодержцев «обсервациями»⁷. В 1727 г. в Академии наук решено было украсить коронацию Петра Второго следующим образом: «г-н Делиль на французском языке проблематический вопрос изъяснит, ежели учиненными поныне астрономическими обсервациями доказать можно, которое сущее система есть света, и ежели земля вокруг солнца обращение имеет или нет»⁸. Но астрономические знания репрезентовались и другими специфическими способами, характерными именно для XVIII века: квинтэссенцией культуры барокко стал огромный Готторпский глобус, бывший и моделью всего изученного человеком мира и – артефактом своего времени (доставленный в Петербург еще при Петре, он и позднее служил в основном представительским целям). Пример с глобусом характеризует «барочный» интерес к предметам экзотическим, «из ряда вон выходящим» (типа «уродов» из Кунсткамеры, карликов и великанов). В «монстрах» и «раритетах», «инсектах» и минералах Кунсткамеры, физических опытах и «увеселительных механизмах» (автоматах) познавательный и художественный моменты были сплавлены воедино. Эксперименты и диковины демонстрировались перед небольшим кругом знатных «посвященных» (что само по себе было формой научной публикации той эпохи)⁹. Но *любопытность* сначала преподносилась, а потом и мыслилась наряду с «превеликою пользою» как особого рода наслаждение или, как говорили в XVIII в., *увеселение*. Семантическое поле этого слова обширно: от анатомирования до музицирования (особый смысл, который придавался этому слову в Век Просвещения, будет понятнее, если вспомнить, что и искусное препарирование тел могло рассматриваться как увеселение¹⁰).

В придворных театрализованных действиях неизбежно присутствовали черты, характерные для эпохи барокко: научное и художественное

⁷ Даже императрица Анна Иоанновна – как считается, не слишком образованная особа – в 1735 г. приглашала во дворец Делиля показать ей Сатурн с его кольцами и спутниками «через ньютоновскую трубу» (в длиннофокусный телескоп Ньютона). Она не только «смотреть изволила», но и «объявила о сем всемирнолюбивейшее удовольствие и приказала, чтоб как физические, так и астрономические инструменты для продолжения таких обсерваций при дворе... оставлены были» (Пекарский. 1870. С. 130).

⁸ Курукин. 2003. С. 142.

⁹ Филонович. 1996. С. 26–31; Сокулер. 2001. С. 99–102.

¹⁰ Вспомним, как сам Петр «увидев в его анатомическом кабинете превосходно препарированный труп ребенка, который улыбался как живой, не удержался и поцеловал его» (Мирский. 1996. С. 51) – столь велики были восхищение царя искусством медиков и пиетет перед возможностями науки в целом.

сближено; все художественное «демонстрирует тайну тем, что уподобляется знанию и миру – миру как непременно включающему в себя тайное, непознанное и непознаваемое»¹¹. Пример из области пропаганды той же астрономии: используя любимые XVIII столетием театральные формы, М. В. Ломоносов пытался «легитимизировать» в придворных кругах новую для России того времени идею «множественности миров». В рамках задуманных великой княгиней Екатериной Алексеевной увеселений Ломоносов затеял аллегорическое действо – постановку драматической кантаты «Пророчествующая Урания» (1757): с помощью особой машины «с небес» «являлась муза Урания, сидящая на множестве блистающих сфер и глобусов». В основу композиции была положена известная книга Х. Гюйгенса «Космотеорос»¹².

Члены Академии наук обслуживали символическую сферу придворного этикета и другими способами. Так, Г. Ф. Миллер, а затем и В. Е. Адодуров, исследовали генеалогию придворных, князей и императоров. (Заметим, что создание дворянских гербов, помимо прочего, явилось этапом развития дворянского сословного самосознания.)

При русском дворе из всех литературных жанров ценился лишь панегирический. Поэзия присутствовала в виде официальной оды, полностью включенной в церемониал официального торжества формой, в которую отливалась «монархическая эмоция»¹³. Звание придворного одописца вполне соответствовало придворной ситуации (именно оно придало определенный статус Ломоносову: «учённость», как и занятия литературой, не приобрели места в Табели о рангах). Впрочем, при дворе вполне ценились и признавались полезными такие науки и «художества», как медицина, артиллерийское, пробирное и горное дело, гравировальное мастерство, искусство химиков в устройстве фейерверков и т.п.¹⁴.

Обслуживать все эти «синтетические» действия были призваны как раз овладевшие «просвещением» люди. С выделением государственной службы в качестве особой сферы профессиональной деятельности помимо понятных категорий службы придворной, военной и статской появились новые – служба литературная и академическая. Статусы и профессионального литератора, и ученого остро нуждались в адаптации. В

¹¹ Подробнее см.: Михайлов. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи. http://www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/Biblioteka_Mikhailov_Baroque.htm.

¹² Солоухина. 1996.

¹³ Погосян. 1997.

¹⁴ Не без влияния фаворита императрицы Елизаветы И. И. Шувалова Ломоносов был переориентирован с химии и физики на мозаичное искусство, похвальные слова и оды. Писаренко. 2003. С. 351.

России того времени «сколь бы образован ни был человек, он остается слугой системы, можно даже сказать – ее собственностью. Его образование и ум принадлежат государству, и высокопоставленный государственный чиновник может распоряжаться ими по своему усмотрению»¹⁵. При этом оказывается необходимой фигура организатора и одновременно *интерпретатора* науки для придворной среды (например, типа печально знаменитого директора академической Канцелярии И.-Д. Шумахера). И особенно велика роль аристократа, близкого ко двору – просвещённого покровителя наук и искусств.

Одним из ярких представителей этой небольшой группы можно считать И. И. Шувалова (1727–1797), который уже с 1749 г. начинает играть роль *культурного политика* при дворе императрицы Елизаветы Петровны, в конце ее царствования становится генерал-адъютантом и членом конференции (тогдашнего государственного совета).

Для просвещённого аристократа того времени были одинаково характерны как всеобъемлющий характер образованности, так и, как следствие первого, поверхностность знаний: слишком серьезно заниматься наукой было «не по чину». (Впрочем, и представление о свойствах английского джентльмена связывалось именно с его праздностью, стремлением избежать клейма профессиональности¹⁶ – таковы были веяния времени.) Однако И. И. Шувалов был одним из тех людей, которые в силу неповторимой индивидуальности (и высокого статуса) способны были оказывать влияние на социальную практику. Во многом же его черты были обусловлены характерными для эпохи социокультурными процессами, что и делает возможным говорить о нем как о типе.

Необычность этой фигуры отмечали и его соплеменники, и французы, среди которых он жил 14 лет. Во время пребывания в Париже он сумел заслужить уважение многих выдающихся европейских интеллектуалов. «Я в совершенном восторге от Шувалова; никогда не видел я столь любезного человека, такое умение держаться, столько простоты и скромности вместе со здравым смыслом и достоинством! Несколько меланхолическое выражение, но ничего униженного!», – писал в письме 1765 г. Х. Уолпол (4-й граф Орфорд, литератор, основоположник английского готического романа)¹⁷.

Англичанин отметил те черты, которые характеризовали Шувалова как человека, вполне овладевшего европейской культурой.

¹⁵ Гутнер. 2002. С. 10.

¹⁶ Оссовская. 1987. С. 137–140.

¹⁷ Цит. по: Вацуро. 2000. С. 32; см. также с. 22–31.

«Просвещенность» в Европе XVIII в. – в широком смысле – понималась и как воспитанность, умение ценить красоту, вести себя и быть приятным в общении. В России при Петре I воспитание и обучение детей стало рассматриваться как государственная обязанность высшего сословия. Такой подход сохранялся и в дальнейшем. В. Н. Татищев настаивал, что дворянину полагается хорошо писать и говорить; его следует обучать «стихотворству и поэзии», музыке, живописи, умению вести себя пристойно (1730–1735 гг., «Разговор двух приятелей о пользе науки и училищах»). Последнее означало практически поведенческие навыки – «как стоять, идти, поклониться, поворотиться» – чтобы отличаться от простолюдина¹⁸. Манеры образованного молодого человека эпохи барокко должны были нести в себе идею грациозности, учтивости, аристократической сдержанности в выражении чувств. И это не просто внешняя приятность поведения: фактически впервые человеку предлагалось думать о собеседнике, уважать в нем другую личность.

Итак, «просвещенность» в определенном понимании закреплялась как элемент этикетного поведения при дворе; благодаря этому в дворянском обществе постепенно укоренялось представление о престижности и других культурных форм, ассоциировавшихся с «просвещением». Ускоренный темп преобразований начала XVIII века заставил россиян, и дворянство в первую очередь, подчиниться новым культурным установкам, навязанным государством.

Рассматривая придворную среду, мы обратили внимание на дворянина – зрителя, участника придворных действий, наслаждающегося и увеселяющегося, выступавшего таким образом объектом приложения культуры Просвещения. Совсем другой этап – время, когда российский дворянин в массе своей становится ее субъектом.

Придворная среда была крупным, но не единственным очагом Просвещения в России. В изменении социокультурного контекста большую роль играло институализированное образование, и светское, и духовное. Мы не будем останавливаться на роли учебных заведений нового типа (которые были культурными пространствами, где наиболее интенсивно протекали процессы, связанные со становлением науки и норм «Просвещения»¹⁹). Скажем лишь, что к концу века в результате функционирования Академии Наук и её академических учреждений в Петербурге и Московского университета в стране появился новый тонкий слой ученых-профессионалов. Однако этот путь оказался малопри-

¹⁸ Татищев. 1979. С. 92.

¹⁹ Об этом см.: Кулакова. 2006.

влекателен для российского дворянства (по крайней мере, для более или менее зажиточных его слоев): речь шла о длительном процессе изменения ценностных ориентиров общества, прежде чем дворянские отпрыски наполнили университеты.

С 1730-х гг. берут начало закрытые дворянские учебные заведения, первым из которых стал Шляхетный Сухопутный корпус. Именно отсюда вышли активные приверженцы новой культурной парадигмы – А. Сумароков, И. Елагин, А. Олсуфьев, А. Натров, И. и П. Мелиссино, И. Шишкин, С. Порошин, М. Херасков и др. Корпус стал настоящим очагом новой культуры и породил импульс самодеятельности: уже в 1759 г. группа кадетов предприняла в С.-Петербурге по своей инициативе и на свой счет издание журнала «Праздное время, в пользу употребленное». Хороший пример того, как из рук в руки, через конкретных людей передавалась издательская традиция: усилиями, прежде всего М. Хераскова, с начала 1760 г., теперь уже в Москве, при Московском университете издается еженедельник «Полезное увеселение», содержащий переводы студентов и учеников университетских гимназий (так одновременно решались задачи и организации практики переводов, и издания популярной переводной литературы). Носителем той же журнальной традиции выступил А. П. Мельгунов, ярославский генерал-губернатор, который также воспитывался в Сухопутном шляхетском корпусе. В основанной им типографии с конца 1760-х гг. печатался первый провинциальный журнал «Уединенный пошехонец». Мельгунов же стал действительным редактором и фактическим главой предприятия (сказался накопленный опыт, эрудиция, образование и связи в кругу культурной элиты). Это значит, что эпоха Просвещения принесла новые формы общения и социальных связей (новая дискурсивная практика, читательские сообщества, свободный обмен мнениями).

После указа 1762 г. «о вольности российского дворянства» последнее стало оседать в своих вотчинах, предаваясь хозяйственным заботам, отстраивая дома и украшая их в соответствии со вкусами эпохи. Это тот этап, когда образованность, чтение, переводы, собирание книг – в целом, творческие занятия – начинают рассматриваться в дворянской среде как «просвещенное» и модное времяпрепровождение, занятия «полезные и приятные». Особый сплав культуры, науки и искусства, который мы наблюдали в проявлениях придворной культуры, явился теперь в форме так называемого (с позиций рационализма XIX века) «дилетантизма».

Прежде всего, дворянство втягивается в процесс *коллекционирования* – привлекательный и вполне доступный вид «просвещенной» деятельности. Первый кабинет редкостей, Кунсткамера, как известно, был

детищем царя Петра. Лейбниц составил для императора записку «о музее и относящихся сюда кабинетах и кунсткамерах». Давая советы Петру по организации Академии наук, он рекомендовал для начала озаботиться организацией библиотеки и кабинета редкостей («чтоб они служили не только предметом общего любопытства, но и средствами для усовершенствования художеств и наук»). Между тем, И. Шумахер объехал крупнейшие города Европы, осматривая научные учреждения, и, в частности, обсерватории, музеи и кабинеты (подробное описание кабинетов, увиденных в Германии, Англии и Голландии, Шумахер дал в своем отчете²⁰). Результаты всех этих усилий были воплощены в проекте учреждения Академии наук²¹. Кунсткамера стала предметом общего любопытства, но лишь примерно с начала 1740-х гг. российское дворянство начинает проявлять стойкий интерес к созданию *собственных* «кабинетов редкостей». В первых рядах выступало столичное дворянство и такие «маргиналы», как Демидовы. Заводились натуральные и минералогические кабинеты, полные диковинок, чудесных автоматов и устройств (редко – частные кабинеты-лаборатории, которыми «угощали» гостей). Главенствовала функция коллекций и кабинетов – «изумлять». Характерная для того времени эстетизация научных коллекций была нацелена на их демонстрацию, развлечение. Но при этом коллекционирование – что важно для России – представляло значимый процесс формирования идентичности *западного* типа. Собирая вещи вокруг себя в соответствии со своим вкусом, хозяин коллекции делал попытку создать собственный «мир» – одна из важных форм организации познавательной деятельности, связанных с формированием знания нового типа.

То же, кстати, можно сказать о культуре устройства усадебных комплексов, в которых начинают «самовыражаться» богатейшие из российских дворян. Устройство усадеб становится для некоторых дворян не просто формой заполнения досуга, но делом жизни.

Еще в работах 1920-х гг. выдающийся литературовед Н. К. Пиксанов ввел понятие «культурного гнезда». Он указал на *региональные* культурные очаги в виде некоторых поместных усадеб, хозяева которых были связаны, по его мнению, в основном с литературным творчеством. Впрочем, со временем понятие «культурного гнезда» стало употребляться и в расширительном значении. Мы же хотим указать на те усадьбы, где культурная деятельность их хозяев выступала и в иных ипостасях, характерных именно для XVIII века.

²⁰ Отчет см. в кн.: *Пекарский*. 1862. С. 533–558.

²¹ *Шебунин*. 2002.

Усадьба выступала как «сфера независимого частного человека, дорожащего своей свободой»²². Затеи усадебные (как и придворные) носили демонстрационный характер, но творцом их в конечном счете был сам хозяин усадьбы (хотя и прибегавший к искусству профессионалов). При создании комплекса во всем – в выборе архитектурного проекта, планировки дома и сада, в подборе коллекций произведений искусства, приборов и естественноисторического материала, в принципе построения коллекций – воплощалось понимание «просвещенного» взгляда на мир, и в том числе на фундаментальную идею целостности «микромира усадьбы» как отражения самого мироздания. Создание таких усадеб, где затем росли и воспитывались следующие поколения, было одновременно и проявлением творческого начала и фактором влияния на их обитателей. В пространстве русских усадебных комплексов шла стилизация жизни в некое мифопоэтическое пространство и первые поиски удовольствий «через воображение». Гроты, фонтаны, водопады, скульптура, зверинцы, птичники и вольеры – все это эффектные затеи, которые должны были настраивать человека на определенное эмоциональное состояние и «возбуждать мысли»²³. Это относилось, разумеется, не ко всем усадьбам, лишь к тем, хозяева которых приняли идею «просвещения» как руководство к действию. Результат был похож на тот, которого достигали итальянские гуманисты. Об их жизни Л. М. Баткин пишет так: «сохранялось... ощущение единства двух реальностей, эмпирической и сублимированной»; им «удавалось психологически избежать какого-то трагического разрыва между повседневностью и идеалом»²⁴. «То, что мы назвали бы «внешним фоном», было отнюдь не внешним и не фоном, а материализацией и продолжением, *развертыванием в быт... понятий и мифологем*»²⁵.

Разумеется, в полной мере воплотить в жизнь свои «программы» могли самые могущественные люди империи, начиная с государей (Елизавета Петровна лишь начинала проявлять интерес к дворцовому строительству; для Екатерины все ее дворцы со всем их содержимым были архитектурным театром и языком прокламирования просветительских идей; для Павла же, обустроившего Михайловский замок, «весь ансамбль скульптурного убранства замка являл собой зримый ма-

²² Марасинова, Каждан. 1998. С. 268.

²³ Выражение из «Садового словаря» – руководства конца XVIII века («...В окрестностях Москвы»: Из истории русской усадебной культуры XVII–XIX веков. М., 1979. С. 126).

²⁴ Баткин. 1991. С. 23.

²⁵ Баткин 1991. С. 24 (Курсив мой. – И. К.).

нифест несчастного императора, своеобразное пластическое выражение его затаенных настроений и чувств»²⁶. Произведения искусства, вещи, приборы, наполнявшие дома аристократии выступали не только в виде предметов роскоши, но и как культурные ценности, и как сущности символические (свидетельства европейской ориентации владельца). Умение разбираться в рынке предметов роскоши – черта, лишь постепенно становившаяся типичной для русского аристократа.

Один из первых в России коллекционеров живописи, И. И. Шувалов, создавал еще с 1740-х гг. свой кабинет-галерею, тщательно изучал рынок произведений искусства, ориентируясь по увражам и гравюрам. Он проявлял интерес и к коллекционированию «редкостей» – «антиков», минералов и пр. (после возвращения камергера из-за границы уже при Екатерине дом его напоминал музей). Один из первых в России «кунштюков» появился в Петербурге в 1755 г. с его помощью: «В зале его превосходительства господина действительного камергера и кавалера И. И. Шувалова, на Невской перспективе, приехавший сюда из Парижа Франсуа будет показывать по понедельникам, вторникам, четвергам и воскресеньям пополудни с 4 часов до вечера свою художественную машину, которая представляет в натуральную величину пастуха и пастушуху, которые играют тринадцать арий на флейтоверсе».

Во второй половине XVIII в. Россия уже пережила первый расцвет частного коллекционирования. Наряду с коллекциями императорской семьи появились значительные художественные собрания вельмож, государственных деятелей и дипломатов, а затем и менее крупных дворян. Среди известнейших покупателей редкостей был князь Н. Б. Юсупов²⁷. Известны слова, выражающие его мотивацию: «Мои книги и несколько хороших картин и рисунков — единственное мое развлечение». Но является ли это установкой на развлечение в современном смысле слова?

Исследователи его наследия считают: то, что из массы произведений прикладного искусства, предлагаемых художественным рынком, Юсупов смог выбрать для украшения своих дворцов подлинные шедевры, характеризует его как знатока, поэтому мы вправе рассматривать произведения

²⁶ Неверов. 1996. С. 17–25.

²⁷ На протяжении почти 60 лет (с начала 1770-х до конца 1820-х гг.) князь собрал обширную библиотеку, богатейшие коллекции скульптуры, бронзы, фарфора, других произведений декоративно-прикладного искусства и интереснейшую коллекцию западноевропейской живописи – крупнейшее частное живописное собрание в России, насчитывавшее более 550 произведений». *Савинская*. 2002; См. также: «Ученая прихоть»: Коллекция князя Николая Борисовича Юсупова. Каталог выставки. В 2 т. М., 2001.

искусства, украсившие его дворец, как коллекцию. «Личность Юсупова-коллекционера формировалась под влиянием философских, эстетических идей и художественных вкусов своего времени. Занятие собирательством для него было родом творчества. Находясь рядом с художниками, создателями произведений, он становился не только их заказчиком и покровителем, но и интерпретатором их творений»²⁸.

Спланированные «просвещенным» хозяином усадебные комплексы, включающие театры и оранжереи, наполняемые диковинами, прямо объявлялись местами «уединенных наслаждений». Так, князь А. Б. Куракин в своем саратовском имении Надеждино вывесил в разных комнатах дома и в парке следующее объявление: «Хозяин, удаляясь от сует и пышностей мирских, желает и надеется обрести здесь уединение совершенное, а от онаго проистекающее счастливое и ничем непоколебимое спокойствие духа»²⁹. Дворцовый комплекс в с. Кусково П. Б. Шереметева, знатного вельможи эпохи от Анны Иоанновны до Екатерины II, был создан главным образом для приемов гостей (и это был один из немногих частных московских дворцов, который не без удовольствия посещала Екатерина). Парк в Кусково представлял тот образец *садового творчества* эпохи Просвещения, в котором на равных правах участвовали (а нередко совмещались в одном лице) заказчик, архитектор и садовый художник. (Последний термин, появившийся в век Просвещения, был связан с понятием о “пейзажном” парке, то есть о природной картине, созданной по законам живописи). Все строилось на «переносе и переработке образцов, идей и личных впечатлений»³⁰.

Хозяин – человек, только что вкусивший новой культуры – создает «царство просвещенности» в своем духе. Главный дом – образец раннего классицизма с элементами барокко (построен из дерева на каменном цоколе) – заново строился на месте «старых хором» в 1769–1775 гг. архитектором К.Бланком по проекту Ш. де Вайи. «Анфиладность» ампириных зал была призвана «казаться», демонстрировать; жилым же апартаментам отводилось второстепенное значение.

Тем не менее, именно в «пространстве повседневности» проходила реальная жизнь обитателей усадьбы. Ряд анфилад дворца завершается парадной опочивальней и далее сменяется маленькими «жилыми» комнатами. Так называемый «кабинет-конторочка» графа П. Б. Шереметева использовался как *«рабочая» комната* графа – т.е. его деловая приемная.

²⁸ Савинская. 2002.

²⁹ Горбунов. 1887. С. 618.

³⁰ Соколов. <http://www.gardenhistory.ru/page.php?pageid=177> (июнь, 2011).

Кабинет открывал череду непарадных помещений дома: Туалетная; Гардеробная, далее – одна из любимых комнат, совсем маленькая проходная Диванная; затем – Вседневная опочивальня. Ее П. Б. Шереметев расположил между Библиотекой и Картинной: мудрость и красота с двух сторон окружали почивавшего графа. Поразительно то, что большую часть досуга этот богач и аристократ проводил в крошечной уютной Диванной комнате – за чтением (сохранились подлинные бело-голубой высокий диван и столик для чтения с подставкой для громоздких книг).

Функцию репрезентации раритетов (помимо «куншт каморы», которая, судя по описанию, находилась наверху³¹) исполняла так называемая «библиотека»³²: она, собственно, имела назначение кабинета редкостей, играющих одновременно роль и украшения интерьера, и символическую роль атрибута «просвещенного досуга» (этот замысел восходит к европейской – устаревшей уже к этому времени – идее гуманистического "универсального музея"³³). Здесь в четырех шкафах, вделанных в стены, хранились отдельные излюбленные издания и предметы, связанные с «наукой» (например, «стекло прибыльное круглое в точеном деревянном футляре»; на верхней полке шкафа – «2 глобуса в деревянных станках з градусами. Труба медная, в которую падает издали голос»). «На окошке поставлена сфера небесная со всем принадлежащим прибором»; кроме того – «солнечные часы медные вызолочены универсальные с компасом» (астролябия?). В двух нишах между четырех шкафов стояли разнообразные редкости³⁴.

Скульптурные изображения в шкафах – явно знаковые, отсылающие к ключевым фигурам Просвещения. В описи они характеризуются так: «...1 Волтер сидящий на стуле перед ним на столике книги. 2 Русо Жанжак сочиняет ноты. 3 доктор Франклей. 4 генерал адмирал, сморящей в ландкарту». Кроме того – еще «статуя оногож Волтера зделанные из воску». Произведения античного искусства: «2 партрета зделанные из воску поесные древних людей... в рамках», «3 партрета римских»³⁵. В шкафах были собраны редкие вещи из фарфора, хрусталя, бронзы, резного камня и кости и др. (в т.ч. «Четыре части света Африка, Азия, Америка и Европа которая разбита и склеена»). Весь этот набор вполне совмещался с православным мировоззрением хозяев: по описи на про-

³¹ ЦГАЛИ. Ф. 1088 (Шереметевых). Опись дому. Л. 114–130.

³² Во дворце была и другая библиотека, составлявшая 16 тыс. томов, и при ней состоял библиотекарь В. Г. Вороблевский. *Басманов*. 1984. С. 41.

³³ *Осминская*. 2001.

³⁴ ЦГАЛИ. Ф. 1088 (Шереметевых). Опись дому. Л. 147.

³⁵ Там же. Л. 145.

стенках библиотеки висели 52 небольшие картины, но первым в описи стоит «образ Богородицы Толские писан на белом отласе»³⁶.

Итак, перед нами «просвещенный дворянин» 1-й генерации – тип старшего Шереметева, Петра Борисовича – генерала, сенатора, камергера, которому наследовал представитель следующего поколения – Н. П. Шереметев. Самовыражение Петра Борисовича реализуется через *философскую концепцию* усадебного комплекса, разработанную с его личным участием. В усадьбе присутствует синтез сфер: природа – архитектура – искусство и науки. Здесь представлены все архитектурные стили, здания, выполненные в разных техниках и материалах (барочное здание дворца, Итальянский, Голландский домики, Грот, Американская оранжерея и пр.); присутствовали все виды искусств (галерея живописи, музыкальная комната, театр), растений и животных (оранжереи, птичники, зверинец). Созерцать разнообразие и совершенство мира (и показать все это другим) и есть «благородное увеселение» просвещенного дворянина.

Именно в роли устроителя целого «мира» реализуется система истинных ценностей Просвещения: рационализм автономной личности и просвещенный ум как основа замысла (исходя из христианских ценностей, эта личность пытается постичь Божественный Промысел). Здесь присутствует и оптимизм (приписываемый Просвещению), основанный на уверенности в возможности постичь Божественный Промысел и объяснить им всё происходящее в мире. Естественнонаучные экспонаты, как мы видели, соседствуют с иконами и с произведения искусства³⁷. В понимании российского дворянина естественная история была частью истории божественной. Так, по определению В. Н. Татищева, «история натуралис или естественная» как бы продолжает библейский рассказ о начале мира. Она рассматривает действия природных стихий, чья сила наследует и продолжает божественный акт творения: «В естественной – все приключения в стихиях, яко огне, воздухе, воде и земле, яко же на земли – в животных, растениях и подземностях»³⁸.

Следующее поколение российского «просвещенного дворянства» представлено сыном Петра Борисовича Шереметева – Николаем, знатоком архитектуры, театра и музыкантом («План воспитания молодого кавалера. Сочинен для молодого графа Шереметева, единственного сына Его Сиятельства графа Шереметева, Яковом Штелиным зимой 1764 года» предусматривал изучение практически всех «наук и искусств»).

³⁶ Там же. Л. 142.

³⁷ При этом, в отличие от французского Просвещения, российское отличалось спокойным отношением к традиционной религии.

³⁸ Татищев. 1995. С. 79.

Молодой Шереметев имеет свою концепцию устройства усадебного «идеального пространства». Принципиальная новизна замысла заключались не только в том, что театр занимал во дворце центральное место: наполненные произведениями искусства, образующими галереи живописи, графики, скульптуры и т.п., окружающие его залы дворца становились своеобразным протомузеем. В центре дворца находится театр, и влияние идей театральности ощущается во всем замысле³⁹. Еще один проект Николая Петровича, в основе которого лежит «универсальный музей» – шереметевская «программа» перестройки московского дома графа на Никольской улице⁴⁰. В русском языке конца XVIII века слово «музей» вобрало в свое изначальное, восходящее к греческой античности, значение «обиталище, жилище Муз». Заказчик, он же соавтор, младший Шереметев искусно использовал перфомативные практики XVIII в., чтобы вызвать необходимые эмоции и «совершенствовать душу». Он продолжает линию поисков удовольствия «через воображение». В результате создается тот сплав знаний и утопии, который принято называть мечтательной формой воображения⁴¹ (моменты создания новых образов, которых не было в сознании, не было в прошлом опыте). Это именно род творчества – создание воображаемого «мира», воплощенного в синтезе «природа – архитектура – искусства и науки», где воображение используется как структурообразующий фактор познания и способ создания нового⁴².

Считается, что Век Просвещения – это эра «любительской» науки, дилетантизма. Но стоит взглянуть на формы интеллектуального быта XVIII в. с точки зрения их неповторимого своеобразия, инакости, которая ускользает, когда мы сопоставляем те формы освоения мира при ретроспективном подходе – с точки зрения привычного, осовремененного взгляда на науку – посмотреть как на форму творчества, столь органичную для XVIII в. и доступную дворянам благодаря огромным богатствам этих фамилий. Не стоит и говорить, что подниматься до *программных установок* при создании своих апартаментов могли немногие – дворянская «интеллектуальная элита», обладавшая к тому же достаточными средствами. Однако такие комплексы не были единичными⁴³.

³⁹ <http://www.museum.ru/Ostankino/2.htm> (июнь, 2011), Сайт музея Останкино.

⁴⁰ *Осминская*. 2001. <http://www.archi.ru/press/magazines/pinakoteka/12/>.
osm.htm (июнь, 2011).

⁴¹ *Выготский*. 1960. С. 327–350.

⁴² См. *Фарман*. 1994.

⁴³ О развитии усадебной культуры конца XVIII – начала XIX века см.: *Марасинова, Каждан*. 1998. С. 265–368.

Рядовое провинциальное дворянство действовало в том же направлении, но не с таким размахом. Недаром именно эпоха Елизаветы Петровны становится в России временем всевозможных «обманок»: порой помещики победнее заказывали художникам библиотеки-обманки: полки и корешки книг рисовались на картоне и устанавливались в комнате, призванной играть роль библиотеки⁴⁴. Картины-обманки, украшавшие кабинеты «просвещенных» людей и бывшие особым родом живописи, должны были вступать в диалог с «просвещенным» же зрителем: этот жанр, как и жанр аллегории, предполагает способность зрителя «читать» значения изображаемых предметов, приписывать им эти значения, размышлять – т.е. «философствовать», через аллегорические конструкты трактовать нетождественность видимого и сущностного. Такие «обертонь» картин и гравюр вовлекали в размышления по поводу добродетелей и ценностей знания, мудрости и порока, тщеты сущего и мимолетности жизни. В таких формах философия французского Просвещения могла усваиваться российским зрителем, скорее, не как «образ мыслей», но как «образ жизни», интеллектуальная игра⁴⁵, выходящая за рамки прежних основных занятий – службы и ведения хозяйства.

Переплетение и столкновение различных культурных традиций – европеизированной и патриархальной – порождало в усадьбах специфическую предметно-пространственную среду, сочетание новизны с вещами, полными символики и вызывавшими памятные ассоциации. Мы, к сожалению, можем только отдаленно, в отрывочных свидетельствах представить атмосферу усадебных домов XVIII – начала XIX в.⁴⁶

В связи с этим укажем на еще одну ипостась дворянского усадебного творчества – это временной ее срез, «пространство памяти». Вторая половина XVIII в. обнаруживает значительный интерес дворянства к своей генеалогии (этот интерес был также результатом осмысления дворянством своей социальной роли, места своего рода в истории страны).

Историки усадьбы давно предложили рассматривать ее как место встречи с прошлым, возможностью эмоционально переживать прошлое как собственное время⁵². Л. И. Сизинцева предлагает говорить о предметной среде усадеб как канале «передачи межпоколенной информа-

⁴⁴ Коваленко. 1997. С. 108–117.

⁴⁵ Артемьева. 1996. С. 18.

⁴⁶ «Судьба русского классического интерьера беспримерно печальна даже на фоне трагической судьбы всего искусства классицизма... За очень редким исключением у нас не осталось ни одного цельного, сохранившегося во всей полноте интерьера, а исключения относятся только к дворцам». Николаев. 1975. С. 211.

⁵² См. напр.: Стернин. 1994. С. 49–51 и др.

ции». Весь мир усадьбы, во всей его полноте становился формой «диалога» между обитателями и их предками. «Хранимые реликвии (награды, подарки царских особ) подтверждали как социальную значимость рода, так и самооценку жизни каждого из предков. Для потомков, которым сознательно адресовалось это вещественное “сообщение”, или они сами “считывали” бессознательно оставленные следы как текст»⁴⁷. Портреты дворянских домашних галерей иллюстрировали родословное древо рода, связи с царствующей династией и корни, уходящие в древность. Диалог с предшественниками обеспечивали и мемориальные вещи, в том числе: традиция сохранения одежды, вышедшей из употребления, как памяти; старинное оружие, «очеловеченная» мемориальная среда парков, кладбище с могилами предков и т.д.

Еще одно направление в развитии усадебной культуры – ее интеллектуальная среда. Ход «модернизации», усложняющаяся культура выдвигали новые требования к российскому «обывателю»: в частной жизни потребовалась практика частной переписки; развитие экономики было невозможно без элементарных навыков делопроизводства и ведения бухгалтерских книг, владения новой стилистикой и правилами составления деловых писем, счетов, контрактов, «верющих писем», векселей и пр. Для получения образования нужна была отсутствующая пока привычка к усидчивости и экстенсивному чтению.

Чтение было важнейшей составляющей интеллектуальной повседневности россиян постпетровского времени: оно являлось одним из главных путей распространения новых идей и навыков. С начала XVIII века Россия вступила в период введения в оборот основополагающих и новейших научных трудов. Создавались первые книжные собрания российского дворянства. А. Т. Болотов рассказывает о «протобиблиотеке» 1740-х годов – книгах, хранившихся у отца в особом ящике:

«... У нас в России было тогда еще так мало русских книг, что в домах нигде не было не только библиотек, но ни малейших собраний... Литература у нас тогда только что начиналась, следовательно, не можно было мне, будучи ребенком, нигде получить книг для чтения». «Я узнал, что у родителя моего был целый ящик с книгами; я добрался до одного, как до некоего сокровища, но, к несчастью, не нашел и в них для себя годных, кроме двух... Не могу, однако, довольно изобразить, сколько сии немногие книги принесли мне пользы и удовольствия... Как однажды я... читал, то вздумалось родителю моему... спросить меня, что я делаю. «Читаю, батюшка, книгу» (далее – предположил, что рано, но, «узнав, что не в первый раз, похвалил»)»⁴⁸.

⁴⁷ Сизинцева. 1993. С. 32–36.

⁴⁸ Записки Андрея Тимофеевича Болотова. 1737–1796. Т. 1. Тула, 1988. С. 55–56.

Разумеется, чтение как практика довольно медленно распространялось даже в средних слоях дворянства. Тот же А. Болотов вспоминал (о своей молодости, пришедшейся на середину XVIII в.): про него «пустили разговор», что он – колдун (невеста отказала ему именно потому, что он читал много книг). Болотов же пишет о поисках грамотной жены через сваху: расхваливая, та так характеризовала новую невесту: «Вот – и читать, и писать может, а коли мать прикажет, так и книги читает»⁴⁹. «Читателя» из другого слоя – екатерининского вельможу И. Н. Римского-Корсакова при заказе книг для его библиотеки книгопродавец спросил, какая область знания его интересует. «Об этом я не забочусь, это ваше дело, важно, чтобы внизу стояли книги большие, а наверху поменьше, точно так, как у императрицы», – ответил «книголюб»⁵⁰.

Чтение, накопление книжных «богатств» шло в замкнутых пространствах усадеб, в рамках больших патриархальных помещичьих семей (образ жизни в них все более отличался от патриархального культурного уклада основной массы населения). Новую возможность для самообразования в рамках семейного чтения дали в с 1780-х гг. новиковские еженедельные «Прибавления» к газете «Московские ведомости». В их числе был первый в России (во многом непревзойденный и в дальнейшем) детский журнал энциклопедического характера «Детское чтение для сердца и разума». Родовые усадебные библиотеки, складывавшиеся во второй половине XVIII в., стали тем ресурсом, который использовался в образовании дворянских детей (как мальчиков, так и девочек): в силу патриархальности общества семья продолжала оставаться основным каналом трансляции социально значимого опыта⁵¹.

Вот один из примеров того, как в российской глубинке складывались культурные гнезда, где чтением были заняты всерьез. Большое патриархальное семейство Брянчаниновых проживало в «глубокой провинции», недалеко от Вологды (в Грязовецком уезде). Выполняя время от времени обязанности гражданского и судебного чиновника, отец целиком посвятил себя занятиям хозяйству, воспитанию детей и словесности (впрочем, ни одно произведение А. М. Брянчанинова не было опубликовано). Поэтами были и его родной брат Федор, и двоюродный Петр. Их произведения сохранились в семейном альбоме, который аккуратно вела Софья Брянчанинова. Этот альбом не просто содержит поэтические опыты семьи Брянчаниновых, но и дает представление о

⁴⁹ Цит по: *Лотман*. 1994. С. 76.

⁵⁰ *Романюк*. 1999. С. 96.

⁵¹ Подробнее см.: *Кулакова*. 2008.

личных книгах и читательских интересах семьи. Ею же был составлен «Каталог книг, которые находятся в библиотеке Софии Брянчаниновой» (1802 г.). Наравне с сочинениями Л. Стерна, Ж. П. Флориана, популярными философскими и историческими трактатами здесь и чувствительные французские и английские романы. Приверженность к книжной моде не мешала Софье быть серьезной и внимательной читательницей. Она настолько увлеклась сочинениями Л. Стерна, что занялась переводом его произведений на русский язык, – для того, чтобы ее мать, не знавшая английского языка, смогла насладиться изящным словом и глубоким содержанием произведений этого автора⁵².

Не только в «догоняющей» России, но и в европейских странах только начался процесс перехода от «интенсивного» чтения к «экстенсивному». Торговля «интеллектуальным товаром» была также новой практикой; параллельно шло создание новых мест общения, связанных с распространением и функционированием книги. К сожалению, до сих пор внимание исследователей, изучавших российский материал, сосредотачивалось преимущественно на книге как таковой⁵³, и очень редко на человеке, к книге обращающемся⁵⁴.

Просвещение внесло в дворянский быт культуру чтения, связанно с уединением. Княгиня Дашкова, всегда подчеркивавшая свою начитанность, писала так: «...Книги сделались предметом моей страсти... с этой поры я стала чувствовать, что время, проведенное в уединении, не всегда тяготит нас»⁵⁵. Важное наблюдение сделал, на наш взгляд, К. Штедтке: «Переводный роман создавал культ уединенного чтения, в рамках которого отдельный читатель субъективно мог воспринимать содержание прочитанного. Книга карманного формата, читаемая на одинокой прогулке, стала модным атрибутом молодого дворянина...»⁵⁶. Кажется, об этом процессе Н. М. Карамзин писал так: «Я ...принялся за чтение и почувствовал в душе своей сладостную тишину»⁵⁷.

Подчеркнем, однако, что укореняется практика не только чтения, но и применения этого опыта, перевода и творчества как такового:

⁵² Бровина, Роцевская. 2000. <http://www.booksite.ru/fulltext/bro/vina/index.htm> (июнь, 2011).

⁵³ См., напр.: Хотеев. 1989; Самарин. 2002; Марихейн. 2008.

⁵⁴ Marker. 1985.

⁵⁵ Дашкова. 1990. С. 8.

⁵⁶ Штедтке. 2001. Первой (светской) российской мини-книгой называют «Искусство быть забавным в беседах» 1788 года издания. – Ваганов. 2008.

⁵⁷ Переписка Карамзина с Лафатером // Записки Имп. Академии наук. Т. 73. № 1. Прил. СПб., 1893. С. 6.

дворяне уже «пишут», преимущественно – стихи, но самовыражение присутствовало и в автодокументальных текстах (воспоминаниях, дневниках и письмах)⁵⁸. Маленький пример: письма Д. И. Фонвизина к сестре из С.-Петербурга в Москву, где она осталась с семьей (1763). Денис с восхищением пишет сестре: «Все те письма, кои я от тебя получал, писаны так хорошо, что я всегда их беру примером красноречия. Проза твоя такова, что я ни с какой не сравниваю. Некоторые письма казал я князю Ф. А. Козловскому. Он изумляется. А стихи твои прочту ему завтра. Они того стоят, чтоб показать трем особам, которых я люблю... Признаюсь, что я дивился и не предполагал никогда, чтоб в состоянии ты была написать так хорошо... Продолжай, сестрица, ты будешь великий человек...»⁵⁹. К концу XVIII в. можно говорить уже не просто о грамотности и привычке выражать в переписке интимные чувства (к этому времени частная переписка превратилась в неотъемлемую черту дворянского быта). Но появляется также тонкий слой дворян, прибегающих к практике «размышлений самого себя». Привычка «упражняться» в сочинительстве – так формулировались занятия, отражавшие новое умонастроение.

Если вновь вернуться к началу XVIII века, то мы увидим, что новые явления, связанные с новыми занятиями, реализовались в конкретных формах повседневности: в интерьерах значительную роль начинает играть мебель европейского образца, приспособленная к новым культурным практикам. Петр Великий придавал большое значение мебели для работы. Ему пришлось специально посылать в Англию мастеров учиться «кабинетному делу»⁶⁰. (В Эрмитаже хранится конторка, выполненная в Англии, эскиз для которой он делал сам). Царь предпочитал небольшие помещения, которые казались ему уютными (заметим, что он очень много работал с проектами и бумагами, и парадные кабинеты его не привлекали, видимо, с чисто практической точки зрения). Символично, что Петр «в болезни в Зимнем своем доме, в верхнем апартаменте, 28 января 1725 года преставился от сего мира в своей конторке».

Вместе с Просвещением в Россию пришло другое, более прагматически организованное жилище Нового времени. Его характеризует утверждение М. Маклюена: «“письменный человек” отдает предпочтение *отдельности* и поделенным на ячейки пространствам»⁶¹.

⁵⁸ Марасинова. 1999; Лотман. 2002. С. 46–75, 331–385; Гросул. 2003.

⁵⁹ Фонвизин. Собр. Соч. в 2 томах. Т. 2. М.; Л., 1959. С. 328.

⁶⁰ Петровские пенсионеры, посланные в Европу для обучения «кабинетному делу», вернулись в начале 1730-х гг. Для Анны Иоанновны уже один из них выполнил рисунки кабинетов по типу английской мебели (Ботт, Канева. 2003. С. 57).

⁶¹ Маклюен. 2003. С. 140.

На протяжении второй половины XVIII в. кабинет как отдельное помещение распространяется в городских особняках и сельских усадебных домах как особого назначения приватное пространство непарадных покоев, точнее – как атрибут интеллектуального быта. Это было пространство, специально приспособленное для уединения и работы (или имитации обстановки «творчества», становящегося все более актуальным романтическим занятием). «Словарь академии Российской (1789–1794)» определял слово «кабинет» (фр.) в трех значениях, главное из которых «Особенная в доме комната, определенная для упражнения в письменных делах, или для хранения собранных редкостей». Аналогично классическое определение В. Даля: «комната для уединенных письменных занятий» (другое значение – «собрание редкостей по наукам, искусствам; музей, сборище, хранилище »).

В массе своей традиционное российское жилое пространство долго оставалось слабо индивидуализированным (и это относилось ко всем этажам общества, идет ли речь об избе или об анфиладных пространствах особняков). Новые явления, связанные с новыми занятиями, реализовались в конкретных формах повседневности: в частных пространствах более значительную роль начинает играть мебель, предназначенная для повседневного комфорта, для более интимных занятий⁶². Это – проявление латентных процессов: в недрах традиционного быта медленно, но складывался для России новый тип поведения «просвещенного человека»: установка на самоуглубление и свободное уединение с целью творчества, и т.д. (Такие явления в западноевропейской традиции возникли как черты еще ренессансного индивидуализма.)

Образцом уединенного творчества был фернейский отшельник – Вольтер, известный и читаемый в России автор (для российского «философствующего дворянства» изображение этого «мудреца в халате» стало моделью при заказе собственных портретов⁶³). Говоря о кусковских кабинетах Шереметевых, мы уже фиксировали стремление уединиться. Мысль отделить свое *приватное* пространство от «шума света» овладевает определенной (весьма небольшой) частью просвещенных дворян. Такой образ жизни противостоял не только «деятельной праздности» основной массы дворянства, но даже бытовым устоям традиционной культуры – не в каждом дворянском доме середины XVIII века

⁶² В конце века наряду с дворянской усадьбой получает развитие квартира – как съемное жилье небогатого дворянства и формирующейся разночинной интеллигенции. Вначале особняки делятся на несколько квартир, а в 1830-е гг. было положено начало идее многоквартирного доходного дома, которая разовьется полностью к концу XIX в.

⁶³ См.: Кулакова. 2011.

имелась соответствующая интеллектуальным занятиям обстановка и мебель. Например, А. Т. Болотов рассказывает о том, как в Петербурге ходил на уроки в дом генерала Я. А. Маслова – с его сыновьями занимались «у самого генерала в предспальне... Для нас поставляли обыкновенно ломберный столик посреди предспальни, и тут мы должны были сидеть и учиться»⁶⁴.

В роскошных апартаментах обособленность, кажется, была не нужна и даже противопоказана. Сама открытость, «анфиладность» ампирных зал призывала «казаться», демонстрировать (существовал даже анфиладный тип стула, фас которого был богато украшен, а спинка, обращенная к стене, лишалась украшений). Устройству непарадных комнат, удобствам жизни – в нашем понимании – уделялось мало внимания, одни и те же пространства приспособлялись для разных функций (были обычными взаимозаменяемость и многофункциональность помещений). Важно понять, насколько в повседневности *они* вообще нуждались в том или ином изолированном пространстве – «для жизни» в целом и для интеллектуальной деятельности – в частности.

Когда в 1788 г. скончался старший Шереметев, его сын Николай унаследовал в числе прочего и усадьбу Останкино. Заметим, что поначалу Н. П. Шереметеву, в его апартаментах в Останкине достаточно было поставленных в зале ширм – так были устроены т. н. «кабинетцы» при спальне в «старых хоромах» (именно там работал Николай с бумагами)⁶⁵. Но по описям дворца можно видеть, что в конце 1790-х гг. молодой граф предпринимает переделки, перепланирует помещения. Теперь стало не обязательно проходить через спальню, чтобы попадать в кабинет – он стал более приватным; здесь нет еще специального «письменного» стола (в описях упоминаются лишь чернильный прибор – и комод с выдвижной доской). По описаниям видно, что «уборная» также стала использоваться как «кабинет» (согласно описи там стояли трехярусное бюро-кабинет с откидной доской и письменный прибор). Впрочем, эти уже более приватные апартаменты имеют мало общего с классическими кабинетами обильно пишущих дворян XIX века. Но вот для сравнения описание (самого начала XIX в.) кабинета Н. М. Карамзина, которого нельзя заподозрить в привычке к «разночинскому» образу жизни. Его комната – это *голые* оштукатуренные стены, выкрашенные белой краской, широкий сосновый стол, простой деревянный стул, несколько козлов с досками, на которых раскладывались рукописи и бу-

⁶⁴ Записки Андрея Тимофеевича Болотова. 1737–1796. Т. 1. Тула, 1988. С. 72–73.

⁶⁵ Граф Н. П. Шереметев. М., 2001. С. 107.

маги. Ни одного кресла, дивана, ковров, лишь несколько «ветхих стульев»⁶⁶. Все продумано и устроено для того, чтобы не отвлекаясь ни на минуту творить «Историю государства российского».

В стихотворном описании своей комнаты (1817) К. Н. Батюшков дал все составляющие классического кабинета: скромная комната, рабочий стол, символическая вещь, отсылающая к семейной традиции; кровать («лежбище» для поэтических медитаций):

...В сей хижине убогой
Стоит перед окном
Стол ветхий и треногий
С изорванным сукном.
В углу, свидетель славы
И суеты мирской,
Висит полузаржавый
Меч прадедов тупой;
Здесь книги выписные,
Там жесткая постель –
Всё утвари простые,
Всё рухляя скудель!
Скудель!.. Но мне дороже,
Чем бархатное ложе
И вазы богачей!..⁶⁷

А. С. Пушкин в описании усадебных кабинетов рядовых помещиков зафиксировал эволюцию типологии кабинета на протяжении одного поколения – в имении, где «живал» дядя Евгения Онегина (уездный «старый барин» образца конца XVIII – начала XIX в.). Он в кабинете в основном «...играть изволил в дурачки» («Все было просто: пол дубовый, / Два шкафа, стол, диван пуховый, / Нигде ни пятнышка чернил»). В шкафах – лишь «тетрадь расхода» и календарь «осьмого года» («В иные книги не глядел»). А вот у его наследника, Евгения («по мненью многих... ученый малый»), в усадебном же кабинете уже другое – стол, груда книг, портрет Байрона и бюст Наполеона, т.е. вещи, отражающие «направление ума», открывающие идейный настрой хозяина. (Результатом развития этой практики в начале XIX века стало появление «модного кабинета» (Евгения Онегина). Как видим, чтобы кабинет стал «модным», потребовалась длительная смена культурных установок.

Появляются типичные для конца XVIII века атрибуты мужского кабинета как пространства *ритуала*: в углу помещались в особой стойке

⁶⁶ Карамзин. 1988. С. 18.

⁶⁷ Стихотворение К. Н. Батюшкова «Мои пенаты» (Послание к Жуковскому и Вяземскому).

длинные чубуки и трости, необходимые теперь предметы обихода⁶⁸. О том же вспоминает Е. П. Янькова: «В наше время... курить считали весьма предосудительным... мужчины курили у себя в кабинетах или на воздухе⁶⁹. Возникший обычай курения в кабинете был также связан с модой на «размышления» – с медитациями на темы *vanitas vanitatum*. Неторопливый ритуал утреннего кофе и трубки – у Г. Р. Державина: «А я, проспавши до полудни, / Курю табак и кофей пью...».

Надо отдавать себе отчет в том, насколько необычны были «кабинетные» занятия для массы людей традиционной культуры. Показательно отношение обитателей поместий к дворянам-маргиналам, занимающимся интеллектуальным трудом: последние, как правило, воспринимались как чудачки со «странной» склонностью к «выдумыванию». Прежде всего, вспоминается фигура Ф. И. Дмитриева-Мамонова. Этот человек своего времени, склонный к различным «наукам» (философии, астрономии, истории), был замечателен скорее как автор оригинального сочинения «Дворянин-философ. Аллегория» (1769). В предисловии к этому, по сути, натурфилософскому произведению, развивающему теорию множественности миров) автор объяснял: «Я великую охоту имею сочинять и писать, но не желаю слыть ни стихотворцем, ни писателем, ни переводчиком». Прославился он как раз не научными и литературными опытами, а своим «эксцентрическим поведением», и был признан «человеком вне здравого рассудка»⁷⁰.

Еще один оригинал – Н. Е. Струйский (1749–1796), малоизвестный дворянин-поэт, сочинитель и содержатель частной типографии⁷¹, с начала 1770-х годов удалившийся в свое имение Рузаевку Пензенской губернии. Современники считали его «графоманом» и «метроманом» за «маниакальную тягу» к сочинительству. Это формулировалось так: «Етот дворянин... находясь в возможности... наслаждаться жизнью благополучного человека, учредил типографию собственно свою».

Лирический поэт Струйский издал два сборника (1788, 1790). П. А. Вяземский, впрочем, о его стихах (гораздо позднее, уже в 1827 г.)

⁶⁸ *Вдовин*. 1995. С. 22. Курительный прибор с трубками мог стоять также на столе (См. напр.: Подмосковные музеи. В. 2. Архангельское. Николо-Урюпино. Покровское-Стрешнево. М., 1925. С. 83, 64).

⁶⁹ Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений. Записанные и собранные ея внуком Д. Благово. Л., 1989. С. 96.

⁷⁰ *Лепехин*. 1983. Сб. 14; *Артемьева*. 1996. Ч. 2. Гл. 4. С. 147–166.

⁷¹ Помимо занятий сочинительством и изданием книг был «наклонен к юридическим упражнениям» – допрашивал и судил своих крестьян, выступая от их имени (за и против). *Тюхменева*. 2000. С. 232.

отзывался так: «Чем стихи эти не стихи? Можно даже доказать, что тут есть очевидные приметы романтизма». Однако современники о поэте вспоминали с опаской: «Все обращение его... было дико, одевание странно». Струйский устроил себе кабинет – «в самом верху дома, называемый Парнасс» (там, помимо стола и множества редкостей, стояли статуи Аполлона и муз, и «в сие святилище никто не хаживал»)⁷².

Другой пример: в известных мемуарах помещица Янькова вспоминает о своей семейной ситуации в имении рубежа веков. – Князь Н. С. Вяземский «рассердится, уйдет к себе и все спит... отобедает молча и опять спать и не выходит из кабинета... это значит, что он не в духе и все сердится»⁷³. (На деле это могло быть вовсе не плохое настроение, а непривычное желание уединиться.)

Приведем еще один пример отношения к подобным маргиналам, отразившийся в художественном произведении. В 1812 г. вышел роман «Российский Жильблаз». Автор этого первого русского авантюрного романа, выпускник Московского университета В. Т. Нарезный⁷⁴ выводит героем князя Гаврило Симоновича, который заявляет: «...Мне пришло на мысль досуги свои посвятить размышлению, а для большего собственного своего удовольствия, а может быть, и пользы общества, сделаться сочинителем. Надобно было только избрать род сочинений, коими бы мог прославить имя...»⁷⁵. В. Т. Нарезный иронически описывает муки творчества и их последствия. Окружающим, дворне кажется странным поведение хозяина: ведь они живут еще в традиционной системе культурных норм: «...Все слуги и служанки... начали догадываться, подозревать, подглядывать, подслушивать и таким образом добиваться причины, отчего князь так переменялся... Его сиятельство начал запирается и вести такую уединенную жизнь... «Живет в прежнем своем кабинете, делает странности почти до обеда...». Предположения окружающих были таковы: «великий грешник и теперь очищает душу постом и молитвами, либо «похож на колдуна и по ночам упражняется в чернокнижии», или – «бедный, рехнулся с ума» («больной за-

⁷² Долгорукий. 1916. С. 278–279.

⁷³ Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений. Записанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л., 1989. С. 73–74 (курсив мой. – И. К.).

⁷⁴ Нарезный. Соч. в 2 тт. Т. 1. М., 1983. Нарезный, сын мелкого дворянина, не имевшего крепостных, учившийся в Московском университете, еще в 1798–99 г. начал делать первые шаги в литературном творчестве, печатаясь в московских журналах; в 1804 г. вышла его трагедия «Дмитрий Самозванец», а к началу 1812 г. был написан «Российский Жильблаз» (Манн Ю. В. У истоков русского романа // Там же. С. 8–11).

⁷⁵ Нарезный. Указ. соч. С. 366.

пирается и никого к себе не пускает»). Приглашенные доктора сделали свои предположения, основанные на опыте с подобными «задумывающимися» господами: «Вы говорите, что больной часто задумывается? ... Не ворочает ли он иногда глазами в сторону, сам не трогаясь с места?.. Не случается ли, что он растворяет рот, будто что хочет сказать, вдруг останавливается, замолкает и кажет недовольный вид?»⁷⁶.

Но что и говорить о слугах, если и сами представители просвещенной дворянской элиты тягу к таким вещам, как раздумья и литературное творчество, вплоть до начала XIX века осмысливают в выражениях «лень», «праздность», «безделки». Сами названия изданий говорят об этом приеме как о способе самопрезентации: «Праздное время в пользу употребленное» (1759–60), «Дело от безделья» (1792), «Мои безделки» (М. Н. Карамзина, 1794), «И мои безделки» (И. И. Дмитриева, 1795); «И отдых в пользу» (1804) и т.п.

Известными всему обществу домашними привычками И. А. Крылова были уединение и «поэтическая лень» (парадоксально при том, сколько Крылов успел написать). Одаренный литератор К. Н. Батюшков (служивший в канцелярии) писал: «я, ленивец, принес ему (Н. Н. Муравьеву, его начальнику. – *И. К.*) мое послание... у которого были в заглавии стихи из Парни, всем известные:

Небо, которому хотелось моего счастья,
Вложило в глубину моего сердца
Лень и беззаботность (фр.)⁷⁷.

К. Н. Батюшков, обращаясь к Вяземскому «Питомец муз надежный» – называет его «Товарищ в лени мой»). О себе пишущие люди часто употребляют уничижительный глагол в смысле «писать» – «марать» (бумагу). В письме 1811 г. Батюшков же замечал в письме к Гнедичу: «...И в тридцать лет я буду тот же, что теперь: то есть лентяй, шалун, чудак, беспечный баловень, маратель стихов». «Беспечный» поэт-мечтатель, «жрец любви, неги и наслаждения» (так В. Г. Белинский отзывался о том же Батюшкове). П. А. Вяземский обычно вышучивал свою лень и «неспособность» неотрывно и сосредоточенно трудиться над стихами и прозой. Подчас он вводил в заблуждение даже близких друзей (хотя на самом деле он подходил к ремеслу писателя серьезно, – «учась выбранному ремеслу осознанно и рационально». Но при этом намеренно стремился писать так, чтоб в написанном «работы след улыбки не пугал»⁷⁸).

⁷⁶ *Нарежный*. Указ. соч. С. 359–360.

⁷⁷ *Кошелев*. 1987.

⁷⁸ *Перельмутер*. 1993. С. 35.

Очевидно то, что за этими словами о «марании бумаги» и «лени» пишущих дворян уже стояла большая внутренняя работа. Раньше, чем у кого-либо другого, новые поведенческие стратегии просвещенного дворянства выразились в творчестве Михаила Никитича Муравьева. Еще в середине 1770-х гг., когда в России рождался писатель как культурно значимая категория, Муравьев стоял у истоков формирующейся оригинальной русской литературы, предвосхищая открытия Г. Р. Державина и Н. М. Карамзина. Этот видный общественный деятель, писатель и поэт (чье творчество по большей части не публиковалось при его жизни), был ярким выразителем многих просветительских тенденций своей эпохи.

Отличительная способность Муравьева – в его саморефлексии (и это черта человека Нового времени). В. Н. Топоров, подробно изучивший творчество Муравьева, обращает внимание на описанное им развертывание самого процесса «сочинительства» («упражнение в сочинении» – как говорит он сам). В уста своего героя Муравьев вкладывает советы «сочинителю»: «Вы так часто рассказываете то, что видели или читали. Возьмите перо и дайте ему ходить по бумаге с той же свободой, с которою говорите»⁷⁹. (Аналогичный импульс возникает у Н. М. Карамзина. Во всяком случае, так он хотел представить процесс своего спонтанного творчества: «Я лег на траве под деревом, вынул из кармана записную книжку, чернильницу и перо, и записал то, что вы теперь читали». – «Письма русского путешественника», Курляндская корчма, 1 июня 1789 г.). Сутью размышлений Муравьева была нравственно-этическая сторона человеческой жизни, утверждение гармонии, единения добра и красоты. Один из самых ранних (сентиментальных) образов «пространства творчества» дал именно М. Н. Муравьев, вот он: «Горница... Маленькая библиотека моя расположена на трех полочках, прибитых над письменным моим столом. Горшки цветов, которые я сам поливаю, затемняют мои окна. Некоторое великолепие украшает мою хижину. Маленькие бюсты Жан-Жака Руссо и Соломона Гесснера, которые я выпросил у хозяина, означают убежище их попечителя и любителя природы»⁸⁰. Знаковые фигуры писателей эпохи Просвещения отсылают нас к ориентирам, которые имел в виду их российский последователь.

Итак, мы попытались (на немногих примерах) показать, какие специфические формы принимала интеллектуальная деятельность представителей новой для России культурной элиты – тонкого слоя литературно ориентированной интеллектуальной субкультуры внутри культуры

⁷⁹ Топоров. 2001. С. 595–596.

⁸⁰ Эмилиевы письма // Цит. по: Топоров. Указ. соч. С. 537.

дворянской. Смена форм творческой деятельности и формы самопрезентации образованного дворянства отразили, как нам кажется, процесс распространения Просвещения в российском обществе.

Просвещение иногда характеризуют как «культурно-идеологическое и философское движение общественной мысли, связанное с эпохой утверждения капиталистических отношений»⁸¹. Разумеется, никаких признаков этих отношений в рассматриваемый период не присутствует. Просвещение – скорее «европейский универсальный феномен, приспособившийся к различным временным и культурным обстоятельствам»⁸². Российское дворянство, оставаясь феодальным сословием, втягивалось в новые культурные процессы и как бы исподволь, постепенно накапливало в себе свойства, характерные для «просвещенного» новоевропейского человека. – «В тиши своего кабинета поэт Муравьев, сам того полностью не осознавая, положил начало своеобразному “перевороту” в русской поэтической традиции. Начав писать “для себя”, он как-то незаметно отошел от устоявшихся “высоких” традиций оды, от воспевания “бога браней” и попробовал взглянуть “о круг себя”, отразить в стихах именно “себя”»⁸³. Добавим: себя – как автономную личность, анализирующую окружающий мир. Дворянин – но самодостаточный человек с внутренней свободой и авторским самосознанием: кажется, это и было одним из главных итогов развития идей Просвещения в России.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Агеева О. Г. «Величайший и славнейший более всех градов в свете» – град Святого Петра. СПб., 1999.
- Артёмьева Т. В. История метафизики в России XVIII века. СПб., 1996.
- Ботт И. К., Канева М. И. Русская мебель. История, стили, мастера. СПб., 2003.
- Ваганов А. Эволюция покетбука // Русский журнал. http://www.russ.ru/teksty/evolyuciya_poketbuka#2 (июнь, 2008).
- Вацуро В. Э. Готический роман в России. М., 2000.
- Горбунов И. Ф. Князь А. Б. Куракин в селе Надеждине // Русская Старина. 1887. № 12.
- Гросул В. Я. Русское общество XVIII–XIX веков. Традиции и новации. М., 2003.
- Гутнер Г. Просвещение как социальный проект // Неприкосновенный запас. 2002. № 5 (25).
- Долгорукий И. М. Записки. Пг., 1916.
- Записки Андрея Тимофеевича Болотова. 1737–1796. Т. 1. Тула, 1988.
- Каменский А. Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России 18 века. Опыт целостного анализа. М., 1999.

⁸¹ Просвещение // Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. Мн., 2003.

⁸² *Рикуперати*. 2003. С. 28.

⁸³ Кошелев. 1987. С. 50.

- Карамзин М. Н.* Записки старого московского жителя. М., 1988.
- Коваленко Т. А.* Менталитет дворянской культуры XVIII века // *Общественные науки и современность.* 1997. № 5.
- Кошелев В.* Константин Батюшков. Странствия и страсти. М., 1987.
- Кошелева О. Е.* Понятие “Человек эпохи Просвещения” как историографический конструкт // *Историк в меняющемся пространстве российской культуры / Сб. ст. Под. ред. Н. Н. Алеврас.* Челябинск, 2006.
- Кулакова И. П.* Дочь и сестра: дворянская семья как образовательное пространство в XVIII – начале XIX в. // XVIII в.: Женское / мужское в культуре эпохи. М., 2008.
- Кулакова И. П.* О халате как атрибуте интеллектуального быта россиян 18 – 1 половины 19 в. // *Теория моды: Одежда. Тело. Культура.* Международный журнал. 2011. Зима (№ 19).
- Кулакова И. П.* Университетское пространство и его обитатели: Московский университет в историко-культурной среде XVIII века. М., 2006.
- Курукин И. В.* Эпоха «дворских бурь». Очерки политической истории послепетровской России. Рязань, 2003.
- Лепехин М. П.* «Дворянин-философ» в кругу почитателей (Новонайденные материалы о литературно-художественном окружении Ф. И. Дмитриева-Мамонова) // XVIII век. Л., 1983. Сб. 14.
- Лотман Ю. М.* Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства XVIII – начала XIX в. СПб., 1994.
- Маклюен М.* Понимание Media: Внешние расширения человека. М., 2003.
- Марасинова Е. Н.* Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII в. (По материалам переписки). М., 1999.
- Марасинова Е. Н., Каждан Т. П.* Культура русской усадьбы // *Очерки русской культуры 19 века.* Т. 1. Общественно-культурная среда. М., 1998.
- Марихейн Л. А.* История частных коллекций французской книги в России 18 – 19 веков и их роль в развитии русско-французских культурных связей. Автореф. Дисс... к.и.н. М., 2008.
- Милов Л. В.* Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 1998.
- Нарежный В. Т.* Российский Жильблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова // *Нарежный В. Т.* Соч. в 2 тт. Т. 1. М., 1983.
- Неверов О.* Михайловский замок – пластическая аллегория судьбы «русского Гамлета» // *Наше наследие.* 1996. № 38.
- Николаев Е. В.* Классическая Москва. М., 1975.
- Осминская Н.* Под сенью храма Аполлона: коллекционирование как мировоззрение // *Пинакотекa.* 2001. № 12.
- Оссовская М.* Рыцарь и буржуа. Исследования по истории морали. М., 1987.
- Пекарский П.* История императорской Академии наук. Т. 1. СПб., 1870.
- Перельмутер В.* «Звезда разрозненной плеяды!..». Жизнь поэта Вяземского, прочитанная в его стихах и прозе, а также в записках и письмах его современников и друзей. М., 1993.

- Писаренко К.* Повседневная жизнь русского двора в царствование Елизаветы Петровны. М., 2003.
- Погосян Е.* Восторг русской оды и решение темы поэта в русском панегирике 1730–1762 гг. Тарту, 1997.
- Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений. Записанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л., 1989.
- Рикуперати Дж.* Человек Просвещения // Мир Просвещения: Исторический словарь / Под ред. Винченцо Ферроне и Даниеля Роша / Пер. с итал. Н. Ю. Плавинской под ред. С. Я. Карпа. М., 2003.
- Романюк С. К.* По землям московских сел и слобод. Ч. 1. М., 1999.
- Савинская Л.* Ученая прихоть: Коллекция князя Николая Борисовича Юсупова // Наше Наследие. 2002. № 63–64.
- Самарин А. Ю.* Читатель русской книги гражданской печати во второй половине XVIII века (по спискам подписчиков). Автореф. дис... д. и. н. М., 2002.
- Сизинцева Л. И.* Хронотоп провинциала // Русская провинция: Культура XVIII–XX веков. М., 1993.
- Соколов Б.* “Правило из которого великия можно вывести красоты”: Вновь найденный экземпляр “Теории садового искусства” К. К. Л. Хиршфельда с заметками и рисунками Н. А. Львова. <http://www.gardenhistory.ru/page.php?pageid=177> (июнь, 2011).
- Солоухина М. И.* Творческое общение Великой Княгини и Императрицы Екатерины Алексеевны с М. В. Ломоносовым // Международная конференция Екатерина Великая: эпоха российской истории в память 200-летия со дня смерти Екатерины II (1729–1796) к 275-летию Академии наук Санкт-Петербург, 26–29 августа 1996 г. СПб., 1996.
- Стернин Г.* Усадьба в поэтике русской культуры // Русская усадьба. М.; Рыбинск, 1994. В. 1 (17).
- Топоров В. Н.* Из истории русской литературы. Т. II. Русская литература второй половины XVIII века. Исследования, материалы, публикации. М. Н. Муравьев. Введение в творческое наследие. Кн. I. М., 2001.
- Фарман И. П.* Воображение в структуре познания. М., 1994.
- Филонович С. Р.* Эксперимент и его роль в становлении классической физики. Автореферат дисс... д. ф.-м. н. М., 1996.
- Хотеев П. И.* Книга в России в середине XVIII в. Частные книжные собрания. Л., 1989.
- Шебунин А. Н.* Основание Академии наук // Новое литературное обозрение. 2002. № 54.
- Штедтке Клаус.* Субъективность как фикция. Проблема авторского дискурса в “Письмах русского путешественника” Н. М. Карамзина // Логос. 2001. № 3.
- Шюц А.* О множественности реальностей // Социологическое обозрение, Т. 3. № 2, 2003.
- Marker G.* Publishing, Printing, and the Origins of Intellectual Life in Russia, 1700–1800. Princeton, 1985.
- Ирина Павловна Кулакова**, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ, сотрудник Центра визуальной антропологии и эгоистории РГГУ; ikulakova@mtu-net.ru.

Е. Е. САВИЦКИЙ

ДИСКУССИИ О СООБЩЕСТВАХ
В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ И
ИСТОРИЯ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ*

В статье исследуется, как современное переосмысление опыта интеллектуальных сообществ в историографии повлияло на изучение данной проблематики применительно к раннему Новому времени. В качестве центрального примера берутся новоисторицистские исследования английской культуры данного периода. Ряд других исследовательских направлений привлекается для их контекстуализации. Делается вывод, что изменившееся понимание сообществ позволяет иначе трактовать ряд вопросов, и прежде всего вопрос об условиях становления новоевропейского индивида.

Ключевые слова: интеллектуальная история, сообщества, Стивен Гринблатт, Якоб Буркхардт, колонизация, новоевропейский индивид.

Есть нечто особенное в возникновении некоторых интеллектуальных сообществ в последние тридцать лет. Вот, для примера, три истории.

Во введении к сборнику «Практикуя новый историцизм», опубликованному в 2000 г.¹, специалисты по истории литературы Нового времени Стивен Гринблатт и Кэтрин Галлахер вспоминают о том, как сложился в конце 1970-х круг исследователей, основавших впоследствии журнал «Репрезентации» и получивших название «новые историцисты». Начинают авторы с того, что описывают свое удивление, когда они впервые увидели в филологическом ежегоднике объявление о вакансии на должность преподавателя «нового историцизма». Это было удивительно, поскольку преподавать можно какой-то предмет, который обладает некоторой связностью, чего на самом деле не было. И было странно, что может найтись человек, который действительно будет читать курс по «новому историцизму», и непонятно, что он будет при этом читать. Конечно, говорят Гринблатт и Галлахер, мы знали об истории и принципах «нового историцизма», но главное, что мы о нем знали – это что он не поддается какой-либо систематизации. Мы никогда не формулировали набора теоретических положений или четкой программы; мы

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 10–01–00403а «Идеи и люди: интеллектуальная жизнь Европы в Новое время»).

¹ Greenblatt, Gallagher. 2000. P. 1–19.

даже не составляли для себя никакого перечня вопросов, который следует задавать всякому литературному тексту, чтобы получить его новоисторицистское прочтение. Соответственно, мы никогда не были в состоянии сказать кому-то с укором «нет, ты не настоящий новый историцист», или наоборот: «да, вот это подлинно новоисторицистская работа». Вопрос о подлинном «новом историцизме» совершенно невозможен, он никогда не был школой, в которую можно записаться или из которой можно быть исключенным. Термин «новый историцизм», говорят Гринблат и Галлахер, нередко прилагался к целому ряду критических подходов, которые крайне далеки от наших собственных, и которые часто имеют между собой мало общего. Гринблат и Галлахер отмечают, что в самом общем плане ими руководило неприятие американской «новой критики».

Рассуждение Гринблатта и Галлахера примечательно в двух отношениях. Во-первых, они всячески отрицают подлинность, внутреннюю аутентичность своего проекта, возможность реконструировать его «настоящее содержание». И следом говорится, что «новый историцизм» (уже по отношению к этому наименованию оба автора ведут себя очень дистанцированно) возникает изначально из неприятия старого, и это неприятие, сугубая негативность важнее, чем наличие четко сформулированной теоретической программы. Авторы далее оговариваются, что отсутствие позитивного проекта не означало их равнодушия к теории. Они постоянно читали работы своих коллег из Парижа, Констанца, Берлина, Франкфурта, Будапешта, Тарту и Москвы. Особенно они отмечают обсуждение в те годы работ Альтюссера и Лакана, и, как будет видно, акцентирование этих двух фигур здесь совершенно не случайно. Гринблатт и Галлахер утверждают, что общение людей, которые потом стали именоваться «новыми историцистами», происходило в постоянных теоретических дебатах, хотя при этом все сходились во мнении о невозможности формулирования каких бы то ни было общих принципов и исследовательских правил. В связи с историей возникновения этого сообщества я также хотел бы прокомментировать утверждение авторов, что, в общем, при всей открытости этого кружка калифорнийских интеллектуалов, было и то, что всех их отличало, а именно – интерес к разного рода культурным институциям, текстам и образам, которые оказывали определенное сопротивление интерпретации.

Что означает это «сопротивление интерпретации»? Прежде всего, отмечу, что здесь снова идет речь о негативности – о сопротивлении, об отказе в коммуникации, о нежелании включаться в иной культурный контекст. И далее интересно, как именно трактуется эта негативность, это «сопротивление интерпретации». Дело не просто в том, что суще-

ствуют определенные тексты или изображения, сложные для понимания, сопротивлявшиеся интерпретации, над которыми эти авторы любили поломать голову. Речь идет об осуждении желания интерпретации как такового, когда мы пытаемся преодолеть непонятность текста, избавиться от нее, вписать текст в наш собственный культурный горизонт, и тем самым сделать его удобным, воспринимаемым – то есть, не бросающим вызов нашим способностям восприятия, не подрывающим наши культурные стереотипы, лишенным какой-либо негативности в отношении нашей культуры. В общем, переставшим сопротивляться. Напомню, речь идет о времени, когда уже появились работы М. Фуко о связи режимов знания и режимов власти, о критике «воли к знанию»², и уже вышла книга Э. Саида «Ориентализм», где тоже речь идет о знании (будь то художественном или научном) и сопротивлении именно ему – знанию с его желанием обладать, расширяться, обогащаться и т.п., а не просто искаженным образам других цивилизаций.

Это «сопротивление интерпретации» настолько важно для «нового историцизма», что в конце 1980-х, когда произойдет определенная формализация этого направления, Луис Монтроз будет сокрушаться о том, что идеология «нового историцизма» была присвоена «интерпретаторами», как он их называет. Как пишет Монтроз, «дефицит внятных методологических формулировок был симптомом наличия определенных эклектических и эмпирицистских тенденций, которые грозили подорвать любую попытку отделения “нового историцизма” от старого. Вполне возможно, что именно эти неясности и превратили “новый историцизм” скорее в объект для идеологического присвоения, чем в критику господствующей литературоведческой идеологии. Именно потому он почти мгновенно утвердился в качестве новейшей академической ортодоксии и был очень быстро принят на вооружение “интерпретаторским сообществом” исследователей литературы Ренессанса. Безусловно, некоторые из тех, кого признали образцовыми “новыми историцистами”, пожинают теперь материальные и символические плоды академического успеха. Без сомнения, многочисленные диссертации, конференции и публикации, вписывающие себя в рамки “нового историцизма”, свидетельствуют об авторитетности и престижности направления»³. Это высказывание передает уже совсем иную атмосферу, чем воспоминание о непринужденных дружеских беседах конца 1970-х –

² В русском переводе книги Фуко «Воля к знанию» заменена на «Волю к истине», что дает проблеме такой удобно-понятный релятивистский облик. У Фуко же идет речь именно о “savoir”, так же как и в «Археологии знания».

³ Монроз. 2000. С. 16.

начала 1980-х гг. Есть те, кто провозглашают себя подлинными «новыми историцистами», и есть Монтроз, который отказывает им в этом праве, подразумевая, что он в состоянии разграничить подлинное и неподлинное, что он тот, кто хорошо знает, что такое «новый историцизм». В этой (единственной, переведенной на русский язык) статье о «новом историцизме» выдвигаются обвинения в стремлении заработать денег и сделать карьеру на этой интеллектуальной моде путем ее приспособления под принятые исследовательские практики. Связано это с тем, что в изначально дружные ряды «новых историцистов» проникли «интерпретаторы», или некоторые из «новых историцистов» пошли из корыстных целей на сговор с «интерпретаторами». Примечательно, что Монтроз здесь, как и позднее Гринблат с Галлахер, нарочито противопоставляет свое видение «нового историцизма» «интерпретаторскому».

«Сопротивление интерпретации» – это центральная для «нового историцизма» тема, которая оказалась совершенно не затронута в единственной, насколько мне известно, российской дискуссии об этом направлении на рубеже 1990–2000-х гг.⁴, в которой возобладала тема «нового историцизма» как преодоления «постмодернизма», как способа вернуться от релятивистских вопросов к практическим исследованиям. В общем-то, из тогдашних участников дискуссии, только трое (С. Козлов, А. Эткинд и И. Смирнов) могли сказать о «новом историцизме» что-то определенное, но и для них была важна не столько корректная репрезентация этого направления, сколько апелляция к нему в дискуссиях о ситуации в российском гуманитарном сообществе. Можно сказать, что это важное для «западного» интеллектуального архива направление до сих пор осталось невоспринятым в нашей стране, и специфические представления «новых историцистов» об устройстве интеллектуального сообщества играют тут не последнюю роль. Я еще вернусь к «новому историцизму», теперь же я хотел бы привести свой второй пример истории возникновения интеллектуального сообщества.

Ровно в то время, когда Монтроз изгоняет «интерпретаторов» и в свою очередь подвергается осуждению со стороны деконструктивистов во главе с Хиллисом Миллером за ставшее субстанциалистским понимание «нового историцизма»⁵, ряд американских и европейских историков и литературоведов-медиевистов дистанцируются от всего происходящего и издают сборник с программным названием «новый медиевализм». В первом же абзаце введения, написанного Стивенем

⁴ См.: Новое литературное обозрение. № № 42, 47. 2000–2001.

⁵ Miller. 1987. P. 283.

Николсом, заявляется, что в отличие от «родственных рубрик вроде нового историцизма», «новый медиевализм» не пытается проповедовать какую-либо особую методологию. Скорее, пишет Николс, это обозначение указывает на желание «ставить под вопрос и переформулировать некоторые допущения, на которых основана дисциплина исследований Средневековья в широком смысле»⁶. Это снова очень примечательное высказывание. Исследователи, объединяющиеся вокруг проекта «новый медиевализм», также определяют свою задачу не как нечто позитивное, выработку новой методологии исследований, а скорее как подрывную работу – ставить под вопрос допущения, на которых основано изучение Средневековья. Речь идет о том, чтобы показать неприемлемость ряда импликаций традиционного научного знания о Средневековье, и тем самым сделать это знание неработающим – чтобы мы, читая, скажем, издания средневековых текстов Ж. Бедье, вспоминали об их сомнительных интеллектуальных основаниях, и это вело бы нас к дальнейшей проблематизации собственного знания, собственной исследовательской позиции, а не к укреплению «дисциплины исследований Средневековья». Эту особенность «нового медиевализма» фиксируют в своем известном комментарии Г. Спигел и П. Фридман, отмечая, во-первых, отказ от «модернизма» с его верой в прогресс, в позитивное развитие, поступательную рационализацию, и, во-вторых, все большее осознание самими медиевистами своей работы как «патологии»⁷.

Очень важно (и было упущено в российских дискуссиях о «новом медиевализме» начала 2000-х гг.), что эти исследователи не просто обращаются к патологическому в прошлом, но идентифицируют самих себя с патологическим. «Цель здесь – не столько расширение, обогащение и даже не усложнение нашего понимания средневековой культуры, сколько его разрушение»⁸. «Новый медиевализм» не только исследует болезни, он и сам призван действовать как болезнь, а не как модернистское обещание счастья. Отчасти это вполне политкорректная отсылка к приобретшим в то время влияние “disability studies”, предостерегающих от дискриминации больных тел и утверждения здорового тела (включая голову) в качестве универсальной нормы. В конце концов, у нас всех что-то болит, мы все в какой-то мере нездоровы, мы действуем обычно не как здоровые, а как больные тела, как патологии, и в рассмотрении нашей интеллектуальной работы нужно исходить именно из этого.

⁶ Nichols. 1991. P. 1.

⁷ Спигел, Фридман. 2000. С. 152.

⁸ Там же. С. 151–152.

Такая постановка вопроса тоже во многом восходит к Фуко (к «Истории безумия в классическую эпоху» и особенно к «Истории клиники», в которой описывается то, как больное тело оказывается подчинено здоровому взгляду с его нормативностью), а в определенном смысле и к Фрейдю, который считал необходимым рассмотрение произведений культуры не только с их здоровой стороны, но и «с точки зрения патологии»⁹. Этот призыв еще мало осмыслен в исторической науке. Одним из редких примеров могут быть исследования в рамках «архивного поворота», которые стремятся к созданию своего рода феноменологии труда историка. Например, они обращают внимание на то, как работая в архиве, исследователь неизбежно вдыхает архивную пыль¹⁰, и люди, много работающие в архивах, часто страдают от различных респираторных заболеваний. Когда они работают с документами, у них заложен и чешется нос, они чихают и вынуждены отвлекаться от чтения, чтобы доставать платок, от пыли также часто чешутся глаза, возникает зуд кожи и т.п. К этому можно добавить, что когда мы совершаем поездку в какой-то архив, время исследования неизбежно оказывается ограничено, мы стремимся успеть больше, и отсюда возникает стресс, мешающий по-настоящему обстоятельно работать с документами. Спать приходится в гостинице, на непривычной кровати, отчего мы приходим в архив еще и невыспавшиеся и т.д. Список примеров можно увеличивать, и каждому исследователю, исходя из его опыта, найдется, что добавить. Вместе с тем, когда мы читаем какое-либо историческое или вообще научное исследование, мы всегда исходим из предположения о том, что автор здоров, он выступает как воплощение бестелесной рациональности, каковую нам как бы и являет текст. И в действительности, эта проблематика здорового и больного тела историка, при всей ее видимой комичности, позволяет на многое взглянуть иначе. В том числе, и на формирование профессионального сообщества¹¹.

⁹ Фрейд. 1997. С. 69–70.

¹⁰ См. об этом: Steedman. 2001.

¹¹ Стоит пойти на защиты дипломных работ, которые должны удостоверить профессионализм будущих исследователей, их владение рациональными методами анализа, чтобы увидеть бледных, на грани нервного срыва студентов, которые в таком состоянии на самой защите работ могут продемонстрировать что угодно, но только не воплощение научной рациональности. Сами дипломные работы пишутся в состоянии крайнего нервного возбуждения, вызванного осознанием того, что не получается писать так, как у тех великих авторов, которые читались на семинарах. Отличие студента от профессора в том, что студент думает, что это исключительная ситуация, и потом все станет иначе, опытный же исследователь понимает, что для работы никогда не бывает достаточно времени. Статьи прихо-

Это и имеют в виду «новые медиевалисты», когда указывают на здоровое тело как одно из фундаментальных допущений, на которых основана «дисциплина исследований Средневековья». И вопрос в том, в какой мере эту дисциплинарную фикцию здорового тела надо поддерживать. Нужно ли и дальше соотносить себя с воображаемым ученым – воплощением рациональности и строгого знания, требовать от себя соответствия этому образу, испытывать постоянную вину за то, что это не удастся; или необходимо допустить иной образ устройства научных сообществ и производства в них знания, и соответственно продумывать иные способы построения исследовательских текстов. И в определенном смысле такая постановка вопроса должна воздействовать разрушающе на те идеалы научности, которые сложились в конце XIX – середине XX в., здесь сама работа историка уподобляется болезни¹². Мы снова сталкиваемся тут с сугубой негативностью (по крайней мере, в самоописании), вокруг которой организуется научное сообщество.

Третий пример – тоже о возникновении научного сообщества в 1980-е гг., хотя его описание относится к 2000-м. Один из участников сборника «Новый медиевализм» Ганс Ульрих Гумбрехт в 2005 г. опубликовал в российском «Новом литературном обозрении» статью «От эдиповой герменевтики – к философии присутствия»¹³. В ней он рассказывает о том, как сложилась группа исследователей, которые, в противовес герменевтике Г. Р. Яусса с постулированием удаленности от нас реальности, ее языковой опосредованностью, необходимостью интерпретации, стали обращать внимание на различные эффекты «присутствия» и «неязыкового» в культуре. Меня интересует, как описывается

дится писать, постоянно отвлекаясь на что-то другое, теряя ход мысли; редко получается как следует выспаться, чтобы голова была по-настоящему ясной; статью часто надо написать к определенному сроку. И с возрастом мы обретаем не столько спокойствие и уверенность в своем письме, сколько дополнительные болезни. Таким образом, уже само включение в профессиональное сообщество связано с болезненностью, и в дальнейшем эта нездоровость никуда не уходит. Характерные черты внешнего облика ученых уже давно были подмечены карикатуристами.

¹² В более политкорректном варианте это можно понять и просто как право высказать свой травматический опыт, ставшее в последние десятилетия важной частью понимания прав человека, и как необходимость академической проблематизации разных видов травматического опыта (Травма-пункты... 2009). Во всех этих случаях, однако, слушающий и пишущий оказывается по-прежнему на здоровой стороне. На мой взгляд, в таких рассуждениях подразумевается и то, что писал Ф. Ницше о сознании, и в особенности историческом сознании, как болезни. В отличие от коровы, которая безмятежно жует траву и ничего не помнит, человек болен памятью, которая, опять же, воспитывается через боль и страдания.

¹³ Гумбрехт. 2005.

история складывания этого сообщества, которое стало регулярно проводить в Дубровнике свои встречи, издавать программного характера сборники и всячески оспаривать интеллектуальную гегемонию Констанцской школы в немецком литературоведении.

Гумбрехт начинает с истории собственного конфликта с Яуссом, своим академическим учителем, из-за доклада, в котором Гумбрехт, желая продемонстрировать потенциал герменевтики для демократизации литературоведения, показывал на примерах разных читательских реакций новые возможности прочтения современной немецкой поэзии. Задним числом он описывает этот доклад как не вполне осознаваемый им тогда бунт против авторитета учителя, его прочтения текстов. Гумбрехт выстраивает при этом то, что он называет своей интеллектуальной генеалогией: он был учеником Яусса, Яусс – учеником Гадамера, Гадамер – учеником Хайдеггера, а Хайдеггер – учеником Эдмунда Гуссерля. Используя фрейдистскую метафорику и теорию Хэролда Блума о страхе влияния и о борьбе писателей со своими предшественниками как важном факторе творчества¹⁴, Гумбрехт пишет: «как более слабый потомок в пятом поколении, я не мог не попытаться причинить боль своему академическому “отцу”, который, в свою очередь, сделал все, что мог, и все, что предлагали ему исторические обстоятельства, чтобы побольнее ранить кое-кого из собственных академических предков»¹⁵.

Яусс высказался о докладе Гумбрехта резко критически. Гумбрехт пишет, что его доклад обернулся для него «настоящей катастрофой, унижением и поражением». Это важные слова, потому что именно из этого страха, унижения, ощущения катастрофы и рождается его интеллектуальный проект. К этим словам Гумбрехт добавляет и другие: «После этого вечера в начале лета (кажется, 1972 года), когда я был публично подвергнут позору (с тех пор этот случай навязчиво ассоциируется у меня со знаменитой исторической сценой, когда капитана Дрейфуса лишили всех его военных наград, – из чего, к моему смущению, следует, что я до сих пор жду реабилитации!), после этого катастрофического для меня вечера отношения с некогда обожаемым и даже любимым “Doktorvater” так никогда и не стали прежними — вплоть до того, что с тех пор нежно-буколический, предгорный пейзаж Констанца неизменно вспоминается как фон личного горя и депрессии. Но моя немедленная агрессия и энергия мести обернулись не против Яусса, а против слов “диалектика” и “герменевтика” – как я теперь знаю, навсегда. Вот уже

¹⁴ Блум. 1998.

¹⁵ Гумбрехт. 2005. С. 32.

более тридцати лет я делаю все, что в моих интеллектуальных силах, чтобы доказать: эти слова так же “пусты”, какой казалась осуждающему взгляду Яусса моя концептуализация литературного текста».

Таким образом, к спектру чувств, в результате которых разрушается принадлежность к одному сообществу и будет возникать принадлежность к другому, добавляются еще и «позор», «депрессия», «горе», «немедленная агрессия» и «энергия мести». Получив некоторое время спустя профессию в Бохуме, Гумбрехт уже высказывается прямо против Яусса и его теории. И следующим поступком было собственно создание альтернативной исследовательской группы. «Целью [...] было выступить против междисциплинарных коллоквиумов и изданий под общим названием “Poetik und Hermeneutik” [...], которые Яусс вдохновлял и возглавлял с середины 1960-х, – каким бы выдающимся я ни считал их интеллектуальное качество. Несмотря на редкие приглашения на мероприятия “Поэтики и герменевтики”, я не был удостоен столь желанной чести стать постоянным участником этой “исследовательской группы” (таков был ее официальный подзаголовок, или родовое имя). Поэтому единственным местом, где я мог получить хоть какую-то компенсацию, стал учрежденный и организуемый мною на протяжении 1980-х годов альтернативный цикл коллоквиумов для тех гуманитариев моего поколения (преимущественно немцев), которые по-прежнему ощущали призвание вести себя как “молодые рассерженные ученые”, – и для некоторых светил постарше, не удостоенных подчеркнута снисходительного внимания истеблишмента “Poetik und Hermeneutik”».

Так и возник проект коллоквиумов в Дубровнике, к участию в которых приглашались и исследователи из советского блока, а публикации материалов коллоквиумов скоро стали задавать интеллектуальную моду вместо «Поэтики и герменевтики». История Гумбрехта на этом не заканчивается, но сказанного уже достаточно, чтобы увидеть, что и здесь основание сообщества описывается как работа по существу негативная. Гумбрехт всячески подчеркивает, что изначально у него не было никакого позитивного проекта, и даже впоследствии он долгое время не мог определить характер своих исследований никак иначе, кроме как словом «анти-герменевтика». Гумбрехт настаивает на психологическом характере своего опыта, и в том же духе на его провокацию ответил И. П. Смирнов¹⁶, в своей рецензии не только разгромивший книгу Гумбрехта «1926 год», но и выступивший в защиту доброй памяти о своем старшем коллеге по Университету Констанца Г. Р. Яуссе. В рассмотре-

¹⁶ Смирнов. 2006.

ниях Гумбрехта, в присутствующем в них мотиве уныния, Смирнов находит подтверждение фрейдова тезиса, что эдипов комплекс у ребенка со временем сменяется кастрационным. Вместе с тем, рассуждения Гумбрехта содержат и более серьезную проблему – как может быть сформулирован альтернативный интеллектуальный проект в рамках существующего научного языка, не будет ли такой проект всякий раз присвоен этим языком, который препятствует уже самой формулировке чего-либо принципиально иного? Не может ли в этом случае новое возникнуть лишь как сугубое отрицание, как создание пустого пространства, зияния, в котором найдет свое место что-то иное?

Это лишь три примера возникновения таких «негативных сообществ» в 1980–1990-е гг. и последующей рефлексии о них. В конце 1990-х тема злости, гнева, ярости, разных других видов негативности, стала одной из центральных в размышлениях европейских и американских интеллектуалов. В это время были опубликованы «Яростная речь» Джудит Батлер, «География гнева» Арджуна Аппадурай, «Гнев и время» Петера Слотердайка, «Зло, или Драма свободы» Рюдирега Сафранского, «Эстетическая негативность» Карла-Хайнца Борера, «Тень на картине: о зле или негативности» Франсуа Жюльена, «Преступники» – последняя большая работа Жака Деррида, «Договор о ясности, или понимание зла» – одна из последних Жана Бодрийяра, «Насилие» Славоя Жижека, «Введение в антифилософию» Б. Гройса и многое другое.

Не менее часто в эти годы тема негативности возникает и в работах историков. В 2004 г. актуальность проблематики зла и негативности собрала два десятка авторов в специальном номере одного из ведущих немецких интеллектуальных журналов «Меркурий». Номер назывался «Рессентимент: К критике культуры», и авторы исходят из того, что без рессентимента исследование и критика культуры невозможны, и необходимо специально исследовать его «энергию, делающую нас глупее и умнее». Тем не менее, интеллектуальная история этого движения еще не написана, и было бы важно ее создать, как применительно к нашей современности, так и к более далекому прошлому, восходящему к Шелеру, Ницше, де Саду, Гоббсу и др. Это могло бы многое дать и для понимания тех концепций прошлого, которые создаются в последние годы.

В качестве примера обратимся к тексту Стивена Гринблатта начала 1980-х гг., его известной книге «Формирование “я” в эпоху Ренессанса: от Мора до Шекспира» (1980). Рассмотрение текста ее переведенной на русский язык последней главы¹⁷ позволит сделать выводы о том, действи-

¹⁷ Гринблатт. 1999.

тельно ли негативность была важна для нового историзма в момент его возникновения, или же Гринблатт и Галлахер додумывают ее уже задним числом, исходя из новой интеллектуальной моды.

Тема книги – формирование человеческого «я» в Англии эпохи Ренессанса. Гринблатт переосмысливает оптимистическую концепцию возникновения новоевропейского индивида, которая восходит еще к Я. Буркхардту, и предлагает иначе посмотреть на проявления человеческой индивидуальности и внутренней свободы в это время. Ю. П. Зарецкий справедливо указал на поворотный характер этого исследования для понимания формирования новоевропейской личности: Гринблатт «рассматривает своих героев не столько как творцов собственных жизней и собственных личностей, сколько как субъектов, сформировавшихся в результате определенных властных отношений в обществе»¹⁸. Зарецкий не менее справедливо отмечает и значение для концепции ренессансного индивида Гринблатта работ Фуко и Гирца. Сам Гринблатт, со ссылкой на Гирца, пишет, что независимой от культуры природы человека не существует, при этом под культурой следует понимать не столько комплексы конкретных поведенческих стереотипов (обычаи, практики, традиции, наборы привычек), сколько ряд контрольных механизмов – планы, рецепты, правила, инструкции, руководящие поведением. «Формирование “я” – ренессансный вариант как раз этих механизмов контроля, культурная система значений, которая создает конкретных индивидов, управляя переходом от абстрактной возможности к конкретному историческому воплощению»¹⁹. Так что же, Гринблатта можно определить просто как позитивного/позитивистского исследователя, который предлагает учитывать новые исторические факторы, в дополнение к учитывавшимся ранее? На самом деле, в тексте Гринблатта все сложнее. И тут следует перейти от допускающих разные трактовки теоретических деклараций Гринблатта к самому его исследованию. Гринблатт полемизирует с Д. Лернером, его концепцией важности культурной мобильности для формирования новоевропейской культуры:

Остановимся ненадолго на концепции ренессансных истоков западного сознания у самого профессора Лернера: “Возьмите фактор физической мобильности, – пишет он, – который обусловил подъем Запада в эпоху, когда земной шар был малонаселен, если оценивать плотность населения в мировом масштабе. Землю оставалось только открыть. Великие путешественники захватывали огромную недвижимость, водружая флаг; эти уголья в течение поколений заполнялись новым населением”. События про-

¹⁸ Зарецкий. 2005. С. 28–36. (С. 33).

¹⁹ Гринблатт. 1999. С. 36.

исходили не совсем так. Земля не превращается в “недвижимость” так легко, и малонаселенность великие путешественники не заставляли, а создавали. Например, по оценкам демографов Центральной Америки, население Эспаньолы в 1492 году было 7-8 миллионов, а может быть, даже и 11 миллионов. До привлекательных размеров плотность населения сократилась с поразительной скоростью: к 1501 году захват в рабство, подрыв сельского хозяйства и, прежде всего, европейские болезни сократили население до примерно 700 тысяч; к 1512 году – до 28 тысяч. Невероятные масштабы смертности, разумеется, не остались незамечены: европейские наблюдатели усмотрели в них знак божественного замысла покончить с идолопоклонниками и открыть Новый свет для христианства»²⁰.

Это рассуждение выдает влияние на него постколониальных теорий. Стоит заменить имя Лернера на имя В. О. Ключевского, и мы получим характерный для русской историографии тезис о внутренней колонизации, освоении незанятых пространств, как об основном факторе русской истории. Но здесь меня больше интересует то, как возражает Гринблатт. Он пишет, что условиями этого возвышения Запада были подрыв сельского хозяйства и европейские болезни, смертность, иными словами – опустошения. Данные Гринблатта восходят к фантастическим и тенденциозным подсчетам Бартоломе де Лас Касаса в XVI в. Но здесь важна сама фигура создания пустоты. Далее в полемике с Лернером Гринблатт приводит одну из конкретных историй жестокого обращения испанцев с индейцами: «Перейдя от вежливого мира социологов с торжественным водружением флага на пустой местности к насильственным переселениям и невидимой смерти, мы тем самым приблизились и к трагедии Шекспира и подойдем к ней еще ближе, если обратимся к эпизоду, сообщаемому под 1525 годом Педро Мартиром в седьмой декаде “Нового света”». Гринблатт будет разбирать «Отелло» Шекспира, и эта полемика с Лернером и истории об испанцах как бы ведут нас к шекспировскому образу Яго. Отмечу здесь только снова противопоставление у Гринблатта «водружения флага на пустой местности» и «насильственных переселений», «невидимой смерти», которые на самом деле действуют в истории. Гринблатт приводит рассказ самого Мартира:

«Столкнувшись с серьезной нехваткой рабочей силы на золотых рудниках, причиной чего было вымирание местного населения, испанцы с Эспаньолы начали устраивать набеги на соседние острова. Два корабля дошли до дальнего острова архипелага Лукаи (нынешние Багамы), где их приняли доверчиво и благоговейно. От толмачей испанцы узнали, что, согласно верованиям туземцев, их души после смерти сперва проходят очищение от грехов в ледяных северных горах, а потом переносятся на райский остров на юге, где

²⁰ Там же. С. 45.

правит добрый хромой принц, награждающий их несчетными радостями: “души вкушают вечные восторги среди плясок и пения юных дев и среди объятий своих детей, и вообще всего, что они любили при жизни; болтают туземцы и такое, будто к старикам возвращается молодость, и потому там все ровесники, полные радости и веселья”. Разобравшись в этих фантазиях, испанцы, – пишет Мартир, – сумели убедить туземцев, “что прибыли как раз из тех мест, где туземцы увидят своих родителей и детей и вообще всех умерших друзей и родственников: и они вкусят всевозможных восторгов, включая объятия и наслаждение любимыми при жизни вещами”. Попавшись на этот обман, все население острова взошло, как говорит Мартир, “с песнями и ликованием” на корабли и было отправлено на золотые рудники Эспаньолы. Правда, испанцы извлекли из своей хитрости меньше пользы, нежели рассчитывали: поняв, что с ними случилось, лукайанцы, подобно некоторым еврейским общинам в Германии в эпоху крестовых походов, совершили массовое самоубийство. “Придя в отчаяние, они или убивали себя, или, отказавшись от пищи, умирали от истощения, и нельзя было их заставить есть ни уговорами, ни насильем”²¹.

Гуманистическая способность к эмпатии, к фикциональному, к внутреннему преображению оказывается здесь средством манипуляции, установления власти, обмана, убийств. Это то, что несет с собой возникновение новоевропейского индивида, которое воспевал Буркхардт.

Как комментирует этот отрывок Гринблатт? Наиболее примечательным у Мартира он считает описание импровизации, внутренней открытости индивида непредвиденным обстоятельствам, умение извлекать из них выгоду, трансформировать наличную ситуацию в собственный сценарий. «Здесь существенна не столько спонтанность импровизации, сколько оппортунистическое отношение к тому, что кажется прочным и устойчивым»²². Это важный момент для гринблаттовского определения импровизации – она есть то, что лишает вещи прочности, устойчивости, иными словами, ведет их к разрушению, распаду, оборачивает их против самих себя, делает неспособными к сопротивлению. «Импровизацию делает возможной подрывное восприятие чужой истины как идеологического конструкта»²³. С другой стороны, отмечает автор, импровизация подразумевает театральность, маску, желание играть роль, превратиться в кого-то другого. То есть, требуется опустошение с двух сторон – чтобы за маской не стояло никакой прочной и стабильной субъективности, чтобы во мне образовалось «не-я». И замыкает эти две стороны Гринблатт словами: «А само это актерство, в свою очередь, зависит от пре-

²¹ Там же. С. 45–46.

²² Там же.

²³ Там же. С. 47.

вращения чужой реальности в пригодную для манипуляций выдумку²⁴». Таким образом, еще не дойдя до Яго, автор переворачивает буркхардтовскую концепцию индивида: из наполненности богатством культуры он превращается в умножающиеся фигуры опустошения, дереализации, смерти. Вокруг этого возникает новоевропейская культура. В этих рассуждениях можно увидеть аллгорию некоторых современных историко-культурных подходов к изучению Ренессанса, и я подозреваю, что здесь имеется в виду та же герменевтика, о которой так зло писал Гумбрехт. В самом деле, чем занимаются испанцы, как не интерпретацией чужой культуры. Они оказываются способны понять чужую логику, мысленно поставить себя на место индейцев, они обладают достаточной душевной открытостью для диалога с другой культурой. Ю. П. Зарецкий справедливо отмечает, что среди «базовых понятий», используемых Гринблаттом, мы находим «остранение», «диалог с прошлым», «власть», «управляемость»²⁵. Однако он не указывает, в каком смысле эти понятия для Гринблатта являются базовыми, его не удивляет, что «остранение» и «диалог с прошлым» оказываются в одном ряду с «властью» и «управляемостью». Я бы сказал, что эти понятия для Гринблатта действительно важны, но это не его понятия.

У Гринблатта далее идет речь о насилии и сексуальных тревогах у Тиндела и Мора, и затем он исследует импровизации на эти же темы в «Отелло» Шекспира. Это очень подробное исследование, проанализировать которое потребовало бы вдвое большего объема, поэтому я здесь упомяну лишь одну примечательную цитату из Жака Лакана, которая возникает в связи с «бессвязными криками» Отелло, его конечной «утратой себя», «его трагическим процессом разрушения»²⁶. Лакан пишет: «Не заложена ли причина неудачи в самом дискурсе субъекта? Разве субъект не вовлекается в нарастающую утрату прав на свое бытие, относительно которого – благодаря искренним портретам, не придающим этому бытию связности, благодаря уточнениям, не высвобождающим сущности этого бытия, благодаря остановкам и защите, не избавляющим его стацию от шаткости, благодаря нарциссистским объятиям, превращающимся в мыльный пузырь при попытке это бытие оживить, – он в конце концов осознает, что это бытие всегда было всего лишь его собственным конструктом в Воображаемом и что этот конструкт отменяет все, в чем он уверен? Ибо в процессе трудов, которые он предпри-

²⁴ Там же.

²⁵ Зарецкий. 2005. С. 35.

²⁶ Гринблатт. 1999. С. 59.

нимают, чтобы воссоздать этот конструкт для Другого, он наталкивается на то самое фундаментальное отчуждение, которое заставило его выстроить этот конструкт по образу Другого и которое всегда приводит к тому, что Другой этого конструкта его лишает»²⁷.

Видимо, именно у Лакана можно найти теоретическую рамку, которой следует Гринблатт в рассуждениях о конститутивном для субъективности опустошении. Думаю, прав и С. Козлов, указывающий на значимость для Гринблатта альтюссеровского понимания субъективности как функции идеологии²⁸, то есть, опять же, не как чего-то внутренне-сущностного, а как набора внешних ограничений – как раз в том смысле, в каком Гринблатт и Гирца цитировал. Не случайно в позднейших воспоминаниях Гринблатта и Галлахер оказываются особенно важны эти два имени, Лакан и Альтюссер²⁹. Надо сказать, что влияние этих авторов на современное историописание изучено крайне мало, по сравнению с множеством работ о значимости Барта, Фуко, даже Деррида, и потому все связанное с этими двумя фигурами с трудом распознается в текстах. Между тем, образ конститутивного опустошения, крайне важен для понимания целого ряда современных исследований. Восходящий, по-видимому, к описанной Фрейдом игре в «fort-da», младенческой игре с появляющейся и исчезающей катушкой, катушкой «умирающей», образующей минимальную структуру субъективности и темпоральности, этот образ множится в последующей традиции. Рассмотрение картины Веласкеса «Менины» в «Словах и вещах» Фуко, в котором противопоставляется время истории искусства и особая темпоральность произведений, начинается с образа художника, чья рука движется, *появляясь-исчезая*, между палитрой и холстом, которому нужно добавить последний мазок, но возможно он не провел еще и первого, и сама фигура художника на мгновение застыла *между* полотном и красками. «События развернутся между тонким кончиком кисти и острием взгляда. Однако это произойдет не без многих подспудных уклонений»³⁰, и уклонения, колебания, мерцающие присутствия все умножаются с каждой строчкой текста Фуко. Интересно сравнить это описание «Менин» у Фуко с не

²⁷ Цит. по: Там же. С. 60. В русском издании «Римской речи» Лакана перевод несколько отличается, ср.: Лакан. 1995. С. 20.

²⁸ Козлов. 2000. С. 7.

²⁹ Эти две фигуры абсолютно опровергают попытку А. Эткинда дать гуманистическое прочтение «нового историцизма» как возврата к проблематике индивида после бесчеловечности связанных с «радикальной политикой» исследований. См.: Эткинд. 2001. С. 11–12.

³⁰ Фуко. 1994. С. 41.

менее известным описанием «Послов» Гольбейна у Гринблатта в первой, к сожалению до сих пор не переведенной, главе его книги³¹.

Речь идет о картине Гольбейна из лондонской Национальной галереи, на которой изображены два французских посланника при английском дворе, стоящих по обе стороны от стола, на котором помещены различные книги и инструменты, символизирующие знание, внизу картины помещено серое анаморфическое изображение черепа, которое видно не сразу. Картина в определенном смысле предельно натуралистичная, но, как показывает Гринблатт, разрушающая всякие попытки однозначно что-то в ней увидеть, заставляющая зрителя переходить с места на место. Она вводит это движение, колебание, инсценирующее, в конечном счете, все ту же игру опустошения. Гринблатт сначала рассматривает то, что видно сразу, фигуры послов и предметы на столе, а потом обращается к анаморфическому черепу. Этот череп, отмечает он, выглядит более беспокоящим, чем обычные изображения смерти. Обычные в то время надгробия с изображением разрушающегося тела, как будто насмехающегося над изображенным тут же телом в расцвете сил, и со всеми атрибутами своего земного существования, хотя и нагоняют страх, но, в общем, делают соотношение живого и мертвого понятным, они уверяют зрителя, что эти отношения вполне однозначны, просты и ясны. Эти надгробия показывают тело полным сил и разрушающимся, и тем самым демонстрируют отношения между бренным миром и тем, что единственно реально. В «Послах» такое ясное и непосредственное видение оказывается невозможно: смерть отображается не в своем разрушающем плоть могуществе, или, как это известно из средневековой литературы, в своей способности наводить страх и причинять невыносимые страдания, а в ее сверхъестественной недоступности и отсутствии. То, что невидимо или воспринимается лишь как тусклое пятно, беспокоит гораздо больше, чем то, что мы можем увидеть прямо и полностью, и в особенности тогда, когда ограничения видения оказываются структурными, следствием в гораздо большей степени естественных способностей восприятия, нежели застенчивости наблюдателя.

«Анаморфический череп бросает тень на элегантный пол, [...] и таким образом демонстрирует собственную субстанциальность, но эта тень падает в ином направлении, чем тень от послов или от предметов на столе. Присутствие смерти, таким образом, одновременно и утверждается, и отрицается; она может стать видимой для нас, если мы займем соответствующую позицию, смотря на картину с угла, но она очевидно недо-

³¹ Greenblatt. 1980. P. 17–22.

ступна фигурам в картине»³². Точнее сказать, одеяние одного из послов, Дантевиля, украшено серебряной брошью в форме мертвой головы, но зритель, говорит Гринблатт, в гораздо большей мере чувствует несоотнесимость между этим украшением и черепом на полу, нежели их соответствие друг другу. И эта несоотнесимость подтверждается тем, что мы должны исказить и, в сущности, стереть фигуры на картине, чтобы увидеть череп. Чтобы увидеть его, зритель должен отказаться от «нормального» порядка видения, он вынужден оставить свое центральное положение, покинуть свое место, занять маргинальную позицию, подобно тому, как сам череп пребывает в не-месте по отношению к другим изображенным Гольбейном предметам. Картина принуждает мысленно менять перспективу, передвигаться из одной точки в другую и обратно. Но покинуть свое место, самому оказаться в не-месте означает изменить в картине все, стереть все прочее, кроме черепа, привнести в картину смерть и сделать невозможным возврат к ее нормальному видению.

«Не-место, каковым является место черепа, достигает феноменальной реальности и касается ее, заражая собственным острашением»³³, – пишет Гринблатт, используя это характерное слово «заражение». В тот самый момент, когда мы перемещаемся от центра к периферии, жизнь стирается смертью, репрезентация становится произведением искусства. Изображенные на картине Жан де Дантевиль и Жорж де Сельв, кажущиеся столь живыми и настоящими, оказываются лишь краской на холсте, иллюзионистским трюком: как будто стоящие перед нами, они не существуют где-либо, и потому существуют в утопии.

С другой стороны, Гринблатт изначально описывает череп как инаковый и нечеловеческий (*inhuman*, в определенном смысле и не- и в-человеческий), но уже такое описание, как замечает Гринблатт далее, иронически оказывается его искажением, ведь это единственный предмет на картине, наполненной книгами, научными инструментами и т.п., который оказывается одновременно абсолютно естественным, природным, в том смысле, что он не есть творение художника, и в то же время это абсолютно человеческий объект. Кроме черепа, принадлежащими человеку на картине кажутся еще и лица и руки Дантевиля и Сельва, но то положение, та поза, которую придал им Гольбейн, делают их наибо-

³² Ibid. P. 19.

³³ “The non-place that is the place of the skull has reached out and touched phenomenal reality, infecting it with its own alienation”. Ibid. P. 21. Так же заражает нас и пыль у К. Сидман, и прах, вообще разные отбросы, у Ю. Кристевой («Силы ужаса: Эссе об отвращении»), пепел у Деррида (“*Feu la cendre*”) и многое другое. См.: Смирнов. 1999. С. 130–138.

лее художественно проработанными объектами. Череп оказывается единственным подлинно человеческим, свободным от придания некой искусственной формы, изображением на картине.

В то же время, анаморфическое изображение черепа, эмблема того, что остается от внешнего и притворного, что сопротивляется ему, является и одним из наиболее художественно сложных элементов картины, потребовавшим от художника особого умения. Кроме того, мертвая голова оказывается одним из украшений в одежде Дантевиля, наряду со знаком ордена св. Михаила. Эффект этого парадокса – сопротивление всякой ясной локализации реальности в картине; он ставит под вопрос само понятие локализуемой реальности, на которую мы обычно полагаемся в нашем картографировании мира. Суть в том, что оказываются подвергнутыми сомнению те знаковые системы, которыми мы столь уверенно пользуемся. Таким образом Гольбейн, говорит Гринблатт, смешивает радикальное вопрошание о статусе мира с радикальным вопрошанием о статусе искусства.

Известно, что смешать вопрошание о статусе мира с вопрошанием о статусе искусства стремился и сам историзм, как реакция на разделение одного и другого в «новой критике». Хотя Гринблатт и исследует характерный для раннего Нового времени тип репрезентации, в действительности речь идет и о самом «новом историцизме». Именно текст Гринблатта, а не сама картина, заставляет нас на самом деле переходить с места на место (если мы, читая его, отнесемся к делу серьезно, поставим перед собой репродукцию картины и попытаемся увидеть ее каждым из описанных способов), именно текст Гринблатта «заражает» нас острашением, не позволяя вернуться к изначальной кажущейся ясности изображения: эта ясность разрушается, теряет устойчивость. Снова и снова в тексте Гринблатта мы сталкиваемся с «невидимой смертью», и она будет еще возвращаться в других его книгах, от обнаружения смерти в собственном голосе (в начале «Шекспировских взаимодействий»³⁴) до специального исследования проблем общения с мертвыми в ренессансной Англии после упразднения протестантами Чистилища (в «Гамлете в чистилище»³⁵).

О подобном введении прошлого в качестве дифференции, различия по отношению к настоящему, подобно черепу на картине Гольбейна, писал еще Мишель де Серто, который в начале 1980-х как раз был в Калифорнии (где и возник «новый историцизм»). Серто даже опублико-

³⁴ Greenblatt. 1988.

³⁵ Greenblatt. 2001.

вал в третьем номере новоисторицистского журнала «Репрезентации» статью о Лакане³⁶. Уже и в своих более ранних работах³⁷ Серто противопоставлял опыт истории, организованный вокруг отсутствия прошлого, вокруг пустоты, и опыт памяти, организованный вокруг его живого присутствия, возвращения, возобновления. Из этого противопоставления затем исходит и Пьер Нора, когда формулирует свой коллективный проект «Мест памяти», и тут можно было бы выстроить еще одну генеалогию «негативных сообществ», но это потребует уже отдельного исследования³⁸. В этой же статье мне хотелось лишь наметить контуры этого важного, на мой взгляд, поля интеллектуальной истории. Обычно сообщества рассматриваются как «позитивные», как имеющие определенную программу, создающие некий метод, формирующих школу и т.д. Достаточно посмотреть на стандартные истории историографии. Отрицание чего-либо рассматривается в таком случае как нечто второстепенное, как сопутствующее явление, например как следствие вытеснения старого новым. Мне кажется, однако, что, во-первых, такая модель рассмотрения не адекватна применительно к интеллектуальным сообществам, которые можно с полным правом назвать «постмодернистскими». И, во-вторых, от внимания исследователей ускользают ситуации, когда сообщество образуют люди, которые не знают, как должно быть, но для которых в любом случае неприемлемо то, как обстоят дела сейчас. Как я уже говорил, часто это – структурная ситуация, когда в рамках существующей (интеллектуальной) культуры нам трудно представить себе альтернативу ей, и поэтому нечто новое возникает лишь как чистое отрицание и как бессмысленный протест.

Многочисленные публикации в журнале «Репрезентации» показывают, что особое внимание к негативности создает и новые возможности для перепрочтения истории интеллектуальных сообществ более ранних эпох.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Блум Х. Страх влияния: Теория поэзии. Карта перечитывания. Екатеринбург, Изд-во Уральск.унив., 1998. 352 с.
- Гринблатт С. Формирование «я» в эпоху Ренессанса: от Мора до Шекспира // Новое литературное обозрение. 1999. № 35. С. 34–77.
- Гумбрехт Г. У. От эдиповой герменевтики – к философии присутствия // Новое литературное обозрение. 2005. № 75. С. 24–37.

³⁶ *Certeau. de.* 1983.

³⁷ *Certeau. de.* 1975.

³⁸ См. краткий очерк, посвященный в этой связи П. Нора: *Савицкий.* 2010.

- Зарецкий Ю. П.* История европейского индивида: от Мишле и Буркхардта до Фуко и Гринблатта. М.: ГУ ВШЭ, 2005. 44 с.
- Козлов С.* На rendez-vous с «новым историзмом» // Новое литературное обозрение. 2000. № 42. С. 5–12.
- Лакан Ж.* Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995. 100 с.
- Монроз Л.* Изучение Ренессанса: поэтика и политика культуры // Новое литературное обозрение. 2000. № 42. С. 13–36.
- Савицкий Е. Е.* Память в историографии 1980–2000-х годов: между конструированием и руинированием // Историческая память, власть и дисциплинарная история. Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2010. С. 83–86.
- Смирнов И. П.* Рец. на: «Гумбрехт Г. У. В 1926 г.: на острие времени. М.: Новое литературное обозрение, 2005» // Критическая масса. 2006. № 1. С. 362–387.
- Смирнов И. П.* Хлам текстов (Мусор, эмоции и философия) // Логос. 1999. № 2. С. 130–138.
- Стигел Г., Фридман П.* Иное Средневековье в новейшей американской медиевистике // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2000. Вып. 3. С. 125–164.
- Травма-пункты / Сб. ст. под ред. С. Ушакина, Е. Трубиной. М.: НЛЮ, 2009. 930 с.
- Фрейд З.* Психоанализ и культура. Леонардо да Винчи. СПб.: Алетейя, 1997. 296 с.
- Фуко М.* Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. 406 с.
- Эткинд А.* Новый историзм, русская версия // Новое литературное обозрение. 2001. № 47. С. 7–41.
- Certeau M. de.* L'écriture de l'histoire. Paris: Gallimard, 1975. 528 p.
- Certeau M. de.* Lacan: An Ethics of Speech // Representations. 1983. № 3. P. 21–39.
- Greenblatt S.* Hamlet in Purgatory. Princeton, Oxford: Princeton Univ. Press, 2001. 352 p.
- Greenblatt S.* Renaissance Self-Fashioning. From More to Shakespeare. L., Chicago: Univ. of Chicago Press, 1980. 332 p.
- Greenblatt S.* Shakespearean Negotiations. Berkley, Los Angeles: Univ. of California Press, 1988. 205 p.
- Greenblatt S., Gallagher C.* Practicing New Historicism. L., Chicago: Univ. of Chicago Press, 2000. 260 p.
- Miller J. H.* Presidential Address 1986. The Triumph of Theory, the Resistance to Reading, and the Question of the Material Base // PMLA. 1987. Vol. 102. P. 281–291.
- Nichols S.* The New Medievalism: Tradition and Discontinuity in Medieval Culture // The New Medievalism / Ed. M. S. Brownlee, K. Brownlee, S. Nichols. L., Baltimore: The Johns Hopkins Univ. Press, 1991. P. 1–28.
- Steedman C.* The Dust. Manchester: Manchester Univ. Press, 2001. 208 p.
- Савицкий Евгений Евгеньевич**, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и теории культуры Российского государственного гуманитарного университета; savitski.rggu@gmail.com.

С. И. Посохов

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ГОРОД В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВВ.

К ВОПРОСУ О РОЛИ, СТЕПЕНИ И КАНАЛАХ
НЕМЕЦКОГО КУЛЬТУРНОГО ВЛИЯНИЯ*

Статья посвящена изучению процесса становления «университетского города» в России во второй половине XVIII – первой половине XIX вв. Благодаря университетам происходило расширение пространства диалога субкультур и круга субъектов такого диалога в городе, «университетские города» предлагали весьма динамичные культурные образцы, которые имели большое значение для развития городской жизни. Отмечается, что свой вклад в этот процесс внесли немецкие профессора, которые были носителями не только университетской культуры, но и городской культуры модернизированного типа.

Ключевые слова: университетский город, трансфер и адаптация, диалог субкультур, модернизационные процессы.

«...университетские города сильно отличаются в культурном и общественном смысле от не университетских»¹.

Довольно известная и не встречающая возражений цитата из работы Д. И. Багаля и Д. П. Миллера на самом деле скорее является красивым тезисом, нежели аргументированным выводом. И связано это с тем, что не только российский «университетский город», но также город вообще и урбанизация как феномены культуры стали изучаться сравнительно недавно, и многое в этом отношении, по мнению специалистов, остается открытым, теоретически неустоявшимся².

Не только в советской, но и в постсоветской историографии основное внимание исследователей при изучении истории российских городов сосредоточено на экономических аспектах. Конечно, результа-

* Статья подготовлена в рамках международного научного проекта «Ubi universitas – ibi Europa. Трансфер и адаптация университетской идеи в России в XVIII – XIX вв.», поддержанного Германским историческим институтом в Москве и Фондом Герды Хенкель.

¹ Багаля, Миллер. 1993. Т. 2. С. 588.

² Кондаков. 1993. С. 188.

ты этих усилий также важны, и в данном случае в частности. Так, исследователи констатировали, что до конца XVIII в. в России преобладал аграрный город, что отделение города от деревни в главных чертах завершилось к середине XIX в., что изменения в XIX в. были не только радикальными, но и быстрыми, и это привело к утверждению функций более высокого порядка³. Однако, такой «социально-экономический» подход является односторонним. В одной из фундаментальных работ по истории российского города середины XVIII – середины XIX вв. автор пишет: «Приведенные данные со всей очевидностью указывают на *градосозидающие* (курсив мой. – С. П.) потенции промышленности, ремесла и торговли»⁴. И далее: «...поступательное развитие города было возможно только при условии возникновения и совершенствования промышленной и торговой функций»⁵. Очевидно, что в данном случае город видится как результат прежде всего социально-экономического развития, как социально-экономический феномен. При этом традиционно в литературе подчеркивается, что города по природе своей были предрасположены к модернизации. Кто-то склонен это связывать с тем, что уже возрастная структура населения города отличается преобладанием младших возрастных групп: «...с присущими для молодежи проблемами, порывами и устремлениями к современным ценностям»⁶. Соответственно, развитие образования, науки, проблемы воспитания также выглядят скорее производными этой демографической ситуации.

Но поставив проблему городских функций, мы сразу будем вынуждены выйти за рамки социально-экономической истории и вести речь о «городской культуре». Вспомним вывод Фернана Броделя: «Город существует как город лишь в противопоставлении образу жизни (курсив мой. – С. П.), более низкому, чем его. Это правило не знает исключений...»⁷. Стремление исследовать городскую культуру не по отдельным отраслям, а как целостное явление, заставляет современных исследователей сосредоточить главное внимание на тех ее институтах, которые обладали тенденцией к интеграции общественного быта: школы, библиотеки, театральная-концертная жизнь⁸. Безусловно, важное место в этом процессе занимали университеты. Однако изучение исто-

³ Миронов. 1990. С. 201, 207, 208.

⁴ Там же. С. 217.

⁵ Там же. С. 219.

⁶ Чорний. 2007. С. 84.

⁷ Бродель. 2007. С. 449.

⁸ См.: Куприянов. 1995.

рии отношений университета и города в России лишь началось. Новый этап в изучении проблемы открыли двухтомник «Университет для России» под ред. В. В. Пономаревой и Л. Б. Хорошиловой (М., 1997, 2001); книги Е. А. Вишленковой, С. А. Малышевой, А. А. Сальниковой «Тerra Universitatis: два века университетской культуры в Казани» (Казань, 2005) и «Культура повседневности провинциального города: Казань и казанцы в XIX–XX вв.» (Казань, 2008); работа И. П. Кулаковой «Университетское пространство и его обитатели. Московский университет в историко-культурной среде XVIII в.» (М., 2006) и др.

В статье «Университет и (его) город: новая перспектива для исследования истории российских университетов» из сборника «Университет и город в России (начало XX века)» (М., 2009) Труде Маурер отмечает: «Традиционная российская перспектива изолирует членов университета от их окружения, с которым они были тесно связаны... Отсутствие до настоящего времени исследований об отношении университета и города удивляет тем более, что служащие и студенты российских университетов были гораздо более тесно связаны с одним и тем же городом, чем их немецкие коллеги... Историки сходятся в том, что университет (во всяком случае, европейский) для своего выживания нуждался в городе и мог существовать только в нем... Университет – это городское изобретение»⁹. Более того, в этом же сборнике, Д. А. Цыганков поставил вопрос об университете как факте и факторе новой урбанистической реальности¹⁰, а И. Гилязов о противоречии университета и города (последний, по его мнению, был более консервативен)¹¹.

Очевидно, что тема «университетского города» остается весьма актуальной. Более того, сегодня не так просто ответить даже на такой, казалось бы, элементарный вопрос: а что же такое этот «университетский город»? Непростым является и вопрос о времени возникновения «университетского города» в России. Достаточно ли сказать, что это город, в котором есть университет? И значит ли это, что как только университет возник в городе, то последний стал сразу «университетским»? Мы знаем, когда возникли университеты в городах Российской империи, но не можем сказать определенно, когда же возникли собственно «университетские города». Конечно, уже само по себе появление университета с его профессорами и студентами, библиотекой, музеями, ботаническим садом, типографией и изданиями, университетскими

⁹ Маурер. 2009. С. 6, 8.

¹⁰ Цыганков. 2009. С. 372.

¹¹ Гилязов. 2009. С. 564.

актами и празднованиями вносило новую струю в жизнь города. Некоторые авторы и начинают историю университетского города с момента создания университета: «Можно назвать немало примеров, когда самое основание университета коренным образом изменяло характер всякого города. Так, открытие в Казани в 1804 г. университета сумело объединить воедино все существовавшие ранее культурные силы и создать в городе особую духовную атмосферу»¹². Однако, во-первых, все это возникло не в одночасье. Во-вторых, не стоит преувеличивать масштабы происходящего (достаточно вспомнить, что по ревизии Магницкого в 1819 г., результаты работы Казанского университета с 1804 г. были признаны более чем скромными: им было подготовлено в среднем 3 выпускника в год¹³; конечно, это был худший результат по сравнению с другими российскими университетами, но все же...). В-третьих, о прочной связи университета и местного общества долгое время говорить также не приходится: они существовали как разные миры (достаточно напомнить общеизвестные истории о том, что в конце XVIII в. по Москве распространился слух, что на Моховой «немцы режут живьем православных», а студентов на улицах принимали за пленных шведов¹⁴).

Понятно, что потребовалось немало времени, чтобы университет «врос» в город, а город ощутил свою неразрывную связь с университетом. Когда же это произошло? И что все-таки понимают исследователи под «университетским городом»?

Среди тех признаков, которые определяют качественно новые моменты в жизни города под влиянием университета, называют следующие: формирование вокруг университета множества культурных очагов (типография, газета, журналы, библиотека, театр, научные и литературные общества и кружки); создание благодаря университету нового ритма жизни города, «придание ему новых красок»; формирование университетом пространства культурных событий, генерирование новой русской культуры¹⁵. Как пишет И. П. Кулакова: «...в старой Москве, городе традиционном по своей сути, университет способствовал возникновению и распространению очагов “новой культуры”, которая в XIX в. стала господствующей»¹⁶. В литературе можно встретить и такой

¹² Камышанченко, Бердник. 2001. С. 21.

¹³ Вишленкова. 2003. С. 101. Здесь же есть примечание, что по ревизии Желтухина 1826 г. с 1805 по 1819 гг. университет выпустил не 43, а 118 чел.

¹⁴ Лукаш. 1992. С. 42.

¹⁵ Камышанченко, Бердник. 2001. С. 21–23, 25.

¹⁶ Кулакова. 2006. С. 6.

общий вывод: «Университетский город качественно отличался от других городов Российской империи: он был на голову выше в образовательном, научном и культурном плане»¹⁷.

Собственно, уже названные признаки, для того чтобы проявиться, требуют времени. Последнее становится еще более очевидным, если мы обратим внимание на следующее высказывание: «Учебными корпусами, квартирами преподавателей, студентов, служащих, библиотеками, ботаническим садом, загородной обсерваторией, а также многочисленными трактирами, лавками, торгующими нужными университетским людям вещами, книжными магазинами, обслуживающими их интеллектуальные нужды, университет вращался в тело города, изменяя его «анатомию», топонимику, становясь центральным элементом идентичности (курсив мой. – С. П.). Казани как города университетского»¹⁸. Конечно, становление «новой культуры» или «новой идентичности» уже по определению процесс довольно длительный. Тем более, если иметь в виду вторую половину XVIII – первую половину XIX вв. Изменение ценностных ориентиров и формирование новых культурных традиций требовали смены одного, а то и двух поколений. В частности, о двух поколениях идет речь в сборнике «Университет для России»: «Для большинства населения [XVIII в.] по-прежнему образ студента, профессора и вообще ученого человека оставался чуждым, враждебным, вызывавшим страх и насмешку. Понадобилось время и труд двух поколений людей университета...»¹⁹. Имеется в виду, что с этого времени в пользу университетского образования заработал семейный фактор: у горожан, уже знакомых с университетом, дети достигли соответствующего возраста, и у них не было предубеждения против университета.

Однако, некоторые исследователи, например, Д. А. Цыганков, даже применительно к Москве, завершение такого процесса отодвигают к середине XIX в.: «Долгое время непонятен был для москвичей, ни образ профессора, ни образ студента университета. Изменение отношения москвичей к университету можно связать с активной общественной позицией профессоров и увеличением общего числа студентов университета во второй половине XIX в.»²⁰. Впрочем, последующие замечания автора («Университет в 1840–50-х годах стал всемосковским салоном...»; «Человеком, вписавшим университет в московскую жизнь, стал

¹⁷ Камышанченко, Бердник. 2001. С. 38.

¹⁸ Вишленкова, Малышева, Сальникова. 2008. С. 76.

¹⁹ Университет для России. 1997. С. 18.

²⁰ Цыганков. 2009. С. 377.

Т. Н. Грановский»²¹) позволяют несколько приблизить хронологическую границу к 1840-м гг. На 1830–40-е гг., по сути, указывают и другие исследователи. Например, применительно к Казани, отмечают, что в первой половине 1840-х гг. профессора стали составной частью дворянского общества, их стали приглашать на губернаторские обеды²². Вообще есть немало доказательств того, что в 1830–40-е гг. обучение в университете стало делом престижным. Впрочем, еще П. Н. Милюков отметил, что в 1830-е гг. «...впервые выросло целое поколение молодежи, которое обратилось за удовлетворением своих идеальных стремлений к университетской науке. Ввиду этого нового факта – переполнения аудиторий – и отношение правительства к студентам изменилось»²³.

Таким образом, следует принять вывод о том, что «университетский город» так таковой появился лишь через некоторое время после основания в городе университета. Возникает вопрос: насколько уместно вообще в таком случае вести речь об «университетском городе», скажем, применительно ко второй половине XVIII – первой половине XIX вв.? На наш взгляд, период от создания университета и до его «врастания» в городской организм следует считать периодом становления университетского города. Уже в это время проявились многие признаки будущего «университетского города», были заложены те основы, на которых он будет развиваться в дальнейшем. Сложный период взаимодействия города и университета завершился возникновением некоего нового культурного феномена. И этот процесс зависел не только от состояния университета. Многое зависело от готовности (или неготовности) местного общества к восприятию университета. Соответственно, необходимо обращать внимание на состояние городов и уровень городской культуры. Без развитой городской жизни стабильное существование университетов весьма затруднительно. В средневековой Германии два из трех университетов возникли по инициативе городов; мы не знаем примера организации университета в сельской местности, основная масса студенчества вербовалась из городского населения²⁴. В России же университеты возникли не столько из потребностей городской жизни, сколько были привнесены в городскую жизнь сверху, волей правительства. Городская среда, подчиненная задачам, в том числе и обслуживания интеллектуальной деятельности, разовьется в российском городе

²¹ Там же.

²² Костина. 2009. С. 135.

²³ Милюков. 1994. С. 301.

²⁴ Струков. 1984. С. 50.

намного позднее²⁵. Быстрый рост городов в России в XIX в. происходил за счет перемещения в города крестьян. Массовый прилив крестьян понижал общий культурный уровень городов²⁶. Это создавало дополнительные трудности для «врастания» университета в город. И по своему правы те, кто отмечает, что «открытие университетов в провинции в первые годы XIX в. как факт российской культуры не следует преувеличивать. Для них не хватало сил и средств. Это скорее провозвестники будущего развития высшего образования (и всякого культурного развития) в провинции, чем настоящие учебные заведения университетского типа»²⁷. Обратим внимание на слово «провинция». Действительно, если в российских столицах освоение новых традиций облегчалось европейскими «анклавами» культуры, то в провинции восприятие университета осложнялось дополнительными препятствиями²⁸. Как писал историк Казанского университета Н. Н. Булич, европейское влияние приходило в Россию «контрабандой», «клочками, обрывками»²⁹.

Но в данном случае важно подчеркнуть, что: 1) процесс становления города как «университетского» следует считать, прежде всего, культурным процессом, не сводимым только к факту возникновения университета и сопутствующих ему структур в городском пространстве и «экономическому импульсу»; 2) инновационный характер связи университета и города стоит выделить отдельно, но и в данном случае мы более склонны говорить о культурных инновациях, которые подготовили перемены экономического и социального характера.

Последнее заставляет нас четче определить специфику «университетского города» на новом этапе развития университета как такового. Как известно, на сегодняшний день утвердилась следующая периодизация истории университетов: средневековый (доклассический) – модернизированный (классический) – массовый (постклассический). Если для первого (доклассического) характерен небольшой «университетский город», жизнь которого в значительной мере зависела от университета, определялась им, то на следующем этапе (конец XVIII – первая половина XX вв.) университеты все чаще возникают в крупных городах и их влияние на городскую жизнь не так просто выявить, оно становится все более опосредованным. В условиях Российской империи такое влияние

²⁵ Кулакова. 2006. С. 196.

²⁶ Миронов. С. 180.

²⁷ Очерки русской культуры XIX в. 1998. Т. 1. С. 133.

²⁸ Михайлова, Коршунова. С. 9.

²⁹ Булич. 1904б. С. 56–57.

еще сложнее проследить, так как радикальное изменение места и роли города в российском обществе в XIX в. являло собой комплексный модернизационный процесс, а процессы «догоняющей» модернизации, сопровождавшиеся заимствованиями европейского опыта, далеко не всегда имели своим посредником университеты. К тому же университетов было очевидно мало для такой гигантской империи. Все это может вызвать сомнения относительно роли университетов в модернизационных процессах. Собственно, такое сомнение и породило ту ситуацию в историографии, о которой шла речь выше. Однако, по нашему мнению, университеты оказывали значительное влияние на модернизацию страны. При этом не важно, идет ли речь о конкретных инновациях, исходивших от университетов, или о влиянии дискуссий по «университетскому вопросу» на понимание характера и направленности всего процесса реформ³⁰.

Долгое время в историографии сюжеты о влиянии российских императорских университетов на местное общество были эпизодичны. Но и в этом случае внимание исследователей было сосредоточено на тех открытиях университетских ученых или их рекомендациях, которые существенно повлияли на развитие промышленности и сельского хозяйства, городское благоустройство, развитие транспорта, связи и т.д. Не удивительно, что речь шла об отдельных университетах и их влиянии на развитие ближайшего региона. Однако на такое воздействие университета следует смотреть шире, в рамках разнообразных культурных процессов. В частности, проблему становления университетского города целесообразно рассматривать в контексте сложного процесса европеизации России, и в этом плане ставить вопрос о роли культурного меньшинства в лице «университетских людей», которые собственно и воплощали «университет». Интересный материал для этого дает уже вторая половина XVIII – первая половина XIX вв. В частности, изучение роли, степени и каналов немецкого культурного влияния, поскольку становление в России такого европейского института как университет происходило преимущественно при посредничестве немецких профессоров, которые абсолютно доминировали среди приглашенных иностранных преподавателей.

В своей монографии А. Ю. Андреев всесторонне проанализировал количественные данные о таких профессорах по Московскому, Харьковскому и Казанскому университетам (и далее мы тоже будем анализировать материалы по этим трем университетам). Нельзя сказать, что эти цифры выглядят впечатляюще для нашего современника. За всю вторую

³⁰ См.: *Посохов*. 2006.

половину XVIII в. в Московском университете преподавало всего лишь 18 немцев. В период с 1803 по 1811 гг. 46 немецких ученых заняли вакантные места в указанных университетах. Вообще же за первую четверть XIX в. свыше 50 уроженцев немецких земель занимали должности профессоров и адъюнктов в Московском, Харьковском, Казанском и Петербургском университетах (не считая Виленского и Дерптского, практически полностью составленного из немецких ученых). Максимальное единовременное количество немецких профессоров – 41 чел. по сумме трех (Московского, Харьковского, Казанского) университетов было достигнуто перед началом Отечественной войны 1812 г. В последующем немцы со все возрастающим темпом стали покидать российские университеты³¹. Таким образом, и время пребывания большинства профессоров в России было непродолжительным: средний срок службы немецких профессоров и в Казани, и в Харькове в первой четверти XIX в. находился в пределах от 8 до 9 лет³². К тому же, говоря о немецком культурном влиянии, наверное кто-то мог бы сказать о том, что немецкие профессора не были первыми немцами в России, что взаимодействие культур имеет давнюю историю. Все это так.

Однако приведем и иные аргументы. Прежде всего, солидаризуемся с Александром Дмитриевым, который отметил, что «Степень присутствия университетов (и других вузов) в социальном ландшафте городов и империи в целом не может быть исчислена только статистически: количественно незначительный контингент лиц с высшим образованием значил весьма много...»³³. К тому же, названные цифры немецких ученых не выглядят абсолютными, если вспомнить о том, что например профессор Роммель, хотя и подтрунивал над слабостями профессоров – выходцев из Франции и славянских земель, тем не менее, включал их на правах «фракций» в состав «немецкой партии»³⁴.

И еще в рамках такого рода размышлений. Известно, что многие из немецких профессоров через непродолжительное время покинули Россию. Как писал П. Н. Милюков, «Лучшие из иностранцев не выдержали этой борьбы»³⁵. Однако передача и усвоение культурных норм, образов,

³¹ Андреев. 2009. С. 427, 459, 461.

³² Там же. С. 451.

³³ Дмитриев. 2009. С. 137.

³⁴ Роммель. С. 120, 126. В Харьковском университете профессора-иностранцы в первое десятилетие существования университета составляли почти 60% его преподавателей.

³⁵ Милюков. 1994. С. 285-286.

смыслов и артефактов может происходить непосредственно «из рук в руки», являя собой реально или виртуально, но *прямой* контакт («Преемство» по Г. З. Каганову, когда преемник должен, так сказать, «застать в живых» тех, кто передает), а может происходить и непрямым путем, опосредованно, после определенной временной дистанции («наследование»), когда исключается непосредственный контакт. Наследование может состояться только после «смерти» того, кто передает наследство³⁶. Влияние немецкой культуры через университет происходило как непосредственно через немецких профессоров, так и непрямым путем. То есть и после того, как многие из них покинули Россию, процесс культурного влияния не прекратился, но происходил как «наследование». Так, воспитанник Харьковского университета Ничпаевский вспоминал: «Бывшие в то время [1820-е гг.] профессора-иностранцы не отличались такими действиями, как в былые времена их земляки, *о коих существовало в университете предание*»³⁷ (курсив мой. – С. П.). То есть наблюдается желание лучше понять, что же собой являли эти профессора, которых уже нет рядом. Как писал В. Г. Маслович в стихотворении (середины 1820-х гг.) о проф. И. Шаде: «И то России чести мало, что истинно тебя не знала»³⁸.

Да, возможно, преувеличивать степень этого культурного влияния не стоит, но и игнорировать – было бы большой ошибкой. По крайней мере, интерес к такому культурному влиянию вполне оправдан. Очевидно, что при рассмотрении динамики городской культуры важно понимать, что представители различных социокультурных групп горожан являются производителями и распространителями различных по качеству и степени обобщенности элементов культуры³⁹. Безусловно, немецкие профессора были носителями именно модернизированной европейской городской культуры (об этом свидетельствуют специализированные занятия, формы досуга, особенности мировоззрения и поведения).

В свое время Ю. М. Лотман отметил, что именно «реализуя стыковку различных национальных, социальных, стилевых кодов и текстов, город осуществляет разнообразные гибридизации, перекодировки, семиотические переводы, которые превращают его в мощный генератор новой информации»⁴⁰. Очевидно, что наличие университета и относительно небольшой, но активной группы интеллектуалов-иностранцев,

³⁶ Каганов. 2000. С. 49.

³⁷ Ничпаевский. 2008. С. 67.

³⁸ Єрофійв. 1927. С. 73.

³⁹ Орлова. 1987. С. 15.

⁴⁰ Лотман. 1984. С. 35.

существенно влияло на этот процесс. Если ранее ассимиляция западных ценностей происходила на уровне дворянской субкультуры, то университет способствовал перемещению ее на другой уровень – мещанско-предпринимательской субкультуры городов, а это уже был, по мнению Н. А. Хренова, уровень цивилизационных процессов⁴¹. При этом влияние немецкой городской культуры через университеты, на наш взгляд, следует изучать, опираясь на теорию диалога субкультур. Соответственно, мы и предлагаем посмотреть на университет как место и фактор диалога субкультур.

Одним из важных признаков города является его социокультурное разнообразие и готовность горожанина к диалогу субкультур. Диалог – это обнаружение и понимание ценности других культур, способ присвоения последних. Диалог субкультур имеет свою особую структуру, где его обязательными составными выступают: пространство и субъекты диалога, предмет обсуждения (характер диалога), каналы диалога и др.

Безусловно, появление иностранных профессоров в городе, тем более провинциальном, добавило красок в его социокультурную палитру. Как писали историки Харькова Д. И. Багалея и Д. П. Миллер, «учащаяся молодежь и отчасти харьковское общество, не выезжая из Харькова за-границу, получили возможность познакомиться в лице своих деятелей с носителями западно-европейской культуры»⁴². Но создание университета не просто сделало субкультурный спектр города более широким. Оно изменило сам характер диалога. Для традиционного диалога характерна неотрефлексированность последнего его участниками. Модернизационные процессы в городе (особенно те, которые происходят под воздействием просвещения) формируют пространство осознанного диалога, а такой диалог требует подготовленного субъекта⁴³.

Немецкие ученые, которые приезжали в Россию, были довольно молодыми людьми. Уже эта характеристика определяла их активность, но не только. Сам факт переезда в другую страну свидетельствовал о том, что эти люди были активнее других своих соотечественников. Более того, некоторые из них *осознанно* ставили перед собой широкие гуманистические программы (достаточно вспомнить высказывания Роммеля или Буле). Да, возможно, некоторых из них следует назвать маргиналами не только в России, но и в своей стране. Однако, как известно, маргиналы легче прокладывают путь на границе культур.

⁴¹ Хренов. 1993. С. 181–182.

⁴² Багалея, Миллер. 1993. Т. 2. С. 579.

⁴³ См.: Сайко. 1999. С. 15 и др.

Вообще, некоторые ученые считают, что маргинальность является собой одну из характеристик именно городского социума, а проблема Чужака должна находиться в центре исследований городской жизни⁴⁴. К тому же, следует учесть, что собственно российские профессора в исследуемый период часто были выходцами из неблагородных сословий: духовенства, провинциалов-разночинцев, купечества и пр. Уже в силу этого, а также из-за их манер и привычек дворянское общество, как правило, не принимало их в свою среду. Соответственно и круг их общения (как отметил А. Ю. Андреев) не выходил за пределы университетов, все они образовывали дружескую компанию, возникшую еще в молодости и резко отделенную от остального общества⁴⁵. Такой вариант культурной замкнутости в литературе обозначается термином «геттоизация» (Ф. Бок)⁴⁶. Молодые немецкие ученые стали *активными участниками диалога* субкультур в городе. Конечно, это произошло не сразу. Первое время они также ведут себя довольно замкнуто, что объясняется, прежде всего, незнанием русского языка. Так, по воспоминаниям Христофора Роммеля, первым делом по прибытию в Харьков он вступил в знакомство «с несколькими семействами честных ремесленников-немцев»⁴⁷; кроме того, неженатые профессора составили клуб, в котором принимали участие исключительно немцы. Из дневника и переписки профессора Броннера ясно, что он также первоначально общался исключительно с представителями немецкой колонии в Казани. Такое общение «в своем кругу» будет продолжаться и в дальнейшем⁴⁸. Турнерелли, приехавший в Казань в 1837 г., в своей книге о Казани (впервые изданной в 1841 г.), записал: «Профессора в основном – немцы. Особое сообщество, которое редко смешивается с русскими»⁴⁹. И это понятно, так как для общения нужен не только «общий язык» в прямом смысле слова, но и в переносном. Как отмечает Е. А. Вишленкова, «собравшиеся в Казани интеллектуалы репрезентировали себя «людьми университета», то есть как единую социальную группу с европеизированной («западной») системой ценностей и поведенческими нормами»⁵⁰. Не

⁴⁴ Ярская-Смирнова, Романов. 2004. С. 212, 229.

⁴⁵ Андреев. 2000. С. 77; Кулакова. 2006. С. 210.

⁴⁶ Ф. Бок обосновывает пять различных способов преодоления культурного шока: геттоизация, ассимиляция, частичная ассимиляция, культурный обмен и культурная колонизация (Culture Shok / Ed. Ph. Bock. New York, 1970).

⁴⁷ Роммель. С. 127.

⁴⁸ Андреев. 2009. С. 454.

⁴⁹ Турнерелли. 2005. С. 277.

⁵⁰ Вишленкова. 2009. С. 86.

удивительно, что какое-то время некоторые прибывшие в незнакомое место немецкие ученые ощущали себя достаточно одиноко среди местного населения (так, тот же Броннер писал попечителю: «после Вашего отъезда живу словно в стране ирокезов»⁵¹).

Однако затем происходит расширение пространства диалога. Прежде всего, в этот круг общения попали студенты. Упомянутый выпускник Харьковского университета Л. Ничпаевский отмечал, что «иностранцы... сближались с русскими студентами, а с русскими профессорами не имели никакого общения»⁵². Есть упоминание о том, студенты Харьковского университета были в восторге от проф. Брандгейса и «сочувствовали ему во всех его идеях»⁵³. Хотя, конечно, были среди студентов и такие, кто с трудом понимал иностранных профессоров, а были и такие, кто высказывал свое отрицательное отношение (можно встретить упоминание в источниках о «ругани студентов против немцев»⁵⁴). Диалог культур и в этом варианте был не таким простым.

Но, несомненно, роль студентов и выпускников университетов в трансляции европейских ценностей, исповедуемых приезжими профессорами, была значительной. Очевидно, это влияние, прежде всего, ощущалось в городе, поскольку большая часть бывших студентов (даже недоучившихся) оставалась в городе и обслуживала его интересы. Позже известный историк В. О. Ключевский назовет студентов «всесловным резервом русского просвещения» и так охарактеризует их роль: тысячи студентов «вышли из университета и, расходясь по городам и усадьбам отечества, будили местные силы духовными интересами и знаниями, вынесенными из университета»⁵⁵. Этот процесс начался с первого университетского выпуска.

Постепенно наука и немецкие профессора «входят в моду», а богатые дворянские семьи спешат пригласить их в качестве учителей. Многие из них были вхожи в салоны московских литераторов, аристократы приглашали их как специалистов для описания своих библиотек (Гейм)⁵⁶. Некоторые из немецких профессоров довольно быстро освоили русский язык (как например, проф. Фукс). Благодаря медицинской практике, как писал Н. Булич, его знали в каждой семье. При этом, сам

⁵¹ *Нагуевский*. 1902. С. lxxviii.

⁵² *Ничпаевский*. 2008. С. 66.

⁵³ Там же. С. 73.

⁵⁴ *Нагуевский*. С. 38.

⁵⁵ *Ключевский*. 1989. С. 600.

⁵⁶ *Университет для России*. 2001. Т. 2. С. 310–311; *Андреев А. Ю.* 2000. С. 102.

профессор проявлял большой интерес к местной жизни⁵⁷. Нечто подобное известно и о харьковском профессоре Пильгере, который, по воспоминаниям Роммеля, «вызывал зависть всех учеников Эскулапа своим удачным, хотя и чрезмерным, лечением. Он постоянно общался с сельскими помещиками, которые давали ему продукты, и другими пациентами с околиц»⁵⁸. Значительно изменяется и расширяется круг общения профессоров-иностранцев после женитьбы на местных уроженках. Визиты к соседям и родичам с одной стороны позволили глубже изучить быт и нравы местных жителей, хотя далеко не всегда эти контакты приводили к взаимопониманию.

Конечно, нельзя не согласиться с мнением Труде Маурер о том, что «в губернских городах Российской империи связь с учеными поддерживало лишь небольшое *образованное* (курсив автора. – С. П.) общество, а отнюдь не все городское население»⁵⁹. Вместе с тем, следует иметь в виду то влияние, которое выходило за рамки непосредственного общения. Появляясь в публичных местах, университетские преподаватели неизменно становились объектом пристального внимания окружающих⁶⁰, в известном смысле, задавая тон. Горожане рассказывали о них друг другу. Так, один из современников записал: «Брат мой познакомил меня с сим профессором [Шадом], о великой учености которого я уже *прежде довольно слышался* (курсив мой. – С. П.)⁶¹».

Поведение немецких профессоров далеко не всегда «вписывалось» в традиции местного общества, в том числе, в строгие правила «сословных традиций». На сознание горожан влияло само расширение пространства диалога. Ведь не только горожане проявляли интерес к профессорам-иностранцам, но и наоборот. При этом немецкие профессора, неискушенные в сословных правилах, очевидно, не всегда осознанно расширяли пространство диалога.

В одной из обобщающих работ по истории культуры России XIX в. отмечается важная роль театра в развитии города, поскольку он собирал публику из различных слоев: «Нигде как под крышами столичных театров, не соприкасалась так близко с высшим светом империи обыкновенная городская публика». Однако далее замечается, что сама планировка зрительных залов театров предполагала определенную се-

⁵⁷ Булич. 1904а. С. 98–99.

⁵⁸ Роммель. С. 124.

⁵⁹ Маурер. 2009. С. 35.

⁶⁰ Вишленкова, Мальшева, Сальникова А. А. 2005а. С. 869.

⁶¹ ЦГИАУ. Ф. 2040. Оп. 1. Д. 99. Л. 1.

грегацию театральной публики⁶². Университет не только соединял различную «публику», он и разрушал сословные барьеры. Университет объединил пространственно людей, стоявших на разных социальных ступенях, университет выступил как начало, объединяющее сословия⁶³, но особенно важно то, что в университете разные сословия встретились как равные⁶⁴. Причем речь идет не только об учебном процессе, но и о торжественных актах, публичных лекциях. Так, исследователи отмечают, что университетские лекции «для всех сословий» в Казани в 1840-е уже перестали быть сенсацией⁶⁵. При этом, как отмечал Загоскин, университетские акты были довольно массовые: собиралось до 300, а то и 500 человек⁶⁶. Участие в университетских мероприятиях для простого городского жителя создавало иллюзию присутствия в высшем обществе, поднимало человека в своих глазах и в глазах равных и нижестоящих. Это были формы и факторы консолидации городского общества на новых культурных основаниях.

Конечно, чтобы это случилось, нужно было сломать сословные (и не только) предрассудки. Многие немецкие профессора осознанно или неосознанно включились в этот процесс. Упомянутый проф. Фукс, по свидетельству Н. Н. Булича, лечил татар и был ими любим, он же проявлял интерес к раскольникам и был «единственный ходатай за них»⁶⁷, неравные браки некоторых профессоров «сильно занимали местное общество»⁶⁸ и т.п. Впрочем, немецкие профессора в той или иной форме не только демонстрировали, но и декларировали свое понимание цивилизационных (европейских) ценностей. Проф. И. Шад в одной из своих речей на торжественном университетском акте, при многочисленной публике говорил следующее: «Европа есть та часть света, ...которая кажется Высочайшим Провидением для того предназначена, чтобы подобно солнцу разливала благодетельный свет на все прочие народы и части света, управляла ими и дружески руководствовала бы их к *возвышению из невежества к просвещению, из рабства к гражданству, из грубости к образованию, словом из жребия бессловесных животных к умственному и нравственному достоинству* (курсив мой. – С. П.)»⁶⁹.

⁶² Очерки русской культуры XIX в. 1998. Т. 1. С. 109.

⁶³ Университет для России. 1997. С. 164, 170.

⁶⁴ Кулакова. 2006. С. 202.

⁶⁵ Бурмистрова. 2002. С. 23.

⁶⁶ Загоскин. 2003. С. 75.

⁶⁷ Булич. 1904а. С. 100, 101.

⁶⁸ Цит. по: Булич. 1904а. С. 186, 228.

⁶⁹ Шад. 1814. С. 3–4.

К слову о достоинстве. В действительности, в ходе таких контактов происходило не столько утверждение, сколько столкновение представлений о «достоинстве». Например, разрушающими устоявшие представления о «государственном человеке», представителях элиты, стали торговые операции «ученых иностранцев». В Харьковском университете таковыми обычно называют Стойковича и Нельдехена. Но истории об «оборотистых немцах», приехавших ради обогащения, особенно привлекавшие внимание историков советского периода, свидетельствуют не столько о моральных качествах и целях приезда в Россию иностранных профессоров, сколько о варианте «диалога культур». Такой вариант поведения был непонятен не только власти предрежущим и обывателям, но и их коллегам – носителям местных культурных традиций. Один из современников начала XIX в., Р. М. Цебриков, писал о своей встрече с некоторыми «русскими» профессорами Харьковского университета за бокалом вина, купленного у Нельдехена: «Удивительно, сказали сии русские профессора, что все почти находящиеся при нашем университете иностранные профессора пустились во всякие промыслы и торговлю для скорейшего себя обогащения, не преминув при сем много еще кой чего, к сей материи относящегося, наказать на счет сих высокоученых торговцев...»⁷⁰.

В рамках сословного сознания в России занятие того или иного человека «не своим» делом выглядело недостойным. Западноевропейский город во многом уже преодолел такой подход. Как писал проф. Роммель, вспоминая о своей родине, «местная знать владела лучшими кабаками в городе»⁷¹. А торговля, в частности вином, издавна принадлежала к числу привилегий университетских профессоров. Ф. А. Петров считает, что формально были правы те, кто в самом факте торговой деятельности не видели уголовного преступления⁷². В известном смысле, они отстаивали право человека независимо от должности, заниматься не запрещенной законом деятельностью. Но в Российской империи, где род занятий представителей различных сословий существенно отличался, такая «всеядность» казалась предосудительной. Напомним, что в университетском уставе профессора назывались «высшим сословием». В российском обществе представитель «высшего сословия» не мог заниматься «низменной» деятельностью, иначе он нарушал кодекс чести. Возможно, именно этот и подобные конфликты со временем сформировались

⁷⁰ ЦГИАУК. Ф. 2040. Оп. 1. Д. 45. Л. 64 об.

⁷¹ Роммель. 2001. С. 52.

⁷² Петров. 2002. Т. 2. С. 299.

руют устойчивое представление о профессоре, как о человеке, находящемся на государственной службе, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как отмечается в современной литературе, «по замыслу устроителей, университеты должны были не только учить, но и воспитывать российских граждан, и именно этим российские профессора отличались от их западноевропейских коллег»⁷³.

Однако, в данном случае, важно заметить, что немецкие профессора привносили в местное общество новые представления о социальной мобильности, они уже своими действиями размывали старые сословные предубеждения. Известно, что немецкие профессора не считали зазорным тесное общение с купцами. И последние также потянулись к иностранным профессорам и к «учености» вообще. Уже цитировавшийся Р. М. Цебриков записал об одном из купцов, с которым он встретился: «[по словам моего брата, этот купец] может рассуждать о разных материях, кроме торговых, любит заниматься чтением полезных книг; у него довольно изрядная библиотека; он дружен с нашими университетскими учеными и часто с ними имеет беседы»⁷⁴. Наверное, говорить о том, что в университетских городах в это время возникло «интегрированное локальное общество» (Т. Маурер⁷⁵) было бы преждевременно. Да, мир профессоров был в значительной мере отделен от мира мелкой буржуазии (ремесленников и торговцев). Но такое сближение началось, и оно имело влияние на формирование новой городской культуры.

В одной из работ, посвященной образу жизни британской элиты в викторианскую эпоху, имеется вывод о том, что характерной чертой этого переходного времени было одновременное сосуществование в ней двух совершенно разных культурных систем – аристократической, уходящей корнями в средневековье и базирующейся на идеалах сельского сообщества, и новой городской, предпринимательской. Эти системы соприкасались и взаимодействовали, в конечном счете формируя общее культурное поле, получившее название викторианства. В викторианский период менялся облик носителей этих культур. Процессы «аристократизации» или «джентрификации» высшего среднего класса и «обуржуазивания» аристократии⁷⁶ оказывали непосредственное влияние на развитие городской культуры Нового времени. Этот вывод интересен и применительно к теме «университетский город в Российской империи».

⁷³ Петров. 2002. Т. 1. С. 11.

⁷⁴ ЦГИАУК. Ф. 2040. Оп. 1. Д. 45. Л. 70 об.

⁷⁵ Маурер. С. 23.

⁷⁶ Крючкова. 2004. С. 124.

Таким образом, в рамках диалога культур происходила рецепция не только вещей, стилей, образов жизни, но и более широких цивилизационных констант. Конечно, эта рецепция была не такой простой. Все новшества должны найти место в реальном городском социокультурном «пространстве», то есть как-то «расположиться» среди уже существующих предметов и идей. В результате нередко рождался культурный синкретизм. Так, исследователи отмечают, что в России гораздо более чем в аналогичных торжествах в Европе, сохранялся сакральный элемент, характерный для традиционной культуры⁷⁷. Долгое время некоторые культурные формы просто сосуществовали (например, празднества на европейский лад и традиционные гулянья⁷⁸).

Безусловно, ассимиляционная способность столиц была на порядок выше, чем провинции, где низкая престижность интеллектуальных профессий и бедность основной массы населения, которые не могли расстаться со своим сельским прошлым, оставались характерным явлением и во второй половине XIX в. Но подобные явления наблюдались и в Москве. В этой связи есть смысл говорить не об «ассимиляции», которая предполагает отказ от «первичной» культуры в пользу актуальной культурной среды, а о «частичной ассимиляции» (адаптации), которая предполагает нелинейность процесса восприятия, непредсказуемость его результатов (данное понятие фиксирует промежуточное состояние между позицией «чужого» и «своего»)⁷⁹. Однако, важно то, что установка самого университета была на принципиальную невраждебность «старой» и «новой» культур. К тому же, привнесённость идеи университета обосновывалось верховной властью заинтересованностью в «чужом»: его знаниях, профессиональных навыках, опыте. Все это создавало дополнительные возможности для диалога культур.

Вместе с тем, обратим внимание, что свою роль в ходе этого диалога (с точки зрения развития городской культуры) играло даже эпатажное поведение иностранных профессоров (хождение на ходулях по грязным улицам проф. Паки де Совиньи⁸⁰), не говоря уже о проявлениях «вольнодумства», которое чаще проявлялось в виде насмешек (из-за «боязни Сибири»⁸¹). Разве не с такого рода поведением связано расширение пространства свободы? Давая прецедент вольнодумства, немец-

⁷⁷ Об этом см.: Кулакова. 2006. С. 254.

⁷⁸ Хренов. 1998. С. 90–91.

⁷⁹ Сорока. 2010. С. 274.

⁸⁰ Ничпаевский. 2008. С. 69.

⁸¹ Боровиковский. 2008. С. 94.

кие профессора неосознанно давали толчок росту новых элементов в городской культуре России. В одной из обобщающих работ по истории русской культуры отмечается, что город становился важнейшим средством модернизации, европеизации общества, формирования и оживления общественного мнения, что «именно город обеспечил возможность духовной жизни интеллигенции через салон, университет, кружок, издание толстых журналов, то есть через структуры, которые стимулировали развитие *оппозиционных взглядов* (курсив мой. – С. П.)»⁸².

Диалог субкультур являет собой цепь интерпретаций и переинтерпретаций. И прежде всего, такая интерпретация происходит в необозримом поле межличностного общения. Общение немецких профессоров с местным обществом происходило по разным каналам, как традиционным, так и новым, возникшим благодаря университету. Среди традиционных форм коммуникации в дворянском (и не только) обществе, прежде всего, следует назвать «обеда, ужины и танцы... которые являлись наиболее распространенной формой времяпровождения элиты не только в Москве, но и в провинции»⁸³. И роль таких каналов не следует преуменьшать: исследователи отмечают, что социокультурные образцы обычно рождаются именно в повседневной практике, кристаллизуются и применяются на этом уровне⁸⁴. Здесь уместно вспомнить высказывание Кевина Линча: «Все воспринимается не само по себе, а в отношении к окружению, к связанным с ним цепочкам событий, к памяти о прежнем опыте»⁸⁵. Новое культурное влияние очевидно проявлялось именно на бытовом уровне и запечатлевалось в воспоминаниях. Иногда это был своего рода культурный шок (как с той, так и с другой стороны). Для примера приведем высказывание из воспоминаний Л. Ничпаевского о деятельности одного из университетских профессоров: «В 1828 году Брандгейс занялся устройством клиник в отдельном обширном казенном корпусе... надо сказать, он устроил их отлично... явились железные кровати, отличные матрацы, лакированная мебель, немецкое платье, чепчики для женщин. Впоследствии больные, деревенские мужики и бабы, переодетые в больничные немецкие костюмы, окруженные богатою обстановкою, фарфоровою и хрустальною посудою, *недоумевали*, что хотели с ними делать. Женская прислуга в клинике, состоявшая преимущественно из немок, плохо объяснявшихся

⁸² Очерки русской культуры XIX в. 1998. Т. 1. С. 8–9.

⁸³ Андреев. 2000. С. 232; Кулакова И. П. 2006. С. 287.

⁸⁴ Орлова. 1987. С. 79.

⁸⁵ Линч. 1982. С. 15.

по-русски, но смело обращавшихся с мужчинами, еще более приводила больных в *замешательство* (курсив мой. – С. П.)»⁸⁶. Для индивида в состоянии культурного шока, переживающего путаницу в ценностных ориентациях и самоидентификации, оказываются актуализированными две реальности. Во-первых, реальность «родной культуры», во-вторых, это реальность «чужой» или новой культуры в актуальных ситуациях взаимодействия. Обе эти реальности претендуют на статус верховенства повседневности, что и является основанием для их конкуренции⁸⁷.

Не меньшее значение в качестве контактной зоны имела и сфера досуга. В использовании досуга для повышения социального авторитета средние классы города проигрывали аристократии. Они имели слабо развитую досуговую традицию. Изначально их культура была ориентирована на труд и усердие, а не на отдых⁸⁸. Немецкие профессора принесли с собой в городскую среду любовь к музыке, театру, гуляньям по бульвару и т.д. Вообще, феномен концерта утвердился в культурной жизни города благодаря университету. Заметим, что в большинстве не-университетских городов России в досуге всех слоев населения народная музыка превалировала всю первую треть XIX в.⁸⁹ У университетских людей установились тесные связи с людьми искусства⁹⁰. Пример оказался «заразительным». Немецкие профессора не только задавали тон, но и показывали пример. Так, Роммель отмечая, что в Харькове был убогий театр, добавлял, что «мы сами мебелировали ложу»⁹¹. Первый бульвар (или «променада», как он тогда назывался⁹²) появился в Харькове возле университета. Профессорами он воспринимался как необходимость для университета⁹³. В частности, о такой «университетской аллее» в Геттингене упоминает Роммель⁹⁴. Новые досуговые практики не только развивали индивидуальное начало, но и формировали устойчивое представление о «городском» образе жизни.

Постепенно появляются и распространяются новые формы коммуникации: общение в салонах, на университетских актах, благодаря созданию пансионатов и т.д., со временем утверждается опосредованное

⁸⁶ Ничтаевский. 2008. С. 72.

⁸⁷ Сорока. 2010. С. 269.

⁸⁸ Крючкова. 2004. С. 156.

⁸⁹ Куприянов. 1995. С. 101.

⁹⁰ Вишленкова, Мальшиева, Сальникова. 2005б. С. 347.

⁹¹ Роммель. 2001. С. 129.

⁹² Багалеи, Миллер. 1993. Т. 2. С. 435.

⁹³ РГИА. Ф. 733. Оп. 50. Д. 345. Л. 3 об.

⁹⁴ Роммель. 2001. С. 38.

общение – через газеты и журналы, и университет способствовал развитию таких новых каналов диалога. В Москве университетская газета стала средством внесловного общения, с помощью которой университетская культура влияла на общество, формируя новую культуру быта⁹⁵. С момента создания университетов в этих городах возникло определенное интеллектуальное движение, издательская и литературная деятельность. В. С. Иконников в свое время обратил внимание на следующие данные по Харькову: «цифра печатных изданий» за 1805–1815 гг., вышедших из типографии Харьковского университета достигла 210 (в том числе 59 торжественных речей и 37 руководств), что составляло 12-ю часть всех изданий России, причем 90 сочинений принадлежали профессорам, а 16 студентам. Из 240 украинских писателей и «ревнителей просвещения», вошедших в местный словарь, половина получила образование в Харьковском университете⁹⁶. В большинстве российских городов до 1813 г. книги не издавались вовсе. К некоторым изданиям немецкие профессора имели непосредственное отношение. Так, проф. Пильгер в 1817 г. в Харькове начал издавать журнал «Украинский Домовод», где пытался привить новые представления о домашнем хозяйстве. Вообще провинциальная журналистика начнет свое развитие именно в университетских городах в 1820–1840-е годы⁹⁷. И хотя это все будет происходить вне стен университета, роль последнего становится очевидной, если применить методiku сетевых структур и проанализировать биографии активных участников этого литературного движения. В этом смысле даже такие формы как чтение книг (в т.ч. увлечение немецкими философами и писателями), которые на первый взгляд не имели прямого отношения к университету, в известном смысле стимулировались им. Потенциальный читатель превращается в реального, только если у него сложилась потребность в чтении и возможность реализации таковой. Университет порождал такого читателя и предоставлял данные возможности (становясь книгоиздательским центром, обеспечивая условия для специализированной книготорговли, открывая для широкого читателя свою библиотеку, формируя читательский интерес).

Преподавание и открытая популяризация порождали как явные, так и латентные процессы в умах и студентов, и горожан⁹⁸. Но университет оказывал не только прямое влияние на тех, кто присутствовал в аудито-

⁹⁵ Кулакова. 2006. С. 123.

⁹⁶ Иконников. 1876. С. 542.

⁹⁷ Очерки русской культуры XIX в. 1998. Т. 1. С. 144.

⁹⁸ Кулакова. 2006. С. 100.

риях и залах университета. Как пишет И. П. Кулакова, «Лечение и лицедейство, переводы и сочинительство, покупка и издание книг, собирание коллекций и гербариев – все эти практики, которые создавались и исповедовались университетскими людьми, не могли оставаться незамеченными теми, кто существовал рядом и вокруг, кто не совсем или вовсе не понимал их смысла, теснясь во дворе, у черного хода, у книжного развала, у театральной рампы»⁹⁹. То есть работа университета как новой культурной силы проявлялась на уровне слабых культурных влияний в том числе и на неграмотное и малограмотное городское окружение, эти влияния называют «влияниями молекулярного процесса».

Исследователи сегодня говорят о многоканальной коммуникации¹⁰⁰ университета и города, отмечая при этом противоречие, характерное для университетской культуры: сочетание многоканальной живой связи университета и города с выделенностью корпорации из городской среды¹⁰¹, а также фиксируют трудности этой коммуникации.

Еще И. М. Гревс и Анциферов поставили вопрос о роли города как центра генерации культурных ценностей и синтеза новаций и традиций. Сегодня звучит вывод о том, что «городу в становлении и развитии культурной среды принадлежит наиболее важная роль»; что он был и остается центром сосредоточения креативной, созидающей культуры¹⁰². Соответственно, когда речь заходит об «университетском городе», нужно иметь в виду, что университетский преподаватель был «самым городским жителем», не только в смысле его оторванности от села и полной зависимости от урбанистических процессов (Е. А. Вишленкова¹⁰³), но и в том смысле, что он был носителем и транслятором (пусть и не каждый) именно такой креативной, созидающей культуры. Для России это было тем более важно, что она переживала процесс ускоренной модернизации. В этих условиях университетские города Российской империи утратили характерные для европейских (прежде всего немецких) университетских городов черты внутренней замкнутости, определенное корпоративное единство местного университета и местного общества. Однако тем сильнее оказалась выраженной их инновационная роль.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что становление «университетского города» в России началось с момента возникновения

⁹⁹ Там же. С. 213.

¹⁰⁰ Вишленкова. 2009. С. 88.

¹⁰¹ Уваров. 1998. С. 152.

¹⁰² Очерки русской культуры XIX в. 1998. Т. 1. С. 13 и др.

¹⁰³ Вишленкова, Малышева, Сальникова. 2005а. С. 863.

университетов, однако потребовалось немало времени для того, чтобы университет стал «своим» в городе. Этот процесс не был наглядным и быстрым, а союз университета и города на новом историческом этапе отличался своей спецификой. В частности, влияние университета на город часто происходило опосредованно, но при этом получило более выраженный инновационный характер. Союз города и университета стал весьма плодотворным. Благодаря университету происходило расширение пространства диалога субкультур и круга субъектов такого диалога, университет способствовал развитию многоканальной коммуникации. При этом «университетские города» становились не только фактором развития «своих» регионов, но и оказывали влияние на развитие страны в целом, поскольку предлагали весьма динамичные культурные образцы. Свой вклад в этот процесс внесли немецкие профессора, которые были носителями не только собственно университетской культуры, но и городской культуры модернизированного типа.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Андреев А. Ю.* Московский университет в общественной и культурной жизни России начала XIX в. М.: Языки русской культуры, 2000. 312 с.
- Андреев А. Ю.* Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы. М.: Знак, 2009. 640 с.
- Багалей Д. И., Миллер Д. П.* История города Харькова за 250 лет его существования (1655–1905): В 2 т. Т. 2. Репринт. изд. Харьков, 1993. – 982 с.
- Боровиковский И. И.* Воспоминания о Полтавской гимназии и Харьковском университете за полстолетия назад // Харківський університет XIX – початку XX ст. у спогадах його викладачів і вихованців: У 2 тт. Т. 1. Харків: Вид-во «Сага», 2008. С. 90–98.
- Бродель Ф.* Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 1. Структуры повседневности: возможное и невозможное / Пер. с фр. Л. Е. Куббеля. М.: Изд-во «Весь Мир», 2007. 592 с.
- Булич Н. Н.* Из первых лет Казанского ун-та (1805–1819): Рассказы по архивным документам. Изд. 2. СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1904а. Ч. 1. 554 с.
- Булич Н. Н.* Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX века. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1904б. Т. 2. 332 с.
- Бурмистрова Л. П.* Публичные лекции профессоров и преподавателей Казанского университета XIX в. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2002. 160 с.
- Вишленкова Е. А., Малышева С. Ю., Сальникова А. А.* Культура повседневности провинциального города: Казань и казанцы в XIX–XX веках. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2008. 452 с.
- Вишленкова Е. А.* Казанский университет Александровской эпохи: Альбом из нескольких портретов. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2003. 240 с.

- Вишленкова Е. А., Мальшева С. Ю., Сальникова А. А.* Казанское жительство (XIX–XX века). Казань: Глобус, 2005а. С. 785–1183.
- Вишленкова Е. А.* «Между Западом и Востоком»: культурно-пространственные ориентации российского ун-та // «Быть русским по духу и европейцем по образованию»: Университеты Российской империи в образовательном пространстве Центральной и Восточной Европы 18 – начала 20 в. М.: РОССПЭН, 2009. С. 83–99.
- Вишленкова Е. А., Мальшева С. Ю., Сальникова А. А.* Terra Universitatis: Два века университетской культуры в Казани. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2005б. 500 с.
- Гилязов И.* Город Казань и Казанский университет в начале XX века // Университет и город в России (начало XX века). М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 460–583.
- Ерофіїв І. Ф.* Харківські спогади В. Г. Масловича // Записки історико-філологічного відділу / УАН. 1927. Кн. 13–14. С. 70–75.
- Загоскин Н. П.* Очерки города Казани и казанской жизни в 40-х годах. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2003. 164 с.
- Иконников В. С.* Русские университеты в связи с ходом общественного образования // Вестник Европы. 1876. Вып. 2. (№ 10). С. 492–547.
- Каганов Г. З.* Городская среда: преемство и наследование // Человек. 2000. №4. – С. 49–62.
- Камышанченко Н. В., Бердник А. Н.* Университетский город в России и его традиции (середина XVIII – начало XX века) // Университетский город в России и его традиции. Белгород: Изд-во БелГУ, 2001. С. 18–40.
- Ключевский В. О.* набросок речи, посвященной 150-летию Московского университета // Московский университет в воспоминаниях современников. М.: Современник, 1989. С. 599–600.
- Кондаков И. В.* Феноменология города в русской культуре // Урбанизация в формировании социокультурного пространства. М.: Наука, 1993. С. 188–203.
- Костина Т. В.* Сословная идентичность профессоров Казанского университета в первой половине XIX в. // «Быть русским по духу и европейцем по образованию»: Университеты Российской империи в образовательном пространстве Центральной и Восточной Европы XVIII – начала XX в. М.: РОССПЭН, 2009. С. 128–138.
- Крючкова Н. Д.* Образ жизни британской элиты в третьей четверти XIX века. Дис. ... канд. ист. наук. Ставрополь, 2004. 247 с.
- Кулакова И. П.* Университетское пространство и его обитатели. Московский университет в историко-культурной среде XVIII в. М.: Новый хронограф, 2006. 336 с.
- Куприянов А. И.* Русский город в первой половине XIX века: общественный быт и культура горожан Западной Сибири. М.: «АИРО-XX», 1995. 160 с.
- Линч К.* Образ города / Пер. с англ. В. Л. Глазычева. М.: Стройиздат, 1982. 328 с.
- Лотман Ю. М.* Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Семиотика города и городской культуры. Тарту, 1984. С. 30–45.

- Лукаш И.* Университет двух императриц // Московский журнал. 1992. № 9. С. 40–47.
- Маурер Т.* Университет и (его) город: новая перспектива для исследования истории российских университетов // Университет и город в России (начало XX века) / Под ред. Т. Маурер и А. Дмитриева. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 5–104.
- Миллюков П. Н.* Очерки истории русской культуры: В 3 т. Т. 2. Ч. 2. М.: Издательская группа «Прогресс-Культура», 1994. 496 с.
- Миронов Б. Н.* Русский город в 1740–1860-е годы: демографическое, социальное и экономическое развитие. Л.: Наука, 1990. 272 с.
- Михайлова С. М.* Казанский университет: между Востоком и Западом / Михайлова С. М., Коршунова О. Н. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2006. 208 с.
- Нагуевский Д.* Профессор Франц Ксаверий Броннер, его дневник и переписка (1758–1850). Казань: тип.-лит. Ун-та, 1902. [2], CCLXXXVIII, [2], 501 с.
- Ничпаевский Л.* Воспоминания о Харьковском университете, 1823–1829 годы // Харківський університет XIX – початку XX ст. у спогадах його викладачів і вихованців: У 2 тт. Т. 1. Харків: Вид-во «Сага», 2008. С. 57–89.
- Орлова Э. А.* Современная городская культура и человек. М.: Наука, 1987. 193 с.
- Очерки русской культуры XIX в.* Т. 1. Общественно-культурная среда. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. 384 с.
- Петров Ф. А.* Формирование системы университетского образования в России. Т. 1. Российские университеты и Устав 1804 года. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002. 416 с.
- Петров Ф. А.* Формирование системы университетского образования в России. Т. 2. Становление системы университетского образования в России в первые десятилетия XIX века. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002. 816 с.
- Посохов С. И.* Образы університетів Російської імперії другої половини XIX – початку XX ст. в публіцистиці та історіографії. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. 368 с.
- Роммель К.-Д.* Спогади про моє життя та мій час / Пер. з нім. В. Л. Маслійчука, Н. А. Оніщенко. Харків: Майдан, 2001. 236 с.
- Российский государственный исторический архив. Ф. 733. Оп. 50. Д. 345. Об отобрании Харьковским гражданским начальством бульвара тамошнего ун-та. 1845 г. 18 л.
- Сайко Э. В.* О природе и пространстве «действия» диалога // Социокультурное пространство диалога. М., 1999. С. 9–32.
- Сорока Ю. Г.* Видеть, мыслить, различать: социокультурная теория восприятия. Харьков: Изд-во ХНУ им. В. Н. Каразина, 2010. 334 с.
- Струков Б. Г.* Имущественный и социальный статус немецкого студенчества в к. XIV – п.п. XV вв. // Из истории ун-тов Европы XIII–XV вв. Воронеж, 1984. С. 46–59.
- Турнерелли Э.* Казань и ее жители. Казань: Глобус, 2005. С. 161–284.

- Уваров П. Ю.* [Рецензия] // Вопросы философии. 1998. № 11. С. 151–155. – Рец. на кн.: Университет для России: взгляд на историю культуры XVIII столетия. М., 1997. 352 с.
- Университет для России: Взгляд на историю культуры XVIII столетия / Под. ред. В. В. Пономаревой и Л. Б. Хорошиловой. М.: Русское слово, 1997. 352 с.
- Университет для России. Т. 2. Московский университет в александровскую эпоху / Под. ред. В. В. Пономаревой и Л. Б. Хорошиловой. М., 2001. 368 с.
- Хренов Н. А.* Мифология досуга. М.: Гос. республ. центр русского фольклора, 1998. 448 с.
- Хренов Н. А.* Субкультуры посада как субъекты урбанизационных процессов в России на рубеже XVII–XVIII вв. // Урбанизация в формировании социокультурного пространства. М.: Наука, 1993. С. 164–188.
- Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве. 2040. Оп. 1. Д. 99. Письмо неизвестного к старинному приятелю. Л. 74–144.
- Цыганков Д.* Московский ун-т в городском пространстве XX века // Университет и город в России (начало XX века). М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 371–459.
- Чорний Д. М.* По лівий берег Дніпра: Проблеми модернізації міст України (кінець XIX – початок XX ст.). Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. 304 с.
- Шад И.* О возвращении Европе свободы // Речи, произнесенные в торжественном собрании императорского Харьковского университета 25 дек. 1814 г. Харьков: Тип. Ун-та, 1814. С. 1–28.
- Ярская-Смирнова Е. Р.* Социальная антропология / Ярская-Смирнова Е. Р., Романов П. В.: Учеб. пос. Р/Д.: Феникс, 2004. 416 с.
- Посохов Сергей Иванович***, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой историографии, источниковедения и археологии, декан исторического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина; sposokhov@mail.ru.

Т. В. КОСТИНА

РИТОРИКА ПРОФЕССОРОВ РУССКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ В АРГУМЕНТАЦИИ УВОЛЬНЕНИЯ СОЧЛЕНОВ КОРПОРАЦИИ (ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XIX ВЕКА)

В статье рассматривается эволюция риторики, употреблявшейся в первой трети XIX в. профессорами российских университетов при аргументации необходимости увольнения коллег. Выявлены факторы, повлиявшие на формирование риторики: от объективных (возраст корпораций, государственная идеология) до субъективных (позиции министров и попечителей учебных округов).

Ключевые слова: профессора университетов, риторика, увольнение.

В 1802–1805 гг. в России была проведена университетская реформа. Вместо одного – Московского, – в Российской Империи стало пять университетов (в Вильно, Дерпте, Казани, Москве и Харькове), получивших устав с широкими правами самоуправления профессорской корпорации. В Петербурге был открыт Педагогический институт, позже преобразованный в университет¹. Настоящая статья посвящена профессорским корпорациям университетов, в которых делопроизводство ве-

¹ Хотя Педагогический институт во многих отношениях представлял собой аналог университета, он не обладал особенностями корпоративной жизни, характерными для других русских университетов. В фондах Педагогического института (ЦГИА СПб. Ф. 13) и попечителя Петербургского учебного округа (Там же. Ф. 139) за период существования Педагогического института, Главного педагогического института и первое десятилетие существования университета нет дел, свидетельствующих о серьезных конфликтах профессоров или напряженной борьбе за кафедры, о влиянии на исход борьбы мнения коллег. Попечитель университета единолично решал кадровые вопросы при возникновении малейшей напряженности, чтобы исключить появление в столице негативных слухов о ситуации в учебном заведении. Некоторое оживление жизни совета наблюдалось во второй половине 1820-х гг., вероятно в связи с распространением в 1824 г. на Петербургский университет действия Устава 1804 г. В «Первоначальном образовании С. Петербургского Университета» 1819 г. права Конференции в отношении избрания на должности и удаления от них не были четко прописаны; было лишь оговорено, что в выборе профессоров, адъюнктов и учителей университет руководствуется примером других университетов Империи. Возможно также, основной причиной специфического развития петербургской корпорации профессоров было наличие в столице большого числа учебных заведений, служба в которых была равно, и даже более престижной, чем служба в Педагогическом институте.

лось на русском языке, включая представления об увольнении профессоров. Хотя часть профессоров этих университетов выражали свое мнение на немецком, латинском и других языках, в публичном обсуждении и частных разговорах (не без влияния министерства народного просвещения, попечителей и русских профессоров) в этих университетах вырабатывались определенные риторические формулы. Наиболее устойчивые из них и стали предметом данного исследования.

Известно, что сами профессорские корпорации в силу своей незрелости почти не принимали участия в приглашении новых сочленов, хотя § 60 Университетского устава 1804 г. гласил: «Когда место Профессора делается праздно, то каждый Профессор того Отделения, к которому он принадлежал, <...> представляет Ректору имя Кандидата, коего почитает достойным занять оное <...>»², это положение Устава начало работать далеко не сразу. Исследователи сходятся во мнении, что задача формирования корпораций была возложена Министерством народного просвещения на попечителей учебных округов³.

В Московском университете приглашением новых профессоров, в основном из Германии, активно занимался попечитель М. Н. Муравьев. Необходимо, однако, учитывать, что в начале XIX в., несмотря на значительное число профессоров, назначенных в связи с введением в действие Устава 1804 г. (И. Ф. Буле, Г. Ф. Гофман, Г. М. Грелльман, И. А. Иде, Ф. Ф. Рейс), корпорация Московского университета прошла этап формирования основ корпоративной этики еще в 1756–1760-е гг.⁴ К началу XIX в. в ней были выработаны критерии отбора новых профессоров, действовали принципы самоуправления, и к ее мнению в вопросах назначения на должности прислушивалось правительство⁵.

Неудивительно, что больше материалов для исследования предоставили молодые университеты Казани и Харькова. В Казанском университете профессоров набирал почти единолично попечитель С. Я.

² Сборник постановлений. 1864. Стлб. 276–277.

³ *Рождественский*. 1902. С. 60; *Петров*. 2002. С. 259; *Андреев*. 2009. С. 408.

⁴ Документы. 1960. С. 130, 230, 333 и др.

⁵ В 1811 г. попечитель Московского учебного округа П. И. Голенищев-Кутузов предложил аннулировать результаты выборов в деканы факультетов. Разумовский не пошел против мнения Совета, подсказав попечителю более гибкий способ добиться со временем желаемых им назначений: «Как Университетский Совет, так и избранные им Профессоры могли бы поставить сие в обиду; а как Деканы избраны только на один год, то Вы, Милостивый Государь мой, можете при следующем выборе предложить свои замечания Университетскому Совету» (РГИА. Ф. 733. Оп. 28. Д. 71. Л. 20–20 об.).

Румовский, и профессора, даже пользующиеся доверием попечителя, могли только, используя риторику, описывать свои предпочтения в письмах к нему⁶. В Харьковском университете ряд приглашений на кафедры организовал попечитель С. О. Потоцкий, но он в большей степени, чем Румовский, признавал за корпорацией право выбора сочленов. Уже в 1806 г. Потоцкий, представляя на должность профессора Ф. Г. Пильгера, писал: «Совет Харьковского Университета <...> избрал на основании Устава для кафедры скотолечения Пильгера Профессора Гиссенского Университета»⁷. Тем не менее, нельзя преувеличивать возможности харьковского Совета. Когда выборы 1811 г. показали министру народного просвещения А. К. Разумовскому (1810–1816), что самостоятельность в кадровом вопросе приводит к результатам, совершенно неприемлемым для министерства, итоги выборов, проведенных в лучших традициях немецких университетов, были немедленно аннулированы⁸.

Таким образом, члены профессорской корпорации преимущественно должны были работать в ситуации, когда они, не зная ни научных заслуг, ни личных качеств прибывавших к ним периодически сочленов, должны были радушно принимать новых коллег, назначаемых попечителями и утвержденных министерством. При этом все профессора являлись членами университетского совета и должны были считаться с мнением друг друга. Они тесно взаимодействовали в повседневной жизни, что было особенно актуально для провинциальных городов, таких как Казань и Харьков, где сообщество профессоров составляло основу узкой интеллектуальной прослойки горожан.

Такие «искусственно» созданные корпорации с точки зрения социологии можно сравнить с малыми формальными группами, в которых

⁶ См.: *Костина*. 2010. С. 81–101. 23 октября 1806 г. И. Ф. Яковкин писал Румовскому: «Слышал я стороною, что из свиты Г. посла в Китай графа Головнина, ожидаемого вскоре обратно в Казань, проехал в Петербург иностранец Гельм или Гельмон с рекомендательными письмами. Он уверял здесь разных людей, что в скором времени возвратится в Казань профессором химии. А между тем бывши у здешнего Аптекаря Засса и расхваставшись своими знаниями не был в состоянии отвечать на многое и аптекарю ниже провизору его <...> Да сохранил Господь воспитываемое здесь множество от таких наставников» (НАРТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 155. Л. 2).

⁷ РГИА. Ф. 733. Оп. 49. Д. 60. Л. 1.

⁸ В результате проведения свободных выборов на кафедры были избраны одни иностранцы, а единственный русский профессор И. П. Каменский, предложенный профессором П. М. Шумлянским, забаллотирован. Эти результаты были аннулированы активным вмешательством министра А. К. Разумовского, который утвердил Каменского и дал указание «впредь Профессоров из чужих краев не приглашать до разрешения моего» (РГИА. Ф. 733. Оп. 49. Д. 128. Л. 5).

должны были выработаться свои принципы общежития и нормы корпоративного сосуществования. Причем эти группы объединяли людей с разным индивидуальным опытом существования в подобных корпорациях; представителей разных сословий; наконец, разных национальностей, т.е. людей, в повседневном общении неизбежно сталкивающихся с проблемами кросскультурной коммуникации.

Не нужно забывать и о том, что профессорский коллектив представлял собой мужское сообщество со сложными статусными отношениями. Исследователь особенностей гендерного поведения А. А. Хвостов пишет: «В «мужских» организациях конфликт носит характер открытого и жесткого противостояния, которое, как правило, доводится до логического конца, тогда как в «женских» организациях он чаще носит скрытый, латентный характер, и его урегулирование осуществляется не силовыми методами»⁹. Действительно, желание довести конфликт до логического конца – устранения причины конфликта или удаления его участника, – эта черта мужского коллектива постоянно проявляется в университетской культуре рассматриваемого периода.

Помимо этого конфликтного фона, свойственного периоду становления корпораций, во всех провинциальных университетах шла борьба за кафедры и должности, которая в рассматриваемый период также была причиной столкновений профессоров в Казанском, Харьковском и, в меньшей степени, в Московском университете¹⁰. Такие конфликты зачастую изначально ориентированы на удаление коллеги из корпорации.

Все вместе это, действительно, способствовало высокому уровню конфликтности в молодых университетах; порождало ситуацию, вынудившую даже сдержанного профессора Казанского университета, бывшего монаха-бенедиктинца К. Ф. Броннера в отчаянии писать в 1810 г. в письме попечителю: «Опасно ходить в заседания Совета и Комитета, где интриги, раздоры и обиды – ужасны»¹¹.

Корпоративное самоуправление по уставу 1804 г. подразумевало возможность увольнения одного из профессоров. § 69 гласил: «Совет имеет обязанность удалять от должности всех <...> кои окажутся в должности нерадивы, неповиновением начальству нарушают порядок, или приличатся в каких-либо непростительных проступках; но к сему должен он приступать не иначе, как по предварительном Университетского Правления исследовании и по приговоре, который был бы утвер-

⁹ Хвостов. 2004. С. 30.

¹⁰ Об этом явлении в европейских университетах см.: Klinge. 2004. P. 125.

¹¹ Загоскин. Т. 2. 1902. С. 474.

жден двумя третями голосов»¹². Прибегать к этой статье на практике стали только в конце 1810-х гг., причем рассмотрение дела в правлении приравнивалось к судебному разбирательству, и статья использовалась в исключительных случаях. Определенное корпорацией увольнение могло быть утверждено только министром народного просвещения. При этом представление об увольнении того или иного профессора составлял попечитель учебного округа, который, в зависимости от ситуации, мог быть как инициатором увольнения, так и медиатором процесса.

Все это вынуждало профессоров вырабатывать способы воздействия на попечителя и министра народного просвещения; приводило к употреблению специфической риторики обоснования необходимости уволить того или иного профессора, в конечном счете направленной на министра народного просвещения. Далекое не всегда желание членов корпорации избавиться от того или иного сочлена удовлетворялось министерством. В условиях нехватки кадров и реализации собственной кадровой политики, министр обращал внимание на мнение профессоров в редких случаях, когда по той или иной причине конфликт выходил за пределы корпорации и отрицательно отражался как на работоспособности, так и на имидже университета. Тем больший интерес представляет аргументация, использовавшаяся профессорами с целью увольнения сочлена корпорации. Она «срабатывала» только в тех случаях, когда отвечала интересам самого министра народного просвещения. В этом смысле она является не только плодом коллективного или индивидуального творчества профессоров, но и лакмусовой бумажкой политики министерства народного просвещения в кадровом вопросе.

Анализ изменений, происходивших в риторике профессоров, направленной на увольнение коллег построен на материалах, сохранившихся в архивах университетов: Казанского (Национальный архив Республики Татарстан), и Петербургского (Центральный исторический архив г. Санкт-Петербурга), а также на материалах дел об увольнениях профессоров, сохранившихся в Российском государственном историческом архиве¹³. Отмечу, что большинство из дел об увольнении имеет ограниченные возможности для раскрытия поставленной нами цели. В них сохранились представления попечителей об увольнении того или иного профессора и реакция министра на него. Далекое не во всех изу-

¹² Документы. 1960. Стлб. 278.

¹³ Из общего числа дел об увольнении профессоров были выявлены и обследованы те дела, в которых существовала какая-либо дополнительная переписка, за исключением минимально необходимой для решения вопроса об увольнении.

ченных нами случаях в представлении попечителя содержится отрывок из представления совета, то есть документа, оформившего коллективное мнение корпорации. Во многих случаях вынужденное увольнение оформлено как увольнение по собственному желанию, что оставляет «за кадром» министерского дела обоснование увольнения¹⁴. Поэтому особое значение приобретают обширные комплексы источников, сформировавшихся вокруг нескольких увольнений, породивших большую переписку и следственные дела, в которых встречаются персональные мнения членов корпорации об увольняемом сочлене. Эти «громкие увольнения» вызывали интерес современников и исследователей, поэтому в личных фондах различных деятелей, сохранившихся в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН, Рукописном отделе Российской национальной библиотеки, Архиве Санкт-Петербургского Института истории РАН и Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского удалось найти еще ряд документов, дополнивших комплекс сохранившихся в РГИА материалов о них.

В первые годы существования университетов профессора, поясняя неприятие коллеги, ссылались на самые различные обстоятельства. Например, в 1806 г. профессора Харьковского университета добились отсрочки представления на звание ординарного профессора И. А. Шнауберта, приглашенного попечителем Потоцким, «находя его слишком молодым для помянутого места»¹⁵. И только через год попечитель, «удостоверясь <...> в его способностях и похвальном поведении, которым сыскал он благорасположение своих сотоварищей»¹⁶, смог сделать представление о назначении его профессором. Опытным путем происходил поиск действующей риторики.

В том же 1806 г. адъюнкт Харьковского университета И. Ф. Гамперле попытался приостановить назначение профессором А. А. Дегурова, выразив сомнение в его политической благонадежности. В письме от

¹⁴ См., напр., РГИА. Ф. 733. Оп. 40. Д. 113. Оп. 28. Д. 105.

¹⁵ РГИА. Ф. 733. Оп. 49. Д. 60. Л. 2 об. Причины отторжения неизвестны, но приведенный довод не согласуется с дальнейшей судьбой Шнауберта. Положение приглашенного в корпорацию без рекомендаций ее членов, было неустойчиво. Со временем оно настолько ухудшилось, что профессор подал рапорт об увольнении, мотивируя его болезнью жены и даже не смог получить поддержку коллег в том, чтобы добиться себе при увольнении годичного жалованья. Денежное пособие ему не было положено по законодательству, но при аналогичных обстоятельствах оно неоднократно давалось профессорам и на меньших основаниях, если просьба подерживалась мнением всей корпорации (РГИА. Ф. 733. Оп. 49. Д. 60. Лл. 7–7 об.).

¹⁶ Там же. Л. 3.

ноября 1806 года Гамперле доносил Потоцкому, «что он [Дегуров. – Т. К.] агент французский, что был таковым 11-ть лет тому назад; называл его одним из наикровожаднейших и искусных революционеров; показывал сообщество его в Гамбурге с беглыми ирландцами, которые снабжали оружием своих соотечичей, доставая оное от французов для возмущения сего острова противу Англии <...> и, наконец, большие издержки, не соответствующие его состоянию»¹⁷. Этот донос вызвал уголовное разбирательство, по итогам которого министр народного просвещения граф П. В. Завадовский писал: «Рассмотрев препровожденное ко мне Комитетом следственное дело, произведенное по доносу Харьковского Университета Адъюнкта Камперле и других на француза Дюгура, при сем мною возвращаемое, я нахожу, что Адъюнкты Камперле и Фехтмейстер Сивокт, как *люди беспокойные*¹⁸ и главные донощики, не доказавшие своих показаний на Дюгура, не могут быть терпимы в сословии Университета, где благонравие наставников должно быть примером для учащихся»¹⁹. Таким образом, Гамперле не только не достиг желаемой цели, но и понес наказание за свой донос в виде увольнения.

Появление в обосновании Завадовского необходимости отставки Гамперле и Сивокта словосочетания «беспокойные люди» отнюдь не случайно. Оно часто повторяется в текстах профессоров и попечителей, и, по-видимому, имело особое значение для Завадовского и, сменившего его на посту министра Разумовского, как своеобразная «метка» в тексте, свидетельствующая о необходимости отправить в отставку означенных чиновников. Это показывают следующие примеры.

Поводом к осуждению профессора Харьковского университета Ф. В. Пильгера стало неудачное лечение нескольких пациентов, но необходимость отправить его в отставку сформулирована в объяснении правления университета министру. Оно желало «освободить Университет от сего ничем не занимающегося при Университете, но только *обезпокаивающего* его человека»²⁰. Разобравшись в ситуации, Разумовский разрешил противоречия путем кадровой перестановки²¹. Яркий пример действия риторики профессоров на Разумовского – дело ректора Харь-

¹⁷ Там же. Д. 59 б, л. 11.

¹⁸ Здесь и далее курсивом выделено мной. – Т. К.

¹⁹ РГИА. Ф. 733. Оп. 49. Д. 59 б, л. 16.

²⁰ Там же. Д. 81. Лл. 106 об., 105.

²¹ Профессор Санкт-Петербургской Медико-хирургической академии И. Д. Книгин был перемещен на кафедру в Харьков, а профессор Харьковского университета Пильгер, напротив, в медико-хирургическую академию (РГИА. Ф. 733. Оп. 49. Д. 128).

ковского университета А. И. Стойковича. Многим членам совета было известно, что Стойкович занимается торговлей. Как выяснилось в ходе разбирательства, он не только беспощинно, пользуясь правами профессора, ввез в Россию значительные партии товаров (не все из них были разрешены к ввозу в Россию), но и, пользуясь личными связями, организовал их розничную продажу через учителей учебного округа. Все это, однако, совершенно игнорировалось министром Разумовским, даже когда адъюнкты Е. А. Васильев подал в совет жалобу на Стойковича с подробным описанием торговой деятельности последнего, и правление университета представило его Разумовскому.

Известно несколько писем, которые, по-видимому, и решили дело в пользу увольнения. Первым по времени возникновения (3 мая 1813 г.) стало письмо, в котором профессор И. Е. Шад писал Разумовскому: «Заседания Совета становятся все *беспокойнее*. <...> Происходят заседания столь *буйные*, что едва можно слышать собственные слова свои, а чтоб быть выслушану и выразумлену от других, то надобно кричать против всякой *благопристойности*. Два ректорства сего человека, из коих одно в 1807, а другое 1811, ознаменованы *зловредными спорами*, насильствиями и преступлениями. Кроме сих несчастных лет, в заседаниях Совета царствовали *порядок, достоинство* и общее стремление ко благу и чести Университета, а между Профессорами *мир и доброе согласие*»²². Пытаясь оказать более сильное воздействие на Разумовского, Шад указывает на то, что волнения в совете могут приобрести политическую окраску, так описывая одну из разыгравшихся сцен: «Заседание сие было столь *шумно*, что может быть подобное сего могло случиться только в бывшем до сего народном собрании в Париже. <...> При сем *шумном споре партий*, сказал один из членов Совета: “Истинно это народное собрание”. Слова сии подали мне случай к сему сказать: “Действительно так, во время президентства Робеспьера было такое народное собрание”. – Но я сим не иное что хотел сказать, как только то, что когда сей человек был Президентом народного в Париже собрания, то все происходило чрез *интриги, партии и волнение страстей*, и что подобное сему есть и теперь при управлении Ректорством Профессора Стойковича»²³. Этого оказалось недостаточно. Шад был известен министру беспокойным характером и обвинительными речами, на которые жаловались другие профессора. Задуматься, однако, заставило письмо профессора И. Д. Книгина, который 1 июня писал, что Харьковскому

²² РГИА. Ф. 733. Оп. 49. Д. 192. Лл. 22–23.

²³ Там же. Лл. 23–23 об.

университету необходимо «избавление от человека, заглушившего свою совесть и поклявшегося быть вечным врагом *тишины*, чести, справедливости и всякого добра, кроме собственного интереса»²⁴.

Наконец, 23 июня 1813 г. Разумовскому было отправлено коллективное обращение профессоров, в котором, описав суть дела, министра склоняли к решению об отставке ректора: «С того времени Ректором и его приверженцами подаваемы были самые вздорные Советы, мнения и поправки, *расстраивавшие совершенно порядок и спокойствие*, грозившие *переворотом* самому Университету <...> *мир и согласие* в университете никаким образом не могут быть восстановлены покуда сей Ректор останется здесь»²⁵. После этого Разумовский организовал увольнение Стойковича из университета, формально состоявшееся по собственному желанию и мотивированное проблемой со здоровьем.

Разумовскому была чрезвычайно близка риторика об «интригах» и «мире и согласии», хотя сам он предпочитал использовать оппозицию «распри» и «единодушие». Характерно письмо, которое он прислал в 1814 г. в совет Харьковского университета: «Усматриваю я, что между членами Совета водворились по-прежнему *распри*; что Совет продолжает заниматься *пустыми прениями* о предметах, весьма маловажных, и что не существует в нем *единодушия*, от которого зависит цветущее состояние <...> Университета. <...> Обязан я присовокупить, что если за всеми убеждениями моими, продолжаться будут впредь *распри* в Университете; то зачинщика оных не премину я обратить к порядку, и неприятностям, какие с таковым встретятся, сам он причиною будет»²⁶. Таким образом, дискурс, выстроенный на оппозиции «тишины» и «беспокойства», возник не из конкретной ситуации в совете университета, а как реакция на установки министров Завадовского и Разумовского.

Это становится явным при рассмотрении текстов профессоров Казанского университета. В нем конфликт развивался между директором университета и гимназии, профессором И. Ф. Яковкиным, злоупотреблявшим безграничным доверием попечителя, и членами совета²⁷. Уже в

²⁴ Там же. Паг. 2. Л. 5 об.

²⁵ Там же. Лл. 12, 13. Обращение к министру было «с покорнейшею просьбою, об освобождении нас от него» подписано П. Шумлянским, Т. Осиповским, И. Ша-дом, Х. Роммелем, И. Каменским, И. Книгиным и И. Срезневским. К. Нельдехен подписал его так: «Желает только, чтобы водворено было *согласие* в Университете, и чтобы *спокойно* мог он отправлять свою должность».

²⁶ РГИА. Ф. 733. Оп. 49. Д. 218. Лл. 1, 15–16.

²⁷ С 1804 по 1814 гг. университет в Казани был соединен с гимназией, получая постепенно все большее значение. Попечитель Румовский в своих письмах к совету

1805 г. против Яковкина в совете выступили старейший по времени назначения профессор П.-Д.-Ф. Цеплин и старший учитель немецкого языка о. Гавриил Данков, бывший духовник великой княгини Елены Павловны, включенный попечителем в состав совета. Они настаивали на упорядочении ведения дел в совете, введении в действие университетского устава, что подразумевало увеличение полномочий совета. Интересно, что в письме от 24 апреля 1805 г. Румовский, справедливо увидевший в их предложениях проявление недоверия директору, советовал им «и впредь подавать собою пример и советы, служащие к сохранению тишины, согласия и пользы гимназии»²⁸. Несколько позже он писал М. Г. Герману в ответ на составленное профессорами Германом и Цеплиным «Положение о совете»: «Я заключаю, что между членами совета находятся несколько *беспокойных* умов, помышляющих больше о возбуждении споров и ссор, чем об исполнении своих обязанностей и, если это продолжится, то моя обязанность будет <...> принять соответствующие меры, чтобы избавиться от этих людей»²⁹.

Проговоренная попечителем идея тишины и согласия в совете представляла собой важную для Румовского цель, чего не могли не заметить профессора³⁰. Не только Яковкин в своих письмах стал использовать предложенный попечителем конструкт, но и о. Данков, испугавшись недовольства попечителя, написал донос на коллег-профессоров, где описывал их «надменные о правах совета высокоглаголения» и, что особенно интересно для нас, «*непристойные крики и шум*»³¹.

В следующем году в борьбу против Яковкина вступил профессор Каменский. Он писал попечителю 10 июля 1806 г.: «Совет, смотря с сожалением на все сии *беспорядки*, почитал, однакож, за лучшее уступать обстоятельствам времени, что бы без пользы *не делать шуму* <...> Неудовольствия членов возрастают, грубости чувствуются всеми, тоны какого-то неограниченного ректорства становятся оскорбительными.

намеренно именуется его советом гимназии, что позволяло ему игнорировать статьи 1804 г. о самоуправлении профессорской корпорации.

²⁸ Загоскин. Т. 1. 1902. С. 99.

²⁹ Там же. С. 155.

³⁰ Этот идеал попечитель проговаривал и при назначении профессоров. Отправляя в 1805 г. М. Г. Германа в Казанский университет, утомленный конфликтными ситуациями в совете университета, он так охарактеризовал нового профессора: «Он человек пожилой и сколько я мог приметить *тихой*» (НАРТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 104. Л. 13). И в представлении министру Разумовскому Румовский отметил, что Герман «человек пожилой, женатой, *тихого нрава*» (РГИА. Ф. 733. Оп. 39. Д. 26. Л. 1).

³¹ Загоскин. Т. 1. 1902. С. 151.

Человек с обыкновенными способностями, не выдавший организма университетов, отставший от книг – имеет, однако ж, столько дерзости, что бы говорить: “Я того и того могу сделать счастливым или несчастливый”, “моя мысль есть мысль попечителя”»³². Слова Каменского, однако, не достигли цели, так как превышение полномочий не считалось попечителем чем-то несовместимым с должностью профессора. В то же время Каменский, по-видимому, не без пояснений ситуации в письмах Яковкина, оказывался в глазах Румовского человеком беспокойного нрава, преступивший правила приличия³³.

Чем больше обращались к попечителю и выступали в совете против Яковкина профессора и преподаватели университета, тем больше Румовский убеждался в их беспокойном поведении и нраве. Наконец, 25 октября попечитель попросил у Завадовского разрешения: «Для восстановления на будущее время *тишины и повиновения*, адъюнкта Карташевского <...> за оказанное начальнику ослушание – удалить от гимназии; равномерно и профессора Каменского <...> а в рассуждение единомышленников их, профессоров Цеплина, Германа и адъюнкта Запольского, предписать директору Яковкину, чтобы он в полном совета собрании сделал им за *оказанное начальнику ослушание* выговор и от лица вашего сиятельства им объявил, что ежели кто их них <...> отважится презирать приказания начальника и криком своим *нарушать будет тишину собраний* – то он удален будет от гимназии»³⁴. 14 ноября 1806 г. Завадовский предоставил ему право уволить «главных виновников неустройства: профессора Каменского, адъюнкта Карташевского и других им подобных», чтобы «прекратить существующие в совете казанской гимназии *беспорядки* <...> обуздать *непослушание* и тем отвратить вредное влияние их примеров»³⁵. Вследствие этого без объяснения причин были уволены И. П. Каменский и адъюнкт Г. И. Карташевский. Профессорам Цеплину, Герману и адъюнкту И. И. Запольскому было временно запрещено участвовать в заседаниях совета. Но на этом история не закончилась. 19 января 1807 г. Румовский прислал Завадовскому

³² Там же. С. 173–174.

³³ В ответном письме Каменскому от 7 августа 1806 г. Румовский писал: «Вы судите о директоре, называя его человеком с обыкновенными способностями, не выдавшим организма университетов и отставшим от книг. Не говоря о том, приличен ли сей ваш суд, не думаете ли вы, чтоб начальник имел слабость поверить, ежели бы кому-нибудь на ум пришло дать об вас подобный аттестат?» (*Загоскин*. Т. 1. 1902. С. 175).

³⁴ *Загоскин*. 1902. С. 188.

³⁵ Там же. С. 188–189.

новое представление: «Чтоб доставить совету *спокойствие* и на будущее время, не вижу я никакого средства, как удалить вовсе и Цеплина от университета <...> как человека *строптивого* и *покой ненавидящего*»³⁶. Министр утвердил увольнение, но ситуация потребовала дополнительных объяснений от Румовского, который 6 июня 1807 г., доказывая министру справедливость произведенных им увольнений, ясно обозначил цель увольнения: «Г. Стерль писал ко мне что в совете по крайней мере *тишина и спокойствие* водворяются»³⁷.

Столь частое повторение в переписке Румовского с казанскими профессорами риторической аргументации, в основе которой лежала оппозиция «спокойствие» – «беспокойство», можно было бы отнести на счет предложенной Румовским модели в дискуссиях о положении совета 1805–1807 гг. Тем более интересно, что в рамках этой же оппозиции выстраивает свою риторику профессор Казанского университета Ф. К. Броннер, который прибыл в Казанский университет значительно позже, в октябре 1810 года. 16 сентября 1811 г. он обратился по поводу очередных несогласий в совете с жалобой на Яковкина к Разумовскому, где писал: «Позвольте мне выразить сожаление по поводу участи моих добрых товарищей, которые, будучи людьми самыми *миролюбивыми*, подвергаются опасности прослыть за людей *беспокойных*»³⁸. В то же время он писал Румовскому: «Ваше превосходительство можете пребывать уверенным, что никто из профессоров не покушается на *спокойствие* в университете, что здесь нет никаких *интриг* <...> Дело доходит до положения вещей, которое едва ли может быть вами одобрено: некоторые члены совета не смеют заявлять своих мнений в заседаниях, опасаясь попасть в число людей *беспокойных*»³⁹.

Можно констатировать, в текстах профессоров как Харьковского, так и Казанского университета просматривается наличие единой риторики, основанной на оппозиции концептов тишины и беспокойства. Именно описывая через нее качества сочлена, профессора достигают желаемого увольнения коллеги в период с 1804 по 1816 гг.

Об употреблении подобной риторики в Московском университете известно мало, хотя попечитель П. И. Голенищев-Кутузов, совершенно иначе обосновывая ряд увольнений профессоров в 1810–1811 гг., отдал должное риторическим формулам, принятым в министерстве. Увольняя

³⁶ Там же. С. 192.

³⁷ НАРГ. Ф. 977. Оп. Ректор. Д. 1. Лл. 7–7 об.

³⁸ Загоскин. 1902. С. 387.

³⁹ Там же. С. 382.

З. А. Горюшкина, он писал: «По обязанности моей присутствовал неоднократно при лекции прав гражданского и уголовного судопроизводства в Российской Империи <...> замечено мною, что <...> слушатели, потеряв напрасно время, выходят из его аудитории неудовлетворенными, ненаставленными и даже его преподаванием *недовольными*»⁴⁰. Попечитель указывает, что источником беспокойства могут стать студенты университета, если не принять должных мер к отставке профессора.

Кардинальные изменения в риторике участников процесса увольнения профессоров появляются с назначением министром народного просвещения обер-прокурора Синода А. Н. Голицына (1816–1824 гг.). Они ярко проявились при увольнении из Харьковского университета профессора И. Е. Шада, дело которого было начато еще Разумовским, и решено Голицыным сразу же после занятия им министерского поста. Дело Шада обросло затем таким количеством текстов о скандальном увольнении, что его обстоятельства требуют некоторых пояснений.

В указании на наличие сложностей во взаимоотношениях Шада с сочленами корпорации сходятся как мемуаристы, так и исследователи. Профессор Х. Ф. Роммель писал: «Держа оппозицию против старых Русских Профессоров, он давал слишком много воли своему языку...», а исследователь А. Н. Лавровский, дискутируя с Роммелем по вопросу о качестве этих несогласий, указывает: «В Харьковском Университете Шад действительно вел почти непрерывную и ожесточенную борьбу с Членами Совета и далеко не с одними старыми русскими Профессорами, как говорит Роммель, а не редко и с своими земляками»⁴¹.

Шад был профессором Харьковского университета с 1804 г. Он прекрасно владел латынью, чем могли похвастаться далеко не все харьковские профессора, и это давало ему преимущество в прениях в университетском совете. В 1805 г. он избирался деканом отделения нравственных и политических наук. Постепенно, однако, Шад испортил отношения почти со всеми членами корпорации профессоров. Издавая перевод Ломонда «О великих римлянах», он без ведома совета и цензуры поместил в нем предуведомление, послужившее поводом для нареканий Разумовского, высказанных всему совету⁴². В своих работах и даже во время прочтения публичной речи 1814 г. Шад позволял себе некорректные высказывания на счет французов, что вызывало неприятие не только профессора-француза Дегурова, но и других профессоров,

⁴⁰ РГИА. Ф. 733. Оп. 28. Д. 146. Л. 1.

⁴¹ Цит. по: *Лавровский*. 1873. С. 39.

⁴² РГИА. Ф. 733. Оп. 49. Д. 276а. Лл. 15–16.

включая ректора Т. Ф. Осиповского⁴³. Членов совета возмутило поведение Шада при подготовке им к защите двух докторов, Гриневича и П. А. Ковалевского (он исправил стиль и ошибки, докторская диссертация самого Шада послужила основным источником их)⁴⁴. Разумовский неоднократно предлагал Потоцкому уволить Шада, но попечитель медлил; о причине он объяснил уже Голицыну: «Отрешение его, не послужит ли ему поводом к помещению для своего оправдания замечаний и жалоб во всех иностранных журналах, которые бы могли усугубить нерасположение иностранных ученых поступать в нашу службу?»⁴⁵.

Наибольший интерес для нас представляют изменения оправдательно-обвинительной риторики Шада, последовавшие в связи со сменой министра. 15 февраля 1816 г. он писал Разумовскому: «Дела Университета приняли с некоторого времени противное постановлению направление, по *беспорядкам*, какие начинают происходить со стороны Профессора Дегурова <...> Следовательно к защите моей невинности мне не остается иного средства, как избегать собрания, в котором *противозаконности* еще продолжают, до тех пор, пока властью Вашего Сиятельства не восстановится прежний *порядок* и законные постановления не примут своего действия. <...> Профессора: Дегуров, Каменский, Шумлянский и Успенский подняли такой *шум*, что не принимали от меня ни какого, ни словесного, ни письменного объяснения. Наконец, когда я сослался на закон, по которому должно было меня выслушать, то кончилось тем, что прекращено присутствие»⁴⁶.

В письме Голицыну, написанном сразу после назначения последнего (ноябрь 1816 г.), Шад пытается описать действия Дегурова и других профессоров в риторике заговора, тонко играет на популярных в столице идеях высшего суда, подводя министра к мысли о необходимо-

⁴³ Там же. Лл. 160 об. – 161.

⁴⁴ РГИА. Ф. 733. Оп. 49. Д. 276а. Л. 27 об. Шад участие в «исправлении» диссертаций П. Ковалевского и И. Гриневича представлял как нормальную практику, распространенную в немецких университетах. В письме А. К. Разумовскому от 15 февраля 1816 г. он писал: «На немецких университетах большею частью пишутся диссертации самими профессорами, а от студентов требуется только, чтоб они умели их на публичных диспутах надлежащим образом защищать» (РГИА. Ф. 733. Оп. 49. Д. 275. Лл. 8–8 об.).

⁴⁵ РГИА. Ф. 733. Оп. 49. Д. 275. Л. 22–22 об. Потоцкий совершенно верно угадал направление деятельности Шада за границей. После увольнения он, действительно, опубликовал ряд статей в европейских изданиях и способствовал распространению негативных слухов о русских университетах. Подробно об этом см.: Багалея. 1899. С. 41–48.

⁴⁶ РГИА. Ф. 733. Оп. 49. Д. 275. Лл. 4–4 об., 6–6 об.

сти осуществить им самим, Голицыным, высший справедливый суд уже на земле: «С самого начала, как Профессор Дегуров начал этот спор, подавал я в Совет, одно за другим четыре прошения, в которых показывал несправедливость поступков Профессора Дегурова и его прислужников или *сообщников* <...> Рейт требовал, чтобы представление его внесено было в Протокол Совета и вместе с Описанием Каменского отправлено в Петербург. Однако же <...> хотели непременно, чтобы истина никак *не могла открыться* и сделаться известною в Петербурге. <...> Философия моя считает за величайшее преступление распространение французского заразительного духа между российскими воспитанниками; напротив, она, письменно и словесно, старается о распространении *веры, нравственности, любви к отечеству* и усердия к общему благосостоянию. <...> С полною доверенностию явлюсь пред престолом создателя, где не будет уже лицепрятия, ни лести, ни обмана, ни злобы, но где принимаема будет одна истинна, добродетель и справедливость; где Бог осушает слезы с очей верующих в него; где не слышно уже будет ни вздыханий, ни стонов *притесненной невинности* и заслуги попираемой»⁴⁷.

Это письмо уже не могло помочь Шаду. По его делу на момент получения письма Голицыным в Комитете министров уже было принято решение: «Удалив его немедленно от должности выслать за границу», однако, оно показывает владение Шадом риторикой, свойственной самому Голицыну. Вполне допустимо, что она восходит в своей традиции к идеям О. Баррюэля, влияние которого на выработку идеологии в России после 1805 г. раскрыл А. Л. Зорин в работе «Кормя двуглавого орла...»⁴⁸. Как Баррюэль считал, что Французская революция стала результатом тройного заговора, «софистов безбожия», «софистов возмущения» и «софистов безначалия», так в министерство Голицына начался поиск этих заговорщиков среди профессоров русских университетов, что отразилось, в том числе, и на риторике увольнения.

Помимо дискурса о вере (о его использовании уже писали исследователи⁴⁹) основными мотивами риторики становятся при Голицыне подчинение начальству и покорность. Например, правление Казанского университета в 1819 г. объяснило адъютанту А. И. Лобачевскому, что главнейшее украшение нравственности чиновников, к каковым относились и профессора университета, есть «*любовь к покорности*»⁵⁰. По-

⁴⁷ Там же. Д. 276а. Лл. 28 об. – 29 об.

⁴⁸ Зорин. 2001. С. 202–206.

⁴⁹ Ильина. 2006. С. 116–122.

⁵⁰ НАРТ. Ф. 977, оп. Правление. Д. 347. Л. 429.

скольку брат Н. И. Лобачевского не обладал этим качеством, он так и не смог стать профессором.

Концепт о беспокойных профессорах развивается при Голицыне в представление об их строптивости. Независимый характер профессора при высказываниях, маркируемых начальством как «дерзкие», становится поводом для его удаления. Например, исполняющий обязанности попечителя Петербургского учебного округа Д. П. Рунич так представил к увольнению профессора М. Г. Плисова в марте 1822 г.: «Из всех обнаруженных поступков его усматриваю тот же дух *строптивой непокорности, пререкания и не уважения к Начальству*, какой замечен Вашим Сиятельством в его объяснении, тот же образ мыслей, доказывающий его *неблагонадежность* к преподаванию наук Политических, – и, наконец, ту же самую *дерзость*, каковую оказал в Гимназии»⁵¹.

Публичные акции, совершенные ревизором, а затем попечителем М. Л. Магницким в Казанском университете (массовое увольнение профессоров, публичный суд над профессором Солнцевым) имели целью «очищение и *усмирение* личного состава университета», на что указывали уже современники Магницкого⁵². Причем новым было видение «усмирения». Если ранее его видели как установление мира в корпорации, то теперь – отсутствие в ней любого противодействия начальству. Приведя корпорацию в состояние беспрекословного подчинения, попечители Магницкий и Рунич действовали при Голицыне совершенно волюнтаристски по отношению к кадровому вопросу.

Так, профессора Казанского университета не желали принимать в корпорацию В. Ф. Берви, но вынуждены были соотносить свои желания с давлением, которое оказывалось на совет. «Не видя в сочинении г. Берви тех сведений, кои необходимы для человека, долженствующего безукоризненно носить на себе звание профессора» профессора вынуждены были констатировать: «Совету известно, что Г. Берви по его сведениям, и по другим достоинствам весьма одобряется такими лицами, которых отзыв заслуживает большого уважения, и <...> Совет желает в особенности *быть осторожным в своих отказах*»⁵³. Как и предполагали профессора, назначение Берви состоялось.

Поскольку такое поведение попечителей вызывало критику, Магницкий и Рунич стремились оформить производившиеся ими отставки как желания корпорации. В 1822 г. Магницким был организован пуб-

⁵¹ Маяковский, Николаев. 1919. С. 222.

⁵² Цит. по: ОР РНБ. Ф. 859 Шильдер. К. 34. С. 248.

⁵³ НАРТ. Ф. 977. Оп. Ректор. Д. 216. Л. 3 об. – 4.

личный суд над профессором Казанского университета, бывшим ректором Г. И. Солнцевым, за то, что он, по словам Магницкого «переменил *самовольно* и без ведома Совета утвержденное мною расписание учебных для Университета предметов с тем, чтобы науку Естественного Права сделать, *вопреки моему распоряжению*, общию всем отделениям»⁵⁴. При этом Магницкий очень хотел придать увольнению вид осуждения увольняемого корпорацией. Он прямо писал об этом 1 июля 1821 г. Голицыну: «Мне казалось бы приличным предать сии поступки его на суд самого Университета, в общем собрании Совета и Правления». Причем пользу этого распоряжения он видел и в том, что «осуждение Солнцева сословием ученых, из товарищей его состоящих, не могло бы иметь вида притеснения и поступка насильственного»⁵⁵.

Эти же мотивы двигали Магницким и Руничем при организации суда в Петербургском университете над профессорами К. Ф. Германом, Э.-В.-С. Раупахом, А. И. Галичем и К. И. Арсеньевым⁵⁶. Материалы суда интересны тем, что профессора вынуждены были высказывать свое мнение по поводу увольняемых коллег. Но при использовании этих текстов необходимо учитывать давление, которому они подвергались. Известно, что Рунич активно пользовался во время суда правом «превратить совещание в вопросы, дабы сим средством направить мнения к должной цели»⁵⁷.

Профессорам и адъюнктам, желавшим осудить коллег, довольно легко было риторически оформить свою мысль. Лучше всего ее выразил адъюнкт Н. П. Щеглов, который сказал, что Раупах «поведением своим показал пример *соблазнительного и не терпимого неповиновения власти*»⁵⁸. Сложнее было попытаться оправдать коллег или отстраниться от их осуждения. Интересны высказывания адъюнкта Д. П. Попова, который, выгораживая профессора Германа, объявил, что «*тихий нрав и скромность* изъясненная в ответах Г. Германом, подает большую

⁵⁴ НАРТ. Ф. 977. Оп. Ректор. Д. 12. Л. 3.

⁵⁵ Там же. Л. 4.

⁵⁶ Участие Магницкого в организации суда над петербургскими профессорами не вызывает сомнений. Н. П. Загоскин писал: «Магницкий, расписывая перед министром А. С. Шишковым все свои заслуги, ставит на вид, что он «обличил схваченные в петербургском университете тетради Раупаха, Германа и других», в чем ему ревностно содействовали, «трудясь день и ночь», казанские профессора Симонов и Лобачевский» (*Загоскин*. Т. 4. 1904. С. 289). Доказательства участия в деле Симонова и Лобачевского см. РГИА. Ф. 732. Оп. 1. Д. 373. Лл. 134, 139.

⁵⁷ *Маяковский, Николаев*. 1919. С. 186.

⁵⁸ Там же. С. 189.

надежду к исправлению»⁵⁹. И профессора Ф. Б. Грефе, который, отстраняясь от прямого ответа на вопрос о вреде книги Арсеньева, заметил: «Судя по выпискам вредны, но я не знаю ни науки ни книги»⁶⁰. Отметим, что в словах Грефе появляется аргументация, которая исходит из научных практик оценки деятельности профессора. Этот же мотив появляется в словах профессора Балугьянского, который, защищая Арсеньева, сказал, что «по отличным дарованиям Г. Арсеньева и по объявлению его в своем ответе, что он не с намерением преподавал отвергнутые начальством правила, полагаю сохранить его в Университете»⁶¹.

Профессор Ф. Б. Шармуа попытался отстраниться от участия в заседании, написав: «Как вопросы, сделанные Исправляющим должность Попечителя, не находятся в предписании Господина Министра, то он и не почитает себя в праве на оные отвечать»⁶². В результате, Шармуа сам оказался в роли обвиняемого. Рунич заявил, что «находит оное противным всякому законному порядку и коренным Государственным постановлениям, предоставляющим Президенту всякого присутственного места право предлагать на общее рассуждение вопросы к пояснению дела нужные; а потому дерзкой и противузаконный поступок Шармуа <...> предложил <...> на суждение общего Собрания Университета»⁶³. Утвержденный во время процесса в должности экстраординарного профессора Щеглов, с которым согласились адъюнкты Т. О. Рогов и Попов писал о поступке Шармуа: «Поступок Г. Шармуа *недозволен и нетерпим* по законам и никак не может быть приписан неосторожности»⁶⁴. А профессор П. Д. Лодий написал, что «Шармуа <...> обнаружил тем свой непостоянный и *противоборствующий* характер»⁶⁵. Таким образом, из материалов суда в Петербургском университете видно, какое значение приобретает в текстах профессоров под давлением министерства риторика о противоборстве и неповиновении.

Возвращаясь к желанию Магницкого организовать осуждение коллег, добавлю, что даже в случаях, когда дело об отставке производилось без участия профессоров, он пытался представить их Голицыну, а после – министру А. С. Шишкову как участников увольнения, «пострадавших» от отставленного им единолично профессора, или же искусственно сделать

⁵⁹ Там же. С. 188–189.

⁶⁰ Там же. С. 202.

⁶¹ Там же. С. 203.

⁶² Там же. С. 206–207.

⁶³ Там же. С. 207.

⁶⁴ Там же. С. 212.

⁶⁵ Там же. С. 214.

их участниками увольнения. Это хорошо видно на примере скандальных увольнений из Казанского университета профессоров А. К. Жобара и М. А. Пальмина. Поскольку оба эти увольнения вызвали судебные разбирательства, то в делах о них сохранились профессорские тексты с риторикой об увольнении. Рассмотрим их подробнее.

О деятельности Жобара до назначения профессором в Казанский университет можно сказать, что он отличался искательностью перед начальством, что обеспечивало ему как неоправданно большие выгоды по службе, так и, зачастую, неприязненное отношение коллег⁶⁶. Сумев поразить Магницкого своей популярностью в петербургской среде, высоким жалованьем и «знаком», ниспосланным свыше⁶⁷, не утвержденный даже учителем Смольного института репетитор Жобар получил исключительное положение среди профессоров Казанского университета, которое вызывало настороженное отношение и зависть коллег⁶⁸. Тем не менее, к 1823 г. у Жобара были хорошие отношения с частью профессорского коллектива, и он даже находил определенную поддержку⁶⁹.

Проблемы начались, когда Жобар был назначен ревизором (должность, сопряженная с определенной властью) в Астрахань, где он действовал неадекватно ситуации⁷⁰. Назначение плохо повлияло на харак-

⁶⁶ О проблемах с коллегами по Смольному институту Жобар писал родителям в 1821 г. (ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 1. Ед. хр. 879. Л. 1 об. – 2. Благодарю А. А. Костина за выполненный им перевод источника с французского языка).

⁶⁷ По слухам, передаваемым в среде университетских профессоров, Жобар в один вечер схватил со стола Г. Магницкого Библию, раскрыл будто наудачу, и прочел: «греди во Иерусалим», после чего решил ехать в Казань (Архив СПб. ИИ РАН. Ф. 238. Оп. 2. Ед. хр. 124/7. Л. 78–78 об.).

⁶⁸ Магницкий уговорил Жобара поехать профессором в Казань, обещая ему 6000 рублей жалованья, что составляло три оклада обычного профессора, и только опасения Голицына вызвать неудовольствие Александра I превратили эти 6000 в 4500 руб., из которых 500 руб. составляли квартирные деньги. Но и такое, полное по обеим занимаемым кафедрам жалованье, противоречило практике и ставило Жобара в исключительное положение в университете. Другим профессорам приходилось брать на себя затратные по времени и силам должности в университете, чтобы получать хотя бы 3600–3800 руб. в год. Жобар представлялся коллегам «облагодетельствованным сверх меры» (Архив СПб. ИИ РАН. Ф. 238. Оп. 2. Ед. хр. 124/7. Л. 79).

⁶⁹ На выборах ректора 5-го мая 1823 г. за Жобара проголосовало 6 профессоров, как и за Н. И. Лобачевского. Большого удостоились только К. Ф. Фукс (8 избирательных шаров) и Г. Б. Никольский (9 шаров), который и сохранил за собой звание ректора (Загоскин. Т. 4. 1904. С. 313).

⁷⁰ Вместо проведения стандартного осмотра с целью проинформировать училищный комитет и попечителя о состоянии училищ на местах Жобар добился увольнения директора училищ Маркова, устроил публичные телесные наказания воспитанникам и привлек к ревизии полицию (Там же. С. 234).

тер Жобара, или, возможно даже, на его не вполне уравновешенное психическое состояние, на что указывали позднее некоторые его коллеги и Магницкий. Дотошный исследователь истории первых лет Казанского университета Н. П. Загоскин подробно описал, как из-за заносчивости Жобара были испорчены его отношения с П. С. Сергеевым, Э. И. Эйхвальдом и Ф. И. Эрдманом, как постепенно он стал в оппозицию к директору Г. Б. Никольскому и ректору К. Ф. Фуксу⁷¹.

30 апреля 1824 г. по указанию Магницкого в Казанском университете начала действовать комиссия «для исследования поступков профессора Жобара, жалоб его и изветов его»⁷². Рассмотрение дела затягивалось, и Жобар, по собственному желанию, которое поддержал Магницкий, отправился в Петербург «для объяснения Его Превосходительству разных его жалоб»⁷³, где Магницкий не принял его, объяснив позже свои действия тем, что имел «убеждение в расстройстве умственных способностей *беспокойного* казанского профессора»⁷⁴. Вместо этого попечитель подготовил представление об увольнении Жобара министру А. С. Шишкову, но Жобар опередил попечителя и лично подал прошение об отставке.

Интересно, что, добившись увольнения Жобара, Магницкий пошел дальше в стремлении отомстить ему за неоправданное доверие. По его указанию Жобару выдали недействительные документы (без одобрения поведения). После же требования Шишкова о выдаче нормальных актов, Жобару, с подачи Магницкого, осенью 1825 г. были даны документы, где означено: «В последний год служения своего показывал *грубость и наглости перед директором и ректором*», «писал *дерзкие*

⁷¹ Загоскин. Т. 4. 1904. С. 381–393. Несмотря на имеющиеся конфликты, Жобар не «выживался» членами корпорации, а был уволен Магницким. Об этом свидетельствует Н. И. Лобачевский в письме бывшему попечителю Казанского учебного округа М. А. Салтыкову от 5 декабря 1829 г.: «Более других были ему [Магницкому. – Т. К.] обязаны благодарностию Жобар и некто В<ладимирски>й. Первого он сделал из ничего и ни за что Профессором, и другого избавил от тюрьмы. Два эти человека и третий П<альмин>ъ были друзьями. Когда они слышали, что щастливое время их покровителя уже прошло, стали они платить ему злом за добро. Магницкий узнал об этом случайно. Одна барыня приходила к нему несколько раз жаловаться на В<ладимирского> за неуплату долга. Отказывал ее выслушать. Наконец, она просит передать, что напрасно защищает того, кто платит неблагодарностию. Г. Магницкий берет ее в карету, выслушивает ее дорогой. После сего начались гонения на Жобара» (Архив СПб. ИИ РАН. Ф. 238. Оп. 2. Ед. хр. 124/7. Л. 79).

⁷² Загоскин. Т. 4. 1904. С. 393.

⁷³ НАРТ. Оп. Правление. Д. 965. Л. 1.

⁷⁴ Загоскин. Т. 4. 1904. С. 395.

выражения в бумагах», «заводил *распри и беспокойным нравом* своим делал иногда заседания совета *шумными*», и даже, что «однажды ректор принужден был прибегнуть к помощи университетской полиции»⁷⁵.

Аналогичным образом Магницкий спровоцировал конфликт корпорации с другим своим ставленником, профессором Пальминым, у которого (как и у Жобара, с которым он был дружен) сложились напряженные отношения с коллегами. Пальмин настроил против себя членов правления университета, когда по должности декана подал 22 декабря 1821 г. «особые мнения», касательно распоряжений о постройке университетских зданий⁷⁶. Неосновательность заявлений Жобара возмутила правление, и побудила непременно заседателя В. И. Тимьянского собрать 18 января 1822 г. особое заседание, где на них были сделаны возражения, что не было предусмотрено уставом и вызвало критику попечителя Магницкого⁷⁷. Аналогично особое мнение Пальмин подавал по делу о выборе адъюнкта латинского языка⁷⁸. Ректор университета, профессор Г. Б. Никольский, для «*общего блага* и сохранения *спокойствия*, которое могло быть нарушено *духом партий*, начинавших возникать в собрании Совета при суждениях», докладывал попечителю о несогласиях в правлении и совете, вызванных особыми мнениями Пальмина⁷⁹.

Описанные противоречия, однако, не были настолько сильными, чтобы большинство профессоров стали добиваться увольнения Пальмина. Приняв решение уволить его, Магницкий прикладывал определенные усилия к тому, чтобы вызвать в совете университета неприязнь к увольняемому, представляя в феврале 1826 г. совету, что «жалобы по сему делу Пальмина наполнены выражениями *дерзкими, оскорбительными для всего* сословия Казанского Университета»⁸⁰. Сам Пальмин позже так комментировал свое увольнение: «Ежели быть выгнану или выброшену из сословия значит тоже, что и быть вытеснену, то сие справедливо»⁸¹. Своим главным недоброжелателем Пальмин называл профессора П. С. Сергеева, который, действительно, был заинтересован в

⁷⁵ Цит. по: Загоскин. Т. 4. 1904. С. 395.

⁷⁶ Особое мнение мог подавать любой чиновник при коллегиальном решении дел, если он не был согласен с принятым мнением большинства, что для профессоров было оговорено Уставом 1804 г. Однако, в Казанском университете подача особых мнений не приветствовалась (НАРТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 1270. Лл. 1–2).

⁷⁷ РГИА. Ф. 733. Оп. 40. Д. 113. Л. 112.

⁷⁸ Там же. Л. 182–182 об.

⁷⁹ Там же. Лл. 182 об. – 183.

⁸⁰ Там же. Л. 213.

⁸¹ РГИА. Ф. 733. оп. 40. Д. 116. Л. 237.

увольнении Пальмина, чтобы занять освобождающуюся в таком случае кафедру философии⁸². Но столкновение произошло между Магницким, желавшим передать кафедру философии молодому Сергееву и Пальминым, который помимо основной для него кафедры философии, занимал кафедру дипломатики, и не считал возможным прожить с семьей на жалование, получаемое от одной кафедры. Накануне увольнения ректор К. Ф. Фукс писал Магницкому (слова даются в пересказе Пальмина), что «произошли несогласия между просителем [Пальминым. – Т. К.] и Сергеевым, и <...> проситель в *распре* с ним показал характер *неблагодарный и наклонный к пронырству* <...> что необходимо нужно было бы попечителю утешить сию *распря*»⁸³. Ко всему этому, прибавилось личное разочарование Магницкого в людях, им самим в университет приведенных (Жобаре, Пальмине и Владимирском), которых Магницкий решил убрать теми же средствами, которыми назначил на их должности, не учитывая мнения совета университета.

Оформляя увольнение Пальмина, Магницкий писал Шишкову: «Пальмин, давно замеченный человеком *нрава беспокойного*, был терпим в университете потому только, что обыкновенно *укрывал происки свои*, действуя за других. Начальство, хотя и знало сие, хотя по высочайше утвержденной инструкции и имело право удалить его как чиновника *беспокойного и нарушающего своими интригами доброе согласие университета*, но не хотело сделать сего без открытого обличения»⁸⁴. Он также писал, что Пальмин «впоследствии обнаружил *беспокойный дух, коварствовал в тайне* против бывшего директора Никольского, по зависти к его возвышению, ибо Пальмин и Никольский вместе обучались в бывшем С. Петербургском педагогическом институте, *враждовал* против бывшего инспектора студентов Барсова, бывшего профессора Тимьянского и адъюнкта Полиновского; сии поступки его известны весьма многим в университете служащим лицам и доходили до попечителя; сверх сего он *не спокойно держал себя в заседаниях совета и правления*»⁸⁵. Понимая, что времена изменились, и Шишкову не достаточно будет риторики раскрытого коварства, безотказно действовавшей на Голицына, Магницкий инициировал проверку деятельности Пальми-

⁸² РГИА. Ф. 733. Оп. 40. Д. 113. Л. 15 об. Следствие доказало незаконные действия Сергеева в отношении Пальмина, которые заключались либо в ложном доносе, либо в сознательном приведении в беспорядочное состояние дел архива (РГИА. Ф. 733. Оп. 40. Д. 116. Лл. 180–181).

⁸³ РГИА. Ф. 733. Оп. 40. Д. 116. Лл. 62–62 об.

⁸⁴ Там же. Д. 113. Л. 131.

⁸⁵ РГИА. Ф. 733. Оп. 40. Д. 116. Лл. 23 об. – 24.

на как секретаря совета и получил из совета университета желаемое мнение: «Члены Комитета для разбора архива университетского <...> заявили <...> что начатое приведение в порядок архивных дел г. Пальминым не dokonчено и дела остались в прежнем *расстройстве*. В бытность его секретарем совета Казанского Университета *расстроил дела оногo* за 1819-й, 1820 и 1821 годы»⁸⁶. И, как и в случае с Жобаром, Магницкий, не удовлетворившись увольнением Пальмина «по собственному желанию», организовал выдачу ему негодных для дальнейшей службы документов. Из представления Магницкого видно, как неуверенно он чувствует себя в плане риторики, обращаясь к Шишкову. Он реанимировал приемы, бытовавшие в министерстве до Голицына, но ему не удалось найти общего языка с новым министром. Главное правление училищ пришло к выводу, «что все дело об увольнении Пальмина имеет вид *совершенного беспорядка*»⁸⁷. В результате судебного разбирательства был наказан как совет Казанского университета, так и Магницкий, в деле которого Пальмин и Жобар сыграли роль катализатора, непосредственно вызвав ревизию, порученную генерал-майору П. Ф. Желтухину и приведшую к отставке и высылке самого Магницкого.

Наконец, последняя попытка Магницкого представить дело об увольнении профессора как дело о бунте государственного значения в стенах Казанского университета относится уже к периоду после его отставки. Орудием Магницкого стал профессор Я. М. Караблинов, заинтересованный в освобождении для себя кафедры философии, в то время занятой П. С. Сергеевым. Обнаружив у студента Матюнина запрещенную книгу философии Круга, полученную им от профессора Сергеева, Караблинов удержал ее у себя и сделал главным доказательством выдвигаемых им обвинений, инициировав дело о «распространении возмутительных начал между студентами»⁸⁸. Стремясь вывести рассмотрение дела за пределы университета, он писал в объяснениях ректору Фуксу: «Дело <...> по смыслу Высочайше утвержденного устава ни мало не принадлежит к 143 § онаго, где говорится о личностях и ссорах между членами университета возникающих, оно, напротив, заключает в себе предмет особой важности, касается *общественной безопасности* и относится по Высочайше утвержденным инструкциям к обязанностям каждого члена университета, а по общей присяге, и каждого верноподданного Его Императорскому Величеству»⁸⁹.

⁸⁶ Там же. Л. 19.

⁸⁷ Там же. Д. 113. Л. 64 об.

⁸⁸ СПФ АРАН. Ф. 100. Оп. 1. Ед хр. 91. Л. 11 об.

⁸⁹ Там же. Л. 11.

Весьма интересно рассмотреть противостояние между Караблиновым и Сергеевым на уровне риторики. При написании своих доносов, а позже объяснений Караблинов использовал риторику ушедшего в прошлое голицынского министерства. Например, во время расследования Караблинов показывал о своих действиях в 3-м лице: «Профессор Караблинов <...> оставался в некотором подозрении со стороны *беспокойного духа* у Г. Магницкого до того времени пока не попала в руки ему действительно *возмутительная* книга Круга, данная студентам в назидание Профессором Сергеевым; пока Профес. Караблинов не остановил оной, пока не доставил Г. Магницкому и не указал в ей *возмутительных начал противу Бога Монархов, Церкви, Тронов и обществ*»⁹⁰. Действия Сергеева Караблинов описал следующими словами: «С письмом Караблинова бросился к Г. Магницкому в третий раз доказывать ему *беспокойство* характера Караблинова»⁹¹.

Но риторика заговора и бунта не подействовала на Шишкова, в отличие от Голицына, которому она была чрезвычайно близка⁹². Шишков в ответ инициировал разбирательство, в результате которого Сергеев был оправдан. Заслуживает внимания тот факт, что в «Объяснении ректора Казанского университета К. Фукса графу Гурьеву» от 22 декабря 1926 г. Фукс реанимирует риторику о беспокойном человеке и, одновременно, раскрывает подоплеку интриги: «Сергеев после троекратной жалобы Г. Магницкому <...> донес мне о личном оскорблении, причиненном ему Караблиновым запискою о *ложным обвинении, интриге и неблагопристойности* <...> Существо сего дела состоит не в том, чтобы Караблинов действительно хотел выказать *вредный дух* сочинения, но чтобы <...> открыть себе путь к занятию кафедры философии вместо Сергеева. <...> Караблинов всегда отличался *беспокойным характером*

⁹⁰ Там же. Л. 39 об.

⁹¹ Там же. Л. 39 об. Эти слова Караблинова отчасти подтверждает рассказ самого Сергеева, который «обратился приватно к источнику интриги Г-ну Магницкому, дабы обнаружить нелепость предпринимаемых действий и тем сам отклонить интригу. Но увидел, что замысел их обдуман и начат с неперменным желанием доказать чем либо, «что после нескольких месяцев отставки Попечителя является вывеска бунта на стенах университета» (Там же. Л. 25).

⁹² Примером употребления такой риторики Голицыным может служить следующий случай. Когда члены правления Казанского университета получили нареkanie от Магницкого за ведение журнала правления на дому директором, они обратились к Магницкому с опровержением и просьбой «дать знать Правлению кто донес о сем». Магницкий, возмущенный поступком правления, показал письмо Голицыну, на что министр назвал «сей возмутительный поступок правления заседанием Кортесов (кои в то время занимали Европу)» (РГИА, ф. 733, оп. 40, д. 113, л. 131 об.).

и употреблял разные *происки* <...> Справедливо следует заключить, что существо сего дела есть интрига Караблинова, а книга Круга употреблена, как средство увеличить важность и силу сей интриги»⁹³. Приведенный текст Фукса немало способствовал решению дела в пользу Сергеева. В нем ректор через риторические приемы показывает связь интриги Караблинова с дискурсом голицынского министерства. И, в частности, показывает искусственность создания государственных дел из личных раздоров профессоров.

По-видимому, участвуя в интриге Караблинова, Магницкий не увидел главных изменений, происходивших в правительственном курсе. Осознавая, что христианско-мистический курс себя исчерпал⁹⁴, Магницкий не смог понять, что с началом правления Николая I стало бессмысленно употреблять риторику заговора с его идеей всемирного противостояния добра и зла⁹⁵.

Сложно судить об изменениях, которые произошли с риторикой в министерство А. С. Шишкова (1824–1828), так как количество выявленных текстов профессоров этого времени, направленных на удаление сочленов, таких как приведенное выше объяснение Фукса, исчисляется единицами. Можно, однако, реконструировать направление в изменении риторики министерства, используя тексты самого Шишкова и попечителей. Так, она вполне проявилась в наставлении Шишкова попечителю Петербургского учебного округа К. М. Бороздину. В первую очередь министр просил обратить внимание «на *нравственное* направление преподаваний, наблюдая строго, чтобы в уроках Профессоров и учителей ничего колеблющего или *ослабляющего учение нашей веры не укрывалось*, чтобы во всех учебных заведениях учили Закону Божию <...> не вдаваясь в *лжемистику* и не увлекаясь бессмысленною *филантропиею*, наставляющею все ереси наряду с истинною христианскою верою». Этим Шишков маркирует отказ от мистических настроений голицынского министерства. При этом дальше он реанимирует риторику министерства Завадовского и Разумовского: «Чтобы между лицами, принадлежащими каждому учебному заведению, при надлежащем *повиновении* Начальству; *водворились мир и согласие*. Для сего тщательно избегать следует всякого повода к порождению между ими *взаимной вражды*, или *распри*; <...> чтобы между ими не были терпимы какие либо *гласные беспорядки*, лишаящие их уважения местных начальств и

⁹³ СПФ АРАН, ф. 100, оп. 1, ед хр. 91, лл. 35–36

⁹⁴ Вишленкова. 2003. С. 112–113.

⁹⁵ Зорин. 2001. С. 370.

доверенности родителей».⁹⁶ Так Шишков представлял себя собирателем всего лучшего, что вводили прежние министры на этом посту.

Произошедшие при Шишкове изменения в риторике увольнения иллюстрируют также материалы ревизии Московского университета, произведенной С. Г. Строгановым в 1826 г., когда некоторые профессора пытались избавиться от профессора И. И. Давыдова, выставляя его человеком вредным для юношества. Однако риторика об опасном человеке вызвала настороженное отношение Шишкова, и министр лично, письмом с грифом «секретно», обратился за разъяснениями о профессоре Давыдове к попечителю Писареву следующими словами: «Судя вообще о мнениях Давыдова, *если бы даже и преподавание его не было подозрительным*, уже одне его *педагогические правила* совершенно противоположные тем, которые принимаются основанием общественного воспитания, *долженствовали бы воспрепятствовать доверению ему образования юношества*»⁹⁷. Отметим, что Шишков уходит здесь от риторики Голицынского министерства о духе преподавания, заменяя его разговором об основах общественного воспитания.

Писарев ответил в письме от 11 июля 1826 г.: «Со стороны *нравственной* грех бы мне было, если бы я сказал, что я заметил в нем, что-либо противное оной во все время начальства; но не могу скрыть и того, что имея много недоброжелателей, молвою он очернен. Заботясь о подчиненных своих, вникал я и в сию молву и нашел, что она произошла от части от того, что, во первых, он, хотя младший из Профессоров, но имеет самое корыстное место: инспектора Пансиона <...>; во вторых, что он всеми *умственными своими способностями* силится опередить в познаниях товарищей своих, и даже старших своих учителей, которые *устали*, так сказать, *следовать за науками*, усевшись в своих местах как в поместьях своих; в третьих, может быть и *насмешливый его отзыв* о многих полуученых своих собратий – вот главные причины, как мне кажется, нареканий на него. Относительно *до его образа мыслей*, убеждений, разговоров, то, изучаясь всем наукам, он более может назваться педантом, нежели каким-либо вольнодумцем»⁹⁸. Таким образом, Писарев отказался от идеи осуждения Давыдова за дух преподавания и перевел дело в плоскость обсуждения интриг и личностей профессоров.

Как показывают тексты профессоров и попечителей, окончательный отказ от риторики вокруг нравственности и духа преподавания

⁹⁶ РГИА. Ф. 733. Оп. 21. Д. 39. Лл. 1-3.

⁹⁷ РГИА. Ф. 735. Оп. 10. Д. 37. Л. 3 об.

⁹⁸ Там же. Лл. 14-15.

произошел в министерство князя К. А. Ливена (1828–1833). Это хорошо видно в представлении Бороздина об увольнении профессоров Толмачева и Пальмина из Петербургского университета (30 ноября 1831 г.): «Как тогда, так и теперь многое зависеть будет от лиц, составляющих ученое сословие Университета и заведывающих управлением онаго. Некоторые из них необходимо должны быть ныне же уволены и заменены *способнейшими*. Я не касаюсь духа их учения, ибо благодарение Богу <...> я доселе не находил в сем заведении ничего такого, что было бы *несогласно с святым учением Евангелия, или коренными постановлениями Государства*. Но при сем однако ж нельзя оставить без внимания того, что некоторые из лиц ученого Университетского сословия, или вовсе не брегут об *исполнении своих обязанностей*, или криво их понимая, делают не то, что требуется системою Университетского воспитания и порядком службы; а от сего происходит нередко ошутительное *замешательство* в ходе дел ученых и административных»⁹⁹.

В упрек Пальмину попечитель поставил следующее: «Доводимы до сведения моего мнения его по разным предметам, в которых, вместо того, чтобы по званию своему, поддерживать силу законов и установленный порядок дел, он ябеднически старается дать свой изворот и тем и другим, оговариваясь при том *пред Начальством с дерзостью*, нигде не терпимою»¹⁰⁰. Интересно, что Николай I, при представлении ему докладной записки об увольнении, написал на ней своей рукой о Пальмине: «Уволить от службы; притом не могу не заметить, что давно не должно б было его терпеть при Университете, ежели в нем замечались подобные недостатки»¹⁰¹.

Аналогичные изменения происходят в риторике харьковских профессоров и попечителя В. И. Филатьева. Это видно в деле профессора Г. Ф. Брандейса. Ректор Харьковского университета Н. И. Еллинский писал в записке, поданной в совет: «Главная причина сего чрезвычайного заседания есть *дерзость и нахальство* Профессора Брандейса, кои превзошли наконец все меры <...> Кажется, все сие проистекало от доказанной *не ужиточности его* и желания везде *возбуждать тревогу*»¹⁰². Аналогично и попечитель Филатьев 1 августа 1831 г. писал Ливену: «Я старался узнать без огласки о поступках и действиях

⁹⁹ РГИА. Ф. 733. Оп. 22. Д. 4. Лл. 1–1 об. Материалы этого дела были опубликованы: *Маяковский, Николаев*. 1919.

¹⁰⁰ Там же. Л. 2 об. – 3.

¹⁰¹ Там же. Л. 23.

¹⁰² РГИА. Ф. 733. Оп. 49. Д. 749. Лл. 9–9 об.

Профессора Брандейса <...> полагая, что можно склонить и убедить его, как умного человека, оставить *дерзкой и сварливой свой характер*, и обращаться *кратко и вежливо* с ГГ. Профессорами, и сим водворить *тишину и спокойствие в Университете*, беспрестанно, при всяком случае им Брандейсом нарушаемые»¹⁰³. Наконец, 10 марта 1832 г. Филатьев сообщал Ливену: «Не отвергаю, что Брандейс характера крутого, вспыльчивого и гордого, но знаю теперь достаточно и характер Ректора, и не могу его хвалить: *скрытность и фальшивость* есть его отличительнейшие черты, а *самолюбием и высокомерием* он не уступит противнику своему. Ректор винит Брандейса в неуважении к начальству потому, что в сем случае начальство есть он Ректор; но сам ежечасно поступками своими относительно начальства над ним не может заслуживать одобрения, хотя сам весьма *высокомерен* против низших себя и подчиненных»¹⁰⁴. Из текстов попечителей Бороздина, Филатьева и ректора Еллинского видно, что при Шишкове мотив о «дерзости» профессора теряет политическую окраску бунтарства, и становится синонимичным мотиву о профессоре – нарушителе спокойствия.

Приведенный выше отзыв Бороздина интересен не только тем, что в нем проговорен сознательный отказ от прежней риторики, принятой в министерстве. В нем также присутствует отсылка к низкому уровню преподавания профессора. Борьба за повышение уровня преподавания в Петербургском университете находится в эти годы, видимо, в центре внимания Ливена. Известно, что 15 марта 1832 г. он приказал «заготовить проект всеподданнейшей докладной записки, что слышав неоднократно от Г. Попечителя СПб округа невыгодные на счет познаний О<рдинарного> П<рофессора> прав Боголюбова отзывы, он удостоверился в сем личным присутствием на его лекциях и советовал Боголюбову оставить Университет, но тщетно»¹⁰⁵. По этому же делу попечитель Бороздин писал министру в июле 1832 г.: «Боголюбов, при всем своем усердии и практических сведениях, не имеет *ни теоретических соображений* по сей части столь необходимых для представления науки в систематическом порядке, ни *дара передавать познания* слушателям своим, от чего они выходят из Университета по окончании курса и определяются в службу со сведениями, весьма не достаточными для их *Гражданского назначения*»¹⁰⁶. Аналогично развивается в 1832 г. кон-

¹⁰³ Там же. Лл. 5–5 об.

¹⁰⁴ Там же. Лл. 30 об. – 32.

¹⁰⁵ РГИА. Ф. 733. Оп. 21. Д. 185. Л. 1.

¹⁰⁶ Там же. Лл. 18–18 об.

фликт в Московском университете вокруг преподавания анатомии, когда М. Я. Мудров попытался обвинить Х. И. Лодера в плохих успехах студентов, приписав их преподаванию на латинском языке¹⁰⁷.

Таким образом, именно в министерство Ливена впервые при увольнении профессоров получает развитие риторика о слабом преподавании, в дальнейшем подхваченная С. С. Уваровым, назначенным в 1833 г. министром народного просвещения. В переписке Уварова с попечителями учебных округов получала утверждение риторика о профессорах *«без заслуг, но без нареkania, опоздалых на их поприще, малоспособных к преподаванию, одним словом просто доживающих срок к получению пенсии»*¹⁰⁸.

Таким образом, риторика, направленная на увольнение профессоров, не была статичной на протяжении первой трети XIX в. Она чутко реагировала на изменения в министерстве, от которого зависел исход дела. Существующий перевес в принятии окончательного решения об увольнении в пользу министров народного просвещения приводил к тому, что на риторическую аргументацию профессоров большое влияние оказывали факторы субъективные.

Риторика о «тишине» обязана своим развитием министрам Завадовскому, Разумовскому и попечителю Казанского учебного округа Румовскому. Назначенному в 1802 г. Завадовскому было 63 года, сменившему его в 1810 г. Разумовскому – 62 года; Румовскому – 68 лет. Все они служили еще при Екатерине II, и это отразилось на их мировоззрении. Они рассматривали университеты как присутственные места, где все должны вести себя «пристойно». Этому требовал и устав университета, где не только был прописан порядок, который нужно было соблюдать в заседаниях, но и специально оговорено, что «Председатель наблюдает, чтобы прения не выходили из границ благопристойности»¹⁰⁹. Известно, что когда в 1807 г. конфликт в Казанском университете достиг пика, Румовский потребовал, чтобы в комнате Правления как присутственном месте было установлено зеркало¹¹⁰. И директор Яковкин был уверен, что необходимо «при первом шуме рекомендовать

¹⁰⁷ РГИА. Ф. 733. Оп. 29. Д. 116. Л.

¹⁰⁸ РГИА. Ф. 733. Оп. 30. Д. 185. Л. 6.

¹⁰⁹ Об Уставах... Стлб. 276.

¹¹⁰ НАРТ. Ф. 977. Оп. Правление. Д. 6. Л. 20. Зерцало представляло собой треугольную призму, на трех сторонах которой были наклеены печатные экземпляры Петровских указов: 17 апреля 1722 года – о хранении прав гражданских, 21 января 1724 года – о поступках в судебных местах и 22 января 1724 года – о государственных уставах и их важности.

им [профессорам. – Т. К.] прочтение их, а особенно Указ 1724 года о всевозможной благопристойности в присутствии при зеркале»¹¹¹.

Кроме того, представления о необходимости тишины в университетах восходят к идеалам XVIII в., когда тишина была воспета многими поэтами в бесчисленных одах, из которых наиболее известна «возлюбленная тишина» М. В. Ломоносова в «Оде на день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны 1747 года». Для людей екатерининского времени эта одическая «тишина», служившая важным мотивом преамбул ко многим узаконениям, стала синонимом мирного правления. Об упоминании М. М. Херасковым «спасительной тишины» в «Оде на прибытие Ея Величества в Москву. В январе 1775 г.» В. Ю. Проскурина справедливо пишет: «Логика отсылки в оде Хераскова прочитывалась современниками вполне определенно: мирный договор, как и конец бунта, должен переместить внимание власти от войны к наукам и искусствам»¹¹². Таким образом, напоминание о необходимости восстановления тишины должно было восприниматься не только буквально, но и в более глубоком значении, как призыв обратиться к наукам, основным занятиям профессоров.

Очень вероятно, что Голицын, бывший в 1816 г. одновременно обер-прокурором Синода (освобожден от должности в 1817 г.), главным-управляющим иностранными исповеданиями и министром народного просвещения; реформировавший специально для удобства управления структуру министерств, создав Министерство духовных дел и народного просвещения, действительно боялся потерять контроль над ситуацией в своем ведомстве, боялся духа безначалия и своеволия настолько, что это усиливало действие на него соответствующей риторики.

Требуется дополнительных изысканий отказ от голицынской и шишковской риторики о нравственности, произошедший при Ливене. Но уже сейчас можно сказать, что не случайно в министерство Уварова мы не находим ярких текстов, направленных на удаление профессоров по идеологическим причинам. Нельзя не согласиться с наблюдениями Зорина о том, что Уваров был «начисто лишен свойственного Шишкову миссионерского запала», а «идеологическое обеспечение государственной политики переводилось [при нем] из горячего режима в холодный, превращая мобилизационные лозунги в программу рутинной бюрократической и педагогической работы»¹¹³.

¹¹¹ *Нагуевский*. 1904. С. 120.

¹¹² *Проскурина*. 2006. С. 200.

¹¹³ *Зорин*. 2001. С. 367–268.

В то же время, есть все основания выделить ряд объективных причин, которые оказывали влияние на ее формирование. Риторические приемы, ставшие действенным способом удаления профессора из университета, не могли появиться иначе, как «методом проб и ошибок», поэтому в первые годы существования молодых корпораций использовались очень разные риторические приемы, употребление которых имело, подчас, неожиданные для создателей текста последствия. Высокий уровень конфликтности в молодых корпорациях способствовал развитию дискурса о необходимости установления в них согласия, поскольку оно объективно было необходимо для того, чтобы профессора могли выполнять свои прямые обязанности, а разрастающиеся конфликты не вредили имиджу университетов. Несомненно и то, что европейские революции способствовали развитию страха перед заговором и распространением вредных идей. А рост науки в университетах, скорее всего, и привел к возникновению «научного» дискурса в оценке профессоров.

Фактически, на протяжении первой трети XIX века профессорская риторика переживала период формирования как специфическая аргументация, характерная именно для профессорского сообщества. Этот путь она прошла от риторических приемов, свойственных бюрократической среде вообще, через риторику, характерную для интеллектуальной прослойки империи к риторике о преподавании и научных достоинствах, характерной для сообщества ученых преподавателей. И, видимо, совсем не случайно именно к рубежу первой и второй трети XIX в. исследователи относят «оформление профессуры в профессиональную группу» и формирование «профессорской культуры»¹¹⁴.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Андреев А. Ю.* Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы. М., 2009. 640 с.
- Багалец Д. И.* Удаление профессора И. Е. Шада из Харьковского университета (Материалы для биографического словаря профессоров Харьковского университета). Харьков, 1899. 147 с.
- Вишленкова Е. А.* Казанский университет Александровской эпохи: Альбом из нескольких портретов. Казань, 2003. 240 с.
- Горин Д. Г.* К вопросу о «профессорской культуре» России XIX – начала XX в. // Отечественная культура и историческая наука XVIII – XX веков. Сб. статей. Брянск, 1996. С. 42–51.
- Документы и материалы по истории Московского университета второй половины XVIII века / Подг. к печати Н. А. Пенчко. М., 1960. Т. I: 1756–1764. 415 с.

¹¹⁴ Горин. 1998. С. 42.

- Загоскин Н. П.* История Императорского Казанского университета за первые сто лет его существования. 1804–1904. Тт. 1–4. Казань, 1902–1904.
- Зорин А. Л.* Корня двуглавого орла... Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М., 2001. 416 с.
- Ильина К. А.* «Вера и Ведение» в переписке М. Л. Магницкого и Г. Б. Никольского (1820–1824 гг.) // Православный собеседник: Альманах Казанской Духовной Семинарии. Казань, 2006. Вып 1 (11) – 2006: Ч. II. С. 116–122.
- Костина Т. В.* Академик С. Я. Румовский и Казанский университет: историографический контекст // Академия наук в истории культуры России XVIII–XX веков / Отв. ред. Ж. И. Алфёров. СПб.: Наука, 2010. С. 81–101.
- Лавровский Н. А.* Эпизод из истории Харьковского университета. М., 1873. 58 с.
- Маяковский И. Л., Николаев А. С.* С.-Петербургский университет в первое столетие его деятельности. 1819–1919. Материалы по истории С.-Петербург. ун-та / Под ред. С. В. Рождественского. Т. 1. 1819–1835. Пг., 1919. 760 с.
- Нагуевский Д. И.* Петр Цеплин. Первый профессор Казанского университета (1772–1832 гг.). Историко-литературный очерк. Казань, 1904. 356 с.
- Петров Ф. А.* Формирование системы университетского образования в России. Т. 1. М., 2002. 416 с.
- Проскурина В. Ю.* Мифы империи: Литература и власть в эпоху Екатерины II. М., 2006. 328 с.
- Рождественский С. В.* Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802–1902. СПб., 1902. 785 с.
- Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 1: Царствование Александра I. 1802–1825. СПб., 1864.
- Хвостов А. А.* Гендерные особенности организационного поведения // Вопросы психологии. 2004, № 3. С. 29–37.
- Klinge M.* Teachers // A History of the University in Europe / Ed. W. Rüegg. Cambridge, 2004. Vol. III: Universities in the Nineteenth and early Twentieth centuries. P. 123–161.
- Костина Татьяна Владимировна***, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Архива РАН; TanyaBizyaeva@yandex.ru.

О. М. БЕЛЯЕВА

Э. Д. ГРИММ В ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПУТЬ К ПРОФЕССОРСКОМУ ЗВАНИЮ

В статье рассматривается начальный этап профессиональной карьеры историка Э. Д. Гримма. На его примере показано, как продвижение по карьерной лестнице приводило к конфликтам в академическом сообществе, вызванным нарушением традиций, столкновением взглядов, амбиций, интересов ученых.

Ключевые слова: *Петербургский университет, Э. Д. Grimm, М. И. Ростовцев, Н. И. Кареев, традиции академического сообщества, диспут, конфликты.*

С формальной точки зрения, продвижение ученого по карьерной лестнице можно представить как поступательное прохождение через ряд установленных процедур, обязательных для всех членов академического сообщества: сдача магистерских экзаменов, публикация текста диссертации, ее рецензирование и утверждение к защите с последующим диспутом. Но не будем забывать и про то, что прохождение этих процедур контролировалось со стороны представителей академического сообщества. Следуя предписанным процедурам, ученый должен был также придерживаться традиций, существовавших в академическом сообществе и отражавших сложившийся порядок его функционирования. В процессе поэтапного продвижения молодого специалиста по карьерной лестнице в академическом сообществе могли сталкиваться интересы, взгляды и амбиции ученых, что было связано с нарушением традиций, соперничеством за статус и зачастую приводило к конфликтам. Иначе говоря, от того, каким образом ученый совершал переход от одного этапа к другому, зависели не только смена его статуса и, соответственно, положение в академическом сообществе, но и его взаимоотношения в академических кругах. Карьера ученого зависела и от внешних факторов. Постараемся рассмотреть начальный этап научной карьеры Э. Д. Гримма именно с такой точки зрения и в сравнительной перспективе, что позволит проследить за тем, как строились его отношения с коллегами в этот период.

Э. Д. Grimm поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета осенью 1887 года. Окончив университет с дипломом первой степени, он, по предложению профессора Н. И. Каре-

ева¹ был оставлен для подготовки к профессорскому званию по кафедре всеобщей истории без стипендии – первоначально на два года, затем еще на год². С 1893 по 1894 гг. Гримм сдавал магистерские экзамены, что являлось одним из условий получения приват-доцентуры и этапом на пути к защите магистерской диссертации³. После успешного прочтения пробных лекций⁴ Э. Д. Гримм в звании приват-доцента в 1894 / 1895 академическом году приступил к чтению курса по истории торговли в Средние века⁵, параллельно давая уроки географии и истории в главном немецком училище Св. Петра.

Гримм первоначально вовсе не предполагал заниматься историей Древнего Рима. Магистерскую диссертацию он, «после некоторых колебаний», предполагал посвятить «влиянию великих открытий к[онца] XV в. на экономическую и социальную жизнь <...> Италии [и] Германии»⁶. Его решение связать свое будущее исследование с Новой историей Западной Европы определило кандидатуру научного руководителя, хотя Н. И. Кареев, вероятно, взял шефство над Гриммом уже тогда, когда ходатайствовал о его оставлении для приготовления к профессорскому званию. Немногочисленные сведения мало проясняют то, как протекало их сотрудничество, так как вскоре оно прервалось. Свою работу Гримм неоднократно обсуждал с Кареевым, который предупреждал его о том, что в России без соответствующих архивных источников «он едва ли в состоянии будет написать диссертацию»⁷. Впоследствии Кареев называл Гримма своим учеником⁸. Другое дело, считал ли тот его своим учителем. Учитывая, что в студенческие годы Гримм всерьез интересовался сразу несколькими периодами истории и слушал курсы у авторитетных специалистов в соответствующей области (В. Г. Васильевского, Н. И. Кареева, Ф. Ф. Соколова), можно предположить, что каждый из них в той или иной мере оказал на него влияние. Ведь впоследствии Гримм оставил первоначально избранную тему по новой истории Западной Европы и, углубившись в изучение истории Византии, обратился, в итоге, к истокам ее зарождения – к Римской империи.

¹ Об этом Н. И. Кареев упоминает в своих мемуарах: *Кареев*. 1990. С. 187.

² ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9226. Л. 1, 13, 16; Ф. 14. Оп. 3. Т. 4. Д. 16046. Л. 6.

³ ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Т. 4. Д. 16046. Л. 3, 6, 7 об., 12, 17; Д. 16049. Л. 5.

⁴ Там же. Л. 10–10 об.

⁵ ОР РНБ. Ф. 608. Оп. 1. Д. 727. Л. 1.

⁶ ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9226. Л. 38–38 об.

⁷ Ходатайство Н. И. Кареева: Там же. Л. 37.

⁸ См.: *Кареев*. 1990. С. 187; ПФА РАН. Ф. 825. Оп. 1. Д. 91. Л. 10 об.

Прислушавшись к совету Н. И. Кареева, Э. Д. Гримм вскоре обратился в историко-филологический факультет с просьбой о командировании его за границу⁹. Разрешение на поездку он получил, однако ее пришлось отложить на неопределенный срок. Причиной этому послужил приказ Министерства народного просвещения (далее – МНП) о назначении Гримма на 1896/97 академический год приват-доцентом по кафедре всеобщей истории Казанского университета. Вопрос о необходимости еще одного преподавателя по всеобщей истории обсуждался на заседании историко-филологического факультета Казанского университета еще в ноябре 1895 г.¹⁰, хотя на тот момент недостатка в специалистах по этому предмету не было. Возможно, у факультета имелись на то свои причины. Когда умер профессор Н. А. Осокин¹¹, потребность в еще одном преподавателе стала очевидной, так как профессор И. Н. Смирнов физически не мог взять на себя весь объем преподавания предмета. Как говорилось в представлении декана историко-филологического факультета профессора Д. Ф. Беляева ректору Н. И. Ворошилову: «Весьма желательно, чтобы он прошел научную школу у профессора Л. Т. Виноградова или академика В. Г. Васильевского. Мне известно, что у каждого из этих ученых имеется по несколько учеников, но еще не получивших научных степеней и претендующих только на звание приват-доцентов. Весьма желательно, чтобы один из таких учеников был приглашен нами по указанию и рекомендации одного из вышеназванных профессоров»¹². Вскоре кандидатура на замещение ставшей вакантной должности преподавателя всеобщей истории нашлась в лице Э. Д. Гримма, который, судя по всему, вполне соответствовал необходимым требованиям: окончил университет с дипломом первой степени, изучал средневековую и Новую историю под руководством В. Г. Васильевского и Н. И. Кареева¹³.

К сожалению, у нас нет свидетельств, которые бы пролили свет на то, как перевод Гримма в Казань был воспринят им самим и его окружением. В одном из писем своему коллеге Д. А. Корсакову Э. Д. Гримм, между прочим, сообщает, что «не мог допустить, чтобы разного рода более или менее сомнительные “авторитеты” Петербурга утверждали, что я бежал от них к моим казанским друзьям, которые именно из дружбы, так сказать, Христа ради, меня пропустили... Такого рода

⁹ ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9226. Л. 38.

¹⁰ См.: *Хамматов*. 2003. С. 90.

¹¹ Профессор Н. А. Осокин покончил жизнь самоубийством в здании университета. См.: *Ягудин*. 2003.

¹² *Хамматов*. 2003. С. 90.

¹³ *Загоскин*. 1904. С. 75–76.

сплетни всегда неприятны»¹⁴. По содержанию письма можно лишь догадываться, что у Grimma в Петербурге были недоброжелатели, по каким-то причинам осуждавшие его действия.

Grimm был приват-доцентом Казанского университета с февраля 1896 г. по май 1899 г. На историко-филологическом факультете он читал курсы по истории Древнего Рима, Западной Европы в XVIII в., истории арабов и исламской культуры в Средние века и, вместе с проф. И. Н. Смирновым вел практические занятия по географии и всеобщей истории. Находясь в Казани, Grimm, видимо, произвел благоприятное впечатление на коллег и завоевал их расположение. С большой похвалой отзывался о нем Д. А. Корсаков: «В научном отношении представляет, по-моему, действительно серьезную силу приват-доцент вс[еобщей] ист[ории] Э. Д. Grimm»¹⁵. В 1897 г. Grimm все-таки побывал в заграничной командировке, во время которой работал в библиотеках крупнейших европейских столиц – Берлина, Рима и Парижа, собирая материал для будущей диссертации, посещал лекции немецких историков¹⁶.

Вероятно, в Казани Э. Д. Grimm окончательно определился с тематикой своей магистерской диссертации. Он отказался от первоначально задуманного исследования по Средневековью и занялся историей Древнего Рима. Впервые он обратился к Античности еще в 1894 г., когда написал научно-популярный очерк о братьях Гракхах и их реформаторской деятельности¹⁷. Истоки интереса Grimma к проблеме императорской власти и социальных отношений в Римской империи можно обнаружить в его вступительной лекции к курсу истории средних веков. Считая термин «Средние века» условным и неисторичным, Э. Д. Grimm предложил отрезок времени от III–IV до XI в. называть «периодом византийско-исламской культуры»¹⁸. Выясняя перемены, имевшие место к началу IV в. н.э., и причины упадка Римской империи, Grimm в своей лекции углубился в историю III и II вв. н.э. Следствием интереса Grimma к переходному периоду III–IV вв. н.э., очевидно, и стало смещение направления его работы в сторону изучения истории Римской империи. Grimm собирался изучить характер власти и политики императоров диоклетиано-константиновского периода, но намеревался также ретроспективно осветить некоторые вопросы из истории первых веков империи¹⁹.

¹⁴ Цит. по Хамматов. 2003. С. 94.

¹⁵ ПФА РАН. Ф. 102. Оп. 2. Д. 147. Л. 13 об.

¹⁶ Grimm. 1898.

¹⁷ Grimm. 1894.

¹⁸ Grimm. 1896. С. 129–152 (С. 151–152).

¹⁹ Grimm. 1898. С. 7.

Приступив вскоре к написанию магистерской диссертации, он сосредоточился на более раннем времени – эпохе принципата (I–II вв. н.э.). Уже в январе 1898 г. он представил предварительные результаты своей работы в виде доклада на эту тему на одном из заседаний Исторического общества при Петербургском университете, членом которого состоял²⁰.

В сентябре 1899 г. истек срок очередной командировки Гримма²¹, и надо было возвращаться в Казань. Однако уже с 1 сентября в звании приват-доцента он начал преподавать в Петербургском университете. Такие перемены в служебной карьере произошли в связи с рядом следующих друг за другом событий. В ходе студенческих волнений февраля 1899 г. из Петербургского университета были удалены оппозиционные профессора и приват-доценты. На историческом отделении историко-филологического факультета ими оказались Н. И. Кареев и И. М. Гревс. Кареев встал на сторону молодежи, выступив на заседании Совета университета против ректора В. И. Сергеевича, что и послужило поводом к его отставке²². Такая же участь постигла Гревса, пользовавшегося репутацией либерала и сочувствующего студенческим волнениям²³. Весной 1899 г. умер проф. В. Г. Васильевский, заведовавший ранее кафедрой истории Средних веков. В результате этого на кафедрах всеобщей истории и Средних веков появились вакансии, одну из которых занял Гримм. Вполне вероятно, что он, зная обо всех этих перипетиях, происходивших с его коллегами в Петербургском университете поспешил взять командировку «в столичные города» с тем, чтобы попытаться получить место. Из Казанского университета Гримм был отчислен задним числом, уже приступив к чтению лекций в Петербурге. В уведомлении ректора Казанского университета К. В. Ворошилова ректору Петербургского университета В. И. Сергеевичу от 29 сентября 1899 г. сообщалось, что «из командировки Гримм не возвращался и к чтению курса не приступал», а также отмечалось, что «в случае перемещения его в состав приват-доцентов Петербургского университета препятствий... не встретится»²⁴. 11 октября того же года В. И. Сергеевич, в свою очередь, извещал К. В. Ворошилова о том, что «Эрвин Гримм... допущен к чтению лекций в звании приват-доцента в СПб. университете и зачислен в штат приват-доцентов... с 1 сентября 1899 г.»²⁵.

²⁰ Историческое обозрение. 1915. Т. 20. С. 202.

²¹ Ученые записки... 1899. С. 80–81.

²² Подробнее см.: Кареев. 1990.

²³ См.: Свешников, Корзун, Мамонтова. 2004. С. 320–324.

²⁴ ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9226. Л. 51.

²⁵ Там же. Л. 51 об.

Э. Д. Гримму не было отказано в утверждении, так как в то время историко-филологический факультет Петербургского университета остро нуждался в преподавателях по всеобщей истории. Как писал в это время С. Ф. Платонов своему киевскому коллеге В. С. Иконникову, «в ...факультете много пустоты, которую неизбежно заполнить поскорее». Платонов также заметил, что «не хотелось бы уступать приоритет чужим»²⁶. В этом смысле у Гримма было преимущество перед другими, так как, являясь выпускником и магистрантом Петербургского университета, он воспринимался как «свой». В письме медиевисту Н. М. Бубнову, также являвшемуся выпускником Петербургского университета, С. Ф. Платонов сообщал, что на историческом отделении «пропасть свободных лекций», часть которых «достанется магистранту Гримму, часть Форстену и еще много надо заместить»²⁷.

Назначение Э. Д. Гримма приват-доцентом было встречено неоднозначно. Н. И. Кареев посчитал его поступок незтичным по отношению к себе и своим коллегам: «с одной стороны, видите ли, зорно проситься на места изгнанных своего учителя и старшего товарища, а с другой, в Питере лучше жить, чем в Казани... Оказалось потом, что и спрашивал он советы уже после того, как решил уже, что возьмет на себя наши лекции»²⁸. Вероятно, Н. И. Карееву стало известно, что Гримм еще в начале сентября 1899 года договаривался с деканом историко-филологического факультета П. В. Никитиным о тех предметах, которые ему предстояло вести в новом учебном году. В частности, Гримм писал С. Ф. Платонову: «П. В. Никитин предложил мне объявить, кроме общего курса по истории Западной Европы в Средние века, еще специальный курс ввиду того, что так читал И. М. Гревс. Я, разумеется, с удовольствием согласился. В качестве специального курса предлагаю читать историю византийско-исламского мира до XI века»²⁹.

Совсем иначе, чем Кареев, исключительно с положительной стороны, рассматривал возвращение в университет Гримма Платонов: «в это тяжелое для ф[акультета] время Гримм явился полезнейшим его сотрудником, приняв на себя обязанности с большим успехом, т.к. заявил себя прекрасным лектором, солидным руководителем практич[еских] занятий и образованным историком, у которого в распоряжении оказалось несколько хорошо обработанных курсов, не только по

²⁶ С. Ф. Платонов – В. С. Иконникову. 31 августа 1899 г.: Академик С. Ф. Платонов... 2003. С. 60–61. № 98.

²⁷ С. Ф. Платонов – Н. М. Бубнову. 1 сентября 1899 г.: Там же. С. 61. № 99.

²⁸ ПФА РАН. Ф. 825. Оп. 1. Д. 91. Л. 10 об.

²⁹ ОР РНБ. Ф. 27. Д. 272. Л. 32–32 об.

средней, но и по древней истории»³⁰. Учитывая, однако, что письмо было написано спустя два года после возвращения Э. Д. Гримма в университет и носило рекомендательный характер с целью назначить его на должность экстраординарного профессора, очевидно, что все возможные негативные моменты замалчивались.

Существует масса примеров, доказывающих, что на вакантную должность всегда находились желающие, которые старались не упустить возможности воспользоваться подходящим моментом, чтобы обеспечить себе благоприятные условия для карьерного роста. Бывало, что ученые сами охотно предлагали свои кандидатуры на имевшуюся вакансию, что могло превратиться в борьбу за первенство, если претендентов было несколько. По воспоминаниям того же Н. И. Кареева, он, узнав о смерти петербургского профессора новой истории В. В. Бауера, пошел к попечителю Варшавского учебного округа и заявил, что едет в Петербург «посмотреть, нельзя ли будет занять место покойного Бауера»³¹. По прибытии в Петербург Карееву сообщили, что он не один претендует на это место, и что среди его конкурентов значатся профессор Киевского университета И. В. Лучицкий и профессор Новороссийского университета А. С. Трачевский. С последним Кареев решил договориться и предложил ему «полюбовно разделить наследие Бауера», который в свое время одновременно читал лекции в Александровском Лицее и в Петербургском университете. Кареев надеялся на место в университете, однако Трачевский отказался от такого предложения, рассчитывая занять сразу оба места. В итоге, чтобы не остаться не у дел, Кареев дал согласие инспектору Лицея Н. М. Коркунову, с которым он уже договорился о том, что выдвинет свою кандидатуру³². Был возможен и иной сценарий замещения вакантной должности, когда заинтересованное лицо использовало рекомендации своего покровителя. Так, Н. Н. Фирсов, узнав от Э. Д. Гримма о том, что в Юрьеве освобождается кафедра русской истории за переходом профессора Е. Ф. Шмурло в университет Св. Владимира в Киеве, писал С. Ф. Платонову «Хорошо бы эту кафедру занять мне... Но как это сделать? Мне пришло в голову прибегнуть к Вашему содействию, если вы согласитесь помочь мне. Несомненно, в нашем Министерстве Ваше слово многое значит, и, может быть, Вы и замолвите его... за мою кандидатуру»³³.

³⁰ ОР РНБ. Ф. 585. Д. 1750. Л. 7–7 об.

³¹ См.: Кареев. 1990. С. 156, 172.

³² Там же. С. 175–176.

³³ ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4467. Л. 4–5.

В этом смысле поступок Гримма не выходил за рамки существовавших практик. Но в свете произошедших в университете событий он приобретал скандальный характер, поставив его самого в двусмысленное положение. С одной стороны, стечение обстоятельств способствовало возвращению Гримма в Петербург, и от возможности продолжения научной карьеры в Петербургском университете он не хотел отказываться. С другой стороны, он не мог не сознавать, что его поступок вызовет неодобрение коллег, тем более, если среди них были его учитель Кареев и товарищ Гревс. Гримм, очевидно, был и в курсе того, что кафедре Средних веков покойный профессор Васильевский завещал своему ученику Гревсу, о чем прежде он неоднократно говорил³⁴. И Гримм, рискуя потерять расположение упомянутых лиц, сознательно сделал выбор в пользу собственной карьеры и, как следствие, в ущерб хорошим отношениям с ними. Поэтому неудивительно, что в первые месяцы после назначения приват-доцентом Гримму пришлось столкнуться с неприятными намеками на то, что он уже во второй раз приходит на место умершего профессора. Об этом он сетовал Д. А. Корсакову: «такого рода сплетни... должны быть неприятны вдвойне лицу, которое и без того целой группой порядочных людей обвинялось в том, что оно – сиречь я – “сидит на теплом трупе”, перешагнуло через оный (труп – Васильевский). Теперь все это, правда, улеглось, но осенью трудно было предвидеть, к каким выводам могли прийти здешние “друзья”»³⁵.

Читая лекции в Петербургском университете и на Высших Женских Бестужевских курсах, Э. Д. Гримм одновременно работал над завершением своей магистерской диссертации. Ее рукописный вариант он представил факультету уже 13 ноября 1899 г., и по итогам заседания 15 декабря того же года работу допустили к печати³⁶. На заседании факультета 1 сентября 1901 г. рассматривалась рукопись уже докторской диссертации Э. Д. Гримма, которая была рекомендована к изданию 15 ноября 1901 г.³⁷. Оба тома были напечатаны в «Записках историко-филологического факультета» и вышли отдельными монографиями³⁸.

³⁴ С.Ф. Платонов упоминает об этом в письме ректору А. Х. Гольмстену: «Он [В. Г. Васильевский.– О. Б.] не скрывал, что видит в И. М. Гр[евсе] своего преемника по университетской кафедре и, уступая своей болезни, передал именно Гр[евсу] ведение общего курса средней истории и прак[ических] занятий со студентами». См.: Там же. Л. 5–9.

³⁵ Цит. по: *Хамматов*. 2003. С. 94.

³⁶ ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Т. 4. Д. 16069. Л. 43 об., 51.

³⁷ ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Т. 4. Д. 16076. Л. 54.

³⁸ *Гримм*. Исследования... 1900. Т. I; *Он же*. Исследования... 1901. Т. II.

Составлять отзывы на магистерскую диссертацию Э. Д. Гримма было поручено двум профессорам, Ф. Ф. Соколову и Ф. Ф. Зелинскому³⁹. Впоследствии Зелинский по неизвестным причинам свой отзыв не предоставил, хотя это и не отражено в протоколах заседаний историко-филологического факультета. По истечении срока, требовавшегося для изучения диссертации рецензентом⁴⁰, отзыв Соколова был заслушан в заседании факультета, после чего было решено «признать диссертацию удовлетворительной» и допустить ее к защите.

Магистерская диссертация Гримма преимущественно построена на критике идей Т. Моммзена⁴¹, его основного тезиса о принципате как системе политического дуализма или «диархии» сената и императора. Гримм также считал, что попытка Моммзена «охватить в одной системе государственное право народа за 1000 с лишком лет», опираясь на материал II и особенно I в. до н.э., неосуществима, что «первые три века империи не представляют одного целого в конституционном смысле», поэтому «для понимания их необходимо внимательно исследовать отдельные фазисы конституционного развития, пройденного императорской властью за это время»⁴², в чем и видел свою задачу. Рассматривая развитие римской императорской власти от Августа до Нерона, Гримм анализировал реальное положение власти и сопоставлял его с существовавшим законодательством. Его также интересовало восприятие императорской власти обществом, выразителями взглядов которого он считал античных историков и поэтов. Он пришел к выводу о том, что власть Августа, формально являвшаяся чрезвычайной магистратурой республики, в действительности была практически ничем не ограничена. Правление ближайших преемников Августа, отказавшихся поддерживать даже видимость сохранения республиканского строя, выродилось в откровенный деспотизм, что, в конечном счете, привело к свержению династии Юлиев-Клавдиев. В то же время оппозиция императорскому правлению все меньше опиралась на идею республики, выступая не столько против единоличной власти, сколько против ее деспотического характера.

Магистерский диспут Гримма состоялся 29 мая 1900 г.⁴³ Выступали только официальные оппоненты – профессор Ф. Ф. Соколов и приват-доцент И. И. Холодняк. Пожалуй, самой высокой оценкой должно

³⁹ ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Т. 4. Д. 16069. Л. 55 об.

⁴⁰ Срок для рассмотрения диссертации не должен был превышать полугода. См.: Сборник распоряжений по МНП... 1867. С. 641. § 21.

⁴¹ *Mommsen*. 1887. Bd. II.

⁴² *Гримм*. Исследования... Т. I. С. 5, 6, 8, 11.

⁴³ ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Т. 4. Д. 16072. Л. 29.

было стать для Гримма признание справедливости основных доводов, касающихся императорской власти, которым удостоил его Соколов⁴⁴. По разным причинам присутствовать на диспуте смогли не все желающие. М. И. Ростовцев, например, в то время находился в научной командировке в Риме и оттуда писал С. А. Жебелеву: «Конечно, и о диспуте Гревса и Гримма ты мне ничего не написал, а между тем ты прекрасно знаешь, как это мне все интересно»⁴⁵.

В докторской диссертации Гримм продолжил ранее начатую тему, фактически написав одно исследование в двух томах, что не вполне соответствовало требованию МНП о том, что докторская «диссертация может заключать в себе более обширное исследование предмета магистерской, но не должна быть только повторением одной»⁴⁶. Но это несоответствие не вызвало никаких нареканий со стороны совета факультета, утверждавшего работу. Ф. Ф. Соколов, будучи еще магистрантом, в письме к родным заметил, что «выбрал уже себе одним ударом тему для докторской диссертации... будет опять по истории Сицилии, и это ничего, потому что все ученые немцы по десяти диссертаций об одном и том же предмете пишут»⁴⁷. С. А. Жебелев вспоминал, что «иногда докторские диссертации представляли собой просто продолжение магистерской и в однотипном выборе тем, и, разумеется, ее разработки»⁴⁸. Причем с момента своего поступления в университет в 1886 г. и до отмены прежних ученых степеней в советское время, Жебелев упомянул лишь имена Э. Д. Гримма и А. А. Васильева.

Только 26 февраля 1901 г. Совет профессоров Петербургского университета одобрил проект «Правил об испытаниях на ученые степени», в котором пункт 11 гласил: «докторская диссертация может быть продолжением магистерской»⁴⁹. В соответствии с этими новыми правилами выбор тематики диссертаций Гримма уже не выглядел отходом от предписанной нормы, однако все же нарушал устоявшиеся традиции.

Между магистерским и докторским диспутами Гримма прошел всего год и десять месяцев⁵⁰. Надо сказать, что срок, в который он спра-

⁴⁴ Диспут Э. Д. Гримма... 1900. С. 347–349.

⁴⁵ М. И. Ростовцев – С. А. Жебелеву. 5 июня 1900 г.: Скифский роман. С. 396–397. № 31.

⁴⁶ Сборник распоряжений по МНП... С. 641. § 22.

⁴⁷ Цит. по: Жебелев. 1909. С. 9.

⁴⁸ Жебелев. Ученые степени... 2000. С. 156.

⁴⁹ Журналы заседаний... за 1901 г. 1902. № 57. С. 28.

⁵⁰ Защита второго тома «Исследований» Э. Д. Гримма состоялась 31 марта 1902 г. См.: ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Т. 4. Д. 16081. Л. 60.

вился с написанием, подготовкой к изданию и защитой обеих работ, был необыкновенно кратким. Из современников Гримма по срокам защиты его обогнал лишь А. А. Васильев: обе его диссертации были опубликованы почти одновременно с работами Гримма, но промежуток между его диспутами составил год и почти девять месяцев⁵¹. Стремительность ученой карьеры М. И. Ростовцева отмечает Э. Д. Фролов⁵², хотя между защитами его диссертаций прошло почти четыре года⁵³. С. А. Жебелев защитил докторскую только спустя пять лет после магистерской, в 1903 г.⁵⁴. На таком фоне случай Гримма можно рассматривать скорее как исключение, чем правило. Впрочем, его случай не противоречит утвержденным Советом университета правилам, согласно которым «магистр может представить диссертацию на степень доктора не ранее как через год после защиты магистерской диссертации»⁵⁵.

Представители научного сообщества по-разному восприняли столь отличающиеся по сравнению со многими другими коллегами сроки написания и защиты Э. Д. Гриммом докторской диссертации. У одних это вызывало раздражение и порицание, у других – похвалу и одобрение. Так, М. И. Ростовцев в своей рецензии упрекнул Гримма за быстроту написания докторской, полагая, что это сказалось на качестве его диссертации⁵⁶. Ю. А. Кулаковский, напротив, похвалил Гримма, отметив, что «два объемистых тома, которые в такой короткий срок успел выпустить молодой автор, дают ему полное право на видное место в рядах исследователей римской древности»⁵⁷. Сам Гримм, по-видимому, не считал, что краткость сроков написания работы повлияла на ее качество, поэтому в ответе на рецензию Ростовцева он заверил его в том, что достаточно кропотливо работал над своей диссертацией⁵⁸. Скорую защиту Гримм обеспечил себе еще и тем, что его докторская не была абсолютно новой работой, а являлась, как уже отмечалось, продолжением

⁵¹ Васильев. 1900. Ч. LVI; *Он же*. 1902. Ч. LXVI. Магистерский диспут А. А. Васильева состоялся 21 января 1901 г., докторский – 13 октября 1902 г. См: Журналы заседаний... за 1901. 1902. № 57. С. 14, 117–118.

⁵² См.: Фролов. Ростовцев Михаил Иванович... 2000. С. 31.

⁵³ М. И. Ростовцев защитил магистерскую диссертацию 21 апреля 1899 г., докторскую – 26 января 1903 г. См.: Журналы заседаний... за 1899. 1900. № 55. С. 68; *То же* за 1903 г. 1904. № 59. С. 4–5.

⁵⁴ Фролов. Жебелев Сергей Александрович... 2000. С. 17, 18.

⁵⁵ Журналы заседаний... за 1901 г. 1902. № 57. С. 27. п. 5.

⁵⁶ Ростовцев. [Рецензия...]. С. 172.

⁵⁷ Кулаковский. [рецензия...]. 1902. С. 154.

⁵⁸ Гримм. Ответ... 1902. С. 174.

магистерской диссертации, что позволяло ему собирать материал одновременно для обоих исследований. Неслучайно поэтому еще в процессе сбора источников для первой диссертации Grimm сообщал Гревсу о том, что «материал... увеличивается не по дням, а по часам»⁵⁹. В этом смысле, можно полагать, что Grimm пошел более коротким путем к получению докторской степени и в обход сложившихся практик.

Вероятно, недовольство коллег вызывало не только пренебрежение традициями, но и быстрое продвижение коллег по службе, так как за защитой диссертаций следовало получение соответствующих степеней и должностей⁶⁰, равно как и повышение жалования, сумма которого имела немаловажное значение⁶¹. Стремление Grimma к скорейшему получению профессорского звания и улучшению своего финансового положения отчасти объясняется изменениями в его личной жизни. В 1901 г. он женился на Надежде Платоновне Вердеревской⁶².

Рассмотрев в докторской диссертации развитие императорской власти со времени гибели Нерона и до Марка Аврелия, Э. Д. Grimm пришел к следующим выводам. В эпоху Флавиев и Антонинов принципат окончательно превратился в монархию, сенат же потерял свою самостоятельность, став государственным советом при императоре, а общество постепенно смирилось с идеей монархической власти и признало последнюю. Резюмируя содержание книг Grimma, отметим, что он установил несколько фаз в развитии римской императорской власти: империй Августа и Тиберия трансформировался в деспотическое правление их преемников, императоров Юлиев-Клавдиев, затем, при Флавиях, престиж импера-

⁵⁹ ПФА РАН. Ф. 726. Оп. 2. Д. 80. Л. 1 об.

⁶⁰ С чувством некоторой зависти написано письмо С. А. Жебелева Д. В. Айналову по поводу продвижения по службе М. И. Ростовцева: «Ростовцев также провел лето в писании [докторской диссертации. – О. Б.], а теперь печатает. Вероятно, он напишет раньше меня и тогда будет возведен в профессора». См.: С. А. Жебелев – Д. В. Айналову. 29 сентября 1902 г.: Скифский роман. С. 370.

⁶¹ Показателен расчет С. Ф. Платонова, сделанный для профессора Н. М. Бубнова, которому он предлагал подумать над возможным замещением им кафедры Средних веков в Петербургском университете и над чтением лекций на Высших Женских Бестужевских Курсах. Преимущество от складывавшейся преподавательской нагрузки Платонов выразил в денежном эквиваленте: «На Курсах Вы можете, по словам директора, рассчитывать на 1000 рублей (четыре лекции средней истории). Мне же кажется, что на Курсах будет и 1250 руб[лей], (т.е. пять лекций). Итого в университете 3000+500 р[ублей] гонорара и 1250 руб[лей] на Курсах – 4750 руб[лей] или около того». См.: С. Ф. Платонов – Н. М. Бубнову. 2 сентября 1899 г.: Академик С. Ф. Платонов... С. 61. № 100.

⁶² ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9226.

торской власти был восстановлен, окончательное же утверждение монархической власти произошло при Антонинах.

Рецензентами докторской диссертации Э. Д. Гримма историко-филологический факультет назначил тех же лиц, на которых возлагалась эта обязанность и при утверждении его магистерской диссертации – профессоров Ф. Ф. Соколова и Ф. Ф. Зелинского. Выслушав отзыв Соколова, собрание факультета просило приват-доцентов И. И. Холодняка и М. И. Ростовцева представить свои отзывы в следующем заседании факультета в связи с тем, что Зелинский вновь отказался от его предоставления, сославшись на свою занятость⁶³. Спустя пару недель после назначения рецензентами упомянутых лиц, секретарь историко-филологического факультета Ф. А. Браун обратился к декану профессору С. Ф. Платонову с письмом, в котором извещал его о случившемся инциденте между Ростовцевым и Гриммом⁶⁴. В письме Ф. А. Браун сообщал о том, что Гримм просил его «добыть [подчеркнуто автором. – *О. Б.*] ему, если возможно, отзыв М. И. Ростовцева, с которым он желал бы познакомиться раньше, чем решить, как поступить дальше». По просьбе Брауна Ростовцев прислал ему отзыв, сопровождаемый письмом, в котором «напоминал» о том, что «факультет высказался против сообщения отзыва Э. Д. до его напечатания». Хотя сам Браун о таком мнении факультета не помнил, но допускал возможность, что «пропустил его мимо ушей», поэтому просил С. Ф. Платонова посоветовать, как поступить дальше, «передать ли отзыв Гримму, или написать, что факультет считает это неудобным?»⁶⁵. Со слов Ростовцева, которые Браун цитирует в своем письме, можно предположить, что факультет, как, видимо, и сам Ростовцев, были настроены против Гримма. Более того, намерение Ростовцева напечатать свою рецензию еще до обсуждения книги Гримма на заседании факультета выглядело, вероятно, как желание заблаговременно дискредитировать его работу. Браун явно Гримма поддерживал, так как считал, что «передача ему отзыва была бы очень хорошей мерой, ввиду отношения факультета к Гримму; <...> с другой стороны, дала бы Гримму действительно возможность решить вопрос в дальнейшем при знакомстве со всеми обстоятельствами дела»⁶⁶. Сам Гримм обратился с просьбой к Брауну, так как был заинтересован в ознакомлении с отзывом Ростовцева, уже готовившего

⁶³ ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Т. 4. Д. 16081. Л. 1.

⁶⁴ ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 2372. Л. 25–26.

⁶⁵ Там же.

⁶⁶ Там же. Л. 26.

рецензию, публикация которой без ответа со стороны Grimma могла отрицательно сказаться на его научной репутации, что было крайне нежелательно ввиду предстоящей защиты.

4 марта 1902 г. Э. Д. Grimm написал письмо редактору Журнала Министерства народного просвещения (далее – ЖМНП) Э. Л. Радлову⁶⁷, договариваясь с ним о возможности получения корректуры своего ответа на отзыв М. И. Ростовцева. Содержание письма Grimma свидетельствует о том, что ему все-таки удалось предварительно ознакомиться с рецензией Ростовцева. Подготовленный Grimмом ответ на отзыв Ростовцева указывает на то, что Grimm готов был принять вызов своего оппонента и опубликовать свой ответ одновременно с его рецензией, о чем и условился с Радловым. Из письма Grimma также следует, что свой ответ он предоставил в факультет, который должен был передать его комиссии из профессоров Ф. Ф. Соколова и Г. В. Форстена для заключения. Предполагалось, как писал Grimm, что с этим заключением комиссия выступит на факультетском заседании, на котором будет решаться вопрос о допуске Grimma к диспуту. На том же заседании Grimm готовился выступить со своим ответом. Как видно, инцидент с Ростовцевым создал Grimму дополнительный барьер, помимо обычных процедур при допуске к защите соискателя.

Заседание историко-филологического факультета, на котором утверждалась докторская диссертация Э. Д. Grimma, состоялось 16 марта 1902 г.⁶⁸. Судя по протоколу этого заседания, оно прошло не так гладко, как большинство подобных заседаний⁶⁹. После того, как профессор Ф. Ф. Соколов, приват-доценты И. И. Холодняк и М. И. Ростовцев зачитали свои отзывы, Э. Д. Grimm высказал замечания относительно этих отзывов, а затем профессор Ф. Ф. Соколов выступил с докладом по поводу его замечаний. Сохранившиеся отзывы Ф. Ф. Соколова⁷⁰ и И. И. Холодняка⁷¹ в целом благоприятно оценивали диссертацию Э. Д. Grimma. Отзыв М. И. Ростовцева в приложениях к протоколу не числится. Однако на характер его содержания недвусмысленно намекает опубликованная им позже рецензия. В ней Ростовцев резко критикует концептуальные положения Grimma, на которых, в сущности, и строилась работа последнего. Поэтому на фоне такого от-

⁶⁷ ИРЛИ СПб. Ф. 252. Оп. 2. Д. 435. Л. 1–1 об.

⁶⁸ ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Т. 4. Д. 16081. Л. 31.

⁶⁹ Там же.

⁷⁰ Отзыв... 1903. С. 37–41.

⁷¹ Отзыв... 1903. С. 42–29.

зывает замечания Гримма, воссоздать которые, опять же, позволяет его напечатанный ответ Ростовцеву, были посвящены, в первую очередь, отстаиванию своей позиции. А выступление Ф. Ф. Соколова с докладом следует рассматривать, как стремление заступиться за Гримма, учитывая, что на предыдущем диспуте он одобрил его концепцию. В результате этих прений факультет все же допустил Э. Д. Гримма к диспуту.

19 марта 1902 г., т.е. через три дня после заседания факультета, М. И. Ростовцев написал письмо декану С. Ф. Платонову, в котором заявлял: «Очень прошу Вас, если Вы хотите, чтобы я был официальным оппонентом на диспуте Гримма, назначить меня последним [подчеркнуто автором. – *О. Б.*], т.е., во всяком случае, после И. И. Холодняка», а также писал: «сверх того, будучи очень признателен факультету за разрешение ознакомиться с возражениями г. Гримма, позволю себе отказаться от этого ввиду того, что мнение мое о книге слишком определено и обоснованно, чтобы его могли хотя бы модифицировать возражения докторанта»⁷². Вероятно, еще на заседании факультета М. И. Ростовцев посчитал, что его гиперкритичный отзыв послужит причиной отказа Э. Д. Гримму в допуске к защите. Возможно, не согласившись с решением факультета, Ростовцев и решил выступить на диспуте Гримма последним. Его рецензия, прочитанная после выступлений Ф. Ф. Соколова и И. И. Холодняка, преимущественно одобрявших труд Гримма, могла бы нивелировать их значение, поставить под сомнение ценность работы последнего и препятствовать получению им степени доктора. Примечательна та часть письма М. И. Ростовцева, где он выражает благодарность декану С. Ф. Платонову за разрешение ознакомиться с возражениями Э. Д. Гримма, но отказывается от этого ввиду непреклонности своего мнения. Возможно, С. Ф. Платонов предложил М. И. Ростовцеву принять во внимание возражения Э. Д. Гримма, опасаясь, что оппонирование, а вслед за тем и прения сторон, могли бы выйти за рамки принятого в научной среде академического тона выступлений.

Докторский диспут Э. Д. Гримма состоялся 31 марта 1902 г.⁷³. Пожелание М. И. Ростовцева выступать на диспуте последним было, очевидно, учтено, и, как сообщает газета «Новое время», его «возражения вызвали горячий более чем двухчасовой спор, который, однако, оставил противников при их первоначальных убеждениях»⁷⁴. Происходившее на диспуте Гримма вызвало живейший интерес у равнодушных коллег,

⁷² ОР РНБ. Ф. 585. Д. 4057. Л. 1.

⁷³ ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 16081. Л. 60.

⁷⁴ Новое время. 1902. 1 (14) апреля. № 9366.

которые делились друг с другом своими впечатлениями об этом в переписке. В частности, М. Н. Крашенинников спрашивал В. К. Ернштедта, присутствовавшего на обсуждении диссертации Гримма в день защиты: «При случае, не поделитесь ли Вашими личными впечатлениями недавнего гриммовского диспута. Из сообщения С. А. Жебелева я узнал, что Мишель Ростовцев потерпел полное поражение от Э. Д. Гримма, и недоумеваю, каким образом это произошло, так как до сих пор думал, что Мишель несравненно солиднее в римской словесности, чем не только Гримм, но и ...учитель Мишеля, знаменитый Фаддей [Ф. Ф. Зелинский. – О. Б.]. Или в данном случае – “нъсть ученикъ боліи учителя своего?”»⁷⁵. Таким образом, если корреспондент газеты констатировал, что спорившие остались каждый при своей точке зрения, то Крашенинников, со слов С. А. Жебелева, отметил «полное поражение» Ростовцева. Как видим, мнения по поводу итогов прений на диспуте, разделились. Но как бы то ни было, Гримм получил искомую степень, и против этого никто не стал возражать.

Полемика по поводу докторской диссертации Гримма продолжилась между ним и Ростовцевым на страницах ЖМНП. Как уже отмечалось, Гримм выступил с ответными возражениями на его рецензию, опубликованными вместе с ней в одном номере журнала. Суть расхождений во взглядах исследователей состояла в следующем. Ростовцев считал, что задачей Гримма было изучить историю развития римской императорской власти, а также «содействие и противодействие... цезаризма и оппозиции, чтобы иметь возможность судить о фактическом содержании власти»⁷⁶. Однако он полагал, что задуманное таким образом исследование, должно рассматриваться иначе, чем у Гримма. В таком случае он должен был «объединить результаты всех работ по администрации, военному устройству, городской жизни запада и востока, по вопросу о жизни и экономических условиях сельского населения и по финансовому строю римского государства», «переработать собранный материал и дать общую картину развития фактической власти императора», так как «только на основе этой истории фактического развития власти можно было бы построить ее конституционную историю, которой... не дают нам для целого ряда эпох ни официальные, ни официозные источники»⁷⁷. Гримм, в свою очередь, полагал, что Ростовцев «со-

⁷⁵ М. Н. Крашенинников – В. К. Ернштедту. 13 апреля 1902 г.: Скифский роман. С. 397. Прим. 10.

⁷⁶ Ростовцев. [Рецензия...]. С. 149.

⁷⁷ Там же. С. 150.

вершенно не понял задачи исследований», объясняя этим значительное число его упреков в свой адрес, а также то, что «он вследствие этого обходит молчанием почти все, что действительно составляет задачу... работы»⁷⁸. Grimm писал, что его цель «сводится к изучению того процесса, в силу которого императорская власть из чрезвычайной магистратуры эпохи Августа постепенно превращается в неограниченную власть», а «Г. Ростовцев требует от меня “картину развития фактической власти императоров”», т. е. «надо думать, историю ее влияния на всю внутреннюю жизнь империи»⁷⁹. Суров вердикт, который вынес Ростовцев Гримму в заключении рецензии: «...автор не собрал самостоятельно материала, а довольствуется пересказом данных некоторых писателей и небольшого числа современных научных работ. Надписи, поскольку они не исследованы в известных ему новейших сочинениях, исключены им из состава своего материала; не трогает он ни папирусов, ни монет. При таком отношении к делу поражает высокомерное и резкое отношение к некоторым из тех ученых трудов, с которыми автор знаком. Вопросы, подобно трактуемым автором, настолько сложны и обширны, настолько связаны со всей жизнью римского государства, что неминуемо требуют долгого и упорного собирания и переработки материала не только в области одного частного вопроса; они подготовляются рядом частных исследований и работ, словом, венчают научную жизнь исследователя, а не начинают ее»⁸⁰. Итог, подведенный Ростовцевым в рецензии на труд Гримма, свидетельствует о непризнании им научной компетентности последнего и ценности его работы. Поэтому вполне понятны причины, побудившие Гримма подвергнуть рецензию Ростовцева «самому тщательному рассмотрению», так как у непосвященного читателя она «должна вызвать представление о поразительной небрежности работы и полном верхоглядстве ее автора». Поскольку в свое время сам Grimm вынес подобный вердикт В. М. Грибовскому⁸¹, он, конечно, понимал, насколько серьезны должны быть претензии к автору, заслужившему такую строгую оценку. Считая резкую критику Ростовцева в свой адрес незаслуженной, Grimm воспринял ее как личное оскорбление. Таким образом, в возникшем споре ни Ростовцев, ни Grimm не желали уступать друг другу. И если Ростовцев поставил под сомнение профессиональные способности Гримма, то последний, по

⁷⁸ Grimm. Ответ... С. 172–173.

⁷⁹ Там же. С. 173, 174–175.

⁸⁰ Ростовцев. [Рецензия...]. С. 172.

⁸¹ Grimm. [Рецензия...]. 1897.

сути, сделал то же самое, отклонив его упреки и вернув их своему оппоненту. То обстоятельство, что Ростовцев и Гримм резко разошлись во взглядах на характер императорской власти, в общем, не должно вызывать особого удивления, учитывая, что этот вопрос оставался предметом споров на протяжении ряда десятилетий.

У каждого из участников полемики нашлись авторитетные сторонники. В. П. Бузескул назвал рецензию Ростовцева «строгой и обстоятельной»⁸². Высоко отозвался о ней Н. И. Кареев. В диалоге с археологом-античником Т. С. Варшер он заметил: «Знаете ли, за разбор книги Гримма я дал бы Ростовцеву степень доктора. – Этот разбор стоит докторской диссертации»⁸³. Гримма поддержал, как уже было сказано, Ф. Ф. Соколов, а также Ю. А. Кулаковский, отозвавшийся подробной рецензией на обе его книги. Рецензии Кулаковского предшествует пространный комментарий редактора, в котором он счел необходимым отметить, что «она была написана по вызову с его стороны и доставлена им [Кулаковским. – О. Б.] еще в марте месяце. Первоначально предполагалось поместить ее в одной книжке со статьей г. Ростовцева, но осуществить это помешали причины внешнего характера»⁸⁴. Скорее всего, по замыслу редактора, Кулаковский должен был играть роль своеобразного третейского судьи между вступившими в научный спор Гриммом и Ростовцевым. Указав на ряд частных недостатков обеих монографий Гримма, он, в целом, благоприятно отозвался о его научных трудах⁸⁵.

После того, как Гримм защитил свои «Исследования», некоторые ученые, как и сам он⁸⁶, выражали надежду на то, что у него появятся еще публикации по античной проблематике. Кулаковский подчеркивал, что Гримм «не боится широких тем, требующих многочисленных исследований», и предположил, что от него «с полной уверенностью можно ожидать новых и новых крупных работ в этой области»⁸⁷. Завершая отзыв о второй книге Гримма, Ф. Ф. Соколов писал так: «с [ней]... жалко расставаться: хотелось бы послушать его [Гримма. – О. Б.] рассказ о

⁸² Бузескул. 1931. С. 212.

⁸³ См.: Варшер. Последние годы Кареева... 1931. С. 2.

⁸⁴ Кулаковский. [Рецензия...]. С. 154. Отметим, что редактор Э. Л. Радлов мог обратиться с просьбой к Ю. А. Кулаковскому написать рецензию, так как находился с ним в товарищеских отношениях. В одном из своих писем В. П. Бузескулу Кулаковский называет Радлова своим «старшим товарищем». См.: ПФА РАН. Ф. 825. Оп. 2. Д. 114. Л. 13 об.

⁸⁵ Кулаковский. [Рецензия...]. С. 156–157.

⁸⁶ См.: Гримм. Исследования... Т. II. С. 197, 462.

⁸⁷ Кулаковский. [Рецензия...]. С. 155.

следующих императорах...»⁸⁸. Однако Гримм оставил свои штудии по Античности, хотя и продолжал преподавать историю Древнего Рима как предмет. Гримм не был узким специалистом по истории Древнего мира, его научные интересы были гораздо шире и разнообразнее. По воспоминаниям А. И. Хоментовской, одной из учениц Гримма, «в области науки он занимался и древней, и новой историей, главным образом историей Франции»⁸⁹. Позднейшие работы Гримма были посвящены проблемам Новой истории Западной Европы⁹⁰. В одной из сохранившихся анкет советского периода в графе «научная область, в которой работаете», под рубрикой «общая» Гримм отметил всеобщую историю, а под рубрикой «специальная» – историю Древнего Рима, Западной Европы и международных отношений⁹¹. Несомненной заслугой Гримма, как признавали некоторые его современники, так и позднейшие исследователи, было и остается то, что он первым среди российских ученых предпринял масштабное изучение развития римской императорской власти⁹².

В сентябре 1902 г. декан историко-филологического факультета С. Ф. Платонов ходатайствовал перед ректором А. Х. Гольмстеном за И. М. Гревса и Э. Д. Гримма: о назначении первого – исправляющим должность экстраординарного профессора, второго – экстраординарным профессором. При этом, как говорилось в письме, Платонов предлагал ректору изменить устоявшуюся практику, так как «факультет не считает нужным прибегать к конкурсу... потому что у него и помимо конкурса... достойные кандидаты, но еще и по той причине, что нельзя надеяться на успехи конкурса, если он будет объявлен. Хорошие специалисты по всеобщей истории в России все на перечет, все состоят на кафедрах, даже и не имея степени доктора, и прочно привязаны к своим университетам»⁹³. С 1 января 1903 г. Э. Д. Гримм вступил в должность экстраординарного профессора⁹⁴.

* * *

На примере Э. Д. Гримма хорошо видно, что конфликтные ситуации в академическом сообществе возникали даже тогда, когда соперни-

⁸⁸ ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9226. Л. 77.

⁸⁹ Хоментовская. 1995. С. 231.

⁹⁰ Гримм. *Мирабо...* 1908; *Он же. Революция...* 1908.; *Он же. Политические воззрения...* 1908.

⁹¹ ПФА РАН. Ф. 155. Оп. 2. Д. 192. Л. 15, 16.

⁹² См.: Фролов. 1999.; Летяев. 2002.

⁹³ ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 1750. Л. 5–9.

⁹⁴ ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9226. Л. 85, 269.

чества за вакансию как такового между учеными не велось. Как оказалось, на отношения между учеными большое влияние оказывало то, в каких условиях тот или иной ученый, в данном случае Э. Д. Гримм, занимал вакантное место. Так сложилось, что оба раза назначению Гримма на должность предшествовали довольно мрачные обстоятельства – смерть ученых, а также увольнение его коллег по университету. В восприятии коллег Гримма, он дважды воспользовался этими случаями, чтобы наладить собственную карьеру, и это осложняло его взаимоотношения с товарищами.

Изучение начального этапа научной карьеры Э. Д. Гримма показывает, что соблюдение привычных и ставших традиционными для академического сообщества процедур на пути получения соискателем ученой степени могло сопровождаться как следованием традициям, так и отходом от них. С одной стороны, Гримм, как и многие его коллеги, был в заграничных командировках, слушал лекции в ведущих европейских университетах, собирал источники для собственного исследования. С другой стороны, выбор темы диссертации был им осуществлен не в соответствии с первоначальной специализацией, а в результате осмысления изучавшихся им ранее периодов истории; его докторская диссертация была не новым исследованием, а продолжением предыдущего; между магистерским и докторским диспутами Гримма прошло менее двух лет, что на общем фоне проходивших защит того времени выглядело нетипично. Обход традиций помог Гримму сэкономить время написания диссертации, и это, в конечном счете, позволило сократить период между получением магистерской и докторской степени, что, в свою очередь, открывало возможности для дальнейшего карьерного роста. Однако некоторые коллеги Гримма сочли, что его спешка в написании докторской диссертации повлияла на ее качество, другие, напротив, восхищались его работоспособностью.

Столкновение научных интересов Э. Д. Гримма и М. И. Ростовцева привело к конфликту между ними, который начался с критической рецензии последнего на работу Гримма. На примере этого инцидента хорошо видно, что рецензирование являлось важным средством взаимного контроля членов академического сообщества. Ростовцев через практику обличения, оформленную как научная рецензия, стремился воспрепятствовать незаслуженному, по его мнению, продвижению коллеги. Конфликт разворачивался в двух плоскостях: с одной стороны, на историко-филологическом факультете, где решался вопрос о допуске Гримма к диспуту, а затем и на самом диспуте; с другой стороны, на страницах ЖМНП, в майском номере которого были размещены рецензия Ростов-

цева и ответ на нее Гримма. До диспута противоречия между учеными пытались сгладить коллеги по историко-филологическому факультету. Публикацию отзыва Ю. А. Кулаковского на обе монографии Гримма в июльском номере ЖМНП также можно рассматривать как способ разрешить конфликт между Гриммом и Ростовцевым, так как в данном случае Кулаковский выступил в качестве своеобразного третейского судьи. То, что Гримму в итоге присудили искомую степень, не положило конец его конфликту с Ростовцевым. Каждый ученый остался при своем мнении, а в дальнейшем их отношения еще более осложнились из-за политических противоречий.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Академик С. Ф. Платонов: Переписка с историками: в 2-х тт. М.: Наука, 2003. Т. 1. 388 с.
- Бузескул В. П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX–XX вв. Л.: Изд.-во Акад. наук СССР, 1931.
- Варшпер Т. С. Последние годы Кареева при большевиках [некролог] // Сегодня. Рига. 1931. 15 марта. № 74.
- Васильев А. А. Византия и арабы. Политические отношения Византии и арабов за время Аморийской династии // Записки историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета. СПб.: тип. И. Н. Скороходова, 1900. Ч. LVI.
- Васильев А. А. Византия и арабы. Политические отношения Византии и арабов за время Македонской династии // Записки историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета. СПб.: тип. И. Н. Скороходова, 1902. Ч. LXVI.
- Гримм Э. Д. Гракхи. Их жизнь и общественная деятельность. Биографический очерк Э. Д. Гримма. СПб.: тип. товарищества «Общественная польза», 1894. 96 с.
- Гримм Э. Д. Исследования по истории римской императорской власти. Римская императорская власть от Августа до Нерона. СПб., 1900. Т. I. 515 с.
- Гримм Э. Д. Исследования по истории развития римской императорской власти. Римская императорская власть от Гальбы до Марка Аврелия. СПб., 1901. Т. II. 466 с.
- Гримм Э. Д. Мирабо: Очерк из истории Великой Французской революции. М.: «Польза» В. Антик и К°, 1908. 110 с.
- Гримм Э. Д. Ответ г. Ростовцеву // Журнал Министерства Народного Просвещения. СПб.: Сенатская типография, 1902. Май. Отд. II. С. 172–209.
- Гримм Э. Д. Отчет о командировке [за границу] / Соч. Э. Гримма. Казань, 1898. 16 с.
- Гримм Э. Д. Период византийско-исламской культуры (вступительная лекция к общему курсу истории средних веков) // Ученые записки императорского Казанского университета. Казань: типо-литография университета. 1896. Декабрь. С. 129–152.

- Гримм Э. Д.* Политические воззрения Ипполита Тэна. СПб.: тип. Б. М. Вольфа, 1908. 71 с.
- Гримм Э. Д.* Революция 1848 г. во Франции. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1908. Ч. 1–2.
- Гримм Э. Д.* [Рецензия] *Грибовский В. М.* Народ и власть в византийском государстве. Опыт историко-догматического исследования. СПб.: тип. Императорской Академии наук, 1897. 23 с.
- Диспут Э. Д. Гримма // Исторический вестник. Т. LXXXI. 1900. Июль.
- Жебелев С. А.* Ученые степени в их прошлом, возрождение их в настоящем и грозящая опасность их вырождения в будущем // Очерки истории отечественной археологии. М., 2002. Вып. 3. С. 146–194.
- Жебелев С. А.* Федор Федорович Соколов [Некролог]. СПб., 1909.
- Журналы заседаний Совета Императорского С.-Петербургского университета за 1899 г. СПб.: тип. Б. М. Вольфа, 1900. № 55.
- Журналы заседаний Совета Императорского С.-Петербургского университета за 1901 г. СПб.: тип. Б. М. Вольфа, 1902. № 57.
- Журналы заседаний Совета Императорского С.-Петербургского университета за 1903 г. СПб.: тип. Б. М. Вольфа, 1904. № 59.
- Загоскин Н. П.* Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского университета (1804–1904). Казань, 1904. Ч. 1. С. 75–76.
- Институт Русской литературы Российской Академии наук (ИРЛИ РАН) Ф. 252 (фонд Э. Л. Радлова). Оп. 2. Д. 435 (Э. Д. Гримм – Э. Л. Радлову. 4 марта 1902 г.). Историческое обозрение. 1915. Т. 20.
- Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое / Подгот. текста, вступ. ст. и коммент. В. П. Золотарева. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. 382 с.
- Кулаковский Ю. А.* [Рецензия] *Гримм Э. Д.* Исследования по истории развития римской императорской власти. Т. I, II. // Журнал Министерства Народного Просвещения. СПб.: Сенатская типография, 1902. Июль. С. 154–171.
- Летяев В. А.* Восприятие римского наследия Российской наукой XIX – начала XX в. Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2002. 212 с.
- Новое время. 1902. 1 (14) апреля. № 9366.
- Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ): Ф. 27 (фонд Н. П. Анциферова). Д. 272. (Э. Д. Гримм – С. Ф. Платонову. 4 сентября 1899 г.); Ф. 585 (фонд С. Ф. Платонова). Оп. 1. Д. 4467. (Н. Н. Фирсов – С. Ф. Платонову. 28 января 1901 г.); Д. 1750 (С. Ф. Платонов – А. Х. Гольмстену. Сентябрь 1902 г.); Д. 2372. (Ф. А. Браун – С. Ф. Платонову. 10 февраля 1902 г.); Д. 4057 (М. И. Ростовцев – С. Ф. Платонову. 19 марта 1902 г.); Ф. 608 (фонд И. В. Помяловского). Оп. 1. Д. 727 (Э. Д. Гримм – И. В. Помяловскому. 9 сентября 1894 г.).
- Отзыв о диссертации Э. Д. Гримма на степень доктора Ф. Соколова // Журналы заседаний Императорского С.-Петербургского университета за 1902 г. СПб.: тип. Б. М. Вольфа, 1903. № 58. С. 37–41.
- Отзыв приват-доцента И. И. Холодняка о диссертации Э. Д. Гримма // Журналы заседаний Императорского С.-Петербургского университета за 1902 г. СПб.: тип. Б. М. Вольфа, 1903. № 58. С. 42–29.

- Петербургский филиал архива Российской Академии наук (ПФА РАН). Ф. 102 (фонд И. А. Бодуэн-де-Куртэне). Оп. 2. Д. 147 (Д. А. Корсаков – И. А. Бодуэн-де-Куртэне. 31. III (12. IV) 1899 г.); Ф. 155 (Комиссия «Наука и научные работники СССР»). Оп. 2. Д. 192; Ф. 726 (фонд И. М. Гревса). Оп. 2. Д. 80 (Э. Д. Гримм – И. М. Гревсу. 14 мая 1897 г.); Ф. 825 (фонд Н. И. Кареева). Оп. 1. Д. 91 (Н. И. Кареев – В. П. Бузескулу. 26 сентября 1899 г.); Ф. 825. Оп. 2. Д. 114 (Ю. А. Кулаковский – В. П. Бузескулу. 16 апреля 1904 г.)
- Ростовцев М. И.* [Рецензия] Гримм Э. Д. Исследования по истории развития римской императорской власти. Т. II. // Журнал Министерства Народного Просвещения. СПб.: Сенатская типография, 1902. Май. Отд. II. С. 149–172.
- Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. 1850–1864. СПб., 1867. С. 641. § 21, 22.
- Свешников А. В., Корзун В. П., Мамонтова М. А.* «Наши жизни... протекли... врозь» (к истории взаимоотношений И. М. Гревса и С. Ф. Платонова) // Диалог со временем. 2004. 12. С. 320–324.
- Скифский роман. [Сборник: О жизни и творчестве М. И. Ростовцева] / Рос. акад. наук. Ин-т всеобщ. истории РАН и др.; Под общ. ред. [и с предисл.] Г. М. Бонгард-Левина. М.: РОССПЭН, 1997. 623 с.
- Ученые записки императорского Казанского университета. Казань: типо-литография университета. 1899. Сентябрь.
- Фролов Э. Д.* Русская наука об античности: историографические очерки. СПб. Изд-во СПбГУ, 1999.
- Фролов Э. Д.* Михаил Иванович Ростовцев (1870–1952) // Портреты историков: Время и судьбы. Т. 2. Всеобщая история. Москва – Иерусалим. 2000.
- Фролов Э. Д.* Жебелев Сергей Александрович (1867–1941) // Портреты историков: Время и судьбы. Т. 2. Всеобщая история. Москва – Иерусалим. 2000.
- Хамматов Ш. С.* Изучение и преподавание медиевистики в учебных заведениях Казани: XIX – начало XX вв.: Дисс ...канд. ист. наук. Казань, 2003.
- Хоментовская А. И.* Пройденный путь // Итальянская гуманистическая эпитафия: ее судьба и проблематика / Отв. ред.: д. иск. А. Н. Немилов, д. филос. н. А. К. Горфункель. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995. 271 с.
- Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб.). Ф. 14 (фонд Петербургского университета). Оп. 1. Д. 9226 (личное дело профессора Э. Д. Гримма); Оп. 3. Т. 4. Д. 16046 (протоколы заседания историко-филологического факультета за 1893 г.); Д. 16049 (то же за 1894 г.); Д. 16069 (то же за 1899 г.); Д. 16072 (то же за 1900 г.); Д. 16076 (то же за 1901 г.); Д. 16081 (то же за 1902 г.).
- Ягудин Б. М.* Николай Алексеевич Осокин (1843–1895): [Очерк]. Казань: Изд-во КГУ, 2003. 29 с.
- Mommsen Th.* Romische Staatsrecht. Leipzig, 1887. Bd. II.
- Беяева Оксана Михайловна**, магистр Европейского университета в Санкт-Петербурге, соискатель Европейского университета в Санкт-Петербурге; obeljaeva@eu.spb.ru.

Н. Н. АЛЕВРАС, Н. В. ГРИШИНА

**РОССИЙСКАЯ ДИССЕРТАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ
В ВОСПРИЯТИИ СОВРЕМЕННОК**

К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ

В статье анализируются особенности российской диссертационной культуры второй половины XIX – начала XX вв. В сравнительном ключе рассматриваются данные статистики о количестве диссертаций, защищенных в российских и германских университетах. В фокусе внимания оказываются рефлексии современников и мнения историков об особенностях национальных диссертационных систем. Исследуются законодательные инициативы начала XX в. по вопросу изменения системы приобретения ученых степеней.

Ключевые слова: диссертационная культура, ученые степени, квалификационные требования, национальная диссертационная система.

***«Диссертационная культура» как дефиниция
терминологические и методологические соображения***

Попытки определить национальную специфику российской университетской системы, с выходом на компаративистский подход, предпринимались в последние десятилетия неоднократно. Предложенные научной общественности проекты стали заметным явлением современной науки¹. Особо подчеркнем актуальный для нас акцент этих исследований: как в европейской, так и в российской практике XIX – начала XX вв. именно университеты, а не иные научно-образовательные структуры стали местом подготовки и защиты диссертаций.

Как правило, в современных исследованиях университетов внимание фокусируется на функциях науки и научного сообщества, имеющих политико-идеологическое и социокультурное содержание. Их авторы акцентируют специфику коммуникативных моделей, обеспечивающих связь научной среды с властью и обществом. Гораздо реже в сфере их интереса оказываются проблемы, обращенные к анализу национального

¹ См.: Подготовка «профессорских кандидатов»... 1997; Маурер. 2003. С. 273–301; Она же. 2007. С. 57–78; Дмитриев. 2001. С. 296–335; Она же. 2007. С. 236–255; Александров. 2008. С. 593–632; Университет и город в России... 2009; «Быть русским по духу и европейцем по образованию»... 2009; и др.

опыта создания (взрачивания) новых поколений ученых, позволяющего раскрыть процесс преемственности не только научных знаний, но и способов организации научно-исследовательской деятельности.

Наличие известных работ в области изучения законодательной основы университетской жизни, включающих такой актуальный аспект, как нормативно-статусный порядок получения ученых степеней и званий², позволяет сделать следующий шаг в изучении университетской науки в России. Назрел момент для попыток войти в мир ценностей и историю опыта российских ученых (в данном случае – историков), выступающих акторами особого пространства науки, в границах которого происходил процесс «возделывания» ученого-историка как историка-профессионала «высшей пробы». Это пространство мы предлагаем обозначить понятием «диссертационная культура»³, поскольку путь в профессорско-преподавательскую среду и сферу университетской жизни проходил, как проходит и сейчас, через экспертно-квалификационные процедуры подготовки и защиты диссертационных исследований.

Попытаемся сформулировать самое общее определение диссертационной культуры, пригодное, как представляется, для описания различных этапов ее бытования. Под *диссертационной культурой* предлагается понимать совокупность организационных процедур, традиций и ритуалов со стороны научно-образовательных институций, экспертного сообщества и заинтересованных претендентов на достижение научного статуса, направленных на получение научно-исследовательского продукта (произведения), соответствующего принятым квалификационным требованиям и нормам профессиональной сертификации.

Пространство диссертационной культуры формируется из событийных элементов диссертационных историй и результатов творческой деятельности ее активистов, связанных с созданием не только конечного и главного ее продукта – диссертации, но и промежуточных интеллектуальных «субпродуктов». Они в соответствии с логикой принятой модели формирования будущего профессора включают последовательную систему процедур-явлений, порождавших на каждом этапе его научно-образовательной подготовки некие творческие результаты освоения профессии университетского ученого. Среди них такие, как магистерский экзамен, пробные лекции, при положительном результате дававшие право на получение статуса приват-доцента, тезисы

² См., например: Иванов. 1994; Якушев. 1998; Он же. 2001; Лаута. 2000; Горошко. 2002; Лебедева. 2005. С. 297–303.

³ Авторы впервые обосновали свой подход и наметили некоторые аспекты изучения диссертационной культуры в: Алеврас, Гришина. 2010. С. 9–21.

диссертации, речь на диссертационном диспуте, отзывы оппонентов, рецензии и отклики на диссертации, эго-произведения, описывающие различные этапы / аспекты той или иной диссертационной истории.

Размышляя над тем, каким образом «разместить» диссертационную культуру историко-научного сообщества в пространстве университетологии и истории исторической науки, авторы статьи приходят к выводу, что она может быть представлена в качестве научного феномена, задающего несколько познавательных ракурсов и подходов. Предметное поле диссертационной культуры имеет прямой выход на историю профессионализации научного сообщества, тесно сопрягается с проблематикой государственной политики в отношении высшего образования, граничит с областью изучения научных карьер, связано с системой межличностных отношений ученых, со «схоларными» и «поколенными» процессами в науке. Обозначенные аспекты целесообразно описывать с позиций задач и методов исторической антропологии, истории научной повседневности, персональной истории. Поэтому начатый нами исследовательский проект предполагается развернуть в контексты «университетского» и «научного быта»⁴. Отталкиваясь от традиций современной отечественной историографии, диссертационную культуру сообщества историков закономерно соотнести и с таким конструктом, как «историографический быт»⁵.

Поиск национальных особенностей диссертационной культуры: историографическая традиция

Национальные особенности диссертационной культуры формировались в рамках тенденций, характерных для западноевропейских научных и университетских традиций. Являясь реципиентом по отношению к культуре Европы, Россия, как известно, активно использовала потенциал ее научного опыта, адаптируя и трансформируя его в соответствии с внутренними условиями социальной жизни и культурными возможностями. В историографии сложилось достаточно стойкое убеждение относительно принципиального сходства развития российских университетов, в том числе в сфере подготовки новых поколений профессорско-преподавательских кадров, с западноевропейскими образцами⁶.

⁴ «Университетский быт» как метафорическое определение встречается в лексике историков с конца XIX в. См., например: *Мякотин*. 1897. С. 1, 33. смысловое наполнение понятия «университетский быт» у В. М. Мякотина связано, в первую очередь, именно с традициями университетской диссертационной культуры. «Университетский быт» вполне соотносим с понятием «научный быт», сформулированным Д. А. Александровым (См.: *Александров*. 1994. С. 3–22).

⁵ *Алеврас*. 2010. С. 516–534.

⁶ См., например: *Андреев*. 2009. С. 9–31.

Уже на рубеже XIX–XX вв. подчеркивалось доминирующее влияние немецкой науки на российскую научную практику. Вместе с тем участники общественной дискуссии о судьбе российских университетов акцентировали внимание на национальных особенностях науки в России⁷. В современных исследованиях также намечилось представление о формировании специфических черт российского научного и университетского опыта, в контексте которого прорисовываются контуры своеобразия национальной диссертационной системы. Интересны выводы Т. Маурер и А. Дмитриева о проявившихся в годы Первой мировой войны тенденциях, связанных с выработкой в России национальной научной традиции. Т. Маурер, фиксируя противоположность позиций российских и немецких ученых по отношению к государственной власти (критическая – у российских и лояльная – у немецких коллег), заключает, что в истории европеизации России «эпоха учебы у немцев... завершилась»⁸. А. Дмитриев, обращаясь к конкретному опыту историков и рассматривая инициативы Министерства народного просвещения (МНП) по расширению академического сотрудничества со странами-союзниками, приходит к схожему выводу: российские академические круги в этот период формировали ориентацию «на самостоятельное научное развитие»⁹.

Отметим, что выводы обоих авторов имеют отношение к науке периода Первой мировой войны, ускорившей процесс формирования национальных исследовательских сообществ. Между тем, национальные модели научно-исследовательской деятельности складывались задолго до этого. Специфика функционирования диссертационных систем различных стран вырабатывалась, в первую очередь, исходя из внутренних потенциалов, а отнюдь не под влиянием внешних обстоятельств.

Тема национального облика науки и ее составляющих элементов не может быть рассмотрена вне сравнительных характеристик. Современными авторами период с 1860-х по 1940-е гг. для европейской науки характеризуется как «эпоха диверсификации, экспансии и профессионализации университетской системы»¹⁰. При этом образцом в XIX в. была германская университетская модель¹¹. Но ориентация на германскую науку не означала отказа от национальных особенностей, характерных для научно-исследовательских моделей других стран Европы¹².

⁷ См., например: *Шершеневич*. 1897; *Сергеевич*. 1897; *Грибовский*. 1905.

⁸ *Маурер*. 2007. С. 76, 77.

⁹ *Дмитриев*. 2007. С. 240–242, 243.

¹⁰ *A History of the University in Europe*. 2004. Vol. 3. P. 55.

¹¹ *Ben-David*. 1970. P. 160–180; *Gizicky*. 1973. P. 479–480; *Сокулер*. 2001. С. 159.

¹² *A History of the University in Europe*. 2004. Vol. 3. P. 55.

Рубеж XIX–XX вв. в развитии европейской науки ознаменовался складыванием специфической ситуации, именуемой исследователями как «интернационализм патриотов»¹³. Европейская наука в этот период предстает как «результатирующая связей различных национальных академических сообществ, неравномерно распределяющих влияние и производительную деятельность в сфере науки»¹⁴. Историками подчеркивается, что каждое национальное сообщество преследовало собственные прагматические цели. В результате, даже политические разногласия, как в случае Германии и Франции после Франко-прусской войны, не становились преградой для развития взаимодействия между учеными этих стран.

В это время Германия в глазах ученых большинства европейских государств продолжала оставаться местом внедрения передовых научных методов и форм организации научных исследований. Согласно Дж. Бен-Дэвиду, лаборатории немецких университетов «становились центрами и средоточием мировых научных сообществ... К концу века лаборатории некоторых профессоров стали столь знамениты, что наиболее способные студенты со всего мира приезжали сюда на тот или иной срок. Список студентов, работавших в таких местах, зачастую включал практически всех значительных ученых следующего поколения»¹⁵.

Сложившаяся ситуация оказывала влияние и на развитие национальных диссертационных систем. Особое значение приобретали командировки, основной целью которых, помимо работы в архивах и библиотеках, было знакомство с творческой лабораторией европейских научных светил¹⁶. На рубеже XIX–XX вв. выросла заинтересованность государства в таких поездках¹⁷, усилился контроль министерских струк-

¹³ Термин был предложен на рубеже 1970–1980-х гг. Б. Шрёдер-Гудехус. Подробнее см.: *Дмитриев*. 2001. С. 296–335.

¹⁴ Там же. С. 297–298.

¹⁵ *Ben-David*. 1971. P. 124. Важно отметить, что с конца XIX в., а особенно в первые десятилетия XX в., германская наука вошла в кризисное состояние, что сказалось на снижении ее авторитета в дальнейшем. См.: *A History of the University in Europe*. 2004. Vol. 3. P. 57. Подробнее о кризисе университетов в Германии см.: *Рингер*. 2008. Главы 6 и 7. С. 364–520.

¹⁶ Так, П. Г. Виноградов писал своему учителю В. И. Герье, что учеба у немецких профессоров должна состоять в «усвоении метода». *Антощенко*. 2010. С. 92. Примерно те же мотивы звучали в письмах из-за границы Н. И. Кареева, П. Г. Виноградова, М. С. Корелина, Р. Ю. Виппера и других учеников В. И. Герье: *Цыганков*. 2010. С. 110–113, 150–172, 250–252 и далее.

¹⁷ По подсчетам исследователей в начале XX в. около 10–15% всех «оставленных» российскими университетами для приготовления к профессорскому званию отправлялись в заграничные командировки. Кроме того, «с целью изоляции от радикального отечественного студенчества по проекту министра просвещения

тур за отчетностью магистрантов по итогам заграничных поездок и своевременным представлением диссертационного исследования.

В отечественной историографии, как отмечалось, преобладает интерес к нормативной основе приобретения ученых степеней. Нас же интересуют социальные, историко-культурные и собственно научные характеристики российской диссертационной системы / культуры через изучение ее организационно-научного потенциала и эффективности. Тем не менее, вполне можно обозначить некоторые актуальные вопросы, которые, так или иначе, вычлняются из общего информационного ресурса имеющихся источников и исследовательской литературы, затрагивающих нашу проблему или смежные с ней аспекты.

Начнем с простого, но наиболее впечатляющего сравнения – со статистики защищенных диссертаций¹⁸. Еще современники, например, казанский ученый-юрист Г. Ф. Шершеневич (1897), а еще более выразительно современные исследователи¹⁹, отметили факт существенно меньшего числа диссертаций, защищенных в российских университетах, в сравнении с западноевропейскими показателями. Например, по данным Т. М. Бона, только с 1860 по 1909 гг. «немецкими историками в университетах было написано 3976 диссертаций»²⁰. По нашим подсчетам российскими историками с 1805 по 1919 гг. было защищено всего 275 диссертаций, из них 180 магистерских и 95 докторских (см. Табл. 1).

Из общего числа защищенных в 1805–1919 гг. диссертаций (2939) на историко-филологические факультеты российских университетов приходилось 862 работы, что составляло 29,3%²¹. Гуманитарии занимали второе место по числу защит после естественных факультетов. Ученые-историки высшей квалификации составили немногим более 30% от общей численности диссертаций историко-филологических факультетов²². Произведенные нами подсчеты диссертаций, защищенных историками,

Л. А. Кассо именно в Германии создавались с 1911 г. специальные институты для подготовки таких кандидатов в профессора по римскому праву, латыни и естественным наукам». См.: *Иванов*. 1991. С. 214–217; *Дмитриев*. 2001. С. 296–335.

¹⁸ В основу наших расчетов положены данные, собранные и обработанные выдающимся историком-библиографом Г. Г. Кричевским. Имеется в виду его справочник, создание которого можно приравнять к научному подвигу ученого. См.: *Кричевский*. 1984. Рукопись. См. также: *Кричевский*. 1985. С. 141–153.

¹⁹ В частности, немецкий историк Т. М. Бон (1998, 2005).

²⁰ *Бон*. 2005. С. 36–37.

²¹ См.: *Кричевский Г. Г.* 1985. С. 150; *Якушев А. Н., Кузнецов А. В.* С. 8–9.

²² Подсчитано нами по данным справочника *Г. Г. Кричевского*. Но среди гуманитариев – магистров и докторов – Кричевский не дифференцировал отдельные специальности.

позволяют уточнить масштаб и потенциал собственно исторической отрасли. Отдельно можно определить соотношение диссертационных исследований, выполненных в различных университетах.

Таблица 1

ЧИСЛО ДИССЕРТАЦИЙ, ЗАЩИЩЕННЫХ В РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ
ПО ИСТОРИЧЕСКИМ РАЗРЯДАМ. 1805–1919 гг.

Университеты	Магистерские диссертации			Докторские диссертации		
	Исторические науки	Русская история	Всеобщая история	Исторические науки, политическая экономия и статистика	Русская история	Всеобщая история
Санкт-Петербургский		34	29	1	7 (из них 1 историческая, прошедшая по разряду «философия») ²³	22 (из них 1, минуя магистерство, и 1 историческая, но прошедшая по разряду «философия») ²⁴ .
Московский		23	20	6	14	11 (из них 2, минуя магистерство) ²⁵ .
Дерптский	2		12			6
Казанский	1	6	3		6	2
Новороссийский (Одесса)		1			2	
Харьковский		6	10	2	2	2

²³ Дисс. Н. Г. Устрялова «О системе прагматической русской истории».

²⁴ Имеется в виду диссертация Н. М. Бубнова, защитившего по разряду всеобщей истории в мае 1891 г. работу «Сборник писем Герберта, как исторический источник (983–997 гг.): Критическая монография по рукописям». За нее он получил докторскую степень, минуя магистерство. А также диссертация М. С. Куторги «Колена и сословия аттические», прошедшая по разряду «философия».

²⁵ Речь о диссертационных исследованиях М. С. Корелина «Ранний итальянский гуманизм и его историография: Критическое исследование» (1890 г.) и Р. Ю. Витпера «Влияние Кальвина и кальвинизма на политические учения и движения XVI века: Церковь и государство в Женеве XVI века в эпоху кальвинизма» (1894 г.).

Университет св. Владимира (Киев)		23	10		9	3
Итого	3	93	84	9	40	46
Всего	180			95		

ПРИМЕЧАНИЕ. Составлено по: *Кричевский Г. Г.* 1984. Рукопись. Дальнейшего уточнения требуют данные по диссертациям, защищенным в первой половине XIX в.

В отличие от западноевропейской традиции в России процесс подготовки и защиты диссертаций вызвал создание разветвленной системы разрядов, в соответствии с которыми присуждались ученые степени. Причем количество разрядов со временем только возрастало: 14 разрядов существовало по Положению 1819 г., 22 разряда – по Положениям 1837 и 1844 гг., 39 разрядов – по Положению 1864 г.²⁶ Г. Г. Кричевский подчеркивал, что в западноевропейском опыте «не было аналогии этому; там ученые степени именовались только по факультету». На его взгляд, университеты России, вырабатывая сложную классификацию разрядов, «находились в более выгодном положении, так как отражение научной дифференциации научных дисциплин способствовало своевременной перегруппировке кафедр, необходимой для усовершенствования университетского преподавания, и позволило учитывать потребности подготовки научных кадров»²⁷. В этом замечании известного исследователя вскрывается особенность организации российской науки и, в том числе, диссертационной системы, заметная до сих пор.

Современники о российской диссертационной системе: мемуарные, эпистолярные и публицистические размышления

Далее не вдаваясь в интерпретационные детали приведенной статистической информации, вернемся к вопросу постановки дел в области подготовки диссертаций. В этой связи важным является обращение к мнениям современников, которые, так или иначе, выразили свое отношение к сложившейся во второй половине XIX – начале XX вв. системе подготовки ученых высшей квалификации. Возможно, это позволит нащупать ответы на вопросы, связанные с небольшим, в сравнении с показателями западноевропейских стран, количеством подготовленных и защищенных в университетах России диссертаций.

В высказываниях многих ученых XIX в. преобладает критическое восприятие сложившихся в России условий для осуществления научной деятельности, в которых оказывались претенденты «на получение про-

²⁶ *Иванов.* 1994. С. 39.

²⁷ *Кричевский.* 1985. С. 144.

фессорского звания». Неблагоприятным, в частности, считался тот факт, что штатных единиц для лиц, оставляемых при университете, нормативными положениями не предусматривалось. Известный химик и физик И. А. Каблуков в своей мемуарной статье фиксировал внимание на том, что к концу XIX в. в университетах устойчивой традиции закрепления за профессурой выпускников в целях «подготовки новых кадров» не сложилось. «Оставление кандидата» происходило по личной инициативе того или другого профессора и «зависело от того, насколько сам профессор интересовался подготовкой новых кадров». Поэтому, по мнению ученого, число оставленных кандидатов сосредоточивалось у профессоров «крупной величины», в то время как на отдельных кафедрах «в течение ряда лет не было ни одного оставленного»²⁸. Эти же мотивы слышатся в статьях Г. Ф. Шершеневича и В. И. Сергеевича, написанных в связи с начавшимся в конце 1890-х гг. обсуждением вопроса о перспективах возможного изменения нормативных основ присуждения ученых степеней. Первый из них подчеркивал, обрисовывая общую ситуацию, что «у нас ощущается страшный недостаток ученых, кафедры пустуют даже в столицах». Второй обращал внимание на число ученых степеней в России, сравнивая с ситуацией в Германии и констатируя «обилие ученых сил там и недостаток их у нас»²⁹.

Тревога по поводу «крайнего недостатка в подготовленных молодых людях для замещения вакантных кафедр в университетах» вполне ощутима в предписании МНП (май 1901 г.) попечителю Московского учебного округа. Ему вменялось в обязанность собрать сведения о сложившейся ситуации на историко-филологическом, физико-математическом и юридическом факультетах Московского университета³⁰.

Среди неблагоприятных факторов отмечалось также, что министерская стипендия или выплаты из благотворительных фондов были доступны далеко не всем соискателям. Для историков-«всеобщников», которые не могли рассчитывать на успех в защите диссертации без привлечения материалов зарубежных библиотек и архивов, актуальным являлось получение средств от МНП для соответствующих командировок. Возможность же положительного решения министерства по поводу заграничных командировок и стажировок не была гарантирована.

²⁸ Каблуков. 1935. С. 97.

²⁹ Шершеневич. 1897. С. 28; Сергеевич. 1897. С. 18.

³⁰ ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 476. Д. 131. Л. 3–3 об. См. также полемику М. К. Любавского и В. Ф. Миллера в экстренном заседании историко-филологического факультета (март 1903 г.) о принципах формирования штатов университетских преподавателей в связи с недостатком профессоров // Там же. Д. 30. Л. 22–27.

Подготовка диссертации в целом требовала существенных материальных затрат. Организационные и финансовые трудности, сопровождавшие практику работы над диссертацией дореволюционного аспиранта, осложненные туманными перспективами получения места в университетской системе, длительный путь к диссертации – от выбора темы до ее защиты – существенно снижали мотивацию молодых специалистов к научной деятельности³¹. Характерный пример – длительные размышления историка А. Е. Преснякова относительно жизненного выбора в момент завершения им университетского курса, когда на «чаши весов» была поставлена научная карьера и деятельность, обеспечивающая материальное благополучие его молодой семьи. Прогноз собственной «ученой карьеры» и профессорства выглядел пессимистичным. По его расчетам времени достижения профессорства³², а также подсчетам материального достатка от научной карьеры следовало, что «ни магистерство, ни докторство, ни доцентура не составляют того, что мы зовем “положением”, не дают обеспечения. Их практичность в рекламе – в большей легкости попасть в различные столичные учебные заведения. Вот что такое ученая карьера с ее житейской стороны»³³. Упомянутый в письме П. Н. Милюков может служить примером сложностей в реализации личного научного потенциала в рамках предлагаемых нормативными положениями и университетскими традициями условий³⁴.

Затронутая проблема, сопряженная, кроме отмеченного выше, с трудностями житейского и бытового происхождения, провоцировала ученых-современников обсуждать тему соотношения прагматических

³¹ Подробнее см.: *Гришина*. 2009. С. 152–177.

³² Объясняя принятую процедуру замещения профессора по кафедре и ситуацию на кафедре русской истории Петербургского университета, А. Е. Пресняков в письме (от 7 декабря 1890 г.) к матери, видевшей перспективы карьеры сына в получении профессорства, с иронией писал: «<...> Так после Замысловского стал профессором Платонов, и я надеюсь, что не доживу до того, чтобы в Петербургском университете был другой профессор русской истории, так как это значит, что Платонов скончался или ушел <...> если я даже буду доцентом, то после Платонова – приблизительно десятым или одиннадцатым кандидатом на кафедру, а это мыльный пузырь». При этом он отметил «везение» С. Ф. Платонова, в 30-летнем возрасте ставшего профессором и читавшего основной курс русской истории, и иную ситуацию в случае П. Н. Милюкова, «человека с крупным именем», которому «университет не дал еще ничего; он ничего не получал и не получает». См.: Александр Евгеньевич Пресняков. Письма и дневники. 2005. С. 66, 67.

³³ Там же. С. 66.

³⁴ Особенно информативными в отношении истории поиска штатного места с перспективой профессорства для Милюкова являются письма ему от Платонова (начало 1891 г.). См.: Письма русских историков... 2003. С. 248–260.

соображений при выборе научной стези и бескорыстного служения науке. Так, И. А. Каблуков на склоне своей научной деятельности признавался, что не «материальные выгоды», а «любовь к науке» стали основой избранной им профессорской стези и работы над диссертациями³⁵. Подобная позиция характерна для многих молодых историков того времени. Так, поиски собственной профессиональной дороги А. Е. Пресняковым, считавшим, что «настоящая ученая карьера» реализуется исключительно в результатах творческой работы, признаваемых научной общественностью как научное достижение, в конечном итоге, завершились в пользу научного выбора. Он им был сделан не только на основе «любви к науке», но и постепенно приобретаемой уверенности в значимости своей научной деятельности³⁶.

Ученым-современникам было ясно, конечно, что диссертации, кроме научных задач, выполняли квалификационную функцию, создавая возможность обладателям ученых степеней продвигаться по карьерной лестнице. Поэтому иногда (как, например, у А. Е. Преснякова) собственно «ученая карьера», связанная с получением степеней и званий, противопоставлялась свободному научному творчеству и высокому профессионализму ученого. Но вместе с тем, конкретные диссертационные истории, а также общая картина, характерная для российской диссертационной практики, свидетельствуют о складывании такой ее специфической черты как «высокие» требования, предъявляемые в российских университетах к подготовке и защите диссертаций³⁷.

В «высоких» требованиях к диссертациям можно видеть две стороны: одна связана с выработкой в научной среде представлений о качестве, или профессиональном уровне выполнения диссертационного исследования, другая – касается системы норм, правил и традиций, которые порождали практику экспертных оценок, становящихся, в свою очередь, основой присуждения ученой степени. Смысл и характер требований к диссертациям представлялся многим современникам отличии-

³⁵ Каблуков. 1935. С. 97.

³⁶ Характерно еще одно суждение историка в письме матери (11 октября 1899 г.) по поводу соотношения научной деятельности и «ученой карьеры»: «<...> Надо стать в самом деле ценной величиной, и тогда более широкий путь сам собою откроется. А иначе не стоит. Неужели ты, мамочка, хотела бы видеть твоего Саню профессором, который пролез в это звание с трудами, написанными ради получения ученой степени, но посредственного достоинства? <...>». См.: Александр Евгеньевич Пресняков. Письма и дневники. 2005. С. 306.

³⁷ Об этом говорил еще Г. Ф. Шершеневич; этот момент неоднократно подчеркивается в трудах современных исследователей (Г. Г. Кричевским, А. Е. Ивановым, Л. И. Лебедевой и др.).

тельной чертой российской диссертационной системы. Г. Ф. Шершеневич, отмечая организационные и научные основания получения ученых степеней, позволил любопытную «проговорку»: своими предложениями он пытался минимизировать появление «ничтожных в научном отношении работ, подобных громадному большинству заграничных диссертаций»³⁸. В этом с ним солидарен его оппонент В. И. Сергеевич, отмечавший пониженные научные требования к диссертациям в Германии, «где степень доктора давно потеряла строго ученое значение <...> В Германии множество докторов, вся ученость которых исчерпывается одной никому не известной и не имеющей научного значения диссертацией»³⁹. Такие высказывания можно воспринимать как соответствующие представлениям многих ученых-современников о существенно ином – более высоком – научном качестве диссертаций в России в сравнении с европейской практикой. Но при этом тот же Шершеневич видел слабые стороны усложненных в российских университетах процедур подготовки и защиты диссертаций и «высоких» требований, имевших не только сущностно-содержательную основу, но и бюрократическую подоплеку. По его мнению, силы российских соискателей в значительной мере тратились на подготовку диссертационных исследований, и нередко их научная продукция ограничивалась двумя диссертациями. Научная же репутация западных коллег создавалась на основе последующих за диссертациями исследований, которые апробировались в научном обществе посредством научной критики и экспертных оценок. Автор при этом обратил внимание на то, что в Германии уже с середины XIX в. была введена практика защиты только одной диссертации⁴⁰.

Голоса критиков существующей системы присуждения ученых степеней в конце XIX в. слышались все отчетливее. На рубеже XIX–XX вв. назрела необходимость подготовки нового университетского устава, а также внесения изменений в диссертационные требования.

Диссертационная система в законодательных инициативах начала XX века

Мнения современников, ратовавших за отказ от двухуровневой диссертационной системы и предложения реформировать ее по западноевропейскому образцу, стали основой обсуждения проблем высшего образования и подготовки кадров в этой системе в начале XX века. Первым заметным мероприятием в этом плане стала работа специальной Ко-

³⁸ См.: Шершеневич. 1897. С. 32.

³⁹ Сергеевич. 1897. С. 8, 18.

⁴⁰ Там же. С. 4.

миссии по преобразованию высших учебных заведений, которая подвела свои итоги в 1903 г. Материалы Комиссии свидетельствуют о том, что ее участники, будь-то «архаисты», «традиционалисты» или «новаторы»⁴¹, в той или иной мере апеллировали к европейскому, в первую очередь германскому, стандарту присуждения ученых степеней.

«Новаторы», ориентируясь на европейский опыт, предлагали ограничиться одной докторской степенью. В диссертации они видели лишь квалификационную работу. По их мнению, представление одной диссертации могло бы освободить ученому время для занятия серьезной наукой, а также, учитывая сохраняющийся дефицит профессорских кадров, ускорило бы их подготовку для замещения вакантных кафедр. Один из «новаторов» Б. В. Струве, директор Константиновского межведомственного института, представлявший в Комиссии Министерство юстиции, считал, что «молодому человеку, имеющему склонность к научной работе и творческие способности, не приходится в Германии проходить через целый лес экзаменов и обязательных работ, способных только подавить творческий процесс самостоятельной мысли. Русский ученый, потратив свои молодые силы на преодоление формальных препятствий для достижения кафедры, зачастую теряет всякую энергию для продолжения ученых трудов и почти прекращает свою научную деятельность по получении степени доктора»⁴². «Новаторы» считали, что в Европе докторская степень становилась лишь началом научного пути, в то время как в России после ее получения ученый зачастую начинал поживать на лаврах, значительно сокращая свою исследовательскую активность. Это мнение, как видим, во многом созвучно идеям Г. Ф. Шершеневича.

«Традиционалисты», выступая за сохранение двухступенчатой системы, введенной уставом 1884 г., также сравнивали ситуации в российской и в западноевропейской науке, правда, тональность их выступлений была несколько иной. И. Я. Гурлянд, профессор Демидовского юридического лицея в Ярославле (от Министерства внутренних дел), считал, что «в России, где по сравнению с Западной Европой, отсутствуют другие факторы, способствующие развитию научной деятельности, сохранение двух ученых степеней, как некоторого стимула к научной работе, является вполне целесообразным»⁴³. В Европе значимую роль играли «развитое общественное мнение и серьезно поставленная

⁴¹ Подобная типология участников дискуссии была предложена А. Е. Ивановым. 1994. С. 47. См. также: Якушев А. Н., Казначеев Д. А. 2006. С. 162–177.

⁴² Труды высочайше учрежденной Комиссии по преобразованию высших учебных заведений. 1903. Вып. II. С. 83.

⁴³ Там же. С. 64.

ученая критика», а соответственно, более высокий уровень научной экспертизы. Они становились гарантами правильного выбора преподавателей; в то время как в России эту функцию выполняли магистерская и докторская диссертации. И. Я. Гурлянду вторил В. Г. Щеглов, также представлявший Демидовский юридический лицей. Он утверждал, что «в России при скудности научных сил и малочисленности кандидатов в профессора, ученые степени занимают важное место в числе условий для замещения кафедр в университетах, <...> ученая степень представляет собой высший образовательный ценз»⁴⁴.

«Архаисты» выступали за возвращение еще и степени «кандидата». Они выдвигали схожие с «традиционалистами» аргументы, которые сводились к тому, что диссертации необходимы для тех, кто «хочет и может заниматься в университете преподаванием и наукой». Интересен взгляд на проблему присуждения ученых степеней А. С. Будиловича, представлявшего в Комиссии МНП, которого современные исследователи причисляют к «архаистам». Видный ученый, обосновывая свою позицию по данному вопросу, обратился к европейскому опыту наиболее детально. Он отметил, что три ученые степени (*baccalaureus*, *magister* или *licentiatus*, *doctor*) зародились еще в европейских средневековых университетах. Они сохранялись на Западе до конца XVIII – начала XIX века, когда «были перенесены в наш университетский устав 1804 г. под названием: 1) кандидат <...>, 2) магистр и 3) доктор». В дальнейшем число ученых степеней в Европе стало неуклонно сокращаться. Наиболее явно этот процесс был выражен в германских университетах. «Ныне средневековые формы этого института всего лучше сохранились в Англии. Во Франции тоже сохранились названия трех старых степеней: *bachelier*, *licencié*, *docteur*; но первое чаще употребляется в значении лица, окончившего курс средней школы и сдавшего в университет приемный экзамен; второе соответствует старинным *licentiatus* и *magister*, а третье – старинному *doctor*». При этом Будилович был далек от мысли связывать число ученых степеней с качеством результатов ученых изысканий в той или иной национальной научной системе. «Если бы число ученых степеней было особенно тесно связано с постановкою университетского преподавания и научной производительности, то должно было бы, следовательно, ожидать, что таковая всего сильнее в Англии, затем во Франции и Италии, а всего ниже в Германии. <...> Между тем, всем известно, что это – не так. В частности же никто не станет отрицать, что научная производительность университетов немецких и культурное их

⁴⁴ Там же. С. 74.

влияние не только не уступают университетам английским, французским, итальянским, но пожалуй и превосходит последние»⁴⁵. В результате Будилович предлагал вносить изменения в российскую систему присуждения ученых степеней и званий, не столько ориентируясь на европейский опыт, который и так лег в основу всех предыдущих уставов, сколько исходя из потребностей национальной науки.

Некоторые выводы комиссии были малоутешительными для российской науки: «Научный труд для многих талантливых молодых ученых <...> превратился в научный аскетизм. Посему и университетские кабинеты, и лаборатории значительно опустели, а научная работа в них увяла <...> Посему научные силы России и поныне все еще малочисленны по сравнению со странами Запада»⁴⁶. Эти наблюдения совпадали с мнениями многих представителей университетской среды, отмечавших негибкую кадровую политику, не допускавшую право занятия должностей без обладания ученой степенью. Проблема соотношения ученых степеней с существующими университетскими должностями неоднократно поднималась во время заседаний. С одной стороны, эта жесткая связанность с фактором «остепененности» становилась барьером на пути замещения освободившихся кафедр и порождала кадровый голод, а, с другой, эту традицию участники дискуссии оценивали как еще одну особенность национальной научной культуры. «...Нигде на Западе ученая степень не имеет того практического значения, которое она имеет у нас. Право на получение профессорской кафедры там отнюдь не стоит в зависимости от обладания или необладания определенной ученой степенью, – по крайней мере стоит совсем не в той зависимости от него, как в России», – отмечал А. Н. Деревницкий, представлявший в Комиссии Новороссийский университет. Он считал опасным устранение магистерской степени, как и облегчение ее получения, поскольку она становилась «лишней гарантией» в вопросе о замещении кафедры⁴⁷.

Полемический накал сопровождал и вопрос о методике оставления молодых людей при кафедрах «для приготовления к профессорскому званию». В заглавном докладе, подготовленном В. Г. Щегловым, была высказана мысль об отсутствии в России научных школ, а значит выработанной системы рекрутирования молодых научных кадров. Многие участники Комиссии не согласились с выводом Щеглова. И. Я. Гурлянд считал, что в процессе «оставления» основное значение имеет нефор-

⁴⁵ Там же. С. 61–63.

⁴⁶ Труды высочайше учрежденной Комиссии по преобразованию высших учебных заведений. 1903. Вып. IV. С. 132–133.

⁴⁷ Там же. Вып. II. С. 69.

мальное общение и личное взаимодействие, устанавливающее «связь между профессором-специалистом и стипендиатом», которая «образует школу последовательную и систематическую». Примерами такой связи он считал школу, сложившуюся «вокруг профессора Киевского университета В. Б. Антоновича», и школу «изучения Московской Руси у профессора В. О. Ключевского»⁴⁸. А. С. Будилович также отмечал, что российская наука может гордиться целым рядом школ. При этом он считал, что работа с молодыми учеными должна выйти за рамки замкнутого взаимодействия с учителем и проводиться на конкурсной основе. «Поддержание принципа школы» через сотрудничество профессора и кандидата могло «выродиться в узость направления или изолированность от общего движения данной науки в России и за границей»⁴⁹.

Голосование по вопросам о количестве ученых степеней и диссертаций выявило, что члены Комиссии не пришли к единому мнению. Большинство членов Комиссии выступило за две ученые степени и допуск к приобретению первой из них сразу после окончания вуза. По вопросу о том, сколько должно быть подготовлено соискателями диссертаций – одна или две, голоса разделились поровну⁵⁰.

Спустя несколько лет, вопрос о количестве ученых степеней возник с новой силой. В 1906 г. Комиссия под председательством министра народного просвещения графа И. И. Толстого вновь констатировала, что у российской профессуры нет единого мнения относительно идеальной диссертационной системы. И. М. Гревс, В. М. Хвостов, М. Я. Пергамент, И. А. Базанов, Г. Ф. Вороной считали оптимальной двухступенчатую (кандидат, доктор) систему. Их оппонентами стали В. А. Стеклов, В. М. Истрин, Д. А. Гольдгаммер, выступавшие за сохранение прежней системы магистерства и докторства. «Архаистом» в этой комиссии стал Н. М. Бубнов, который считал, что необходимо было признать три ученые степени (кандидат, магистр и доктор)⁵¹.

Общий вывод Комиссии 1906 г. состоял в том, что целесообразно учредить две ученые степени (кандидат и доктор), т.е. магистерская диссертация заменялась кандидатским сочинением, суть которого состояла в умелой компиляции научной литературы. Защита кандидатской диссертации должна была проводиться в закрытом университетском заседании, для презентации докторской – предполагался публичный диспут⁵².

⁴⁸ Там же. С. 44.

⁴⁹ Там же. С. 43, 46.

⁵⁰ Там же. С. 93, 94.

⁵¹ Труды Совещания профессоров... 1906. С. 16–17.

⁵² Там же. С. 19–25.

Доводы в пользу уничтожения магистерства опять-таки черпались из практики европейских университетов. Профессор Харьковского университета В. Я. Данилевский в «особом мнении» писал о *«своевременности уничтожения магистерской степени»*: «Вообще говоря, академическое значение ученых степеней на Западе, как показателя формального права на кафедру, постепенно все более и более падает. Подобную же инволюцию или переход к рудиментарному значению, по-видимому, претерпевают ученые степени в указанном смысле – и у нас. <...> Но рядом с этим следовало бы обставить получение степени *кандидата* такими условиями, которые дали бы возможность <...> диагностировать способности и пригодность аспиранта к предстоящей ученой карьере. Этим путем можно было бы своевременно предотвратить опасность неправильного выбора профессиональной деятельности; решение же этого вопроса на докторском испытании или диспуте было бы слишком запоздалым и могло бы иной раз вызвать коллизию между интересами дела науки и элементарным чувством гуманности»⁵³.

Слухи о скорой отмене магистерской степени быстро распространились. Так, А. Е. Пресняков в одном из писем жене в 1906 г. писал об этом как о свершившемся факте: «<...> Теперь отменяются магистерские диссертации. Ученая степень будет одна – докторская»⁵⁴.

***Университетская политика и «высокие требования»
к диссертационным исследованиям в российской практике:
несколько эпизодов из научной жизни рубежа XIX – XX вв.***

Понимание ситуации, связанной с российской спецификой диссертационной системы и процедурной стороной получения ученых степеней, вытекает из характера общего контекста университетской политики российской власти. Складывавшаяся национальная диссертационная система с ее «высокими» требованиями и бюрократическими препонами на пути к обретению соискателем ученых степеней места в университетской системе, дала отмеченный уже «статистический» результат: число лиц с официальным «ученым» статусом в сравнении с западноевропейской практикой было чрезвычайно мало. Вероятно, за этим фактом стояло, прежде всего, нежелание (или невозможность в силу экономических причин) российской власти нести финансовые затраты на университетскую культуру, которая создавала в лице ученых потенциально опасную для власти оппозицию – ее идеологического и культурного конкурента. В отличие от преобладающей части немецкой профес-

⁵³ Там же. С. 241–243.

⁵⁴ Александр Евгеньевич Пресняков. Письма и дневники. 2005. С. 544.

суры, сформировавшейся в традициях государственно-патриотической программы⁵⁵, в российских университетах, особенно в среде научной молодежи, доминировали либеральные и демократические настроения.

В России, на наш взгляд, создавался особый «диссертационный режим». С одной стороны, он вынужден был соответствовать основному политическому курсу правительства в области высшего образования и академической науки. С другой – был ориентирован профессорской корпорацией на поиск возможностей приспособить его к научным задачам подготовки высококлассных специалистов. По первому моменту интересно определение Д. А. Александровым специфической функции системы присуждения ученых степеней. В частности, он подчеркивает отличающиеся от университетских традиций особенности научного быта Императорской Академии наук. Отмечая, что Академия наук не стала, как это можно было бы предположить, оплотом консерватизма, Александров поясняет причины индифферентности к ученым званиям, демонстрируемой представителями академической науки: «академики были лишены главного механизма власти университетских мандаринов – они не могли присуждать научные звания магистров и докторов»⁵⁶. Характерно в контексте этого суждения обращение Александра к образам двух историков: С. Ф. Платонова и А. С. Лаппо-Данилевского как антиподов в рамках типологического подхода, предложенного Ф. Рингером при изучении академического сообщества в Германии. Первый из них – успешный («полный») университетский профессор, лояльный власти (учитель детей Александра III и обладатель семи орденов), выступает как образцовый «ортодоксальный мандарин». Второй – адъюнкт Академии наук, не имевший докторской степени, ученый либеральной политической ориентации, ставивший идеалы науки выше карьерных соображений, предстает образцовым «модернистом»⁵⁷.

Полагая, что в российском варианте научной культуры классических «мандаринов» было, в сравнении с немецким аналогом, меньше, хотя бы по критерию политических настроений, отметим, что общее соотношение этих двух типов университетских ученых еще предстоит установить. Но подчеркнем, одновременно, методологическую актуальность обозначенной типологической границы, проведенной в немецкой и российской историографии, не только для идентификации научных сообществ, но и для понимания специфики диссертационной системы.

⁵⁵ См.: Рингер. 2008.

⁵⁶ Александров. 2008. С. 620.

⁵⁷ Там же. С. 621.

Из вышесказанного вытекает, что система присуждения ученых степеней в дореволюционной России может рассматриваться как инструмент государственной политики, регулирующий состояние научного сообщества – от численности и материального положения до его политических настроений. Но между этими крайними параметрами / характеристиками находится существенный элемент университетской системы и важнейшая функция научной корпорации: речь идет собственно о культуре «взращивания» ученого. Этот аспект позволяет обратиться к другой стороне «диссертационного режима», в связи с тем, что регулирование процесса «взращивания», практически, выходило за пределы компетенции власти. В этой связи, тема «высоких требований» к диссертациям российских соискателей может быть спроецирована в область творческой деятельности – и молодого ученого, создающего диссертацию и готовящегося к получению ученого звания, прежде всего магистра, и представителя старшего поколения, претендовавшего на докторство и зачастую выступавшего в роли наставника-учителя.

Многочисленные примеры диссертаций российских историков изучаемого времени – незаурядных по проблематике, инновационных по методологии, оригинальных по замыслу и фундаментальных по источниковому обеспечению – дают основание рассматривать их в качестве значимых явлений в истории отечественной исторической науки. Профессорская корпорация российских университетов сумела использовать как условия официально-бюрократического происхождения, так и повышенные требования к содержательной стороне диссертаций, а также к процедуре их экспертных оценок, в целях подготовки ученых глубокой и разносторонней научной эрудиции, ориентированных при создании диссертационных исследований на поиск нового знания.

Сюжет о «качестве» и научном уровне диссертаций выводит на обсуждаемые на рубеже XIX–XX вв. проблемы подготовки кадров ученых, организации диссертационных диспутов и системы присуждения ученых степеней. Особое место занимал вопрос о соответствии содержания и, как бы сейчас сказали, методологического инструментария защищаемых работ выдвигаемым экспертным оценкам, в связи с чем актуальность приобрела проблема диссертационного диспута как формы и традиции репрезентации диссертационной продукции. Ряд защит в конце XIX в. имели в своей основе конфликтные ситуации, некоторые из диссертационных историй приобрели скандальный характер⁵⁸.

⁵⁸ О конфликтах и скандалах в науке см.: *Шпёрхазе*. 2009. С. 9–16; *Свейникова*. 2005. С. 231–262; *Он же*. 2009. С. 42–72.

Конфликт высокого накала назрел в Московском университете в связи с известной защитой магистерской диссертации П. Н. Милюковым. Описание диспута и отношение к конфликтной ситуации оставили ряд современников; проблема нашла отражение в историографических исследованиях⁵⁹. Подчеркнем, что на примере случая Милюкова весьма выразительно выглядит связь проблем получения статуса ученого со стремлением соискателей к интенсивному карьерному росту. Такой тип стратегии мог обеспечить претенденту на ученую степень быстрое достижение высокого рейтинга и места в иерархической структуре университетской науки, а также – устойчивое материальное положение.

В случае с талантливым П. Н. Милюковым понятнее становится стремление амбициозного соискателя создать диссертацию, научный уровень которой позволял бы, минуя ступень магистерства, достичь докторства и профессорства. В этой истории, некоторым образом, просматриваются, идущие от молодых ученых-соискателей импульсы, которые объясняют мотивы реализации «высоких требований» к уровню и качеству диссертации: диссертация в России становилась инструментом приобретения не только научного, но и институционального капитала. Достижение подобных целей требовало огромных затрат интеллектуальной, эмоционально-психической и физической энергии и порождало всю гамму противоречий в научном сообществе – от научного соперничества и конфликта до научного скандала. Но в отличие от научного конфликта, основанного, как правило, на несовпадении научных позиций⁶⁰, скандал в науке оказывается замешанным на несколько иных интенциях. Конечно, грань, отделяющая конфликт от скандала в каждом конкретном случае должна определяться и аргументироваться отдельно. Скандалная ситуация в общей ее модели, на наш взгляд, выходит за пределы собственно научных разногласий и часто бывает порождена такими отклонениями от принципов научного этикета, которые воспринимались как вызов сообществу ученых. Негативная реакция на этот вызов формирует скандалную историю. Заметим, одновременно, что оба типа нарушения консенсуса и толерантности в научной среде следует воспринимать как элемент научного / историографического быта.

⁵⁹ Детальнейшим образом особенности взаимоотношений магистранта Милюкова и его руководителя Ключевского накануне и во время диссертационного диспута, а также процедура обсуждения факультетом статуса его диссертации представлены в монографии об историке: *Макушин, Трибунский*. 2001. С. 50–76.

⁶⁰ По К. Шпёрхазе, «...научно-теоретическая релевантность интеллектуального конфликта состоит в том, что он сообщает спорящим сторонам знание, которого они без него получить бы не смогли. Интеллектуальные конфликты – такова моя главная гипотеза – не есть нечто внешнее знанию». *Шпёрхазе*. 2009. С. 11.

Своеобразной институциональной площадкой, на которой разворачивались сценарии конфликтов и скандалов, нередко становился диссертационный диспут. Уже упомянутый случай с П. Н. Милюковым – не единственный в истории российских диссертационных конфликтов – может быть дополнен докторским диспутом Н. Д. Чечулина. Защита его диссертации⁶¹ и возникшая до и после этого события волна публикаций по поводу как характера диссертационного исследования, представленного к экспертизе научному сообществу, так и самих способов экспертных оценок, составляют основу возникшего конфликта. Он квалифицируется нами как научный скандал.

Не фиксируя всех деталей этой диссертационной истории, попытаемся определить ее место в контексте упомянутых «высоких требований» российской диссертационной культуры, предъявляемых к трудам соискателей на ученую степень. Среди статей современников, ставших выражением реакции на результаты диссертационного диспута Н. Д. Чечулина в декабре 1896 г.⁶², выделяются публикации Г. Ф. Шершеневича, В. И. Сергеевича и В. А. Мякотина. Их замысел и пафос различаются. Первые из названных пытаются извлечь из утвердившихся традиций российской диссертационной культуры определенные «уроки» для преодоления ее негативного опыта. Это позволило им поставить вопросы о реформировании нормативных положений, касающихся организации научной экспертизы диссертаций. Поэтому авторы, имея в виду диспут Чечулина, не касаются его диссертации и не сообщают фамилии виновника скандальной истории. Выступления Г. Ф. Шершеневича и В. И. Сергеевича можно рассматривать как некий пролог к работе выше охарактеризованных комиссий при МНП.

Иной характер имела публицистическая статья-отзыв В. А. Мякотина. На фоне изложения общих проблем, связанных с особенностями российской диссертационной системы, и собственной полемики с Шершеневичем, он выражает мнение и по поводу конкретной истории с защитой диссертации Чечулиным⁶³. Опираясь и на уже высказанные в печати мнения, В. А. Мякотин критиковал эту диссертацию по ряду по-

⁶¹ См.: *Чечулин*. Внешняя политика России в начале царствования Екатерины II (1762–1774). СПб., 1896. Официальными оппонентами автора выступали С. Ф. Платонов и В. Г. Васильевский.

⁶² В печати появилось более дюжины отзывов на диссертацию и диссертационный диспут Н. Д. Чечулина. Наиболее значительными были выступления В. А. Бильбасова, Н. И. Кареева, В. М. Мякотина, В. И. Сергеевича, Г. Ф. Шершеневича.

⁶³ *Мякотин*. 1897. С. 10–34. Случай с диспутом Чечулина затрагивался и современными историками: *Кричевский*. 1985. С. 150; *Иванов*. 1994. С. 159–160.

зий. В частности, он отмечал слабое знакомство диссертанта с литературой вопроса и целым рядом источников, в особенности польского происхождения, особо подчеркивалось незнание соискателем иностранных языков, ставшее причиной ограниченности диапазона его представлений о научно-информационной обеспеченности избранной темы. Фиксировались многочисленные фактические ошибки и пробелы в эмпирическом материале, а также отсутствие ясно выраженной рефлексии относительно предложенного в исследовании научного инструментария.

Особое внимание В.А. Мякотин сосредоточил на выяснении причин обостренного интереса прессы к инциденту. Соглашаясь с тем, что и до этого было защищено немало слабых диссертаций⁶⁴, он квалифицирует ситуацию следующим образом: «Но лишь в очень редких случаях ученые достоинства диссертации стояли так низко, а снисходительность ученой коллегии доходила до такой высокой степени, как это было на диспуте г. Чечулина...». Он подчеркивал, что «от начала и до конца» диспут «носил совершенно необычный характер, открывая глазам изумленной публики совсем, по-видимому, неожиданные для нее стороны современного университетского быта». При этом была высказана критика и в адрес С. Ф. Платонова, автора положительного факультетского отзыва на диссертацию (он стал основой допуска соискателя к защите), и, одновременно, оппонента Чечулина. Критике подверглась и позиция факультета, большинство которого, по мнению Мякотина, отнеслось к диспуту формально, «отбив его как скучную и ни к чему не обязывающую повинность»⁶⁵.

Позиция Мякотина в отношении диспута определенным образом отражает специфическую ситуацию в российской диссертационной системе конца XIX в. и позволяет уловить представления современников об уровне требований к качеству диссертаций. Прежде всего, здесь заметна тревога относительно проявляющихся черт рутинности в отношении научной общественности к экспертизе и процедурным сторонам защиты диссертаций. Факты рутинности в этой процедуре уже фиксировались в начале 1870-х годов. В частности, известный этнограф, секретарь и редактор Чтений ОИДР – Е. В. Барсов, который оставил в 1872 г. описание магистерского диспута В. О. Ключевского, представив его как

⁶⁴ Так, М. С. Корелин в одном из писем к В. И. Герье (17 апреля 1895 г.) описывает диспут Миронова следующим образом: «...несмотря на тяжелый тон оппонентов, публика безмолствовала, и факультет удалился с плохо скрытым смущением. Если так дело пойдет дальше нам и свистать будут. ...если публика будет требовательней факультета к научным достоинствам диссертаций, то это плохой признак». См.: *Цыганков*. 2010. С. 311–312.

⁶⁵ *Мякотин*. 1897. С. 10, 12, 16.

незаурядное явление научной жизни Московского университета, выделял это событие «из ряда подобных диспутов, *отзывающихся обыкновенно официальной мертвенностью*» (курсив наш. – Н. А., Н. Г.)⁶⁶.

Но из контекста описания Е. В. Барсова ясно, что он имел в виду, прежде всего, научную талантливость соискателей и повышенный интерес у членов диссертационной коллегии, вызванный содержанием и оригинальностью их диссертаций и речей на диспуте. Оживленные дискуссии на диспутах расценивались как положительная сторона защиты. Несколько различающиеся акценты наблюдателей за диссертационными диспутами в случае с В. О. Ключевским и в истории с Н. Д. Чечулиным, представляют две различные ситуации, сложившиеся в 1860–70-е гг. и на рубеже веков. Период времени, когда проходила защита В. О. Ключевского, не баловал научное сообщество большим количеством защит, интересными диссертационными исследованиями и «живыми» диспутами. Случай с В. О. Ключевским воспринимался как позитивное исключение.

Рубеж XIX–XX вв. характеризовался иной ситуацией – подъемом в диссертационной культуре. Процесс формирования научных школ в российских университетах, рост численности студенчества и, соответственно, магистрантов, в том числе на историко-филологических факультетах, развитие института приват-доцентуры можно рассматривать как факторы, стимулировавшие научную деятельность ученых и динамику роста защит диссертаций. Так, хорошо известна «полоса» успешных защит диссертаций по истории в Петербургском и Московском университетах. С 1890 по 1919 гг. в двух университетах были защищены 83 диссертации (51 магистерская и 32 докторских). Отметим, что в 1860–1880-е гг. общее число защищенных диссертаций Москве и Петербурге составило лишь 52 (32 магистерских и 20 докторских)⁶⁷. Многие из них и сегодня воспринимаются как высококласные научные труды. Примером могут служить диссертации П. Г. Виноградова, Н. И. Кареева, С. Ф. Платонова, А. С. Лаппо-Данилевского, А. Е. Преснякова, И. М. Гревса, М. С. Корелина, П. Н. Милькова, А. А. Кизеветтера, М. М. Богословского, М. К. Любавского, Ю. В. Готье, А. Н. Савина, Л. П. Карсавина. Само собой разумеется, что фактор индивидуальной талантливости играл существенную роль, создавая основу для дифференциации выполненных дис-

⁶⁶ См.: Диспут Ключевского. 1914. С. 65.

⁶⁷ Общая статистика и периодизация защит диссертаций по историческим специальностям выглядит следующим образом: в 1860–1880-е гг. в российских университетах было защищено 93, в 1890–1919 гг. – 123 диссертационных исследования. За весь предшествующий период в российских университетах было защищено 59 диссертации. Подсчитано по справочнику Г. Г. Кричевского.

сертаций на «сильные» и «слабые». Но значимыми были и создаваемые усилиями профессорской корпорации традиции подготовки магистрантов, ориентированные на формирование творческой индивидуальности ученого и выработки самостоятельности научного мышления.

Именно на фоне обозначенного подъема докторская диссертация Н. Д. Чечулина явно выбивалась из рамок сложившихся норм и традиций диссертационной культуры. Как ни странно, но инцидент с его диссертацией можно рассматривать как показатель «высоких требований», предъявляемых российским историко-научным сообществом к содержанию и общей научной культуре их исполнения. Несоответствие стандартам сразу вызвал своего рода протестный взрыв у научной общест-венности. Конечно, ни в коей мере нельзя идеализировать российскую диссертационную культуру, показателем чего и являлась деятельность упомянутых министерских комиссий, выявивших слабые ее стороны. Но в целом, с учетом «жесткой» правительственной политики по «университетскому вопросу» и высшему образованию в России, университетская среда нашла способы подчинить специфику диссертационной системы для результативного решения проблем в области выявления и формирования талантливой творческой молодежи, способной к фундаментальным научным исследованиям. Правда, условия, в которые была поставлена российская диссертационная культура, вынуждали научное сообщество действовать на ограниченном поле потенциальных претендентов на ученые степени, а в деле их подготовки придерживаться принципа – «лучше меньше, да лучше».

БИБЛИОГРАФИЯ

- Алеврас Н. Н.* Что такое «историографический быт»: из опыта разработки и внедрения историографической дефиниции // Историческая наука сегодня: теории, методы, перспективы / Отв. ред. Л. П. Репина. М.: УРСС, 2010. С. 516–534.
- Алеврас Н. Н., Гришина Н. В.* Диссертационная культура российских историков XIX – начала XX вв.: замысел и источники исследовательского проекта // Мир историка: историографический сборник / Под ред. В. П. Корзун, А. В. Якуба. Вып. 6. Омск: Изд-во ОмГУ, 2010. С. 9–21.
- Александр Евгеньевич Пресняков. Письма и дневники. 1889–1927. СПб.: «Дмитрий Буланин», 2005. 968 с.
- Александров Д. А.* Историческая антропология науки в России // Вопросы истории естествознания и техники. 1994. № 4. С. 3–22.
- Александров Д. А.* Немецкие мандарины и уроки сравнительной истории // *Рингер Ф.* Закат немецких мандаринов. Академическое сообщество в Германии 1890–1933. М., 2008. С. 593–632.

- Андреев А. Ю.* «Идея университета» в России (XVIII – начало XX в.) // «Быть русским по духу и европейцем по образованию»: Университеты Российской империи в образовательном пространстве Центральной и Восточной Европы XVIII – начала XX в.: Сб. ст. / [Отв. сост. А. Ю. Андреев; отв. ред. серии А. В. Доронин]. М.: РОССПЭН, 2009. 335 с. (Россия и Европа. Век за веком). С. 9–31.
- Антощенко А. В.* Диссертации П. Г. Виноградова // Мир историка: историографический сборник / Под ред. В. П. Корзун, А. В. Якуба. Вып. 6. Омск: Изд-во ОмГУ, 2010. С. 85–120.
- Бон Т. М.* Русская историческая наука / 1880 г. – 1905 г. / Павел Николаевич Миллюков и Московская школа. СПб.: Олеариус Пресс, 2005. 272 с.
- «Быть русским по духу и европейцем по образованию»: Университеты Российской империи в образовательном пространстве Центральной и Восточной Европы XVIII – начала XX в.: Сб. ст. / [Отв. сост. А. Ю. Андреев; отв. ред. серии А. В. Доронин]. М.: РОССПЭН, 2009. 335 с. (Россия и Европа. Век за веком).
- Горошко О. Н.* Роль Министерства народного просвещения, Академии наук и университетов Российской империи в истории развития института диссертаций (1724–1919): Дисс. ...канд. ист. наук. Пятигорск, 2002. 192 с., прил.
- Грибовский В. М.* Прошедшее и настоящее русских и западно-европейских университетов. СПб., 1905. 11 с.
- Гришина Н. В.* «Научное исследование... составляет мое истинное жизненное призвание»: мотивы вхождения в науку историков конца XIX – начала XX в. // Мир историка: историографический сборник / Под ред. В. П. Корзун, А. В. Якуба. Вып. 5. Омск: Изд-во ОмГУ, 2009. С. 152–177.
- Диспут Ключевского (Приложение II) // Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских. М., 1914. Кн. 1. С. 65–71.
- Дмитриев А. Н.* Мобилизация интеллекта: Первая мировая война и международное научное сообщество // Интеллигенция в истории: Образованный человек в социальных представлениях и действительности. М.: ИВИ РАН, 2001. С. 296–335.
- Дмитриев А. Н.* Первая Мировая война: университетские реформы и интернациональная трансформация российского академического сообщества // Наука, техника и общество России и Германии во время Первой мировой войны / Под ред. Э. И. Колчинского, Д. Байрау. СПб.: «Нестор-История», 2007. С. 236–255.
- За «железным занавесом»: мифы и реалии советской науки / Под ред. М. Хайнеманна и Э. И. Колчинского. СПб., 2002. 527 с.
- Иванов А. Е.* Высшая школа в России в конце XIX – начале XX века. М., 1991. 392 с.
- Иванов А. Е.* Учёные степени в Российской империи. XVIII в. – 1917 г. М.: ИРИ РАН, 1994. 198 с.
- Каблуков И. А.* Как приобретали ученые степени в прошлое время // Социалистическая реконструкция науки. 1935. Вып. 9. С. 96–102.
- Кричевский Г. Г.* Диссертации университетов России. 1805–1919. М., 1984. Рукопись.
- Кричевский Г. Г.* Ученые степени в университетах дореволюционной России // История СССР. 1985. № 2. С. 141–153.

- Лаута О. Н.* Научная подготовка и аттестация кадров на историко-филологическом факультете Московского университета (начало XIX–XX вв.): Дисс. ...канд. ист. наук. Невинномысск, 2000. 185 с., прил.
- Лебедева Л. И.* Магистратура в XIX – начале XX в. как институт подготовки научных и научно-педагогических кадров в России // Вопросы образования. 2005. № 4. С. 297–303.
- Макушин А. В., Трибунский П. А.* Павел Николаевич Миллюков: труды и дни (1859–1904). Рязань, 2001. 439 с.
- Маурер Т.* Новый подход к социальной истории университета: коллективная биография профессоров // Из истории русской интеллигенции. Сб. материалов и статей к 100-летию со дня рождения В. Р. Лейкиной-Свирской. СПб.: «Дмитрий Буланин», 2003. С. 273–301.
- Маурер Т.* «Война умов» и общность европейцев. Размышления по поводу отклика русских ученых на воззвание их германских коллег // Наука, техника и общество России и Германии во время Первой мировой войны / Под ред. Э. И. Колчинского, Д. Байрау. СПб.: «Нестор-История», 2007. С. 57–78.
- Мякотин В. М.* Диспут и ученая степень // Русское богатство. 1897. Июль. № 7. С. 1–34.
- Письма русских историков (С. Ф. Платонов, П. Н. Миллюков) / Под ред. проф. В. П. Корзун. Омск: ООО «Полиграфист», 2003. 306 с.
- Подготовка «профессорских кандидатов» и присуждение ученых степеней в университетах Западной Европы и России: становление и развитие / Сост., предисловие и общ. ред. А. Н. Якушева. Ставрополь, 1997.
- Рингер Ф.* Закат немецких мандаринов: Академическое сообщество в Германии, 1890–1933 / Пер. с англ. Е. Канищевой и П. Гольдина. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 648 с.
- Свешников А. В.* «Вот Вам история нашей истории». К проблеме типологии научных скандалов второй половины XIX – начала XX в. // Мир историка: историографический сборник / Под ред. В. П. Корзун, Г. К. Садретдинова. Вып. 1. Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. С. 231–262.
- Свешников А. В.* Как поссорился Лев Платонович с Иваном Михайловичем (история одного профессорского конфликта) // Новое литературное обозрение. 2009. № 96. С. 42–72.
- Сергеевич В. И.* О порядке приобретения ученых степеней // Северный вестник. 1897. № 10. С. 1–19.
- Сокулер З. А.* Знание и власть: наука в обществе модерна. СПб: РГХИ, 2001. 240 с.
- Труды высочайше учрежденной Комиссии по преобразованию высших учебных заведений. СПб., 1903. Вып. I – IV.
- Труды Совещания профессоров по университетской реформе, образованного при Министерстве народного просвещения графа И. И. Толстого в январе 1906 г. СПб., 1906.
- Университет и город в России (начало XX века) / Под ред. Т. Маурер и А. Дмитриева. М.: Новое литературное обозрение, 2009. 784 с., ил.

- Цыганков Д. А.* Профессор В. И. Герье и его ученики. М.: РОССПЭН, 2010. 503 с.
- Шершеневич Г. Ф.* О порядке приобретения ученых степеней. Казань, 1897. 33 с.
- Шпёрхазе К.* История науки как история конфликтов (на примере дискуссий в теории литературы) // Новое литературное обозрение. 2009. № 96. С. 9–16.
- Якушев А. Н.* Законодательство в области подготовки научных кадров и присуждения учёных степеней в России (1747–1918): история и опыт реализации. СПб., 1998. 291 с.
- Якушев А. Н.* Порядок присуждения учёных степеней в России (1747–1918): развитие и реализация правовых идей, проектов, законопроектов и нормативных правовых актов (на опыте научного направления): Дисс. ...д-ра юрид. наук. Невинномысск, 2001. 513 с.
- Якушев А. Н., Казначеев Д. А.* Проблемы законодательства в сфере производства в ученые степени в Российской империи // Право и образование. 2006. № 3. С. 162–177.
- Якушев А. Н., Кузнецов А. В.* История русской диссертации в исследованиях Г. Г. Кричевского // Омский научный вестник. 2007. № 3. С. 7–9.
- A History of the University in Europe. Vol. 3. Universities in the nineteenth and early twentieth centuries (1800–1945) / Ed. by W. Rüegg. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Ben-David J.* The rise and decline of France as a scientific centre // Minerva. 1970. Vol. 8. № 2. P. 160–180.
- Ben-David J.* The scientist's role in society: A comparative study. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1971. 207 p.
- Gizycki R.* Centre and Periphery in the International Scientific Community: Germany, France and Great Britain in the 19th Century // Minerva. 1973. Vol. XI. № 4. P. 474–494.
- Алеврас Наталья Николаевна**, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры истории дореволюционной России Челябинского государственного университета; vhist@mail.ru.
- Гришина Наталья Владимировна**, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры новейшей истории России Челябинского государственного университета; natalyagrishina@mail.ru.

Л. А. БУШУЕВА

ПРОФЕССОРСКАЯ КОРПОРАЦИЯ КАЗАНИ
В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
УНИВЕРСИТЕТСКИХ ЛЮДЕЙ (НАЧАЛО XX ВЕКА)

В статье проанализирован опыт межличностных коммуникаций внутри профессорской корпорации Казанского университета в начале XX века. Рассмотрено влияние изменения политической ситуации в стране на характер внутриуниверситетских отношений – между самими профессорами, между профессорами и «младшими преподавателями», профессорами и студентами. На основе анализа неизученных ранее материалов показано изменение норм корпоративных отношений, повышение уровня конфликтности, появление новых форм конфликтов между университетскими людьми, а также способы их преодоления.

Ключевые слова: Казанский университет, профессорская корпорация, приват-доценты, студенты, межличностные коммуникации.

Начало XX века – один из сложных и драматичных периодов в истории высшей школы Российской империи. Кризис университетской системы, вызванный процессами социальной, культурной и политической дифференциации, не только сделал реальной угрозой срыва учебного процесса, но и стал серьезным испытанием для основ корпоративной культуры и межличностных коммуникаций университетских людей.

Университетская служба требовала от профессоров выполнения различных функций – чиновника, преподавателя, ученого. Поэтому между членами корпорации возникали разные типы отношений, формы и принципы которых, выработанные в течение длительного времени и ставшие уже привычными, под воздействием новых факторов претерпевали серьезные изменения, а существовавшее представление о безусловном единстве университетского сообщества подверглось ревизии. Эти процессы не обошли стороной российские университеты ни в столицах, ни в провинции. Не стала исключением и губернская Казань.

Казанский университет в начале XX века занимал особое место в университетском пространстве Российской империи. Основанный в 1804 г., он являлся одним из старейших университетов страны и представлялся современникам крупнейшим провинциальным университетом, «светочем цивилизации» на восточной окраине Империи¹. Специ-

¹ Вишленкова. 2008. С. 34.

фические условия существования Казанского университета, сложный профессорско-преподавательский состав на всем протяжении его истории оказывали влияние на характер отношений внутри корпорации. Причем, если в предшествующий период безусловное лидерство профессоров и их позиции в университете не подвергались сомнению, то в начале XX века под воздействием нарастающей политической активности границы университетского сообщества начали размываться, и под вопросом оказалось его единство. Учитывая данные обстоятельства, наряду с рассмотрением отношений между профессорами университета, небезыntenесно обратиться к изучению вопроса о роли и месте «младших» преподавателей (приват-доцентов, ассистентов, лаборантов) и студентов во внутриуниверситетских коммуникациях.

В российских университетах сложилась коллегиальная форма управления, которая выражалась в деятельности Совета. В его состав по Уставам 1863 и 1884 гг. входили все университетские профессора. Коллегиальное управление требовало от университетских людей особой культуры профессиональных отношений, которая вырабатывалась в процессе обсуждений на заседаниях Совета различных вопросов и во время разрешения возникавших конфликтных ситуаций.

Согласно законодательству, все решения в Совете принимались путем голосования. Члены Совета, имеющие особое мнение, отличное от большинства, имели возможность его высказать и отразить в письменном виде². Данное право способствовало укреплению у преподавателей осознания значимости своей позиции для корпорации и обостряло чувствительность к процедурным вопросам. Готовность отстаивать свое мнение нередко приводила к инцидентам, когда профессора отказывались подписывать протоколы заседаний Совета в связи с неверным (по их мнению) отражением их высказываний³, или к ситуациям, когда профессора требовали от коллег извинений за допущенные в ходе обсуждения неосторожные выражения или реплики в их адрес⁴.

Профессиональная этика требовала от профессорской коллегии корректного поведения. Немаловажное значение имела форма прохождения заседаний Совета. В Казанском университете действовали правила ведения заседаний Совета, разработанные еще в 1868 г. попечителем Казанского учебного округа П. Д. Шестаковым. Они были направлены

² Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 9. СПб., 1893. С. 1365.

³ Национальный архив Республики Татарстан (НА РТ). Ф. 977. Оп. Физико-математический факультет. Д. 785. Л. 3–3об; Оп. Совет. Д. 10017. Л. 142–143.

⁴ НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 11564а. Л. 2–7 об.

на четкую организацию работы Совета и на регулирование конфликтных ситуаций. Так, согласно данным правилам, на заседаниях не должно было допускаться «устное возбуждение новых дел». Обсуждались только вопросы, включенные в заранее составленную ректором повестку. Представитель Совета, намереваясь выступить с предложением, не назначенным к слушанию, обязан был представить свое предложение ректору в письменном виде как минимум за три дня до заседания. Ректор, председательствующий в собрании, не должен был допускать «выражения неприличные и оскорбительные». Если же кто из выступающих на заседании, невзирая на замечания, продолжал речь «в том же духе и тоне», председатель имел право лишить его слова по обсуждаемому вопросу⁵. Реализация этих правил привела к формализации всего процесса общения между профессорами в ходе заседаний Совета, что и зафиксировали протоколы его заседаний, начиная с этого времени.

Требовательность к корректной форме ведения дискуссий в университетской корпорации была связана с претензией российских профессоров на статус носителей западноевропейской культуры и ориентацией на представления о цивилизованности как системе ограничений, сформированные в конце XVIII в⁶. В профессорской среде не приветствовались публичное проявление излишних эмоций. Так, в 1897 г. декан историко-филологического факультета А. И. Смирнов не принял к рассмотрению жалобу профессора С. В. Опацкого на профессора А. С. Архангельского. Объясняя отклонение жалобы, декан заявлял ректору Н. А. Кремлеву, что подобное поведение С. В. Опацкого вредно для работы факультета. «Он сам допускает возможность утраты всякого самообладания в факультетских заседаниях... крайняя раздражительность в сношении с товарищами... делает его присутствие и участие в факультетских собраниях нежелательным и даже вредным»⁷. Неумение управлять своими эмоциями ставили профессора С. В. Опацкого в глазах коллег в положение скандалиста.

Выработанные профессиональные нормы постепенно вытесняли с официального уровня заседаний Совета и факультетов обсуждение частных конфликтов. Профессор физико-математического факультета Д. И. Дубяго отмечал в 1904 г.: «факультет в споре частных лиц должен всегда стоять в стороне от всякого вмешательства... косвенное вмешательство в частный спор... неудобно и нежелательно»⁸. По мнению

⁵ НА РГ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 5101. Л. 441–442.

⁶ См.: Вишленкова Е. А., Мальшева С. Ю., Сальникова А. А. 2005.

⁷ НА РГ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 9755. Л. 2 об.

⁸ НА РГ. Ф. 977. Оп. Физико-математический факультет. Д. 1777. Л. 19.

профессоров, выработанная культура профессиональных отношений отличала Казанский университет от других учебных заведений.

Другим важным принципом взаимодействия профессоров в рамках профессиональной (учебной) повседневности являлось признание за факультетами автономии в решении вопросов, находящихся в их компетенции, в том числе и право выбора кандидатов в преподаватели. Это, однако, не исключало возможности возникновения новых конфликтов, но уже на уровне факультетов. Поэтому наиболее острые университетские конфликты чаще всего возникали в связи с изменениями профессорского состава, во время избрания новых преподавателей.

Однако если многие особенности функционирования корпорации в первые годы XX в. имели уже привычный характер и были знакомы профессорам как минимум со второй половины XIX в., то Первая русская революция поставила все с ног на голову. Теперь все чаще профессора сталкивались с новшествами в своей профессиональной и внеуниверситетской повседневности. На их глазах менялась не только эпоха, но и люди, а также принципы взаимодействия между ними.

Революционные события бурно развивались и в Казани. В течение всего 1905 года вместо занятий в Казанском университете шли политические собрания, сходки и митинги с участием студентов. С первых дней революционных событий казанские профессора начали проявлять заметную общественно-политическую активность. В письме к профессору Д. А. Корсакову декан историко-филологического факультета профессор А. И. Александров в июне 1905 г. писал: «живое, важное время мы переживаем и нельзя не участвовать в жизни – она сама влечет в себя, заставляя жить каждый день новым и новым»⁹.

В эту революционную эпоху политические воззрения и принадлежность к течениям общественно-политического характера стали частью статуса казанских профессоров. Среди профессорско-преподавательского состава в идейном плане наиболее популярны были два основных направления – либеральное и консервативно-монархическое. Еще в начале 1905 г. о своей принадлежности к Академическому союзу заявили профессора университета А. В. Вишневский, В. С. Груздев, Н. П. Загоскин, Э. К. Мейер, Н. А. Миславский, Н. Н. Парфентьев, А. Ф. Самойлов, Н. Н. Фирсов и др.¹⁰. Особой активностью среди университетских преподавателей отличалась небольшая группа приверженцев

⁹ Письмо А. И. Александрова Д. А. Корсакову от 8 июня 1905 г. // Национальный музей Республики Татарстан (НМ РТ). Отдел хранения документальных источников (ОХДИ). Ед. хр. А1. КППи-123666-92. Л. 1 об.

¹⁰ История Казанского университета... 2004. С. 225.

правых взглядов. Ее лидером являлся профессор юридического факультета В. Ф. Залесский – как он сам себя охарактеризовал – «убежденный консерватор, монархист, русский националист»¹¹.

Революционные события изменили законодательные основы жизни российской высшей школы, в том числе и Казанского университета. 27 августа 1905 г. были обнародованы Временные правила об управлении высшими учебными заведениями Министерства народного просвещения. Они отменяли бюрократические основы существования университетов, установленные Уставом 1884 года, и возвратили важные начала автономной коллегиальной самоорганизации. Главная роль в управлении университетами вернулась профессорским Советам. Если в первые годы XX века Совет мог коллегиально решать только небольшие вопросы, то теперь профессорам вновь предоставлялось право избирать ректора, деканов, секретарей. Ректору поручалось руководство инспекцией. Студенты получили возможность организовывать собрания без административного контроля¹². Несмотря на то, что Временные правила не отменяли действующего Устава 1884 г., а лишь дополняли его, они во многом изменили структуру внутриуниверситетских отношений. Их введение для профессоров означало, что они перестали быть пассивными участниками университетской жизни и получили возможность играть в ней активную роль.

В Казанском университете в 1905 г. состоялись первые после введения Устава 1884 г. выборы ректора. Им стал декан медицинского факультета профессор патологической анатомии Николай Матвеевич Любимов. Совет стал зачислять в студенты выпускников духовных семинарий и коммерческих училищ, допустил на лекции женщин-вольнострушательниц, перестал соблюдать процентную норму приема евреев.

В октябре 1905 г. началась Всероссийская политическая стачка. Университеты оказались единственным местом, где можно было беспрепятственно устраивать митинги и собрания. Неприкосновенность университетских зданий привлекала множество лиц разных политических взглядов, превратив университеты в трибуны революционных манифестаций. Наиболее ярким примером активного вовлечения представителей профессорской корпорации в революционные события 1905 г. стал Новороссийский университет в Одессе, где еще в начале года группа профессоров образовала одесский отдел Всероссийского академического союза. Эта группа быстро вытеснила с ключевых позиций

¹¹ Залеский. 1914. С. 2.

¹² Дмитриев. 2009. С. 120–121.

представителей другой профессорской группы, провозглашавшей «университет для науки, а не для политики», но фактически близкой по духу к монархическим организациям. Коллегиальным решением университетского Совета центральным университетским органом был провозглашен Коалиционный совет студентов, который своей властью открывал и закрывал университет, организовывал и руководил митингами и манифестациями, бойкотировал «реакционных» профессоров¹³.

Казанский университет оказался в центре революционных событий, происходивших в Казани. В связи с тем, что он являлся единственным местом в городе, где были разрешены собрания, здесь ежедневно проходили политические митинги¹⁴. Они отличались крайне радикальными настроениями, на них пропагандировались социал-демократические идеи, обсуждался созыв Государственной думы и Учредительного собрания. В отличие от одесских преподавателей, казанские профессора не поддержали революционные настроения своих воспитанников. У многих из них радикальная активность учащихся вызвала растерянность и ощущение глубокого кризиса университетской жизни. Как писал профессор А. И. Александров профессору Д. А. Корсакову 15 октября 1905 г.: «пусть дадут право и место свободных собраний и тогда университет, слава Богу, вероятно будет опять храмом науки. О, дай Боже этого скорее, а то, право, тяжело читать утром, а вечером знать, что тут же происходят сходбища с преступными разговорами»¹⁵. На следующий день он писал Д. А. Корсакову: «ужасно скверно и тяжело теперь чувствуется: горько и скорбно за происходящие события». Опасаясь разгула беспорядков, Совет принял решение с 17 октября закрыть университет на неопределенное время¹⁶.

Непростое положение профессорского Совета усугубляли действия казанской администрации. Губернатор не был удовлетворен действиями, предпринимаемыми по урегулированию волнений в университете, и издал ряд постановлений, согласно которым полиции (вопреки существовавшей университетской автономии) предоставлялось право вторжения в университет. В течение 14–17 октября, игнорируя неприкосновенность университетских зданий, городские власти пытались принять меры по прекращению студенческих собраний. 14 октября у

¹³ Дело об одесских профессорах... 1909. 24 февраля. С. 2.

¹⁴ *Корбут*. Т. 2. 1930. С. 220.

¹⁵ Письмо А. И. Александрова Д. А. Корсакову от 15 октября 1905 г. // НМ РТ. ОХДИ. Ед. хр. А1. КППи-123666-97. Л. 1–1 об.

¹⁶ Письмо А. И. Александрова Д. А. Корсакову от 16 октября 1905 г. // НМ РТ. ОХДИ. Ед. хр. А1. КППи-123666-94. Л. 1 об.

университета был выставлен патруль конной полиции, а 16–17 октября он был оцеплен вооруженным отрядом казаков. Университет стоял на грани начала боя между студентами и административными войсками.

Профессорский Совет оказался в роли буферной зоны между митингующими и городскими властями. В связи с этим на протяжении всех дней разгула волнений между членами Совета шли ожесточенные споры о способах установления порядка. Особенно острый конфликт вызвал вопрос о вводе в университет полиции. Приверженцы правых взглядов во главе с профессором В. Ф. Залеским настаивали на ее привлечении «для охраны читающих и слушающих лекции от насилия»¹⁷. Однако для либеральной профессуры ввод войск в университет означал грубейшее нарушение автономии. Профессора Е. Ф. Будде, В. И. Разумовский, А. Я. Гольдгамер, возражая В. Ф. Залескому, заявляли о категорическом неприятии вмешательства во внутренние дела университета властей различных уровней, будь-то попечитель учебного округа или городская администрация. Они подчеркивали, что «такая мера... кроме вреда ничего принести не может»¹⁸. В результате, представителям правого течения не удалось создать внутри Совета сплоченной группы и добиться вмешательства полиции. Большинство членов Совета посчитало необходимым встать на защиту автономных прав и студентов, оградив их от действий казанских властей¹⁹.

Особую роль в урегулировании кризисной ситуации, с которой столкнулось профессорское сообщество Казани, сыграл новоизбранный ректор Н. М. Любимов. В течение нескольких дней он вел сложнейшие переговоры с администрацией, со студентами, забаррикадовавшими здание университета и готовыми вступить в вооруженное столкновение, и убедил обе стороны воздержаться от кровопролития.

Произошедшие события явились сильным эмоциональным потрясением для профессора и сказались на его здоровье. После разрешения конфликта Н. М. Любимов подал в Совет прошение об отставке. Однако коллеги единогласно просили его остаться на посту ректора. Им удалось убедить профессора не покидать университет в столь сложной ситуации²⁰. Реакция Совета на прошение Н. М. Любимова об отставке продемонстрировала возросший авторитет ректора как лидера корпорации. Этого нельзя сказать о предыдущих десятилетиях, когда главы универси-

¹⁷ НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 11037 а. Л. 23.

¹⁸ НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 11037 а. Л. 30.

¹⁹ НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 11037 а. Л. 23 об.

²⁰ НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 11037 а. Л. 67.

тета (согласно Уставу 1884 г.) назначались Министерством народного просвещения и далеко не всегда пользовались поддержкой коллег. Н. М. Любимов стал для корпорации ректором, сохранившим целостность университета. Профессор В. И. Разумовский в прощальной речи в его честь красноречиво заявлял: «ты видел обстреливание зданий университета, ты видел кровь, пролитую на твоих глазах, у порога университетского! ...Да, у порога, но не внутри университетских стен... Это твоя наивысшая заслуга пред родным университетом: ты предохранил университет от вечного позора, а молодежь от ненужных кровавых жертв»²¹.

Октябрьские события 1905 г. завершились для университета благополучно, однако они продемонстрировали раскол казанских профессоров по партийному признаку на так называемую правую и левую группу.

После стабилизации университетской жизни «политический фактор», а также царившие в российском обществе представления об университетах как «рассадниках активных борцов за академическую, общественную и политическую свободу»²² продолжали оказывать существенное влияние на отношения в профессорском сообществе. В связи с этим коллегиальное управление в Казанском университете сопровождалось частыми конфликтами. В предыдущие десятилетия профессорская корпорация Казанского университета избегала открытых столкновений и стремилась придать конфликтам «цивилизованную» форму. Современники чаще вспоминали о сокрытых от посторонних университетских «склоках» и «интригах». Во второй половине XIX века в Казанском университете, пожалуй, единственным громким разбирательством стала демонстративная отставка в 1871 г. восьми профессоров в связи с увольнением профессора анатомии П. Ф. Лесгафта.

В начале XX века конфликты приобрели иной характер. Во-первых, в самых обычных академических разногласиях и действиях коллег ученые часто были склонны подозревать присутствие «партийных соображений». Во-вторых, конфликты в этот период приобрели ярко выраженный демонстративный характер, граничащий со скандалами и вовлечением студентов. Их обсуждение на заседаниях Совета сопровождалось бурными выяснениями отношений. Кроме того, профессорские конфликты нередко протекали в форме открытых протестов, демонстративных срывов и бойкотов заседаний Совета.

²¹ Речь профессора В. И. Разумовского, сказанная в университете над гробом почившего ректора Н. М. Любимова. Казань, 1906. С. 10–11.

²² К 150-летию годовщине Московского университета. Извлечения из юбилейных приветствий 12-го января 1905 года. М., 1905. С. 4.

В феврале 1907 г. администрация Казанского университета приняла решение закрыть университет по требованию учащихся, протестующих против предания суду петербургских студентов Яновицкого и Шишкина²³. В свою очередь группа «правых» профессоров (Д. И. Нагуевский, В. Ф. Залеский, М. И. Догель и др.) предъявила претензии ректорату из-за прекращения занятий. В течение всего 1907/1908 учебного года эти преподаватели неоднократно бойкотировали заседания Совета²⁴. По замечанию ректора Н. П. Загоскина, более половины заседаний Совета не могли состояться из-за их отсутствия.

В 1908 г. разгорелся очередной крупный конфликт. 17 профессоров выступили в Совете с требованием установить жесткие сроки написания докторских диссертаций для преподавателей без степени доктора, занимающих профессорские должности. В ответ профессор А. Н. Казем-Бек заявил, что такие требования являются ни чем иным, как «политическим сыском». Со стороны выступавших последовала бурная реакция с требованиями извинений²⁵. Не добившись их от Казем-Бека, 17 профессоров прекратили посещать Совет, фактически срывая его заседания²⁶. Только в начале следующего учебного года ректору удалось возобновить его нормальную работу, уговорив Казем-Бека принести извинения.

В начале XX в. профессора нередко выносили на коллегиальное обсуждение в Совете не только общеуниверситетские вопросы, но и внутрифакультетские и личные конфликты, в связи в них нередко вовлекалось большое число участников. В конце 1905 г. на историко-филологическом факультете состоялись выборы профессора на кафедру церковной истории, большинством голосов им был избран профессор К. В. Харлампович. Однако вскоре декан факультета А. И. Александров с удивлением узнал о поданной на него жалобе профессором Н. Н. Фирсовым. Александров как декан обвинялся в организации противоречивших университетскому законодательству выборах. Фирсов, минуя обсуждение этого вопроса в факультетском собрании, напрямую обратился к «автономной коллегии» с прошением разобраться в инциденте.

Действия Н. Н. Фирсова обескуражили декана, поскольку они противоречили существовавшему в Казанском университете еще со второй половины XIX века одному из механизмов регулирования преподавательского состава, согласно которому за факультетами признавалось

²³ Юлдуз (Звезда). 1907. 1 марта.

²⁴ Ректоры Казанского университета, 1804–2004 гг.: очерки жизни и деятельности / Сост. и научн. ред. В. С. Королев. Казань, 2004. С. 200.

²⁵ НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 11564а. Л. 2.

²⁶ НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 11564а. Л. 2.

право выбора кандидатов на кафедры. Растерянный А. И. Александров писал профессору Д. А. Корсакову: «Что это такое? Как понимать эту бумагу?.. Если это жалоба на незаконный поступок факультета, то вся эта история должна быть доказательна... если это жалоба на меня как декана, то должна следовать по Уставу к г. Ректору... если это каверзный донос, то приличен ли он профессору?»²⁷. Особое возмущение декана вызывала поддержка Н. Н. Фирсова профессорами физико-математического и медицинского факультетов – членами Академического Союза – Д. А. Гольдгаммером, А. М. Зайцевым, Д. Н. Зейлингером, Л. О. Даркшевичем, Д. А. Тимофеевым, В. А. Ульяниным и другими. «Вот что вышло из чисто... факультетских научных дел?! Их вынесли на улицу и обсуждают не с точки зрения академической, а... политической», «ужасно горько и прискорбно, что люди так плохо понимают автономию, а в оценке научных достоинств лиц держаться партийной рамки»²⁸ – с негодованием писал профессор А. И. Александров Д. А. Корсакову.

Увлечение политическими новшествами приводило к тому, что некоторые казанские профессора нередко сравнивали университетский Совет с Государственной думой. Вопреки существовавшему с 1906 г. конфиденциальному предписанию о том, чтобы «никто из профессоров не примыкал левее “партии 17 октября”»²⁹, они нередко заявляли на заседаниях Совета о том, что выступают от фракции Академического Союза³⁰. Однако опыт других университетов и начавшийся контроль политической благонадежности профессорско-преподавательского состава Министерством заставляли большинство профессоров воздерживаться от высказываний подобного рода. Как отмечал профессор А. А. Пионтковский: «Совет не парламент, в нем партий юридически не существует и какие-либо заявления в виду этого от имени партий, фракций представителями последних делать нельзя»³¹.

Перед казанскими профессорами был показательный пример политических конфликтов между профессорами Новороссийского университета. Приверженность той или иной политической позиции стала чуть ли не определяющим фактором формирования состава одесских профессоров. После 1907 г. в составе его руководства появилась фракция,

²⁷ Письмо А. И. Александрова Д. А. Корсакову от 10 ноября 1905 г. // НМ РТ. ОХДИ. Ед. хр. А1. КППи-123666-103. Л. 3–3 об.

²⁸ Письмо А. И. Александрова Д. А. Корсакову от 12 ноября 1905 г. // НМ РТ. ОХДИ. Ед. хр. А1. КППи-123666-105. Л. 1 об.

²⁹ Свобода совести // Волжский Вестник. 1906. 31 января.

³⁰ НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 11564 а. Л. 3.

³¹ НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 11564 а. Л. 3 об.

близкая по воззрениям к Союзу русского народа и состоявшая из лидеров крупнейшего в университете медицинского факультета. В связи с этим ряд профессоров, имевших репутацию «либеральных», покинули его добровольно или вынуждены были подать прошение об отставке. В 1909 г. «правая» профессура инициировала судебный процесс по делу бывшего ректора Новороссийского университета И. М. Занчевского и проректора Е. В. Васьковского³². Они обвинялись в ненадлежащем исполнении своих обязанностей во время революционных событий 1905–1907 г., из-за чего университет фактически оказался в это время «в руках революционеров». В результате И. М. Занчевский был исключен с государственной службы, Е. В. Васьковский отрешен от должности³³. В ситуации политических конфликтов никто из преподавателей Новороссийского университета не мог чувствовать себя в безопасности, поскольку, невзирая на научные и педагогические заслуги, оказывался зависимым от политических пристрастий большинства.

Учитывая печальный опыт профессоров Новороссийского университета, В. И. Разумовский предостерегал коллег: «первой и главной обязанностью совета является забота о целостности всех представляемых им научных интересов... такое напоминание является не лишним, особенно теперь, когда партийные интересы в университете (если, скажем, не в нашем, а в других, например, одесском) выступают на передний план и отодвигают на задний план научные и академические интересы»³⁴.

В связи с этим некоторые казанские профессора проявляли политическую активность вне стен университета. Политические конфликты между ними перешли из заседаний Совета в непрофессиональную сферу. Так, профессор К. С. Мережковский развернул в газете «Казанский телеграф» травлю профессора П. И. Кротова, обвиняя его в стараниях отдать «русский университет в руки инородцев с иудеями во главе»³⁵.

Случались конфликты и на научной почве. Интенсификация научной деятельности способствовала возникновению в профессорской среде атмосферы конкуренции. Научные разногласия оказывали влияние и на характер повседневного общения между коллегами. На лекциях перед студентами ученые могли нелестно отзываться о своих оппонентах. Воспитанники медицинского факультета, вспоминая о времени учебы в 1909–1914 гг., упоминали о научных разногласиях между профессорами

³² Дело об одесских профессорах // Казанский телеграф. 1909. 24 февраля. С. 2; Хаусман. 2007. С. 258–259.

³³ Брачев. 2009. С. 30.

³⁴ НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 11564 а. Л. 4.

³⁵ Сводничество науки с иудеем // Казанский телеграф. 1909. 15 апр. С. 2.

С. С. Зимницким и В. Ф. Орловским: «На лекциях тот и другой пускали шпильки друг против друга – например, профессор Зимницкий кроме кредитирующих хрипов признавал еще и субкредитирующие хрипы, тогда как Орловский их не признавал и на лекциях нам говорил, что “некоторые профессора находят какие-то субкредитирующие хрипы, я не знаю таких хрипов – это ни Богу свечка, ни черту кочерга”»³⁶.

Другой обострившейся проблемой университетских отношений в начале XX века стало взаимодействие профессоров и «младших преподавателей» – приват-доцентов и ассистентов. Под влиянием политических процессов и в связи с обсуждением и подготовкой в российских университетах проекта нового университетского устава в университетских сообществах обострился вопрос об академических правах последних. Этот вопрос, наряду с необеспеченным материальным положением этой группы преподавателей в условиях инфляции, вызванной революционными потрясениями, являлся одной из важнейших составляющих конфликта внутри университетской корпорации³⁷.

Позиции младших преподавателей в российских университетах были различными, в некоторых из них удавалось добиваться улучшения положения в данном вопросе. Так, внимание всей университетской общественности и Министерства народного просвещения привлекла ситуация в Новороссийском университете. Здесь осенью 1905 г. начал действовать Союз младших преподавателей или одесский отдел второй группы академического союза, который своими активными действиями добился введения младших преподавателей в состав университетского Совета, несмотря на то, что это противоречило действующему университетскому законодательству. Таким образом, младшие преподаватели Новороссийского университета получили права, которых не могли добиться приват-доценты других российских университетов. Профессора Петербургского университета в рамках обсуждения проекта заявили о необходимости введения в Совет младших преподавателей. Среди приват-доцентов здесь многие имели степень доктора, были известными учеными и общественными деятелями (С. А. Венгеров, Н. О. Лосский, А. С. Лаппо-Данилевский, Е. В. Тарле, М. И. Туган-Барановский и др.). Поэтому серьезных столкновений со старшими коллегами не было, хотя новый университетский устав так и не был принят. Московские профессора, напротив, решительно отказали в этом праве младшим коллегам³⁸.

³⁶ Егоров. 2006. С. 328.

³⁷ Кольцов. 1909. С. 55.

³⁸ Ростовцев. 2009. С. 226-227.

Ситуация в Казани с реализацией прав младших преподавателей, как и в Москве, оказалась непростой. Здесь приват-доцентам не удалось повысить свой статус. Еще с конца XIX в. Казанский университет отличали слабый приток молодых преподавателей и особая роль старейших членов сообщества³⁹. Как правило, это были заслуженные профессора, часто в прошлом занимавшие крупные административные посты, от их решения во многом зависело вхождение в корпорацию молодых ученых и их положение в университете. К тому же средний возраст профессоров университета в начале XX века неуклонно возрастал (если в 1863 г. он составлял 42 года, то в 1903 г. – уже 55 лет, а к 1917 г. добрался до отметки в 58 лет)⁴⁰. В этих условиях позиция младших преподавателей и сотрудников в университетской среде была достаточно уязвимой, так как казанские профессора не спешили признавать младших преподавателей полноправными членами университетского сообщества.

В начале XX века в наиболее сильной зависимости от профессоров находились ассистенты, приват-доценты, лаборанты физико-математического и медицинского факультетов Казанского университета. Профессор как глава лаборатории мог поддержать или наоборот «пресечь на корню» начинания молодого ученого, нуждающегося в лабораторном оборудовании. Так, бывшие воспитанники университета сообщали в воспоминаниях, что весьма уважаемый профессор кафедры фармакологии В. Н. Болдырев выгнал из своей лаборатории ассистента Сперанского. Профессор В. Н. Болдырев создал у себя на кафедре единственную в Казани операционную для собак по образцу существовавшей у И. П. Павлова в Институте экспериментальной медицины. А. Д. Сперанский, делающий первые шаги в науке, обратился к профессору с просьбой о разрешении провести в его операционной задуманные им эксперименты. Взамен Болдырев потребовал от молодого преподавателя обязательного участия в опасных опытах профессора с рентгеновским облучением. В первое время эксперимент шел благополучно, но как только Сперанский, получив ожоги, отказался участвовать в дальнейших опытах профессора, Болдырев, как заведующий лабораторией, лишил возможности Сперанского продолжать свои эксперименты⁴¹.

Казанских профессоров также раздражало большое влияние отдельных приват-доцентов на студентов. Их отталкивали радикальные воззрения некоторых младших коллег. Так, профессор А. И. Александров в

³⁹ *Сластиков*. 1895. Т. 84. С. 157–167.

⁴⁰ *Бушуева (Сазонова)*. 2009. С. 76.

⁴¹ *Аничков*. 2006. С. 335.

письме к профессору Д. А. Корсакову в октябре 1905 г. писал: «Манифестом и дарованиями 17 октября все страшно довольны, но студенты начинают безумствовать, требуя того, что уж будет через край: Республика у нас право ведь не по головам даже и таким... философам, как Влад[имир] Ник[олаевич] Ивановский, на которого все студенты-революционеры молятся как на Бога... видя в нем... должно быть в будущем образцового президента. Избави Боже от таких руководителей!»⁴².

Оценка действий лиц, претендующих на приват-доцентуру, зависела от отношения к ним профессоров. В начале XX века в этом вопросе, как и в отношениях между профессорами, большое значение имели политические предпочтения. Казань в этом не являлась исключением, ведь и в Московском университете наблюдались подобные случаи⁴³.

В конце 1905 г. Совет рассматривал вопрос о положении младших преподавателей в рамках обсуждения проекта нового университетского устава. Большинством голосов профессора отклонили предложение о «желательном присутствии в факультетах с правом решающего голоса выборных представителей от младших преподавателей»⁴⁴. Влияние младших преподавателей на университетскую жизнь оставалось незначительным. Они оставались зависимыми от протекций и разного рода рекомендаций на назначение в университет. Казанские молодые преподаватели оставались в корпорации в положении «младших товарищей» и не влияли на университетскую политику. Младшие преподаватели Казанского университета, как и их коллеги в других университетах, заявляли о своем особом положении в университете⁴⁵. В 1907 г. было создано Общество младших преподавателей медицинского факультета Казанского университета. Однако уже в 1908 г. при рассмотрении его устава министр народного просвещения настоятельно порекомендовал ректору Н. П. Загоскину проследить, чтобы эта организация «младших преподавателей» «окончательно прекратила свою деятельность»⁴⁶. Совет обратился к медицинскому факультету с предложением составить ходатайство о разрешении функционирования общества. Но совет факультета, не поддержав младших коллег, не предприняв необходимых для этого мер.

В рассматриваемый период на положение и статус профессоров в корпорации оказывали влияние и отношения со студентами. Еще с кон-

⁴² Письмо А. И. Александрова Д. А. Корсакову от 22 октября 1905 г. // НМ РТ. ОХДИ. Ед. хр. А1. КППи-123666-98. Л. 3 об-4.

⁴³ Кольцов Н. К университетскому вопросу. М., 1909. С. 38–39.

⁴⁴ Корбут. Т. 2. Казань, 1930. С. 227.

⁴⁵ Кольцов Н. К университетскому вопросу. М., 1909. С. 57.

⁴⁶ Корбут. Т. 2. 1930. С. 251.

ца XIX века университетские преподаватели переживали не лучший период отношений со своими воспитанниками. В конце XIX – начале XX вв. законодательные акты, введенные в период действия Устава 1884 г., способствовали отдалению учащихся от преподавателей. В 1880–1890-е гг. их отношения должны были выстраиваться в жестком соответствии с бюрократической системой, в которую они были включены. Преподаватели и студенты, являлись «отдельными посетителями» учебных заведений, которые должны были строго исполнять предписанные им научно-педагогические функции. Отношения между учащими и учащимися ограничивались учебными занятиями: первые являлись здесь начальством, а вторые – подчиненными⁴⁷. Профессора Казанского университета констатировали: *de jure* и *de facto* профессора [с 1884 г. – Л. Б.] были вынуждены стоять совершенно обособленными, не пользуясь доверием высшей власти и не имея возможности каким-либо способом приобрести доверие студентов и влияние на них»⁴⁸.

После серии студенческих беспорядков в университетах страны в 1899 г. в целях сближения преподавателей и учащихся правительство стало способствовать появлению студенческих кружков под руководством преподавателей. Однако их функционирование в начале XX века не удовлетворяло воспитанников университета. В листовках и прокламациях даже так называемых «беспартийных» студентов заявлялось, что «кроме кружка атлетистов» университет «преподносит» только «шаблонные профессорские лекции»⁴⁹.

Также не выполнял функции по «нравственному сближению преподавателей со студентами» и институт курсовых старост, выбиравшихся из числа профессоров. Профессор Д. А. Корсаков отмечал: «студенты смотрят на своих кураторов с совершенно формальной стороны, как на чиновников, подпись которых необходима на студенческих прошениях о выдаче пособия, не имея к ним нравственного доверия»⁵⁰.

Политические настроения учащихся Казанского университета привели к тому, что в начале XX века студенты стали значимыми участниками корпоративных отношений. События начала века показали их стремление регулировать университетскую жизнь и способность воздействовать на преподавательское сообщество.

⁴⁷ Иванов. 1994. С. 56.

⁴⁸ НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 11037а. Л. 27 об.

⁴⁹ НМ РТ. ОХДИ. Ед. хр. 79. КППи-100994. Л. 1.

⁵⁰ НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 11037а. Л. 121 об.

В российских университетах начала XX века существовала система обучения, при которой если один предмет читался несколькими преподавателями, то студенты имели право выбирать занятия кого из них посещать⁵¹. В связи с этим в корпоративных отношениях важно было иметь репутацию популярного преподавателя. В свою очередь отношение студентов к профессорам стало во многом зависеть от общественно-политических взглядов последних, а не только от их лекторских качеств. При этом учащиеся активно демонстрировали на занятиях свою симпатию или антипатию к преподавателям. Такие жесты со стороны учащихся, как аплодисменты или «освистание» лекторов, стали обыденным явлением. «Николай Александрович Миславский... относился к левому крылу, и мы, студенты, само появление его в аудитории иногда встречали аплодисментами», – писали бывшие студенты начала XX века⁵².

В 1906 г. студенты юридического факультета бойкотировали лекции профессора В. Ф. Залеского. Опасаясь радикальных действий с их стороны, В. Ф. Залеский перестал ходить в университет и в течение 1906 / 1907 учебного года фактически читал лекции у себя дома. Совет университета встал на сторону учащихся и разрешил им «не записываться на лекции Залеского, если они того не желают»⁵³. Залескому же было настоятельно рекомендовано не включать чтение лекций на политические темы в учебный процесс, а «проводить эти лекции публично, вне стен университета»⁵⁴.

В 1908 г. в Казани и вовсе были отстранены от преподавания два приват-доцента. Поводом для отрешения от должности одного из них был донос студента, являющегося к тому же членом Союза русского народа, попечителю учебного округа⁵⁵.

Узаконенные Временными правилами 27 августа 1905 г. студенческие собрания и как их следствие – срыв занятий в 1900-х гг. стали обычным явлением в учебной повседневности Казанского университета⁵⁶. Так, о сходе по случаю 5 ноября 1915 г. проректор А. А. Овчинников докладывал Совету как о рядовом событии. Проректор заявлял: «речи, действительно, не заключали в себе ничего, кроме обычных декламаций о

⁵¹ Общий Устав Императорских Российских Университетов // Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 9. СПб., 1893. Стлб. 1005.

⁵² Егоров. 2006. С. 326.

⁵³ НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 11037 а. Л. 416–418.

⁵⁴ НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 11037 а. Л. 274 об.

⁵⁵ Кольцов Н. К университетскому вопросу. М., 1909. С. 56.

⁵⁶ НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 11488. Л.3.

косности общества, о смене студентов-дворян студентами-разночинцами; о светлом будущем Университетов в свободной России, когда кафедры будут заняты даровитыми профессорами, оттесненными от Университетов при режиме последних министров»⁵⁷.

В целом, характеризуя специфику межличностных коммуникаций в профессорской корпорации университетской Казани начала XX века, нужно отметить следующее. С одной стороны, сложившаяся коллегиальная форма управления университетом и необходимость повседневных профессиональных контактов оказывали влияние на взаимоотношения между университетскими людьми, требуя от них уважительного отношения к каждому из представителей корпорации, то есть выполнения норм профессиональной этики. Также профессорам необходимо было соблюдать внутриуниверситетские традиции, такие как, например, принцип независимости факультетов в принятии решений, находящихся в их ведении. С другой стороны, поколенческие противоречия особенно сильные в Казанском университете, различия в научных и личных интересах сделали конфликты неотъемлемой частью университетской повседневности исследуемого периода. Это стало особенно очевидно, когда в условиях Первой российской революции профессорские конфликты приобрели новое качество. Так, во-первых, в обычных академических разногласиях и действиях коллег профессора порой подозревали присутствие «партийных соображений», а во-вторых, конфликты приобрели открытый и демонстративный характер, иногда выходящий даже за пределы университетской корпорации.

В новых условиях по-новому нужно было решать и вопросы взаимодействия профессоров с молодыми коллегами, а также и с воспитанниками университета, которые в начале XX века проявляли большую политическую активность. Однако попытки повышения собственного статуса в Казанской университетской корпорации, предпринятые младшими преподавателями, не увенчались успехом во многом из-за крепости университетских традиций и специфики профессорского состава этого провинциального университета. Что касается взаимодействия профессоров и студентов, то оно, и без того сложное в предыдущий период, в начале XX века еще более осложнилось.

С введением Временных правил для университетов в 1905 г. структура внутриуниверситетских отношений претерпела серьезные изменения, главное из которых состояло в том, что профессора переста-

⁵⁷ НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 12904. Л. 153.

ли быть пассивными участниками университетской жизни и получили возможность играть в ней активную роль, а избираемый ректор вновь становился легитимным главой корпорации.

БИБЛИОГРАФИЯ

Источники

- Аничков С. В.* Год студенчества в Казанском университете // История Казанского государственного медицинского университета / *В. Ю. Альбицкий* и др. Казань: Магариф, 2006. С. 330–341.
- Дело об одесских профессорах // Казанский телеграф. 1909. 24 февраля.
- Агоров А. Д.* Из воспоминаний о медицинском факультете Казанского университета (1909–1914) // История Казанского медицинского университета / *В. А. Альбицкий* и др. Казань: Магариф, 2006. С. 326–330.
- Залеский В. Ф.* Опыт характеристики. Харьков: Б.и., 1914. 18 с.
- К 150-летней годовщине Московского университета. Извлечения из юбилейных приветствий к дню 12-го января 1905 года / Сост. *К. И. Шидловский*. М.: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1905. 20 с.
- Кольцов Н.* К университетскому вопросу. М.: Б.и., 1909. 99 с.
- Национальный архив Республики Татарстан (НА РТ). Ф. 977. Оп. Совет. Д. 5101.
- НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 9755.
- НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 10017.
- НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 11037 а.
- НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 11488.
- НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 11564 а.
- НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 12904.
- НА РТ. Ф. 977. Оп. Физико-математический факультет. Д. 785.
- НА РТ. Ф. 977. Оп. Физико-математический факультет. Д. 1777.
- Национальный музей Республики Татарстан (НМ РТ). ОХДИ. Ед. хр. 79. КППи-100994.
- НМ РТ. ОХДИ. Ед. хр. А1. КППи-123666-92.
- НМ РТ. ОХДИ. Ед. хр. А1. КППи-123666-94.
- НМ РТ. ОХДИ. Ед. хр. А1. КППи-123666-97.
- НМ РТ. ОХДИ. Ед. хр. А1. КППи-123666-98.
- НМ РТ. ОХДИ. Ед. хр. А1. КППи-123666-103.
- НМ РТ. ОХДИ. Ед. хр. А1. КППи-123666-105.
- Речь профессора *В. И. Разумовского*, сказанная над гробом почившего ректора *Н. М. Любимова*. Казань: Типо-литография Императорского университета, 1906. 12 с.
- Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 9. СПб.: Типография Высочайше утвержденного Товарищества «Общественная Польза», 1893. 2089 стлб.
- Свобода совести // Волжский Вестник. 1906. 31 января.

- Сводничество науки с иудеем // Казанский телеграф. 1909. 15 апреля.
Сластиков С. И. Университетские старцы (из воспоминаний казанского студента)
// Русская старина. 1895. Т. 84. С. 157–167.
Юлдуз (Звезда). 1907. 1 марта.

Литература

- Брачев В. С. Студенты Горного института – против В.М. Пуришкевича: «дело о клевете» 27–29 ноября 1909 г. // Общество. Среда. Развитие. 2009. №1. С. 25–42.
- Бушуева (Сазонова) Л. А. Повседневность университетского профессора Казани. 1863–1917 гг.: дис. ... канд. ист. наук. Казань, 2009. 217 с.
- Вишленкова Е. А. Terra Universitatis: два века университетской культуры в Казани / Е. А. Вишленкова, С. Ю. Малышева, А. А. Сальникова. Казань: Изд-во Казанского университета, 2005. 498 с.
- Вишленкова Е. А. Культурное пограничье Казанского университета // Образование и просвещение в губернской Казани / Отв. ред. И. К. Загидуллин, Е. А. Вишленкова. Вып. 1. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2008. С. 22–38.
- Дмитриев А. По ту сторону «университетского вопроса»: правительственная политика и социальная жизнь российской высшей школы (1900–1917 годы) // Университет и город в России (начало XX века) / Под ред. Т. Маурер, А. Дмитриева. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 105–204. (Серия «История науки»).
- Иванов А. Е. Ученые степени в Российской империи XVIII–1917 г. М.: Б. и., 1994. 198 с.
- История Казанского университета, 1804–2004 / Гл. ред. И. П. Ермолаев. Казань: Изд-во Казанского университета, 2004. 656 с.
- Корбут М. К. Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина за 125 лет. 1804 / 05–1929 / 30: в 2 т. Т. 2. Казань: Изд-во Казанского университета, 1930. 385 с.
- Ректоры Казанского университета, 1804–2004 гг.: очерки жизни и деятельности / Сост. и научн. ред. В. С. Королев. Казань: Изд-во Казанского университета, 2004. 360 с.
- Ростовцев Е. Университет столичного города (1905–1917 годы) // Университет и город в России (начало XX века) / Под ред. Т. Маурер и А. Дмитриева. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 205–370. (Серия «История науки»).
- Хаусман Г. Гражданское общество как социальное движение: пример студенческого движения в Новороссийском университете г. Одессы. 1905–1914 гг. // Гражданская идентичность и сфера гражданской деятельности в Российской империи. Вторая половина XIX – начало XX века / Отв. ред. Б. Пиетров-Эннкер, Г. Н. Ульянова. М.: РОССПЭН, 2007. С. 239–262.
- Бушуева Людмила Александровна**, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела хранения документальных источников Национального музея Республики Татарстан, bushueva9@mail.ru.

М. А. МАМОНТОВА

КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ*

В статье предпринята попытка реконструировать сеть коммуникаций в отечественной исторической науке на основе обзора журнальной периодики второй половины XIX – начала XX вв. Выделены основные уровни коммуникативного пространства исторической науки, представлена структура периодических изданий, которая позволяет показать особенности внутринаучной, междисциплинарной и внеакадемической коммуникации историков.

Ключевые слова: историческая наука России рубежа XIX–XX вв., коммуникативное поле, журнальная периодика.

В современных гуманитарных исследованиях в связи с поворотом к историко-антропологической модели растет значимость изучения социальных практик творческой личности, коммуникативного пространства науки. В отечественной историографии эта проблематика косвенно нашла отражение в схолярных исследованиях¹, в изучении корпоративных норм и ценностей, внутреннего мира науки², в генерационном подходе³. Периодика как одна из форм сосредоточения наукотворчества, формализованная самоорганизация науки стала предметом исследования М. П. Мохначевой⁴. Автор в разделе, посвященном семантике знаковых систем журналистики и исторической науки России в XVIII–XIX вв., прослеживает процесс рождения языка науки, развитие коммуникативной функции журнала, осуществляющего, с одной стороны, обмен научными идеями внутри сообщества, а с другой, – формирование «историографи-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.», государственный контракт № 02. 740. 11. 0350.

¹ Мягков. 2000; Цамутали. 1993; Ананьич, Панеях. 2000; Брачев. 2001; Ростовцев. 2004; Алеврас. 2005; Гришина. 2010.

² Мягков, Филимонов. 2009; Корзун. 2009; Алеврас. 2008; Свешников. 2005; Гришина. 2009; Антощенко. 2009; Кныш. 2008; Мамонтова. 2010.

³ Сидорова. 2008; Кефнер. 2006; Серых. 2010.

⁴ Мохначева. 1998–1999.

ческого компонента» общественного сознания. Журнал выступал как совокупность «текст-источников», фиксирующих развитие исторической науки и исторического самосознания индивида и общества, а также как субъект историографического процесса.

Современные социологические и науковедческие исследования позволяют расширить понимание коммуникаций в науке с прежнего представления о научной коммуникации только как о средстве трансляции готового знания до понятия «коммуникативное поле» науки. Под коммуникативным полем науки нами⁵ понимается социальное пространство связей, в котором рождаются, функционируют, трансформируются и умирают научные идеи. Авторами проекта «Образы отечественной исторической науки в контексте смены познавательных парадигм (вторая половина XIX – начало XXI вв.)» была выявлена структура коммуникативного поля науки, включающая в себя как внутринаучные, так и внешние коммуникации. Причем внутринаучные коммуникации охватывают внутродисциплинарные и междисциплинарные связи, а внешние больше ориентированы на социокультурный контекст, в котором красной нитью проходит властный уровень коммуникативных практик.

Складывание коммуникативного пространства исторической науки в России начинается с момента ее институционального оформления в начале XIX в. Первоначально коммуникативным напряжением обладали университеты с историко-филологическими факультетами (Московский, Санкт-Петербургский, Харьковский, Казанский) и Академия наук, которые одновременно вырабатывали и транслировали нормы профессионального сообщества. Но уже в первой половине XIX в. параллельно с ними стали возникать профессиональные сообщества историков (например, Московское общество истории и древностей Российских), положившие в основу своей деятельности не столько сугубо научно-исследовательские и учебно-воспитательные, сколько научно-просветительские цели. С течением времени данная коммуникационная сеть, слабее испытывавшая влияние со стороны власти, значительно расширяется, вовлекая более широкий круг как профессионалов, так и любителей. Например, Русское географическое общество (1848–1917 гг.), Москов-

⁵ Структура коммуникативного поля отечественной исторической науки разработана группой авторов при работе над исследовательским проектом «Образы отечественной исторической науки в контексте смены познавательных парадигм (вторая половина XIX – начало XXI вв.)» в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.», государственный контракт № 02. 740. 11. 0350.

ское археологическое общество (1864–1923 гг.), Одесское общество истории и древностей (1839–1922 гг.), Русское историческое общество (1866–1917 г.), Киевское общество летописца Нестора (1873–1917 гг.), Историко-филологическое общество при Харьковском университете (1876 г.), Казанское общество археологии, истории и этнографии (1877 г.), Историческое общество при Санкт-Петербургском университете (1889–1917 гг.), Историко-филологическое общество при Новороссийском университете (1889 г.), Историческое общество при Московском университете (1893–1917 гг.). Как видим, пик появления новых исторических обществ выпадает на 1870–1880-е гг., что во многом связано с самоидентификационными процессами внутри исторической науки. Каждое из вновь организованных сообществ является коммуникативной единицей, своеобразным актором коммуникативного процесса, притягивающим специалистов в области археологии, отечественной истории, византиноведения, исследователей русского фольклора и народного быта.

Наряду с этим во второй половине XIX в. формируется новая, более эффективная в плане распространения и укрепления корпоративных норм, коммуникативная сетка в виде неформальных научных сообществ: кружков, журфиксов. Центром притяжения данных образований, как правило, была яркая личность историка, исследователя, учителя, научного наставника. Подобные неформальные структуры формируются вокруг К. Н. Бестужева-Рюмина, П. Г. Виноградова, И. М. Гревса, С. Ф. Платонова, А. С. Лаппо-Данилевского и др. Внутри этой сети происходит активное обсуждение корпоративных норм и прецедентов их нарушения или изменения. Яркой иллюстрацией самоидентификации внутри научного сообщества историков является проблема научных школ и ее активное обсуждение в переписке С. Ф. Платонова и П. Н. Милюкова⁶, письмах А. Е. Преснякова к жене и матери⁷.

При официальных научных сообществах возникают периодические издания, большинство из которых в скором времени становится самостоятельным каналом называемой «письменной» или «печатной» коммуникации. В отличие от институциональной составляющей, это коммуникативное пространство в России второй половины XIX – начала XX вв., во-первых, подвержено строгому цензорскому контролю, заставляющему авторов и редакторов (редакторов-издателей) искать особый язык общения с недомолвками, недоговоренностями, с двойным или скрытым смыслом, намеками и т.д. Отсюда формируется характер-

⁶ Письма русских историков... 2003.

⁷ Александр Сергеевич Пресняков... 2005.

ный для данной эпохи журнальный дискурс, связанный не только с самим печатным текстом, но и с историей его опубликования (или неопубликования) и дальнейшей реакцией читающей публики. Во-вторых, «жизненность» подобных коммуникативных звеньев зачастую бывает недолговечной, что связано с отсутствием необходимых финансовых средств для продолжения издания, узостью читательской аудитории (и отсюда «нераскупаемость тиража», как у «Древней и Новой России») и оппозиционностью редакции. В-третьих, периодические издания обладают совершенно иной коммуникативной структурой, чем институции.

В институтах как коммуникативном пространстве исторической науки можно выделить следующие уровни: 1) *академический*, специализирующийся исключительно на научно-исследовательской работе, 2) *университетский*, занимающийся подготовкой кадров специалистов-историков и вырабатывающий официальные нормы вхождения в научное сообщество, 3) *уровень институализированных научных обществ*, заботящийся о «чистоте» научной корпорации и строгом соблюдении корпоративных норм, и 4) *неформальных научных объединений*, вырабатывающий неофициальные нормы научного сообщества и культивирующий специфические ритуалы «вхождения» молодых историков в науку.

В журнальной периодике выделяется иная структура коммуникативного пространства, связанная преимущественно с организационными принципами оформления издания: 1) *официальные издания центральных государственных учреждений*, транслирующие необходимые власти научные нормы, 2) *периодические издания официальных научно-исторических обществ*, публикующие результаты своих изысканий (как в области сбора исторической информации, так и в сфере ее научно-исследовательской обработки) и близкие к тематике их деятельности исторические исследования, 3) *специализированные исторические издания*, сформировавшие вокруг себя сообщество единомышленников и публикующие разнообразные исторические произведения, 4) *общественно-политические и научно-просветительские издания*, в которых участие историков было фрагментарным или имело ярко выраженный политический подтекст, отсюда и коммуникативные научные стратегии не носили устоявшегося характера. Данная коммуникативная структура получает наибольшее оживление в связи с юбилейными датами и обострением социально-политических противоречий в России, выражающихся в студенческих явлениях и революционных событиях начала XX в. Понимая условность подобной градации, попытаемся охарактеризовать коммуникативные особенности каждого из выделенных типов.

Среди официальных изданий, диктующих нормы сообществу историков со стороны политической власти, выделяется Журнал Министерства народного просвещения, состоящий в конце XIX в. из трех разделов. Первый из них был посвящен официальным распоряжениям правительства и сведениям о народном образовании, во втором – публиковались работы по гуманитарным областям знания, в том числе и по истории, последний раздел содержал рецензии, отзывы и библиографические данные о вышедших научных трудах. Опубликовать научную работу в этом журнале считалось престижным и подталкивало историков выстраивать сложные взаимосвязи. Так, знакомство и взаимная симпатия между П. Н. Милюковым и С. Ф. Платоновым позволили первому из них опубликовать свою магистерскую диссертацию «Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII в. и реформы Петра Великого» на его страницах. Здесь же происходило не только признание, но и развенчание талантов знаменитых историков, как случилось с Д. И. Иловайским, чей учебник вызвал острую критику среди коллег⁸. Высокий статус издания диктовал и условия работы редакции, отобранной Министерством народного просвещения в соответствии с «благонадежностью» и «остепененностью» ее участников. Как отмечает тот же Платонов в письме к Милюкову, новый состав редакции после ухода из нее Л. Н. Майкова напрямую зависел от «избрания Васильевского в Академию»⁹ и получения им статуса «ординарного академика». Однако на страницах этого журнала интенсивного общения историков не происходило вследствие строгого отбора редакцией как статей, так и рецензий. Тон этому изданию задавало Министерство, редакция была в состоянии лишь как-то скорректировать тематику, но отступить от навязываемой властью линии не могла.

Сугубо специализированными были периодические издания, выходившие при исторических обществах. Так, при Московском обществе истории и древностей Российских выпускались «Чтения», «Записки и труды» и «Русский исторический сборник». Плодотворным было и Русское историческое общество (находившееся в ведении Министерства народного просвещения), публикуя «Сборники Русского исторического общества» и «Русский биографический словарь». Эти периодические издания являлись одновременно и средством коммуникации определенного исторического общества, и самостоятельной коммуникативной площадкой, на которой происходили знакомство с новейшими историческими наработками, научные дискуссии, а также «проба пера» начи-

⁸ Мамонтова. 2007.

⁹ Письма русских историков... 2003. С. 201.

нающих историков. На страницах этих журналов велось интенсивное общение между узкими специалистами-историками (этнографами и исследователями истории быта, «отечественниками» и специалистами по русской истории), что относится к внутридисциплинарному характеру научной коммуникации. Например, постоянными авторами «Чтений Общества истории и древностей Российских» при Московском университете были его активные члены: А. Н. Зерцалов, С. А. Белокуров, И. Е. Забелин, М. П. Погодин и другие.

Участие историков в специализированных журналах при других научных обществах было эпизодическим и представляло собой вариант междисциплинарного общения. Например, историки иногда помещали свои статьи, заметки и рецензии на страницах таких журналов как «Журнал гражданского и уголовного права» (В. Н. Латкин), «Юридический вестник» (М. М. Ковалевский, В. А. Гольцев), «Русский антропологический журнал», «Журнал императорского Русского военно-исторического общества» и другие. Во второй половине XIX – начале XX вв. в связи с самоидентификацией исторической науки и стремлением следовать сложившемуся позитивистскому канону, ученые неохотно шли на различные междисциплинарные заимствования, поэтому и участие в подобных изданиях носит неустойчивый характер. Исключением из этого правила являются «Записки» и «Известия Императорского Русского географического общества», на страницах которых происходило тесное междисциплинарное сотрудничество как историков, так и филологов, антропологов, краеведов, как профессионалов, так и любителей.

Более привлекательным было участие в специализированных журналах, сформированных в качестве самодостаточной коммуникативной площадки для ученых-историков. Каждый из начинающих исследователей стремился обнародовать результаты своих первых научных усилий на страницах таких ежемесячных изданий как «Исторический вестник», «Русский архив», «Русская старина», «Древняя и Новая Россия», «Библиограф», «Киевская старина». Выбор издания зависел не только от общественно-политических симпатий молодого исследователя и соответствующей позиции издания в данный период, но и от протекции научного наставника. Например, в историко-литературных исследованиях часто противопоставляется либеральная «Русская старина» консервативно-охранительному «Русскому архиву», в действительности же «Русская старина» охотно публикует материалы и такого «ярого реакционера» как Д. И. Иловайский.

Среди этой группы журналов можно выделить тесную взаимосвязь и даже общий редакторский коллектив. Например, идея создания

«Древней и Новой России» (название выбрано по аналогии с известной работой Н. М. Карамзина) была навеяна житейскими трудностями одного из историков — М. Д. Хмырова. После его смерти историк С. Н. Шубинский и библиограф П. А. Ефремов, подыскав издателя (в лице чиновника Государственного Банка В. И. Грацианского) и заручившись поддержкой части историков, начали с 1875 г. выпуск журнала. Первый номер открывался статьей профессора К. Н. Бестужева-Рюмина «Василий Никитич Татищев. Администратор и историк начала XVIII века. 1686–1750 г.». Стиль этого маститого историка просматривается и в Предисловии к изданию, где обосновывалась важность и своевременность данного мероприятия. Ученый был обеспокоен тем, что «в обществе распространяется множество неточных сведений, весьма часто украшенных фантазией самих сочинителей, забывающих предупредить читателя о том, где оканчиваются факты и где начинаются их собственные соображения и измышления»¹⁰. Интерес же неискушенной публики к прошлому в представлении историка должен был удовлетворяться на основе результатов, выработанных наукой и изложенных в общедоступной форме. Отсюда и коммуникативная стратегия данного издания виделась как «цельный, связный рассказ, основанный на внимательном и подробном изучении источников», способный «представить возможно полную и беспристрастную картину события или характеристику лица», и ориентировалась на неопытного читателя. На деле, издание стало привлекательной коммуникативной площадкой для профессиональных историков (К. Н. Бестужев-Рюмин, И. Е. Забелин, Н. И. Костомаров, С. М. Соловьёв, Д. И. Иловайский, В. И. Герье, Е. Е. Замысловский и др.). Но вскоре журнал разорился и был закрыт из-за «нераскупаемости тиража». Сначала С. Н. Шубинский начал отказываться от редактирования журнала по той причине, что тот не получил поддержки читателей и был убыточным (но редактор здесь лукавил, так как знал, что убыточными были и «Русский архив», и «Русская старина» с тиражом 1200 и 2000–3000 экз. соответственно). Тираж «Древней и Новой России» колебался между 1000 и 1600 экз., что было обычной практикой. Однако Шубинский уже мечтал об ином журнале. Он предложил продать убыточный журнал, а когда В. И. Грацианский отказался, Шубинский в сентябре 1879 г. снял с себя редактирование и начал сотрудничество с издателем «Нового времени» А. С. Сувориным, который создал новую коммуникативную площадку, ставшую вскоре крайне популярной среди профессиональных историков — «Исторический вестник».

¹⁰ Об издании сборника... 1875. С. 5.

Почин создания таких специализированных журналов поддержали многие историки (Бестужев-Рюмин, Соловьев, Костомаров, Забелин, Иловайский), размещая свои материалы на страницах «Древней и Новой России», а потом и на страницах «Исторического вестника». Последний из них стал мощной коммуникативной площадкой, публикуя исследования авторов, несмотря на их общественно-политические пристрастия, историко-научные интересы и схолярные взаимосвязи. Этот журнал стал самодостаточным коммуникативным звеном, радушно настроенным и к «ученой» молодежи, и к «известным в исторической науке именам», публикуя, например, первые работы С. Ф. Платонова и Е. Ф. Шмурло. Здесь происходит интенсивное профессиональное общение, которое одновременно и презентует результаты научных дебатов и задает импульс к обсуждению новых тем. В сообществе историков «Исторический вестник» воспринимается как аполитичное научное издание и имеет небывалый успех. Возникнув в 1880 г., через 8 лет журнал издавался тиражом уже в 5200 экземпляров, а к 1914 г. – в 13 тысяч. Журнал занял ведущее положение исторических журналов, наряду с «Русским Архивом» и «Русской Стариной». Отличительной чертой «Исторического вестника» было стремление публиковать на своих страницах и законченные научно-исследовательские работы, и литературные произведения, и рецензии, и обзоры, сочетая тем самым коммерческий успех, научность и доступное изложение материала.

К последней группе периодических изданий, на страницах которых появлялись небольшие заметки профессиональных историков или любая другая информация о них, относились историко-литературные, литературно-политические, научно-популярные, критико-библиографические, общественно-политические, иллюстрированные журналы. Среди них можно выделить журналы со специализированным неисторическим уклоном – «Русский Филологический вестник», «Филологическое обозрение», «Семья и школа», где возможна была междисциплинарная коммуникация историков с представителями гуманитарного знания. Среди остальных изданий имелись журналы с явной политической направленностью («Минувшие годы», «Голос минувшего», «Вестник Европы», «Мир Божий», «Русский вестник» и др.), в которых историки принимали участие в зависимости от их политических интересов (например, П. Н. Милоков помещал свои статьи в «Мире Божьем», в «Русской мысли» В. И. Герье, В. О. Ключевский, в «Русском богатстве» В. И. Семевский и т.д.). Была еще категория «обывательских», но весьма популярных журналов, среди которых выделялась «Нива» – ежене-

дельный журнал литературы, политики и современной жизни с приложениями (тираж достигал 200 тыс. экз.). На его страницах помещались краткие заметки о событиях «в научной жизни», из которых широкая публика узнавала не только о главных событиях в исторической науке, но и о содержании тех или иных споров, научных достижений.

Характеризуя коммуникативное пространство периодических изданий исторической науки рубежа XIX–XX вв. следует отметить, что из выделенных четырех групп наибольшую интенсивность имели специализированные журналы наподобие «Исторического вестника», которые изначально формировались как коммуникативная площадка профессиональных историков. Таких журналов было немного (три с большим тиражом и четыре с небольшим), но именно они концентрировали вокруг себя практически всех историков-профессионалов (и даже любителей старины), на их страницах осуществлялась, как правило, внутродисциплинарная коммуникация. Второй по значимости была группа периодических изданий (девять наименований), выпускаемых официальными научно-историческими обществами, самыми популярными из которых были Чтения Московского общества истории и древностей Российских. Здесь коммуникация приобретала сугубо специализированный характер, во многом ориентируясь на интересы своего официального органа.

Междисциплинарную коммуникацию осуществляли пять специализированных изданий, выходявшие при неисторических обществах: юридических, филологических, антропологических, географических. Но участие историков не было систематическим, что подчеркивало отсутствие стремления исторической науки к междисциплинарному общению и строгому ограничению «своего исследовательского поля». Особую важность приобретала внешняя коммуникация, с одной стороны ориентированная на властный уровень (Журнал Министерства народного просвещения), а с другой – на социокультурный контекст эпохи, связанный с непрофессиональным читателем, обывателем рубежа XIX–XX вв. Участие в первой группе (куда мы отнесли только один журнал) было подчинено особым законам, связанным с поддержанием запросов власти и, естественно, с «политической благонадежностью» автора.

Самой пестрой оказалась последняя группа журналов (23 наименования), где коммуникация носила непостоянный, можно сказать, случайный характер, активизируясь в юбилейные даты и значительно ослабевая в связи с политизацией того или иного издания. Но этот тип коммуникации был очень важен для исторического сообщества, так как он осуществлял обратную связь с широкой публикой и формировал так называ-

емый «социальный заказ» исторической тематики. Через этот канал общество узнавало о важных маркирующих событиях внутри научного сообщества историков, таких как защита диссертаций, публичные выступления, назначения на административные должности и т.п. На страницах этих журналов также происходило междисциплинарное общение с представителями других гуманитарных дисциплин (филологами, библиографами, военными, искусствоведами) и даже с естественниками. Но оно носило зачастую также фрагментарный характер.

В советский период наблюдаются трансформации коммуникативной сетки исторической науки, в частности, на некоторый период сохраняются старые журналы, появляются новые издания, меняется взаимоотношение, как самих изданий, так и авторов с властью.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Алеврас Н. Н.* «Своя игра»: историк вне «школьной» традиции или опыт персонального выбора в пространстве историографического быта // Мир историка: историографический сборник / Под ред. С. П. Бычкова, А. В. Свешникова. Вып.4. Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. С. 238–267.
- Алеврас Н. Н.* Ключевский и его школа (фрагменты лекционного курса «отечественная историография») // Вестник ЧелГУ. Сер. 1. История. 2005. № 2. С. 99–113.
- Александр Евгеньевич Пресняков: письма и дневники, 1889–1927. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. 968 с.
- Ананьич Б. В., Панях В. М.* О петербургской исторической школе и ее судьбе // Отечественная история. 2000. №5. С. 105–114.
- Антощенко А. В.* П. Г. Виноградов: долгое краткое возвращение в alma mater // Мир историка: историографический сборник / Под ред. В. П. Корзун, А. В. Якуба. Вып.5. Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. С. 178–205.
- Брачев В. С.* «Наша университетская школа русских историков» и ее судьба. СПб., 2001. 246 с.
- Гришина Н. В.* «Научное исследование... составляет мое истинное жизненное призвание»: мотивы вхождения в науку историков конца XIX – начала XX вв. // Мир историка: историографический сборник / Под ред. В. П. Корзун, А. В. Якуба. Вып.5. Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. С. 151–177.
- Гришина Н. В.* «Школа В. О. Ключевского» в исторической науке в российской культуре. Челябинск: Энциклопедия, 2010. 288 с.
- Кефнер Н. В.* Научная повседневность послевоенного поколения советских историков: Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. к.и.н.. Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. 26 с.
- Кныш Н. А.* Образ советской исторической науки и историка в газете «Культура и жизнь» (к вопросу об особенностях коммуникативного пространства) // Мир историка: историографический сборник / Под ред. С. П. Бычкова, А. В. Свешникова. Вып.4. Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. С. 332–364.

- Корзун В. П. Жизненный мир и наука: отец и сын Лаппо-Данилевские // Ейдос. Альманах теории исторической науки. Вып.4. Киев 2009. С. 407–409.
- Мамонтова М. А. Неформальные сообщества историков как коммуникативная площадка исторической науки // Научное наследие С. Ф. Платонова в контексте развития отечественной историографии: Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения академика С. Ф. Платонова (г. Нижневартовск, 15 мая). Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2010. С. 8–13.
- Мамонтова М. А. Полемика С. Ф. Платонова и Д. И. Иловайского по поводу модели исторического исследования как коммуникативное событие // Феномен несогласия в истории гуманитарных и естественных наук и биографиях ученых: Хрестоматия. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2007. С. 427–430.
- Мохначева М. П. Журналистика и историческая наука. В 2 кн. Кн. 1. Журналистика в контексте наукотворчества в России XVIII–XIX вв. М.: РГГУ, 1998. 383 с. Кн. 2: Журналистика и историографическая традиция в России 30–70-х гг. XIX в. М.: РГГУ, 1999. 511 с.
- Мягков Г. П. Научное сообщество в исторической науке: опыт русской исторической школы. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2000. 298 с.
- Мягков Г. П., Филимонов В. А. Казанские ученые в коммуникативном пространстве Н. И. Кареева // Ученые записки Казанского университета. – Сер. Гуманит. науки. 2009. Т. 151, кн. 2, ч. 1. С. 164–173.
- Об издании сборника «Древняя и Новая Россия» в 1875 г. // Древняя и новая Россия. 1875. №1. С. 5–6.
- Письма русских историков (С. Ф. Платонов, П. Н. Милюков) / Под ред. проф. В. П. Корзун. Омск: ООО «Полиграфист», 2003. 306 с.
- Ростовцев Е. А. А. С. Лаппо-Данилевский и петербургская историческая школа. Рязань, 2004. 352 с.
- Свешников А. В. «Вот вам история нашей истории». К проблеме типологии научных скандалов второй половины XIX – начала XX в. // Мир историка: историографический сборник / Под ред. В. П. Корзун, Г. К. Садретдинова. Вып.1. Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. С. 231–262.
- Свешников А. В., Антощенко А. В. Конфликт без скандала в университетской среде // Мир Клио. Сборник статей в честь Лорины Петровны Репиной. Т. 2. М., 2007. С. 115–134.
- Серых А. А. Поколенческая идентичность историков России в конце XIX – начале XX вв.: Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. к.и.н. Омск, 2010. 23 с.
- Сидорова Л. А. Советская историческая наука середины XX века: Синтез трех поколений историков. М.: ИРИ РАН, 2008. 294 с.
- Цамутали А. Н. Петербургская историческая школа // Интеллектуальная элита Санкт-Петербурга. Ч.1. СПб., 1993. С. 138–142.
- Мамонтова Марина Александровна**, кандидат исторических наук, доцент кафедры современной отечественной истории и историографии ОмГУ им. Достоевского, marina_tamontova@rambler.ru.

«СВЯЗЬ / РАЗРЫВ» ПОКОЛЕНИЙ В СООБЩЕСТВЕ РОССИЙСКИХ ИСТОРИКОВ КОНЦА XIX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКОВ*

Статья посвящена исследованию характера межпоколенческой коммуникации в научном сообществе российских историков конца XIX – первой трети XX вв. Определены формы коммуникации историков разных поколений, «учителей» и «учеников», значение «связи» и «разрыва» поколений в научном сообществе.

Ключевые слова: поколение, коммуникация, научное сообщество, «учителя», «ученики», российские историки конца XIX – первой трети XX вв.

Истории отечественного научного сообщества конца XIX – первой трети XX вв. посвящен большой комплекс работ. Рассмотрены положение историков в научном сообществе и характер их взаимоотношений, исследованы жизнь и творчество ряда крупных историков¹. Возникшая в начале 1990-х гг. полемика по вопросам интерпретации «научных школ» остается актуальной и сегодня. В монографиях и статьях Г. П. Мягкова, О. Б. Леонтьевой, В. П. Корзун² проанализированы научные концепции, исследованы условия формирования и взаимодействия различных «научных школ» конца XIX – первой трети XX вв., определены роль и функции межличностных коммуникаций. Появляются новые работы, в которых исследуется «историографический быт» научного сообщества³. Остаются пока не исследованными поколенческая структура сообщества и характер коммуникаций между учеными разных поколений.

Поколенческая идентификация в рамках профессионального сообщества, как правило, выражалась в понятиях «учитель» и «ученик». По К. Мангейму, взаимоотношения «учителя» и «ученика» представляют собой отношения «одного возможного центра жизненной ориентации с другим, призванным его сменить <...> не только учитель создает ученика, но и ученик – учителя»⁴. Мангейм рассматривает межпоколенческое взаимодействие учителя и ученика не только как форму передачи накопленных научных знаний и опыта, но возможное взаимовлияние

* Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК–5404. 2010. 6.

¹ Малинов, Погодин. 2001; Ростовцев. 2004; Макушин, Трибунский. 2001 и др.

² Мягков. 2000; Леонтьева. 2004; Корзун. 2000.

³ Никс. 2008.

⁴ Мангейм. 1998. С. 26.

субъектов общения. Подобная практика межпоколенческой коммуникации, при которой взаимодействие поколений не ограничивается передачей накопленного опыта, могла сложиться и в научном сообществе русских историков конца XIX – первой трети XX вв.

Коммуникативная практика учителя и ученика в конце XIX – первой трети XX вв. определялась известными нормами университетской культуры. Ю. В. Краснова определила несколько типов отношений, характерных для университета как самостоятельного коммуникативного пространства: «государство – административный аппарат университета», «преподаватель – студент», «студент – студент», при этом в рамках каждого типа формируется особый предмет коммуникации⁵.

На характер коммуникации поколений историков в рамках научного сообщества оказала влияние реформа системы российского образования 1870-х гг. Поколение студентов, поступившее в университеты в начале 1880-х гг., закончило классическую гимназию А. Д. Толстого. Требования, которые предъявлялись к выпускникам гимназии, и требования, предъявляемые к студентам профессорами университетов, отличались друг от друга. Профессорско-преподавательский состав хотел видеть в студентах думающих людей, способных к самостоятельному анализу источников и литературы. Но вчерашние гимназисты первые несколько лет были не готовы к подобным требованиям, так как гимназическое образование не предусматривало развитие аналитического мышления.

Очень ярко сложившаяся ситуация показана в романе «Восьмидесятники» А. В. Амфитеатрова: «Кого восемь лет изо дня в день колотили по мозгам Ходобаем и Курциусом, тот на первых порах потом обыкновенную человеческую речь и серьезную мысль слушает туго и дико. Вы привыкли зубрить, в лучшем случае, учить уроки, а вам читают лекции, рассчитанные на критическое восприятие. А его-то у вас и нет...»⁶.

Подобная межпоколенческая граница была обусловлена и реформой системы высшего образования в 1880-е гг. Правительство и администрация университетов относились «настороженно» к студенчеству, выстраивая взаимоотношения скорее в форме административных указаний, нежели в форме сотрудничества. Т. Бон отмечает, что университетский устав 1884 г. и дополнительные предписания министерства «придали университетам казарменный характер»⁷. По новому уставу, в стенах университета студенты находились под постоянным контролем инспектора, полномочия которого были значительно расширены. Взаи-

⁵ Краснова. 2008. С. 288.

⁶ Амфитеатров. 2002. С. 114.

⁷ Бон. 2005. С. 30.

моотношения между профессорско-преподавательским составом университета и студентами также были регламентированы. В результате, старшее и младшее поколение в университете, профессора и студенты существовали в двух автономных системах, точек пересечения между которыми было крайне мало, т. е. можно говорить о том, что в 1880-е гг. для научного сообщества был характерен скорее «разрыв» поколений.

Историки, поступившие в университеты в начале 1880-х гг., впоследствии в своих воспоминаниях отмечали, что профессора сохраняли некоторую «отстраненность» от учеников в процессе научного руководства. Так С. Ф. Платонов отмечал: «Бестужев как будто боялся руководить; сделанное учеником он горячо обсуждал, хвалил или критиковал; но как следовало сделать, наперед не любил указывать. Позднее мне пришлось узнать, что и другие ученики Бестужева испытывали на себе то же свойство учителя»⁸. Желая получить точные рекомендации от Бестужева, Платонов предполагал, что руководитель сформулирует четкий план дальнейшей работы, но Бестужев «уклонялся» от подобного планирования. Отказываясь показать ученикам «как следовало сделать», историк развивал аналитические способности, самостоятельность и индивидуальность будущих коллег. Подобным образом действовал и В. О. Ключевский, который отмечал: «Наша обязанность <...> помогать, чем можем, художникам, желающим изучить русскую историю и ищущим вдохновение в ней; я только не люблю, когда ко мне обращаются с вопросами специалисты: сам доходи»⁹. И именно в рамках правила «сам доходи» работал Ключевский со своими учениками. Н. Н. Алеврас предполагает, что В. О. Ключевский перенял у С. М. Соловьева «стереотип межличностных отношений» с учениками, заключавшийся в отказе от «подчеркнутого попечительства»¹⁰. На наш взгляд, в отказе историков старшего поколения от «подчеркнутого попечительства» проявляются разность и взаимное непонимание двух миров – старшего и младшего поколений, учителей и учеников. Профессора и студенты мыслили по-разному и ожидали от общения друг с другом разных результатов. Старшее поколение ожидало проявления самостоятельности студентов, а младшее стремилось получить от учителей научное «попечительство».

В университете, помимо регламентированных форм коммуникаций преподавателей и студентов (лекции, семинары, экзамены), были распространены и другие формы межпоколенческой коммуникации, которые нередко выходили за рамки «университетских стен». Например,

⁸ Платонов. 1921. С. 122.

⁹ Цит. по: Готье. 1912. С. 180.

¹⁰ Алеврас. 2006. С. 123.

была распространена практика проведения некоторых занятий в домашней обстановке. М. М. Богословский и П. Н. Милюков вспоминали о посещении семинаров, проводимых В. О. Ключевским у себя дома. Милюков отмечал также, что его курс на правах первых учеников Ключевского закрепил за собой привилегию «непринужденной личной беседы» с профессором. А. А. Кизеветтер вспоминал о посещении «вечеров» В. И. Герье и П. Г. Виноградова, Е. Ф. Шмурло – о возникших в 1870-е гг. «вторниках» К. Н. Бестужева-Рюмина. Н. Н. Никс отмечает, что «такие встречи приносили и радость общения с друзьями, и способствовали распространению новых идей и усвоению молодыми учеными эстетических идеалов, характерных для профессорской культуры»¹¹.

Историки конца XIX – начала XX вв. сохранили подобную форму общения с молодым поколением исследователей первой трети XX века. С. Н. Валк вспоминал о «пятницах» А. С. Лаппо-Данилевского, Г. В. Вернадский о «платоновских средах». П. Н. Милюков, как и петербургские историки, в начале своей профессиональной карьеры часто проводил занятия в домашней обстановке¹². Сохранение подобной формы работы с учениками позволило развить традицию неформального общения историков разных поколений. Однако характер взаимоотношений «учителя» и «ученика» в рамках научного сообщества в первой трети XX века несколько изменился. Основной задачей «учителя», по мнению историков, являлась необходимость «вышколить» исследователя, то есть передать ему взгляды и традиции одного из научных направлений. В. В. Митрофанов предполагает, что историки содействовали молодому поколению в научной деятельности. Он считает, что С. Ф. Платонов «щедро делился своими находками» с учениками¹³. Соглашаясь с мнением исследователя, отметим, что Платонов оказывал поддержку ученикам не только при выборе направления научных исследований, но и при формировании научных коммуникаций. Так, в апреле 1914 г. он написал С. Б. Веселовскому письмо с просьбой «оказать содействие и помощь» своей ученице Е. З. Вулих¹⁴, а в августе 1914 г. еще раз обратился к коллеге с подобной просьбой, но уже в отношении к А. В. Тищенко¹⁵.

Иначе складывались отношения с учениками А. С. Лаппо-Данилевского, но в этом случае сказывались скорее не историографические традиции, а индивидуальные особенности характера историка. С. Н. Валк в

¹¹ Никс. 2008. С. 200.

¹² Кизеветтер. 1996. С. 70.

¹³ Митрофанов. 2006. С. 157.

¹⁴ Платонов С. Ф. – С. Б. Веселовскому... С. 179.

¹⁵ Платонов С. Ф. – С. Б. Веселовскому... С. 181.

воспоминаниях отмечал «малодоступность» историка: «можно было бы подыскать немало иллюстраций к этому положению. Бывая у А. С. по пятницам, легко было подметить в беседе, что в значительной мере она носила пассивный для А. С. характер. Темы беседы возбуждались не А. С., а большей частью это было задачей собеседника, да и беседой эти разговоры можно назвать лишь в очень условном смысле»¹⁶.

Сам А. С. Лаппо-Данилевский объяснял свою «замкнутость» волнением и неумением общаться с аудиторией. В письме к М. С. Гревс он отмечал: «Вы видите, что я до сих пор далеко не уяснил себе отношение моих слушательниц к моему курсу, что, конечно, происходит от моего неумения обращаться с людьми. Второй курс Института тоже доставляет мне иной раз тяжелые впечатления. Студенты этого курса слушают очень вяло, а иной раз вовсе не слушают, хотя и сидят в аудитории. В такие минуты мне хочется возможно больше заинтересовать их, а страх, что я не в состоянии этого сделать каким-то холодным кольцом сжимает сердце, мешает говорить, я чувствую, что вместо того, чтобы говорить лучше, я говорю хуже и нагоняю скуку. Это ужасно тяжелое чувство»¹⁷. Несмотря на сложности в общении, по истечении некоторого времени студенты выражали Лаппо-Данилевскому свое признание, которое, по словам самого историка, его смущало: «На последних лекциях испытал некоторое удовлетворение и смущение. Студенты всех курсов провожали меня аплодисментами, и я, совершенно не зная, что им сказать по этому поводу, убежал от них как дурак, да и боялся, чтобы им не было неприятностей из-за этого»¹⁸. Лаппо-Данилевский совершенно обоснованно «боялся» за своих слушателей, так как в соответствии с одним из параграфов правил для студентов, изданным в дополнение к уставу 1884 г. «выражение одобрения или неодобрения преподавания ни под каким предлогом и ни в каком виде не допускается»¹⁹. При этом университетский устав регламентировал только взаимоотношения «профессор – студент», а взаимоотношения «учитель – ученик» не поддавались жесткому контролю со стороны администрации университета, они выстраивались по иным правилам.

Историки конца XIX – начала XX вв. не только признавали влияние «учителей», но также отмечали, что это влияние могло быть различным. М. М. Богословский писал: «Воздействие университетского учителя, если оно не ограничивается пределами аудитории, может быть очень сильно и глубоко и при этом не всегда поддается точному учету.

¹⁶ Валк. 1920. С. 197.

¹⁷ ПФА РАН. Ф. 113. Оп. 3. Д. 4. Л. 18.

¹⁸ Там же. Л. 27. об.

¹⁹ Правила для студентов... С. 13.

Оно не заключается только в идеях и знаниях, сообщенных на лекциях, или в методах, указанных на практических работах. Обмен взглядов по специальным вопросам, споры, передача накопленного долгим временем опыта – все это при общении с учителем пути влияния»²⁰.

Для историков конца XIX – начала XX вв. важно было знать мнение старших коллег о своей текущей и планируемой научной деятельности. А. С. Лаппо-Данилевский делился с М. С. Гревс планами написания сочинения, которое впоследствии стало докторской диссертацией, и отмечал: «Васильевскому я также рассказывал об этих своих планах и он очень сочувственно к ним отнесся, что меня ободрило»²¹. По поводу научных планов на будущее Лаппо-Данилевский консультировался и с К. Н. Бестужевым-Рюминым, «который сделал несколько замечаний, но в общем похвалил, что подействовало ободряющим образом»²². Профессиональное мнение старших коллег-учителей было безусловно важно, так как процесс «вхождения» молодого исследователя в науку был связан с рядом «проблемных ситуаций». Д. Н. Овсяннико-Куликовский отмечал, что «молодой ученый» неизбежно проходит период «профессионального лицедейства», когда в нем еще «живет» студент, но при этом ему необходимо «играть роль» настоящего ученого²³.

На начальном этапе преподавательская деятельность молодых историков во многом зависела от «рекомендации» старших коллег-учителей, которая позволяла (или не позволяла) «брать часы» в учебных учреждениях. Примером может служить ситуация с С. Ф. Платоновым. В 1890 г. у него возник вопрос: завершить преподавательскую деятельность в Александровском лицее и уступить место Е. Ф. Шмурло либо А. С. Лаппо-Данилевскому, или остаться на следующий год. Платонов обратился за советом к В. Г. Васильевскому, который высказал свою точку зрения по возникшей ситуации. Н. Н. Платонова записала в дневнике: «Вечером С[ергей] Ф[едорович] пошел к Васильевскому посоветоваться, как быть<...> Вас[ильевск]ий сказал С[ергею] Ф[едорови]чу, что, отказываясь от Лицея, он ничего не может потерять в служебном отношении, так как его служебное положение очень прочно; что же касается денежной стороны дела, то Вас[ильевск]ий посоветовал Сереже поговорить со мной и поступить так, как я скажу»²⁴. В результате Платонов принял предложение администрации лицея остаться на следующую

²⁰ Богословский. 1989. С. 26.

²¹ ПФА РАН. Ф. 113. Оп. 3. Д. 4. Л. 20 об.

²² Там же. Л. 35.

²³ Овсяннико-Куликовский. 1989. С. 423.

²⁴ ОР РНБ. Ф. 585. Оп.1. Д. 5691. Лл. 9 об, 10.

щий учебный год. По дневнику Н. Н. Платоновой, «когда С[ергея] Ф[едоровича] приглашали в Лицей, ни один из стариков выдающих в ун[иверсите]те русск.[ую] историю [Е. Е. Замысловский и К. Н. Бестужев-Рюмин], не сказал ни слова, не двинул пальцем, чтобы рекомендовать его; приглашение состоялось благодаря рекомендации юристов (Сергиевского и Янсона). Теперь же, когда дело идет о том, чтобы столкнуть с этого места Сережу, и посадить на него Шмурло, эти старики толкуют о нравственном долге»²⁵. В этом эмоциональном и написанном с чувством обиды тексте Платонова подчеркивает важность рекомендации старшего коллеги-учителя для профессиональной карьеры молодого исследователя. Заметим, что слово «старики» в данном контексте не столько отражает поколенческую дифференциацию историков (старики / молодежь), сколько несет эмоциональную нагрузку.

Рекомендация историка старшего поколения – это одна из немногих форм общественного признания, которая была доступна для молодого исследователя, поэтому наличие или отсутствие подобных «рекомендаций» могло отразиться на взаимоотношениях историков. К. Н. Бестужев-Рюмин проявлял заботу и «опекал» отдельных своих учеников, например Е. Ф. Шмурло. В автобиографических заметках Шмурло подчеркивал участие Бестужева-Рюмина в решении вопроса о его переводе в Дерптский университет: «Хлопотали за меня перед министром Деляновым Бестужев-Рюмин, для которого я был лучшим учеником, и Васильевский. Думаю, рекомендация Васильевского, в глазах Делянова, имела большее значение, чем Бестужева, сам же Васильевский, помимо постоянно доброго ко мне отношения, действовал, как мне думается, также и из желания сделать угодное и приятное Бестужеву»²⁶.

Заметим, что в процессе «взросления» в научном сообществе историк не только формирует собственные научные коммуникации с представителями своего поколения или старшего, но и сам становится участником взаимоотношений, сложившихся задолго до его появления в профессиональном сообществе. Своевременное понимание ситуации и улавливание настроений коллег старшего поколения приводит к быстрой адаптации молодого историка. Сравнивая коммуникативные ситуации, сложившиеся у А. С. Лаппо-Данилевского и С. Ф. Платонова, Е. А. Ростовцев приходит к выводу, что отношения Платонова со старшим поколением способствовали его скорой адаптации в научном сообществе²⁷.

²⁵ Там же. Л. 11–11 об.

²⁶ ГАРФ. Ф. Р-5965. Оп. 1. Д. 8. Л. 17–18.

²⁷ Ростовцев. 2004. С. 62.

Историки конца XIX – начала XX вв. сохранили традицию «рекомендаций». Молодые историки первой трети XX в., как и их учителя, получали «рекомендации» от старшего поколения, которые позволяли начать самостоятельную научную деятельность. Отсутствие рекомендации создавало для молодого исследователя ряд проблем. Так, например, М. А. Островская в 1907 г. сообщила С. Ф. Платонову о своем намерении сдать магистерский экзамен: «Вы знаете, что успех этих хлопот зависит от Вашей рекомендации – итак, раз Вы заговорили об этих хлопотах, единственный вывод, который я могла бы из этого сделать, был, что Вы эту рекомендацию мне дадите. Раз Вы против “рекомендаций”, Вы этим ставите крест над моей попыткой»²⁸. Сложная ситуация возникла у С. Ф. Платонова и с И. И. Лаппо, который был уверен, что Платонов планирует оставить его при университете. Н. Н. Платонова записала в дневнике: «С[ергей] Ф[едорович] не рассчитывал его оставить и дал ему понять, что стипендий в ун[иверси]те мало, а что оставление без нее по новым правилам влечет за собой так мало преимуществ, что не стоит его и домогаться. С[ергей] Ф[едорович] думал, что из этого разговора Лаппо должен был вывести заключение об отказе, но оказалось, что Лаппо, который клянется и божится, что до этого разговора не думал об оставлении, как раз понял этот разговор в том смысле, что С[ергей] Ф[едорович] хочет его оставить»²⁹. Впоследствии С. Ф. Платонов все же рекомендовал И. И. Лаппо для оставления при университете.

Однако, несмотря на возникающие иногда конфликты и недопонимания между учеными разных поколений, для научного сообщества российских историков конца XIX – первой трети XX вв. было важно сохранение «связи» поколений, одной из форм выражения которой было издание сборников в честь исследователей старших поколений. Как правило, сборники создавались к определенной дате, событию, либо в память об ушедшем историке³⁰. Посвящение сборника свидетельствовало о признании ученого научным сообществом, в то же время, создание подобных сборников укрепляло межпоколенческую связь, а сами торжественные даты были символами, объединяющими поколения.

В юбилейных сборниках преобладает местоимение «мы»: «мы ученики», «мы почитатели» и т.д. Важно, что историк-юбиляр стано-

²⁸ Островская М. А. – С. Ф. Платонову... С. 297.

²⁹ ОР РНБ. Ф. 585. Д. 5692. Л. 2.

³⁰ К двадцатипятилетию учебно-педагогической деятельности И. М. Гревса... 1911; Сергею Федоровичу Платонову... 1911; *Ключевский В. О.* Характеристики... 1912; Сборник статей посвященных А. С. Лаппо-Данилевскому. 1916; Сборник статей, посвященных П. Н. Милюкову. 1929.

вился своеобразным «местом памяти». Примером могут быть сборники, посвященные В. О. Ключевскому. Его роль и значение для исторической науки признавали и признают ученые разных поколений. Авторы сборника, посвященного тридцатилетию его профессорской деятельности, в торжественном обращении к юбиляру отмечали: «Мысль приветствовать вас сегодня поднесением вам наших посильных трудов объединила около этой книги людей разных поколений и разных научных специальностей»³¹. Характерно, что авторы подчеркивают различия, при том, что сборник является формой объединения поколений.

В текстах сборников, созданных молодым поколением ученых первой трети XX века в честь историков конца XIX – начала XX вв., также присутствует идея связи поколений. Важно, что молодое поколение историков не только называет себя «учениками», но и признает существование нескольких поколений «учеников». В результате, историки-юбиляры способствуют объединению поколений. Так, в сборнике, посвященном И. М. Гревсу, авторы отмечали: «Вокруг этого сборника, который должен был ознаменовать 25-летний юбилей, собрались представители разных, уже далеко отстоящих друг от друга поколений Ваших учеников»³².

Другой формой реализации идеи связи поколений были сборники памяти историков старшего поколения. Характерно, что тексты сборников насыщены местоимением «я». П. Н. Милуков в воспоминаниях о В. О. Ключевском писал: «Пользуясь преимуществом возраста, я лучше изложу эту характеристику в последовательном порядке моих личных впечатлений – студента, магистранта, специалиста по той же науке и, наконец, общественного деятеля»³³. Историк акцентировал внимание на том, что воспоминания об историке старшего поколения, создание индивидуального образа могут быть основаны только на личных впечатлениях. В воспоминаниях о К. Н. Бестужева-Рюмине Милуков отмечал: «Из моих московских товарищей по специальности, кажется, я – единственный, который был связан с покойным личными отношениями – и который, следовательно, имеет возможность судить о нем, как о человеке»³⁴.

Созданные по личным впечатлениям портреты отличались особой эмоциональностью. В том случае, если воспоминания основывались не на личных впечатлениях, местоимение «Я» заменялось на «мы»: «мы ученики», «мы последователи», «наш историк» и т.д. В результате подобного обобщения, в тексте больше внимания обращалось на научную деятель-

³¹ Сборник статей, посвященных Василию Осиповичу... 1909. С. i.

³² К двадцатипятилетию учено-педагогической деятельности... 1911. С. i.

³³ Милуков. 1912. С. 185.

³⁴ ГАРФ. Ф. 579. Оп. 1. Д. 3394. Л. 1.

ность историков старшего поколения, а не на их личные качества. Например, А. С. Лаппо-Данилевский и С. Ф. Платонов в воспоминаниях о В. О. Ключевском анализировали сочинения исследователя, а не писали об индивидуальных особенностях его характера. Платонов только делал предположение о личностных качествах исследователя: «Для людей, которые не стояли близко к Ключевскому и знали его по трудам или же видели его на кафедре и в ученых собраниях, знаменитый историк представлялся обаятельным, своеобразным и даже несколько загадочным по своей сложности лицом»³⁵. Подчеркивалась связь историка с научным сообществом и его место в «цепи поколений». М. К. Любавский писал: «Соловьев и Ключевский занимают воображение, как два неразрывно связанных деятеля, учитель и ученик, начинатель и продолжатель, сливающиеся в единый образ мощного духовного гения»³⁶. В воспоминаниях отмечали тех, кто способствовал сохранению «связи поколений» – К. Н. Бестужева-Рюмина, С. М. Соловьева и В. О. Ключевского.

Факт определения связи историка минувшего поколения с последующими поколениями можно рассматривать как историографическую традицию, но важен характер возникающей связи. Н. Д. Чечулин в воспоминаниях о Бестужева-Рюмине писал: «Труды его остаются и долго еще будут по ним учиться те, кто стремиться к истинному знанию; его прекрасное влияние должны усвоить мы, имевшие счастье знать его лично»³⁷. Отметим эмоциональность и убежденность исследователя в значении сочинений историка для будущих поколений. Воспоминания Чечулина были написаны непосредственно после кончины Бестужева-Рюмина, а опубликованы в 1901 г. В 1922 г. (через 20 лет) Платонов опубликовал в «Русском историческом журнале» воспоминания о Бестужева-Рюмине, в которых отразил иную точку зрения о его значении для молодого поколения: «Исполнилось 25 лет со дня кончины известного историка академика К. Н. Бестужева-Рюмина. Я написал “известного” и впал в сомнение: правильно ли это выражение в отношении Бестужева? Помнит ли его наша современность? Его “Русская история”, конечно, устарела. И на нее уже не ссылаются; его прекрасное исследование о летописях имеет лишь историографический интерес; его статьи почтили в книжках старых журналов и не были переизданы в “собрании сочинений”, как статьи его сверстника и друга С. В. Ешевского»³⁸. Для

³⁵ Платонов. 1911. С. 6.

³⁶ Любавский. 1912. С. 46.

³⁷ Чечулин. 1901. С. 7.

³⁸ Платонов. 1922. С. 225.

историков оказывается важен не сам факт связи исследователей минувших поколений с будущими, но характер этой связи, насколько личность историка (образ которого создается в воспоминаниях современников) и его сочинения будут актуальны для последующих поколений.

И. А. Линниченко писал, что «с Соловьевым, Забелиным, Антоновичем и Ключевским в нашей науке русской истории минул век богатырей»³⁹. Л. А. Сидорова отмечает, что в рамках научного сообщества, в случае актуализации преемственности поколений отношение к старшему поколению может быть как к «своеобразному “золотому веку” науки»⁴⁰. Формулировка «век богатырей», на наш взгляд, подтверждает не только значение для историков идеи связи поколений, но также отношение ко времени работы старшего поколения как к «золотому веку», в результате чего происходит идеализация старшего поколения.

Используя категориальный аппарат К. Мангейма, можно предположить, что историки, вступившие в научное сообщество в 1880-е гг. и продолжавшие свою деятельность до 1920-х гг., выполняли в сообществе конца XIX – первой трети XX вв. роль «поколения-посредника». Признавая различия поколений, они стремились сохранить и передать накопленный опыт минувших поколений последующим. Например, в 1919 г. Ю. В. Готье писал о первой лекции А. А. Новосельского: «Это первый из молодого поколения историков, которого мы выводим на свою смену. Я думаю, что этот будет хорошим продолжением школы Ключевского»⁴¹.

Таким образом, в сообществе российских историков конца XIX – первой трети XX вв. имели место как «разрыв», так и «связь» поколений. Характер взаимоотношений историков разных поколений зависел от ряда факторов: от административной политики университетов, от форм межпоколенческих коммуникаций (лекции, семинары, «вечера»), от личностных особенностей историков, а также от цели, которую преследовало каждое из поколений в процессе коммуникации. Отношения «учителя» и «ученика», как правило, формировались с целью обучения и передачи накопленных знаний и опыта от старшего поколения к младшему, а способы передачи были различны: от намеренного невмешательства в деятельность «ученика» с целью дать молодому поколению возможность проявить свои способности (или научиться на собственных ошибках), до научного попечительства и постоянной поддержки в про-

³⁹ Линниченко. 1911. С. 9.

⁴⁰ Сидорова. 2002. С. 29.

⁴¹ Готье. 1992. С. 126.

цессе адаптации историков молодого поколения в научном сообществе.

Но взаимоотношения историков разных поколений нельзя ограничивать только передачей накопленного знания и опыта, они были значительно шире. В научном сообществе происходило постоянное взаимовлияние поколений. «Ученики» создавали образы своих «учителей», которые передавали последующим поколениям, оказывая влияние на формирование идеализированных представлений об историках старших поколений. В то же время историки старшего поколения, «учителя» транслировали «ученикам» не только научные знания, но и идеи и идеалы которые были значимы для их поколения.

Рассматривая межпоколенческую коммуникацию как один из аспектов профессиональной деятельности исторического сообщества, мы можем говорить о «связи» старшего и младшего поколений, «учителей» и «учеников». Однако, нередко профессиональные взаимоотношения «учителя» и «ученика» трансформировались в дружеские взаимоотношения двух людей разных поколений. В этом случае «правила» взаимоотношений менялись, между историками могли возникнуть конфликтные ситуации, которые накладывали отпечаток и на их профессиональную деятельность. В отечественной историографии известны конфликты между «учителями» и «учениками» (В. О. Ключевский и П. Н. Милюков, К. Н. Бестужев-Рюмин и С. Ф. Платонов и т.д.), поэтому можно говорить о «разрыве» поколений и взаимном непонимании историков разных генераций. Но важно то, что подобные конфликты основались на личных взаимоотношениях историков, они выходили за пределы профессиональной корпорации и относились к истории взаимоотношений двух людей. Подобные конфликты не являются типичными для научного сообщества историков, это лишь исключения, подтверждающие общее правило, заключающееся в том, что для профессиональной корпорации историков конца XIX – первой трети XX в. характерна «связь» поколений и сотрудничество историков разных генераций, «учителей» и «учеников».

БИБЛИОГРАФИЯ

- Алеврас Н. Н.* Проблема лидерства в научном сообществе историков XIX – начала XX века // Историк в меняющемся пространстве российской культуры/ Гл. ред. Н. Н. Алеврас. Челябинск: Каменный пояс, 2006. С. 117–126.
- Амфитеатров А. В.* Восьмидесятники. Книга первая // Собр. соч. в 10 т. Т. 5. Концы и начала. Хроника 1880–1910 гг. М.: НПК «Интелвалк», 2002. С. 5–422.
- Богословский М. М.* В.О. Ключевский как ученый // *Богословский М. М.* Историография, мемуаристика, эпистолярная. М.: Наука, 1989. С. 22–36.
- Бон Т. М.* Русская историческая наука (1880 г. – 1905 г.). Павел Николаевич Милюков и Московская школа. СПб.: Олариус Пресс, 2005. 269 с.

- В. О. Ключевский.* Характеристики и воспоминания. М.: Научное слово, 1912. 217 с.
- Валк С. Н.* Воспоминания ученика // Русский исторический журнал. Кн. 6. 1920. С. 189–199.
- ГАРФ. Ф. 579. (П. Н. Милоков) Оп. 1. Д. 3394. Л. 1.
- ГАРФ. Ф. Р-5965 (Е. Ф. Шмурло). Оп. 1. Д. 8. Л. 17–18.
- Готье Ю. В.* В. О. Ключевский как руководитель начинающих ученых (из личных воспоминаний) // *В. О. Ключевский.* Характеристики и воспоминания. М.: Научное слово, 1912. С. 177–182.
- Готье Ю. В.* Мои заметки // Вопросы истории. 1992. № 1. С. 119–138.
- К двадцатипятилетию учебно-педагогической деятельности И. М. Гревса 1884–1909. Сборник статей учеников. СПб.: типография товарищества «Общественная польза», 1911. 476 с.
- К двадцатипятилетию учебно-педагогической деятельности И. М. Гревса 1884–1909. Сборник статей учеников. СПб.: типография товарищества «Общественная польза», 1911. 476 с.
- Кизеветтер А. А.* На рубеже двух столетий: Воспоминания 1881–1914 гг. М.: Искусство, 1996. 359 с.
- Корзун В. П.* Образы исторической науки на рубеже XIX – XX в. (анализ отечественных исторических концепций). Омск; Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2000. 226 с.
- Краснова Ю. В.* Университет как коммуникативное пространство (на примере столичных университетов России конца XIX – начала XX в.) // Мир историка: историографический сборник / Под ред. С. П. Бычкова. А. В. Свешникова, А. В. Якуба. Вып. 4. Омск: Изд-во ОмГУ, 2008. С. 285–321.
- Леонтьева О. Б.* «Субъективная школа» в русской мысли: проблемы теории и методологии истории. Самара: Изд-во Самарский университет, 2004. 200 с.
- Линниченко И. А.* Василий Осипович Ключевский. Речь, произнесенная в собрании Одесского Библиографического Общества при Императорском Новороссийском Университете 14-го мая 1911 года. Одесса, 1911. 9 с.
- Любавский М. К.* Соловьев и Ключевский // *В. О. Ключевский.* Характеристики и воспоминания. М.: Научное слово, 1912. С. 45–68.
- Макушин А. В., Трибунский П. А.* Павел Николаевич Милоков: труды и дни (1859–1904). Рязань, 2001. 438 с.
- Малинов А. В., Погодин С. Н.* Александр Лаппо-Данилевский: историк и философ. СПб.: Искусство, 2001. 285 с.
- Мангейм К.* Проблема поколений // НЛЮ. 1998. № 2 (30). С. 7–47.
- Милоков П. Н.* В. О. Ключевский // *В. О. Ключевский.* Характеристики и воспоминания. М.: Научное слово, 1912. С. 183–217.
- Митрофанов В. В.* С. Ф. Платонов и П. Г. Васенко (творческие и личные взаимоотношения) // Вопросы истории. 2006. № 7. С. 155–166.
- Мягков Г. П.* Научное сообщество в исторической науке: Опыт «русской исторической школы». Казань: Изд-во Казанского университета, 2000. 295 с.
- Никс Н. Н.* Московская профессура во второй половине XIX – начале XX вв. М.: Новый хронограф, 2008. 304 с.

- Овсянко-Куликовский Д. Н.* Воспоминания // *Овсянко-Куликовский Д. Н.* Литературно-критические работы: В 2 т. Т. 2. Из «Истории русской интеллигенции». Воспоминания. М.: Художественная литература, 1989. С. 306–486.
- ОР РНБ. Ф. 585 (С. Ф. Платонов) Оп. 1. Д. 5691. Л. 9 об, 10.
- ОР РНБ. Ф. 585 (С. Ф. Платонов) Оп. 1. Д. 5691. Л. 11–11 об.
- ОР РНБ. Ф. 585 (С. Ф. Платонов). Оп. 1. Д. 5692. Л. 2.
- Переписка С. Б. Веселовского с отечественными историками. М.: Археографический центр, 2001. 527 с.
- Письма М. А. Островской С. Ф. Платонову (1906–1914) // Мир историка: историографический сборник. Вып. 1. Омск: ОмГУ, 2005. С. 290–312.
- Платонов С. Ф.* В. О. Ключевский (1839–1811 гг.). Некролог. СПб.: Сенатская типография, 1911. 9 с.
- Платонов С. Ф.* Константин Николаевич Бестужев-Рюмин (2 января 1897) // Русский исторический журнал. Пг., 1922. Кн. 8. С. 225–228.
- Платонов С. Ф.* Несколько воспоминаний о студенческих годах // Дела и дни. 1921. Кн. 2. С. 104–129.
- Правила для студентов и сторонних слушателей российских университетов: Утверждено 16 мая 1885 г. министром народного просвещения. М., 1885. 32 с.
- ПФА РАН. Ф. 113. (А. С. Лаппо-Данилевский) Оп. 3. Д. 4. Л. 18.
- ПФА РАН. Ф. 113. (А. С. Лаппо-Данилевский) Оп. 3. Д. 4. Л. 20 об.
- ПФА РАН. Ф. 113. (А. С. Лаппо-Данилевский) Оп. 3. Д. 4. Л. 35.
- ПФА РАН. Ф. 113. (А. С. Лаппо-Данилевский) Оп. 3. Д. 4. Л. 27. об.
- Ростовцев Е. А.* А. С. Лаппо-Данилевский и петербургская историческая школа. Рязань: П.А. Трибунский, 2004. 347 с.
- Сборник статей посвященных А. С. Лаппо-Данилевскому. Пг.: тип. М. М. Стасюлевича, 1916. 312 с.
- Сборник статей посвященных П. Н. Милюкову, 1859–1929. Прага, 1929. 547 с.
- Сборник статей, посвященных Василию Осиповичу Ключевскому его учениками, друзьями и почитателями ко дню тридцатилетия его профессорской деятельности в Московском Университете. М.: Печатня С. П. Яковлева, 1909. 416 с.
- Сергею Федоровичу Платонову ученики, друзья и почитатели. СПб.: тип. Главного управления уделов, 1911. 586 с.
- Сидорова Л. А.* Проблемы «отцов» и «детей» в историческом сообществе // История и историки: Историографический вестник. М., 2002. С. 29.
- Чечулин Н. Д.* Памяти учителей. К. Н. Бестужев-Рюмин. В. Г. Васильевский. Л. Н. Майков. СПб.: тип. И. Н. Скороходова, 1901. 24 с.
- Серых Анна Александровна**, кандидат исторических наук, Самарский государственный университет; e-mail: anna_sinenko@mail.ru.

Г. П. МЯГКОВ, Н. И. НЕДАШКОВСКАЯ

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ: РАЗРЫВЫ ТРАДИЦИИ КАК СХОЛАРНЫЕ ПРАКТИКИ

НА МАТЕРИАЛЕ ИСТОРИИ МЕДИЕВИСТИКИ
И СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ В КАЗАНИ*

В статье на материале истории медиевистики и славяноведения в Казани рассматривается процесс формирования провинциальных научных школ, реконструируются специфические схолярные практики, через которые «несложившаяся» провинциальная научная школа воспроизводит научную традицию и осуществляет продуктивную деятельность.

Ключевые слова: научное сообщество, школа, схолярные практики, столичная / провинциальная наука, историография.

Нарративные схемы историографии провинциальных научных школ сложились уже во второй половине XIX века¹. Большинство из них, аргументируя оппозицию «столичная / провинциальная наука»², базировалось на именах «больших» ученых, чья причастность жизнедеятельности провинциальных университетов служила и обоснованием научной легитимности, и основой историографического повествования, результатом которого стали тексты, по сути, «законсервировавшие» историю науки. Таким образом, вместо истории людей историографы XX века получили в наследство «музеи» или «некрополи» интеллектуалов, надолго скрывшие механизмы формирования, воспроизведения и трансформации профессиональных научных сообществ.

Если посмотреть с точки зрения данной историографической традиции на историю научных школ медиевистики и славяноведения в Казанском университете, перед исследователем сама собой сложится позитивная картина «развития» указанных дисциплин, которая и была вербализована в юбилейных «историях» университета, начиная с изданий XIX века. Однако этот нарратив буквально рассыпается, если проследить историю науки как историю научных школ³ – нарративная схема «эволюции» науки оказывается в жестком противоречии с «ре-

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, в рамках проекта № 10-01-00403а «Идеи и люди: интеллектуальная жизнь Европы в Новое время».

¹ Ретина. 2001; Корзун. 2000; Вишленкова. 2001.

² Корзун. 1995; Корзун. 1997.

³ Мягков. 2000.

зультатом»: ни одна из научных школ не сложилась как цельное и признанное сообщество⁴. Остановимся на основных вехах и именах этой истории, что позволит реконструировать своеобразие схолярных практик, свойственных провинциальной научной корпорации, и объяснить внешне парадоксальный ход истории науки.

История медиевистики в учебных заведениях Казани берет свое начало с их основания, когда она начала преподаваться как часть всеобщей истории⁵. В первой трети XIX в. средневековая история не выделялась в отдельную отрасль: поскольку специализация всеобщей истории еще не произошла, средним векам уделялась роль некоего переходного периода между древностью и новым временем. Социальный контекст страха перед европейской «гидрой революции» также не способствовал изменению статуса медиевистики, тем более в провинции. Институциональные изменения начинаются с момента выделения медиевистики в конце 1830-х гг., наряду с древней и новой, в качестве субдисциплины всеобщей истории. Возрастающая научная значимость отраслей последней привела в начале 1830-х гг. к отделению древней истории в Казанском университете, а во второй половине 1830-х – к разделению средней и новой истории. В 1850-е гг. становится очевидным подъем уровня преподавания и научных исследований античности, что было обусловлено приездом преподавателей из столичных учебных заведений, зарубежными командировками. Однако медиевистики это не коснулось, главным образом из-за отсутствия специалистов. Это подтверждают и кандидатские сочинения студентов Казанской духовной академии: в 1840-е гг. они носили характер философских рассуждений. Тематика общегражданской истории не пользовалась популярностью, больше всего представлялось работ по догматическому и нравственному богословию, а также литургике, гомилетике, патрологии и миссионерству.

Во второй половине XIX в. замечен подъем интереса к медиевистике, как в средней, так и в высшей школе. Изменения, внесенные в 1877 г. в гимназическую программу 1872 года, по которой история средневековья преподавалась в тесной связи с русской, привели к более детальной разработке систематического курса по средневековью. Кроме того, он был дополнен вопросами по византийской и славянской истории.

Статус медиевистики в Казанском университете начинает меняться с появлением на кафедре всеобщей истории Н. А. Осокина. Его почти 30-летнее пребывание на факультете составило эпоху в истории универ-

⁴ Мягков. 2000; Мягков, Макарова (Недашковская). 2006. Мягков, Хамматов. 2007.

⁵ См. подробнее: Хамматов. 2003.

ситета⁶. Профессор Н. А. Осокин был автором первых серьезных трудов по средневековью, которые касались истории Италии, Франции, а также церкви и ересей. Его «История альбигойцев и их времени» стала вкладом в отечественную историографию. Осокина интересовала и средневековая история славян, и большинство тем, предложенных им студентам, – из этой области истории. Профессор И. Н. Смирнов, его ученик, также заявил о себе на научном поприще работами по истории славян⁷. Все свидетельствовало о том, что в лице Осокина в Казани появился ученый, способный встать в один ряд со столичными профессорами. Но увлечение общественной деятельностью не позволили ему этого сделать. И. Н. Смирнов, одно время читавший лекции по истории средневековья, позже увлекся этнографическими исследованиями. Приглашение ученика столичных профессоров В. Г. Васильевского и Н. И. Кареева Э. Д. Гримма⁸ также не изменило заданного вектора и не способствовало формированию научной школы в области медиевистики как устойчивого сообщества, которое имело тенденции к долгожительству в науке.

В Казанской духовной академии условий для оформления школы тоже не сложилось: преподавание оставалось догматико-теоретическим до середины 1850-х гг., когда академическое образование стало получать историческое направление. Даже в области богословских и философских наук преобладали темы исторического и критического характера. Серьезное преподавание медиевистики в Казанской духовной академии связано с появлением С. А. Предтеченского, который был специально подготовлен по истории средневековья. Постепенно средневековая тематика занимает прочное место в трудах ученых академии, разумеется, с церковным уклоном. Наиболее крупные исследования – «Христианство у готов» Д. Беликова, «Развитие влияния папского престола на дела западных церквей до конца IX века» Предтеченского, «Антитринитарии XVI века» Е. Будрина – внесли вклад в изучение церковной истории средневековья. Вообще для казанских ученых в работах по медиевистике характерно обращение к истории церкви и ересей, поскольку данная проблематика могла успешно вписаться в имперский проект освоения и управления окраинами, в реализации которого духовная академия как учебный и научный центр (то есть как институт конструирования общественного сознания), находящийся «на рубеже» инородческих территорий, могла и должна была принимать активное участие.

⁶ См.: Ягудин. 1998.

⁷ См.: Гибадуллина. 2008.

⁸ См.: Хамматов. 1997.

Плодотворная деятельность российских историков второй половины XIX в. стимулирует расцвет медиевистики уже в начале XX в. и в казанских учебных заведениях. В истории отечественной медиевистики «вторичность» провинциальных институций фиксируется, таким образом, даже чисто хронологически. Новый этап ее развития в Казанском университете начинается с появлением на кафедре всеобщей истории профессора В. К. Пискорского, первого отечественного испаниста. Он обеспечил исследования и преподавание в области медиевистики на уровне достижений российской и европейской науки того времени⁹. Благодаря практическим занятиям Пискорского возрастает интерес у студентов к средневековой тематике, большое внимание уделяется изучению источников. Стала возможна специализация молодых ученых по истории средневековья. Некоторые впоследствии стали крупными медиевистами (Н. П. Грацианский). В Казани Пискорский продолжил работу над начатым в Нежине в 1902 г. переводом Салической правды и ввел этот памятник в круг семинарских занятий студентов. В 1906 г. им были изданы «Документы, относящиеся к истории цехов». Улучшению преподавания способствовали созданные в начале XX столетия учебно-вспомогательные подразделения – кабинет для практических занятий по всеобщей истории и библиотека. Сыграло значительную роль и развитие российского византиноведения. В университете византийской историей занимались, в основном, преподаватели теории и истории искусств (Д. В. Айналов) и греческой словесности (Д. Ф. Беляев, С. П. Шестаков). Их работы затрагивали, главным образом, культурную историю Византии. Искусствоведческий характер носят исследования Айналова, преимущественно источниковедческими трудами известен Шестаков, кроме того, он является автором курса по истории Византии. «Byzantina» Д. Ф. Беляева стала вкладом в изучение византийских древностей. Главный труд профессора Духовной академии Ф. А. Курганова был посвящен соотношению светской и духовной власти в Византии. Казанские ученые внесли свой вклад в развитие российского византиноведения.

Таким образом, в XIX в. в формировании научной школы медиевистики Казанского университета внешние разрывы, обусловленные социальными контекстами, сыграли решающую роль. Отсутствие специалистов в этой отрасли исторического знания (ни немецкие профессора, ни Г. С. Суровцев, Н. А. Иванов, М. И. Славянский, читавшие курс, не являлись «всеобщими историками»), отсутствие ярких личностей, подобных Т. Н. Грановскому, не способствовало развертыванию процесса

⁹ Мягков Г. П., Хамматов Ш. С. 2003.

школообразования, но повлекло за собой многократное воспроизведение ситуации «призвания варягов» и интеграции «чужих» научных традиций, т.е. постоянного обновления. На этой основе в начале XX в. сложились условия для формирования научной школы в области всеобщей истории благодаря профессорам В. К. Пискорскому и М. М. Хвостову, М. В. Бречкевичу, которые воспитали плеяду ученых (Н. П. Грацианский, Г. П. Денике, В. Т. Дитякин, А. Г. Муравьев, С. П. Сингалевич, В. Ф. Смолин и др.), имевших большой схолярный потенциал.

Наибольшими шансами превратить традицию в школу обладал первый воспитанный в Казани медиевист Н. П. Грацианский, в становлении которого особую роль сыграл В. К. Пискорский. Грацианский воспринял и через всю жизнь пронес убеждение своего учителя, что «только первоисточники науки и именно в подлинных документах могут подготовить учащуюся молодежь к серьезному научному труду, к труду сознательному и воспитать в молодежи идейную привязанность к той или иной науке»¹⁰. И это, подчеркнем, одновременно и завет, и традиция, которой старались следовать медиевисты Казани в XX веке.

Работа на семинарах определила для Грацианского круг научных интересов. В отчетах о занятиях он значился в числе отличившихся студентов. В 1908 г. им была написана работа «Парижские ремесленные цехи в XIII–XIV столетиях». Высоко оцененная Пискорским, удостоенная золотой медали¹¹, работа рекомендовалась к опубликованию в «Ученых записках»¹², но была издана как монография. Автор посвятил ее «памяти Дорогого Учителя, Профессора Владимира Константиновича Пискорского»¹³. Это было первое в России локальное исследование средневекового цехового строя. Став преподавателем, Грацианский также особое внимание уделяет проведению практических занятий. На них разбирались документы эпохи Карла Великого, римские и раннесредневековые источники¹⁴. В 1912 / 1913 учебном году практические занятия были посвящены изучению «Салической правды». Именно для них был задуман и осуществлен в сотрудничестве с А. Г. Муравьевым перевод этого важнейшего документа на русский язык. В бытность профессорским стипендиатом молодой ученый переносит центр своих интересов в область аграрных отношений средневековья. Критически оценивая схе-

¹⁰ Журнал Министерства народного просвещения. 1910. Октябрь. С. 56.

¹¹ См.: УЗ КУ. 1908; НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 11564а. Л. 298об.

¹² НА РТ. Ф. 977. Оп. ИФФ. Д. 2140. Л. 12.

¹³ *Грацианский*. 1911. С. 3.

¹⁴ НА РТ. Ф. 131. Оп. 1. Д. 70. Л. 33.

матические построения медиевистов Запада, Грацианский опять берет курс на исследование локальной истории, основанной на «новой переоценке относящегося сюда материала источников». Свою исследовательскую программу он реализует, обратившись к теме «Бургундская деревня в X–XI столетиях»¹⁵. Но работая в Казани, Грацианский понимал, что выполнение задуманного в России связано с большими трудностями, прежде всего с отсутствием собраний памятников, многих исследований. Поэтому он, по установившемуся порядку, ходатайствовал о предоставлении заграничной командировки. Командировка была запланирована с 1 июля 1915 г., но в связи с началом Первой мировой войны была заменена на поездку в 1916 г. в столицы России с предоставлением права немедленно, по окончании военных действий, выехать за границу.

Итак, перед нами вполне позитивная история, включающая в себя и «большие» имена, и процесс складывания научной традиции. Однако формирование школы медиевистики в Казанском университете, несмотря на наличие всех необходимых условий, так и не завершилось – как в силу субъективных (своеобразие судеб тех или иных историков), так и в силу объективных – внешних причин (резкий перелом в развитии исторической науки после Октября 1917 г.).

Чтобы деконструировать этот парадокс историографии, необходимо определить природу разрывов традиции, поскольку они не вели к деградации данной научной отрасли. Школа на протяжении всей своей истории находилась в стадии становления, и потому деятельность профессоров способствовала превращению Казанского университета в достаточно заметный научный и интеллектуальный центр России. Перед нами – цепочка «внешних» (в результате интенций вне школы) разрывов научной традиции, которые стали латентными схолярными практиками. Обусловленные социальными, внешними контекстами, через «отрицание» – практики разрывов поддерживали притяжение новых личностей и необходимость поиска новых форм научной деятельности. Однако история казанских научных центров дает материал и для наблюдений за внутренними разрывами, которые, имея совершенно иной механизм, также работали как школообразующие практики, хотя процесс школообразования так и не доходил до своего логического конца.

Объект медиевистики – западноевропейская история средних веков, стал частью исследовательского пространства еще одной дисциплины

¹⁵ Результатом стала книга (М., 1935), в которой анализ аграрного строя, по оценке О. Л. Вайнштейна, был дан «во всех его аспектах» и «исчерпывающим образом» использован материал первоисточников. *Вайнштейн*. С. 355.

плины – славяноведения, науки, провозгласившей междисциплинарный методологический синтез¹⁶ базовым принципом своего существования. Совпадающие исследовательские поля во многом объединили исследователей, сделали невозможными четкие дисциплинарные границы, что дает возможность рассматривать историю славистики и как часть истории медиевистики, и в рамках развития всеобщей истории.

В Казанском университете славяноведческие исследования начинаются с момента открытия специальной кафедры (1842) и приглашения В. И. Григоровича (1815–1873) – ученика и последователя академика А. Х. Востокова, основоположника сравнительно-исторического изучения славянских языков и российской версии славяноведения. Исследованиями Григоровича по славянскому языкознанию было раскрыто значение церковнославянского языка для изучения других славянских языков, а также ключевые вопросы происхождения глаголицы и славянского письма вообще. Его сравнительная история славянских литератур стала единственным образцом последовательного применения сравнительного метода в лингвистическом обобщающем труде. Григорович также стоял у истоков исторического славяноведения в Казанском университете. В Казанской духовной академии ученый осуществил один из первых в России текстологических проектов, результатом которого стало вышедшее через несколько десятилетий многотомное Описание славянских рукописных памятников Соловецкой библиотеки¹⁷, под общей редакцией его ученика, профессора, члена-корреспондента Академии наук И. Я. Порфирьева. Путешествие в славянские земли стало научным подвигом Григоровича: он был первым ученым, которому, с риском для жизни, удалось проникнуть в чужой до того времени и во многом враждебный европейцам «славянский мир», находившийся под турецким владычеством, и собрать обширные сведения о состоянии ряда славянских языков и диалектов. Им были уточнены географические карты «славянских земель», до этого весьма приблизительные, а также открыты уникальные памятники древней славянской письменности (глаголическое Мариинское Евангелие и др.). Путешествие принесло Григоровичу и большую европейскую славу – звание «русского Шафарика».

Биографический нарратив об исследователе¹⁸ включает в себя истории, зафиксированные в мемуарах коллег и учеников, некрологи (эта группа источников традиционно считается наиболее субъективной и

¹⁶ Масира В. 1983.

¹⁷ Порфирьев, Вадковский, Красносельцев. 1881; 1885; 1898.

¹⁸ См.: Ретина. 2001; Вишленкова. 2001.

подчиненной законам жанра), биографические очерки, и, наконец, научные биографии, которые могут существовать самостоятельно или как часть «истории» определенного периода развития науки. Как же распределились названные факты и оценки по данным группам источников?

Мемуары учеников и коллег Григоровича создают тот самый положительный именно для славяноведения образ. О своеобразии педагогической деятельности, научных взглядах, стиле общения Григоровича писали И. Красноперов, К. Лаврский, В. Лаврский, И. Смирнов, А. Овсянников, А. Гацисский, В. Модестов, Д. Корсаков, М. Петровский, И. Порфирьев. В их воспоминаниях обычно оказываются неразделимыми характеристики Григоровича-ученого и Григоровича-профессора. Перед нами предстает образ подвижника науки, человека монашеского склада, способного, однако, щедро делиться с окружающими своими духовными дарами. «С ним было даже страшно говорить о науке, несмотря на всю его младенческую кротость и самую утонченную вежливость... Всецело преданный науке, только одной науке, он в каждый данный момент, по какому угодно предмету, преподающемуся в историко-филологическом факультете, буквально засыпал своего собеседника данными, даже относившимися к специальной области последнего... Действие его на слушателей, даже в самую последнюю пору, было самое сильное: все его ближайшие слушатели, то есть люди, избравшие славянские наречия своей специальностью, любили его до страсти, до обожания. Он не только увлекал их восторженной преданностью к науке, но и учил их с таким мастерством, так скоро ставил их на ноги в своей области, что едва ли какой-либо другой русский профессор мог указать на такую живительную и непосредственную плодотворность своей преподавательской деятельности»¹⁹, – писал В. И. Модестов. Другой ученик Григоровича, А. Овсянников, вспоминал: «...его все любили, хотя об этой любви он не хлопотал. Он любил свою специальность и мало того – жил ей... Григорович сделался для меня идеалом ученого, каким остался на всю мою жизнь, мало того – и идеалом человека... Его жизнь была не жизнь, а житие, его труд был не труд, а подвиг»²⁰.

В биографических очерках и прочих больших историографических нарративах – другая картина. Крупнейшие славяноведы XIX в., принадлежащие к разным поколениям, начиная с современника Григоровича – академика И. И. Срезневского, создают образ ученого, который обладал обширными фактическими знаниями, большим потенциалом, но так и

¹⁹ Модестов. 1884. С. 302.

²⁰ Овсянников. 1899. С. 368.

не состоялся в науке, не сказал своего особого значительного слова. Переходя из поколения в поколение, негатив все усиливался. В «Истории славянской филологии» И. В. Ягича глава, посвященная деятельности Григоровича в Казани и Одессе, получает название, ставшее впоследствии фразеологизмом: «В. И. Григорович: преподавательская деятельность; труды его не оправдали ожиданий...»²¹, причем эта фраза повторяется и в колонтитуле на протяжении всей главы. Именно этому фундаментальному историографическому труду мы обязаны закреплением концепции об отсутствии у Григоровича (и в Казани вообще) славяноведческой школы²², хотя признаки схолярности, которые дает современное науковедение, здесь налицо. «Русский Шафарик» оказался окончательно исключен из числа «героев» славяноведения.

Только при ознакомлении со всеми имеющимися источниками научной биографии Григоровича становится ясно, что герой историографического нарратива полностью заслонил собой ученого и профессора В. И. Григоровича. Это одно из так называемых «темных мест» истории славяноведения, не поддающееся объяснению предвзятым отношением кого-либо из историографов. Представляется, что деконструировать его можно, только отойдя от традиционной схемы воссоздания хронологии достижений славистики и оценок исторической целесообразности ее культурных проектов. Вероятно, причины «снижения» образа ученого могут быть объяснены логикой развития этой, напомним, искусственно сконструированной науки. Вслед за Востоковым, создавшим метод только для славянского языкознания, уже в первых своих трудах Григорович сформулировал основные методологические принципы всего славяноведения как комплексной науки, изучающей типологически родственные славянские культуры.

²¹ Ягич. С. 481.

²² В 2005 г. вышел обобщающий труд Л. П. Лаптевой «История славяноведения в России в XIX веке», где воспроизводится сложившаяся трактовка роли В. И. Григоровича в истории славяноведения, хотя обоснована она преимущественно внешними факторами: «несмотря на высокую образованность и на обладание уникальными источниками, ему не удалось создать школу своих последователей и воспитать большое число учеников, как первым славистам Московского и Петербургского университетов... Причинами малого интереса к славяноведению среди студентов Казанского университета была сама его атмосфера, его профессорская коллегия и многонациональный состав студентов, среди которых было много поляков, вынужденных учиться в провинциальных учебных заведениях ввиду сильных ограничений приема в столичные университеты...» (Лаптева. 2005. С. 230). Показательно, что при подробном изложении научной биографии ученого здесь отсутствует четкое заключение о научной значимости его трудов.

Обратим внимание, что открытие славяноведческих кафедр в университетах само по себе еще не вело к решению важнейшей проблемы конструируемой науки. Дальнейшая судьба славяноведения во многом зависела от того, как представляли свои задачи сами будущие профессора. И их выбор оказался принципиально различным. О. М. Бодянский и И. И. Срезневский, на том этапе – этнографы и фольклористы по своим научным приоритетам, сразу отправились в научное путешествие в соответствии с предложенной министерством стратегией²³. Срезневский утверждал, что славяноведение не может на данном этапе выстроить свою методологию, необходимо прежде создать обширную источниковую базу. П. И. Прейс и В. И. Григорович попытались внести коррективы в программу подготовки к профессорству. Прейс считал необходимым в течение года перед поездкой изучать памятники церковнославянского языка в хранилищах Петербурга под руководством Востокова. Это позволило ему освоить метод сравнительного изучения языков, структурировать сведения по их истории. Однако впоследствии он отказался от попыток выстроить единую методологию. По свидетельству Срезневского, «предметом диссертации он избрал Богумильскую ересь»²⁴, т.е. пошел по пути специализации исследований, и только в преподавании им был выдержан принцип комплексного освещения истории и культуры славян²⁵. Наиболее длительной стала подготовка к путешествию Григоровича. Он прибыл в Казань в 1839 г., а выехал в славянские земли в 1844 г., подготовив за это время кандидатское и магистерское сочинения. Представленная них концепция славяноведения позволяет говорить, что этот период осознавался Григоровичем как принципиально необходимый. Его методологические поиски начинаются со славянского языкознания как сферы, определившей структуру всей славистики и обладающей сложившимся научным методом. Первое сочинение, представленное ученым в Совет факультета в 1840 г. – «Исследование о церковнославянском наречии, основанное на изучении его в древнейших памятниках, на исторических свидетельствах и отношении его к новейшим наречиям», не сохранилось. Из Отчета попечителю Казанского учебного округа М. Н. Мусину-Пушкину от 6 января 1840 г.²⁶ становится понятной главная идея этого труда, а вместе с ним и данного этапа работы ученого. Григорович объясняет необходимость создания предварительной схемы будущего метода: «В настоящем состоянии изучения славянских языков

²³ См.: *Срезневский*. 1878. С. 1–2.

²⁴ Там же. С. 11. Рукопись диссертации П. И. Прейса утрачена.

²⁵ Там же. С. 10.

²⁶ *Петровский*. 1893 С. 12–13.

и их литератур, ...когда доселе не удалось составить общих начал, по коим легко было бы обзирать всю массу не приведенных в порядок предметов, всякий убедившись в неопределенности и непрочности своей науки, по необходимости почувствует потребность искать если не в сущности ее доселе совершенно неузнанной, то по крайней мере во внешних отношениях некоторую опору, на которой можно было бы основать весь ряд исследований и придать им последовательность»²⁷.

Ученый подчеркивает, что это суждение справедливо даже для сравнительного изучения славянских языков, поскольку не решен еще вопрос об основе сравнения – центральном наиболее древнем языке, в сопоставлении с которым будет выстраиваться сравнительная грамматика. При этом Григорович актуализирует идею Востокова об исторической изменчивости языков, в том числе церковнославянского: «...кто хочет изучать Церковнославянский язык, должен изучать его исторически, и обращать внимание на особенности, отличающие его в первом (IX–XIV вв.) и втором (XV–XVI вв.) периодах»²⁸. По мысли Григоровича, концепция не должна предшествовать исследованию, он ищет именно систему, которая определит цель, упорядочит частные наблюдения и поставит их на научную основу: «Конечно, это не будет изучение сравнительной грамматики славянских языков, которая должна основываться на общих данных уже законов, но будет некоторого рода приготовлением, исследованием, возможно ли и в чем состоят эти общие законы»²⁹.

Подводя итог «лингвистическому» этапу методологических поисков, ученый подчеркивает, что из методологического хаоса, господствующего в этой части гуманитарного знания возможен единственный выход – структурирование проблем изучения славянства вокруг некоего стержня (который он пока еще не в состоянии определить), сохраняющего единство славяноведения как науки. Исследователь особо указывает на необходимость изучения языков славян в единстве с историей этих народов, хотя последняя и не представляет собой искомый стержень, поскольку она также «подвержена... противуречащим себе взглядам» и «делается все запутаннее»³⁰. Таким образом складываются основные установки междисциплинарного синтеза³¹. В том же 1840 г. Григорович

²⁷ Там же. С. 6.

²⁸ Там же. С. 8.

²⁹ Там же. С. 7.

³⁰ Там же. С. 15.

³¹ Понятие «методологический / междисциплинарный синтез» используется нами в том объеме, в котором оно представлено в работе: *Методологический синтез: прошлое, настоящее, возможные перспективы*. 2002.

представляет в Совет «Краткое обозрение славянских литератур» в качестве отчета. Затем в переработанном виде³² эта работа стала его магистерской диссертацией. Хотя предмет исследования ограничен историей славянских литератур, во введении к работе обобщаются методологические идеи, охватывающие весь комплекс дисциплин славяноведения.

Тезис о славянском единстве, славянской идентичности начинает работать как обоснование необходимости сравнительно-исторического изучения не только славянских языков, но и литератур, истории, этнографии, и на такой основе утверждается адекватность методологического синтеза в славистике. Задача дисциплин, составляющих славяноведение, по Григоровичу, – исследовать, «каким образом в нравственном мире сознание народов Словенских постепенно определяло себя: как оно достигало и достигает в своем развитии всемирного значения...» продиктовала необходимость «доискиваться связи между явлениями»³³.

Так выстраивается более четкая система будущих междисциплинарных исследований. Концептуальным стержнем, вокруг которого должно строиться изучение составляющих славянской культуры, для Григоровича становится славянское Просвещение как единство фактов языка, истории, культуры: «С появлением Христианства у Словен сопряжено собственное их появление в истории в более индивидуальном значении; от различного определения Христианства в сознании Словен зависели все явления их духовной жизни, определялись их отношения к другим народам, решалась даже их судьба»³⁴. Славяне оказываются вписаны и в контекст всемирной истории. Ученый нашел возможным рассматривать всю историю литературы восточных, южных и западных славян с позиций единой периодизации, в рамках которой делается попытка подтвердить тезис о типологическом единстве развития культур славянских народов фактами истории литературы: «уразуметь, находятся ли признаки взаимности словенской на известных степенях их развития, выражают ли они в общем, в совокупности всех видов целого рода, одну мысль»³⁵. Показательно, что после публикации «Опыта изложения литературы словен...» Григорович отправляется в путешествие по славянским землям (1844–1847), т.е. исследовательский подход на данном этапе представляется ему относительно сложившимся, а объект исследования – «славянский мир» – определенным.

³² См.: Григорович. 1843. Впервые опубликована в: УЗКУ. 1842. Кн. 3. С. 105–216; 1843. Кн. 4. С. 3–56.

³³ Там же. С. 6.

³⁴ Там же. С. 7.

³⁵ Там же.

Григорович, развивая идеи Востокова, предпринял попытку выстроить модель методологического синтеза, при котором славянские культуры в их историческом развитии становятся единым текстом, прочитываемым славяноведением с помощью инструментария целого ряда гуманитарных наук. Эта модель могла стать научной основой комплексных исследований славянского мира. Как показала история науки, славяноведение по этому пути не пошло, избрав стратегию накопления фактов и все большей специализации. Это развело в методологическом плане последующие поколения славяноведов с первоначальным проектом науки – славяноведческий комплекс сохранялся лишь на уровне декларации, придающей славистике особый идеологический интерес и позволяющей оставаться внутри процесса нациестроительства. Поэтому методологические идеи Григоровича – последователя Востокова, как и их практическая реализация в научных трудах, оказались не просто невостребованными, но породили мощный историографический негатив, что объясняет механизм «внутреннего» разрыва традиции как схолярной практики, при которой процесс школообразования идет через отрицание потенциальным лидером самой возможности школы.

После отъезда Григоровича из Казани в 1863 г.³⁶ его преемником в университете стал ученик профессора М. П. Петровский. Его работы были посвящены славянской диалектологии, истории славянских литератур, переводам со славянских языков. Невозможность расширять исследования, базирующиеся на средневековых источниках, Петровский (как и Григорович) объяснял сложностью предмета, требующего знания специфических, малоизвестных в России языков, и отсутствием в провинциальном университете необходимых источников и научной литературы по непопулярному у студентов предмету. Однако так «проговариваются» в источниках причины внешние. Внутренний разрыв традиции – момент разрыва Григоровича с Казанью, который произошел, когда ученый считал невозможным дальше бороться за утверждение школы. Он уезжает в новооткрывшийся университет не с целью избавиться от связей со старой устоявшейся корпорацией, а в результате ставшего очевидным методологического кризиса славистики. Новое место позволяет ученому, оставаясь одиночкой, освоить совершенно новый корпус источников и быть ближе к изучаемому объекту. Показа-

³⁶ Это произошло в связи с неблагоприятной расстановкой сил в профессорской корпорации университета, которая ограничивала возможности развития и расширения славистических исследований, однако, решающим фактором был методологический кризис в самой славистике (см.: *Недашкова*. 2007.).

тельно и то, что оставшийся в Казани Петровский значительную часть своих трудов посвятил комментированию и введению в научный оборот оставшихся непонятыми и недооцененными методологических идей своего учителя. Но и Петровский в итоге использует ту же стратегию: в 1885 г. он досрочно вышел в отставку и посвятил себя исключительно научной деятельности. Член-корреспондент Академии наук с 1895 г., заграничный член Чешской Академии наук, литературы и искусств императора Франца Иосифа с 1899 г., М. Петровский изучал славянскую диалектологию, переводил со славянских языков в стихах и прозе (около двухсот произведений), сотрудничал в славянофильской прессе, перевел «Историю сербохорватской литературы» И. В. Ягича, писал историографические работы (в том числе о В. И. Григоровиче)³⁷, издавал памятники славянской письменности, переписывался и сотрудничал с крупнейшими европейскими славяноведами.

После отставки Петровского Казанский университет остался на какое-то время без славяноведа, так как его ученик И. А. Снегирев, подготовивший диссертацию об одном из основателей славяноведения «Иосиф Добровский, его жизнь, учено-литературные труды и заслуги в области славяноведения»³⁸, был подвергнут резкой критике, диспут по его диссертации закончился неудачно, голоса разделились, степень присуждена не была. Год спустя Снегирев успешно защитил диссертацию в Санкт-Петербурге, уехал из Казани и впоследствии ушел из науки, хотя репутация молодого ученого и его учителя не подвергалась сомнению.

До 1911 г. кафедру занимал лингвист, ученик И. А. Бодуэна де Куртенэ А. А. Александров. В 1911 г. Александров принял постриг и оставил славянскую филологию, а кафедру занял сын М. П. Петровского Нестор Мемнонович, в 1907 г. защитивший диссертацию на степень доктора славянской филологии («Первые годы деятельности В. Копитаря»). Научные традиции, заложенные Григоровичем в Казанском университе-

³⁷ Некоторые труды М. П. Петровского: Отчет о путешествии по славянским землям // УЗКУ. 1862. Кн. 2.; Образцы живой славянской речи // УЗКУ. 1864. Кн. 2.; Материалы для славянской диалектологии // УЗКУ. 1866. Кн. 4–5; 1867. Кн. 11; Старинное рассуждение о буквах, сиречь о словах. По рукописям библиотеки Казанского университета. СПб., 1888; Библиографические заметки о некоторых трудах В. К. Тредиаковского. Страничка к истории русского стихосложения. Казань, 1890; Виктор Иванович Григорович в Казани // Славянское обозрение. СПб., 1892. Т. 2; Первый ученый труд В. И. Григоровича. Варшава, 1893; Григорович и Прейс // ИОРЯС. 1897. Т. 2. Кн. 3. Подробнее о научной и преподавательской деятельности ученого: Макарова (Недашковская), Мягков. 2006.

³⁸ См.: Снегирев. 1882. (Отд. кн.: 1884).

те, таким образом, были вновь актуализированы. Нестор Петровский – автор более трехсот работ по истории славянских литератур и языков, историографии славяноведения³⁹, переводчик трудов зарубежных славяноведов и произведений славянских писателей. С 1907 г. Н. М. Петровский – профессор Казанского университета, с 1917 г. – член-корреспондент Российской Академии наук.

Итак, в истории российского славяноведения мы наблюдаем интереснейшее явление – два академика, два ярких ученых в одной семье, причем Нестор Мемнонович – одновременно ученик и преемник отца и совершенно самостоятельный, оригинальный ученый нового поколения, что можно проследить по трудам и хронологически. Он пришел учиться почти через десять лет после ухода отца из университета, в то же время, в период уже довольно зрелой деятельности Нестора отец активно печатает свои труды в российских и европейских научных изданиях. В связи с этим сравнение их взглядов на предмет и задачи науки, сопоставление некоторых исследовательских подходов позволяет не только выявить и проследить схолярные практики в истории славистики в Казанском университете, но и наблюдать процесс смены поколений, формирования науки нового века.

В истории славяноведения велика роль научных обществ, что обусловлено спецификой науки, которая активно существовала в надинституциональном общеславянском научном пространстве, «жила» научными контактами, обменом источниками и научным странничеством, поскольку в течение всего XIX века продолжался сбор зарубежных источников. В судьбе казанской славистики конца XIX – начала XX вв. Общество Археологии, Истории и Этнографии при Казанском университете стало пространством «внутренней эмиграции» научной школы.

Отношение отца и сына Петровских к ОАИЭ существенно различалось. Старший Петровский активно преподавал в Казанском университете и печатался, когда в Казани открылось общество. Однако мы не находим его имени ни среди членов-учредителей, ни на страницах Известий ОАИЭ. Нестор Петровский, в отличие от отца, уже в годы учебы печатает в Известиях несколько статей, а по окончании курса становится

³⁹ Некоторые труды Н. М. Петровского: О сочинениях Петра Гекторовича (1487–1572). Казань, 1901; К хронологии проповедей Григория Цамблака // РФВ. 1903. № 1–2; Первые годы деятельности В. Копитара. Казань, 1906; К истории сказаний о святых Кирилле и Мефодии // ЖМНП. 1907. №5; Копитарь и “*Institutiones linguae slavicae dialecti veteris*” Добровского // ЖМНП. 1911. № 10–12; Письмо патриарха Константинопольского Феофилакта царю Болгарии Петру // ИОРЯС. 1913. Т. 18. Кн. 3; Путешествие В. И. Григоровича в славянские земли // ЖМНП. 1915. № 10–12.

действительным членом Общества без баллотировки, так как «он уже достаточно известен Обществу своими учеными трудами». Одновременно с приемом Нестор был избран в секретари и главные редакторы изданий Общества. В 1899 г. он снимает с себя обязанности секретаря (готовится к защите магистерской диссертации). В 1900 г. он снова избран в члены Совета Общества и до 1919 г. включительно оставался в нем. Обязанности Нестора Мемноновича включали в себя редактирование Известий общества, переписку, «благоустройство» коллекций. Он действительно был пожизненным членом общества: последнее выступление состоялось за полтора месяца до смерти.

Тематика докладов на заседаниях Общества и статей раскрывает широкий спектр интересов Н. М. Петровского: история (в том числе история Казани), археология, библиография, текстология, древние и новые славянские литературы, переводы трудов европейских славяноведов, которые становились «событием». В работе «О двух спорных чтениях в “Поучении” Владимира Мономаха»⁴⁰ Нестор Мемнонович демонстрирует технику интерпретации «темных мест» древних памятников, которая предвосхитила некоторые опыты комплексного анализа современных ученых (С. С. Аверинцев). Целая серия заметок, статей и переводов Петровского посвящена тому, чтобы привлечь внимание казанских ученых смежных дисциплин (сопоставительной лингвистики, истории, этнографии) к проблемам уточнения истории славянской хронологии по данным, полученным в Европе и Поволжье.

Первый и единственный биограф Петровских – Марианна Несторова Петровская⁴¹ объясняла столь различное отношение к «общественной деятельности» разницей характеров отца и сына. Однако скромность, замкнутость, отсутствие карьерных устремлений Мемнона Петровича – недостаточная причина игнорирования Общества. Известно, что он входил в ряд зарубежных научно-просветительских славянских обществ, в Московский благотворительный славянский комитет. Участие выражалось во взносах, книгообмене и пр.⁴² Более 20-ти первых лет существования Общества М. П. Петровский активно работает и печатает статьи в Известиях ОАИЭ, публикует памятники в Русском Филологическом Вестнике, Журнале Министерства Народного Просвещения, Славянском обозрении (Славянском сборнике), Вестнике Европы, Православном собеседнике. Несоответствие интересов (исследова-

⁴⁰ Петровский. 1901.

⁴¹ Петровская. О моих предках...

⁴² Петровская. О моих предках... С. 175–180.

ния Мемнона Петровича меньше, чем у Нестора Мемноновича, связаны с историей края, тем более с основными направлениями археологии и этнографии) задачам Общества также нельзя считать исчерпывающим объяснением, так как текстологические работы печатались в ИОАИЭ.

Соответственно и большой интерес младшего Петровского к работе в Обществе не может объясняться ни отсутствием других возможностей печататься, ни просто активностью характера (хотя он действительно много работал – был председателем Пушкинского общества, сотрудничал в более чем тридцати периодических изданиях и т. д.).

Возможно, рациональное объяснение дает ситуация, сложившаяся в гуманитаристике: в период активной деятельности Н. М. Петровского в славяноведении вновь складываются условия для методологической рефлексии, которая должна была дать этой науке основания заново институализироваться в изменившихся условиях. Закономерным результатом специализации славяноведения стала потребность в интеграции уже на новых уровнях (не внутри одной дисциплины), и Н. М. Петровский в своей научно-общественной деятельности ищет к этому пути. Можно предположить, что старший Петровский, имея иной, негативный, опыт внутри сообщества и разделяя пессимистические прогнозы Григоровича в отношении судьбы восточковского проекта, сознательно отстранялся от процесса строительства новой науки.

Со смертью Н. М. Петровского научные традиции, заложенные В. И. Григоровичем, окончательно прервались, ученик и последователь Петровского, А. М. Селищев, впоследствии крупный балканист, уехал из Казани. Очевидно, однако, что процесс школообразования шел здесь чрезвычайно продуктивно, давая промежуточные результаты: крупные исследовательские проекты (Описание Соловецких рукописей), учеников – носителей заявленной методологии и при этом самостоятельных состоявшихся ученых. Методологический конфликт внутри самой славистики в данном случае сыграл роль внутреннего разрыва традиции, который не столько работает как препятствие развитию школы, сколько инициирует методологическую саморефлексию («перепроверку себя»), не дает школе превратиться в статичный монолит и одновременно превращает причастных к научной традиции в круг избранных, особо посвященных. С одной стороны, результат схолярных практик данного типа – создание своей собственной идеологии (с культом основоположника – подвижника науки) и системы ценностей, с другой – постоянная тенденция к развитию «вопреки», отсутствие «балласта» в сообществе, мобильность и возможность говорить о самых острых методологических проблемах науки, без чего ее развитие невозможно.

Таким образом, история несложившихся научных школ медиэвистики и славистики в Казани, с их направленным движением через внешние и внутренние разрывы традиции (что, очевидно, является специфической особенностью провинциальных научных сообществ), демонстрирует необходимость отойти от «прогрессивной» (эволюционной) модели процесса их формирования – их итоговая «несложность» не отрицает яркой истории их развития и присутствия в новой, антропологической истории науки.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Бердинских В. А.* Русская провинциальная историография второй половины XIX века. Москва; Киров, 1995. 320 с.
- Вайнштейн О. Л.* Историография средних веков. М.; Л.: Государственное соц.-эконом. изд-во, 1940. 376 с.
- Вишленкова Е. А.* Биографический нарратив: жертва прорыва к читателю // Сотворение истории. Человек Память Текст: Цикл лекций. Казань, 2001. С. 62–82.
- Грацианский Н.* Парижские ремесленные цехи в XIII–XIV столетиях. Казань: типолитография Императорского ун-та, 1911. 348 с.
- Гибадуллина Н. М.-Н.* Всеобщая история в наследии И.Н. Смирнова // Историк и его дело: судьбы ученых и научных школ: Сб. статей Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения профессора В. Е. Майера. Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2008. С. 82–88.
- Григоревич В. И.* Опыт изложения литературы словен в ее главнейших эпохах. Казань, 1843. (Впервые опубликована в: УЗКУ. 1842. Кн. 3. С. 105–216; 1843. Кн. 4. С. 3–56).
- Корзун В. П.* Культурные гнезда и традиции ситуационной историографии // Российская провинция XVIII–XX вв.: реалии культурной жизни. Тезисы докладов III Всероссийской научной конференции. Пенза, 1995. С. 66–68.
- Корзун В. П., Жук А. В., Ремизов А. В., Рыженко В. Г., Шепелева В. Б.* Провинциальная наука: научные сообщества и их судьбы в Западной Сибири конца XIX – первой трети XX века (научно-вспомогательные материалы к библиографическому словарю). Омск: Изд-во ОмГУ. 1997. 42 с.
- Корзун В. П.* Образы исторической науки в отечественной историографии рубежа XIX–XX веков. Екатеринбург; Омск: Омск. гос. ун-т; Изд-во Уральск. ун-та, 2000. 226 с.
- Лантева Л. П.* История славяноведения в России в XIX веке. М.: «Индрик», 2005. 848 с.
- Методологический синтез: прошлое, настоящее, возможные перспективы / Под ред. Б. Г. Могильницкого, И. Ю. Николаевой. Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2002. 204 с.
- Модестов В. И.* Отрывок из воспоминаний // Исторический вестник. 1884. № 11. С. 288–310.
- Макарова (Недашковская) Н. И., Мягков Г. П.* Отец и сын Петровские: два поколения казанской школы славяноведения // Ученые записки Казанского государственного университета Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2006. Т. 148. Кн.4. С. 62–76.

- Мягков Г. П.* Всеобщая история в Казанском университете в XIX – начале XX вв.: проблема формирования научной школы // Историческое знание и интеллектуальная культура. М.: ИВИ РАН, 2001. С. 242–246.
- Мягков Г. П.* Научное сообщество в исторической науке. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2000. 298 с.
- Мягков Г. П., Макарова (Недашковская) Н. И.* Отец и сын Петровские: два поколения казанской школы славяноведения. Ученые записки Казанского государственного университета. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2006. Т. 148. Кн. 4. С. 62–76.
- Мягков Г. П., Хамматов Ш. С.* «Работать в Казани даже лучше, чем в столицах»: казанский период жизни и творчества профессора В. К. Пискорского // Историки в поиске новых смыслов: Сб. научных статей и сообщений участников Всероссийской научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения профессора А. С. Шофмана и 60-летию со дня рождения профессора В. Д. Жигунина. Казань, 2003. С. 165–175.
- Мягков Г. П., Хамматов Ш. С. Н. П.* Грацианский: путь в науку // Мир историка: историографический сборник / Под ред. В. П. Корзун, А. В. Якуба. Вып. 3. Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. С. 259–289.
- НА РГ. Ф. 131. Оп. 1. Д. 70. Л. 33.
- НА РГ. Ф. 977. Оп. ИФФ. Д. 2140. Л. 12.
- Недашковская Н. И.* Опыт деконструкции историографического образа ученого: В. И. Григорович // Мир историка: историографический сборник / Под ред. В. П. Корзун. Омск, 2007. С. 169–180.
- Овсянников А.* Из воспоминаний // Русская старина. 1899. Кн. 5–7. С. 368.
- Петровская М. Н.* О моих предках: документированный рассказ Марианны Несторовны Петровской – ОРРК НБЛ. Ед. хр. 10008, 10009.
- Петровский М. П.* Виктор Иванович Григорович в Казани // Славянское обозрение. СПб., 1892. Т. II (май–август). С. 229–264; (сентябрь–декабрь). С. 57–78.
- Петровский М. П.* Григорович и Прейс // ИОРЯС. 1897. Т. II. Кн. 3. С. 722–744.
- Петровский М. П.* Материалы для славянской диалектологии. Казань, 1866. 124 с.
- Петровский М. П.* Образцы живой славянской речи // УЗКУ. 1864. Кн. II. С. 289–368.
- Петровский М. П.* Отчет о путешествии по славянским землям // Казань, 1862. 10 с.
- Петровский М. П.* Первый ученый труд В. И. Григоровича. Варшава, 1893. 21 с.
- Петровский М. П.* Старинное рассуждение о буквах, сиречь о словах. По рукописям библиотеки Казанского университета. СПб., 1888. 20 с.
- Петровский Н. М.* О двух спорных чтениях в “Поучении” Владимира Мономаха” // ИОАИЭ. 1901. Т. XVII. Вып. 5–6. С. 361–364.
- Петровский Н. М.* К истории сказаний о святых Кирилле и Мефодии // ЖМНП. 1907. № 5. Ч. 9, май, отд. 2. С. 138–158.
- Петровский Н. М.* К хронологии проповедей Григория Цамблака // РФВ. 1903. № 1–2. С. 58–63.
- Петровский Н. М.* Копитарь и “Institutiones linguae slavicae dialecti veteris” Добровского // СПб., 1911. 187 с.
- Петровский Н. М.* О сочинениях Петра Гекторовича (1487–1572). Казань, 1901. 320 с.
- Петровский Н. М.* Первые годы деятельности В. Копитаря. Казань, 1906. 757 с.
- Петровский Н. М.* Письмо патриарха Константинопольского Феофилакта царю Болгарии Петру // ИОРЯС. 1913. Т. 18. Кн. 3. С. 356–372.

- Петровский Н. М.* Путешествие В. И. Григоровича в славянские земли // ЖМНП. 1915. № 10–12. Ч. 59, окт., отд. 2. С. 903–262; Ч. 60, нояб., отд. 2. С. 62–131; Ч. 60, дек., отд. 2. С. 205–237.
- Порфирьев И. Я., Вадковский А. В., Красносельцев Н. Ф.* Описание рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Казанской духовной академии. Казань, 1881. Ч. 1; Казань, 1885. Ч. 2; Казань, 1898. Ч. 3.
- Ретина Л. П.* Коллективная память и мифы исторического сознания // Сотворение истории. Человек Память Текст: Цикл лекций. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2001. С. 321–343.
- Севастьянова А. А.* Русская провинциальная историография XVIII века. М., 1988. 64 с.
- Снегирев И. А.* Иосиф Добровский, его жизнь, учено-литературные труды и заслуги в области славяноведения. Казань, 1884. 360 с.
- Срезневский И. И.* На память о Бодянском, Григоровиче и Прейсе, первых преподавателях славянской филологии. СПб., 1878. С. 1–2.
- УЗ КУ. 1908; НА РТ. Ф. 977. Оп. Совет. Д. 11564а. Л. 298об.
- Хамматов Ш. С.* Казанский период деятельности Э. Г. Грима (1896–1899) // Античность: история и историки. Межвуз. сб. Казань, 1997. С. 7–12.
- Хамматов Ш. С.* Византиноведение в высших учебных заведениях Казани (XIX – начало XX вв.) // Античность: политика и культура. Казань, 1998. С. 111–117.
- Хамматов Ш. С.* Изучение и преподавание медиевистики в учебных заведениях Казани (XIX – начало XX вв.). Автореф. дис. ...канд. ист. наук. Казань, 2003. 26 с.
- Штергер М. В.* Провинциальная историческая мысль последней трети XIX – начала XX вв. (по материалам Тобольска и Омска). Автореф. дис. ...канд. ист. наук. Омск, 2003. 26 с.
- Ягич И. В.* История славянской филологии // Энциклопедия славянской филологии. ИОРЯС. Вып. 1. СПб., 1910. 959 с.
- Ягудин Б. А.* Н. А. Осокин и становление казанской школы всеобщей истории. Казань: Изд-во Казан. ун-та. 1998. 228 с.
- Masura V.* Znamení zrodu. Cesko obrození jako kulturní typ. Praha: Československý spisovatel, 1983. 540 s.

Мягков Герман Пантелеймонович, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Древнего мира и средних веков Казанского (Приволжского) федерального университета; gmtyagkov@yandex.ru.

Недашковская Надежда Игоревна, кандидат филологических наук, специалист по учебно-методической работе кафедры теории и истории гуманитарного знания Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета, старший научный сотрудник Казанского (Приволжского) федерального университета; n.nedashkovskaja@mail.ru.

И. Р. ЧИКАЛОВА

АНГЛОВЕДЕНИЕ В РОССИИ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ТРУДЫ ПО ИСТОРИИ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОЮ АНГЛИИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ИМПЕРИИ (1860-е – 1917 гг.)

В статье анализируется один из аспектов англоведения в России – деятельность по включению в интеллектуальное пространство страны зарубежных трудов по истории и государственному строю Англии. Переводы на русский язык трудов крупнейших европейских историков, политологов, юристов, социологов стали ответом на общественную потребность в изучении западного, прежде всего английского, опыта, в сопоставлении самобытного национального развития с политическими достижениями других народов. Книги зарубежных авторов по английской истории, конституционному строю Англии были с заинтересованностью встречены общественностью, хотя круг «потребителей» научной литературы территориально был в значительной мере ограничен столицами и провинциальными университетскими городами.

***Ключевые слова:** англоведение, история Великобритании, конституционализм, государственный строй Великобритании, гражданские права.*

Начало российского англоведения

Знакомство с историческим опытом и с разными сторонами современной жизни Англии происходило не только из личных наблюдений, но в еще большей степени через научную литературу и книги других жанров. Переводы на русский язык трудов крупнейших европейских историков, политологов, юристов, социологов отвечали общественной потребности в изучении западного, и прежде всего английского, опыта. В продвижении передовых идей огромен вклад прогрессивной российской профессуры. Один из первых англоведов профессор Г. В. Вызинский предпослал статью к собранию сочинений Т. Б. Маколя. Профессор П. Г. Виноградов написал вступительную статью к книге Й. Редлиха «Английское местное управление» и отредактировал перевод книги А. В. Дайси «Основы государственного права Англии». Профессор М. М. Ковалевский своей статьей «К истории всеобщего избирательного права» предварил книгу О. Пифферуна «Европейские избирательные системы» и написал предисловие к трудам С. Лоу «Государственный строй Англии» и В. Вильсона «Государство: Прошлое и настоящее кон-

ституционных учреждений», отредактировал перевод книги А. Эмена «Основные начала государственного права». Труд А. В. Фонбланка «Правление Англии» перевел на русский язык проф. Ю. С. Гамбаров, а проф. А. С. Трачевский снабдил ее примечаниями и предисловием. Авторитет книге А. Торсое «История нашего столетия» придавало участие в нем профессора Киевского университета И. В. Лучицкого, выступившего в качестве редактора 3-го издания. Под его же редакцией вышел перевод книги Ч. Файфа. Н. И. Кареев и С. Г. Лозинский редактировали перевод «Всемирной истории» под редакцией Ю. Пфлуг-Гартунга. Под редакцией М. Н. Покровского вышла книга Э. Бутми «Развитие государственного и общественного строя Англии». Проф. Е. В. Тарле написал предисловие к книге Э. Бутми «Опыт политической психологии английского народа в XIX веке», редактировал перевод «Истории нового времени» (под редакцией Ю. Пфлуг-Гартунга). Ф. Ф. Кокошкину принадлежит предисловие к книге А. Л. Лоуэлла «Государственный строй Англии», а В. Ф. Дерюжинский отредактировал перевод книги Г. Джефсона «Платформа, ее возникновение и развитие».

Опыт складывания демократических институтов и организации общественной жизни извлекался не только из английской, но не в меньшей степени из немецкой и французской литератур. М. М. Ковалевский заметил в связи с этим: «Даже при знании английского языка русские подготовляющиеся профессора предпочитают знакомиться с английскими порядками не в Англии, а во Франции и Германии»¹.

Начало интенсивного изучения политического и общественного строя, местного самоуправления, судебной системы, образования и культуры Англии относится к периоду после Крымской войны и начала реформ Александра II. Центрами англоведения стали журналы «Русский вестник», «Вестник Европы», «Современник». Большинство авторов – российские подданные, более или менее длительное время жившие в Англии и делившиеся о ней своими впечатлениями; представлена и российская профессура; появлялись публикации зарубежных журналистов и ученых. В 1864 г. «Русский вестник» в четырех номерах поместил материал Н. Роу о порядках в Оксфордском университете². Редакцию привлекло то, что автор, бывший студент Оксфорда, «передает действительные события, имея в виду главным образом представить верный очерк английской университетской жизни». Затем появилась статья Р. Гнейста об английских представительных учреждениях. Тогда

¹ Ковалевский. 1912. С. 249.

² Роу. 1864. № 6–9.

его восторженно приняла читающая аудитория. Лишь спустя время, когда русскому читателю стали известны труды других исследователей – Беджгота, Дайси, Энсона, Стебса – ореол Гнейста померк, но об этом позже. «Русский вестник» и в последующем обращался к английской тематике, откликнувшись рецензиями К. Арсеньева на труды Маколея. Активно развивал историческую тематику «Вестник Европы», напечатав статьи об И. Тэне³ и Т. Карлейле⁴. «Современник» опубликовал работу Маколея «Рассказы из истории Англии», ценную показом борьбы парламента со Стюартами за упрочение свобод и конституционного строя. «Отечественные записки» предоставили свои страницы работам Маколея об Уильяме Питте и его отце – лорде Чатэм⁵.

В последней трети XIX – начале XX вв. к английской тематике много раз обращались журналы, исповедовавшие идеи эволюционных демократических преобразований и конституционной монархии, в т.ч. «Вестник Европы», «Русский Вестник», «Русская мысль», «Мир Божий» (и его преемник «Современный мир»); отражавший взгляды легальных марксистов журнал «Жизнь»; в годы революции 1905–1907 гг. – орган партии народных социалистов «Русское богатство». Это были статьи российских авторов и рецензии на переводные книги. Получил продолжение возникший еще в 1860-е гг. уникальный опыт краткого изложения содержания книг, еще не переведенных на русский язык⁶.

Во второй половине XIX в. начинает укрепляться представление о недостаточности изолированного изучения истории отдельных стран и необходимости более широкого взгляда на мир. Редакция «Отечественных записок» высказалась по этому поводу совершенно определенно: «необходимо знать и понимать целое на столько, чтобы уметь отдельной части указать соответствующее ей место. Этой потребности стремятся удовлетворить труды по всемирной истории; они пишутся не для ученых специалистов, хотя и им приносят свою пользу; они предназначаются для массы образованных или образовывающихся людей»⁷. «Всемирные истории» в России стали издавать в избытке – от скромной, на 200 с небольшим страниц, «Всеобщей истории для детей»

³ Утин. 1872. № 9–11.

⁴ А. С. 1881. № 5–6.

⁵ Маколей. 1860. Март; Маколей. 1860. Октябрь, ноябрь.

⁶ Когда в 1905 г. профессор из Оксфорда А. Дайси издал книгу «Закон и общественное мнение в Англии», С. И. Рапопорт, постоянно живший в Англии и регулярно печатавшийся в российских журналах, составил пространное, на 12-ти журнальных страницах, изложение этого труда, а «Мир Божий» в том же году его опубликовал, и это не был единственный случай. Рапопорт. 1905. № 10.

⁷ Отечественные записки. 1860. № 11. С. 50–51.

Э. Лависса до многотомных. Все они впечатляют именами авторов и числом переизданий. Это труды Ф. Шлоссера, Г. Вебера, Э. Фримана. Ч. Файфа, О. Иегера, А. Торсое, В. Дюрюи, Ш. Сеньобоса, Э. Марешаля, Ю. Пфлуг-Гартунга, Э. Лависса и А. Рамбо. В них обычно присутствуют разделы по английской истории.

История и страноведение Англии

Активный интерес российского читателя вызывали труды *Франсуа Гизо*⁸. По мнению Гизо, история Англии дает яркий образец того, как следует примирять все интересы; в одновременном проявлении и действии всех общественных элементов и состоит сущность свободы. Основным инструментом постепенного сближения и даже слияния классов Гизо считал конституционную монархию, которая, будучи «великим мировым судьей», заставляет все элементы общества, несмотря на их враждебность, действовать совместно. Гизо принимали восторженно и в Европе, и в России. Основатель и издатель «Вестника Европы» М. М. Стасюлевич писал профессору Петербургского университета М. С. Куторге: «Сегодня был для меня день величайшего удовольствия и даже счастья: я слышал и видел Гизо. Каких хлопот стоило мне достать билет и каких пожертвований простоять час на морозе у дверей Института во главе “хвоста”, а потом просидеть два часа в ожидании начала заседания! Но за два часа все зало <...> уже было полно до самого краю»⁹.

В России стало известно имя одного из основателей позитивизма *Генри Томаса Бокля*. В 1861 г. «Современник» поместил изложение его книги «История цивилизации в Англии». Затем она неоднократно переиздавалась¹⁰. История Англии в интерпретации Бокля представляла собой эталон реализации общих закономерностей в развитии страны, пригодный и для других государств. Однако в России отношение к Боклю не было однозначным¹¹. Он иногда вызывал крайне негативную оценку в связи с общим отрицанием концепции позитивизма. А. Ц. Стадлин в «Русском Вестнике» «развенчивал» Бокля: «Великие исторические законы, якобы открытые Боклем, в сущности не что иное как истины давно признанные, но доведенные до крайности или принятые в одностороннем смысле автором “Истории цивилизации”, и в более или менее искаженном виде возведенные им в степень научных аксиом»¹².

⁸ Гизо. 1859–1860; 1868; 1892; 1898; 1905.

⁹ Стасюлевич 1911. С. 272.

¹⁰ Бокль. 1864–1865; 1866; 1876; 1899; 1906.

¹¹ Об этом см.: Гидони. 1973.

¹² Стадлин. 1874. С. 259.

Затем появились и другие публикации, «ниспровергающие» Бокля, – того же А. Стадлина¹³, Г. В. Чельцова¹⁴. Им во множестве противостояли безусловно положительные отзывы, лейтмотивом которых была мысль: «Бокль показал нам, как исторические вопросы могут быть поняты и решаемы без идеалистических предпосылок»¹⁵. Н. А. Рубакин отмечал Бокля в числе наиболее читаемых авторов¹⁶. К его идеям обращались А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Л. Н. Толстой, Д. И. Писарев, П. Н. Ткачев, П. Л. Лавров, Н. К. Михайловский, П. А. Кропоткин. О влиянии Бокля на развитие научной мысли свидетельствуют не только книжные и журнальные публикации, но и некоторые зафиксированные в автобиографических очерках беседы. У Н. И. Кареева, когда он еще был студентом Московского университета, состоялся разговор с профессором В. И. Герье, специализировавшемся на исследовании проблем истории Нового времени стран Запада. Он (Н. И. Кареев) «еще не знал, что Герье очень отрицательно отнесся в печати к Боклю и, как нарочно, заявил о своем восторге перед ним, и был как бы облит холодной водой, когда и тут попал впросак»¹⁷.

В России хорошо знали труды выдающегося английского историка, вига по убеждениям, *Томаса Бабингтона Маколей*. Выше упоминались публикации его трудов и статьи о нем в российских журналах. Несравненно большую роль в распространении исторических знаний сыграло его 16-томное полное собрание сочинений¹⁸. Первые 5 томов составляют эссе 1828–1835 гг., сквозной идеей которых является основанное на английском опыте утверждение о возможности и желательности отказа от революционных изменений. «Мы не знаем такой великой революции, которую нельзя было бы предупредить своевременным дружелюбным соглашением» и дальше: «во всех волнениях человеческого ума, направленных к великим переворотам, бывает кризис, во время которого умеренная уступка может все исправить, примирить и сохранить»¹⁹. В 6–13 тт., охватывающих последнюю четверть XVII в. и включающих «Историю Англии от восшествия на престол Иакова II», главное внимание уделено «Славной революции» 1688 г. и правлению Вильгельма III. Этот труд тепло встретили в России. «Русский вестник»,

¹³ Стадлин. Б. г.

¹⁴ Чельцов. 1884.

¹⁵ Котляревский. 1914. С. 170.

¹⁶ Рубакин. 1895. С. 116.

¹⁷ Кареев. 1990. С. 132.

¹⁸ Маколей. 1860–1866; Он же. 1865–1868.

¹⁹ Маколей. 1860. С. 214–215.

не дожидаясь русского перевода, откликнулся на лондонское и лейпцигское издания в превосходных степенях: Маколей «решился изобразить только одну эпоху, но изобразить ее так, чтобы она вся, со своими лицами, интересами, страстями восстала перед лицом читателей. Для достижения этой цели Маколей не жалел ни усилий, ни времени; он изучал с одинаковым вниманием важнейшие исторические акты и ничтожнейшие, по-видимому, произведения народной литературы, общие стремления страны и мелкие побуждения отдельных деятелей ее»; и как общий вывод: «замечательный очерк главнейших эпох английской истории»²⁰. Лишь потом в трудах Маколея стали находить ошибки, слабое знание источников, возвеличение роли отдельных личностей и недооценку народных масс; интерес к нему постепенно угас.

В российское читательское пространство с 1860-х гг. активно вводились многочисленные работы в жанре «заметок иностранца», разумеется «иностранца» в Англии. Они затрагивали разные стороны текущей хозяйственной, политической, общественной и бытовой жизни. Некоторые из них вызывали широкий общественный резонанс. В 1866 г. опубликовали «Письма об Англии»²¹ Луи Блана. Этот сборник составили корреспонденции 1861–63 гг., когда Блан находился в эмиграции в Англии. В них освещены актуальные проблемы британского государства и общества, избирательной реформы, английской школы. Затронуты темы британской внешней политики, парламентских прений, международной выставки 1862 г. в Лондоне; рассказано о спорах по поводу английской конституции, о рабочем движении, отношениях церкви и государства. П. В. Шапов, издавший книгу на русском языке, попал за это под суд, тираж был арестован и запрещен к распространению. Цензура усмотрела в книге Блана мысли и взгляды, «противные христианскому учению и монархическому образу правления». Издателя защищал известный адвокат В. Д. Спасович, который в августе 1869 г. выиграл дело, после чего книга в 1870 г. поступила в продажу.

Опубликовали «Очерки Англии», написанные в 1844 г. французским политическим деятелем *Леонам Фоме*, членом Законодательного собрания, в 1851 г. в течение полугода занимавшим пост главы кабинета министров²². «Очерки» раскрывали некоторые стороны жизни страны. Здесь и крупнейшие города (Лондон, Ливерпуль, Манчестер, Лидс, Бирмингем с их населением, бытом, промышленным производством), и попытка поднять социальные проблемы: «упадок низших классов» (ра-

²⁰ Арсеньев. 1861. № 6. С. 587; № 9. С. 16.

²¹ Блан. 1866–1870.

²² Фоме. 1862.

бочих – мужчин, женщин, детей), положение в социальной среде среднего класса (буржуазии), аристократии; затронуты чартизм, избирательное право и, конечно, «достоинство британского парламента». Фоше не обходит негативные стороны английской действительности, но при всем этом, по его словам, «англичанин уверен, что у него все хорошо, а в остальном мире все идет худо; порядок, который установлен в его отечестве, кажется ему единственным согласным с природою вещей; учреждения, общественное устройство и нравы иностранцев непременно оскорбляют его какой-нибудь своей стороною, и он смотрит на них с сожалением или даже презрением; он охотно верит, что кроме британского народа, который достиг, по его мнению, возраста зрелости, все прочие народы находятся в состоянии младенчества»²³.

Французский философ, писатель, историк *Ипполит Тэн*, впоследствии получивший всеобщую известность трудами по истории Французской революции XVIII в., в 1861–62 гг., а затем в 1871 г. путешествовал по Англии и о своих наблюдениях рассказал в книгах «Развитие политической и гражданской свободы в Англии в связи с развитием литературы» и «Очерки современной Англии»²⁴. «Вестник Европы» откликнулся на последнюю из этих книг развернутой статьей сотрудника журнала Е. И. Утина. Выводы его хвалебны: «Заметки Тэна поражают нас своею меткостью, в них он затрагивает все выдающиеся стороны жизни, в них он является таким тонким наблюдателем, от внимания которого не ускользают самые мелкие, но типичные черты нравов английского народа»²⁵. Для Утина важны не столько эмоциональные впечатления, сколько практическая польза знакомства с зарубежным опытом: «Чем чаще европейская литература обращает свои взоры к Англии, тем чаще ищет она поучений в этой классической стране свободных нравов, тем большую услугу оказывает современному обществу»²⁶. Тэн был популярен. А. Ф. Кони, известнейший юрист, на тот момент председатель Петербургского окружного суда, только что завершивший процесс Веры Засулич, в одну из поездок по железной дороге захватил том Тэна. Попутчик, им оказался не менее знаменитый И. С. Аксаков, «сказав, что не читал еще этой книги, спросил мое о ней мнение», а при расставании попросил ее почитать. Кони исполнил просьбу, Аксаков, тоже в пути, по дороге от Курска до Киева, «прочел с лишком 200 страниц»²⁷.

²³ Там же. 1862. С. 3.

²⁴ Тэн. 1871; Тэн. 1872.

²⁵ Утин. 1872. № 10. С. 692.

²⁶ Утин. 1872. № 11. С. 257.

²⁷ Кони. Ф. 1969. С. 177–178, 181.

Книги этнографического и познавательного содержания продолжали публиковать вплоть до Первой мировой войны. Об Англии во временных границах 1832–1910 гг. рассказал француз *Луи Казамиан* в книге «Современная Англия»²⁸. По замыслу российских издателей книга должна была представить Англию как одну из главнейших стран европейской культуры. Казамиан прослеживает то, что является, по его мнению, самым существенным для характеристики экономического, политического и социального строя Англии: развитие крупной промышленности и борьба с иностранной конкуренцией; социальные проблемы в связи с ролью и положением в обществе аристократии, буржуазии и пролетариата; усиление социалистических тенденций, реформы политической системы, эволюция партий, развитие тред-юнионистского движения; интеллектуальная жизнь.

С конца 1850-х гг. на российском книжном рынке появляются труды собственно по истории Англии – обобщающие и по отдельным периодам. Поначалу их было сравнительно мало, выходили они с большими перерывами. В числе первых была. «История Англии для детей», изданная в 1853 г. классиком английской литературы *Чарльзом Диккенсом*. Занимательным, но неприкрашенным повествованием о прошлом страны, где было место и героическому, и низменному, Диккенс стремился наставить детей на путь добра²⁹. В 1881 г. вышла написанная *Джустином Мак-Карти* «История нашего времени от вступления на престол королевы Виктории до Берлинского конгресса»³⁰. Издателей привлекли «недостаток в нашей литературе сочинений по современной истории» и популярность книги в Англии, где она выходила 12 раз. События внутренней политической жизни, перемежаемые очерками об отношениях с Канадой и Ирландией, об «опиумной войне» в Китае и поражении в Афганистане, составляют содержание этого сочинения.

Только спустя 10 лет появились выдержавшие множество переизданий на родине и в других странах труды выдающегося историка *Джона Ричарда Грина* – четырехтомная «История английского народа»³¹. Грин сделал попытку раскрыть как единое целое развитие Англии, показать различные стороны политической истории и общественных институтов, конституционных преобразований, социальной и религиозной жизни, экономического бытия, культуры и литературы. Для читателя Грин был интересен самим подходом к истории страны.

²⁸ Казамиан. 1912.

²⁹ Диккенс. 1860–1861.

³⁰ Мак-Карти. 1881.

³¹ Грин. 1891–1892.

В центре повествования не столько короли и завоеватели, сколько люди из народа: «если некоторые лица английской военной и политической истории занимают в книге Грина меньше места, чем это бывает обыкновенно, то он сделал это потому, что сохранял место для фигур, обыкновенно мало замечаемых историей, – фигур миссионера, поэта, книгопечатника, купца, философа»³². В его же трехтомной «Краткой истории английского народа»³³ А. К. Дживелегов также усмотрел эту особенность: «у него действительно фигурирует народ как активный деятель в истории, и сама история не превращается, как это нередко случается именно в кратких обзорах, в сухой каталог королей, бессвязное перечисление битв, украшенное живописными подробностями, договоров, анекдотов и прочих аксессуаров “трубно-барабанной” истории»³⁴.

Практиковалось объединение в одном томе книг разных авторов. Сочинения англичанина *Г. Гиббинса* «Английский народ в XIX веке» и российского журналиста *Д. В. Соскиса* (под псевдонимом «Д. Сатурин») «Последние моменты истории английского народа» вышли под одной обложкой и единым названием «История современной Англии»³⁵. Гиббинс в популярных очерках рассказывает о переменах в промышленности, внутренней политике, парламентских реформах и королеве Виктории, ирландской проблеме. Издатель полагал, что читатель найдет в книге «сравнительно много интересных и точных фактов, касающихся промышленного прогресса и расширения колониальных владений Англии за последние сто лет». В рецензии Дживелегова эти надежды были развеяны: «Читатель не найдет там даже слабого намека на научность. Это какая-то наскоро состряпанная, вдобавок еще тенденциозная, каша, где неподготовленный читатель потеряет голову <...> Какая-нибудь незначительная экспедиция против безоружных дикарей возводится на степень подвига, единственного в военной истории. Наоборот, там, где торжествуют принципы, создавшие Англии столь исключительное положение в культурном мире, Гиббинс видит сплошное недоразумение». Сатурин дополняет книгу Гиббинса очерками об англо-бурской войне, переменах в Австралии и голоде в Индии, эти статьи, по мнению Дживелегова, не лишены известного интереса³⁶.

Выходили работы по отдельным периодам и проблемам истории Англии. *Огюстен Тьерри* в основу исследования «История завоевания

³² Мир Божий. 1897. № 11. С. 85.

³³ Грин. 1897–1900.

³⁴ Дживелегов. 1901. С. 87. Труд Грина тщательно изучал Маркс: Маркс. 1946.

³⁵ Гиббинс, Сатурин. 1901.

³⁶ Дживелегов. 1901. № 2. С. 88–89.

Англии норманнами»³⁷ заложил представление о том, что вся история Англии (как и Франции) представляет собой борьбу двух противостоявших друг другу этносов. По Тьерри, разгром в 1066 г. норманнами англосаксов привел к интеграции этносов и формированию на этой основе новой нации. В ее рамках потомки победителей и побежденных образовали дворянство и третье сословие, что привело к классовым антагонизмам, постепенному возвышению последнего по мере того как ослабевала феодальная организация дворянства, то есть потомков древних завоевателей. Профессор Новой истории в Оксфорде и член Британской Академии **Чарльз Оман** написал работу о восстании 1381 г. во главе с Уотом Тайлером³⁸. А. Савин с едва скрытой иронией отметил поспешность издания книги в России («предисловие помечено 3 мая 1906, а в начале 1907 г. книга уже поступила на русский книжный рынок»), причина тому: «повстанческий сюжет (Оман в соседстве с Марксом и Бебелем), краткость, общедоступность». Оман хотел стать первописателем восстания 1381 года, но не знал, что «интересный подбор материала» имеется в статьях профессора М. М. Ковалевского, а «первая научная история восстания появилась в 1897 г. и принадлежит московскому профессору Д. М. Петрушевскому». Хотя Оман находился в очень выгодном положении сравнительно со своими русскими предшественниками в связи с возможностью пользоваться источниками, «сопоставление с исследованием проф. Петрушевского оказывается очень невыгодно для проф. Омана». Работа последнего «похожа на некритический свод разнокалиберного материала; отрывочные и редкие критические замечания об отдельных эпизодах борьбы мало помогают делу». И как итог: «приходится более жалеть о том, что книга проф. Петрушевского все еще не существует в английской обработке, нежели сочувствовать тому, что книга проф. Омана переведена на русский язык»³⁹.

Заметное место заняли работы по истории революции XVII в. В их числе изданные под одним переплетом и с общим титульным листом книги **Самюэля Равсона Гардинера** и **Осмунда Эйри**⁴⁰. Гардинер излагает события с воцарения Якова I и доводит ее до протектората Кромвеля, Эйри в части, касающейся Англии, хронологически продолжает тему, рассматривая историю страны эпохи Стюартов. **Альфред Штерн** в своей «Истории революции в Англии»⁴¹ сжато излагает события 1625–

³⁷ Тьерри. 1858. В 1859–60 и в 1868 гг. вышли 2-е и 3-е издания.

³⁸ Оман. 1907.

³⁹ Савин. 1907. С. 72, 73, 74.

⁴⁰ Гардинер, Эйри. 1896.

⁴¹ Штерн. 1900.

1660 гг. **Эдуард Бернштейн** в работе «Общественное движение в Англии XVII века»⁴² рассматривает теории и движения рассматриваемой эпохи в качестве провозвестников новейшего социализма. Журнал «Образование» рецензией, подписанной Н. Козьминым, рекомендует читателям сочинения Гардинера и Эйри, «хотя русский перевод весьма оставляет желать лучшего»⁴³. Тот же журнал откликнулся рецензией и на издания книг Штерна и Бернштейна: «До самого последнего времени для ознакомления с историей английской революции русским читателям приходилось пользоваться главным образом историческими трудами Гизо и соответствующими томами истории Маколея. Недавно наша переводная литература об этом замечательном моменте английской истории обогатилась появлением одной из работ С. Р. Гардинера... Теперь перед нами еще два новых труда, на этот раз немецких авторов. Для читателя они как бы взаимно дополняют друг друга. У А. Штерна он найдет обстоятельное фактическое изложение истории революции, важнейших событий и течений. Бернштейн, предполагая уже некоторое знакомство с этой фактической стороной эпохи, вводит в изучение социальных сил, боровшихся на тогдашней политической арене классов, поскольку они сформировались и обособились, умственных течений, если не оказавших особого влияния на ход событий, то весьма характерных для оценки положения отдельных групп народа»⁴⁴. Как полагало «Русское богатство», книга Бернштейна «имеет немного себе равных в нашей новейшей переводной литературе», представляет собой «блестящий опыт» восстановления в истинном виде общественных течений эпохи английской революции; Лильборну, Овертону, Гаррингтону и многим другим отведено то место, которое они по справедливости заслуживают»⁴⁵. Завершает ряд дореволюционных переводов трудов по теме Английской революции исследование **Германа Вейнгартена** «Народная реформация в Англии XVII века»⁴⁶. По его поводу высказывались самые противоречивые суждения. «Русское богатство», заметив, что эта книга подкупает «удивительным мастерством в передаче религиозных настроений эпохи», все же высказало сомнение в целесообразности ее публикации: «Мы не говорим, что книга Вейнгартена плоха, что русскому читателю совсем излишне с нею познакомиться, но невольно возникает вопрос, почему же для русской публики богословско-

⁴² Бернштейн. 1899.

⁴³ Козьмин. 1896. С. 106.

⁴⁴ Плотников. 1900. С. 93.

⁴⁵ Русское богатство. 1900. № 1. С. 106, 109.

⁴⁶ Вейнгартен. 1901.

исторический трактат нужнее и важнее, нежели такие превосходные научные по содержанию и литературные по изложению вещи, как хотя бы сочинение Гардинера»⁴⁷. Дживелегов в примирительном духе сопоставил значимость всех этих трудов: в книге Вейнгартена лучше всего исследована специфическая религиозная окраска Английской революции; книга Штерна является как нельзя более подходящей для лиц, ищущих подробного знакомства с английской революцией, но не удовлетворяющихся маленькой книжкой Гардинера; книга Бернштейна как бы дополняет исследование Штерна, главной задачей Бернштейна является выяснение мирозерцания левеллеров и квакеров, особенно идей Уинстенли; и Штерн, и Бернштейн иллюстрируют значение революции сопоставлением с Французской революцией – у Штерна оно выходит поверхностно, у Бернштейна дело обстоит иначе⁴⁸.

На российском книжном рынке появились работы в жанре политической биографии. В книгах *Фредерика Гаррисона* («Оливер Кромвель»⁴⁹) и *Джона Морлея* («Новое жизнеописание Оливера Кромвеля»⁵⁰) показаны жизнь и политическая роль выдающегося деятеля эпохи революции. Как отметил Дживелегов, «книга Гаррисона, написанная с полным пониманием дела, обнаруживающая трезвый взгляд на события и отличающаяся необыкновенной ясностью, окажется очень полезной русскому читателю, потому что в нашей литературе нет ничего более подходящего: книга Морлея <...> не получила большого распространения»⁵¹. Получили известность работы *Джеймса Брайса* – влиятельного деятеля либеральной партии, избравшегося в парламент, занимавшего должности министра торговли, товарища министра иностранных дел и другие посты в правительствах Гладстона. Ему принадлежит ряд трудов, в том числе книги «Вильям Гладстон» и «Выдающиеся английские деятели XIX века»⁵². Последняя из них представляет собой сокращенный вариант вышедшей в Англии работы «Исследование современных биографий», представлявшей собой 20 очерков о выдающихся английских деятелях XIX в. В. Ф. Дерюжинский отобрал и перевел 6 очерков: о политиках (Дизраэли, Гладстоне, Парнелле) и историках (Грине, Фримане, Актоне). Убедительность этим очеркам придает то, что всех персонажей своей книги (кроме Дизраэли) Брайс знал лично, а с

⁴⁷ Русское богатство. 1901. № 12. С. 70, 71.

⁴⁸ Мир Божий. 1900. № 5. С. 101-102.

⁴⁹ Гаррисон. 1901.

⁵⁰ Морлей. 1901.

⁵¹ Дживелегов. 1901. № 12. С. 112.

⁵² Брайс. 1902; 1904.

Гладстоном, Грином и Актоном его связывали близкие дружеские отношения. *Д. Обри* в биографии Эдуарда VII ограничился описанием частной жизни короля в пределах семьи и двора⁵³. Наконец, следует отметить публикации автобиографии *Дж. Ст. Милля*⁵⁴ в 1874 и 1896 г., событие, исключительно позитивно воспринятое «Русским богатством» – «есть много глубоко интересного и поучительного в этом правдивом и скромном жизнеописании одного из благороднейших мыслителей XIX столетия»⁵⁵. О Милле написал книгу и С. Зенгер⁵⁶. По мнению того же журнала, несмотря на необходимость для всякого образованного человека ознакомления с учением Милля, книгу Зенгера «можно назвать ненужной книгой, ибо для людей, знакомых с творениями Милля, она не нужна, так как не дает ничего нового, а для людей, не знакомых с Миллем, она не нужна вследствие того, что, благодаря соединенным усилиям автора и переводчика, она вышла совершенно неудобочитаемой»⁵⁷. Дважды издали автобиографию *Герберта Спенсера*⁵⁸. «Русское богатство» высоко оценило значимость выхода этой книги: «автобиография такого человека, как Герберт Спенсер, имеет огромный интерес <...> мы видим здесь не только великий ум, но и великий характер»⁵⁹.

Государственный строй Англии

Интерес к государственному строю Англии подпитывали сугубо практические намерения использовать опыт этой страны. В либеральных кругах распространилось мнение, выраженное *Русской мыслью*: в эпоху горячих дебатов о направлении реформы государственного строя России «далеко не безразлично для роста и успехов политической свободы в России, как будем мы на практике разрешать основные проблемы конституционного права, которые давно были разрешены в Англии»⁶⁰. Объясняли и причины распространившегося англофильства. По словам известного юриста Ф. Ф. Кокошкина, Англия шла по пути политического развития «впереди других народов, постоянно поддерживая в своей государственной жизни наивысший для данной эпохи уровень

⁵³ *Обри*. 1910. Переиздана без изменений: *Обри Д.* 1917.

⁵⁴ *Милль*. 1874; *Он же*. 1896.

⁵⁵ Русское богатство. 1896. № 10. С. 109.

⁵⁶ *Зенгер*. 1903.

⁵⁷ Русское богатство. 1903. № 10. С. 76.

⁵⁸ В 1905 г. – в «сокращенном изложении», в 1914 г. – в 2-х томах, но также с заменой фрагментов подлинного текста кратким пересказом. *Спенсер*. 1905; 1914.

⁵⁹ Русское богатство. 1914. № 4. С. 390.

⁶⁰ *Сторожев*. 1905. С. 73.

политической и гражданской свободы, неразрывно связанной с твердым и устойчивым государственным правопорядком. Изумительные качества английского государственного механизма <...> не обнаружались ни в чем с такой наглядностью как <...> в тех огромных социальных и политических преобразованиях, которые на наших глазах совершаются в Соединенном Королевстве. Переворот, который в других странах и при других условиях почти неизбежно вызвал бы кровавые потрясения, идет здесь не только мирным, но строго легальным путем. Старые конституционные формы вмещают в себя бушующие волны новой жизни, расширяясь под их напором, но вместе с тем ни на волос не отклоняясь от завещанной веками традиции. Англия по-прежнему дает человечеству высшие образцы того, что англичане со свойственной им трезвостью и скромностью политической фразеологии называют «хорошим управлением», и изучение ее государственного строя <...> является необходимой школой для теоретической и практической политической мысли⁶¹. Именно поэтому переводы работ о конституционном процессе и эволюции демократических начал в политическом устройстве Великобритании заметно преобладают. Их общая черта – выявление самобытности британской политической системы, которая сумела создать демократические институты, способные стать примером для других государств.

Поначалу библиотеки и частные книжные собрания мало что могли предложить заинтересованному читателю: на протяжении нескольких десятилетий с политическим строем Англии можно было познакомиться только по изданной в 1806 г. книге члена *Совета двухсот* Женевской республики *Жана Луи де Лолма* «Конституция Англии, или состояние английского правления, сравненного с республиканскою формою и с другими европейскими монархиями»⁶². Только в 1862 г. в России появилась еще одна работа на эту тему – труд немецкого юриста *Эдуарда Фишеля* «Государственный строй Англии»⁶³. Издатели объясняли свои мотивы желанием «содействовать выяснению самых важных и существенных интересов современного русского человека», поскольку «при том значении, какое получили у нас вопросы общественного быта, недостаток в нашей литературе сочинений по части государственного права составляет одно из весьма важных затруднений в стремлениях к правильному развитию и разъяснению этих вопросов». Сам же выбор труда мотивировался тем, что в нем «в сжатой, общедоступной форме, с строго научным беспристрастием, собрано из лучших источ-

⁶¹ *Кокошкин*. 1915.

⁶² *Лолм*. 1806.

⁶³ *Фишель*. 1862. 532 с.; 2-е изд., 1864.

ников огромное количество фактов, по которым каждый может составить весьма полное и верное понятие о государственном строе нации, возбуждающей своим благосостоянием справедливую зависть народов европейского материка»⁶⁴. В оценке информативности книги издатели были правы. Книга обстоятельно и добросовестно разъясняет английскую политическую систему, пространно трактует об институте королевской власти, парламентской системе, устройстве государственной администрации, политическом статусе государственной церкви, сущности местного самоуправления, правах англичан, наконец, взаимоотношениям метрополии с колониальными владениями.

Через 18 лет недостаток литературы побудил студентов Московского университета перевести и издать в 1880 г. под редакцией проф. М. М. Ковалевского исследование *Эдварда Фримана* и *Вильяма Стебса* «Опыты по истории английской конституции»⁶⁵. Выбор не был случайным. Оба они были авторами многочисленных трудов и сделали карьеру: Фриман в 1884 г. стал профессором Оксфордского университета, а Стебс в 1888 г. – епископом Оксфордским. Хронологически этот труд охватывает время до царствования Эдуарда I, т.е. до начала XIV в. Тем не менее, он оказал определенное влияние на складывание представлений об истоках английского парламентаризма. Ковалевский писал: «Лучшую часть труда профессора Стебса составляет изложение самой истории английского парламента <...> главный интерес предлагаемой им истории парламента лежит не в новизне материала, а в целостном освещении его одной мыслью – мыслью о том, что английская свобода есть продукт многотрудной, вековой и совокупной борьбы всех и каждого из классов английского общества против непрестанных и вполне естественных стремлений королей к единоличному правлению»⁶⁶. В отзывах критики, «очерк Стебса – ученый труд в полном смысле этого слова, вполне объективный, написанный вовсе не для того, чтобы доказать какую-нибудь предвзятую тему; очерк Фримана имеет скорее публицистический и полемический характер», что вытекает из тезиса Фримана: как в нашем древнейшем, так и в современном политическом устройстве король существует для народа⁶⁷.

Полоса реакции и цензурные ограничения, наступившие после убийства в 1881 г. Александра II, затормозили распространение опыта буржуазной государственности. Только в 1885 г. опубликовали книгу

⁶⁴ Фишель. 1862. С. i–ii.

⁶⁵ Фриман, Стебс. 1880.

⁶⁶ Ковалевский. 1880. С. 55–56.

⁶⁷ Вестник Европы. 1880. № 6. С. 753.

немецкого историка государственного права **Рудольфа Гнейста**. В России это имя было известно специалистам по немецкоязычным изданиям, а рядовому читателю по давнишней (1864), публикации в «Русском вестнике». Гнейст, будучи длительное время членом прусского ландтага и общегерманского рейхстага, активно участвовал в законодательной работе, особенно в области судебной системы и уголовного права, пропагандировал введение в Пруссии английской системы безвозмездного исполнения обязанностей в органах самоуправления, что обеспечивало бы господство юнкерства и крупных землевладельцев в общественно-политической жизни. Его «История государственных учреждений Англии»⁶⁸ стала одной из наиболее читаемых работ. Причину этого раскрыл М. М. Ковалевский: «Одно время можно было думать, что не Англии, а Германии суждено будет подарить науку историей конституционной жизни английского народа. Многие увидели даже осуществление этой задачи в массивных трудах берлинского профессора Гнейста, стали говорить об этих трудах, как о каком-то откровении, видеть в английских учреждениях и их истории только то, что хотел видеть в них прусский ученый, интересоваться в них лишь тем, что интересовало его, говорить о самоуправлении и об административном суде, как об учреждениях почти исчерпывающих собой содержание английской свободы, скептически относиться к так называемым конституционным гарантиям, отрицать даже существование некоторых из них, как, например, права членов палаты общин отказывать в утверждении бюджета; одним словом, изучать не английскую конституцию, а то, что думает о ней проф. Гнейст. Пора увлечений, к счастью, уже прошла <...> Часто стали случаться случаи, в которых личные наблюдения Гнейста над английским парламентаризмом почти единогласно были признаваемы его личными заблуждениями»⁶⁹. Главный недостаток труда Гнейста усматривали в недооценке процесса демократизации английских учреждений после реформы 1832 года. Гнейст полагал, что организация местного самоуправления достигла вершины в XVIII в., а все последующие действия по его реформированию представляют собой движение к централизации по континентальному образцу, так что в этом отношении Англия и континентальные государства приближаются друг к другу.

Развенчание Гнейста произошло быстро и бесповоротно в связи с появлением ряда трудов, концептуально более отвечавших уму настроением российской демократической общественности. Классик либераль-

⁶⁸ Гнейст. 1885.

⁶⁹ Ковалевский. 1880. С. 24–25.

ной политической мысли *Джон Стюарт Милль* в своих трудах (в том числе в одном из главных – «Представительное правление», еще в 1863 г. переведенном на русский язык⁷⁰) предстает защитником парламентаризма, показывает всю важность проведенных в XIX в. преобразований избирательного права, направленных на расширение электората. Русская критика оценила книгу по достоинству. Журнал *Образование* в анонимной рецензии на издание 1897 года рекомендует ее, как одно из «лучших популярных сочинений европейской литературы по вопросу о представительном правлении», достоинства книги «вполне искупают, как устарелость взглядов автора по двум-трем отдельным вопросам, так и некоторую неполноту книги (напр., Милль вовсе не останавливается на отношении парламента к королю). Поэтому нельзя не отнестись самым сочувственным образом к выбору сочинения, сделанному издателем, и оказанная им русской читающей публике услуга отнюдь не умаляется тем, что эта книга уже была переведена на русский язык...»⁷¹.

Еще одна книга Милля «Подчиненность женщины» в России впервые вышла в 1869 г. сразу в двух издательствах⁷². «Вестник Европы» откликнулся статьей, в которой высказал уверенность, «что сочинению Милля предстоит у нас большой успех: ему предназначено возвести в сознательную истину то, что в нашем обществе было на степени инстинкта или полусознания»⁷³. К 1882 г. книга вышла вторым и третьим изданиями⁷⁴, а в 1896 г. – в новом переводе⁷⁵. И это событие не осталось незамеченным. «Мир Божий» процитировал слова Милля о том, что «принцип, на котором зиждутся отношения двух полов друг к другу, т.е. подчинение женщины мужчине, не только сам по себе ложен, но еще служит сильнейшим тормозом человеческому прогрессу». Разделяя убеждение Милля в необходимости утверждения противоположного принципа полнейшего равенства, «не допускающего прав и преимуществ, с одной стороны, и бесправия – с другой», журнал заключил: «даже сама аргументация Милля в пользу раскрепощения женщины сохранила свою силу и до наших дней»⁷⁶. Милль пытался свои теоретические представления об эмансипации женщин реализовать в жизни, выступал активным пропагандистом избирательного права для женщин,

⁷⁰ Милль. 1863; *Он же*. 1897.

⁷¹ *Образование*. 1898. № 1. С. 201.

⁷² Милль. 1869.

⁷³ *Вестник Европы*. 1869. № 10 – октябрь. С. 959.

⁷⁴ Милль. 1870; *Он же*. 1871; *Он же*. 1882.

⁷⁵ *Он же*. 1896.

⁷⁶ *Мир Божий*. 1896. № 7. Отд. 2. С. 9–10.

неоднократно инициировал в Палате общин принятие соответствующего закона, хотя и безуспешно. Литературная и политическая деятельность Милля снискали ему уважение. М. М. Ковалевский, рассказывая о своем учителе Д. И. Каченовском, счел уместным упомянуть, что для него Милль был «таким же уважаемым авторитетом, как Маколей»⁷⁷.

Эмиля Бутми русскоязычные читатели впервые узнали по вышедшей в 1897 г. и переизданной в 1904 г. книге «Развитие конституции и политического общества в Англии»; она охватывает XI–XVIII вв. и для читателя могла представлять только историко-познавательный интерес⁷⁸. «Русская мысль» положительно оценила ее: «книжка представляет собой прекрасно написанный общий очерк политического и социального развития Англии со времени норманнского завоевания <...> несомненно может служить прекрасным пособием при изучении общего хода развития английского государства и общества»⁷⁹. Но появившаяся затем возможность познакомиться с работами Бутми «Развитие государственного и общественного строя Англии» и «Опыт политической психологии английского народа в XIX веке»⁸⁰ не могла не разочаровать либерально ориентированных читателей в связи со сравнением автором включения в политический процесс новых масс избирателей с нашествием «дикарей», «привыкших руководиться в своих мыслях инстинктами, которые трудно совместить с логикой до сих пор властвовавших классов»⁸¹. Неудачной счел книгу и журнал *Образование*: «автор взялся за совершенно безнадежную с научной стороны задачу – объяснить политическую психологию английского народа в XIX в. как результат неизменных вековых свойств “английской расы”»⁸².

Заметный след оставил труд сторонника либерального подхода к изучению британского конституционализма профессора Оксфордского университета *Альберта Венна Дэйси* об основах государственного права Англии, множество раз выходявший на родине, а в России выдержавший три издания⁸³. По оценке А. Савина, «эта знаменитая книга привлекает к себе остротой юридического анализа, оригинальностью мысли и литературным талантом»⁸⁴. Дэйси считал парламент центром

⁷⁷ Ковалевский. 1895. С. 64.

⁷⁸ Бутми. 1897.

⁷⁹ Русская мысль. 1905. № 2. С. 57.

⁸⁰ Бутми. 1904; *Он же*. 1914.

⁸¹ Бутми. 1914. С. 320.

⁸² П. Б-ин. 1907. С. 141.

⁸³ Дэйси. 1891; *Он же*. 1905; 2-е изд. 1907.

⁸⁴ Энциклопедический словарь... Т. 9. Ст. 324.

притяжения и гарантом прочности британской конституции. «Существенными чертами английской конституции, писал он, являются верховенство парламента и господство права»⁸⁵. Комментируя эту стержневую идею Дайси, П. Г. Виноградов в предисловии к его труду пишет: «Вольности английского народа, которыми он привык так гордиться, которым иностранцы привыкли завидовать, получают новое освещение в своей тесной связи с общим правовым порядком. Они являются не отдельными привилегиями, не случайными выдумками, не разрозненными выгодами, а естественными результатами жизни, которая до мелочей и до неудобств поставлена в зависимость от господства правового принципа»⁸⁶. Парламентские реформы XIX в. он трактовал как закономерные этапы поступательного развития политической системы страны. Важным направлением труда Дайси является исследование феномена «господства права», т.е. гарантий личной и общественной свободы, неприкосновенности и равенства всех перед судом и законом. Эти стержневые идеи книги Дайси особенно соответствовали устремлениям либеральных кругов, добивавшихся политических реформ накануне и в годы российской революции. Рецензент в «Мире Божьем» охарактеризовал труд Дайси как талантливый, соединяющий глубину содержания с блеском и остроумием изложения, дающий «прочный базис для понимания духа английского государственного права»⁸⁷. Ему вторит А. С. Изгоев, рецензируя в «Русской мысли» 3-е издание: «по этой книге уже не одно поколение русских людей знакомилось с сущностью английской конституции». Книгу отличает «изысканный, строго юридический и фактически обоснованный анализ», она вскрыла «пружины английского конституционного права: гибкость конституции, всемогущество парламента, а главное господство права»⁸⁸. Тематически близка к труду Дайси работа американского ученого, президента Гарвардского университета *Аббота Лоуренса Лоуэлла* «Государственный строй Англии»⁸⁹. Он охватывает основы политического устройства, историю и организацию политических партий, местное самоуправление, народное образование, церковное управление, устройство колоний, организацию и деятельность судов. Эти проблемы рассматриваются не только в историко-правовом, но и в политическом аспекте, а именно, в плане влияния государственных институтов на общественно-политическую жизнь

⁸⁵ Дайси. 1891. С. i.

⁸⁶ Виноградов. 1891. С. vii.

⁸⁷ Мир Божий. 1905. № 5. С. 142.

⁸⁸ Изгоев. 1907. С. 175.

⁸⁹ Лоуэлли. 1915.

страны. Критика не преминула сопоставить труды Дайси и Лоуэлла. Privat-доцент Петербургского университета Б. Е. Шацкий писал: «Сочинения Дайси и Лоуэлла представляют тот минимум, знание которого обязательно для каждого русского интеллигента. Каждая из них сама по себе недостаточна для ознакомления с английским государственным строем, но, пополненные одна другой, они сторицей вознаградят потраченный читателем на их изучение труд ярким описанием “неба” и “земли” английской конституции. Книга Лоуэлла, правда, менее талантлива и блестяща, чем сочинение Дайси, но столь же полезна и необходима»⁹⁰.

Профессор юридического факультета Парижского университета *Адемар Эсмен* в России стал известен благодаря двухтомнику «Основные начала государственного права»⁹¹. Книга имела успех и быстро разошлась. Независимо от этого издания в 1898 г. первая часть этого труда, посвященная общим основаниям конституционного права, была выпущена под редакцией проф. В. Ф. Дерюжинского. Тираж был распродан, так что создалась возможность для дальнейшего продвижения труда. В 1898 и 1909 г. вышли «Общие основания конституционного права» (под ред. Н. О. Бер)⁹². В этом расширенном издании впервые представлен раздел о конституционном праве Австралии, сопоставлены английская и французская политические системы, парламентские формы правления в Англии и Франции в их историческом развитии, показаны организация пропорционального представительства, распространение всеобщего избирательного права, первые попытки наделения избирательным правом женщин, охарактеризована практика референдума. Эсмен утверждал, что представительное государство, обеспечивая равенство всех перед законом, служит не какому-то одному классу или сословию, а всему обществу. При этом законодательную власть не следует концентрировать в однопалатном парламенте, так как верхняя палата позволит сочетать «дух прогресса» с традициями и консерватизмом. Эсмен считал условием устойчивости парламентского правления наличие двух больших партий – «одной консервативной, другой прогрессивной, предназначенных поочередно сменять одна другую во власти». Эсмен признавал принципы равенства как одинаковой правоспособности, неприкосновенности личности и собственности, свободу труда и промышленности, совести, собраний, печати и т.п. Но индивидуальные права, по Эсмену, имеют свои границы. Государство не обязано обеспечивать права на материальное обеспечение, труд, образова-

⁹⁰ Шацкий. 1915. С. 408.

⁹¹ Эсмен. 1898–1899.

⁹² Эсмен. 1909.

ние – любые права, возлагающие на государство обязанности. Должны быть ограничены и права граждан на участие в управлении государством. Поскольку большинство граждан не имеет достаточного образования и досуга, а потому не может оценивать законы, нельзя использовать инструменты прямой демократии наподобие референдумов. Должны быть изъятия и во всеобщем избирательном праве: не могут избирать женщины, необходимы цензы оседлости и возраста. Избиратели не могут отзывать депутатов и влиять на их деятельность. Эти принципы классического либерализма находили в то время живой отклик и многочисленных сторонников, а книги пользовались спросом⁹³. «Научный исторический журнал», в связи с кончиной ученого отметил, что основы конституционного права Эсмен проанализировал «с недостижимой прозрачностью, тонкостью и убедительностью», на его книгах «учились понимать начала свободы и права и многие русские юристы»⁹⁴. К этому можно только добавить суждение М. М. Ковалевского: «с большой ясностью ума, простотой и искусством изложения Эсмен соединял широту взглядов, отсутствие предубежденности, уважительное отношение к чужим мнениям, страстное искание научной истины»⁹⁵.

На волне общественного подъема накануне и в годы революции 1905–1907 гг. по России прокатился новый вал переводных трудов по британскому конституционализму. Среди них были и работы, получившие признание у себя на родине. *Этьена Фландена*, например, за книгу «Политические учреждения современной Европы»⁹⁶ французское научное общество «Академия нравственных и политических наук» удостоила премии имени видного политического деятеля Франции Одилона Барро. Но в России большой резонанс получил труд *Уолтера Беджгота* «Государственный строй Англии»⁹⁷. Е. В. Тарле расценил как интересные мысли Беджгота о политической природе английского государственного устройства, взаимоотношениях короля и обеих палат, отметил приверженность Беджгота парламентаризму, управлению страной при помощи кабинета, ответственному перед парламентом. Но его взгляды на демократический процесс Тарле подверг уничтожающей

⁹³ Некий студент Вл. Телехов по трудам Эсмена и других ученых составил и литографским способом издал конспект для подготовки к экзамену (Телехов. 1901). Об известности и популярности ученого, как и вообще об отношении к нему научного сообщества, этот факт свидетельствует убедительно.

⁹⁴ Научный исторический журнал... 1913. № 1. Т. 1. Вып. 1. С. 170.

⁹⁵ Ковалевский. 1913. С. 408.

⁹⁶ Фланден. 1906.

⁹⁷ Беджгот. 1905.

критике: «в размышлениях Беджгота о социальных последствиях демократизации народного представительства нет решительно ничего оригинального, решительно ничего любопытного для всех, кому доступно понимание классовой буржуазной трусости», «автор с недоверием относится к самому принципу слишком широкой демократизации представительных учреждений», «больше всего боится, как бы рабочий класс не обнаружил политического развития». Беджгот «стоит за союз между аристократией, в руках которой палата лордов, и плутократией, в руках которой палата общин, для совместной борьбы против рабочего класса». И как общий вывод: «старая, вышедшая около сорока лет тому назад работа Беджгота едва ли способна принести какую-либо пользу»⁹⁸. Но не все были столь категоричны в отрицании пользы труда Беджгота. В. Сторожев в «Русской мысли» также признает, что Беджгот «выразительный и страстный противник всеобщего избирательного права и политической роли рабочего класса», но находит объяснение этому в сорокалетней давности написания труда. В остальном «размышление Беджгота о практике английской конституции представляет высокую цену». Сторожева особенно привлекает возможность политических параллелей, вытекающих из рассуждений Беджгота о преимуществах не королевской формы кабинетного правления, свободной от вредного влияния придворной камарильи⁹⁹.

Проблема соотношения полномочий законодательной и исполнительной ветвей власти в условиях российской политической действительности представлялась весьма актуальной. С этой точки зрения особое внимание привлекала книга *Сиднея Лоу* «Государственный строй Англии»¹⁰⁰. Как показывал Лоу, законодательные палаты в окончательном виде определяют целесообразность, соответствие требованиям времени и условиям государственной жизни принимаемых ими законов. Приход к власти правительства обусловлен не случайным выбором монарха, но продиктован общественным мнением, нашедшим выражение в результатах голосования на выборах в палату общин. Эволюция английского парламентаризма привела к ситуации, когда правительство в целом и министры в отдельности стали выразителями интересов большинства парламента, солидарным инструментом реализации предначертаний законодательной власти и в силу этого не могли возобладать над нею. Поэтому англичане смотрят без опасения на возрастание влия-

⁹⁸ Тарле. 1905. С. 102–104.

⁹⁹ Сторожев. 1905. С. 73, 76, 81–82.

¹⁰⁰ Лоу. 1908; Он же. 1910.

ния кабинета, усиление объема его законодательных инициатив, потому что ответственное перед Палатой общин правительство, ограниченное в своей деятельности законами, не может быть опасным для народных свобод. Выпускник Петербургского университета, молодой юрист Б. Элькин в «Русской мысли» заключил благожелательную статью о книге словами: «эта книга – одно из самых замечательных произведений политической мысли нашего времени; она будит мысль, направляя ее на обсуждение вновь и вновь выдвигаемых жизнью глубоких вопросов политики и права»¹⁰¹. С одобрением отозвался о книге и А. Гольденберг в «Современном мире»: «суждения Лоу о взаимоотношениях между кабинетом, нижней палатой и электоратом высказываются, насколько нам известно, впервые в литературе государственного права в столь определенной и законченной форме, и в этом заключается, на наш взгляд, основное научное значение его книги»¹⁰².

Профессор Оксфордского университета **Вильям Энсон** в своих трудах о конституционных учреждениях Англии¹⁰³ не делает теоретических выводов, но точно воспроизводит действие английской конституции. В первой из них он детально описывает структуру и процедуры парламента, характеризует избирательное право, статус и порядок формирования Палаты лордов, законодательный процесс, судебные функции парламента, взаимоотношения Короны и парламента. Вторая книга характеризует прерогативы Короны, деятельность Кабинета, департаментов и министров, территории, составляющие Великобританию и ее колонии, вооруженные силы и управление ими, судебную и церковную системы. На книги Энсона откликнулся Ф. Ф. Фортунатов, отметивший вывод Энсона о том, что Палата общин между первой и третьей парламентскими реформами имела больше политических прав, чем она имела до того времени или после. Причину этого Энсон усматривал в ограничении независимости отдельных депутатов в связи с реформой 1885 г., установившей избрание одного члена Палаты общин в каждом избирательном округе, а также в усилении роли партийных организаций в Палате общин, что Фортунатов полагал неоправданным¹⁰⁴.

Накопление аналитического материала по проблемам государственного устройства в отдельных странах выразилось в идее внести в исследование дух компаративистики. Это удалось сделать **Вудро Виль-**

¹⁰¹ Элькин. 1910. С. 174.

¹⁰² Гольденберг. 1909.

¹⁰³ Энсон. 1908; Он же. 1914.

¹⁰⁴ Научный исторический журнал. 1914. № 3. Т. 2. Вып. 1. С. 172.

сону, заслуженно слывшему крупнейшим деятелем в сфере образования, доктору наук, президенту Принстонского университета в 1902–1910 гг., в 1912 г. избранному президентом США. В объемном труде «Государство: Прошлое и настоящее конституционных учреждений»¹⁰⁵ он, наряду с анализом государственных систем США и ряда европейских стран, обратился и к британской парламентской модели. Государственный строй Англии представлен, начиная с властных структур англосаксов, затем эпохи нормандского завоевания и вплоть до 1890-х гг. В 1905 г. книга Вильсона появилась в России. Выявление пути к установлению основ современного политического устройства и главной из них – утверждению правового государства – вызвало особенное одобрение Ковалевского. По его мнению, значение этой книги «не в общих ее выводах, а в том сжатом и в то же время существенном очерке политической эволюции отдельных наций и природы их учреждений <...>, в особенности, об английском и американском государственном строе»¹⁰⁶.

Двухтомный труд бельгийского ученого *Леона Дюприе*, посвященный организации правительств в Европе и Америке, быстро завоевал себе одно из первых мест в европейской литературе по данному вопросу, но оставался неизвестным русскому читателю. Положение было исправлено в 1906 г., когда издательство «Дело» опубликовало отдельными выпусками значительную часть этого сочинения, в том числе и раздел «Государство и роль министров в Англии»¹⁰⁷. К. Тахтарев в рецензии на перевод работы Дюприе в журнале *Образование* в целом высоко оценивает труд автора, отмечая, что он «как по своему научному, так и практическому значению приближается к работам Дайси, Беджгота, Эсмена и Брайса». Однако рецензент вынужден с сожалением констатировать отсутствие «должного внимания со стороны русского читателя», при том, что этот труд «дает отчетливое и ясное понятие о роли министров и степени их ответственности в различных странах, и потому в ней можно найти целый ряд указаний для решения большого для нас, русских, вопроса об ответственности министерства»¹⁰⁸.

Тема гражданских прав и свобод особенно актуально звучала накануне и в годы революции 1905–1907 гг. Еще в 1897 г., вышел труд *Эдварда Поррита* «Современная Англия. Права и обязанности ее граждан»¹⁰⁹. Она нашла своего читателя в России в силу специфики избран-

¹⁰⁵ Вильсон. 1905.

¹⁰⁶ Ковалевский. 1905. С. xl.

¹⁰⁷ Дюприе. 1906.

¹⁰⁸ Тахтарев. 1907. С. 118-119.

¹⁰⁹ Поррит. 1897.

ного предмета исследования, точно обозначенного в заглавии: права и обязанности граждан. В этом аспекте рассматриваются вопросы местного управления, призрения бедных, школьного начального обучения, судопроизводства, налоговой системы, избрания и деятельности парламента, структуры и функций министерств, организации военной службы, рабочего законодательства, англиканской церкви и неконформизма. Тему фундаментального права свободы слова поднял *Генри Джефсон* в книге «Платформа, ее возникновение и развитие: (история публичных митингов в Англии)»¹¹⁰. Прежде всего, почему «платформа»? Первоначально термин «платформа» служил для обозначения места, с которого ораторы на митингах обращались к своим слушателям. С течением времени значение этого понятия расширили и под ним стали понимать «вообще всякое словесное выражение общественного мнения вне стен парламента», другими словами, «платформа» – это не что иное, как публичный митинг. Джефсон и рассматривает роль митингов (со времени возникновения до конца XIX в.) как способа выявления настроений широких слоев населения, важнейшего фактора вовлечения населения в движения за политические права, формирования общественного мнения в пользу парламентских реформ XIX в. Но при всех достоинствах этого труда чтение его было затруднительно из-за чрезмерного объема: два тома в совокупности насчитывали 1212 страниц. Задачу популярного и доступного изложения идей Джефсона решил В. Ф. Дерюжинский. Он на основе английского издания книги опубликовал в «Вестнике Европы» собственную статью «Публичные митинги в Англии»¹¹¹, а в 1901 г., отредактировал русский перевод самой книги.

В условиях политического брожения российского общества разъяснение роли и значения митингов было более чем оправдано. Высоко оценил книгу Джефсона рецензент периодического издания «За книжкой», скрывший свое имя за инициалами «К. Л.». По его мнению, «своим превосходным исследованием истории общественных митингов в Англии Джефсон блестяще доказал, что народ не оставался бездеятельным зрителем. История английского законодательства, развитие английской свободы и упрочение тех общественных условий жизни, которые делают английского гражданина самым свободным гражданином в мире, ярко доказывают, кто был их истинным строителем. Не король и его сановники, не министры и даже не народные представители в парламенте являются творцами свободной жизни Англии. Народ и только

¹¹⁰ Джефсон. 1901.

¹¹¹ Дерюжинский. 1893.

он один создаст те условия жизни, которые ему необходимы. Конечно, не без борьбы получал народ то, чего добивался. И могучим средством этой борьбы являлись общественные публичные митинги»¹¹². Журнал «Русское богатство» особенным достоинством книги признал «тот яркий колорит эпохи и национальности, которым проникнуто все изложение Джефсона». Это впечатление складывается от того, что все излагаемые события автор «передает подлинными извлечениями из архивных материалов, мемуаров, писем, политических речей того времени, резолюций публичных митингов и петиций, подававшихся королю и парламенту. Все это так характерно, картинно, живо, что невольно увлекает читателя и заставляет его переживать все перипетии борьбы английского общества за демократизацию политического строя»¹¹³.

* * *

Благодаря переводам, книги зарубежных авторов по различным аспектам и эпохам английской истории, конституционному строю Англии вошли в российское интеллектуальное пространство и с заинтересованностью были встречены общественностью. Их обзоры и рецензии в общественно-политических журналах свидетельствуют об этом. Обилие трудов по англоведению подчас даже вызывало недоумение у литературных обозревателей. Один из них, оставшийся анонимным, в журнале «Вестник Европы» сокрушался: «В последнее время появляется у нас такое множество переводных книг по экономической и культурной истории различных стран и особенно Англии, что поневоле приходится поставить себе вопрос: нет ли здесь избытка усердия со стороны переводчиков и издателей?»¹¹⁴. Журнал сомневался напрасно. Усилия российских ученых-редакторов, переводчиков и издателей были оправданы и необходимы. Академик Н. А. Котляревский в «Очерках из истории общественных настроений шестидесятых годов» отмечал: «Иностранная книга приходила молодому читателю на помощь прежде всего в его борьбе с традициями старины – т.е. с установившимся религиозным мировоззрением, с господствующим политическим порядком и с наличным социальным строем; она, затем, укрепляла в нем сознание силы индивидуального начала в жизни вообще и веру в сильную личность, призванную дать направление массовой жизни; она поддерживала в читателе его гуманный образ жизни и ту демократическую тенден-

¹¹² К. Л. 1907. С. 6–7.

¹¹³ Русское богатство. 1901. № 4. С. 66.

¹¹⁴ Вестник Европы. 1897. № 12. Библиографический листок.

цию, которая все резче и ярче проступала в его понятии о прогрессе»¹¹⁵. Соглашаясь с обозначенной Котляревским общей тенденцией, следует отметить и то, что круг «потребителей» научной литературы территориально, тем не менее, был в значительной мере ограничен столицами и провинциальными университетскими городами.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Арсеньев К.* Последняя часть Истории Англии Маколея // Русский вестник. 1861. №. 6, 9.
- А. С. Томас Карлейль.* Очерк его жизни и произведений // Вестник Европы. 1881. № 5–6.
- Беджгот В.* Государственный строй Англии / Пер. Е. Прейс / Под ред. Н. Никольского. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1905. VII, 359 с.
- Бернштейн Э.* Общественное движение в Англии XVII века. СПб.: Л.Пантелеев, 1899. XV. 422 с.
- Блан Л.* Письма об Англии. В двух томах / Пер. под ред. М. А. Антоновича. СПб.: Изд. П.В. Щапова, 1866–1870. Т. 1 (1866–1870). 384 с.; Т. 2. (1866–1870). 411 с.
- Бокль Т. Г.* История цивилизации в Англии / Пер. А. Н. Буйницкого и Ф. Н. Ненарокова. СПб.: Лермонтов и К^о, 1862.
- Бокль Т. Г.* История цивилизации в Англии / Пер. А. Н. Буйницкого и Ф. Н. Ненарокова. СПб.: Тип. Ю. А. Бокрама, 1863–1864. Т. 1. 1863. [4], 575 с.; Т. 2. 1864. [4], 727, XII, 52 с.
- Бокль Т. Г.* История цивилизации в Англии / Пер. К. Бестужева-Рюмина, Н. Тиблена. СПб.: Тиблен и Пантелеев, 1864–1865. Т. 1–2.
- Бокль Т. Г.* История цивилизации в Англии: В 2 т. / Пер. А. Н. Буйницкого и Ф. Н. Ненарокова. СПб.: Тип. Ю. А. Бокрама, 1866. Т. 1–2. [4], 686 с.; II, [4], 437 с.
- Бокль Т. Г.* История цивилизации в Англии: (2 т.) / В попул. излож. канд. юрид. наук О. К. Нотовича. СПб.: Рус. худож. тип. И. Гольдберга, 1876. 196 с.
- Бокль Т. Г.* История цивилизации в Англии: (2 т.) / В попул. излож. канд. юрид. наук О. К. Нотовича. 16-е изд. СПб: Кн. маг. «Новостей», 1899. XVI, 196 с.
- Бокль Т. Г.* История цивилизации в Англии: В 2 т. / Пер. А. Н. Буйницкого; С вступ. ст. Е. Соловьева. 4-е изд. СПб.: Ф. Павленков, 1906. XIV, [2], 628, XXIV с.
- Брайс Дж.* Вильям Гладстон / Пер. с англ. А. Я. Гальперна под ред. и с прим. Л. Е. Оболенского. СПб.: Типо-лит. Вайсберга и П. Гершунина, 1902. 62 с.
- Брайс Дж.* Выдающиеся английские деятели XIX века / Сост., пер. и авт. предисл. В. Ф. Дерюжинский. СПб.: Юрид. кн. скл. «Право», 1904. 124 с.
- Бутми Э.* Развитие конституции и политического общества в Англии. М.: М. В. Клюкин, 1897. 175 с.
- Бутми Э.* Развитие государственного и общественного строя Англии / Под ред. М. Н. Покровского. М.: Тип. О-ва распротр. полезных книг, 1904. 182 с.

¹¹⁵ Котляревский Н. 1914. С. 177.

- Бутми Э. Опыт политической психологии английского народа в XIX веке. С предисл. проф. Е. Гарле: Пер. с 2-го франц. изд. [СПб.]: Журн. «Северные записки», 1914. 322 с.
- Вейнгартен Г. Народная реформация в Англии XVII века / Пер. с нем. под ред. М. Н. Покровского и Н. Н. Шамолина. М.: И. А. Баландин, 1901. 430 с.
- Вильсон В. Государство: Прошлое и настоящее конституционных учреждений / Пер. с англ. под ред. А. С. Яценко. С предисл. М. М. Ковалевского. М.: В. М. Саблин, 1905. 1536 с.
- Виноградов П. Г. Предисловие к русскому переводу // Дайси А. В. Основы государственного права Англии: Введение в изучение английской конституции. СПб.: Л. Ф. Пантелеев, 1891. С. VII.
- [Гардинер С., Эйри О.] Первые Стюарты и пуританская революция. 1603–1660. Соч. С. Р. Гардинера. Реставрация Стюартов и Людовика XIV, от Версальского до Нимвегенского мира. Соч. О. Эйри. Пер. с англ. СПб.: О. Н. Попова, 1896. 252 с., 228 с.
- Гаррисон Ф. Оливер Кромвель / Пер. с англ. под ред. В. А. Гольцева. М.: Изд. магазина «Кн. дело», 1901. VI, 241 с.
- [Гиббинс Г., Сатурин Д.] История современной Англии: СПб.: Знание, 1901. 227 с.
- Гидони А. Г. Восприятие Бокля в России // Некоторые вопросы марксистско-ленинской философии. Сб. научных трудов. Вып. 37. Кострома: КГПИ имени Н. А. Некрасова, 1973. С. 50–70.
- Гизо Ф. История английской революции [в 2 ч.] / Пер. с фр. СПб.: Тип. И. И. Глазунова и К°, 1859–1860.
- Гизо Ф. История Английской революции. В 3 т. / Пер. с фр. СПб.: Тип. Головачева, 1868.
- Гизо Ф. История цивилизации в Европе: Пер. с фр. [Изд. и пер. В. Д. Вольфсона.]. СПб.: Тип. И. Гольдберга, 1892. 2, VI, 263 с.
- Гизо Ф. История цивилизации в Европе: Пер. с фр. СПб.: Тип. И. М. Комелова, 1898. VI, 259 с.
- Гизо Ф. История цивилизации в Европе: Пер. с фр.: С прил. очерка жизни и деятельности Ф. Гизо. СПб.: Тип. Альтшулера, 1905. VII, 289 с.
- Гизо Ф. История цивилизации в Англии: В 2 т. / Пер. А. Н. Буйницкого и Ф. Н. Ненарокова. СПб.: Тип. Ю. А. Бокрама, 1866. [4], 686, II, [4], 437 с.
- Гизо Ф. История цивилизации в Англии: (2 т.) / В попул. излож. канд. юрид. наук О. К. Нотовича. СПб.: Рус. худож. тип. И. Гольдберга, 1876. 196 с.
- Гольденберг А. Рецензия на книгу С. Лоу // Современный мир. 1909. № 4.
- Гнейст Р. История государственных учреждений Англии. М.: Изд. К. Т. Солдатенкова, 1885. X, 857 с.
- Грин Д. Р. История английского народа: В 4 т. / Пер. с англ. М.: Изд. К. Т. Солдатенкова, 1891–1892.
- Грин Д. Р. Краткая история английского народа: В 3 вып. М.: Тип. А. Г. Кольчугина, 1897–1900.

- Дайси А. В.* Основы государственного права Англии: Введение в изучение английской конституции / Пер. с 3-го англ. изд. О. В. Полторацкой под ред. П. Г. Виноградова. СПб.: Л. Ф. Пантелеев, 1891. 370 с.
- Дайси А. В.* Основы государственного права Англии: Введение в изучение английской конституции / Пер. доп. по 6-му англ. изд. О. В. Полторацкой под ред. П. Г. Виноградова. М.: Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1905. 658 с.; 2-е изд. М.: Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1907. XXXVI, 671 с.
- Дерюжинский В.* Публичные митинги в Англии. Очерки из политической истории Англии // Вестник Европы. 1893. № 2–3.
- Джефсон Г.* Платформа, ее возникновение и развитие История публичных митингов в Англии / Пер. с англ. Н. Н. Мордвиновой / Под ред. проф. В. Ф. Дерюжинского. СПб.: Тип. М. Акинфиева и И. Леонтьева, 1901. Т. 1 – [2] V, 597, IX с.
- Дживелегов А.* Рецензия на книгу «Краткая история английского народа» // Мир Божий. 1901. № 2.
- Дживелегов А.* Рецензия на книгу Ф. Гаррисона // Мир Божий. 1901. № 12.
- Дикенс К.* История Англии для детей: [в 2 ч.] / Пер. с англ. Анны Зонтаг. М.: Изд. бр. Салаевых, 1860–1861.
- Дюприе Л.* Государство и роль министров в Англии. СПб.: Книгоизд-во «Дело», 1906. 136 с.
- Зенгер С.* Дж. Ст. Милль, его жизнь и произведения / Пер. с нем. Л. Ивановой / Под ред. Е. Максимовой. СПб.: Ред. журн. «Образование», 1903. [2], II, 225 с.
- Русское богатство. 1903. № 10.
- Изгоев А. С.* Рецензия на книгу А. В. Дайси // Русская мысль. 1907. № 9.
- Казмиан Л.* Современная Англия / Пер. с франц. Б. Г. Столпнера. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1912. XII, 230 с.
- Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. Л.: Изд. Ленинградского ун-та, 1990. 384 с.
- Козьмин Н.* Рецензия: С. Р. Гардинер. Пуритане и Стюарты. 1603–1660; О. Эйри. Реставрация Стюартов и Людовика XIV // Образование. 1896. № 12.
- Ковалевский М.* Начало русско-английского сближения // Вестник Европы. 1912. № 3.
- Ковалевский М.* Английская конституция и ее историк. М.: Изд. А. Л. Васильева, 1880.
- Ковалевский М. М.* Мое научное и литературное скитальчество // Русская мысль. 1895. № 1.
- Ковалевский М.* Эсмен // Вестник Европы. 1913. № 11.
- Ковалевский М.* Предисловие к русскому переводу // Вильсон В. Государство: Прошлое и настоящее конституционных учреждений. М.: В. М. Саблин, 1905.
- Ковалевский М.* Послесловие // Пифферун О. Европейские избирательные системы / СПб.: Изд. Г. Ф. Львовича, 1905.
- Косошкин Ф.* Предисловие к русскому переводу // Лоуэлль А. Л. Государственный строй Англии. Т. 1. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1915.
- Кони А. Ф.* За границей и на родине // Кони А. Ф. Собрание сочинений. М.: Изд. Юридическая литература, 1969. Т. 7.
- Котляревский Н.* Очерки из истории общественного настроения шестидесятых годов // Вестник Европы. 1914. № 4.

- К. Л. Народ и представительные собрания // За книжкой. Обзорение книг и книжного дела. 1907. № 9.
- Лолм Ж. Л. де. Конституция Англии, или состояние английского правления, сравненного с республиканскою формою и с другими европейскими монархиями. В 2 т. / Пер. с фр. И. Татищева. М.: Универс. тип., 1806. Т. 1. 266 с.; Т. 2. 291 с.
- Лоу С. Государственный строй Англии / Пер. с англ. В. И. Браудо / Под ред. проф. Б. Э. Нольде; С предисл. проф. М. М. Ковалевского. СПб.: Тип. т-ва «Обществ. польза», 1908. 269 с.
- Лоу С. Государственный строй Англии / Пер. под ред. проф. А. С. Яценко с вступ. замечанием и статьей П. Г. Виноградова. М.: Т-во И.Д. Сытина, 1910. XVI, 446 с.
- Лоуэлль А. Л. Государственный строй Англии. Т. 1 / Пер. с англ. М. Языковой / Под ред. и с предисл. Ф. Кокошкина. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1915. XXVI, 511 с.
- Мак-Карти. История нашего времени от вступления на престол королевы Виктории до Берлинского конгресса. С 1837 по 1878 г. Кронштадт: Тип. «Кронштадского вестника», 1881. 256 с.
- Маколей. Уильям Питт. Лорд Чатэм // Отечественные записки. 1860. Март.
- Маколей. Уильям Питт. Последнее произведение лорда Маколей // Отечественные записки. 1860. Октябрь, ноябрь.
- Маколей Т. Б. Полное собрание сочинений / Пер. А. Буницкий, Г. Думшин / Авт. ст. Г. Вызинский. СПб.: Изд. Николая Тиблена, 1860–1866.
- Маколей Т. Б. Полн. собр. соч. в 16 т. СПб.: Издание Николая Тиблена, 1860–1866; Изд. 2-е. 1865–1868.
- Маколей Т. Б. Галлам // Маколей Т. Б. Полн. собр. соч. СПб.: Изд. Николая Тиблена, 1860. Т. I. С. 214–215.
- Маркс К. Конспект работы Джона Ричарда Грина «История английского народа» (тт. I и II) // Архив Маркса и Энгельса. М., 1946. Т. 8. С. 317–424.
- Милль Джон Стюарт. Автобиография Дж. Ст. Миля: Пер. с англ. / Под ред. Г. Е. Благодетлова. СПб.: Тип. В. Тушнова, 1874. [4], 332 с.
- Милль Джон Стюарт. Автобиография Дж. Ст. Миля: Пер. с англ.: История моей жизни и убеждений / Под ред. Г. Е. Благодетлова. М.: Книжное дело, 1896. 281 с.
- Милль Дж. Ст. Размышления о представительном правлении. СПб.: Яковлев, 1863. [4], 361 с.
- Милль Дж. Ст. Представительное правление / Пер. с англ. под ред. Р. И. Сементковского. СПб.: Ф. Павленков, 1897. [4], 192 с.
- Милль Дж. Ст. О подчинении женщины / Пер. с английского под ред. и с предисловием Г. Е. Благодетлова. СПб.: Тип. А. Моригеровского, 1869. XVI, 304 с.; 2-е изд. СПб.: Тип. А. Моригеровского, 1871. XX, 304 с.; 3-е изд. СПб.: Тип. А. Моригеровского, 1882. XX, 304 с.
- Милль Дж. Ст. Подчиненность женщины / Пер. с англ. с предисл. Ник. Михайловского. СПб.: С. В. Звонарев, 1869. [4], LX, 255 с.

- Милль Дж. Ст.* Подчиненность женщины / Пер. с англ. под ред. Марка Вовчка / Предисл. М. Цебриковой. 2-е изд., испр. СПб.: С. В. Звонарев, 1870. [2], LXXXIV, 258 с.
- Милль Дж. Ст.* О подчинении женщины / Пер. с англ. М. Лялиной под ред. В. С. Лялина. Изд. Губинского, 1896. [2], 121 с.
- Морлей Д.* Новое жизнеописание Оливера Кромвеля. СПб.: Изд. ред. «Нового журнала иностр. литературы», 1901. 232 с.
- Научный исторический журнал, издаваемый под редакцией проф. Н. И. Кареева. 1913–1914.
- М. М. Стасюлевич* и его современники в их переписке / Под ред. [и с предисл.] М. К. Лемке. СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1911. Т. I.
- Обри Д.* Король Эдуард VII Английский / Пер. с франц. перераб. под ред. и с дополнением Е. Боратынской. М.: Т-во скоропечатни А. А. Левенсон, 1910. 129 с.
- Обри Д.* Английский двор и король Эдуард VII / Пер. с франц. перераб. под ред. и с дополнением Е. Боратынской. М.: Кн-во «Современные проблемы», 1917. 129 с.
- Оман Ч.* Великое крестьянское восстание в Англии / Пер. с англ. М.: Тип. Кушнерева, 1907. 124 с.
- П. Б-ин.* Рецензия на книгу Э. Бутми // Образование. 1907. № 11.
- Плотников М.* Альфред Штерн. История революции в Англии; Бернштейн. Общественное движение в Англии XVII века // Образование. 1900. № 9.
- Поррит Э.* Современная Англия. Права и обязанности ее граждан / Пер. с англ. О. В. Полторацкой. М.: Т-во И.Д. Сытина, 1897. 368 с.
- Рапопорт С. И.* Роль общественного мнения в английском законодательстве (Дайси. «Закон и общественное мнение в Англии») // Мир Божий. 1905. № 10.
- Роу Н.* Университетская жизнь в Англии. Воспоминания бывшего студента // Русский вестник. 1864. № 6–9.
- Рубакин Н. А.* Этюды о русской читающей публике. СПб.: Изд. О. Н. Поповой, 1895.
- Савин А.* Рецензия на книгу Ч. Омана // Русская мысль. 1907. № 4.
- Спенсер Г.* Размышления: Гл. из «Автобиографии» / Пер. с англ. Г. Г. Оршанского. Харьков: П. А. Брейтигам, 1905. 66 с.
- Спенсер Г.* Автобиография / Пер. с англ. под ред. и со вступ. ст. проф. Л. Е. Владимирова. СПб.: Просвещение, 1914. Т. I. 355 с. Т. II. 266 с.
- Стадлин А.* Историческая теория Бокля. Критический очерк // Русский вестник. 1874. № 7. Июль. Т. 112.
- Стадлин А.* Критический разбор основных положений «Истории цивилизации» Бокля. Тифлис: Тип. Главного управления наместника, б.г. 71 с.
- Сторожев В.* Старая книга об английской конституции // Русская мысль. 1905. № 12.
- Тарле Е.* Рецензия на книгу: В. Беджгот. Государственный строй Англии // Мир Божий. 1905. № 10.
- Тахтерев К.* Рецензия на книгу: Л. Дюприе. Государство и роль министров в Англии // Образование. 1907. № 6.
- Телехов Вл.* Конспект по энциклопедии права, составленный по Коркунову, Эсмену и Дайси к экзамену 1901 г. студентом Вл. Телеховым. М., 1901.

- Тэн И. А.* Развитие политической и гражданской свободы в Англии в связи с развитием литературы. В 2-х ч. СПб.: тип. Т-ва «Обществ. польза», 1871.
- Тэн И. А.* Очерки современной Англии. СПб.: Тип. Дома призрения, 1872. 346 с.
- Тэн И. А.* Очерки Англии. СПб.: Тип. М. Хана, 1872. 318 с.
- Тьерри О.* История завоевания Англии норманнами: о его причинах и последствиях до нашего времени в Англии, Шотландии, Ирландии и на материке / Пер с фр. Т. 1. СПб.: Тип. Деп-та уделов, 1858. 262 с.
- Утин Е.* Англия в книге г. Тэна // Вестник Европы. 1872. № 9–11.
- Фишель Э.* Государственный строй Англии / Пер. П. М. Цейдлера. СПб.: Изд. М. О. Вольфа, 1862. 532 с.; 2-е изд., 1864.
- Фланден Э.* Политические учреждения современной Европы. Конституция. Правительственная власть. Парламент. Местное управление. Судебное устройство. Англия. Бельгия / Пер. Н. И. Лихаревой. СПб.: Изд. В. И. Яковенко, 1906. 316 с.
- Фоше Л.* Очерки Англии / Пер. Дементьева и Хлебникова. СПб.: Изд. то-ва «Обществ. польза», 1862. 6, 553 с.
- Фриман Э., Стеббс В.* Опыты по истории английской конституции / Пер. с англ. студентов Моск. ун-та под ред. М. Ковалевского. М.: Тип. Т. Малинского, 1880. 325 с.
- Чельцов Г.* Теория Бокля и христианское учение о промысле божьем. СПб., 1884.
- Шацкий Б.* Рецензия на кн.: А. Л. Лауэлл. Государственный строй Англии // Вестник Европы. 1915. № 6.
- Штерн А.* История революции в Англии. Пер. с нем. СПб.: Л.Ф. Пантелеев, 1900. IV. 336 с.
- Элькин Б.* Политический строй Англии в новом освещении // Русская мысль. 1910. № 2.
- Энсон В.* Английский Парламент: его конституционные законы и обычаи / Пер. с англ. Н. А. Захарова. СПб.: Изд. кн. магазина Н. К. Мартынова, 1908. XXIII, 346 с.
- Энсон В.* Английская корона, ее конституционные законы и обычаи / Пер. с англ. с примеч. Н. Захарова. СПб.: Н. К. Мартынов, 1914. X, 480 с.
- Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат. Т. 9.
- Эсмен А.* Основные начала государственного права / Пер. с франц. Н. Кончевской / Под ред. и с предисл. М. М. Ковалевского. Т. 1–2. М.: Изд. К. Т. Солдатенкова, 1898–1899.
- Эсмен А.* Общие основания конституционного права: Пер. с 4-го франц. издания / Под ред. Н. О. Бер. Изд. 2-е. СПб.: Изд. О. Н. Поповой, 1909. 449 с.

Чикалова Ирина Ромуальдовна, доктор исторических наук, профессор Белорусского государственного университета; irina_chikalova@mail.ru.

Е. И. МЕЛЕШКО, А. Н. НЕЧУХРИН

ПАВЕЛ ОСИПОВИЧ БОБРОВСКИЙ: УЧЕНЫЙ, РЕФОРМАТОР, ПЕДАГОГ

В статье собраны воедино материалы о биографии и творчестве Павла Осиповича Бобровского, дан историографический анализ его трудов, исследованы его подходы к конкретным проблемам истории, освещена его роль в реформировании России во второй половине XIX– начале XX в.

Ключевые слова: П. О. Бобровский, личность, биография, историография.

Личность накладывает отпечаток на эпоху, как и эпоха отражается в личности. Павел Осипович Бобровский (1832–1905), чье имя в равной мере принадлежит и Беларуси, и России, внес значительный вклад в науку и в общественные преобразования. Российской науке П. О. Бобровский известен, прежде всего, как историк военного права. Однако близкое знакомство с научным наследием Бобровского позволяет определить его как универсального ученого который смог приложить свои силы к развитию различных наук: археологии, историографии, статистики, географии, биологии, права, экономики, педагогики, этнографии, краеведения.

Несмотря на активное использование творческого наследия П. О. Бобровского в практике историков-исследователей, его работы не стали предметом комплексного рассмотрения в теоретико-методологическом, методическом, идеологическом аспектах. В данной статье сделана попытка собрать воедино материалы о биографии и творчестве историка, дать историографический анализ его трудов, исследовать его подходы к конкретным проблемам истории, осветить его роль в реформировании России во второй половине XIX– начале XX в.

Будущий историк родился 21 марта (2 апреля) 1832 года в семье, происходившей из известного дворянского рода в Гродненской губернии [1, с. 12]. Отец, Осип Кириллович Бобровский был профессором Виленского университета, получил известность как доктор философии и магистр права. Мать, Мария Павловна (урожденная Кунахович) – из обедневшего дворянского рода с Дрогичинщины [2, с. 41]. Родной брат отца, Михаил Кириллович, доктор теологии, магистр филологии и фи-

лософии, профессор герменевтики и экзегетики Виленского университета прославил фамилию Бобровских во всём славянском регионе Европы [3, с. 41]. Будучи рукоположен в звание каноника брестского капитула, он не женился и все своё внимание отдавал сыновьям старшего брата – Михаилу и Павлу. После скоропостижной смерти брата М. К. Бобровскому пришлось взять на себя груз забот по воспитанию и содержанию племянников. Он перевёз осиротевшую семью в имение Обруч, недалеко от Шерешево, сумев сохранить за мальчиками права владения на их наследственную усадьбу Вакка [2, с. 41].

П. О. Бобровский впоследствии всегда с теплотой вспоминал о детстве, с благодарностью отзывался о людях, участвовавших в его воспитании [4, с. 9]. Видимо, для мальчика финансовая несостоятельность семьи в полной мере компенсировалась заботой и вниманием родных. Большую часть времени Павел проводил в Шерешево. Личность его дяди, Михаила Кирилловича, его человеческие качества и профессиональные достижения на всю жизнь стали для племянника примером и предметом гордости. М. К. Бобровский (1794–1848), как человек разносторонний и талантливый, отличился в изучении многих наук – теологии, философии, филологии, истории, археологии, литературы. Мировую известность ему принесли открытие и изучение древнеславянских рукописей и первопечатных книг. Его заслуги признаны были Археологической академией в Риме, Парижским и Лондонским обществами азиатских наук, Московским обществом истории и древностей российских, почётным членом которых он состоял [5, с. 249]. Не единожды учёный был удостоен наград от российского императора [6, с. 6]. Его личная библиотека, собираемая в течение всей жизни и отнявшая значительные средства, содержала многочисленные раритеты XI–XVII вв. [7, с. 32]. Эта первая на территории белорусских земель коллекция историко-литературных памятников насчитывала более тысячи томов. М. К. Бобровский подготовил к печати несколько трудов, в том числе «Историю славянских книгопечатен в Литве» и «Описание древнеславянских книг и рукописей в библиотеках Европы» [7, с. 20]. Все это позволяет судить о богатой духовной атмосфере, в которой рос и воспитывался П. О. Бобровский. Его родной дядя, а также его крёстный отец И. Ярошевич, автор популярных исследований по литовской истории, повлияли на формирование у мальчика интереса к историческим наукам. Михаил Кириллович сам готовил племянника к учёбе: преподавал ему арифметику, языки и историю. В десять лет Павел Бобровский с успехом выдержал экзамен в Пружанское пятиклассное дворянское

училище [2, с. 42]. Возможно, Михаил Кириллович планировал для племянника карьеру учёного, но обстоятельства сложились иначе.

Ещё в 1824 г. по итогам «дела филоматов и филоретов» Михаил Кириллович был лишён профессорской кафедры и сослан в Жировичи. Тогда же из Виленского университета была изгнана вся либеральная профессура, обвинённая в содействии «польскости». Влиятельные друзья в Петербурге смогли исходатайствовать помилование, и в 1826 г. профессор возвратился к преподаванию [8, с. 57]. Однако в 1829 г. с началом реформ в униатской церкви его перевели на должность младшего соборного протоиерея Жировичской кафедры [9, с. 410]. А. Зубко в своих мемуарах свидетельствует, что М. К. Бобровский не изменил своим убеждениям: «он публично в аудитории, когда один из учеников назвал греко-российскую церковь схизматической, отозвался: “Они ли, мы ли схизматики, об этом Богу, а не нам судить”» [10, с. 330]. Опасный своим либерализмом и популярностью среди местной интеллигенции, ученый вскоре был отстранён властями и от этой должности.

О бедственном положении семьи в конце 1830–1840-х гг. свидетельствуют строки письма учёного к профессору В. Лобойко: «...мы остались без всяких средств к жизни, а когда используем ту безделицу, которую выручили за продажу книг, не знаю, чем буду существовать, разве подаянием... Мои начальники строго соблюдают высочайший приговор и не пытаются дать мне какое-либо дело в духовном ведомстве, хотя и знают о моём положении... Может господин Кеппен имеет способ представить меня министру, епископ Булгак не имеет возможности...» [11, л. 10–11]. Испытывая постоянную нужду, бывший профессор постепенно распродал свою уникальную библиотеку [11, л. 10]. После пожара в Шерешево, принёсшего большой урон имению [8, с. 56], Михаил Кириллович вынужден был заложить оставшуюся её часть и за долги отдать после своей смерти помещику Владиславу Тренбицкому [11, л. 3].

Неожиданная помощь пришла от дворянского попечительского комитета губернии, который предоставил М. К. Бобровскому возможность отдать Павла на иждивение дворянской опеке в Полоцкий кадетский корпус. Это среднее учебное заведение было создано в 1830 г. вследствие реформы, позволившей готовить офицеров для армии вблизи их родных мест на средства дворянских комитетов местных губерний [12, с. 4–5]. Вынужденный обстоятельствами, дядя прерывает учёбу Павла в Пружанском училище и направляет его в Полоцк, тем самым определив воспитаннику военную карьеру. В корпусе кадеты попадали в обстановку муштры и подчинения, закалявшую будущих офицеров. Четырёхгодичное обучение включало, помимо строевой и военной под-

готовки, изучение всех обычных для среднего образования предметов, в том числе двух иностранных языков и Закона Божия. Обязательными были чтение столичных газет, ведомственных журналов и знание законов Российской империи [12, с. 77, 78]. Аудиторные занятия составляли восемь часов в день. Воспитательная цель заведения виделась в привитии ученикам русского патриотизма: «Корпус учреждён для проведения в западном крае идеи русского просвещения, русского патриотизма и русского дела!» – с гордостью заявляли выпускники курсов [12, с. 8]. Необходимые качества российского офицерства воспитывали в мальчиках опытные педагоги, имевшие высокие образовательный ценз и нравственные качества. Даже через полвека ученики тепло вспоминали любимых преподавателей. Примером служения своему долгу стал для них инспектор первого класса В. М. Бруевич, человеческими качествами запомнился начальник корпуса Ф. М. Ореус, любовь к истории прививал А. В. Скворцов, который «с таким увлечением отдавался предмету, что часто забывал, что перед ним сидят дети 13–16 лет» [12, с. 133].

Ученик второго класса Павел Бобровский участвовал в памятном для Полоцка событии. С инспекторским визитом корпус посетил император Николай I. Лично опросив воспитанников, он «остался ими доволен». Для юных кадетов это был лучший стимул дальнейшего служения «царю и отечеству» [12, с. 171]. Тяжёлые испытания принёс 1848 год. С весны в Полоцке свирепствовала холера. Преподаватели ценой своей жизни спасли мальчиков, полностью изолировав их от города. В том же году Павел получил из Шерешево весть о смерти дяди, ставшего жертвой эпидемии. Нищета не позволила организовать подобающее прощание, и местный дьячок скромно похоронил учёного у алтаря кладбищенской церкви. Имение было распродано за долги [13, с. 12].

Корпусная администрация учла обстоятельства кадета, оставшегося без средств к существованию, а также его отличные успехи в занятиях и в 1849 г. после сдачи выпускных экзаменов направила его для продолжения учёбы в высшее учебное заведение, сформированное в 1832 г. «для довершения воспитания кадетов, обучающихся в губерниях» [14, с. 14] – Столичный дворянский полк [159, с. VI]. Зачисление в него автоматически относил учашихся в разряд привилегированной части военного сословия, поскольку в нём готовились кадры для командных должностей в армии. Шестнадцатилетние губернские кадеты, направленные для дальнейшего обучения в полк, должны были после четырёхгодичного изучения программы соответствовать образцу «русского, верноподданного христианина, доброго сына, надёжного товарища, скромного и образованного юноши, исполнительного, терпеливого и расторопного

офицера» [14, с. 120]. Кроме высоких нравственных ценностей, полковое начальство уделяло серьезное внимание образовательной сфере. Годы обучения П. О. Бобровского в Дворянском полку пришлось на реформаторскую деятельность директора заведения генерал-адъютанта Я. В. Воронцова. В это время к работе в полку были привлечены эрудированные преподавательские кадры, в том числе известный военный историограф М. Богданович, филолог И. Введенский [14, с. 43]. Столь же основательно в стенах полка подходили к изучению географии, иностранных языков, статистики, тактики, новейших средств вооружения. Подобная забота об образовании закономерно определяла органичное вхождение российского офицерства в состав духовной и интеллектуальной элиты нации.

7 августа 1851 г. 157 воспитанников полка императорским приказом были произведены в офицеры. Павел Бобровский в 19-летнем возрасте в числе 26 «дворян» был направлен в гвардейские войска империи [15, с. 4]. Местом назначения новопроизведённого поручика был лейб-гвардии Литовский полк, квартировавший в столице. В жизни Павла Бобровского начались годы карьерного роста, и большая их часть прошла в Петербурге. По рекомендации полкового начальства, отметившего незаурядные умственные способности младшего офицера, он начал подготовку к поступлению в Военную Академию Генерального штаба. В 1853 г. во время посещения подготовительных курсов П. О. Бобровский увлёкся занятиями по неорганической химии. Усердного ученика отметил академический профессор химии Зинин, который поддерживал дополнительными занятиями его «страсть к науке» [16, с. 568].

Реализацию научных планов пришлось отложить на несколько лет. Россия уже стягивала войска к юго-западным границам империи, готовясь осуществить свои внешнеполитические цели в черноморско-средиземноморском регионе в будущей Крымской войне. Офицеры Литовского полка в числе многих ходатайствуют о командировании их в район военных действий. Возможность показать себя в ратном деле получили лишь три офицера полка. В результате жребия П. О. Бобровский направился в распоряжение командующего Дунайской армии князя Горчакова [2, с. 42] и начал сборы для долгой дороги в Валахию. Он радостно воспринял этот новый поворот в своей жизни. Единственным огорчением при отъезде из Петербурга, было осознание невозможности продолжить научную работу. Но с молодым оптимизмом поручик сложил в свой чемодан учебники, надеясь продолжить занятия после окончания войны [16, с. 568]. Как натура впечатлительная, молодой офицер, носитель привитого с детства исторического мировоззрения, сразу же

проникся осознанием важности и эпохальности события, в котором ему предстояло участвовать. Еще при отъезде из столицы он начал вести подробный дневник личных наблюдений, описывая двухмесячный путь по русским, белорусским и украинским губерниям к месту назначения, а также напряжённый год военных действий [16]. Этот дневник, как свою первую пробу пера, автор решился опубликовать лишь спустя 30 лет.

Кроме личных впечатлений, описания взаимоотношений с товарищами и подчинёнными, сведений о боевых действиях, документ содержит интересные этнографические наблюдения. Сюда занесены сравнения по характеру и менталитету представителей различных народностей, встреченных П. О. Бобровским во время кампании [16, с. 569].

Для военной историографии ценность представляют сведения о настроениях русских солдат, планах российского командования, тактической подготовке войск, об отношении местных жителей и сопротивлении турок. Независимость суждений автора выражена в личном его признании слабости русских войск на Дунайском театре, в описании силы сопротивления войск Осман-паши, в объективной оценке изменения отношения к русским у болгар, валахов и сербов [16, с. 575].

Назначенный командиром взвода в Екатеринбургском полку Мало-Валахского отряда, П. О. Бобровский впервые выступил в роли организатора действий подчинённых, ответственного за чужие судьбы. Среди вверенных ему рядовых 21-летний офицер оказался младшим по возрасту и единственным без опыта боевых действий. Но тяжёлая зимняя сторожевая служба под Калафатом и Рущуком способствовала взаимопониманию его с солдатами. Себе в пример он ставил дух и характер своих подчинённых [16, с. 594]. Служба убедила его в необходимости для русского офицера мужества, способности переносить жизненные тяготы, физической и духовной выносливости. Как личное кредо записан в военный дневник вывод: «Я узнал, как велика ответственность начальника и как много он должен знать, чтобы стоять на высоте своих обязанностей» [16, с. 567]. Факты последующей биографии учёного говорят о том, что он всю свою жизнь продолжал следовать вынесенным из уроков молодости жизненным принципам.

В конце 1854 года, в связи с передислокацией Дунайской армии в пределы России, Бобровского переводят в дивизию генерал-лейтенанта Самойлова, оборонявшую Журжею. На новом месте служба тоже была недолгой [2, с. 42]. Он вновь возвратился в Петербург, где узнал о смерти матери. Со своими родными Бобровский не виделся долгие годы учёбы и службы и тяжело переживал невозможность попрощаться с ними перед отправкой на фронт [16, с. 569].

В 1855 г. П. О. Бобровский поступил в Военную Академию [17]. Два учебных года были заняты штудированием специальных военных предметов. Он рад был встретить своего бывшего преподавателя истории в Дворянском полку, а теперь профессора кафедры стратегии Модеста Ивановича Богдановича. Известный своими исследованиями о войне 1812 г. и заграничных походах русской армии, Богданович организовал для 18 слушателей курса творческое изучение военной истории. Он разделил хронологические рамки предмета на 10 периодов, по каждому из которых разработал практические и лекционные занятия с подробным изучением военных учреждений, тактики, стратегии военных действий, анализа военной историографии [118, с. 57]. Широкой популярностью у слушателей пользовался профессор военной статистики Д. А. Милютин, ставший известным в учёном мире Европы своими оригинальными разработками в области военных наук [18, с. 59]. Необходимыми для будущей деятельности Бобровского оказались лекции профессора географии и топографии Языкова, автора «Теории военной статистики». Преподаватель привил умение на практике применять физическое описание местности и уже в 1850-е годы говорил о переориентации военных интересов на запад, в связи с чем пристальное внимание уделял изучению Царства Польского и западных губерний [18, с. 60, 61].

В 1857 г. П. О. Бобровский получил свидетельство об окончании академии. За отличные успехи он был награждён чином штабс-капитана [15, с. 157]. За этим последовало новое назначение, возвращающее его на родину. В штаб Первого армейского корпуса, квартировавшего в Вильно, Бобровский прибыл в должности старшего адъютанта. Деятельный характер, высокий теоретический уровень, понимание задач по переустройству российской армии позволили ему организовать занятия при корпусном штабе по топографии. Эта инициатива была отмечена командованием, и на П. О. Бобровского вскоре возложили преподавательскую работу и с юнкерами Новоингерманландского полка [2, с. 42]. Активная жизненная позиция и эрудированность молодого офицера позволили уже в 1859 г. зачислить его в штатные сотрудники Генерального штаба и возложить на него ответственное и творческое задание.

После поражения в Крымской войне перед военным командованием встала задача пересмотра внешнеполитических ориентиров. Более пристальное внимание стало уделяться сохранению стабильности в западноевропейском регионе и укреплению западных границ империи. Для координации действий Генеральный штаб начал сбор новейших сведений по статистике народонаселения и топографии территорий. Главное военное ведомство привлекло к работе лучших специалистов

штаба и членов Русского Географического общества, а также начало активный поиск местных исполнителей, обладающих необходимыми знаниями по истории, географии и этнографии российских губерний.

Подобные исследования уже дважды проводились Министерством внутренних дел, начиная с 1837 г. По итогам этих переписей были изданы сборники материалов [19; 20; 21], но в очень малом объёме и лишь для внутреннего пользования ведомствами МВД. Статистические сведения требовалось обновить для военных нужд, и это издание министерство предполагало в виде более обобщённых томов для использования гражданским населением и государственными учреждениями.

Руководство группой офицеров и сотрудников, занимающихся сбором географо-статистических материалов по Гродненской губернии, было поручено П. О. Бобровскому [22, № 137, с. 1]. Министерство поставило задачу подготовить статистические материалы с сопроводительным текстом, выделило средства и выслало необходимые пособия: карты, топографические описания и исторические исследования. Не ставя перед группой научных задач, ведомство лишь определяло их как «обогащение свежими материалами статистики и географии» [23, т. 1, с. XII]. Однако руководитель группы творчески изменил подход к выполнению задания и несколько расширил свои функции. Он разделил подготовку издания на три этапа: «подготовительный», в котором осуществлялся сбор материалов и где были задействованы все сотрудники, «приготовительный» и «окончательный», которые касались обработки современных материалов и исторических источников и оформления выводов в виде научного текста. Последние этапы Бобровский выполнял лично.

Работа вскоре переформилась из статистического свода в фундаментальное исследование, отражающее в многообразии и взаимодействии все возможные стороны проявления человеческой деятельности в рамках одного географического региона в хронологических пределах существования в нём человеческой цивилизации. Поставленные задачи были блестяще реализованы в издании. Большую роль в этом сыграла заинтересованность самого автора в поисках материалов: увлечённость историей и генеологическая связь с Гродненщиной делали его не случайным исполнителем. В красочности описания ландшафтов губернии, в практических советах по поводу развития её производительных сил, в романтических пересказах местных легенд и исторических событий явно просматривается глубокое знание Бобровским родного края, его патриотизм по отношению к землякам.

Вторым фактором стала помощь местных энтузиастов. Российские историки XIX в. признавали, что присоединённые западные губернии

имели более высокий общий уровень образования, и в них чаще можно было встретить любителей истории [22, № 137, с. 1]. Бобровский широко привлекал к поиску материалов губернских помещиков, священников, учителей [23, т. 1, с. XII]. Старые друзья семьи не скупилась на помощь. В распоряжение исследователя предоставили свои библиотеки профессор бывшего Виленского университета Ярошевич и гродненский ксёндз Гинтовт. Сотрудники Виленского архива, а также монахи Супрасльского и Жировичского монастырей согласились предоставить материалы своих учебных заведений племяннику когда-то работавшего в этих обителях М. К. Бобровского. Охотно шли на сотрудничество присутственные места, хозяйственные комитеты и административные учреждения губернии. Сам П. О. Бобровский три года провёл в бесконечных разъездах по территории, «много ходил по краю, во всем присматривался к народу, сам записывал образы его речи и творческих произведений» [24, с. XLVII].

В результате кропотливого труда в 1863 г. из печати вышло четырёхтомное издание по Гродненской губернии с небывалым многообразием тем. В нем систематизировались сведения по истории, этнографии, хозяйственной деятельности, состоянию образования, демографии, географии, национальным и конфессиональным процессам, флоре и фауне и других сфер жизни. Выход в свет «Материалов» вызвал большой общественный интерес. Внимание к нему в некоторой степени объяснимо актуальностью тематики. Восстание в Польше, Литве и Беларуси 1863-64 гг. катализировали повышенный интерес России и Запада к проблемам жителей этих губерний. Как своеобразное руководство к действию официальная пресса опубликовала манифест «К православным белорусам», в котором сожалела: «Мы, русское общество, как будто забыли про существование Белоруссии. Мы долго коснели в неведении о той глухой борьбе, которую вели белорусы за свою народность и веру» [25, с. 89]. Работа П. О. Бобровского попала в руки читателей в 1864 г., в период повышенного спроса на информацию о непокорных губерниях и претендовала на объективное и новейшее отражение ситуации.

Критика отмечала своевременность «Материалов» и их оригинальность [2; 22; 24 – 26]. Часть отзывов негативно оценила скрупулёзность изложения статистических материалов: приложения математических таблиц заняли два самостоятельных тома, что затрудняло чтение для простого обывателя. Критика также отмечала за излишнюю пространность труда, указывая что «Гродненская губерния не составляет отдельного края», требующего столь подробного изложения [22, № 137, с. 2]. В большей степени «Материалы географии и статистики» по Гродненской губернии разочаровали официальную прессу либерализмом, про-

явленным автором в отношении к полякам и евреям, проживающим в крае [26, № 210, с. 1]. П. О. Бобровский явно не пошёл на поводу политической ситуации 1860-х годов, когда набирала обороты русификаторская кампания в воссоединённых губерниях, которая сделала другие нации и конфессии объектами активного порицания.

Тем не менее, первая фундаментальная работа ученого была в должной мере оценена современниками: отмечалась её значимость, занимательность, полнота используемых источников, многообразие привлечённых материалов. Известные историографы А. Н. Пыпин и С. А. Венгеров положительно отнеслись к попытке Бобровского определить этнографические отличия местного белорусского населения [2, с. 42; 25, с. 82]. Российский этнограф П. Бессонов в своём исследовании о Белоруссии отметил «Материалы» как «благодетельное для Белоруссии и великий дар для всей России», сожалея, что в то время как даже на Западе не выходили работы подобного масштаба, «русская литература обошла их почти молчанием при появлении, да, по-видимому, не ознакомилась доселе с этою красотою своею и честью» [24, с. XLVII]. Либеральные газеты в один голос превозносили научность, детальную источниковедческую базу труда, что выгодно отличало его от других томов серии, изданной под эгидой МВД [27; 28]. Военное ведомство также высоко оценило работу сотрудника. Вскоре после сдачи томов в печать Бобровский получил звание подполковника. Русское Географическое общество включило его в число своих членов-корреспондентов и удостоило малой золотой медали [29]. «Материалы» были отмечены лично Александром II, который наградил подполковника орденом Святого Владимира IV степени. Гродненская администрация выразила своё признание зачислением офицера в пожизненные почётные члены губернского статистического комитета [30, с. 10]. Закономерным было и изменение отношения общества к самой личности автора. Постепенно в прессе эпитеты «офицер Генерального штаба», «официальный статистик» сменились на «учёный», «известный этнограф».

Работа над «Материалами» позволила Бобровскому осуществить некоторые личные стремления. Он пытался разыскать и восстановить богатейший архив и библиотеку М. К. Бобровского [11, с. 3], вёл переговоры со священниками, завязал переписку с местными помещиками, опросил бывших прихожан дяди. Уже в 1860 г. он узнал, что наиболее ценные рукописи и книги после многочисленных перепродаж попали в частные и государственные фонды Санкт-Петербурга, Москвы, Варшавы, Вильно. Он бережно собирал сохранившиеся у знакомых личные

документы дяди. Сбор информации продолжался 30 лет и завершился рядом биобиблиографических изданий об учёном [4; 6; 31–37].

Период пребывания историка на Гродненщине совпал с нарастанием идеологической борьбы польской и российской общественности в крае. В прессе началась массовая публикация письменных источников, подобранных с целью доказательства исторической принадлежности территории к русскому государству. Вслед за археографической деятельностью проявилась активность учёных и публицистов по вопросам национальной и конфессиональной проблематики края.

В рамках официальной кампании П. О. Бобровский часто печатался в первой половине 1860-х гг. в местной и столичной прессе. Его научно-популярные работы о прошлом Гродненщины, исторические очерки о местных достопримечательностях можно найти в издаваемом в Вильно «Вестнике Западной России». Редактор «Вестника», представитель православной историографии К. Говорский сумел в короткое время сделать журнал средством обличения «пагубной» роли католицизма для восточных славян. В то же время статьи Бобровского печатал и редактор самой старой газеты в крае – «Виленского вестника» – А. Киркор, зарекомендовавший себя как выразитель умеренных оппозиционных польских кругов. Такое сотрудничество Бобровского с журналистами диаметрально противоположных идеологических убеждений свидетельствовало об определенной аполитичности и объективности его трудов, так как ни один из печатных органов не принял бы в свои внештатные корреспонденты человека из лагеря противника. Блок статей, созданных в период работы ученого в Северо-Западном крае, выходил в печать не по заданию министерства, а по велению долга. В определённой мере эти статьи формировали круг его научных интересов, стимулировали поиск новых источников, вырабатывали аргументацию личной позиции в насыщенной идеологической борьбой общественной жизни.

В целом пятилетнее пребывание П. О. Бобровского на Гродненщине в качестве сотрудника Генерального штаба принесло значительные научные результаты. За 1859–1863 гг. в творческом активе исследователя появилось несколько объёмных работ статистического характера [38; 39], серия статей документально и последовательно отражавших историю определённых местечек и исторических памятников [40–44]. Часть трудов этого периода может быть отнесена к экономическим исследованиям [45; 46]. Успел заявить о себе автор и как активный публицист, рецензент, и даже как историограф [47–51].

Самая фундаментальная работа – «Материалы по географии и статистике... Гродненская губерния» по оценкам многих современников

стала образцом историко-этнографической литературы 1860-х гг. и принесла автору учёную известность в пределах всей империи. Это были годы формирования общественной и научной позиции по отношению к многочисленным историческим и политическим вопросам современности. Работа с краеведческим материалом позволила накопить опыт источниковедческого исследования. Уже в начале карьеры Бобровский заявил о себе как эрудированный, талантливый и исполнительный сотрудник. Эти качества личности стали решающим аргументом в вопросе назначения подполковника на новую ответственную должность.

В этот период среди военной элиты России были популярны разговоры о реформировании военного образования. Общие преобразования по военному ведомству вызвали необходимость введения нового устройства военно-учебных заведений, готовящих командный состав армии. Кадетские корпуса, в которые учащиеся поступали в детском возрасте, уже не удовлетворяли ни требованиям общественного мнения, ни потребностям войскового быта. Назрела необходимость в создании специализированных военных училищ, где была бы введена специальная программа обучения, отличная от общеобразовательной [52, с. 17]. Инициатор реформы военный министр Д. А. Милютин для апробирования новых идей на практике предложил кандидатуру своего ученика и подчинённого подполковника П. О. Бобровского.

В 1863 г. в должности обер-квартирмейстера Бобровский вступил в заведование Воронежским училищем подпрапорщиков, являвшимся базовым заведением Четвёртого армейского корпуса [53, с. 129]. В короткие сроки училище было реорганизовано в пределах программы, установленной комитетом по реформе военно-учебных заведений [52, с. 18]. Обучение и воспитание учащихся приближалось к нормам войскового быта, умственная, физическая и нравственная подготовка должна была соответствовать профессиональной специфике.

После сдачи выпускниками училища экзаменов комитет по реформе констатировал успешную апробацию опыта. Непосредственный исполнитель нововведений изложил личный опыт реформаторства в статье «Училище подпрапорщиков в Воронеже» [54], где, кроме ознакомления читателей с преимуществами специализированного обучения, перечислялись недочеты первого года работы преобразованного училища. П. О. Бобровский в течение года лично участвовал в административных и хозяйственных изменениях в заведении и четко определил причины неудач и возможности их дальнейшего устранения. Свои рекомендации по дальнейшим преобразованиям он приложил к статье. Применять на практике свои идеи реформатору пришлось уже в Санкт-

Петербурге, куда он переехал в 1864 г. Подполковник получил должность батальонного командира Второго Константиновского училища, бывшего Дворянского полка [55, с. 323]. Вместе с директором училища П. П. Киновичем он реорганизовал внутренний быт учащихся на базе воронежского опыта. В должности батальонного командира П. О. Бобровский исполнял функции надзора за учебной частью и воспитанием вольноопределяющихся. Он также стал автором правил и наставлений для воспитания и образования будущих юнкеров [56; 57].

Своей организаторской деятельностью П. О. Бобровский обратил на себя внимание военного министра Д. А. Милютина, уже определившего 1865 год как начало коренного преобразования военно-учебных заведений по всей империи. В военном министерстве было решено сократить число кадетских корпусов, а на сэкономленные средства организовать во всех округах армии юнкерские училища, которые должны были устранить недочёты в профессиональной подготовке офицерских кадров, создать возможности укомплектования армии грамотным командным составом, привлекая офицеров из недворянского сословия.

К решению этих задач был призван Бобровский. В его лице министр нашёл верного союзника, сторонника реформ в армии, считавшего необходимым использовать западный опыт в военном деле. В 1865 г. он был принят в штат Главного управления военно-учебных заведений в личное распоряжение начальника управления генерал-адъютанта Н. В. Исакова. Десять последующих лет служебной карьеры были посвящены работе в должности главного инспектора юнкерских училищ. Непосредственные его обязанности – объезд и проверка учебных заведений и составление ежегодных отчетов командованию. Вскоре все нити проведения реформы оказались в руках полковника Бобровского. Он лично планировал место создания училищ, определял источники их финансирования, занимался подбором администрации и преподавательского состава, строго следил за формированием хозяйственной и учебной баз заведений. За десять лет им было организовано 24 пехотных, кавалерийских и артиллерийских училища. Но и после создания он не покидал плоды своих трудов без опеки. Он установил с каждым из директоров переписку, таким образом, постоянно находясь в курсе дел [58]. Он интересовался ежегодным приёмом, уровнем знаний поступающих, поведением учащихся, создавшимися трудностями в преподавании и материальной части. Часто давал руководству училищ советы и рекомендации, в связи с важными обстоятельствами приезжал из столицы лично для вмешательства в управление.

Многие директора училищ за долгие годы переписки и сотрудничества стали Бобровскому настоящими друзьями и единомышленниками, для

которых главными принципами в преподавании были профессионализм, образованность и высокая нравственность. Много времени он посвящал ежегодному инспектированию училищ. Кроме отчетов в Главное управление, Павел Осипович предал результаты поездок гласности, опубликовав их в ведомственной и официальной прессе, попутно указывая замечания в работе и поощрения, делая выводы и рекомендации [59–65].

Дореволюционная военная историография не была концептуально единой. Представители «русской» школы (наиболее известны Д. Ф. Масловский, А. З. Мышлаевский) стремились утвердить русские начала в национальной военной истории. Представители академического направления (Г. А. Леер, П. А. Гейсман, П. О. Бобровский), напротив, стремились доказать развитие русского военного искусства в единой связи с западноевропейским, основываясь на теории «единой столбовой дороги» в военном деле [66, с. 185]. И если «русское» направление историографии методологически основывалось на славянофильстве, то представители «академизма» по своим философским взглядам были «западниками» [66, с. 204]. Именно представители академического направления поддерживали буржуазные реформы в армии.

Не однажды в своих произведениях Бобровский рассматривал историю политических явлений, как результат влияния экономической, социальной и даже религиозной сферы деятельности людей [67, с. 223]. Именно экономическому фактору он отдавал предпочтение в вопросе движущих сил общественного прогресса [68, с. 42]. Историк определенно испытал воздействие позитивистских идей, в частности Бокля. Особое внимание исследователь уделил природному фактору, который, по его мнению, определял тенденции и интенсивность изменений в человеческом обществе. Иллюстрируя данный тезис, он сравнительно описал географические условия жизни разных народов от полярного севера до тропических пустынь. Бобровский пришёл к выводу, что первоначальный толчок в темпах развития и особенностях занятий, уклада, общественных институтов жителей различных географических регионов определяла именно природа. Он писал: «Страна со своими физическими свойствами и с атмосферными явлениями имеет неотразимое влияние на существа органические. Каждая часть света представляет особенные, только ей свойственные физические элементы, свою особую природу, свой отдельный мир с бесчисленными видоизменениями в наружном виде, характере и качестве растений и животных. Физическая организация страны, её климат, конфигурация почвы и естественные воспроизведения носят свой особый тип, составляют особое целое, более или менее благоприятное жизни произведений» [23, т. 1, с. 348, 349].

Совокупность природных элементов, по Бобровскому, определяет менталитет жителей, накладывает особый отпечаток на нравственность, обычаи, производительность, темперамент людей [23, т. 1, с. 147, 348, 821]. Физический фактор может отсутствием благоприятных климатических условий тормозить развитие цивилизации, например, «народы полярного климата» «остаются на одной степени развития, не будучи в силах выйти из тесной сферы своих потребностей» [23, т. 1, с. 289]. Так же вредно для развития изобилие природных ресурсов стран плодородного юга. Ученый писал: «Там, где для удовлетворения первых потребностей достаточно бросить зерно в землю, едва тронутую плугом, чтобы собрать обильные плоды, или где для укрытия себе достаточно выстроить кое-какую хижину и можно круглый год обходиться без одежды, там, не может развиться предусмотрительность, ибо всякая потребность в минуту своего появления уже удовлетворена самой природой: там человек может бесконечно предаваться лени, своей любимейшей склонности, ибо ему свойственно предаваться этому пороку, коль скоро нет побудительной причины к труду и заботам» [23, т. 1, с. 289].

Для будущего Бобровский определил «власть» как решающий элемент в направлении государственного развития. Навеянное временем его позитивное отношение к реформам «сверху», способным в будущем улучшить жизнь граждан, стало основой его прогнозов и рекомендаций для имперских чиновников [23, т. 1, с. 163, 203, 287]. Главной же целью государственной власти должно было стать просвещение народа [23, т. 1, с. 612; т. 2, с. 257]. Ученый указывал на науку, как на действенное средство борьбы с бедностью, экономической отсталостью, предрассудками [41, с. 21]. В доказательство материальных заслуг просвещения он приводил пример Соединённых Штатов Америки, которые, аккумулировав опыт европейской цивилизации, в короткий срок стали одной из богатейших стран в мире [23, т. 1, с. 353]. Историк предвещал негативные последствия для народа, игнорирующего фактор образования: «...такой народ останется мёртвой буквой в азбуке человечества, ему не суждено двигаться вперёд, ему остаётся быть рабом окружающей природы» [23, т. 1, с. 353]. Бобровский признавал приоритет западноевропейской науки перед российской и считал вполне закономерным перенимание научных достижений Запада «на дело общего развития и благосостояния» [23, т. 1, с. 66]. Об увлечении Бобровским западными исследованиями говорят также статистические материалы, с первого произведения до последнего, активно применяемые исследователем в построении своих концепций. «Статистика, – считал историк, – это наука, стремящаяся к истине, это животрепещущая истина, выражаю-

щаяся в цифрах, и самые мелочные числа имеют неизмеримую важность в приложении к состоянию человека, семьи, общества и государства в разные эпохи их существования» [23, т. 1, с. III – V].

«Для близости к истине фактов» Бобровский основывал свои выводы на средних арифметических данных, полученных за длительный период времени, поскольку он считал, что «статистические факты тем ближе к истине, чем больший период времени обнимают» [23, т. 1, с. III]. По мнению учёного, статистика как метод исследования в общественных науках ещё не нашла заслуженного применения на российской почве. Но он пророчил ей большое будущее в изучении «состояния человека, семьи, общества и государства», указав на то, что она способна не только в реальности отразить существующее положение, но найти его причины и предугадать будущие его тенденции [23, т. 1, с. V].

Следует учесть, что статистические отчёты учёного были строго документированы, а его математические вычисления и выводы разрабатывались в русле достижений мировой статистической науки. Автор в изданных трудах ссылался на исследования французов Жюльена Реми Пеше [23, т. 1, с. 502] и Моро де Жоннеса [23, т. 1, с. 497], бельгийца Маттье [23, т. 1, с. 502] и англичанина Милля [23, т. 1, с. 502], а также других европейских и российских теоретиков статистики [23, т. 2, с. 85, 549; 47].

Сам историк указывал на свою приверженность идеям историко-юридической школы [69, с. 3], что определялось сферой его научных интересов: новейшая история, история права, включая европейское.

В отношении к народным массам историк занимал либеральную позицию. «Народ, где один класс угнетён, – повторял он слова французского публициста и историка Луи Блана, – похож на человека, у которого на одной ноге рана: больная нога мешает и здоровой действовать» [41, с. 20]. Однако социально-экономическое и политическое переустройство общества он оставлял правящему классу. В то же время, идеология либерализма причудливо сочеталась у Бобровского с консервативными позициями в отношении «западнорусского» вопроса.

Принцип приоритета национального, считал учёный, должен превалировать в преподавании истории народу. «Значение истории состоит в том, чтобы вызвав наружу присущее каждому человеку народное чувство, освятить его, дать ему сознательное осмысленное направление» [70, с. 837]. Популяризацию истории для развития национального самосознания Бобровский считал закономерной [70, с. 837] и указывал, что в развитых европейских странах этот метод являлся важным средством укрепления внутривнутриполитического положения [71, т. 2, с. 310]. Поэтому в учебниках по истории материал необходимо преподавать, следуя наци-

ональным интересам: «В других странах все исторические произведения, назначенные для обращения в народе, отличаются полным пренебрежением к мнению иноземцев», – сравнивал историк. «На практике оказывается, что одно и то же событие рассматривается каждым народом со своей национальной точки зрения... странно было бы, если бы швед восхищался Полтавой», – заключал он [71, т. 2, с. 311].

Но никогда П. О. Бобровский не опускался до шовинистических гонений на другую нацию, несмотря на то, что считал закономерным военное расширение империи. Он призывал толерантно относиться к другим народам. «Долг каждого христианина в каждом человеке, какой бы он ни был религии, видеть брата, равного перед Богом» [41, с. 21]. Существующую в мире национальную вражду он считал следствием тормозящих прогресс предрассудков. Средство борьбы с межнациональной рознью он видел в уничтожении «побуждающих её развиваться причин» – религиозных, бытовых, экономических [41, с. 21].

Неотъемлемым достоинством работ ученого является обилие совершенного нового материала, извлекаемого из государственных и частных архивов [2, с. 52]. Павел Осипович вполне заслужил звание археографа: его работы изобилуют цитатами из неопубликованных ещё источников, приведёнными списками и факсимильными снимками документов, подробным анализом источниковедческих материалов [4; 6; 23, т. 1, с. V–XI; 33, с. 11; 68, с. 28]. Для оценки состояния изученности исторических явлений П. О. Бобровский каждую работу начинал с историографического обзора предмета исследования, но определяющую роль в построении концепций он отдавал первоисточникам. «Только издание документов будут разъяснять ещё не вполне раскрытые нашими историками вопросы», – отмечал исследователь [44, с. 1101].

Итак, в исторических воззрениях Бобровского сочетались методология позитивизма и славянофильские общественно-политические взгляды. Эта компромиссность – своеобразный выход для либеральной интеллигенции России, делавшей ставку на реформационные преобразования и одновременно опасавшейся социальных потрясений.

За активной работой мало времени уделялось семье. Жена и дочь сопровождали его лишь при поездках в Вильно или Варшаву, для того чтобы несколько дней отдохнуть в родовом поместье в Ковенской губернии [58, ед. хр. 1, с. 903; ед. хр. 2, с. 124]. Его заботы были сконцентрированы на порученных ему юнкерах. Знакомясь с ними во время поездок, он из столицы интересовался их учёбой и дальнейшей судьбой [58, ед. хр. 5, с. 461, 479], часто принимал экзамены, поощрял лучших и

наказывал провинившихся. За внимание и заботу юнкера платили любовью и уважением, поздравляли с юбилеями, приглашали на парады и спектакли [58, ед. хр.1, с. 211, 1221; ед. хр.5, с. 423].

Со всей ответственностью П. О. Бобровский подходил к разработке учебных и воспитательных программ. В 1865–1866 гг. он дважды собирал всех заинтересованных лиц в рамках комиссии: начальников и преподавателей училищ, авторов учебников, учёных и представителей кадрового состава родов войск [71, т. 1, с. 116–209]. Выработанные комиссией материалы не стали конечной директивой, а по инициативе главного инспектора постоянно усовершенствовались в соответствии с изменяющимися условиями. Одновременно ему приходилось заниматься вопросами комплектации ведомственных библиотек, вести переговоры с учёными по созданию адаптированных учебников и с главами издательств по поставке художественной, исторической, военно-юридической и другой предметной литературы [58, ед. хр.1, с. 81, 113].

Обеспокоенный низким уровнем знаний юнкеров, он считал необходимым принять участие в разработке теории военного воспитания. П. О. Бобровский самостоятельно разрабатывал педагогические пособия для преподавателей училищ [67; 68; 72], в основу которых было положено наследие представителей западной педагогики [71, т. 2, с. VII] и богатый личный опыт. Он определил особенности воспитательного процесса по отношению к учащимся различного происхождения, возраста, национальной и конфессиональной принадлежности, уровня образованности и нравственности [73], а в помощь поступающим разработал специальный справочник, содержащий программы поступления и обучения, описание системы преподавания и условий жизни, разъяснение общественности интересующих ее вопросов [57].

В истории каждого из училищ империи П. О. Бобровский оставил деятельный след. Без преувеличения можно заключить, что в работе одного человека сконцентрировались функции целого ведомства, и вполне заслуженной предстаёт вынесенная им оценка своей организаторской работе: «Мы сделали все то, что могли, сколько позволили нам силы и средства и что мы обязаны были сделать для пользы образования как благодаря нашему положению, так и по нашим неофициальным отношениям к руководящим образованием офицерам» [74, с. 1].

Напряжённая административная работа долгое время не позволяла Павлу Осиповичу вновь вернуться к историческим исследованиям. В 1871 г., после получения первых положительных результатов военной реформы он приступил к написанию обширного труда «Юнкерские

училища» [71]. Издание вышло из печати в 1872–1876 гг. и посвящалось инициатору преобразования училищ Д. А. Милютину. Оно состояло из пяти частей в трёх томах. По содержанию это была подробнейшая летопись всех этапов развития училищ с предысторией военного образования в России, также содержащая рекомендации по дальнейшему его усовершенствованию. Исследование представляло анализ особенностей работы в различных регионах империи, статистические данные по всем сферам деятельности преподавателей и учащихся, освещало выявленные достоинства и недостатки заведений.

Публикация трёхтомника вызвала широкую полемику в журнальной и газетной периодике. По времени она совпала с усиленной пропагандой среди населения военным министерством идей о всеобщей воинской повинности. Предметом критики стали приводимые Бобровским ответы учащихся на экзаменах, перенасыщенная предметами программа, некомпетентность кадрового состава [74–77]. Противники всеобщей воинской повинности осуждали автора за пропагандируемый им либерализм в воспитании: главный инспектор часто в разборе проступков практиковал «товарищеские суды», его методы обучения дифференцировались не по сословной принадлежности, а по уровню способностей. «Неужели образованные дворяне будут учиться с этим хламом?» – акцентировала проблему реакционная пресса [78, с. 2], побуждая Бобровского к новым статьям по разъяснению своей позиции [79–81].

С позиций же общегосударственных реформирование военного образования принесло положительные результаты. Увеличилось общее количество офицеров армии в сравнении с уровнем 1840–50-х гг., когда большинство дворян-кадетов могли уклониться от воинской службы. Уже через пять лет после открытия училищ набор учащихся проводился в условиях напряжённого конкурса, что свидетельствует о поднятии престижа заведений среди молодежи. Офицерский состав российской армии 1870-х годов отличался высоким уровнем образования, профессионализмом, отличной физической подготовкой [82, с. 4–31], в чём определённая заслуга принадлежала П. О. Бобровскому.

В 1870 г. «за отличие в службе» Павел Осипович был произведён в генерал-майоры [83, с. 870]. 25 декабря 1875 года приказом по военному ведомству Бобровский назначен начальником Военно-Юридической академии и Военно-Юридического училища [84, с. 6, 7]. Судьба учёного была тесно связана с актуальными событиями его эпохи, в том числе и с судебной реформой, самой либеральной.

По установившейся в первой половине XIX в. традиции академия поставляла на должность военных аудиторов гражданских чиновников

[85, с. 2]. После изменения армейского судопроизводства в связи с буржуазными реформами 60-х гг. военное министерство потребовало преобразования положения Академии. Заинтересованные лица – ведомственные военные и гражданские юристы – создали оппозиционные лагеря по вопросу дальнейшего существования заведения. Целый ряд ведомственных и государственных комиссий с 1868 г. выдвигали проекты и предложения, которые только усугубили безотрадное положение академии. В 1875 г. ведомство отказалось от очередного приёма слушателей. Встал вопрос о закрытии Юридической академии [86, с. 14]. Личное вмешательство министра Д. А. Милютина изменило ход событий, к реформированию заведения был привлечён П. О. Бобровский.

Вместе с семьёй Павел Осипович переехал с Моховой набережной на набережную Мойки, в «дом у Поцелуева моста», номер 94, который находился рядом со зданием Академии. Здесь Бобровские проживали в течение 18 лет пребывания генерала на должности начальника высшего военно-юридического заведения [84, с. 6, 7]. «Он отдался новому для него делу с неослабной энергией, – вспоминал позже близкий друг Павла Осиповича Александр Фёдорович Кони. – Академия стала его семьёю, его родиной, его детищем» [87, с. 786, 787].

В порученную ему программу преобразований Бобровский привнес свои коррективы. Он начал реформирование с созыва конференции всего персонала Академии. И сторонники, и противники реформ в ходе обсуждения определили дальнейшую судьбу заведения. С 1876 г. Павел Осипович собирал под своим председательством ежегодные комиссии по выработке учебных программ [86, с. 30]. Он лично настоял на введении общеобразовательных предметов в соответствии со статусом высшего учебного заведения, боролся за финансирование ведомством собственного академического штата преподавателей и профессуры вместо полекционных совместителей, ввёл практические занятия слушателей в военно-судебных заведениях, госпиталях и тюрьмах, а также научные командировки для исследователей [86, с. 31, 35, 57, 70, 184]. Обновлённая академия уже через год готова была принять поступающих. Для них были определены условия в соответствии с новым статусом заведения: будущие слушатели должны были иметь высшее образование и трёх-летний стаж военной службы. Но события начавшейся русско-турецкой войны заставили отложить открытие до осени 1878 года.

В первом же приёме среди слушателей был зачислен и сам Павел Осипович. Не зазорным он посчитал три года изучать военно-юридические науки вместе со своими учениками [83, с. 870] и не только

для того, чтобы на «личном опыте узнать потребности Академии» [86, с. 786]. Следует предположить, что, как приверженец системности и ответственности и в жизни, и в работе, он не мог чувствовать себя соответствующим должности без надлежащего образования.

После окончания Академии Павел Осипович сам читал в её стенах разработанные им лекции [88; 89]. В то же время он вёл активную работу по формированию в заведении квалифицированного преподавательского состава. «Не боясь померкнуть в лучах научных светил, он звал их в заведение и с горделивым восторгом приветствовал их согласие стать его сотрудниками», – вспоминали друзья [87, с. 787]. Он привлёк к работе в Академии известных учёных: Н. А. Неклюдова, К. Д. Кавелина, Я. А. Неелова, В. М. Володимирова [86, с. 69].

Павел Осипович был заинтересован в направлении деятельности своих сотрудников в исследовательскую сферу. Он ввёл положение об обязательной защите диссертаций всеми кандидатами в преподаватели [86, с. 70, 71]. Приглашённые для работы учёные и сам Бобровский придавали Академии вес в научном мире. Огорчать его могло лишь то, что за время пореформенного двадцатилетия Академия так и не выпустила своих учёных знаменитостей. Славу ей выпускники приносили в области практической криминалистики, именно её питомцы «осуществили и вынесли на своих плечах военно-судебную реформу» [86, с. 90].

В период работы в этом учебном заведении к имени П. О. Бобровского добавились новые эпитеты в определении его профессионального статуса. Пресса 1880-х гг. представляет его как «военного историка» и «историка права». Творчество этого десятилетия можно определить более узкой темой. Павел Осипович увлекся исследованием эпохи Петра I. В многочисленных трудах отразились разные сферы деятельности царя-реформатора: его военные подходы, слом боярской системы управления, бытовые преобразования [90–99]. Наибольшее внимание исследователь уделил истории военного законодательства Петра I. Юридические акты, по мнению историка, способствовали проведению в русской армии необходимых реформ, позволили Петру вывести военные силы на уровень западноевропейских. Актуализация Бобровским петровской эпохи была не случайной. Во всех его работах внимание было приковано к значимым фигурам, результаты деятельности которых влияли на события. Эпоха петровских преобразований, в интерпретации военного историка была начальным этапом становления России как мировой державы. Конечный этап буржуазных реформ, надломивших феодальные порядки, обозначали события 1860–70-х гг., участником которых являлся и Павел Осипович. Таким образом, российская юридическая

наука получила одну из первых попыток определить исторические этапы развития национального военного законодательства.

Рассмотрение темы ученых начал с работы «Развитие способов и средств для образования юристов» [90], где описал создание в начале XVIII в. института военных правоведов. Определяя причины и предпосылки петровских преобразований, он углублялся в рассмотрение военно-политической системы государства в XVI и XVII вв. в статьях: «Зачатки реформ в военно-уголовном законодательстве России XVII века» [100], «Местничество и преступление против родовой чести в русском войске до Петра I» [101]. Будучи ревнителем прогрессивных достижений европейской цивилизации, Бобровский положительно оценил заимствование Петром I западного опыта. Поэтому попутно историк значительную часть работ посвятил зарубежной военной истории [102–105].

Более значительную работу учёный проделал по сбору и систематизации источников по истории русского военно-уголовного законодательства. Большой комплекс документов он отыскал самостоятельно, перевёл с иностранных языков, стараясь ввести в научный оборот новые данные о генезисе регулярной российской армии. Историк приводил большие фрагменты первоисточников в научных работах, а зачастую публиковал их списки и факсимильные снимки. Благодаря его работам военно-историческая наука получила первую попытку анализа военно-уголовного законодательства XVI–XVIII вв. в России. Павел Осипович при рассмотрении значения памятника указывал мнения о нём предшествующих историков, историю создания документа, его содержание и рассматривал реальное отражение его восприятия русским обществом.

Нет сомнения в том, что на концептуальную базу исследований оказали активное влияние события жизни учёного. Нравственные принципы, заложенные в семье, сформировали в нём личность целеустремлённую, требовательную к себе, творчески воспринимающую окружающий мир. Привитый с детства историзм и высокий уровень образования позволили историческим исследованиям стать важнейшим средством выражения личных интересов в течение всего активного творческого периода жизни Павла Осиповича. Жизненные невзгоды юности и молодости закалили характер для напряжённой, полной практических трудностей и идеологической борьбы научной работы. Его социальный статус как представителя «верхов» административного аппарата царской России действительно сделал близким его понимание исторического процесса теориям дворянской историографии. Но в то же время участие Бобровского в проведении буржуазных реформ в России определили

соответствие его взглядов передовым западноевропейским установкам в области науки.

Как и в предыдущие периоды творчества, после разработки материалов по близкой тематике Павел Осипович подготовил обобщающий труд. На сей раз это работа библиографического характера, сочетающая подробный исторический обзор эпохи, историографический и источниковедческий анализ. Исследование военно-законодательных документов отняло семь лет напряжённого труда и закончилось изданием двухтомника «Военное право в России при Петре I. Артикул Воинский» [92]. Работа впервые предоставила читателям публикации личных рукописей царя, документов его военной канцелярии, писем соратников. На основании изучения их языка, стиля, сравнения их с западноевропейским законодательством Павел Осипович доказывал свою ведущую гипотезу – о самостоятельной работе Петра в области законодательства, отвергая господствующее до тех пор мнение о компилятивном его характере.

Для обнаружения рукописных первоисточников пришлось долгое время поработать в столичных архивах и библиотеках [106, с. 1]. Личная переписка с военным историком А. И. Савельевым, привлечённым к редактированию авторской рукописи [107], свидетельствует о напряжённом темпе подготовки к изданию. Бобровский спешил к конкурсному соисканию наград 1886 года, впервые объявленному Императорской Академией Наук по историко-филологическому отделению [108, с. 26]. Представительная комиссия в составе членов Академии А. Ф. Бычкова, А. Н. Веселовского, И. В. Ягича, А. А. Куника, К. Н. Бестужева-Рюмина, И. А. Чистовича, А. С. Будиловича среди семи заявленных исторических работ на первую награду удостоила сочинение П. О. Бобровского золотой медали [108, с. 26]. Высокую награду сам Бобровский не оценил для себя как конечную цель. «А я, поотдохнувши после настоящего труда, – пишет он Савельеву, – думаю вскоре снова отправиться странствовать между всеми забытыми памятниками старины, чтобы обогатить нашу молодую ещё науку новыми приобретениями. Каждому своё...» [107, л. 10]. В конце 1880-х гг. Бобровский вновь принял активное участие в изучении «белорусского вопроса» в связи с официально санкционированным празднованием пятидесятилетия «воссоединения» униатской церкви с православной. Ряд его статей написаны именно как полемические ответы на работы современных ему исследователей унии, что является показателем заинтересованности научных кругов данной темой.

Разработка темы униатства имела для П. О. Бобровского личное измерение. В своих биографических работах о М. К. Бобровском он

привёл аргументы, которые опровергали мнение официальной историографии о нелояльности высших иерархов церкви к имперской политике [4; 109]. Большой блок статей учёного посвящён библиографическому анализу творчества Михаила Кирилловича Бобровского [6; 31; 32 – 37; 110 – 112]. Племянник представил российскому читателю факты общественной и научной значимости профессора, его прямое влияние на ход событий 1839 года, заслуги в развитии славяноведения.

Во время подготовки работ по истории униатства Павел Осипович часто навещал свою малую родину, вновь завязал переписку с местными священниками, краеведами [111; 38, л. 3]. Благодаря их содействию, он дополнительно собрал у себя часть научного архива дяди: отрывки из старинных славянских рукописей, собранных профессором, рукописи его неопубликованных работ, заметки, снимки и литографии кириллических и глаголических летописей, личные документы и часть переписки. Приложив к собранию свои труды, посвящённые истории греко-униатской церкви, Павел Осипович в 1890 г. преподнёс этот архив в дар Библиотеке Академии Наук [114, с. 14]. В сопроводительном письме сотрудникам библиотеки он объяснил свой поступок велением нравственного долга предоставить для ученых материалы, которые «могут иметь общественный интерес» [115, л. 31].

В 1880–90-х гг. П. О. Бобровский активно привлекался к составлению работ, посвящённых полковой истории [116 – 119]. В этот период представители «академической» школы развернули широкую кампанию по политической обработке солдатских масс и офицерского корпуса. В связи с этим по всем военным округам был издан приказ о составлении во всех войсковых частях истории полков и воинских соединений [66, с. 309]. Как правило, их назначение состояло в утверждении в армии принципов самодержавия, православия и народности. Поскольку Павел Осипович искренне проводил в жизнь идею о связи патриотизма солдат с мощью армии, упоминая как пример «победу немецкого школьного учителя над Францией во франко-прусской войне», учёный не мог оставаться в стороне от кампании. Все его работы основывались на первоисточниках. В условиях последующего уничтожения архивов царской армии труды Бобровского приобрели значение источника.

Среди наиболее известных работ в современной историографии отмечена тщательно документированная «История лейб-гвардии Преображенского полка» [118], в которой подробно рассмотрены военные действия России в конце XVII в. и во время Северной войны. В «Истории лейб-гвардии уланского императрицы Александры Фёдоровны полка» [119] значительное место уделено слободским украинским казачьим

и гусарским полкам и их участию в войнах с Турцией в XVIII в. Кроме того, отражены боевые действия во время наполеоновских войн, Отечественной войны 1812 г., заграничных походов русской армии в 1813–15 гг. В «Истории Тринадцатого лейб-гренадёрского Эриванского его величества полка за 250 лет» [116] ученый рассказал о старейшей воинской части русской армии, осветив наряду с полковой историей русско-турецкую войну 1828–29 гг. на территории Болгарии, ход восстаний 1830–31 и 1863–64 гг. в Польше, русско-турецкую войну 1877–1878 гг.

Полковые исторические исследования Бобровского в целом носили черты панегирического характера в отношении военного могущества России и завоевательной политики империи. По отношению к покорённым русскими войсками народам в Восточной Европе, Закавказье и Средней Азии историк придерживался великодержавных позиций и оправдывал колониальное покорение имперских окраин как акт внедрения более прогрессивной культуры в сферу отсталых народностей. Но даже в таких официозных произведениях представители более консервативного крыла историографии находили существенные идеологические недостатки, как то: преувеличение западноевропейского влияния на развитие русской армии и слишком пристрастное отношение учёного к военно-стратегическим талантам русского генералитета [76, с. 6]. А. Мышлаевский, в частности, указывал, что Бобровский так критикует некомпетентность «полкового начальства, что его работы не соответствуют воспитательным целям» [120, с. 15].

Рассмотрев последовательно состояние армии и общественных условий наиболее политически активных европейских государств за период нового времени, Бобровский пришёл к следующим выводам. Во-первых, изменение состава и организации армии обуславливается экономическим развитием цивилизации [110]. Во-вторых, в период нового времени переход европейских государств от войск рыцарских и наёмных к войскам регулярным был неизбежен в силу потребностей складывающегося буржуазного общества [108]. И, в-третьих, процесс реформирования армейской системы сопутствует процессам укрепления и централизации национальных государств. В подтверждение приведены примеры деятельности королей: английского Генриха IV, шведского Густава-Адольфа, французского Людовика XIV [100, с. 11].

В своих работах П. О. Бобровский проводил разбор целого ряда военно-уголовных сборников Европы [91; 103; 105]. Кроме изучения условий их принятия, оригинальной сути и взаимовлияния друг на друга, он сделал попытку систематизировать общеевропейскую систему военно-

судебных принципов, берущих начало от римской практики и значительно эволюционировавших под влиянием развития военного искусства.

В 1897 г. генерал-майор П. О. Бобровский был избран в судебный департамент Правительствующего Сената [120]. По мнению друзей, он получил, наконец, возможность достичь «почётно спокойствия и независимости» [87, с. 787]. Творческий труд Павла Осиповича был высоко оценен правительством, которое наградило учёного довольно редким орденом Белого Орла [83, с. 870]. Его детище, Академия, воздала ему должное и наградила званием почётного члена заведения [121, с. 1123].

Служба в Сенате увлекла его возможностями вновь проявить свою деятельную натуру, приложить свои знания и опыт к развитию страны. По воспоминаниям учеников, он «не отставал от движения века, при выборах в новую городскую думу ратовал за проведение интеллигентных гласных, не уставал ходить на заседания, собирал среди коллег кружок своих единомышленников» [122]. Но непосильный по годам труд надломил его здоровье [87, с. 787].

Известия о провале дальневосточной кампании, а также революционные события января 1905 года отягчили протекание тяжелой болезни [122]. Павел Осипович скончался 3 (16) февраля 1905 года. Церемония панихиды прошла скромно, в соответствии с жизненными принципами покойного. 7 февраля в девять утра тело было доставлено в Знаменскую церковь столицы для отпевания, а оттуда перевезено на Варшавский вокзал. Погребение состоялось в личном имении Мокули Ковенской губернии [87, с. 784].

Пресса сожалела о потере Россией «одного из даровитейших своих людей» [123, с. 1]. Современники со скорбью писали: «...пока он жил, он стоял на своём посту и нёс службу родине со строгим соблюдением своего нравственного артикула, опыта, знаний и способностей» [87, с. 788]. Среди венков, окружавших его могилу, с особой рельефностью выделялся тот, на котором было надписано «Первому устройтелю юнкерских училищ». Но лучший памятник себе П. О. Бобровский создал сам, оставив около сотни научных работ, которые спустя столетие продолжают привлекать внимание историков, краеведов и этнографов.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Алфавитный список дворянских родов Гродненской губернии, внесённых в дворянскую родословную книгу. Гродно: Тип. Э. И. Мейлаховича, 1900. 17 с.
2. Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и учёных (от начала русской образованности до наших дней). СПб., 1895. Т. 4. Боборыкин – Введенский. 212 с.

3. Улащик Н. Н. Введение в изучение белорусско-литовского летописания. М.: Наука, 1985. 281 с.
4. Бобровский П. О. Михаил Кириллович Бобровский, учёный славист-ориенталист: Историко-биографический очерк. С портретом, автографами, собственноручными списками и снимками древнейших славянских рукописей и факсимиле почерка знаменитой Супрасльской рукописи. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1889. VIII, 110 с.
5. Лябынцаў Ю. А. Баброўскі Міхаіл Кірылавіч // Энциклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 1. А – Беліца. Мінск: БелЭн, 1993. С. 248–249.
6. Бобровский П. О. Судьба Супрасльской рукописи, открытой доктором богословия, магистром философии и филологии М. К. Бобровским. С приложением его автографов, образца собственноручного списка с Супрасльской рукописи и факсимиле подлинной рукописи: Историко-библиографическое исследование. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1887. 76, 4 с.
7. Лябынцаў Ю. А. Пачатак Скарынам: Беларуская друкаваная літаратура эпохі Рэнесансу. Мінск: Маст. літ., 1990. 333 с.
8. Янковский П. Протоиерей Михаил Бобровский // Литовские епархиальные ведомости. 1864. № 1. С. 11–19; № 2. С. 51–66.
9. Нечухрин А. Н. Историки Западной Беларуси XIX – нач. XX вв. // Наш радавод. Гродно, 1993. Кн. 5. Ч. II. С. 394–442.
10. Зубка А. О греко-униатской церкви в Западном крае // Русский вестник. 1864. Т. 53. № 9. С. 279–342.
11. Библиотека Российской Академии наук (далее: БАН), Санкт-Петербургский филиал, отдел рукописной книги (далее: ОРК), ф. 40, ед.хр. № 4. Материалы к биографии профессора священного писания Главной духовной семинарии при Виленском университете и часть его переписки с 1825 по 1847 гг. 1831–1891 гг.
12. Викентьев В. П. Полоцкий кадетский корпус. Исторический очерк 75-летия его существования. Полоцк: Тип. Х. В. Клячко, 1910. 8, 396, XLII с.
13. Лятышонак А. Народзіны беларускай нацыянальнай ідэі ў др. пал. XVIII – пач. XIX ст. // Спадчына. 1992. № 1. С. 9–14.
14. Гольмдорф М. Материалы для истории бывшего Дворянского полка до переименования его в Константиновское военное училище. 1807–1859. СПб.: Тип. штаба гвардии, 1882. 134, 210 с.
15. История «дворян» и «константиновцев». 1807–1907. Приложения к Т. 1. СПб., 1908. 284 с.
16. Бобровский П. О. Воспоминания офицера о военных действиях на Дунае в 1853 и 1854 гг. // Русский вестник. 1887. № 4. С. 565–599; № 6. С. 715–779.
17. Некролог. П. О. Бобровский // Правительственный вестник. 1905. № 28. С. 4.
18. Глиноецкий Н. П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб.: Тип. штаба гвардии, 1882. VIII, 386, 206, 102 с.
19. Без-Корнилович М. О. Исторические сведения о примечательных местах в Белоруссии с присовокуплением и других сведений к ней же относящихся. – СПб.: Тип. 3-го отд. Е. И. В. канцелярии, 1855. VIII, 356 с.
20. Военно-статистическое обозрение Российской империи, изданное при 1-м

- отделении департамента Генерального штаба трудами офицеров Генерального штаба. В 17 т. Т. 9. Ч. 3. Гродненская губерния / Сост. Калмберг. – СПб., 1849. 142, 8 с.
21. Россия. Полное географическое описание нашего отечества / Под ред. П. П. Семёнова. В. И. Ламанского. В 19 т. Т. 9. Верхнее Поднепровье и Белоруссия. СПб., 1905. VI, 619 с.
 22. Вонсарскос. Статистические труды Генерального штаба. Материалы для географии и статистики России. Губернии: Гродненская, составил П. Бобровский; Виленская, составил А. Корева; Ковенская, составил Д.Афанасьев // Народное богатство. 1863. № 137. С. 1–2; № 138. С. 2–3.
 23. *Бобровский П. О.* Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Гродненская губерния. В 2 т., прилож. к Т. 1–2. СПб., 1863. XXII, 866, II, 244, VIII, 1074, II, 392, 72 с.
 24. *Бессонов П.* Белорусские песни с подробным объяснением их творчества и языка, с очерками обряда, обычая и всего народного быта. М., 1871. LXXXII, 175 с.
 25. *Пытин А. Н.* История русской этнографии. Т. 4. Белоруссия и Сибирь. Спб., 1892. 490 с.
 26. «Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Гродненская губерния», составленные П. Бобровским // Северная почта. 1864. № 210. С. 1–2; № 211. С. 1–3; № 212. С. 1–2; № 243. С. 1–3; № 244. С. 1–3.
 27. *Зеленский И.* Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Минская губерния. В 2 ч. СПб., 1864. V, 672, VIII, 701 с.
 28. *Корева А.* Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Виленская губерния. Спб., 1861. VIII, IV, 804 с.
 29. *Шалькевич В. Ф.* Баброўскі Павел Восіпавіч // Энциклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 1. А – Беліца. Мінск: БелЭн, 1993. С. 249.
 30. Памятная книжка Гродненской губернии на 1872. Вып. 1. Адрес-календарь / Изд. Гродненского статистического комитета. Гродно: Тип. Губ. правления, 1872. 9, 168 с.
 31. *Бобровский П. О.* Ещё заметка о Супрасльской рукописи: Дополнение к статье «Судьба Супрасльской рукописи» // Журнал министерства народного просвещения. 1888. № 4. С. 339–348.
 32. *Бобровский П. О.* Противодействие Базилианского ордена стремлению белого духовенства к реформам в Русской греко-униатской церкви: Исследование по документам архива греко-униатского департамента римско-католической коллегии и министерства народного просвещения // Литовские епархиальные ведомости. 1888. № 49. С. 422–426; № 50. С. 435–438; № 52. С. 456–459; 1889. № 1–2. С. 4–10; № 3. С. 22–24; № 4–5. С. 29–31; № 6. С. 42–44.
 33. *Бобровский П. О.* Подготовка реформ в русской греко-униатской церкви. 1803–1827: Ответ профессору М. Кояловичу. СПб.: Синод. тип., 1889. 44 с.
 34. *Бобровский П. О.* Переписка учёного-слависта М. К. Бобровского с П. И. Кеппеном // Славянские известия. 1889. № 12. С. 303; № 14. С. 353; № 15. С. 375.

35. *Бобровский П. О.* Учёное путешествие М. К. Бобровского по Европе и славянским землям. 1817–1822: К биографии М. К. Бобровского // Славянские известия. 1889. № 18. С. 450–453; № 24. С. 593–595.
36. *Бобровский П. О.* Русская греко-униатская церковь в царствование императора Александра I: Историческое исследование по архивным документам. С прил. алфавитных указателей имён и предметов. СПб., 1889. XVI, 394, II с.
37. *Бобровский П. О.* К биографии М. К. Бобровского // Журнал министерства народного просвещения. 1890. № 11. С. 217–245.
38. *Бобровский П. О.* Законы движения народонаселения Гродненской губернии в 15-летний период: рождаемость, браки, смертность, статистическое обозрение. Гродно: Тип. губ. правл., 1860. 67 с.
39. *Бобровский П. О.* Историко-статистический очерк г. Гродно // Памятная книжка Гродненской губернии на 1860. Гродно: Губ. тип., 1860. С. 1–30.
40. *Бобровский П. О.* Друскеникские минеральные воды // Виленский вестник. 1861. № 67. С. 661–662; № 68. С. 669; № 69. С. 667; № 70. С. 687; № 71. С. 695; № 72. С. 702; № 73. С. 715.
41. *Бобровский П. О.* Исторические сведения о городах Гродненской губернии. Гродно: Губ. тип., 1861. 82 с.
42. *Бобровский П. О.* Колония Супрасль // Журнал министерства внутренних дел. 1861. № 6. С. 44–60.
43. *Бобровский П. О.* Рожаностокская римско-католическая церковь // Виленский вестник. 1861. № 45. С. 445.
44. *Бобровский П. О.* Ответ г. Ковалевскому // День. 1865. № 45–46. С. 1101–1105.
45. *Бобровский П. О.* Несколько слов о Зельвенской ярмарке // Виленский вестник. 1860. № 85, 86.
46. *Бобровский П. О.* По поводу возражений г. Ширяева на статью о Зельвенской ярмарке // Виленский вестник. 1861. № 16. С. 137; С. № 59. С. 579.
47. *Бобровский П. О.* Несколько слов по поводу статьи «Статистические труды Генерального штаба» // Русский инвалид. 1863. № 245. С. 1035.
48. *Бобровский П. О.* Можно ли одно вероисповедание принять в основу племенного разграничения славян Западной России (по поводу этнографического атласа Р. Ф. Эркерта) // Русский инвалид. 1864. № 75. С. 3–4; № 80. С. 3–4.
49. *Бобровский П. О.* Опровержение известия о переходе в православие // Русский инвалид. 1864. № 26. С. 4.
50. *Бобровский П. О.* «Материалы для этнографии Царства Польского», составленные Генерального штаба подполковником Риттихом // Русский инвалид. 1864. № 257. С. 3.
51. *Бобровский П. О.* Город Слоним и примечательные места Слонимского уезда // Вестник Западной России. 1866. Т. 4. № 12. Отд. 2. С. 161–179.
52. История русской армии и флота. М.: Образование, 1913. Вып. 11. 204, II с.
53. *Госцеў А. П., Швед В. В.* Кронан. Летапіс горада на Немане. 1116–1990. Гродна: НВК «Пергамент», 1993. 320 с.
54. *Бобровский П. О.* Училище подпрапорщиков, бывшее в Воронеже с 1856 по 1863 // Военный сборник. 1864. № 7. Отд. 2. С. 153–188.

55. *Семевский М. И.* Знакомые. Альбом редактора «Русской старины». Спб., 1888. 416 с.
56. *Бобровский П. О.* План учебной части в юнкерских училищах // Педагогический сборник. 1866. № 9. С. 649–671; № 11. С. 831–858.
57. *Бобровский П. О.* Постановления для вольноопределяющихся всех родов войск. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1876. VIII, 91, LXXV, 30 с.
58. Российская национальная библиотека (далее: РНБ), отдел редкой и рукописной книги (далее: ОРРК), ф. 80. Бобровский П. О., ед. хр. № 1 – 7. Письма начальников Московского, Виленского, Варшавского, Гельсингфорского, Ставропольского, Чугуевского, Рижского, Тифлиского, Казанского. Санкт-Петербургского, Елисаветградского, Тверского и Оренбургского юнкерских училищ. 60–70 гг. XIX века.
59. *Бобровский П. О.* Об учреждении юнкерских училищ // Военный сборник. 1864. № 11. Отд. 2. С. 91–144.
60. *Бобровский П. О.* Юнкерские училища в армии // Еженедельник-прибавление к «Русскому инвалиду». 1864. № 31.
61. *Бобровский П. О.* Отчёт о состоянии юнкерских училищ // Педагогический сборник. 1866. № 9. С. 447–487.
62. *Бобровский П. О.* Взгляд на юнкерские училища, их развитие и состояние со времени их учреждения (1864 г.) // Военный сборник. 1869. № 3. С. 61–94.
63. *Бобровский П. О.* Взгляд на образование в юнкерских училищах // Военный сборник. 1870. № 3. Отд. I. С. 57–70.
64. *Бобровский П. О.* Заметки о юнкерских училищах // Военный сборник. 1872. № 2, 3.
65. *Бобровский П. О.* Юнкерские училища в 1870–1871 // Педагогический сборник. 1872. № 5 – 8.
66. *Бескровный Л. Г.* Очерки военной историографии России. М.: Изд-во Академии Наук СССР, 1962. 318 с.
67. *Бобровский П. О.* Ответ на критику М. О. Кояловича по поводу сочинения «Русская греко-униатская церковь в царствование императора Александра I». СПб., 1890. 30 с.
68. *Бобровский П. О.* Историческая монография города Гродно // Вестник Западной России. 1866. Т. 3. № 7. Отд. 2. С. 28–43.
69. *Бобровский П. О.* Местничество и преступления против родовой чести в русском войске до Петра I. СПб.: Тип. Деп-та уделов, 1888. 31 с.
70. *Белов Е.* Двадцатисеминедельное образование. Юнкерские училища: Историческое обозрение их развития и деятельности генерал-майора П. О. Бобровского // Гражданин. 1873. С. 836–839.
71. *Бобровский П. О.* Юнкерские училища. Историческое обозрение их развития и деятельности. В 3 т. СПб.: Изд. И. А. Исакова. 1872–1876. VIII, 264, IV, VIII, 614, LVI, IV, IV, VI, 266, LXXIV с.
72. *Бобровский П. О.* Развитие способов для комплектования армии офицерами // Военный сборник. 1870. № 1. Отд. I. С. 145–150.

73. *Бобровский П. О.* Выводы из восьмилетней деятельности юнкерских училищ // Русский инвалид. 1872. № 267. С. 3; № 268. С. 3–4.; № 279. С. 3; № 281. С. 3; № 283. С. 4.
74. *Быков А.* Библиография. Юнкерские училища. Исследование П. О. Бобровского. Т. 1 – 3. Происхождение Артикула Воинского и изображение процессов Петра Великого по Уставу Воинскому 1716 г. Историческое исследование П. О. Бобровского // Санкт-Петербургские ведомости. 1881. № 237. С. 1.
75. *Белов Е.* Двадцатисеминедельное образование. Юнкерские училища: Историческое обозрение их развития и деятельности генерал-майора П. О. Бобровского // Гражданин. 1873. С. 836–839.
76. *Мышлаевский А. З.* История лейб-гренадёрского Эриванского его Величества полка. Рец. на сочинение П. О. Бобровского. СПб.: Тип. Имп. АН, 1901. 16 с.
77. Наши юнкерские училища // Сын Отечества. 1873. № 193. С. 1–2.
78. Москва, 27–28 ноября // Московские ведомости. 1873. № 300. С. 2–3.
79. «Юнкерские училища» П. О. Бобровского // Вестник Европы. 1872. № 4. С. 917–919.
80. *Бобровский П. О.* Десятилетие юнкерских училищ // Педагогический сборник. 1874. № 7.
81. *Бобровский П. О.* Заметки о способах занятий в ротных школах и учебных командах // Педагогический сборник. 1874. № 10–11.
82. *Бобровский П. О.* О книге для чтения, назначенной для преподавания грамоты в войсках // Педагогический сборник. 1875. № 4.
83. *Бобровский П. О.* Двадцатипятилетие юнкерских училищ. СПб.: Тип. Деп. уделов, 1889. 43 с.
84. Альманах современных русских государственных деятелей / Изд. Г. А. Гольдберга. СПб., 1897. 1250 с.
85. Адрес-календарь Военно-Юридической Академии на 1887 год // *Бобровский П. О.* Военные законы Петра Великого в рукописях и первопечатных изданиях: Историко-юридическое исследование с приложением снимков подлинной рукописи Артикула Воинского. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1887. С. 1–41.
86. *Кузьмин-Караваев В. Д.* Военно-Юридическая Академия. 1866–1891. Краткий исторический очерк. СПб.: Тип В. С. Балашева, 1891. II, 93, 193 с.
87. *Кони А. Ф.* Павел Осипович Бобровский, 1905 год // Очерки и воспоминания: Публичные чтения, речи, статьи и заметки. СПб., 1906. С. 783–788.
88. *Бобровский П. О.* Беседа начальника Военно-Юридической Академии о военных законах Петра Великого для устройства им регулярной армии. В день 170-летия со времени подписания манифеста об Уставе Воинском 1716 г. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1886. 28 с.
89. *Бобровский П. О.* Беседы о военных законах Петра I Великого // Военный сборник. 1890. № 1. С. 5–28; № 2. С. 209–222.
90. *Бобровский П. О.* Развитие способов и средств для образования юристов военного и морского ведомств в России. Период преобразований Петра Великого: Военные суды и аудиторы. СПб., 1879–1881. 192, 186 с.

91. *Бобровский П. О.* Происхождение Артикула Воинского и изображение процессов Петра Великого по Уставу Воинскому 1716 года: Историческое исследование. В 2 ч. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1881. 46, 40 с.
92. *Бобровский П. О.* Военное право в России при Петре Великом. Артикул Воинский: С объяснениями, заметками, цитатами из источника. В 2 ч. – СПб., 1882–1886. XVI, 296, XXXIII, 770 с.
93. *Бобровский П. О.* Переход России к регулярной армии. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1885. X, 216 с.
94. *Бобровский П. О.* Беседа начальника Военно-Юридической Академии о военных законах Петра Великого для устройства им регулярной армии. В день 170-летия со времени подписания манифеста об Уставе Воинском 1716 г. – СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1886. 28 с.
95. *Бобровский П. О.* Военное право в России при Петре Великом. Ч. II. Артикул Воинский с объяснениями преобразований в военном устройстве и в военном хозяйстве по русским и иностранным источникам. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1886. XXXIV, 772 с.
96. *Бобровский П. О.* К характеристике военного искусства и дисциплины в войнах XVII и в начале XVIII столетия // Военный сборник. 1891. № 10. С. 177–197.
97. *Бобровский П. О.* Вейде Адам Адамович, один из главных сотрудников Петра Великого и его военный устав 1698г: Историко-юридическое исследование. Казань: Тип. Имп. ун-та, 1887. 31 с.
98. *Бобровский П. О.* Царь Пётр Алексеевич и военные школы четырёх первых регулярных полков в России. 1690–1699 гг. // Военный сборник. 1892. № 6. Отд. 1. С. 272–306.
99. *Бобровский П. О.* Пётр Великий в устье Невы. К 200-летию основания Санкт-Петербурга // Военный сборник. 1903. № 4.
100. *Бобровский П. О.* Зачатки реформ в военно-уголовном законодательстве России. СПб.: Тип. Правит. Сената, 1882. 34 с.
101. *Бобровский П. О.* Местничество и преступления против родовой чести в русском войске до Петра I. СПб.: Тип. Деп-та уделов, 1888. 31 с.
102. *Бобровский П. О.* Образование и комплектование унтер-офицеров в германской армии // Военный сборник. 1881. № 6.
103. *Бобровский П. О.* Состояние военного права в Западной Европе в эпоху учреждения постоянных войск: XVI, XVII и нач. XVIII вв. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1881. 446 с.
104. *Бобровский П. О.* Военные суды и система наказаний за преступления военнослужащих во Франции // Юридический вестник. 1883. № 4.
105. *Бобровский П. О.* Старошведское военное право. М.: Тип. Мамонтова, 1881. 38 с.
106. *Бобровский П. О.* Военные законы Петра Великого в рукописях и первопечатных изданиях: Историко-юридическое исследование с приложением снимков подлинной рукописи Артикула Воинского. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1887. V, 97, 10, 41с.
107. РНБ, ОРРК, ф. 665. Савельев А. И., ед. хр. № 93. Письма П. О. Бобровского. 1885–1886 гг. Письма П. О. Бобровского.

108. Отчёт Императорской Академии Наук по физико-математическому и историко-филологическому отделениям за 1886 г., составленный и читанный непременным секретарём академиком Веселовским К.С. // Записки Императорской Академии Наук. Т. 55. Кн. I. СПб., 1887. С. 1–34.
109. *Бобровский П. О.* Антоний Юрьевич Сосновский, старший соборный протоирей, настоятель Свято-Николаевской церкви в Клецелях, один из триумвиров Брестского капитула: Историко-биографический очерк. Вильно: Губ. тип., 1890. VI, 202 с.
110. *Бобровский П. О.* Судьба Супрасльской рукописи, открытой доктором богословия, магистром философии и филологии М. К. Бобровским. С приложением его автографов, образца собственноручного списка с Супрасльской рукописи и факсимиле подлинной рукописи: Историко-библиографическое исследование. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1887. 76, 4 с.
111. *Бобровский П. О.* Упразднение Супрасльской греко-униатской епархии и восстановление Виленской митрополичьей епархии: По документам архива Священного Синода в делах греко-униатских. – Вильно: Губ. тип., 1890. – 58 с.
112. *Бобровский П. О.* Ответ на критику М. О. Кояловича по поводу сочинения «Русская греко-униатская церковь в царствование императора Александра I». СПб., 1890. 30 с.
113. Тридцатилетний юбилей // Русская жизнь. 1893. № 174. С. 3.
114. Исторический очерк и обзор фондов рукописного отдела Библиотеки Академии Наук. Вып. 2. XIX–XX вв. М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1958. 400 с.
115. БАН, ОРК, ф. 40, ед. хр. № 4. Материалы к биографии профессора священного писания Главной духовной семинарии при Виленском университете и часть его переписки с 1825 по 1847гг. 1831–1891 гг.
116. *Бобровский П. О.* История 13-го лейб-гренадёрского Эриванского полка за 250 лет. В 3 ч. СПб., 1892–1898. Ч. 1–3.
117. *Бобровский П. О.* Кубанский Егерский корпус // Военный сборник. 1893. № 1. Отд. 1. С. 5–34; № 2. Отд. 1. С. 189–225.
118. *Бобровский П. О.* История лейб-гвардии Преображенского полка. СПб., 1900.
119. *Бобровский П. О.* История уланского императрицы Александры Фёдоровны полка. В 2 т. СПб., 1903. Т. 1–2.
120. Правительствующий Сенат // Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли и администрации / Изд. А. С. Суворина. СПб., 1901. Т. 1. С. 11.
121. Некрологи. Бобровский П. О. // Исторический вестник. 1905. С. 1123–1125.
122. *Кривенко В. С.* Памяти П. О. Бобровского // Новое время. 1905. № 10390. С. 5.
123. П. О. Бобровский [Некролог] // Слово. 1905. № 57. С. 1–2.

Мелешко Елена Ивановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Гродненского государственного университета имени Янки Купалы; alenameleshko@tut.by.

Нечухрин Александр Николаевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории Гродненского государственного университета имени Янки Купалы; anech@grsu.by.

И. Г. ВОРОБЬЕВА, А. А. КУЗНЕЦОВ

**ИСТОРИК ЗАПАДА
В РОССИЙСКОМ ПРОВИНЦИАЛЬНОМ ВУЗЕ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ФРЯЗИНОВ (1891–1971)**

В статье по материалам архивов Твери и Нижнего Новгорода, воспоминаниям, письмам историка прослежено научное формирование С. В. Фрязинова в Московском университете, основные направления его исследований (история Французской революции, творчество Ипполита Тэна, история Древнего Рима, история средневековой Испании), а также преподавательская деятельность в Костроме, Калинин (Твери) и Горьком (Нижнем Новгороде).

Ключевые слова: *С. В. Фрязинов, А. Н. Савин, преподавание всеобщей истории.*

Профессор Московского университета А. Н. Савин записал в своем дневнике: «Я историк, я знаю причуды и повороты судьбы». Его ученик – Сергей Васильевич Фрязинов, помня эти слова, на разных поворотах стремился сохранить себя в профессии. Он пережил революции, войны, голод, потери близких, но остался историком и педагогом до конца дней. Об этом человеке и его месте в советской исторической науке пойдет речь в настоящей статье, подготовленной на основе наших многолетних разысканий¹. Объемное личное дело С. В. Фрязинова в составе фонда Калининского государственного педагогического института, документы нижегородских архивов², устные сообщения лично знавших его людей, а главное, его труды дали нам возможность составить биографию историка, что дополняет представления о науке и обществе советской эпохи.

С. В. Фрязинов, заполняя Личный листок по учету кадров 14 февраля 1933 г., записал о себе: «Родился в Костроме 25 сентября по старому стилю 1891 г.; народность – великорус; социальное происхождение [следовало указывать бывшее сословие или звание] – сын статского советника; основное занятие родителей: отец преподаватель (умер), мать – домашняя хозяйка (на моем иждивении), социальное происхождение – служащий; беспартийный»³. Более ранние документы свидетельствуют,

¹ К 120-летию историка нами опубликованы предварительные результаты исследования. См.: *Воробьева, Кузнецов*. 2011.

² См. одну из последних работ: *Григорьева*. 2010.

³ ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 44. Д. 41. Л. 17. Дата рождения (1893 г.) в некрологе и в ряде нижегородских статей, упоминавших С. В. Фрязинова, ошибочна.

что его отец Василий Гаврилович Фрязинов (18.06.1859–29.04.1922) служил в духовной семинарии Костромы как помощник инспектора и преподаватель богословия⁴. Мать – Мария Петровна, урожденная Попова – дочь инспектора Костромской семинарии, в доме которого на улице Пятницкой и жила семья Фрязиновых. Сергей учился в мужской гимназии⁵ и прославился в городе тем, что не получал иных оценок, кроме отличных. Гимназист Фрязинов обладал уникальной памятью, чем восхищались впоследствии его коллеги-педагоги. Окончив гимназию с золотой медалью, он в 1909–1913 гг. продолжил учебу в Московском университете на историко-филологическом факультете. В копии диплома⁶ указано, что все испытания он выдержал весьма удовлетворительно, т.е. по нынешней шкале оценок диплом можно назвать «красным».

В 1909–1910 г. Фрязинов прослушал читавшийся А. Н. Савиным курс, посвященный историографии Великой французской революции. Эти лекции произвели на него сильное впечатление, их конспекты он хранил до конца жизни, и сейчас они хранятся в архиве Музея Нижегородского государственного университета. В 1911 г. профессор Савин предложил студентам на соискание медалей тему «Тэн как историк и социолог», тесно связанную с происходившей незадолго до того полемикой между французским историком Альфонсом Оларом и его школой, с одной стороны, и защитниками Ипполита Тэна, с другой. Фрязинов принял участие в конкурсе, и его работа на основании отзыва Савина была удостоена факультетом золотой медали⁷. Тему Французской революции Фрязинов не забросил и после окончания университета. Многие годы он изучал мировоззрение философа и литературоведа И. Тэна, писал о нем книгу, мечтал защитить диссертацию.

Почему студента Фрязинова заинтересовала всеобщая история, неизвестно. Возможно, хорошо зная иностранные языки, он включился в разбор оживленной полемики во французской литературе начала XX в. В многочисленных анкетах он сообщал, что свободно владеет французским языком, с итальянского и английского переводит без словаря, читает и может объясняться по-немецки. В 1940-е гг. он изучил испанский язык.

⁴ Биографические сведения о семье Фрязиновых нам сообщил костромской библиограф П. П. Резепин, за что выражаем ему искреннюю благодарность.

⁵ Резепин. 2006.

⁶ ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 44. Д. 41. Л. 19.

⁷ Самооценка студенческой работы имеется в машинописной копии варианта диссертации «Ипполит Тэн и Парижская коммуна» (118 листов), хранящейся в не разобранном пока личном фонде историка в Музее Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского.

Выпускная работа Фрязинова, как было сказано, выполнялась под руководством А. Н. Савина – профессора с мировым именем. Он и рекомендовал своего ученика для подготовки к профессорскому званию. В советское время поствузовское образование стали называть аспирантурой, и Фрязинов постоянно сообщал в своих документах: «представлен был профессором А. Н. Савиным к аспирантуре по истории Запада, оставленным при университете состоял в течение трех лет в 1914–1917 гг.»⁸. Как видим, он не отказывался от принадлежности к старой университетской корпорации. На протяжении жизни он поддерживал интеллектуальное общение с выпускниками Московского университета: для чтения лекций приглашал в Тверь В. М. Лавровского, поступившего в Московский университет годом позже него, в Нижнем Новгороде (Горьком) общался с С. И. Архангельским и Н. И. Приваловой; в 1950–60-е гг. переписывался с профессором ГГУ В. Т. Илларионовым⁹; во время работы в ГГУ сошелся и с профессором Н. П. Соколовым¹⁰.

Магистерские экзамены Фрязинов сдать не успел. Его аспирантура пришлось на время войн и революций, ломки старой университетской системы образования, отмены ученых степеней и званий и потому не завершилась защитой магистерской диссертации. Вероятно, спасаясь от голода, он в 1919 г. вернулся к родителям в Кострому, где на волне революционно-преобразовательного энтузиазма открылся Рабоче-крестьянский университет. Фрязинов читал в нем лекции по средневековой и новой истории Запада¹¹. О положении дел в университете Фрязинов писал А. Н. Савину. В фонде Савина сохранилось немного писем, но в их числе одно из Костромы, датированное 14 января 1920 г. Прочитируем его: «Должен еще раз Вас поблагодарить за любезное содействие составле-

⁸ ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 44. Д. 41. Л. 21.

⁹ ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 313; Ф. 6161. Оп. 1. Д. 390; Оп. 3. Д. 209; Ф. 885. Оп. 1. Д. 277. О С. И. Архангельском см.: *Кузнецов А. А.* 2009; О Н. И. Приваловой см.: *Зюзина., Кузнецов, Пудалов.* 2008. О В. Т. Илларионове см.: *Берельковский.* 1983; *Колобов, Кузнецов, Толстова.* 1996.

¹⁰ Профессор Николай Петрович Соколов (1890–1979), специалист по средневековой истории Восточного Средиземноморья, считающийся наряду с С. И. Архангельским и В. Т. Илларионовым, «отцом-основателем» исторических факультетов в Нижегородских гос- и педуниверситетах. Портрет Н. П. Соколова находится в той же мемориальной аудитории исторического факультета Нижегородского госуниверситета, что и портрет С. В. Фрязинова, С. И. Архангельского и В. Т. Илларионова. О Н. П. Соколове см.: *Кузнецов, Меженин.* 1988.

¹¹ Отец, бывший преподаватель семинарии, состоял в этом университете научным сотрудником кафедры обществоведения. Сведения предоставлены П. П. Резепиным. Архив Костромского университета пострадал во время пожара.

нием отзыва о моих занятиях. Дело мое решено: 1 декабря прошлого года избран преподавателем всеобщей истории гуманитарным факультетом, 6 января с.г. избран советом университета, а после 20-го думаю приступить к занятиям. Для начала беру новую историю – подготовку Великой Французской Революции и самую Революцию, до которой, впрочем, едва ли доберусь в этом семестре. Затруднение довольно существенное ощущается однако с пособиями к занятиям: общие работы многие имеются, но по отдельным вопросам дело обстоит весьма скудно. Во всяком случае постараюсь сделать, что смогу. Еще сильнее смущает меня отсутствие профессора – главного представителя кафедры и руководителя начинающих преподавателей. Профессура по всеобщей истории у нас до сих пор не замещена, так как нет кандидатов. Коллега мой по кафедре – Н. С. Цемш, молодой человек из оставленных при Петроградском университете, ученик проф. Гревса и специалист по раннему средневековью, тоже преподаватель, не державший магистерского экзамена; он старше меня года на 4; читает раннее средневековье и историю Франции в XVI веке. В довольно безнадежном положении у нас дело с преподаванием древней истории; если бы нашлся в Москве кто-либо из бывших приват-доцентов, хотя бы начинающих, кто взял бы на себя чтение курсов по древней истории! Он, конечно, был бы без всяких затруднений избран у нас профессором всеобщей истории. По новой истории намечается у нас такая схема преподавания на 3 года с повторением, буде уцелеет университет, по истечении этого промежутка времени: 1) общий курс, сосредоточенный вокруг реформационного движения и его последствий – примерно до середины XVII века; 2) общий курс по старому порядку и Великой Французской революции и 3) общий курс по истории XIX века... Что касается состава учащихся, то он, конечно, несравненно слабее московского; очень слабо распространено и знание иностранных языков, что для изучения всеобщей истории – конечно, большая помеха; дело приходится иметь, кроме того, со слушателями, непостоянными по составу из-за частых мобилизаций. Преобладают, впрочем, слушательницы из окончивших женскую гимназию»¹².

Одновременно С. В. Фрязинов преподавал историю на рабочем факультете и в средней школе. Конфликтов с новой властью он старался избегать, но сделать это было не просто. В том же письме к А. Н. Савину он писал: «В Костроме идет экзекуция над преподавателями, которых уволено уже человек 50, и в ближайшем будущем будет уволено

¹² НИОР РГБ. Ф. 263. П. 30. № 136. Заметим, что в описи фонда не указаны личные сведения С. В. Фрязинова.

еще столько же. “Разносят” учительский союз, в котором видят кадетское контрреволюционное гнездо, выделяющееся из общей массы верноподданных профессиональных союзов. В один из только что появившихся проскрипционных списков попал и я – и с 15 января я уже «бывший» педагог городской школы». На всякий случай он хранил для предъявления своей лояльности власти важное удостоверение, представленное позднее в Калининский пединститут, за подписью заведующей клубным кабинетом Пролеткульта и Клубным отделением Политико-просветительного института членом РКП(б) М. Растопчиной¹³.

В Костроме Фрязинов увлекся изучением местной истории, что оказалось актуальным почти для всех губернских городов, где еще сохранялись ученые архивные комиссии и рождались новые научные институты. Так, Костромское научное общество активизировало свою деятельность, приняв новых членов¹⁴. Фрязинову доверили публикацию архива дворян Волженских, приобретённого Обществом еще в 1914 г.

В Научной библиотеке Тверского госуниверситета счастливо сохранился экземпляр этой книги¹⁵, представленной Фрязиновым при поступлении на службу в местный педагогический институт. Имеется экземпляр книги в Нижнем Новгороде, в личном фонде Н. И. Приваловой¹⁶.

Первая научная публикация историка состоит из двух частей. Обширная вступительная статья на основе семейного архива представляла дворянский род Волженских, состав семьи в течение нескольких поколений, способы приобретения земельных владений. Историк обращал внимание читателей на то, как отстаивали и приумножали дворяне свое достояние, как несли государственную службу, платили налоги, как жили в семейном кругу, вели хозяйство и боролись за рабочие руки в тяжелые годы хозяйственного кризиса, повлиявшего на культурный уровень помещиков и их крестьян. Локальное исследование Фрязинова, выполненное в дореволюционной традиции российской генеалогической науки с ее вниманием к семейным архивам русской аристократии, дополняло и корректировало общие работы, в частности «Замосковский

¹³ Оригинал документа был приложен к удостоверениям при устройстве на службу в Калининский пединститут в январе 1933 г. См.: ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 44. Д. 41. Л. 6.

¹⁴ См.: Флейман Е. А. [Электронный ресурс].

¹⁵ См.: Архив усадьбы Волженских в Галичском уезде. 1919.

¹⁶ ЦАНО. Ф. 885. Оп. 1. Д. 370. Подарок, возможно, объясняется тем, что Н. И. Привалова, исследуя персональный состав Ополчения 1611–1612 гг., открыла и ввела в научный оборот документ, связанный с суздальским поместьем Василия Вакулина Волженского в 1690 г.

край XVII века» Ю. В. Готье. Вторая часть книги – публикация документов (чуть больше сотни), распределенных по разделам: материальное положение Волженских, пожалования Волженских, о службе, данные о движении населения, сведения о сельском хозяйстве, культурный уровень помещиков, духовенства, крестьянства. По словам рецензента А. Андреева, Фрязинов не оставил без пояснений ни одного документа, охарактеризовав хозяйство московских служилых людей с XVII века¹⁷.

Выполненной работой С. В. Фрязинов гордился не без основания. «Архив усадьбы Волженских в Галичском уезде» – замечательный образец кропотливого источниковедческого анализа, освоенного в школе Московского университета.

Однако в родном городе историк оставался недолго. Много позднее в письме к коллеге С. И. Архангельскому он объяснял причины отъезда: «С “упразднением” истории М. Н. Покровским и ликвидацией института в Костроме осенью 1923 г. перебрался на жительство в Москву»¹⁸. Здесь он приобрел постоянное жилье на Садово-Кудринской улице, д. 24, кв. 10, где и был прописан до конца дней. В Москве с ним жили мать и брат, отец скончался еще в Костроме. Собственная семейная жизнь, видимо, не сложилась, его брак был недолгим, потомков не осталось.

Оказавшись в Москве, историк вынужден был приспособиваться к новым условиям жизни. В 1920-е гг. историческое образование в советской России претерпевало коренные изменения. В Московском университете вместо историко-филологического факультета с 1919 г. действовал факультет общественных наук (ФОН), готовивший преподавателей обществоведения. В 1925 г. его преобразовали в факультеты советского права и этнологический, где изучение истории было крайне ограничено. Найти место в системе высшей школы оказалось затруднительно. К тому же А. Н. Савин неожиданно скончался в январе 1923 г.

В Москве Фрязинов, по его собственным словам, «работал в качестве как научно-литературного работника (сотрудника Советской энциклопедии и педагогических журналов и сборников), так и педагога-практика (до начала 1931 г. – в техникуме, на спецкурсах, в школе II ст. и др.) и работника по повышению квалификации педагогов (с 1931 г. – районный лаборант по обществоведению, лектор курсов по подготовке слушателей райкомвуза к преподаванию обществоведения во II ст., лектор районного филиала городского вечернего педтехникума)»¹⁹.

¹⁷ Андреев. 1921.

¹⁸ ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 313. Л. 8.

¹⁹ ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 44. Д. 41. Л. 1.

Служба в школе была напряженной, о чем может поведать официальная справка, выданная 14.07.1930 г.: «Справка выдана Месткомом шк. 35 КИМ Сокольнического района тов. Фрязинову С.В. в том, что он, состоя на службе в школе 35 в качестве преподавателя обществоведения, несет большую общественную нагрузку: состоя руководителем историко-географического кружка семилетки, руководителем политкружка Спецкурсов; работает в школьной библиотеке; прикреплен и работает в школьном форпосте пионеров; состоит членом Президиума Школьного совета; членом Ревизионной комиссии Месткома. Работает в ударной группе «На работе с деревней» в колхозе Митино. Выступает с докладами и лекциями на подшефном производстве и на всех революционных празднествах и кампаниях в школе. Кроме того, проводит работу по учету соцсоревнования среди уч-ся школы»²⁰. Данный текст интересен набором общественных нагрузок советского школьного учителя-некоммуниста.

Работа с учениками действительно радовала Фрязинова, и выполнял он ее умело²¹. Обратим внимание на его статью, опубликованную в 1934 г. в журнале «История в средней школе». Номер журнала был полностью посвящен реализации постановления ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР от 16 мая 1934 г. «О преподавании гражданской истории в средней школе». Статья Фрязинова называлась «Из области методики исторической экскурсии»²². Экскурсионная работа в советской школе в 1920-е гг. велась активно²³, сформировались определенные методические приемы. Фрязинов, применяя их, давал практические советы по организации и проведению учителем экскурсии в музей, по местам революционных событий, рекомендовал учитывать возраст, знания, настрой школьников.

Курсы истории в ту пору преподавались в школах не систематично, лишь отдельные сюжеты из европейской истории интересовали чиновников от образования. Фрязинов, учитывая эти обстоятельства, выпустил ряд методических публикаций: «К проработке материала по всеобщей истории в восьмых группах школы II ст.», «К проработке тем по истории феодализма и промышленного капитализма на Западе», «Что читать по истории классовой борьбы преподавателю ФЗС», «К проработке тем по

²⁰ Там же. Л. 5.

²¹ О работе со школьниками Фрязинов в 1924 г. написал заметку «Впечатления от первого опыта» (перепись торговых и промышленных предприятий г. Москвы силами учащихся по заданию Госплана в 35 шк. Сокольнического района) в журнале «Вестник просвещения» (1924. № 4–6).

²² Фрязинов, Павлов. 1934.

²³ К примеру, об экскурсиях писал коллега Фрязинова по пединституту А. Н. Вершинский. См.: Дальние экскурсии по Тверской губернии. 1928.

истории Запада в средней школе». Журнал-учебник «Юный большевик» опубликовал его статьи о промышленном перевороте и чартистском движении в Англии. Обращает на себя внимание лексика педагога: ученики не изучали материал под его руководством, а прорабатывали. Слова «работа», «рабочий», «работать» – ключевые для того времени.

Преподавательскую деятельность Сергей Васильевич совмещал с сотрудничеством в Большой и Малой советских энциклопедиях²⁴ и педагогических журналах. В 1931 г. его зачислили рецензентом в Критико-библиографический институт (прежде Институт рекомендательной библиографии). Это учреждение находилось в системе ОГИЗа, но контролировалось Наркомпросом и выполняло оценки идеологического качества книжной продукции. У историка появилась возможность планировать свою исследовательскую работу и зарабатывать, публикуя рецензии и аннотации на вновь выходящие исторические издания.

Научные занятия Фрязинова в те годы связаны с Институтом истории РАНИОН, находившимся под началом академика Д. М. Петрушевского. В нем работали молодые аспиранты А. И. Неусыхин, Б. Ф. Поршнев и опытные историки, ровесники Фрязинова и тоже ученики А. Н. Савина, – Е. А. Косминский, В. М. Лавровский, С. Д. Сказкин, составившие «костяк» будущей советской медиевистики²⁵. В Институте истории передавались опыт и знания от прежней российской научной школы, шло интеллектуальное общение со сверстниками, обсуждались актуальные научные проблемы²⁶, в том числе история Французской революции.

На заседаниях Института истории (даты неизвестны) С. В. Фрязинов прочитал доклады «Влияние Парижской коммуны на исторические взгляды Тэна» (объем 7 п.л.)²⁷ и «Из начальной истории духовного развития И. Тэна» (объем примерно 1,5 п.л.) и подготовил их к печати.

Знания, полученные в семинарах А. Н. Савина, и участие в работе Института истории, позволили Фрязинову еще в 1926 г. написать научно-популярный очерк «Великая французская революция», изданный в 1927 г., к 10-летию Октябрьской революции. Книга не претендовала на

²⁴ Статьи исторического содержания за подписью С. В. Фрязинова можно прочитать в электронных изданиях энциклопедических словарей.

²⁵ См.: *Вайнштейн*. 1968. С. 42–45.

²⁶ О работе Института истории см.: Памяти Александра Николаевича Савина. 1926. Имени С. В. Фрязинова в этом сборнике нет, но в его личных документах ссылки на указанные доклады имеются.

²⁷ Машинописная копия доклада «К вопросу о влиянии Парижской коммуны на Ипполита Тэна» (объем 52 с.), датированная 1933 г., сохранилась. См.: ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 1. Д. 382.

оригинальность научных построений или выводов и не основана на широком самостоятельном изучении источников, как признавался автор в предисловии²⁸. Хорошо знакомый с достижениями «русской школы» изучения Великой французской революции и знающий французскую литературу Фрязинов видел свою задачу в том, чтобы «дать по возможности доброкачественный и живой общий очерк революции для широкого читателя». Он был убежден, что знание событий Французской революции необходимо русскому читателю, потому что, «борясь с темными сторонами прошлого, рабочий класс не может, не должен забывать об этом прошлом, наследником которого он является, и в котором есть немало увлекательных, захватывающих страниц». Сравнение Французской и Русской революций не было открытием Фрязинова, книга соответствовала духу того времени и была допущена Государственным ученым советом (ГУС) Наркомпроса для библиотек школ и взрослых, что, кстати, послужило одним из оснований для присвоения автору степени кандидата исторических наук без защиты диссертации.

В 1939 г. у Фрязинова появилась еще одна возможность высказаться публично об уроках Французской революции²⁹. К ее 150-летию популярный иллюстрированный «Исторический журнал», посвященный вопросам гражданской истории, опубликовал цикл статей. Авторами стали известные историки-марксисты А. Молок, Ф. Хейфиц и др.³⁰. Фрязинов написал большую и хорошо иллюстрированную статью о якобинской диктатуре, излагая ход событий 1793–1794 гг. Хотя статья имела ссылки на сочинения В. И. Ленина, К. Маркса и Ф. Энгельса, однако марксистская методология просматривалась в ней слабо, кроме несколько абзацев в конце статьи. К примеру, «марксизм-ленинизм видит подлинную причину поражения якобинцев в классовой ограниченности буржуазной революции. Якобинцы выполняли историческую миссию самого передового отряда буржуазной революции» и т.д. Современный историк мог бы увидеть в них определенную идеологическую направленность автора статьи. На самом же деле концовка статьи при-

²⁸ Фрязинов. 1927. Экземпляр книги был подарен автором библиотеке Калининского пединститута.

²⁹ Оценка работ С. В. Фрязинова имеется в современных историографических работах. См.: Гордон. 2009.

³⁰ Позднее журнальные статьи составили большой академический труд: Французская революция 1789–1794 гг. 1941. С. В. Фрязинов написал разделы: Якобинский блок (осенью 1793 г.); Борьба вокруг «дехристианизации»; Обострение борьбы между эбертистами и робеспьеристами по вопросам максимума, системы террора, внешней политики; Распад якобинского блока. Падение эбертистов и дантонистов.

надлежала редактору, о чем позднее Фрязинов сообщил в письме В. Т. Илларионову. По его словам, «несколько десятков строк в конце ее представляет собой публицистическое дополнение, внесенное редакцией журнала без ведома автора»³¹. Не надо пояснять, что для 1939 г. редакторская правка была необходима, она текстуально совпадала с указаниями Сталина по конспекту учебника Новой истории. Фрязинов же с этим «публицистическим» дополнением явно был не согласен, и ему было безразлично мнение коллег об уровне его научной продукции.

Как мы уже упоминали, С. В. Фрязинов продолжил тему своей магистерской диссертации в 1930-е гг. В тексте, датированном 1933 г., объяснялась мотивация нового обращения к творчеству Ипполита Тэна: «Драма нашей русской революции имеет целый ряд точек соприкосновения с историей Парижской коммуны, и вопрос о Коммуне и Тэне невольно напрашивается на сопоставление с вопросом гораздо более актуальным, особенно для первых лет нашей революции, о влиянии Октября на мировоззрение нашей интеллигенции»³². В начале 1940-х гг. историк подготовил текст диссертации, предполагая защитить ее как докторскую³³. Диссертацию «Ипполит Тэн и Парижская коммуна» (465 страниц)³⁴ Фрязинов подготовил к 1946 г., но до защиты дело не дошло.

Вернемся к началу 1930-х гг. Не найдя места в вузах Москвы, Фрязинов стал искать преподавательскую должность в ближайшей провинции. По рекомендации старых знакомых по Костроме профессоров П. Н. Груздева и М. Г. Кадека, служивших в Наркомпросе и сообщавших ему о вакансиях, он обратился в феврале 1933 г. с заявлением на имя директора Калининского пединститута³⁵. В Твери (переименована в г. Калинин в ноябре 1931 г.) Фрязинов проработал с февраля 1933 по

³¹ ЦАНО. Ф. 6161. Оп. 1. Д. 390. Л. 6 об.

³² См.: ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 1. Д. 382.

³³ Даты на рукописи нет. В 1949 г. Фрязинов сообщал Архангельскому: «после войны (в 1946 г.) закончил давно начатую работу (21 печатный лист) – «Ипполит Тэн и Парижская коммуна». Эта работа по историографии французской буржуазной революции конца XVIII в. дана мною теперь на просмотр некоторым специалистам для определения, в какой мере она может по теме и выполнению служить основой докторской диссертации» (ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 313. Л. 8 об.).

³⁴ Рукопись Фрязинова «Ипполит Тэн и Парижская коммуна» (хранится в Архиве Музея Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского) копирована студенткой исторического факультета Нижегородского государственного университета Александрой Владимировной Поляковой.

³⁵ См.: ГАТО. Р-1213. Оп. 44. № 41. Л. 1. Будущий академик Матвей Георгиевич Кадек в 1929–1931 гг. был директором пединститута в Твери, и его рекомендация (она имеется в Личном деле), несомненно, помогла Фрязинову.

сентябрь 1938 г. Калининский пединститут был открыт еще по решению Временного правительства, но собственными кадрами обзавестись не успел, поэтому для чтения лекций часто приглашались профессора из Москвы. Первым профессором-всеобщником был Н. И. Радциг, читавший лекции с 1919 г. Приезжали в 1920-е гг. и будущие известные медиевисты С. Д. Сказкин и Н. П. Грацианский. С ними Фрязинов не раз встречался в Москве на заседаниях в Институте истории. После отъезда Сказкина в 1932 г. Фрязинов занял вакантное место преподавателя истории Запада. Карьера в Калининске складывалась удачно: 27 марта 1934 г. он был утвержден в звании «доцента истории Запада», в сентябре 1935 г. представлен «к ученой степени кандидата наук, как лицо, имеющее научные труды, по своему содержанию и значению отвечающие требованиям оформления в ученой степени без защиты диссертации»³⁶. Правда, присудили ему ученую степень только 19 июня 1938 г., что было связано со сменой кадров в Наркомпросе из-за многочисленных репрессий.

Как же складывались отношения Фрязинова с коллегами по кафедре? Как он ощущал себя в Калининском пединституте? Сведений об этом у нас мало, но делопроизводственные документы показывают, что на кафедре истории в те годы преподавали М. А. Розум, А. Н. Вершинский, В. Н. Тарасов, П. М. Травин, О. И. Бершадская, Д. И. Панкратов, Ф. Храмцов. Все они были почти ровесниками Фрязинова, двое имели университетское образование, но, пожалуй, лишь А. Н. Вершинский мог быть интересен Фрязинову в общении. Выпускник Петербургского университета, он преподавал в пединституте русскую историю и краеведение³⁷. Серьезными научными исследованиями по всеобщей истории в те годы в Калининском пединституте занимался только Фрязинов.

По имеющимся в архиве кафедральным документам³⁸ установлено, что в разные годы доцент Фрязинов читал курсы по истории доклассового общества и Древнего Востока, истории Средних веков, проводил практические занятия. На заседаниях кафедры истории он выступал с обсуждением новых учебных программ, ему поручали ознакомиться с опытом проведения практических занятий в московских вузах. Фрязинов руководил студенческим кружком, читал лекции учителям Калининской области, выезжал в отдаленные города, в частности в Великие Луки. В кафедральном отчете за 1936 г. указано, что всего членами кафедры истории (6 человек) прочитано для учителей 38 лекций, из них Фря-

³⁶ См. копии документов, направленные в квалификационную комиссию УПУ Наркомпроса РСФСР: ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 44. Д. 41. Л. 29.

³⁷ Профессор Анатолий Николаевич Вершинский. 2005; Воробьева. 2008.

³⁸ ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 10. Д. 13; Д. 16.

зиновым – 21³⁹. Выступал он с докладами и на заседаниях кафедры. Так, в 1936 / 37 уч. году было прочитано сообщение «Происхождение египетского государства»⁴⁰. В порядке связи с учреждениями Москвы Фрязинов вел переговоры с рядом московских профессоров относительно приглашения их в Калинин для чтения лекций на исторические темы. В результате состоялись лекции В. М. Лавровского «Англия XVI–XVII вв.» и В. К. Никольского по истории доклассового общества⁴¹.

О лекторской работе Фрязинова тех лет имеется интересное свидетельство. Так, на одном из заседаний кафедры студентка Климова говорила, что «лекции бывают или насыщенные содержанием и обоснованы методически (пример лекции Фрязинова, который как никто использует наглядные пособия и обычно связывает материал с современностью), или с трудом записываемые, не выделяющие основных вопросов и мало иллюстрированные»⁴². Выступившая студентка рекомендовала преподавателям «придерживаться метода т. Фрязинова».

За годы преподавания в Калининской научная активность Фрязинова не ослабла. Продолжая тему «Ипполит Тэн и Парижская коммуна», он писал и статьи для критико-библиографического журнала «Книга и пролетарская революция», вероятно, числясь в штате рецензентов. Обратим внимание на его рецензию первого тома перевода «Истории XIX века» под редакцией Лависса и Рамбо⁴³. Не имея марксистских трудов по всемирной истории, советские издательства обратились к переизданию дореволюционных книг. Автор рецензии задавался вопросом: насколько новое издание стоит на уровне современной исторической науки, как в методологическом отношении, так и в смысле объема и ценности фактического материала? Отвечая на него обстоятельно и приводя множество аргументов, Фрязинов заключал: «...фактический материал рецензируемой книги может иметь известное значение, но методологически книга для советского читателя неприемлема, и необходимо, чтобы следующие тома ее снабжались обстоятельными вводными статьями критического характера». Он приводил новые оценки ряда важных событий европейской истории. В частности, подробно оценивал континентальную блокаду времен Наполеона и, опираясь на

³⁹ ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 10. Д. 16. Л. 14.

⁴⁰ Там же. Л. 5.

⁴¹ ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 10. Д. 16. Л. 5; Д. 13. Л. 12.

⁴² ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 1. Д. 370. Л. 178.

⁴³ См.: *Фрязинов*. 1938а. Примечательно, что в № 5–6 того же журнала на это издание была опубликована рецензия В. М. Хвостова, Р. А. Авербуха и С. В. Кана под броским заголовком «Ценное пособие по истории XIX в.».

книги Е. В. Тарле, недоумевал, почему редакция не обратила внимание читателей на новейшие исследования этого вопроса. Недостатки издания 1937 г. были видны не только Фрязинову. Вскоре пришлось готовить второе издание, его редактором назначили недавно вернувшегося из ссылки Е. В. Тарле, который обещал, что все дефекты будут устранены.

Историю Франции XIX века и ее изложение русскими и французскими авторами Фрязинов знал хорошо, у него была возможность работы в библиотеках Москвы. В его деле есть копия подписанного директором Калининского пединститута 22 октября 1934 г. Отношения в Институт Маркса–Энгельса–Ленина с просьбой «выдать проживающему в Москве доценту С. В. Фрязинову билет на право посещения читального зала Института, чтобы обеспечить тов. Фрязинову возможность ознакомления с иностранной литературой по его специальности (история Запада) и подготовки научных работ и лекционных курсов для студентов института»⁴⁴. Критические размышления о новых изданиях он публиковал в печати: о книге Е. В. Тарле «Жерминаль и прериаль», об издании О. Л. Вайнштейном избранных сочинений Огюстена Тьерри⁴⁵.

Опасаясь, что степень кандидата ему не присвоят без защиты, Фрязинов приступил к исследованию новой проблемы «Принцепс, аристократия и сенат в Древнем Риме времени Нерона», предполагая защитить ее зимой 1938 г. в качестве диссертации. Ученую степень он вскоре получил, а подготовленное исследование оформилось в статью⁴⁶. Позднее в письме к С. И. Архангельскому Фрязинов так оценивал свои труды: «Общая тематика моих работ... пестра – но так уж складывалась жизнь, особенно в связи с работой в провинциальных институтах, где в порядке “педагогической нагрузки” превращают преподавателя, за недостатком людей, в своеобразного “универсала”»⁴⁷.

В представленной для получения ученой степени характеристике читаем: «Доцент истории С. В. Фрязинов, преподаватель курса история Запада, проявил себя как опытный и знающий специальность преподаватель, сумевший передать систематизированные знания по истории студентам на высокой научно-выдержанной основе. Тов. Фрязинов имеет достаточно научных трудов, характеризующих его как научного работника, обладающего большой эрудицией и самостоятельностью в ис-

⁴⁴ ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 44. Д. 41. Л. 27.

⁴⁵ См.: Книга и пролетарская революция. 1938. № 5–6. С. 149–157. Заметка «Огюстен Тьерри и его сочинения» подписана инициалами С. Ф. Автор не называл ее в списке трудов.

⁴⁶ Фрязинов. 1940.

⁴⁷ ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 313. Л. 5 об.

торических исследованиях. Будучи историком Запада, т. Фрязинов хорошо знает иностранную литературу, связанную с тематикой его научной работы. Тов. Фрязинов безотказно выполняет общественную работу, поручаемую ему месткомом и кафедрой истории, выступая на различного рода собраниях и заседаниях с научными докладами; особенно ценна его работа с учительством». ⁴⁸ Эта характеристика составлялась профессором А. Н. Вершинским, коллегой и ровесником Фрязинова.

Но имелась в деле и другая характеристика: «Академическая подготовка хорошая, но преподавание методически безхребетно, однако следует отметить большое стремление тов. Фрязинова овладеть методологией марксизма-ленинизма» ⁴⁹. В 1936 / 37 уч. г., обсуждая на заседании кафедры вопрос об «обеспечении читаемых на факультете курсов истории», завкафедрой указывал, что «отдельные вопросы давались не на достаточно высоком идейном уровне» – преподавателям С. В. Фрязинову и В. Н. Тарасову вменялось, что, давая студентам большой фактический материал, они не всегда «хорошо и исчерпывающе его обобщали, используя для этого высказывания классиков марксизма-ленинизма» ⁵⁰, не уделяли должного внимания роли классовой борьбы. Указывалось, что Фрязинов «возникновение государств Древнего Востока объяснял географическими и природными условиями, а Тарасов отрицал наличие аппарата угнетения в древней Греции и Риме».

Фрязинов стремился «исправиться» и в отчете следующего учебного года (1937 / 38) писал: «В соответствии с задачей усиления общественно-политического воспитания студенчества мною обращалось при производстве испытаний внимание на ознакомление студентов с основными относящимися к читаемым курсам работами основоположников марксизма-ленинизма... Для повышения собственной квалификации в этой области (в дни работы марксистских кружков института я не бываю в Калининe) мною намечается в порядке индивидуального плана систематический просмотр первых 4–5 томов полного собрания сочинений Маркса и Энгельса с целью возможно более широкого извлечения из них и использования относящихся к читаемым курсам высказываний их – с тем, чтобы продолжить эту работу и в дальнейшем» ⁵¹.

Приведенный пассаж из отчета преподавателя – не есть отписка, Фрязинов действительно интересовался работами Маркса: Маркс и Энгельс не раз писали о Французской революции, и их суждения стоило

⁴⁸ ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 44. Д. 41. Л. 35.

⁴⁹ Там же. Л. 25.

⁵⁰ ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 10. Д. 16. Л. 6.

⁵¹ ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 10 (41). Д. 13. Л. 10.

знать русскому историку. Читая лекции по периоду так называемого первоначального капитала, преподаватель должен был знать основные идеи «Капитала», которые, заметим, объяснял студентам еще его учитель А. Н. Савин⁵². Рекомендовалась студентам-историкам и книга Энгельса «Крестьянская война в Германии». Интересовала преподавателя провинциального вуза и работа его столичных коллег по публикации «Хронологических выписок» Маркса (этим занимался Е. А. Косминский). Уместным «открытием» для советских историков стало издание работ Энгельса о древних германцах. Но принимал ли Фрязинов тезис о классовой борьбе как движущем факторе в истории?

Несомненно, Фрязинов был материалистом, и свои социологические построения он выстраивал на основе фактов экономической жизни, что заметно уже по его первой публикации. Как вузовский преподаватель он был убежден, что «надлежащее изучение истории предполагает конкретное изображение прошлой жизни... а для этого необходимо общее знакомство не только с историей техники, но и историей материальной культуры в широком понимании»⁵³. Однако его понимание материалистического метода не очень-то гармонировало с тем, что предлагал марксизм-ленинизм. Критические рецензии Фрязинова, делопроизводственные документы кафедры истории Калининского пединститута показывают, что в те годы его более всего заботила методика преподавания истории. К этим материалам следует отнестись с должным вниманием: ведь это было начало формирования советского вузовского исторического образования. Проанализированные архивные и опубликованные документы расширяют корпус источников по истории советской науки, образ «востребованной временем истории» корректируется.

Объявив в мае 1934 г. о преподавании гражданской истории в школе, советские чиновники в возглавляемом А. С. Бубновым Наркомпросе разработали ряд конкретных документов. В 1934 / 1935 уч. г. были составлены и разосланы на места учебные планы и программы для исторических факультетов педагогических вузов.

Программы лекционных курсов составлялись и прежде. Так, еще в 1930 / 1931 уч. г. преподаватель Калининского пединститута будущий академик-медиевист С. Д. Сказкин был обязан представить программу курсов по истории Западной Европы в эпоху феодализма и раннего европейского капитализма. Но теперь государство впервые предлагало всем работать по единому стандарту. В дела Калининского пединститута вши-

⁵² Савин. 1908.

⁵³ Фрязинов. 1935. С. 125.

та копия статьи некоего Л. Ефременко «Об основах перестройки учебных программ» (Народное образование. 1930. № 4). В ней осуждалась практика самостоятельной выработки преподавателями программ. При этом объяснялось, что профессура именно педагогических вузов до сих пор считает революционные воззрения большим пороком для научной квалификации, а консервативность возводит в добродетель и научную заслугу. Отсюда предлагались основные принципы программ, которые должны «конструироваться на основе диалектического материализма».

Проекты новых централизованных программ, авторы которых не указаны в экземплярах, хранящихся в делах пединститута⁵⁴, предлагалось обсудить в коллективах. На заседании кафедры истории (таково ее название до 1939 г.) выступал и Фрязинов⁵⁵. Свое представление о новых учебных планах и программах (с учетом мнения коллег по кафедре) он предложил и для публикации в журнале «Борьба классов»⁵⁶.

Какие достижения увидел преподаватель в сравнении с программами 1933 / 1934 уч. г.? Увеличилось количество часов, был расширен объем программ, достигнута большая систематичность в группировке материала. Но критических замечаний оказалось больше. Фрязинов отмечал, что в новых программах «распределение часов производится чисто механически с целью подогнать их число на каждом курсе к требуемой общей сумме». Так, предлагалось на первом курсе изучать историю доклассового общества Востока и Греции, а также историю Средних веков, история же Рима переносилась на 2 курс, поэтому «принцип изложения событий в генетической и хронологической связи оказывался нарушенным»⁵⁷. «История народов СССР» обгоняла историю Запада: «О феодализме в России студенты услышат на лекциях раньше, чем о феодализме в Западной Европе». Историю ВКП(б) предлагалось изучать до того, как «студенты прорабатывают углубленно материал по соответствующим разделам русской истории». Фрязинов отмечал нецелесообразность изъятия из программ источниковедения как самостоятельного предмета, поскольку это привело бы к «понижению уровня проработки источниковедческого материала». Хорошо зная школьный учебник, он подметил, что вузовские «программы менее углублены, чем программы средней школы, а, казалось бы, должно быть все наоборот».

⁵⁴ См.: ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 10. Д. 12. Л. 119–127.

⁵⁵ Подробно см.: Воробьева. 2011.

⁵⁶ См.: Фрязинов. 1935. Собственно, нам неизвестно, кому принадлежала инициатива такой публикации, но вспомним, что Фрязинов еще в 1931 г. был зачислен рецензентом в Критико-библиографический институт.

⁵⁷ Фрязинов С. 1935. С. 125.

Обращал внимание Фрязинов и на скудость рекомендуемых списков литературы, которые не включали иностранные издания, а «литература, предназначенная для преподавателей, ничем не отличалась от литературы, рекомендуемой для студентов». Эти соображения были разумны и логичны. Критические замечания Фрязинова касались и содержательной части программ. Он заметил упоминание в них частных, маловажных имен исторических деятелей (броунисты в Англии, папа Григорий IX) и отсутствие упоминаний Данте, Томаса Мора, Кампанеллы. Важно, что автор рецензии не допускал идейной проработки, а искренне стремился к улучшению вузовского преподавания.

Вскоре выяснилось, что обсуждение программ для преподавателей не закончилось. 27 января 1936 г. появилось сообщение, что в Совнаркоме и ЦК ВКП(б) обсуждались «ошибочные исторические взгляды, свойственные так называемой исторической школе Покровского»⁵⁸. Вузам было дано указание уже не оценивать качество программ, а искать в них вредительство. В отчетах преподавателей кафедры истории Калининского пединститута мы обнаружили результаты такой проверки. Фрязинов, в отличие от коллег, сообщал в мае 1938 г.: «Программы, по которым велись курсы, я склонен считать удовлетворительными, и элементов вредительства в содержании программы мною не обнаружено, да и составлены программы лицами, пользующимися известным научным авторитетом и работающими до настоящего времени в московских вузах. Вопрос можно ставить лишь о внесении в программы Наркомпросом некоторых частичных дополнений»⁵⁹. Что же предлагал Фрязинов? «Мне казалось бы целесообразным дать в курсе средних веков некоторые сведения по истории Италии второй половины XVI и XVII вв. и включить в программу характеристику Франции в период правления Людовика XV и так наз. “просвещенного абсолютизма” в государствах Германии XVIII в.». Итак, некоторая самостоятельность при выполнении решения Наркомпроса у кафедры все же оставалась, но каждый шаг преподаватель был обязан согласовывать с начальством.

Для реализации постановлений партии и правительства нужны были марксистские учебники. Борьба вокруг их написания показала, что школьные и вузовские учебники истории становились важным инструментом идеологического воздействия власти, а издание – фактом появления новой марксистской концепции исторического процесса⁶⁰.

⁵⁸ См.: Артизов. 1994; Дубровский. 2005.

⁵⁹ ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 10. Д. 13. Л. 11.

⁶⁰ См.: Кондратьева. 2010.

Советские медиевисты начали с выпуска учебников для школы, учитывая дореволюционный опыт Виноградова, Васильева, Виппера и, возможно, Д. И. Иловайского. Каким должен быть вузовский учебник, кажется, не знал никто. Прежде публиковали только курсы лекций профессоров, их-то и использовали авторы, расширяя и дополняя за счет событий, дат и имен школьные учебники. Каркасом учебников стала программа для исторических факультетов университетов и педвузов. Первыми издали учебники для студентов по истории Древней Греции и Рима, позднее вышел учебник по Средневековью. Фрязинов принял активное участие в их обсуждении, опубликовав несколько рецензий. Так, если в первом издании учебника по истории Греции проф. В. С. Сергеева (1934 г.) он нашел «грубые ошибки и искажения», то второе издание (1939 г.) больше удовлетворяло преподавателя Фрязинова, хотя он полагал, что «переработка не доведена до конца»⁶¹. Высказывал он и критические суждения об учебнике Сергеева по истории Древнего Рима (1938 г.)⁶². В целом же античники, по словам Фрязинова, преодолели влияние модернизаторов, и пособие В. С. Сергеева «отвечало задачам углубленного и серьезного исторического образования».

Вузовский учебник по истории Средних веков (первый том – под редакцией А. Д. Удальцова, Е. А. Косминского и О. Л. Вайнштейна, второй – под редакцией С. Д. Сказкина и О. Л. Вайнштейна) тоже рецензировался Фрязиновым⁶³. Обе рецензии скорее похожи на труд научного редактора. Обладая поразительной фотографической памятью, Фрязинов, не прибегая к справочникам, указывал на неверное написание дат, имен собственных, названий географических объектов, именованных властных должностей и проч. Таких ошибок было много. Больше всего досталось тексту, написанному А. Д. Удальцовым. Так, на 17-ти страницах главы «Арабы» Фрязинов насчитал более 20-ти грубых ошибок и неточностей. Но все же не это важно в рецензиях вузовского преподавателя. Фрязинов полагал, что «в пособии, предназначенном для высшей школы, должен быть значительно усилен источниковедческий элемент»; «студент должен не только усваивать определенную сумму знаний, но и приобретать навыки самостоятельной работы над источниками». Он отметил, что авторы учебника «поступили правильно, снабдив его указателем литературы к отдельным главам», но «следовало дать еще указания о важнейших источниках по каждому разделу курса с

⁶¹ Фрязинов. 1939в.

⁶² Фрязинов. 1938б.

⁶³ Фрязинов. 1939а, 1939б.

краткой характеристикой этих источников». Фрязинов вопрошал: почему в перечне литературы названа лишь одна работа акад. Д. М. Петрушевского, почему нет указаний на работы акад. А. Н. Веселовского, почему нет упоминаний о сонетах Петрарки, «Декамероне» Боккаччо?

Согласуясь с требованиями соответствующих документов партии и правительства, рецензент предлагал авторам учебника давать «биографический материал, свежий и колоритный, в марксистском освещении». По его мнению, первый том учебника «написан суховатым языком», относительно второго он заметил, что «изложение стало более живым».

Что касается необходимой оценки в применении авторами учебника марксистского метода, то Фрязинов не сомневается, что в «руках компетентных специалистов он, безусловно, дает плодотворные результаты». Под марксистским методом понимался «углубленный социальный анализ исторических событий», который, по мнению Фрязинова, авторы первого тома учебника применяли при рассмотрении борьбы Карла Великого с саксами, причин неудачи крестовых походов и других событий⁶⁴. Второй том давал гораздо больше возможностей для проявления социального анализа исторических событий: географические открытия, Реформация, Крестьянская война в Германии.

Как практикующий педагог, Фрязинов задумывался о возможности усвоения студентами обширного фактического материала и полагал, что авторы учебников должны делать его отбор. Он предлагал дополнять учебные пособия, особенно ориентированные на студентов-заочников, методическими указаниями, хронологическими таблицами, картами, планами проработки тем, иными словами, учебник должен иметь методическое сопровождение. В целом мы полагаем, что позитивные предложения Фрязинова были учтены авторами учебников, в рецензиях на последующие издания учебника не приведено столь значительное число ошибок⁶⁵.

Фрязинов любил своих учеников. В его отчетах о проведении экзаменов по древней истории можно прочитать детальнейшую характеристику ответов студентов и увидеть беспокойство за них. «Из слабых ответов студентов педагогического института некоторые принадлежали нацменам (студ. Тарба, Бамсахурдия, Джалиашвили), отстающим от группы отчасти в связи с довольно слабым знанием русского языка... Аккуратной была в педагогическом институте и явка студентов на ис-

⁶⁴ Заметим, что, по мнению современных историков, именно в характеристике Крестовых походов разошлись взгляды петербургских и московских медиевистов. См.: *Лебедева, Якубский*. 2008.

⁶⁵ Рецензии А. П. Каждана и А. Д. Люблинской в сб. «Средние века». Вып. 7.

пытания: только студентка Кельберер, находясь в здании института, не пошла держать экзамен, хотя, сколько можно судить по данным ранее производившегося коллоквиума, знала материал; с особого разрешения декана она явилась на экзамен 23 января, обнаружив познания отличные, так что становится очевидным, что несвоевременная явка ее на испытание объяснялась просто излишней нервностью»⁶⁶. Для студентов он привозил из Москвы учебники, покупал исторические книги⁶⁷.

Осенью 1938 г. Фрязинов неожиданно покинул Калинин. Неожиданно, так как, судя по его отчетам конца мая, уходить из пединститута он не собирался. В октябре 1938 г. директор Калининского пединститута Захаров даже указал в справке, что Фрязинов уволился без согласия дирекции 1 сентября, чем поставил в затруднение институт в начале учебного года⁶⁸. Возможно, Фрязинов получил вакантное место. На его место был принят по приказу профессор А. С. Башкиров (1885–1963), историк с трагичной судьбой⁶⁹, а вскоре в пединститут вернулся Н. И. Радциг. Таким образом, начальство могло не беспокоиться: преподавание всеобщей истории усилилось профессорами.

В Москве Фрязинов был принят на работу в областной педагогический институт на должность доцента по истории Средних веков, одновременно он преподавал студентам заочного отделения Московского педагогического института им. В. И. Ленина⁷⁰.

Во время Великой Отечественной войны Фрязинов оставался в городе, продолжая преподавание. В 1942 г. он – доцент Московского педагогического института иностранных языков, в 1943 / 44 acad. году читал историю раннего Средневековья и первого периода Новой истории в эвакуированном тогда на год под Москву Белорусском государственном университете. Кроме того, в Московском педагогическом институте иностранных языков Фрязинов читал курс по истории средневековой Испании, видимо, для студентов, специализировавшихся по испанскому языку. В эвакуированном в Подмосковье Белорусском университете Фрязинов читал лекции по новой истории из расчета 100 лек-

⁶⁶ ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 10. Д. 13. Л. 1 об.

⁶⁷ ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 10. Д. 13. Л. 1 об.

⁶⁸ Сотрудники Научной библиотеки ТвГУ просмотрели по нашей просьбе Инвентарную книгу и составили список изданий, приобретенных Фрязиновым по счетам. Их оказалось больше сотни. Большинство книг имеются в наличии и сегодня.

⁶⁹ См.: *Формозов*. 2006. С. 231–236. Заметим, А. А. Формозов не знал, что после ареста в 1935 г. А. С. Башкиров преподавал в Калинин с 1938 по 1948 г.

⁷⁰ Этот период жизни историка нам известен уже не по официальным документам, а по его письмам в Горький С. И. Архангельскому. См.: ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 313. Л. 8–14.

ционных часов (от Французской революции до Парижской коммуны). В годы войны он написал статью (2,5 п.л.) о Жанне д'Арк и возглавляемом ею движении и обсудил ее на заседании кафедры истории института иностранных языков⁷¹. На военные годы пришлось знакомство Фрязинова с членом-корреспондентом АН СССР С. И. Архангельским, который дружил с Е. А. Косминским, В. М. Лавровским, имел среди учителей, как и они, А. Н. Савина. Заядлый библиофил, Фрязинов, узнав о выходе перевода книги Анри Пиренна «Средневековые города и возрождение торговли» в июле 1941 г. в Горьком, каким-то образом нашел возможность обратиться к «автору» издания Архангельскому с просьбой о высылке труда. Тот переправил книгу, и завязалась переписка.

В 1949 г. Фрязинов обратился к Архангельскому с просьбой помочь найти работу в ВУЗах Горького без окончательного переселения туда. Свою просьбу он объяснял тем, что Московский педагогический институт иностранных языков переключился в преподавании истории на «новые времена (после Первой мировой войны)»⁷². Архангельский был первым деканом историко-филологического факультета, образованного в 1946 г. в Горьковском госуниверситете, и имел право формирования преподавательского состава. Он и посодействовал устройству Фрязинова на работу и приложил для этого немало усилий даже после того, как оставил пост декана в 1950 г.⁷³ Но сначала Архангельский навел справки у московского коллеги А. Г. Лушниково о причинах ухода Фрязинова из Московского педагогического института иностранных языков. Из письма Лушниково Архангельскому интересно следующее: «Раньше было известно, что он оставил ин-т, не находя целесообразным брать на себя *специальную* работу по усовершенствованию своей идейно-теоретической подготовки... С. В. Ф. знает хорошо литературу, относящуюся к методологическим установкам, но не умеет их применять... эрудиция и память у него чрезвычайные; студенты его очень любили за интересное изложение материала»⁷⁴.

В Горьковском университете С. В. Фрязинов преподавал с 1950 г. до начала 1959 г. Интересно совпадение. Среди его новых коллег в свое время истории Французской революции уделял внимание ученик Савина Архангельский. Недавно найдены упоминания научно-популярных работ последнего по этой теме в нижегородской периодике 1917–18 гг.;

⁷¹ ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 313. Л. 8 об. Текст этой работы недавно обнаружен А. В. Поляковой в архиве музея университета и готовится к публикации.

⁷² Там же. Л. 7–7 об.

⁷³ ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 313. Л. 11, 14 об., 15, 17, 17 об., 18, 20, 23.

⁷⁴ ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 214. Л. 246–246 об.

кроме того, в 1929 г. студентам в качестве тем дипломных работ он предлагал сюжеты из истории Французской революции.

Режим работы Фрязинова был напряженным: он приезжал на поезде в Горький, отчитывал лекции по новой истории Западной Европы или принимал зачеты и экзамены. Мог останавливаться у знакомых или непринудительно устроиться ночевать на диване в деканате. Он остался в студенческой памяти чудачком-ученым типа жюльверновского исследователя, увлеченным своим делом⁷⁵. Приведем несколько воспоминаний. «Сергей Васильевич Фрязинов – наш бессменный руководитель научной практики в Ленинграде, был человеком широчайшей эрудиции, потрясающей памяти и необыкновенной доброты. Как мы любили его, как близок был он нам, студентам! Именно под его влиянием я стала самостоятельно осваивать итальянский язык... Сергей Васильевич начал читать нам спецкурс “Итальянское Возрождение”... Сергей Васильевич читал интереснейшие курсы по средневековой Испании»⁷⁶. «Для тех, кто специализировался по Всеобщей истории, незабываем был Сергей Васильевич Фрязинов... Познаниями он обладал уникальными. Весь конспект лекции, который он приносил с собой в аудиторию, обычно умещался на крохотном клочке в четвертинку тетрадного листа, чтобы не отвлекаться от темы. Сергей Васильевич был частично парализован, говорил не очень внятно, но слушали его с огромным вниманием... Встретив его в московской библиотеке через много лет после окончания университета, я с удивлением обнаружил, что все основные сведения обо мне... и моих однокурсниках ему известны»⁷⁷.

По сути, сигналом к окончанию работы в Горьковском университете стала смерть С. И. Архангельского осенью 1958 г. Вот как описывал Фрязинов свой последний приезд в Горький в письме Н. И. Приваловой: «... в Горьком я был в последний раз, принимая экзамен в январе 1959 г. Находился я в Горьком всего три неполных дня... потратил день (второй. – *И. В., А. К.*) опять до ночи на экзамен и консультацию, на третий день проводил экзамен с утра до вечера, а по окончании его отправился прямо из университета на вокзал (только поел немного)... Ни в весеннем, ни в осеннем полугодии 1959 г. я занятий в Горьковском университете не имел, видимо, и впредь иметь не буду – место мое замещено, да если бы мне с осени 1959 г. и предложили что-либо, пришлось бы

⁷⁵ Из устной беседы с учеником С. В. Фрязинова в Горьковском университете, руководителем Центра военной истории России Института российской истории Российской академии наук академиком Г. А. Куманевым.

⁷⁶ Исторический факультет глазами выпускников и сотрудников. 2005. С. 3–4.

⁷⁷ Исторический факультет глазами выпускников и сотрудников. 2006. С. 12.

отказаться, уж нельзя было выезжать при печальном состоянии здоровья моей матери... в Горьком вряд ли придется еще побывать...»⁷⁸.

Осенью 1959 г. умерла мать Фрязинова. Он ремонтировал опустевшую квартиру, разбирал свою библиотеку, жил на пенсию и гонорары за публикации в энциклопедических изданиях, писал «мелочи» и рецензии для Большой Советской и Исторической энциклопедий («маленькие заметки», а это «небесполезно для кармана»)»⁷⁹.

Научные занятия, в которых появилась новая тематика, Фрязинов не оставлял до конца жизни. Из письма Архангельскому от 17 июля 1949 г.: «В последнее время веду работу над “Очерками по истории средневековой Испании”»; пока это листах на 20 печатных – лишь значительно расширенное изложение лекционного курса, читанного мною в институте иностранных языков, находящееся в сугубо черновом виде; помышляю о привлечении источников (в Москве кое-что из них имеется) и дополнительной литературы, и тогда это может быть, примет в большей степени “научнообразный” вид»⁸⁰. Рассматривая перспективу преподавания истории Испании, с 1945 г. Фрязинов стал учить испанский язык: «Еще не так давно, года 4 назад, пришлось, в связи с перспективой преподавания истории Испании в институте иностранных языков приняться за изучение испанского языка; овладевая им настолько, чтобы быть в состоянии читать историческую книгу на этом языке»⁸¹. Первые его статьи по истории Испании, опубликованные в Ученых записках Горьковского университета, посвящены малоисследованным крестьянским движениям в Кастилии XV в.⁸². В 1964 г. Фрязинов писал коллегам в Горький по поводу возможного сведения испановедческих штудий в книгу: «Ведь и международное положение, и судьбы такого раздела исторической науки, как история средних веков, сейчас темны, и гадания о будущем в этих сферах так же проблематичны, как предсказания Дельфийского оракула»⁸³. Возможно, еще одной причиной отказа от подготовки книги по истории средневековой Испании стало ухудшающееся самочувствие.

В 1970 г. почти 80-летний Сергей Васильевич «разбился в библиотеке», упав с высоты при ее описании. Судьба личной библиотеки опре-

⁷⁸ ЦАНО. Ф. 885. Оп. 1. Д. 277. Л. 6–6 об.

⁷⁹ ЦАНО. Ф. 6161. Оп. 3. Д. 202. Л. 5, 13; Ф. 885. Оп. 1. Д. 277. Л. 15 об.

⁸⁰ ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 313. Л. 9.

⁸¹ ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 313. Л. 9.

⁸² См.: *Фрязинов*. 1954. 1957. Высокую оценку исследований Фрязинова по социально-экономической, прежде всего, аграрной, истории Астурии, Леона и Кастилии находим в работах современных историков. *Пичугина*. 1975; *Савенко*. 2005.

⁸³ ЦАНО. Ф. 885. Оп. 1. Д. 277. Л. 9 об.

делилась: около 7 тысяч книг по истории Западной Европы и России были переданы университетской библиотеке в Горький. Еще 10 тысяч томов трофейных иностранных изданий стараниями Фрязинова было получено ею из резервных фондов московских библиотек⁸⁴. Таков был посмертный и бескорыстный дар историка Горьковскому университету, но этим даром нижегородцы, к сожалению, мало воспользовались.

Скончался Сергей Васильевич в Москве в 1971 г., отпевали его в православном храме, народу было так мало, что даже гроб несли женщины. Вспоминаются горькие слова коллеги по ГГУ, почти ровесника Фрязинова: «Н. П. Соколов, обращаясь к Фрязинову, говаривал, что Сергей Васильевич родился не в свой век: ему бы в Париж XVII века, чтобы стать украшением монастыря Св. Мавра (монахи которого проявили себя как глоссаторы и публикаторы древних текстов – преимущественно латинских и греческих)»⁸⁵.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Андреев А.* Рец. на кн. Архив усадьбы Волженских в Галичском уезде // Дела и дни. Петроград, 1921. С. 236–237.
- Артизов А. Н.* Судьбы историков школы М. Н. Покровского (середина 1930-х годов) // Вопросы истории. 1994. № 7. С. 34–48.
- Архив усадьбы Волженских в Галичском уезде // Труды Костромского научного общества по изучению местного края. Кострома, 1919. Вып. XIII. Второй исторический сборник. 326 с.
- Берельковский И. В.* Виктор Трофимович Илларионов // Записки краеведов. Горький, 1983. С. 150–154.
- Блонин В. А., Молев Е. А.* Медиевистика // Историческая наука в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского. Нижний Новгород, 2006.
- Вайнштейн О. Л.* История советской медиевистики. 1917–1966. Л., 1968.
- Воробьёва И. Г.* История издания журнала «Тверская старина» // Воробьёва И. Г. Славяно-Россика. Тверь, 2008. С. 366–376.
- Воробьёва И. Г.* Как преподавали средние века в провинциальном вузе // Средние века. 2011. В печати.
- Воробьёва И. Г., Кузнецов А. А.* Историк и педагог Сергей Васильевич Фрязинов (1891–1971) // Вестник ТвГУ. 2011. № 6. Серия: История. Вып. 1. С. 62–87.
- Григорьева Е. А.* Новые источники по биографии С. В. Фрязинова // Историография источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин: материалы XXII международной научной конференции. М., 2010. С. 184–186.
- Гордон А. В.* Великая французская революция в советской историографии. М.: Наука, 2009.

⁸⁴ Молев. 2006. С. 17.

⁸⁵ Цит. по: Кузнецов Е. В. 2008. С. 83.

- Дальние экскурсии по Тверской губернии. Тверь, 1928.
- Дубровский А. М.* Историк и власть: историческая наука в СССР и концепция истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930–1950-е гг.) Брянск: Изд-во Брянского гос. ун-та им. акад. И. Г. Петровского, 2005.
- Зюзина П. В., Кузнецов А. А., Пудалов Б. М. Н. И.* Привалова: судьба провинциального историка в XX веке // *Привалова Н. И.* Делопроизводство касимовских кабаков и кружечных дворов в XVII веке. Нижний Новгород, 2008. С. 3–24.
- Исторический факультет глазами выпускников и сотрудников. Нижн. Новгород, 2005.
- Исторический факультет глазами выпускников и сотрудников. Выпуск третий. Нижний Новгород, 2006.
- Колобов О. А., Кузнецов Е. В., Толстова Н. Н.* Я люблю мой истфак. Очерки. Нижний Новгород, 1996.
- Кондратьева Т.* Кое-что о том, как создавался учебник по истории Средних веков для школ (1934 год) // *Европа: Международный альманах.* Тюмень, 2010. Вып. 9. С. 73–79.
- Кузнецов А. А. С. И.* Архангельский (1882–1952). Вехи научного пути // *Пиренн А.* Средневековые города и возрождение торговли / Пер. с англ. С. И. Архангельского. Нижний Новгород, 2009. С. 146–168.
- Кузнецов Е. В., Меженин В. М.* Николай Петрович Соколов // Горьковский государственный университет: выдающиеся ученые. Горький, 1988. С. 126–136.
- Кузнецов Е. В.* Одна жизнь менялась на другую. Мемуары русского историка. Арзамас, 2008.
- Лебедева Г. Е., Якубский В. А.* Cafedra medii aevi: Материалы к истории ленинградской медиевистики 1930–1950-х годов. СПб., 2008.
- Молев Е. А.* Исторический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского в прошлом и настоящем // *Историческая наука в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского.* Нижний Новгород, 2006.
- Памяти Александра Николаевича Савина: Сб. статей. М., 1926 [Труды Ин-та истории (РАНИОН). Вып. 1].
- Пичугина И. С. С. В.* Фрязинов – видный советский исследователь средневековой Испании (1893–1971) // *Проблемы испанской истории.* М., 1975. С. 250–251.
- Профессор Анатолий Николаевич Вершинский. Дневник. Воспоминания / Предисл. И. Г. Воробьевой / Подг. И. Г. Воробьевой, Т. П. Сергеевой. Тверь, 2005.
- Резетин П. П.* Замечательные выпускники Костромской губернской гимназии // *Костромская старина / Историко-краеведческий журнал.* Кострома, 2006. № 19.
- Савенко Г. В.* О состоянии и перспективах изучения отечественной наукой истории права Испании X–XV веков // *Правоведение.* 2005. № 2. С. 227–248.
- Савин А. Н.* История Европы XVI века. (Общий курс). Коллективное изложение лекций, читанных в университете и Высших Курсах в 1908/9 уч. году. Москва, 1908.
- Савин А. Н.* Дневниковые записи 1914–1917 гг. // *Записки отдела рукописей / Рос. гос. б-ка.* М., 2004. Вып. 52. С. 179–256.

- Флейман Е. А.* Деятельность Костромского научного общества по изучению местного края в 1917–1930 гг. // Костромская земля: Краеведческий альманах Костромского общественного фонда культуры. Вып. 1 // http://moseva.cv.ua/text/html/kos_zem/vyp_1/soderzh.html (август, 2010).
- Формозов А. А.* Русские археологи в период тоталитаризма. Историографические очерки. М., 2006. С. 231–236.
- Французская революция 1789–1794 гг. / Под ред. акад. В. П. Волгина и Е. В. Тарле. М.; Л., 1941.
- Фрязинов С.* Великая французская революция. Научно-популярный очерк. М., 1927. 312 с.
- Фрязинов С., Павлов Л.* Из области методики исторической экскурсии // История в средней школе. 1934. № 4. С. 100–106.
- Фрязинов С.* О преподавании истории на исторических факультетах педвузов // Борьба классов. 1935. № 6. С. 125–127.
- Фрязинов С.* Переиздание «Истории XIX века» // Книга и пролетарская революция. 1938а. № 1. С. 95–100.
- Фрязинов С.* Новая книга о жерминальском и прериальском восстаниях // Книга и пролетарская революция. 1938б. № 5–6. С. 149–157.
- Фрязинов С.* Новое учебное пособие по истории древнего Рима // Книга и пролетарская революция. 1938в. № 10–11. С. 158–162.
- Фрязинов С.* Новый учебник по истории средних веков // Книга и пролетарская революция. 1939а. № 1. С. 78–84.
- Фрязинов С.* Новый учебник по истории XVI–XVIII вв. // Книга и пролетарская революция. 1939б. № 7–8. С. 74–76.
- Фрязинов С.* Новое издание «Истории Древней Греции» // Книга и пролетарская революция. 1939в. № 11. С. 83–86.
- Фрязинов С. В.* Принцепс, аристократия и сенат в Риме времен Нерона // Ученые записки исторического факультета Московского областного педагогического института. М., 1940. Т. 2. С. 187–245.
- Фрязинов С. В.* Из истории крестьянских движений в Кастилии времени становления абсолютизма // Ученые записки Горьковского государственного университета (УЗ ГГУ). Вып. 26. Горький, 1954. С. 75–91.
- Фрязинов С. В.* Некоторые данные о крестьянских движениях в Кастилии XV века (германдиносы и крестьянские гермаданды; движение в армии при Саморе и Торе // УЗ ГГУ. Вып. 43. Горький. 1957. С. 109–122.
- Кузнецов Андрей Александрович**, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры истории России Нижегородского педагогического университета; Dubrovnik@mail.ru.
- Воробьева Ирина Геннадиевна**, доктор исторических наук, профессор Тверского государственного университета; Dubrovnik@mail.ru.

Н. А. СЕЛУНСКАЯ

ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ ИДЕЙ

ВЕК ДЖОАККИНО ВОЛЬПЕ

Наследие историка Вольпе – это долгое эхо культуры Нового времени, которое Новейшее время то активно адаптирует, то пассивно, но неотступно сохраняет, – вплоть до нового удачного момента ре-актуализации. Рассматривать эту личность можно и нужно в связи с проблемами долгосрочного влияния и преемственности идей. Интеллектуальная биография Вольпе вписана в контекст формирования образа исторической науки, показаны силовые линии взаимодействия поля науки и поля политики.

Ключевые слова: *Ното academicus, историография, итальянистика, история научных школ, историческая биография.*

Проект, в русле которого запланировано данное исследование, посвящен изучению интеллектуальной среды и связей интеллектуальных сообществ Нового времени, способов трансляции наследия той эпохи, а также преодолению некоторых стереотипов описания и изучения интеллектуальной культуры моды в истории науки¹. Имеются ввиду как стереотипы, которые неизбежно и невольно создают исследователи, так и мифы, созданные упорным трудом интеллектуалов Нового времени (некоторые, на первый взгляд, совершенно фантастические идеи этого времени имели свойство воплотиться в реальность). Самый конец Нового времени и переход к эпохе так называемого Новейшего времени, кажется мне наиболее интересным периодом развития: моментом, когда были уже собраны воедино, как спелые плоды, идеи и принципы эпохи, и уже начинало проявляться то обстоятельство, что применять и переваривать эти плоды будет совершенно иной общественный организм.

В фокусе моего внимания – мифотворчество итальянского позитивизма и причудливая эволюция итальянского интеллектуала, которая будет рассмотрена на примере научной и общественной жизни историка Джоаккино Вольпе (Volpe), автора работ по итальянскому Средневеко-

¹ Исследование выполнено при поддержке 1) Федерального агентства по науке и инновациям в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.», государственный контракт 02. 740. 11. 0350; 2) РГНФ, в рамках проекта № 10–01–00403а «Идеи и люди: интеллектуальная жизнь Европы в Новое время».

вью и эпохе Рисорджименто. Хотя, скорее, это может быть названо революцией во взглядах: в диапазоне от монархизма до либерального марксизма, и от левых взглядов к фашизму.

Автор рассматривает эту публикацию, представляющую первые результаты работы, как *work in progress*, т.е. как исследование развивающееся, с открытой перспективой, хотя бы потому, что столь причудливая личность может преподнести в процессе изучения новые неожиданные открытия, касающиеся не только внутренней жизни этого деятеля и мыслителя, но и той эпохи, в которую Вольпе суждено было реализовать свой научный и личностный потенциал.

Вольпе родился в 70-е годы XIX столетия, и встретил рубеж веков, получив традиционную сумму знаний и представлений, свойственных культурному стандарту Нового времени. Однако творчески перерабатывать этот багаж знаний он принялся в совершенно особом и быстро меняющемся историко-культурном контексте. Тот исторический момент, с которым совпало обучение и начало научной карьеры молодого историка Вольпе, примечателен еще и тем, что собственно научная национальная школа историографии складывалась в Италии именно на рубеже XIX–XX вв. Несомненно, интересен этот этап развития и с точки зрения истории идей, поскольку общественный консенсус времени Рисорджименто и связанный с объединением позитивный настрой сменились духом пессимизма и активных поисков новой национальной идеи, а, следовательно, проявился новый спектр дискурсов.

Герой этого исследования достаточно давно был известен мне в связи со специальными исследованиями по истории средневековых институтов. Однако никогда прежде у меня не было намерения прояснить, какая именно биография, какая личность, стоит за рядом отсылок (обычно глухих) к списку статей по истории средневековой, преимущественно тосканской и южно-итальянской, коммуны.

Сразу отметим, что имя Вольпе знакомо кругу русских итальянистов (как медиевистам, так и историкам Нового времени) еще с советского периода, при том, что ни одна работа (и даже ни одна биографическая статья о нем) не переводилась на русский язык, чему были свои причины, о которых будет сказано ниже. Сейчас же обратимся к более общей и крайне важной для данного исследования проблеме.

Кажется невероятным, что до сих пор не проанализирована проблема описания жизни человека науки и общественного деятеля, который никогда не был забыт или недооценен современниками и ближайшими потомками, и чьи труды, чья память не подверглись *damnatio*,

несмотря на продолжительность жизни и творчества в сложном идеологическом контексте эпохи. Таков историк и деятель культуры Джоаккино Вольпе, проживший долгую – длиной в 95 лет (почти век!), интересную и счастливую жизнь, за которую успели несколько раз смениться моды, вкусовые предпочтения, политические режимы в Италии. Это человек, о котором известно очень многое – от записи при крещении² и писем к жене (как на заре брака, так и в старости)³ до энциклопедических статей, монографий, газетных публикаций.

Пожалуй, лучше всего казус изучения известного человека, биография которого наполнена связанными с этой известностью стереотипами восприятия, раскрыт в художественной литературе – в произведении В. Набокова «Дар», в котором лирический герой – поэт и писатель – одновременно творит и преодолевает стереотипы своего героя – властителя дум русской интеллигенции Чернышевского, прослеживая его путь через ряд говорящих бытовых моментов – обстоятельства крещения, годы учебы, написание произведений. Разумеется, такую полноценную и литературоцентричную биографию невозможно представить в журнальной статье, хотя задача остается соблазнительной, и пока никем не выполненной. Однако и в академических жестких рамках научной биографии творчество Вольпе представляет сложную задачу. Неоднозначный и яркий характер личности Вольпе, несомненно, требует рассмотрения его биографии в нескольких проекциях, внимания к некоторым малоизвестным деталям и умения абстрагироваться от широко известных, но сомнительных для непредвзятого исследователя мнений⁴.

² “Die 20 Februarii 1876. Ego infrascriptus baptizavi infantem natum ex coniugibus Iacobo Volpe et Bianca Mori cui impositum fuit nomen IOACHIM, Alfredus, Antonius. Patrinus fuit D. Antonius Canali. Vincentius Gualtieri – Parochus”. (Archivio Parrocchia Paganica – Liber Baptizatorum, Anno 1876.

³ Сайт Фонда Дж. Вольпе указывает, что презентация издания произошла (при скоплении публики и большом интересе к событию) совсем недавно – в 2010 г. <http://www.centrostudigvolpe.it/L'Aquila7marzo2010> – Presentazione del libro “Ritratto di Donna” di Gioacchino Volpe. Due lettere d’amore che Gioacchino Volpe ha scritto alla moglie, la prima un anno dopo il matrimonio, la seconda sette anni prima che lo scrittore morisse. (Письма Вольпе к жене, написанные вскоре – через год, после заключения брака и за 6 лет до смерти).

⁴ Из тех работ, в которых уделяется специальное, хоть и не преимущественное внимание наследию Вольпе, наиболее интересная принадлежит Овидео Капитани: *Capitani*. 1999. P. 305–321. Весьма любопытно сопоставление идей и творчества Вольпе и нескольких его коллег и современников: *Artifoni*. 1979. P. 273–299. См. также анализ влияния Вольпе на одного из самых видных историков-медиевистов послевоенного времени Эрнеста Сестана, который как бы ретроспективно проясняет идеи самого предшественника: *Vivarelli*. 1992. P. 69–93.

Наследие Вольпе, который был не только исследователем, но и мыслителем и публичным деятелем следует анализировать в широком историко-культурном контексте. Обычно на первый план выходит обзор течения либерального марксизма начала XX века в Италии, а также возникшей на рубеже XIX–XX вв. итальянской школы юридических и экономических исследований, к которой примкнул Вольпе. При этом в историографии не получает объяснения то известное обстоятельство, что некоторые представители данной школы затем успешно функционировали и в период распространения фашистской идеологии.

Дабы объяснить и описать эту проблему, необходимо одновременно и сузить горизонт, углубиться в конкретику: т.е., вместо общих вопросов эволюции либерального дискурса в науке, философии и культуре Италии, анализировать конкретную интеллектуальную среду – и одну, до сих пор научно-значимую тему. Эта тема – важнейшая в творчестве Вольпе – история средневековой коммуны. В плане научного осмысления феномена городской общины итальянских земель, Вольпе и его коллеги, проводившие исследования по медиевистике с рубежа столетий, имеют несомненные заслуги перед всей исторической наукой, даже если работы их были узкоспециальными. Это были пионеры междисциплинарных исследований, которые раскрывали возможности исторического и социологического интерпретирования правовых источников.

История коммуны как история определенного города или края изучалась эрудитами, знатоками древностей и архивов на протяжении многих веков. Этот этап позволил осуществить публикации важных (как для изучения социальной истории, так и для истории права) источников, а также произвести их комментирование, которое, однако, еще не может быть названо собственно аналитической историей⁵. Аналитическая история формировалась в Италии лишь в 1880–90-е годы, когда как молодой ученый формировался сам Вольпе и его будущие соперники и соратники. При этом краеведческий и историко-правовой дискурс по-прежнему преобладал. Краеугольным камнем, заложившим приоритеты итальянской школы историографии на весь XX век, следует признать тренд экономико-юридических исследований, представленных одновременно – идеологическими компонентами и технически совершенными иллюстрациями к заданной идеологией тематике, фундированными архивными изысканиями.

⁵ Выделим из исследований раннего периода общий труд по истории коммун южной Италии XII–XIX вв. (*Faraglia*. 1883). На него ориентировались и не без успеха пытались его превзойти историки поколения Вольпе.

Поскольку марксизм к тому времени стал если не влиятельным, то весьма модным интеллектуальным течением, и приобрел себе в Италии таких харизматических сторонников, как А. Лабриола, то неудивительно, что и в области изучения коммун проявилось такое направление, которое в современной историографии принято считать марксистским. Впрочем, «школу экономико-юридических исследований» (*scuola economica giuridica*), которой принадлежит вместе с Джоаккино Вольпе⁶ творчество таких историков, как Ромоло Каджезе⁷, Гаэтано Сальвемини⁸, по моему мнению, нельзя считать, ни идеологическим кружком, ни формальной научной школой с четкой иерархией старших и младших⁹. Это был институт в том расширительном понимании, которое появилось в гуманитарной науке недавно, т.е. не институт в административном смысле слова, а сообщество, причем временное и не локализованное в замкнутом пространстве, без четких вертикальных связей, зато скрепленное различными видами связей горизонтальных, личностных.

Взаимоотношения с политическими и идеологическими авторитетами у ученых-гуманитариев этой плеяды не носили подчиненного характера. Несмотря на встречающиеся в литературе эпитеты исторический материализм, «вульгарный марксизм» и «твердый марксизм»¹⁰, можно смело сказать, что это было творческое направление аналитической исторической мысли, не обусловленное узкими идеологическими рамками. Поэтому внутри группы ученых, которые занимались развитием этой аналитической истории, могло и должно было существовать определенное разномыслие, при сходстве некоторых интенций или модусов академической карьеры.

⁶ *Cervelli*. 1970. P. 40–80, 257–291, 375–424; *Violante*. 1970. P. IX-LVIII, poi nel n. 175; *Cervelli*. 1977; *Marinelli*. 1977. P.77–82.

⁷ *Capriglione*. 2000. *Ventura*. 1980–1981. P. 177–270; Estratto, Foggia, Editrice Apulia, 1981; *Volpe*. 1938. P. 145–150.

⁸ *Silva*. 1918; Rodolico, Gaetano Salvemini... 1957; *Sestan*. 1958. P. 5-43; *Sestan*. 1959; *D'Alessandro*. 1986. P. 139–197; *Artifoni*. 1990; *Moretti*. 1992, P. 203-245; *Moretti*. 1996. P. 19-68; *Il Medioevo di Gaetano Salvemini*, Convegno di studi, Università di Firenze. <http://www.storia.unifi.it/PIM/salvemini/default.htm>.

⁹ Формальной, но влиятельной школой того времени можно назвать, например, Пизанский университет, а также тесно связанную с ним Высшую школу в Пизе (*Scuola Normale Superiore*) – итальянский государственный центр высшего образования и научных исследований, который является самым престижным учебным заведением страны, начиная с 1810 г.), питомцем этой школы и был Вольпе.

¹⁰ См., напр., характеристику Дж. Ларнера: *Larner*. 1991. P. 8. Заметим, что оценка англо-язычного автора 90-х гг. XX в. практически не отличается от той оценки, которая была дана этому направлению исторической мысли в Италии периода зарождения фашизма: *Croce*. 1920. P. 323, 326; *Croce*. 1921. P. 257–258.

Вольпе интересует нас, поскольку это личность, не просто пассивно вписанная в контекст истории и истории науки, но именно актер эпохи, задавший несколько перспектив развития итальянской исторической науки и шире – культуры. Вольпе ярко и самобытно смотрится на фоне других интеллектуалов времени начала его научной и общественной карьеры – итальянских представителей позитивизма (Crivellucci), либеральных интерпретаторов марксизма (Logia, Labriola), точно так же, как затем он выделялся в среде интеллектуалов, приобретших влияние в период господства фашизма. Центральной для нас является личность Вольпе и его интеллектуальная биография: проблемы развития марксистской или фашистской идеи анализируются в связи с творческим становлением историка и общественного деятеля Вольпе, а не как основа взглядов или готовая система ценностных оценок, воспринятая историком. При этом задача реконструкции семейной истории героя или создания связного нарратива, традиционной биографии, здесь вовсе не ставится. Точно так же нас интересует не все работы Вольпе, а лишь избранная и под определенным углом рассмотренная библиография. Традиционные задачи биографического и библиографического поиска частично выполнены (в итальянской литературе), и было бы слишком упрощенной задачей – перенести этот пласт информации в русскоязычную среду путем прямого перевода. Кроме того, автора работы волнуют строго определенные переломные этапы биографии и логически не объяснимые поворотные моменты интеллектуальной эволюции Вольпе.

Условимся и о том, что нас интересует феномен личности историка, возможности его влияния на общество как историка и в качестве общественного деятеля, а не только возможное давление исторических обстоятельств на жизнь ученого. И, думается, прежде всего, требует объяснения континуитет влияния и авторитета Вольпе в итальянской культуре и исторической науке. Всплеск популярности интеллектуала, близкого властям и политическим победителям – понятный временный выигрыш, но из сведений об успешной карьере Вольпе при фашизме никак нельзя объяснить тот успех, который имели работы Вольпе как до, так и после падения режима, который он активно поддержал.

Моя задача – не описательная характеристика и суммирование данных о карьерных ступенях или изданиях трудов Вольпе, но попытка получить из этих данных некоторую скрытую информацию. Именно те аспекты, которые маргинализируются, замалчиваются, выносятся за скобки, дадут нам ключ к пониманию сформулированных вопросов.

Привлекает внимание то очевидное – но не объясненное! – обстоятельство, что этот политически и социально ангажированный персонаж

не был забыт с изменением идеологического климата. Ведь такой «актуальный» автор, как и остро модный писатель строго определенных десятилетий, как будто должен был бы оставаться в каком-то «своем» прошедшем времени. Однако имя и работы Вольпе продолжали существовать в интеллектуальной традиции¹¹ и даже экспортировались в иноязычные культурные среды: например, Вольпе как медиевист почитался среди советских итальянистов, несмотря на активный коллаборационизм историка с «враждебным» режимом (о чем, впрочем, умалчивалось при ссылках на его работы).

История интеллектуальной жизни может быть понята как история изменений функций и институций по производству символической продукции и самой структуры этой продукции, что соотносится с постепенным становлением интеллектуального и художественного поля, т.е. как история автономизации собственно культурных отношений производства, обращения и потребления. Одной из важнейших тем в этом производстве, по крайней мере, с начала Нового времени и по сей день, является воспроизводство символических ценностей, связанных с тем или иным мифом национальной истории. Речь пойдет о такой символической продукции и структуре воспроизводства этого символического мифологизированного капитала, который принимал формы «научного» дискурса, понятийного языка позитивизма или некоторых более или менее жестких разновидностей марксизма. При этом мы будем исходить из положения Пьера Бурдьё о том, что «в отличие от поля массового производства, которое подчиняется закону конкурентной борьбы за завоевание как можно более обширного рынка, поле ограниченного производства стремится *самостоятельно* создавать свои нормы производства и критерии оценки своей продукции, оно подчиняется закону конкурентной борьбы за чисто культурное признание со стороны коллег, являющихся одновременно клиентами и конкурентами»¹².

¹¹ Cervelli. 1968. P. 473–483, 596–616; *Idem*. 1969. P. 66–89; Cervelli. 1969. P. 496–534; Cervelli. 1970. P. 40–80, 257–291, 375–424; *Violante*. 1970. P. IX–LVIII, poi nel n. 175; Cervelli. 1977; *Marinelli*. 1977. P. 77–82; *Violante*. 1978. P. 153–184; *Violante*. 1985–1986. P. 301–317; *Artifoni*. 1990; *Artifoni*. 2007; <http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm> (июнь, 2011).

¹² Лаконичная и информативная работа «Рынок символической продукции», опубликованная на русском языке еще в 1993 г. (по этой публикации и дана цитата), на мой взгляд, до сих пор остается наилучшим ориентиром исследовательских стратегий для каждого, изучающего историю научных школ: *Бурдьё*. 1993; <http://bourdieu.name/content/rynok-simvolicheskoi-produkcii> (июнь, 2011). Не менее важен в этой связи труд П. Бурдьё *Homo academicus*; <http://bourdieu.name/content/bourdieu-pierre-homo-academicus> (июнь, 2011).

Именно такими характеристиками может быть описана группа интеллектуалов, интересовавшихся экономическими и правовыми особенностями средневекового общества под особым углом зрения – в свете актуальных доктрин социальной справедливости.

Научной компетентностью и исторической эрудицией, при ярком интересе к злобе дня и социально-политической ситуации итальянской действительности XX века (например, к проблеме юга¹³), отличались все представители той «историографической школы», к которой принадлежал Вольпе. Однако, думается, что уже изначально у Вольпе был нестандартный подход к проблеме юга, который мог сочетаться не с левой идеологией, а, напротив, с монархическими взглядами ученого, которые резко отличали его в академической и интеллектуальной среде, близкой Вольпе во всем остальном. К столь нестандартной для интеллектуала тех лет позиции, кроме всего прочего, определяющего личный идеологический выбор (происхождение, семья, авторитеты прошлого), могла привести ученого логика того исторического материала, с которым он работал: ведь в средневековье Юг Италии, имевший города-коммуны, но централизованный, объединенный под властью мудрого правителя, временами процветал больше, чем Тоскана, где происходила драматическая борьба между городами и внутри самих городских коммун. Вольпе, освоивший уже в своих ранних работах темы развития коммунальных институтов Тосканы и Юга, мог сделать из этих исторических примеров далеко идущие выводы¹⁴.

Нельзя сказать, что имя Вольпе затмило всю плеяду ученых, с которыми он находился прежде в творческом диалоге, и по научным ис-

¹³ Мериционализм как направление общественно-политической мысли зародился в 70-х гг. XIX в. на почве решения т. н. «Южного вопроса», поисков способа ликвидации отсталости Юга. Впервые эту проблему национального развития страны поставили деятели либерального течения мериционизма (С. Соннино, Л. Франкетти, а затем Дж. Фортунато и Ф. Нитти). В начале XX в. Г. Сальвемини и его последователи поставили «Южный вопрос» как крестьянский, считая, что для его решения необходимо ликвидировать феодальное землевладение. Сальвемини требовал всеобщего избирательного права и расширения представительства крестьян Юга в парламенте, с тем, чтобы способствовать осуществлению реформы.

¹⁴ *Volpe*. 1927 [Sansoni. 1958]. *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa*. Nuova ed. Firenze: Sansoni, 1970. (В эту позднейшую публикацию вошли наработки, сделанные еще в бытность Вольпе студентом в Пизе.); *Volterra: storia di vescovi signori, di istituti comunali, di rapporti tra Stato e Chiesa nelle città italiane nei secoli 11. –15*. Firenze: La Voce, 1923; *Lunigiana medievale: storia di vescovi signori, di istituti comunali, di rapporti tra Stato e Chiesa nelle città italiane nei secoli 11. –15*. Firenze: La voce, 1923; *Idem Corsica*. Milano : Istit. Edit. Scientifico, 1927.

торическим вопросам, и по общественным темам, но именно идейная эволюция и биография Вольпе дают наиболее яркое представление о том, насколько было не однородным и одномерным интеллектуальное пространство первой половины прошлого столетия.

Почему, при всем сходстве позиций и подходов к изучению истории итальянских земель и прежде всего ее общин с точки зрения юридических и экономических аспектов, именно Вольпе, а не, например, Ромоло Каджезе, наиболее близкий Вольпе коллега¹⁵, стал лидером поколения историков? Почему научная школа экономических и юридических исследований, которую раскололи непримиримые идеологические противоречия участников, хотя и потеряла харизму, но в глазах нового поколения историков оставалась постоянным источником отсылок и упоминаний, сохраняла авторитет в итальянской историографии на всем протяжении XX века? Почему, с другой стороны, не утратив научного признания, сама группа интеллектуалов, эта неформальная школа, перестала существовать? Не потому ли, что после 1920-х годов в Италии, как и в России, стало невозможным существование таких, достаточно автономных, интеллектуальных групп? Критерии значимости интеллектуального тренда обозначались уже не самими независимыми группами ученых и экспертным сообществом историков. Точнее сказать, критерии по-прежнему описывались учеными и в тех же научных и популярных изданиях, просто совершалось это с определенной санкции власти.

Таким образом, можно, на мой взгляд, охарактеризовать и ситуацию, сложившуюся без малого сто лет назад в Италии. Ключевую роль (как с самого начала века, так и в 1920-е годы) в развитии национальной школы историографии играли вопросы истории средневекового периода и, прежде всего, вопрос об общине (коммуне), как основе общественного развития итальянских земель на протяжении их истории.

Во многом именно для решения задачи более полного исторического описания средневековых итальянских коммун и был сформирован как интеллектуальное направление тренд экономико-юридических исследований, а далее общий подход позволил считать нескольких коллег-ученых членами особой интеллектуальной группы. В дальнейшем между одними коллегами, работавшими по сходным темам, сохранилось взаимодействие и взаимопонимание (например, Каджезе и Вольпе), а в других случаях происходил разрыв (тот же Вольпе и Сальвемини). И в том, и в другом случае особую роль играли не собственно научные претензии, а

¹⁵ См. рецензию Вольпе на основной труд Каджезе: *Volpe*. 1908, P. 263–278, 361–381; <http://ojs.uniroma1.it/index.php/lacritica> (июнь, 2011).

возникающие идеологические и даже политические противоречия: Каджезе под влиянием Вольпе включился в деятельность по интеллектуальному оправданию и обоснованию фашистской идеологии, а Сальвемини остался на платформе левых взглядов (хотя еще в 1911 г., вышел из социалистической партии) и далее проявил себя непримиримым и бескомпромиссным антифашистом¹⁶.

Основные аспекты истории, интересовавшие Вольпе и его коллег – история средневековой коммуны, история институтов и права, вписанные в контекст экономического и политического развития. Эти темы и проблемы, сформулированные в первой четверти века усилиями историков экономико-юридического направления, затем смогли стать равным образом актуальными для фашистской историографии. Индикатором новизны проблематики может служить история вопроса о начальных этапах средневекового развития городской общины.

Несомненно, Вольпе был одним из первых историков, высказавших тезис о новационном характере средневековой коммуны. Тезис этот не был представлен голословно, ему сопутствовала большая работа над источниками, свидетельствующими о конкретных формах воплощения новых принципов объединения. В настоящий момент он звучит более чем привычно, но в свое время отрицание извечного римского юридического характера средневековой общины, продолжавшей именоваться в источниках эпохи тем же термином, что и древнеримская община (*цивитас*), было достаточно смелым шагом. При этом ни сам исследователь, ни экономико-юридическая школа, к которой он принадлежал, ни в коей мере не грешили модернизацией исторических реалий и не пытались представить коммунальное движение в качестве буржуазной революции¹⁷.

С другой стороны, понимание коммуны как особой силы, актора истории стало возможным и вошло в научный и околонучный дискурс благодаря трудам рубежа веков, созданным относительно либеральными интерпретаторами марксизма. Также можно отметить некоторые параллели творчества Каджезе, а особенно Вольпе, и тех тем, которые стали актуальны в социологии и новейшей истории. Прежде всего, от-

¹⁶ «Непримиримый» Сальвемини подвергался аресту за критику фашистского режима, смог уехать в эмиграцию, где продолжал выступать с разоблачением и критикой фашизма, вернулся во Флоренцию после войны, где и возглавил университетскую кафедру, однако, судя по всему, не вычеркнул из списков рекомендованной литературы имена своих давних друзей-недрузгов, не инспирировал и не возглавил никакой охоты на ведьм.

¹⁷ Ссылаюсь на более доступное в России издание, хотя существует и более современное: *Volpe*. 1961. P. 85–118. (3 ed. – Roma, 1992).

метим, что историков экономико-юридического подхода интересовали массовые движения. Более того, логично хотя бы задать вопрос, если и не делать далеко идущих выводов о возможных интеллектуальных параллелях, о связях между подходами к изучению новых классов, появившихся на сцене итальянской истории в XIV–XV вв., и анализом новых социальных сил XX века. Вопрос о кризисах исторической эпохи ярко демонстрирует проявления кризиса в методологических подходах историков и является весьма показательным для раскрытия образа науки того или иного периода, поэтому данный аспект заслуживает особого внимания и отдельного обсуждения.

Мы отметим только ту точку развития, когда перестало быть положительной характеристикой существование достаточно автономных интеллектуальных групп, и взаимосвязь интеллектуала и власти стала осуществляться новым для XX в., но вполне традиционным для Нового времени способом, а сам образ науки стал создаваться более широким и популистским дискурсом, как, впрочем, уже было в истории науки, только не в XX в., а в эпоху Просвещения. Вольпе же принял самое активное участие в формировании нового научного, но идеологически и политически подчиненного дискурса, и – как кульминация – в создании к 1925 г. своеобразного манифеста фашистских интеллектуалов.

Для либерального интеллектуала это неожиданный поворот, даже слом, но что можно найти нетрадиционного в таком бурном сотрудничестве с властью, даже с конкретным государем, для интеллектуала Нового времени или Ренессанса? Немаловажно отметить и оценить разработку Вольпе концепции Рисорджименто, т.е. глобального описания-объяснения эпохи становления нации. В эту концепцию историк, сформировавшийся как медиевист, разумеется, внес «проблему корней» и исторических мотивов континуитета, которые современная академическая историография считает континуитетом ложным. Но, опять-таки, ничего странного и предосудительного в проповедовании этих идей не было и не могло быть для историка, который жил бы в эпоху Ренессанса или раннего Нового времени, а не писал бы о них в XX веке. Я не берусь судить о том, насколько осознанно и цинично или спонтанно производилась ре-актуализация этого дискурса интеллектуалами фашистской поры, в частности Вольпе, а просто отмечаю, что Вольпе использовал или реабилитировал более широкий спектр идей, которые, так или иначе, содержались в культурном наследии Нового времени.

Эти идеи своеобразного медиевализма или «возрождения ренессансного духа народа» не изобретались, а выносились на поверхность

того многослойного интеллектуального потока, которым изначально был снабжен любой образованный наследник культуры Нового времени. Почему собственно Вольпе должен был жестко ассоциировать себя с интеллектуальной средой и направлением экономико-юридической школы начала XX века, с интеллектуальным и общественно-публицистическим дебютом, а не с годами обучения, не с воспитавшей его Нормальной школой в Пизе, детищем Наполеоновского образовательного проекта? В чем собственно этот образовательный проект драматически расходился с курсом культурной политики Муссолини?

Думается, Вольпе обладал свойством актуализировать и приспособлять к новой конъюнктуре, к меняющейся общественно-политической ситуации идеи из своего культурного багажа и делал это быстрее и успешнее, чем многие его современники, притом, что изначально этот культурный багаж был общим. Не стоит давать скоропалительные оценки и уверять, что эта интеллектуальная стратегия была аморальна и беспринципна. Я лишь констатирую пластичность идеологических приоритетов Вольпе, его несомненную волю конструктивно использовать имеющиеся обстоятельства для развития своих идей. А интеллектуальную проблему соотношения политики и морали, как мы помним, решил еще компатриот Вольпе – Макиавелли, с творчеством которого, как и со всем богатством ренессансной мысли Вольпе был знаком с юных лет.

Остается вопрос, почему по окончании господства фашистской идеологии работы Вольпе, ассоциирующиеся с интеллектуальной поддержкой режима, не были отвергнуты? Представляется, что, по крайней мере отчасти, его труды не обесценились, поскольку обладали вполне самостоятельным и ценным контентом, а отчасти потому, что сразу после падения фашистского режима Вольпе вернулся к теме своих молодых исканий – истории средневековья, исключая постепенно из новых изданий книг заостренные идеологические пассажи.

Сама же тема далекого, но доблестного средневекового прошлого, истории народа, свободного от жесткой централизации и обретавшего в борьбе права и свободы, была обречена на признание в период деконструкции фашистской власти и послевоенного восстановления Италии, возобновления ее либеральной и даже социалистической традиции культуры. Возможно, эта черта помогла Вольпе закрепиться и в учебной программе советских медиевистов, ориентированной на узкий круг подготовки специалистов, но все же вполне официальной.

Естественно, медиевальные сюжеты в освещении Вольпе носили отпечаток прежних наработок, выполненных в либеральном ключе, и,

кроме того, поддерживали своим историческим пафосом моральный дух итальянцев, в том числе, молодежи, которая, в отличие от немецкой, не была ориентирована на идеалы покаяния и самоотрицания. Творчеству же Вольпе, его научным и популярным сочинениям всегда был присущ дух исторического оптимизма и патриотизма. Кроме того, за свою долгую жизнь Вольпе сумел увидеть циклическое повторение некоторых идейных тенденций; по счастливому совпадению, время работало на мэтра, а не против него. Примером такого почти не затухающего, а временами – ярко разгорающегося интереса, являлись изыскания Вольпе на тему сект и еретических учений.

Комплекс исследований, сфокусированный на изучении еретических движений, полных по-своему диссидентских и свободолобивых устремлений в форме религиозных исканий, вылился в исторический труд, исполненный с блеском и широким охватом материала и ставший подлинным бестселлером интеллектуальной культуры. Этот труд переиздавался семь раз с 1920-х по 1990-е гг., но особенно интенсивно штудировался в конце 60-х – 70-е гг., во время особого интереса к инакомыслию и протестным движениям¹⁸. В медиевальных штудиях историка нашлось место анализу роли молодежи в протестных движениях прошлого, и это привлекало молодого читателя-бунтаря XX века.

Именно изучение роли молодежи в динамике социальных процессов и проявленный Вольпе интерес к истории ересей и еретических народных течений, привлекли повышенное внимание, поскольку построение исторического нарратива был предпринято Вольпе таким образом, что позволило при желании интерпретировать события далекого прошлого как предсказание молодежных движений XX века, в том числе 1968 года, а сам труд историка – как путеводную звезду в изучении социальных феноменов современности и актуальных протестных движений. На этом этапе имя Вольпе снова стало ассоциироваться преимущественно с идеями либерального историзма и тем направлением мысли, к которому историк примыкал на заре своей карьеры. Несколько забытое к 1950-60-м годам название той школы исследований, которая формировалась при активном участии Вольпе, стало чаще упоминаться.

Итак, можно сказать, что деятельность интеллектуальной группы, к которой принадлежал Вольпе, и ее историографическое наследие отражались очень продолжительное время (вплоть до 1970-х – начала 1980-х годов) в характере развития исторических исследований (прежде всего,

¹⁸ *Volpe* 1922 (2 ed. 1926 [ripub. più volte a Firenze da Sansoni – 1961, 1971, 1972, 1977 – nel 1997 a Roma dall'Editore Donzelli, con introd. di Cinzio Violante].

исследований по медиевистике) в Италии, в европейской итальянистике, и, как это ни парадоксально, даже в России периода развития советского марксизма. Присутствуют эти упоминания о Вольпе и о школе экономико-юридических исследований именно в связке и в контексте либеральных и даже марксистских представлений, что не совсем корректно.

Широкое образование и усвоенное разностороннее культурное наследие Нового времени позволяло Вольпе позиционировать себя столь различным образом в культурном ландшафте эпохи и не фиксироваться на определенном этапе своей интеллектуальной биографии как на моменте истины. Эти же характеристики позволили вписать наследие Вольпе в самые различные научно-культурные практики, например, передать это имя по эстафете от историков Запада историкам советской эпохи, сохранив имя и труды Вольпе в образовательном стандарте итальяниста.

Объяснению парадоксов успешной коммуникации историографических дискурсов России и Италии не посвящено ни одного исследования, несмотря на все очевидные параллели, и я полагаю необходимым развить эту тему в следующих публикациях.

В настоящий момент ограничусь посылкой, что, как сам образ исторической науки, так и возможности создания коммуникативной среды, во многом определяются не сегодняшним вектором развития этих школ, а активными и формирующими традициями, которые проявляются в зависимости от некоторой исторической конъюнктуры, но сохраняются и при изменении ситуации, при утрате первоначальной необходимости и стимулов; тем, что в современной историографии получило название зависимости от пройденного пути: *path dependence*¹⁹. Понятие это возникло в недрах экономической истории, но совершенно непонятно, почему оно до сих пор там и остается. Этот концепт нужен историографии, поскольку содержит коннотации, отличные от всех существующих определений традиции и позволяет различать некую обоснованную традиционность и трудно объяснимую приверженность давно неактуальной форме.

Зависимость от пройденного пути проявляется тогда, когда исчерпываются объективные предпосылки формирования и поддержания традиции, а приверженность ей остается ощутимой. При сходстве этих зависимостей от накопленного опыта, взаимодействие двух социальных институтов, как и взаимодействие научных школ, является возможным.

¹⁹ С интересным анализом этой проблемы выступил недавно шведский ученый Рольф Тоштендаль, и данная публикация уже доступна на русском языке: Возвращение историзма? Нео-институционализм и «исторический поворот» в социальных науках // Историческая наука сегодня. М., 2010. С 343–354. Конкретно по теме «зависимости от пройденного пути» см. замечания на с. 345–346.

Именно такое взаимодействие между итальянской исторической наукой и исторической дисциплиной, развивавшейся в русскоязычной среде в СССР (особенно в советской России) по темам постоянно актуальным для обеих историографий, на мой взгляд, следует отметить как весьма интересный сюжет в истории науки.

Речь идет и о взаимодействии в области итальянистики (при этом особое внимание уделялось периоду социо-культурного доминирования Италии в Европе: это, прежде всего, средневековый расцвет городов и Ренессанс). И русская, и итальянская школа средневековых исследований развивались под сильным влиянием немецкой науки, а кроме того, сходным моментом являлось то, что обе национальные историографические школы акцентировали вопросы развития общины. Большой интерес к средневековому периоду и стремление опробовать именно в рамках средневековья новаторские на данный момент методы исследования показывают, насколько значим средневековый мир и его образ в процессе конструирования образа истории различных стран. Отметим, что средневекизм играл существенную роль в различных дискурсах: имел значение и для фашистской, и для либеральной, и для коммунистической идеологий двадцатого столетия.

Это обстоятельство настолько общеизвестно, что нет смысла доказывать его, и даже иллюстрировать длинным рядом примеров. Гораздо полезнее задать вопрос, *почему же в совершенно разных странах, таких как Италия и Россия, в их историографических школах, ключевую роль играли вопросы истории средневекового периода?*

Очевидно, средневековье виделось самым удачным временем для поисков истоков национального характера, а, лучше сказать, национального мифа; кроме того, исследователи имели тенденцию подчеркивать аспекты, связанные с «преодолением» феодально-сеньориального господства. Это, прежде всего вопрос об общине (коммуне) как основе общественного развития на длительном протяжении истории. В отличие от историографии собственно националистического характера, с присутствием ей использованием средневекизма, провозглашавшего, в частности, извечный характер общины (коммуны) как предтечи общегосударственной фашистской общины, историческая интерпретация Вольпе и Каджезе не наделяла столь прямолинейно антропоморфными характеристиками нацию и даже не допускала натурализации, антропоморфизма в описании таких категорий, как классы и коммуны. Так понимали и развивали их идеи интерпретаторы и популяризаторы фашистского периода. В свете либеральных стереотипов те же самые исследования можно было воспринимать иначе, что и было сделано в свой черед.

Представляет особый интерес изучение взаимодействия дискурса исторических, юридических и экономических исследований, который возник как ориентированный на обособленную интеллектуальную группу (и использовался этой группой как внутренний код доступа), с полем науки периодов тоталитарного режима, в тот момент, когда историческое описание было призвано к служению широкому кругу читателей и популярному изложению. Эта ситуация популистского прочтения наработок академической исторической науки, была типична и для эпохи фашистского режима и для последующего периода новой либерализации.

Все это время – от начала века, через Первую и Вторую мировую войну, через годы изживания фашистской идеологии, создания идеологии «новых левых» – в Италии продолжали читать исторические книги, и цитировать исследования, созданные Вольпе и его коллегами в период создания экономико-юридического дискурса. При этом сам Вольпе, историк-долгожитель, хоть и отстраненный от преподавания в послевоенные годы, продолжал публиковать новые труды. Именно континуитет переизданий, традиционный круг цитирования (пусть и в виде глухих ссылок) – такое обращение к трудам заслуженных деятелей исторической науки прошлого приводит к тому, что их имена начинают ассоциироваться с более поздним, а иногда и совершенно чуждым им дискурсом, или же, наоборот, закрепляют единую мерку по отношению к разноплановому творчеству и научной эволюции взглядов. Простая цезура не нанесла бы такого вреда сохранению смысла творческого наследия Вольпе и его коллег, объединенных в начале XX века интересом к социально-экономическому развитию коммун, выраженному в праве. Собственно, то же можно сказать о тренде марксизма в целом.

Это очевидно на примере любого значимого труда как итальянской, так и советской школы историографии, в арсенал которых было первоначально введено достаточно нейтральное определение класса (и правящего класса), ставшее лишь затем, в трудах продолжателей, мифологизированным и антропоморфизированным понятием. Можно констатировать (и это примечательно!), что понятие класса очень вольно и широко использовалось в той историографической среде, где изначально фактологическая, детализированно-описательная история развилась до высокого предела. Накопленный «фактологический» материал, как будто бы должен был препятствовать спекуляциям. Нельзя не задаться вопросом как могла возникнуть сильная зависимость такой историографии от идеологических доминант и мифологизации понятий?

Да, частично, изложенное выше объяснимо сильным взаимодействием поля науки и поля политики, которое наблюдалось и в Италии, и

в России, причем не только в период коммунистической или фашистской диктатуры, но и в преддверии их, а также и в моменты либерализации. С другой стороны, нельзя считать деятелей науки, в частности – исторической дисциплины, пассивными жертвами идеологического давления извне. Известно, что те, кто возглавлял науку (департаменты, редакции журналов и энциклопедий) при тоталитарных режимах, не просто покорно выполняли волю, выраженную свыше, но и активно, творчески сотрудничали с этой политической волей, являлись генераторами или хотя бы соавторами идеологически значимых инициатив. При этом сам груз так называемой «фактологии», т.е. необработанной, описательной информации – прокладывает колею зависимости мифотворчества и попыток вписать то, что принимается за объективные данные, в «более широкий контекст». Его виртуальность плохо отрефлексирована, потому, что не проанализирована условность и виртуальность самих составляющих контекста – так называемых «данных».

Итак, трудно переоценить роль и влияние школы экономических и юридических исследований и ее самобытного представителя Джоаккино Вольпе в развитии историографии. Это, безусловно, яркая страница истории гуманитарной науки, пример для изменения стратегии поведения целого сообщества интеллектуалов, определитель вектора развития исторической дисциплины. В то же время Вольпе – это, несомненно, исключительная личность, даже исключение из исключений. Ведь это практически единственный деятель науки, который после демонтажа фашистского режима в Италии был подвергнут остракизму – запрету на преподавание, и в то же время оставался одним из немногих – если не единственным из всех, кто работал еще в первой половине века – не забытым и активно действующим в области исследований и публикаций историком. В профессиональной среде Вольпе не стал изгоем: его книги пользовались успехом и у коллег, и у широкой читающей публики.

С интеллектуальной биографией Вольпе связано само построение образа исторической науки всего XX века. Поэтому и рассматривать эту личность можно и нужно в связи с проблемами долгосрочного влияния и преемственности в том смысле слова, который используется творцами теории *path dependence*. В русле развития этой зависимости остается неизменным то, что было некогда четко очерчено необходимостью, но, освободившись от этой необходимости и налагаемых ограничений, не претерпевает изменчивости.

Это не просто косность и пережиток: сохраняется продукт или феномен, возникший под действием определенных сил и обстоятельств,

даже вызовов, но сохраняется в виде запоздалого ответа, эха, давно прошедших гроз. Это верный слепок ключа от той двери, которую давно не нужно открывать. Но отживший продукт, материальное изобретение, утратившее необходимость – заполняют одно измерение, а идеи – совсем другой мир, у которого свои критерии возможного и ненужного, необходимого и исключаемого. Кто сказал, что в мире идей актуальность бывает лишь однажды в истории?

Более того, увлекательной перспективой является определение критериев и причин интеллектуального «выживания», долгожительства этого научного и общественного деятеля – небезупречного, идейно ангажированного, вовлеченного в самые острые коллизии своего времени, но, видимо, избравшего успешную интеллектуальную стратегию, а кроме того, помимо своей воли вписавшегося в далекий, но неожиданно созвучный этой личности культурный и академический горизонт. Наследие Вольпе – это долгое эхо культуры Нового времени, которое Новейшее время то активно адаптирует, то пассивно, но неотступно сохраняет – вплоть до нового удачного момента ре-актуализации.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Бурдьё П.* Рынок символической продукции // Вопросы социологии № 1/2, 1993.
<http://bourdieu.name/content/rynok-simvolicheskoy-produkcii>.
- Торштендаль Р.* Возвращение историзма? Нео-институционализм и «исторический поворот» в социальных науках. Историческая наука сегодня. М., 2010. С. 343–354.
- Artifoni E.* Crivellucci, Salvemini, Volpe e una rivista che non si fece. Nota in margine a una ricerca su Gaetano Salvemini storico del medioevo // Annali della Fondazione Luigi Einaudi. XIII. 1979. P. 273–299.
- Idem.* Salvemini e il medioevo. Storici italiani fra Otto e Novecento. Napoli, Liguori, 1990.
- Idem.* Gioacchino Volpe e i movimenti religiosi medievali // RM Rivista, VIII, 2007.
<http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm>.
- D'Alessandro V.* Salvemini medievista / Gaetano Salvemini fra politica e storia. Laterza, Bari-Roma, 1986. P. 139–197.
- Caggese. R.* Classi e comuni rurali nel medio evo italiano, vol. 1–2. Firenze, 1907–1909.
- Capitani O.* Da Volpe a Morghen: riflessioni eresologiche a proposito del centenario della nascita di Eugenio Dupré Theseider // Studi medievali, s. III, 40 (1999). P. 305–321.
- Capriglione F.* La metodologia storiografica di Romolo Caggese tra positivismo e storicismo. Foggia, Grafisud, 1981.

- Cervelli I.* Cultura e politica nella storiografia italiana ed europea fra Otto e Novecento. A proposito della nuova edizione di "Storici e maestri" di Gioacchino Volpe // Belfagor. XXIII. 1968. P. 473–483, 596–616; XXIV. 1969. P. 66–89.
- Cervelli I.* Storiografia e politica: dalla società allo stato. Note su Gioacchino Volpe // La Cultura. VII. 1969. P. 496–534.
- Cervelli I. G.* Volpe e la storiografia italiana ed europea fra Otto e Novecento // La Cultura. VIII. 1970. P. 40–80, 257–291, 375–424.
- Cervelli I.* Gioacchino Volpe. Napoli, 1977.
- Croce B.* La storiografia in Italia dai cominciamenti del secolo decimo nono ai giorni nostri. XVII. La storiografia economico-giuridica come derivazione del materialismo storico // La Critica, XVIII (1920). P. 323, 326.
- Idem.* Storia della storiografia italiana nel secolo decimo nono. Bari, Laterza, 1921. P. 257–258.
- Larner J.* Italy in the age of Dante and Petrarch 1216–1380. 4 ed. L., 1991.
- Marinelli F.* Gioacchino Volpe storico e politico // Rassegna trimestrale di Abruzzistica. 1. 1977. P. 77–82.
- Moretti M.* Il giovane Salvemini fra storiografia e scienza sociale // "Rivista Storica Italiana". CIV (1992). P. 203–245.
- Moretti M.* Salvemini e Villari. Frammenti / Gaetano Salvemini metodologo delle scienze sociali. Rubbettino, 1996. P. 19–68.
- Normanno G.* Il Medioevo di Romolo Caggese. Foggia // Centrografico Francescano. 2000.
- Violante C.* Gioacchino Volpe e gli studi storici su Pisa medioevale. Introduzione a G. Volpe // Studi sulle istituzioni comunali a Pisa. Città e contado, consoli e podestà (secoli XII–XIII), nuova ed. Firenze, Sansoni. 1970 (Biblioteca storica Sansoni, n.s., 48). P. IX–LVIII.
- Rodolico N.* Gaetano Salvemini // Archivio Storico Italiano. CXV. 1957.
- Silva P.* Gaetano Salvemini. L'Italia che scrive. I, 3. 1918.
- Sestan E.* Salvemini storico e maestro // Rivista storica italiana. LXX (1958). P. 5–43.
- Sestan E.* Lo storico Gaetano Salvemini. Bari, 1959.
- Atti del Convegno su Gaetano Salvemini, Gabinetto Scientifico Letterario di G. P. Vieusseux. Firenze. 8–10 novembre 1975 / a cura di E. Sestan. Milano, 1976.
- Sestan E.* Salvemini storico del Medioevo, // "Atti del Convegno su Gaetano Salvemini". Gabinetto Scientifico Letterario di G. P. Vieusseux. Firenze. 8–10 novembre 1975 / a cura di E. Sestan. Milano. 1976. P. 47–67.
- Ventura A.* Romolo Caggese tra storiografia e politica (1881–1981) // Rassegna di Studi Dauni. VII–VIII (1980–1981). P. 177–270; Estratto, Foggia, Editrice Apulia, 1981.
- Violante C.* Gioacchino Volpe: il periodo pisano (1895–1906) // Studi e ricerche in onore di Gioacchino Volpe nel centenario della nascita (1876–1976). L'Aquila-Roma, Deputazione di Storia Patria per gli Abruzzi. 1978. P. 153–184.
- Violante C.* Appunti sulla formazione di Gioacchino Volpe // Annali dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici. IX. 1985–1986. P. 301–317.

- Vivarelli R.* Ernesto Sestan tra Salvemini e Volpe / Ernesto Sestan, a cura di Angelo Ara e Umberto Corsini. Trento, 1992. P. 69–93.
- Volpe G.* Il Medioevo. Firenze: Vallecchi. 1927 [Sansoni. 1958].
- Volpe G.* Medio Evo italiano. Firenze: Vallecchi. 1 ed. 1923. [Laterza. 2003].
- Volpe G.* Movimenti religiosi e sette ereticali nella società medievale italiana: secoli 11.–14. Firenze: Vallecchi, 1922; 2a ed. 1926; Sansoni – 1961, 1971, 1972, 1977; Roma: Editore Donzelli, 1997.
- Volpe G.* Corsica. Milano: Istit. Edit. Scientifico, 1927.
- Volpe G.* Guerra, dopoguerra, fascismo. Venezia: La nuova Italia, 1928.
- Volpe G.* L'impresa di Tripoli (1911–1912). Roma: Ed. Leonardo, 1946.
- Volpe G.* L'Italia che fu: come un italiano la vide, sentì, amò. Milano: Le edizioni del Borghese, 1961.
- Volpe G.* Romolo Caggese. Classi e Comuni rurali nel M. E. italiano. Saggio di storia economica e giuridica // La Critica. VI. 1908. P. 263–278, 361–381.
- Volpe G.* L'Italia in cammino: l'ultimo cinquantennio. Milano: Treves, 1927.
- Volpe G.* L'Italia nella Triplice alleanza (1882–1915). Milano: Istituto per gli studi di politica internazionale, 1939–1940.
- Volpe G.* L'Italia moderna. Firenze: Sansoni, 1949–1952.
- Volpe G.* Lunigiana medievale: storia di vescovi signori, di istituti comunali, di rapporti tra Stato e Chiesa nelle città italiane nei secoli 11.–15. Firenze: La voce, 1923.
- Volpe G.* Ritorno al paese: Paganica : memorie minime. Roma: Tip. A. Urbinati, 1963.
- Volpe G.* Scritti sul fascismo: 1919–1938; con prefazione di Piero Buscaroli. Roma: Volpe, 1976.
- Volpe G.* Storia del movimento fascista. Milano: Istituto per gli studi di politica internazionale, 1939 e 1943.
- Volpe G.* Storia della Corsica italiana. Milano: Istituto per gli studi di politica internazionale, 1939.
- Volpe G.* Storici e maestri. Firenze: Vallecchi 1924 [Nuova ed. accresciuta Firenze: Sansoni, 1967].
- Volpe G.* Studi sulle istituzioni comunali a Pisa. Nuova ed. Firenze: Sansoni, 1970.
- Volpe G.* Toscana medievale: Massa Marittima, Volterra, Sarzana. Firenze: Sansoni, 1964.
- Volpe G.* Volterra: storia di Vescovi signori, di istituti comunali, di rapporti tra Stato e Chiesa nelle città italiane nei secoli 11.–15. Firenze: La Voce, 1923.
- Volpe G.* Questioni fondamentali sull'origini e primo svolgimento dei comuni italiani / Medio evo Italiano. 2 ed. Firenze, 1961 (3-ed. Roma, 1992).

Селунская Надежда Андреевна, кандидат исторических наук; старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН; spesbona@mail.ru.

SUMMARIES

V. V. ZVEREVA

THE 'INVENTION' OF NATURAL HISTORY
BY INTELLECTUAL COMMUNITIES OF NATURALISTS OF THE XVITH C.

The article is focused on the history of natural history as a discipline within the European intellectual culture of the XVIth c. The author pays a good deal of attention on the rise of early communities of scholars. Their work construed a new field that studied the world of nature, and created a language and rules of the description of plants and animals.

Keywords: natural history, history of European science, intellectual culture of the XVIth c.

E. YU. VANINA

'ENLIGHTENED PHILOSOPHERS' AND THE 'COMPANIONS OF JESUS':
THE FIRST CONTACT BETWEEN INTELLECTUAL COMMUNITIES OF INDIA AND OF THE WEST

The paper analyses the activities of the Jesuit missionaries at the court of the Mughal emperor Akbar (late XVII century). The discussions held by the Jesuits with the "enlightened philosophers", the courtiers and supporters of the reformer king who had for the first time introduced religious freedom in his domain offer an extremely valuable example of a contact between the two intellectual communities and disprove many a stereotype on the "East – West encounter".

Keywords: Jesuits, Mughals, Akbar, "enlightened philosophers", rationalism, Catholicism, missionary activities, Islam, Hinduism.

A. V. STOGOVA

THE XVIITH-CENTURY RESPUBLICA LITERARIA AS A COMMUNITY OF CORRESPONDENTS
(LETTERS BY GUY PATIN)

The author studies epistolary practices in the relationships between the members of the *Respublica Literaria*. The article is focused on the letters by Guy Patin, the dean of faculty of medicine at the University of Paris. The author shows that letters served as a key, and often the only way to preserve those relationships. A good deal of attention is paid to the peculiar features of the XVIIth-c. epistolary practices that resulted from the emergence of regular post and changes in the views on friendship.

Keywords: letters, *Respublica Literaria*, Guy Patin, history of postal service, friendship, economy of gifts.

I. P. KOULAKOVA

RUSSIAN 'ENLIGHTENED NOBILITY' IN THE MODERN IDEOLOGICAL CONTEXT:
FORMS OF INTELLECTUAL ACTIVITY (XVIIITH – EARLY XIXTH CC.)

The author defines the place of Russian nobility in the development of the new cultural practices of the XVIIIth c.: dilettantism and artistry as method of the representation of knowledge; imagination as a factor of cognition and a way

to appropriate a 'new culture'; the development of new forms of intellectual activity and ways of self-representation (social, gnosiological, psychological and esthetical aspects).

Keywords: nobility, Enlightenment, education, science, intellectual activity, dilettantism, collecting.

E. E. SAVITSKY

DEBATES ON COMMUNITIES IN CONTEMPORARY HISTORIOGRAPHY
AND THE HISTORY OF THE EARLY MODERN PERIOD

The article analyses that contemporary re-evaluation of the experience of intellectual communities by historians influenced the studies in this field as far as the early Modern period is concerned. The article is focused on the studies of the English culture of the period written within the tradition of 'New historicism'. In order to contextualize them other research approaches are looked into. It is concluded that changed view on communities enables one to re-interpret some questions, especially the one about the conditions of the emergence of a modern European individual.

Keywords: intellectual history, communities, Stephen Greenblatt, colonization, modern European individual.

S. I. POSOKHOV

A UNIVERSITY CITY IN RUSSIAN EMPIRE IN THE SECOND HALF OF THE XVIIITH – EARLY XIXTH CC.
(ON THE ROLE, DEGREE AND CHANNELS OF GERMAN CULTURAL INFLUENCE)

The article presents a study of the formation process of a "university city" in Russia in the second half of the XVIIIth – the first half of the XIXth cc. The author studied an interaction of a university and a city on wide social-cultural background. The conclusion is following – thanks to universities there was an expansion of space of subcultures dialogue as well as a range of subjects of such dialogue in a city; "university cities" offered rather dynamic cultural samples which were of great importance for the development of city life is drawn. It is noticed that the contribution to the process was brought by German professors who were carriers of not only actually university culture, but also city culture of modernized type.

Keywords: university city, transfer and adaptation, dialogue of subcultures, modernization processes

T. V. KOSTINA

THE RHETORIC OF RUSSIAN UNIVERSITY PROFESSORS IN THE ARGUMENTS FOR THE
DISMISSAL OF THE FELLOW-MEMBERS OF UNIVERSITY CORPORATIONS IN THE EARLY XIXTH C.

The article studies evolution of rhetorical forms used in the first third of the XIX c. by professors of Russian universities in arguing the necessity of

dismissal of their colleagues. The addressee of such rhetoric was mostly the Minister of Public Education as an authority in charge of dismissal. Also studied are the factors that shaped rhetoric, both objective (age of university corporations and state ideology) and subjective (personal positions of ministers and curators of education districts).

Keywords: university professors, rhetoric, dismissal.

O. M. BELYAEVA

E. D. GRIMM AT THE UNIVERSITY OF ST PETERSBURG: THE WAY TO PROFESSORSHIP

The article is devoted to the beginning of the historian Grimm's scholarly career. Using the example of E. D. Grimm the author shows how his promotion led to conflicts in the academic community caused by a violation of traditions, a difference of views, ambitions and interests of scholars.

Keywords: St. Petersburg University, E. D. Grimm, M. I. Rostovtzev, N. I. Kareev, traditions of academic community, dispute, conflicts.

N. N. ALEVRAS, N. V. GRISHINA

RUSSIAN CULTURE OF DISSERTATIONS IN THE XIXTH – EARLY XXTH CC.
AS VIEWED BY CONTEMPORARIES: NATIONAL FEATURES

The article analyses features of the Russian dissertation culture of the late XIXth – early XXth cc. The statistics, about the amount of dissertations, defended in the Russian and German universities, are examined in the comparative vein. We also focus our attention on the reflections of contemporaries and opinions of historians about the characteristic features of the national dissertation systems. The legislative initiatives of the beginning of the XXth c. are investigated through the question of change of the system of acquisition of academic degrees.

Keywords: Dissertation culture, academic degree, qualifying requirement, national dissertation system, dissertation public debate, statistics of dissertations, historical and philological faculty.

L. A. BOUSHOEVA

THE CORPORATION OF UNIVERSITY PROFESSORS AT KAZAN' IN THE EARLY XXTH C.:
INTERPERSONAL COMMUNICATIONS OF ACADEMICS

The article analyzes the interpersonal communications between the professors of the Kazan' University in the early XXth c. It is shown how the changes in political situation influenced the relationships within the university – between the professors, the professors and junior lecturers, the professors and students. Using previously unknown material the author shows the changes in the norms of corporate relationships, the rise of conflict levels between university people, and the ways to overcome them.

Keywords: The University of Kazan', the corporation of professors, assistant professors, students, interpersonal communications.

M. A. MAMONTOVA

COMMUNICATIVE SPACE OF HISTORICAL DISCIPLINE
IN RUSSIA IN THE LATE XIXTH – EARLY XXTH C.

The article attempts to reconstruct communicative network of Russian history, it is based of reviews published in the periodical press of the late XIXth – early XXth cc. The article presents the basic levels of communicative space of a history, the structure of periodicals is presented, which allows to show features of interdisciplinary and extra-academic communications of historians.

Keywords: a history of Russia, late XIXth – early XXth cc. communicative field, periodical press.

A. A. SERYKH

GENERATION 'LINK / GAP' AND INTERGENERATIONAL COMMUNICATIONS
IN THE ACADEMIC COMMUNITY OF RUSSIAN HISTORIANS IN THE LATE XIXTH – EARLY XXTH CC.

The article studies the character of inter-generational communication within the academic community of Russian historians of the late XIXth – early XXth cc. The forms of communication between generations, 'tutors' and 'pupils' are defined as well as the meaning of the 'link' and generation gap in the academic community.

Keywords: generation, communication, academic community, 'tutors', 'pupils', Russian historians of the late XIXth – early XXth cc.

G. P. MYAGKOV, N. I. NEDAHSKOVSKAYA

PROVINCIAL SCIENTIFIC SCHOOLS: BREACHES OF TRADITION AS SCHOLAR PRACTICES
(HISTORY OF MEDIEVAL STUDIES AND SLAVONIC STUDIES IN KAZAN')

The article is focused on the history of Medieval and Slavonic studies at the University of Kazan'. It analyzes the process of formation of provincial academic schools, reconstructs scholarly practices that helped an 'un-formed' provincial school to reproduce academic tradition and to carry out productive research.

Keywords: academic community, school, field, scholarly practices, metropolitan / provincial academic communities, historiography.

I. P. CHIKALOVA

ENGLISH STUDIES IN RUSSIA: FOREIGN WORKS ON ENGLISH HISTORY AND STATE
IN THE INTELLECTUAL SPACE OF THE RUSSIAN EMPIRE (1860^S – 1917)

The article analyzes one aspect of English studies in Russia – namely, the inclusion of foreign works on English history and state into the Russian intellectual space. Translations of the works by major European historians, political

theoreticians, lawyers and sociologists presented an important and natural answer to the demand to study Western, and, first of all, English historical experience, to compare national history of that country to the achievements of other peoples.

Keywords: English studies, translations, historiography.

E. I. MELESHKO, A. N. NECHOUKHIN

PAVEL OSIPOVICH BOBROVSKY: ACADEMIC, REFORMER, TEACHER

The article presents materials on biography and works of Pavel Osipovich Bobrovsky. His works are analyzed in the historiographical context. The authors paid a good deal of attention to Bobrovsky's approaches to particular historical topics, and to his role in the Russian reforms of the late XIXth – early XXth cc.

Keywords: P. O. Bobrovsky, personality, biography, historiography .

I. G. VOROBYEVA, A. A. KOUZNETSOV

THE HISTORIAN OF WESTERN HISTORY IN A RUSSIAN PROVINCIAL UNIVERSITY:

SERGEY VASILYEVICH FRYAZINOV (1891–1971)

The present article touches upon the historiographic context and background of biography of historian S. V. Fryazinov. Archival materials of Tver and Nizhni Novgorod, memoirs, letters of Fryazinov became the basic sources for studying of the biography of S. V. Fryazinov. In article S. V. Frjazinov's studies at the Moscow university are analysed, the main fields of his research (history of the French revolution, Hyppolite Taine's work, history of Ancient Rome, history of medieval Spain) are considered. The detailed information on S. V. Fryazinov's teaching activity in Kostroma, Kalinin (Tver), Moscow and Gorky (Nizhni Novgorod) is collected.

Keywords: S. V. Frjazinov, Moscow university, A. N. Savin, Kalinin (Tver), Gorky (Nizhni Novgorod), French revolution, history of medieval Spain, historian, biography.

N. A. SELYNSKAYA

THE PATH MADE BY IDEAS: THE AGE OF GIOACCHINO VOLPE

The legacy of Gioacchino Volpe is in the long echo of modern culture that is either being actively adopted by contemporary culture, or passively preserved within it, until the next moment of re-actualization. The intellectual biography of Volpe is put into the context of the shaping of the image of historical discipline.

Keywords: Homo academicus, historiography, Italian studies, history of scientific schools, historical biography.

CONTENTS

Foreword

<i>L. P. Repina</i> Intellectual culture as an object of research.....	5
---	---

Intellectual communities of the Early Modern period

<i>V. V. Zvereva</i> The 'invention' of natural history by intellectual communities of naturalists of the XVI th c.	9
<i>E. Yu. Vanina</i> 'Enlightened philosophers' and the 'companions of Jesus': the first contact between intellectual communities of India and of the West.....	35
<i>A. V. Stogova</i> The XVII th century <i>Respublica Literaria</i> as a community of correspondents (letters by Guy Patin).....	60
<i>I. P. Koulakova</i> Russian 'enlightened nobility' in the modern ideological context: forms of intellectual activity (XVIII th – early XIX th cc.).....	90
<i>E. E. Savitsky</i> Debates on communities in contemporary historiography and the history of the early Modern period.....	120

University culture in Russia

<i>S. I. Posokhov</i> A university city in Russian Empire in the second half of the XVIII th – early XIX th cc.: on the role, degree and channels of German cultural influence....	140
<i>T. V. Kostina</i> The rhetoric of Russian university professors in the arguments for the dismis- sal of the fellow-members of university corporations in the early XIX th c.	166
<i>O. M. Belyaeva</i> E. D. Grimm at the University of St Petersburg: the way to professorship.....	198
<i>N. N. Alebras, N.V. Grishina</i> Russian culture of dissertations in the XIX th – early XX th cc. as viewed by contemporaries: national features.....	221
<i>L. A. Boushoueva</i> The corporation of University professors at Kazan' in the early XX th c.: Interpersonal communications of academics.....	248

Communicative space of historical discipline

<i>M. A. Mamontova</i> Communicative space of historical discipline in Russia in the late XIX th – early XX th c.	267
<i>A. A. Serykh</i> Generation ‘link / gap’ and intergenerational communications in the academic community of Russian historians in the late XIX th – early XX th cc.	278
<i>G. P. Myagkov, N. I. Nedahskovskaya</i> Provincial scientific schools: breaches of tradition as scholar practices (history of Medieval studies and Slavonic studies in Kazan’)	292
<i>I. P. Chikalova</i> English Studies in Russia: foreign works on English history and state in the intellectual space of the Russian Empire (1860s – 1917).....	312

Intellectual biographies

<i>E. I. Meleshko, A. N. Nechoukhin</i> Pavel Osipovich Bobrovsky: academic, reformer, teacher.....	344
<i>I. G. Vorobyeva, A. A. Kouznetsov</i> The historian of Western history in a Russian provincial university: Sergey Vasilyevich Fryazinov (1891–1971).....	377
<i>N. A. Selynskaya</i> The path made by ideas: the age of Gioacchino Volpe.....	403
SUMMARIES.....	423
CONTENTS.....	428

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо Предисловия

<i>Л. П. Репина</i> Интеллектуальная культура как предмет исследования.....	5
--	---

Интеллектуальные сообщества раннего Нового времени

<i>В. В. Зверева</i> «Изобретение» естественной истории в интеллектуальных сообществах натуралистов XVI века.....	9
<i>Е Ю. Ванина</i> «Просвещенные философы» и «сотоварищи Иисуса»: первый контакт интеллектуальных сообществ Индии и Запада.....	35
<i>А. В. Стогова</i> <i>Respublica Literaria</i> XVII века как сообщество корреспондентов (по письмам Ги Патена).....	60
<i>И. П. Кулакова</i> Российское «просвещенное дворянство» в контексте идей Нового времени: специфика форм интеллектуальной деятельности (XVIII – первая треть XIX вв.).....	90
<i>Е. Е. Савицкий</i> Дискуссии о сообществах в современной историографии и история раннего Нового времени.....	120

Университетская культура России

<i>С. И. Посохов</i> Университетский город в Российской империи второй половины XVIII – первой половины XIX веков (К вопросу о роли, степени и каналах немецкого культурного влияния).....	140
<i>Т. В. Костина</i> Риторика профессоров русских университетов в аргументации увольне- ния сочленов корпорации (первая треть XIX века).....	166
<i>О. М. Беляева</i> Э. Д. Гримм в Петербургском университете: путь к профессорскому званию.....	198
<i>Н. Н. Алеврас, Н. В. Гришина</i> Российская диссертационная культура XIX – начала XX веков в восприятии современников (К вопросу о национальных особенностях).	221
<i>Л. А. Бушужева</i> Профессорская корпорация Казани в эпоху перемен: межличностные коммуникации университетских людей (начало XX века).....	248

Коммуникативное пространство науки

<i>М. А. Мамонтова</i> Коммуникативное пространство отечественной исторической науки на рубеже XIX–XX веков.....	267
<i>А. А. Серых</i> «Связь / разрыв» поколений и межпоколенческие коммуникации в научном сообществе российских историков конца XIX – первой трети XX веков.....	278
<i>Г. М. Мягков, Н. И. Недашковская</i> Провинциальные научные школы: разрывы традиции как схолярные практики (на материале истории медиевистики и славяноведения в Казани).....	292
<i>И. Р. Чикалова</i> Англоведение в России: зарубежные труды по истории и государствен- ному строю Англии в интеллектуальном пространстве империи (1860-е – 1917 гг.).....	312

Интеллектуальные биографии

<i>Е. И. Мелешко, А. Н. Нечухрин</i> Павел Осипович Бобровский: ученый, реформатор, педагог.....	344
<i>Воробьева, А. А. Кузнецов</i> Историк Запада в российском провинциальном вузе: Сергей Васильевич Фрязинов (1891–1971).....	377
<i>Н. А. Селунская</i> Пройденный путь идей: век Джоаккино Вольпе.....	403
Summaries.....	423
Contents.....	428